

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1992

7

1992

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 7 (807)

Июль, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| СЕРГЕЙ ЗОЛОТУССКИЙ — Соучастники и двойники, стихи | 3 |
| АНАТОЛИЙ КИМ — Поселок кентавров, роман | 6 |
| ДМИТРИЙ ВЕДЕНЯПИН — Солнце на полу, стихи | 58 |
| ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Сонечка, повесть | 61 |
| ПАВЕЛ СЕРГЕЕВ — По улице пиджак промчался, или Промежуточная стадия, стихи | 89 |
| ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | |
| БОРИС ЗУБАКИН. Стихи и письма. Вступительная статья, публикация писем и примечания А. И. Немировичского | 91 |
| ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ | |
| А. В. — Был ли социализм ошибкой? Манифест профессора Ф. А. Хайека | 117 |
| МИХ. РОЦИН — Книга о вкусной и забытой пище | 119 |
| ПУБЛИЦИСТИКА | |
| Д. ШТУРМАН — «Человечества сон золотой...» | 121 |
| ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ | |
| Н. КОРЖАВИН — В соблазнах кровавой эпохи | 154 |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ — Патогенез и лечение глухонемой. Поэты и постмодернизм | 213 |
| С. Н. НОСОВ — Вселенная бездейности | 224 |
| АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ — В ситуации сороконожки | 228 |
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | 233 |
| Валерий Сажин. Наказание Хармса. | |
| В. Вахрушев. Логика абсурда, или Абсурд логики. | |
| Евгений Добренко. От бесконечности к нулю. | |

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

| | |
|---|-----|
| РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА — Возрождение России и новый «орден» интеллигенции | 240 |
| КОРОТКО О КНИГАХ: | |
| Евгений Голлербах.— I. Петрополь. Альманах. II. Вестник новой литературы. III. Сумерки. ♦ | |
| Георгий Вирен.— Соло. № 1—8 | 250 |
| РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ | 255 |
| SUMMARY | 256 |

Редакция «Нового мира» искренно благодарит Российский фонд «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» за благотворительный взнос в момент, когда решается судьба журнала. Мы надеемся, что Фонд будет не одинок в этом столь необходимом начинании.

Наш расчетный счет 100608135 во Фрунзенском коммерческом банке Москвы, МФО 201412 — с обязательной пометкой «благотворительный взнос».

До конца 1992 года «Новый мир» предполагает опубликовать первый том книги АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА «Апрель Семнадцатого».

С согласия автора второй том книги будет напечатан в петербургском журнале «Звезда».

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки и распространение журнала «НОВЫЙ МИР» во всех странах (кроме территории бывшего СССР) принадлежат германской фирме
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag

All the rights to the subscription and distribution of 'Novy Mir' revue in all the countries (except on the territory of the former USSR) belong to
A. NEIMANIS Buchvertrieb & Verlag



A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag
Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5,
Germany. Tel 089/26 30 76, fax 26 30 77

СЕРГЕЙ ЗОЛОТУССКИЙ

*

СОУЧАСТНИКИ И ДВОЙНИКИ

* *
*

Словно колокол сердце — в такой тишине...
И не слышно, как мчится машина ко мне,
Тень плывет, вырастая, на этой стене,
Еще больше — на дальней стене...

Еще выше она за чертой городской,
Там, где род замирает людской,
Где так пахнет волною морской...

Только там, где уже ни стены, ни огня,
Тень моя, отрываясь, не помнит меня
И сливается намертво с теми —
Создающими грозную темень...

Но сожженный бензин вытесняет озон...
Я один на шоссе, я не пьян, не влюблен,
Светом фар от себя отсечен...

И достаточно лишь мановенья руки:
Зазвенят стремяна и взведутся курки
От привычного этого жеста,
Угадавшего время и место.

* *
*

Четыре старухи живут в Дрожжине на Угре:
Галина, Елена, Марина и младшая — Дуня.
У Дуни глаза до сих пор, как река в октябре, —
Прозрачною синью наполнены... «Дуня-колдунья», —
Зовут ее сестры... Ее сторонится народ,
И после нее не подходят подолгу к колодцу.
А Дуня идет и под ведрами даже не гнется,
Так, будто те ведра само коромысло несет,

Как бережно нес их тогда синеглазый, как брат,
Тот вышедший первым из первого черного танка
С крестом сатанинским, а церкви дымились останки,
Но синий от синего вспыхнул безудержно взгляд...

И в летние ночи болотные бродят огни,
И слышится окрик далекий, отрывистый: «Дуна!...»
...Галина, Елена, Марина давно уж одни,
Мужья не вернулись, война ничего не вернула.

А Дуня пропащая бродит опять до утра...
 И слушают птицы, на ветках стихая покорно,
 Как долго свивает тугие воронки Угра,
 Как плачет ребенок в омуте лунном и черном.

* *
 *

Моему деду — Николаю Тихоновичу.

Хорошо зоотехнику и поэту,
 Свиноматок породистых холя,
 Уважать природы крепкую смету...
 Пастбища, перелески...— покой и воля!

В тарантасе своем наперегонки с Фазтоном
 Объезжать совхозные стада и уголья
 И разговаривать игривым тоном
 С крутозадными богинями плодородья.

...А перед домом — столетние вязы;
 Покурить, холодком затянуться крепко...
 Что начертано на небе звездной вязью,
 Может быть, и запишется строчкою терпкой.

А в выходные вставать до света,
 Пропадать постепенно в тумане... зыбко...
 И, закинув удочку, ждать ответа —
 Может, смилуется государыня рыбка...

* *
 *

Это потом ты мне все рассказал,
 много позже,
 что она приходила к тебе
 и всегда говорила одно и то же.
 Без восклицательного
 жить не могла она знака.
 Однострочно любила Высоцкого
 и Пастернака
 («Ах, Владимир Семеныч!
 Ах, Борис Леонидыч!»),
 а сама была рыжая
 и простоватая с виду.
 И держала в руках твою голову,
 словно бьет какого-то классика.
 Старалась казаться веселюю

и терпеливо-ласковой.
 И странную к ней ты испытывал
 жалость,
 что переходила в жестокость...
 Но она и в любви оставалась
 безутешной и одинокой.
 Пыль золотая на коже,
 солнечно освещенной...
 Сердце тебе тревожила
 ее детская искушенность...
 ...Ты тогда отращивал бороду
 для нее,
 а теперь выбрит гладко...
 И носит за мной по городу
 ее нелепую шляпку...

* *
 *

По аллее, полной снегопада,
 В поле, что туманится весной,
 Походи, побудь со мною рядом,
 Хоть о чем поговори со мной.

Где же ты, душа? Искать ли надо?
 В сад вбегаю — вон бежишь из сада,
 В дом войду — летишь уже в окно
 С разноцветной тенью заодно.

Там дохни, где выцвели чернила,
 Чтобы вспыхнул прежний шум и свет!
 То, что рядом под рукою было,
 А теперь как не было и нет.

И цветет, колыхается узором
 Над землею черной, над разором
 Та обетованная земля,
 Где сады, аллеи и поля.

* *
*

Город, мой город — соучастников и двойников.
С кем ни беседуешь — кажется все, будто третий
тайно присутствует, путая стрелки часов,
и усмехается — он и судья и свидетель.

Что б ни случилось — кругом ты один виноват!
Все, что потеряно, вновь обретается с бою...
Но все расписано — суммы и граммы наград
и оплеухи за злостные споры с судьбою.

Паузу выдержать трудно, как и выдохнуть стих.
Стиснута клетка грудная уходящим столетием...
Да и ты — помнишь ли? — тоже был среди них
в свое время порядковым:
первым, вторым и третьим.

Как неожиданно здесь опускается тьма!
Занавесь вовремя не успеваешь задвинуть,
вот и глядишь на себя с обнаженного дна,
чтоб за секунду — переметнуться, отринуть...

Вот и не жизнь интересна уже,
а сюжет, —
что еще там придумают некие дяди...
Колокол всех убиенных тревожит рассвет.
Новый мессия — приземист, плечист, плотояден...

Век провожаешь ли песнею судных труб
иль остаешься один на один с нелюбимой —
знание смертное пьешь не напьешься губами с губ
в городе этом, вечерей тайной томимом.



АНАТОЛИЙ КИМ

*

ПОСЕЛОК КЕНТАВРОВ

Роман

1

Ум был изрядный, когда звероловы, Гнэс и Мата привели амазонку в поселок, держа ее с двух сторон за волосы. Она моталась меж ними, визжа от ярости и боли, охотники же подавали ей передними копытами под зад, дивясь и радуясь тому, как же мягка в этом месте их пленница. Прискакали, дробя галопом по твердым дорожкам, со всех сторон кентавроны и кентаврицы, взрослые и детвора, стали шумной оравой ловить оседланную лошадь, которая прибежала вслед за пленной хозяйкой от самого леса.

Там, выломаясь из кустов с двух сторон, Гнэс с Матой и сдернули с кучи хвороста отдохавшую амазонку, не дав ей опомниться и схватиться за меч. А визжавшую от испуга гнедую кобылу, которая попыталась вступить за хозяйку, кентавры изрядно покусали и, повернувшись к ней лохматыми задами, измолотили копытами. И та, обливаясь кровью, отбежала в сторону, но, преданная хозяйке, ее не оставила. А теперь, захлестнутая арканом, покрытая пеной, летевшей белыми ключьями с ее боков, кобыла шаталась, приседая, но вновь с отчаянным усилием вскидывалась на дыбы, хрипела, крутила хвостом, роняя из-под него дымящиеся яблоки. Самки кентаврские рычали на нее, а розовые кентаврята, высоко подсакивая, хлестали ее по голове колючими ветками. На что лошадь, выкатив кровавые глаза и прижимая уши, злобно храпела и скалила зубы.

За свободный конец аркана держались трое лохматых кентавронов, гоготали и дергали веревку, стараясь повалить кобылу. Та уже изнемогала, едва держась на ногах, когда сквозь толпу кентаврят к ней пробился лохматый, как медведь, седой кентавр Пассий с громадным облысевшим брюхом. Изображая крайнюю степень благородной страсти, чего у старого ветродуя и быть не могло, шутник навалился пюзом на кобылу, беспрерывно при этом подавая пахом, где бесполезно мотался вялый, хотя и внушительный на вид темно-багровый *елдорай*¹.

Подобрался к нему сзади совсем еще розовый кентавренок, белокурый, с глубокой ложбинкою на отроческой спине, схватил обеими руками старика за хвост и, оседая назад, с силою потянул на себя. Пассий, не успев оторваться от вздрагивавшей в ужасе кобылы, крикнул от боли и попытался достать мальчика копытом задней ноги, но тот отскочил на всю длину унижаемого хвоста, который старикан никогда не подрезал, не заплетал, а неряшливо волочил за собою, собирая на него пыль дорог, колючки и репы. Неуклюже соскочив с кобыльего зада и при этом получив напоследок копытом по скуле, Пассий со свирепым рычанием кинулся на тонкошеего гибкого кентаврénка. А тот, приподняв грибок свой кудрявый хвостик, со смехом понесся по дороге, далеко обгоняя пыльное облачко, поднятое его копытами и несомое вслед за ним попутным ветром.

Пока часть толпы забавлялась с пойманной кобылою, Гнэс и Мата, окруженные другими галдящими и радостно перхажующими кентаврами, подтащили амазонку к площади, откуда лучами расходились по сторонам соломенные улицы поселка кентавров. Коренастый вороной Мата потянул пленницу в свой проулок,

¹ Кентаврское слово. Далее будут отмечены курсивом и другие слова кентаврской речи. (Прим. автора.)

ПОСЕЛОК КЕНТАВРОВ

однако Гнэс, заранее ждавший этого, молча воспротивился: выпустил человеческую самку, прыгнул вперед, схватил Мату за косматые волосы, пригнул его голову и хряпнул носом о своё приподнятое конское колено. Тот фыркнул мгновенно хлынувшей кровью, однако добычи из рук не выпустил, облапил обмякшую амазонку, прижал к груди и тяжелым галопом понесся в сторону своей хижины.

От рева и криков смеющейся толпы и от неотвязных кулаков Гнэса вороной кентаврон ежился, человеческую спину свою выгибал горбом, но не бросал своей ноши и на бегу лишь крепче прижимал к себе нежное тело двуногой самки. А его здоровенный *елдорай*, вынырнув из-под плащ-попоны, выразительно застучал по муругому брюху охотника. Гнэс наконец, видя безуспешность своего кулачного боя, захватил и стянул попону вместе с завязками со спины противника на его круп, чем и сковал, словно путами, задние ноги убегающего Маты. Тот грянул оземь, кувыркнувшись со всего маху, и едва не раздавил своим грузным телом амазонку, которая откатилась по пыльной дороге к обочине.

Когда Мата, кряхтя и чихая кровью, подымался с земли и натягивал, словно штаны, сползшую попону, Гнэс обхватил его под мышками, передними конскими ногами обвил человеческую талию противника и попытался, свистя носом от натуги, повергнуть его на землю. Но могучий вороной, кое-как справившись с плащом, с силою тряхнул холкой, затем взвился на дыбы и легко сбросил с себя Гнэса, повисшего на нем. Зарывав, как лев, он обернулся и пошел на противника грузной иноходью, растопырив толстые руки по бокам своего широкого человеческого торса. Гнэс не осмелился на прямую схватку — взвизгнул по-жеребьячи и, лягая воздух задними ногами, отбежал в сторону. Но когда Мата повернулся и заковылял к лежащей в пыли человеческой самке, Гнэс вновь разъярился и под гогот всего племени выхватил из ножен бронзовый меч, занес над головою и пошел в атаку.

Он давно дружил с ловцом пушных зверей и истребителем львов Матой, вместе они рыскали по лесам и горам, спали рядом на разостланных пополах у костров, поровну делили добычу. Но теперь, видя, как здоровяк Мата утаскивает голоногую человечиху, чтобы одному *текусме* ее в своем вонючем углу, гнедой Гнэс был готов снести голову своему товарищу... И эта косматая голова с разинутым от испуга ртом была уже рядом, но увернулась от разящего меча, который со свистом пронесся мимо уха Маты, лишь отсек прядь волос и снова взвился вверх!

Неизвестно, чем кончился бы ревнивый бой двух охотников, может, гибелью кого-нибудь из них, не раздайся тут истошный визг скачущих во весь опор через луг молодых кентавриц.

На мгновение толпа замерла, как единое звериное тело, и занесенный над головою меч застыл, нетерпеливо вздрагивая острием. А мчавшиеся к поселку кентаврички, подхватив руками свои груди, оглядывались на всем скаку и пронзительно верещали с подвизгиваниями:

— *Итанопо! Томсло!* — Что означало — там люди на лошадях.

И не успели молодые кентаврицы, с мокрыми волосами, с каплями воды на своих кобыльих боках, преодолеть летучим галопом луг между рекою и поселком, как раздался беспорядочный грохот сотен копыт, забарабанивших по глиняным тропам. Поднялась над поселком пыль, кентавроны рассеялись во все стороны, спеша к своим хижинам, чтобы вооружиться по военной тревоге. А через минуту громадный мухортый битюг Пуду крутился посреди широкой площади, вскидывался на дыбы и, потрясая тяжелой кизиловой дубиной, хрипло ревел:

— Кентаврион! Стройся!.. Убью!

И послушные столь грозной команде кентавральские воины галопом выскакивали из проулков, от усердия роняя яблоки дымных *раккани* на дорогу. Поспешно облачаясь на бегу в доспехи, они выстраивались в длинную шеренгу. А позади них в неистовстве командирского рвения носился взад-вперед тяжело скачущий Пуду, свирепо крутя подвязанным в узел хвостом, и колотил дубиной по крупам кентавронов, выравнивая их с тыла. Последними прибежали охотники Гнэс и Мата, задержавшиеся потому, что вместе относили свою пленницу в земляную тюрьму и заключили ее туда до следующего спорного поединка. Увертываясь от гневных тычков командирской палицы, они проскакали к дальнему концу строя, влились в него — и сразу же раздалась новая хриплая команда Пуду:

— Кентаврион! С левой передней и правой задней!.. Вперед марш!

Мимо привязанной к дереву кобылы-пленницы с грохотом копыт проследовал ровно выстроенный кентаврион — к выходу из деревни далее через пойменный луг, занимавший берег реки. За рекою была просторная степь, откуда время от времени набегали враги кентавров — двуногие люди и дикие лошади.

Позади же деревни стеною отвесных скал вздымались к небу горы, и на далеких вершинных утесах изредка появлялись одни лишь круторогие муфлоны да спускались оттуда по неведомым ночным тропам снежные барсы, чтобы наделать переполоху в поселке и утащить какого-нибудь зазевавшегося кентавреника.

Выходом в неведомый мир был, таким образом, ровный луговой берег реки, на котором кентавры проводили военные учения, а иногда и давали настоящие сражения пришлому воинству степных жеребцов, амазонок и лапифов... Выбравшись широким проходом за глиняные стены поселка, кентаврион по команде начальника Пуду разомкнул строй и вытянулся по дугу вдвое длиннее. Однако верные многолетней выучке воины безупречно держали равнение, печатали строевой шаг и, ревниво косясь друг на друга, старались даже хвостами крутить одновременно.

ОТСТУПЛЕНИЕ 1. Одновременное вращение хвостом в строй никак не получалось, несмотря на взаимное рвение командира и воинов, и поэтому во всем безукоризненный с фронта кентаврион с тыла являл беспорядочный хаос машущих хвостов, что портило красоту и ладность строя. Один из самых великих кентавров, военачальник Пуду, попытался устранить этот недостаток с помощью подвешенных к хвостам длинных жердей, кои отягощали непослушные махалки и должны были их дисциплинировать. Но это нововведение, оказалось, мешает выполнению ряда команд, таких, как повороты фаланги в сторону и «кругом марш», и тем самым значительно ухудшает маневренность кентавриона — пришлось отказаться от жердей. Пуду, ожесточенный неудачей, сгоряча приказал всем кентавронам воинского возраста обрезать хвосты по самую репицу, чтобы вообще исключить хвостамахание в строй, но тут воспротивились и солдаты и кентаврицы, находившиеся с ними в содружестве независимого брака. Первые оттого, что им-де не подыхать же от мух, комаров, слепней и оводов во время лесного кормления и при заготовке дров на зиму, а кентаврицы забунтовали потому, что им, мол, тошно будет постоянно видеть перед собою *раккапи текус* (навозные дырки) своих мужей, для чего, то есть чтобы не видеть этого, им пришлось бы шить сожителям плащ-попоны, закрытые сзади, что при обычной неряшливости кентавронов привело бы к неслыханной пачкотне одежды. Итак, хвосты остались необрезанными и махали как попало.

Кентаврион развернул строй и двинулся к реке, откуда, с шумом разбрызгивая воду, выбирались на берег шесть всадниц на мокрых лошадях. Косые меховые безрукавки у всадниц были схвачены на правом плече круглой застежкой, левая грудь бутрилась свободною, плечо обнажено — это были амазонки, воительницы и охотницы на львов.

Довольно часто они, преследуя дичь или возвращаясь с набега из страны диких лошадей, забирались в небольшую замкнутую долину кентавров, порой мимолетно воевали с ними, но чаще уходили восвояси, лишь издали наблюдав за жизнью конеподобных чудищ. На этот же раз амазонки были настроены воинственно — одну из их отряда захватили Гнэс и Мата, напав у костра, где она жарила кабана, ожидая содружинниц с охоты. Теперь, чтобы выручить товарку, разъяренные солдатихи-амазонки решили напасть на кентавров.

С громким криком одна за другой вынесясь из реки, всадницы поскакали вдоль фронта надвигающейся на них с пиками наперевес конноногий пехоты кентавров. Сухие высокие лошади воительниц неслись, вскинув головы на гибких, откинутых назад шеях, амазонки припадали к ним, сжимая могучими ляжками конские бока. На скаку они доставали луки и клали на тетиву длинные стрелы.

Увидев подюжины воинственных человеческих баб, четвероногая солдатня обрадованно загоготала и, взмахивая хвостами, превесело застучала по своим конским животам напряженными *елдораями*. Но их военачальник Пуду, сам поначалу также захваченный видом голоногих человеческих самок, несущихся на лошадях, спохватился вовремя и зычно скомандовал:

— Кентаврио-он! Кончай *елдораить*! Готовь луки к бою! Дротики в зубы!

Эта команда живо напомнила конеподобным солдатам, что их ожидает, заставив притихнуть, а многих и поежиться в предчувствии уже совсем скорой *серемет лагай*. Всякие чувства, кроме робости перед скорой смертью, опали в них. Кентавры поспешно разинули широкие рты и, зажав зубами пики посредине древка, свободными руками принялись снаряжать к стрельбе луки.

Амазонки — бабы широкоплечие, рослые, с очень длинными руками; обнаженные левые груди у них выпущены на волю, а с правой стороны плоско, прикрыто полосой шкуры — там грудь выжжена для удобства стрельбы из лука. Луки имели они большие, из дикой яблони, и мощно стреляли своим особым способом: натягивая тетиву так, что рука с зажатым в ней оперенным концом стрелы оказывалась далеко за плечом. Целились, жмуря один глаз, круто выгибая грудь, повернув верхнюю часть тела над широкими бедрами в левую сторону, и спускали длинную, с железным наконечником стрелу свою с легким выкриком: «Хес-с!»

Кентавры же с короткими руками не могли пользоваться большим луком и стреляли они от живота, держа оружие поперек тела, так что их куцые стрелы летели вдвое ближе, чем у амазонок. Пользуясь сим преимуществом, те вели бой на скаку, погоняя выученных лошадей шенкелями. Они носились перед выстроенным кентаврионом и с далекого расстояния доставали его своими смертоносными стрелами. Сходиться же врукопашную отважные солдатики не решались: их смущала совершенно непостижимая для разумения вольных всадниц дисциплина пехотного строя, равномерная шагистика и несокрушимый вид атакующей фаланги, ощетиненной острым рядом пик с бронзовыми наконечниками.

Конноногие же пехотинцы видели явную опаску всадниц перед их сомкнутым строем и могли еще раз испытать в душе воинское самодовольство да непомерную гордость за командира Пуду, который все это ввел в кентавурской армии. И хотя стрелы кентавров жалким образом втыкались в землю далеко от крутившихся на конях амазонок, а стрелы воительниц выбивали одного за другим из марширующего строя, кентаврион живо смыкал ряды над убитыми, четко выполнял команды вождя, делая развороты налево, направо, — пер фронтом на отскакивавших голоногих солдатах.

Так продолжалось до тех пор, пока у амазонок не кончились стрелы в колчанах. На зеленом лугу валялось немало подстреленных кентавров, роя копытами землю в предсмертной агонии. Сойдясь в кучу, солдатики с великим удивлением смотрели на мохнатых чудищ, которые опять развернулись к ним фронтом и, перебежками выровняв строй, с дружным топотом нога в ногу двинулись вперед.

Воительница Апраксида, командирша амазонок, с толстыми, как бревна, волосатыми ногами, грузная, с напюльзавшими на края меховых штанишек складками сала на брюхе, привстала на стременах и проревела в сторону поселка кентавров:

— Оливья! Мы не смогли отбить тебя! Умри и знай: когда-нибудь отомстим за тебя, детка! Это сказала я, Апраксида!.. Апраксида-а-а!

Дважды выкрикнув под конец свое имя, суровая солдатиха нагнулась и, приподняв свою левую грудь, вытерла ею лицо, покрытое бранным потом и слезами. После этого она первую бросилась на коне в реку, отступая и уводя за собою отряд.

Узрев отступление врага, а значит, победу и конец упорного боя, командир Пуду ощутил в душе злость неудовольственного азарта и, забыв обо всем, бросил кентаврион и помчался к реке тяжелым галопом. Строй вмиг рассыпался, кентавроны взревели, засвистали в пальцы и, потрясая дротиками, тоже кинулись вскачь к реке. Самые резвые, обогнав военачальника, влетели по брюхо в воду и, торопливо наладив луки, открыли стрельбу по плывущим рядом со своими лошадьми амазонкам. Пуду вломился, грозно храпя и гневно пукая от ярости, в горлопанящую толпу солдат и в сердцах, размахивая кизиловой дубинкою, убил двух подвернувшихся под руку кентавров. Остальные дружно прыснули от него в сторону, разбрызгивая воду, и продолжали веселую беспорядочную стрельбу уже с оглядкой на командира.

ОТСТУПЛЕНИЕ 2. Кентавры не знали мнительного страха и жалости при виде ближнего умирающего, и этим объясняется их равнодушие к павшим на поле боя соплеменникам, которые валялись еще несколько дней среди луга, задрав к небу копыта. Мимо трупов бегали кентаврята на реку купаться,

спокойно проходили взрослые, пока от мертвецов не завоняло. Лишь тогда раздутые, поклеванные вороньем туши павших кентавროнов были сброшены в реку.

Пуду с беспомощным рычанием, исходившим из его широкой командирской глотки, смотрел вслед амазонкам, которые уже выбирались на противоположный берег. Лошади встряхивались, разбрызгивая воду, солдатики вскакивали на них, ложась вначале животом на конскую спину, затем перебрасывая через мокрый круп ловкие могучие ноги. И лохматый, громадный военачальник издала впи-вался алчным взглядом в зад военачальницы Апраксиды, обтянутый меховыми штанишками из барсовой шкуры. Никак не ожидал Пуду, что бой закончится столь быстро и неинтересно — ни повоевать вдоволь не удалось, ни взять в плен толстозадых амазонок. Сморкаясь в кулак и вытирая сморчок о свой мухортый конский бок, смотрел он угрюмо на то, как удирают на резвых лошадях уже недоступные человеческие бабы.

Кентавроны в мокрых доспехах, с лоснящимися разномастными телами, вразной выкрикивая «*ипари няло кокомла*» и «*мяфу-мяфу*», слова торжества и победы, выходили на берег. Они галдели, смеялись, перхая при этом с высунутым языком, шутливо перепукивались, встряхивались по-собачьи, поднимая над головою луки и колчань со стрелами, чтобы не забрызгать их водой.

Тут на глазах у всех кентаврон Гнэс пустил стрелу в спину зверолову Мате, и тот, в это время обсасывавший свежую рану на руке, задетой стрелой амазонок, взмахнул злой рукой, прогнулся назад в своем человеческом теле и, проскакав вперед шагов двадцать, рухнул на землю.

Стрела попала в человеческое сердце — у кентавров было по два сердца. Туловище человеческое успокоилось быстро, снигнув к земле, лошадиный же низ могучего зверолова упорно пытался подняться на ноги, иногда достигал этого и стоял, широко расставив копыта. Человеческий торс при этом свисал вниз головою, вытянув обмякшие руки. Но, вздрагивая от предсмертного напряжения, конские ноги долго не могли удерживать тело — вдруг резко подламывались в суставах, и все двуединое мертво-живое обрушивалось наземь, мелькая в воздухе копытами, поднимая тучу пыли.

Кентавры чуть было притихли, глядя на свежую легкую смерть (*сермет лагай*), но вскоре она вполне влилась во всеобщую картину, где по широкой приречной долине лежали и дрыгали ногами десятка три конченных солдат. И кентавроны следовали мимо, обходя их стороной, лишь изредка кто-нибудь приостанавливался, чтобы снять с убитого долбленный панцирь, забрать его меч и лук со стрелами.

Возле вероломного Гнэса оказался военачальник Пуду, брат застреленного зверолова Маты, и мгновенно впал в ярость. Увидев перед собою топаншего с самодовольным видом убийцу брата, Пуду решил достать вероломца ударом дубины, но одновременно с этим он начал мочиться, широко расставив задние ноги, и никак не мог прервать *ккани*, а за это время Мата успел уйти далеко вперед, и Пуду постепенно забыл о своем намерении. Довершив свое дело, командир тяжело заковылял вслед за своим воинством, с победой возвращавшимся в поселок.

А тут навстречу неслись во весь опор табунки кентаврят, которые шустро рассеивались по бранному полю, чтобы собирать разбросанные стрелы. Очень ценились амазонские *зюттиш*, потому что у них были железные наконечники, которых не умели изготавливать кентаврские бронзовых дел мастера. Разномастные кентавронцы и совсем еще розовые кентаврята первым делом подсакивали к убитым и тормозили со всего ходу, откидываясь назад и скользя на выпрямленных ногах. Схватить вперед других торчащую в теле погибшего стрелу значило почти что завладеть ею; но не всякому кентавренку было под силу выдернуть всаженную в кость амазонскую боевую стрелу. И если мальш не мог справиться с делом, то начинал верещать: «*Меролитс! Сунгмо!*» Что означало: меняю на жвачку-сунгмо. И тогда кто-нибудь из более старших менялся с ним, отдавая за трофейную стрелу жвачку из дикого пчелиного воска, выплевывая ее изо рта в подставленную ладонь кентавренка.

Темно-гнедой кентаврон с торчащей под горлом стрелой лежал в траве, и его лошадиное тело со вздутым брюхом, валявшееся на боку, изредка поводило ногами в последних конвульсиях. Подскакавший к нему кентавронец, которого

звали Мулу, с молодой черной шерсткой на боках, с ходу ухватил и дернул стрелу, но она не поддалась. И тут пробужденное болью конское тело кентавра начало судорожно биться, взбрыкивать задними ногами, крутить хвостом, отчего концевая оперенная часть стрелы вырвалась из руки Мулу и стала неуловимо крутиться в воздухе.

Поблизости оказался кентавронек Хелеле, сын погибающего, такой же темно-гнедой, как и отец. Он увидел старание Мулу добыть стрелу и вмиг возмутился. Лук и меч убитого отца он уже забрал, а на стрелу как-то не обратил внимания, и теперь этот Мулу, *хардон лемге*, хотел забрать чужую добычу! На мысках копыт тихонько иноходью подкравшись сзади, Хелеле пропорол отцовским мечом бок вороному, разворотил брюхо от ляжки до самого ребра, так что большая гроздь лиловых кишок вмиг вывалилась из кровавого разреза и закачалась над землей. Испуская пронзительные вопли, Мулу кинулся в сторону поселка, но не смог далеко отбежать и вскоре лег на траву шагах в тридцати от гнедого отца Хелеле.

А этот юнец сам взялся за дело и, упершись передними копытами в грудь родителю, чтобы тот не дрыгался, выдернул стрелу, бросил в колчан и тоже направился к поселку. Он протопал рысью мимо поверженного Мулу, который с земли, чуть приподняв голову, с укором посмотрел на своего приятеля — еще утром они вместе бегали на водопой к реке. Но Хелеле преспокойно обошел вороного, на боку которого громоздились вспученные кишки, и поскакал дальше, сильно встревоженный тем, что внезапно все взрослые кентавроны сорвались с места и понеслись галопом в направлении поселка. Вслед за ними устремились и кентаврята, собиравшие стрелы.

Это могло означать, что какая-то неведомая опасность надвигается на речную долину, где среди валявшихся трупов уже никого, кроме него, не осталось. И Хелеле завопил от страха, крепче прижал к груди отцовский колчан с луком и стрелами, пустил струю *ккати* и во весь опор помчался вслед за другими.

А всеобщий внезапный рывок кентавров к поселку начался из-за охотника Гнэса, который, избавившись от своего лохматого соперника, решил первым добраться до пленной человеческой самки. Но об этом же после боя с амазонками начали подумывать и многие другие распаленные кентавроны; и как только Гнэс рванулся вперед, так с дюжину солдат сразу же устремились вслед за ним. Все остальные, ничего не знавшие о пленнице или позабывшие о ней, кинулись вскачь вследствие внезапной паники. И сзади всей лавы несущегося галопом кентавриона грохотал тяжелыми сбитыми копытами военачальник Пуду, выглядевший вдвое больше обычного кентаврского воина.

ОТСТУПЛЕНИЕ 3. Стадная паника была свойственна племени кентавров, и это приводило к трагическим последствиям. Так, лет за сто до последних событий народ беспечных конелюдей насчитывал несколько тысяч голов и в один день вдруг сократился до одной тысячи. Причиной послужило то, что в древнем кентавском поселении наверху, в горной долине, где раньше проходила вольготная жизнь *томсло-танопо* (как они себя называли), появился некий сумасшедший по имени Граком. Никто из кентавров до этого не знал, что значит сойти с ума, никому и в голову не приходило опасаться сивого Гракома, когда он вдруг принялся грызть и съедать свой собственный хвост. Но однажды сивый начал биться головою о стену, прошиб насквозь глинобитный тын своего двора, выскочил на площадь и с диким визгом стал носиться по кругу. К Гракому вмиг пристроился какой-то вороной бронзовач с прожженной попоной, усатый и толстый. Затем еще кто-то примкнул — и вот посреди широкой площади закрутилась жуткая карусель из обезумевших от невнятного страха, дико орущих кентавров. Граком наконец помчался вон из поселка, за ним последовали остальные — и вот по дорогам, соединяющим кентавские деревни, понеслась бесконечно длинная, грохочущая тысячами копыт лава взбесившихся конелюдей. Невдолгих все население страны кентавров мчалось вслед за сивым предводителем, обуянное единым безумием. Затем долго падала со скалы в пропасть живая струя из кувыркающихся в воздухе кентавров... И уже давно первый из них, сивый Граком, упокоенно лежал внизу на камнях, разбившись в лепешку, а сверху все еще падали темные, дрыгавшие ногами тела. С той поры уцелевшие

кентавры не стали жить наверху, а спустились звериным ущельем в долину и поселились возле широкой, спокойной реки.

Зверолову Гнэсу не удалось первым доскакать до поселка, нашлись ноги порезвее. Но когда трое, далеко опередившие кентаврион, выскочили на площадь и подскакали к земляной тюрьме, где обычно держали пойманных страусов-мереке, то увидели, что яма пуста. На краю же площади старый бездельник Пассий и с ним еще один, старичок Хикло, давно уже не ходивший на войну, прикрутили к дереву пленницу и *текуме* ее *гинди бельберей калкарай!* Вернее, это делал желтолицый Хикло, а толстый Пассий топтался рядом, с завистливым видом наблюдая за действиями приятеля.

— *Хар-р-дон лемге!* — выругался один из прискакавших кентавров, раздосадованный тем, что гнусные старики опередили. — *Калкарай малмарай!*

Услышав грозный крик, старики оглянулись оба разом и обмерли со страху. Затем подхватили попоны за концы и резво махнули прочь, мотая *елдорами*. Кто-то из солдат оглушительно свистнул, и старики попытались пуститься вскачь, но Пассий с огруженным брюхом, достававшим почти до земли, споткнулся о камень и, валясь с ног, снес кусок глиняной стены, мимо которой пробегал. Хикло же успел завернуть за угол и скрылся в проулке.

Один из тройки прибывших кинулся было их преследовать, размахивая дротиком, направленным тупым концом вперед, но, спохватившись, не доскакал десятка шагов до Пассия, который вяло копошился среди обломков стены, — резко осев на задницу, солдат затормозил и развернулся назад.

Возле столба уже шла драка — и с такими тяжелыми взаимными ударами, что оба дерущихся попеременно глухо охали, получив плеху в скулу или пинок копытом в брюхо. Коротко пережидали, кружась друг возле друга, готовясь сделать новый выпад или, наоборот, отразить таковой. Воспользовавшись их боевым ослеплением, третий хитрый кентаврон живо задрал попоны и, привстав на задние ноги, беспрепятственно *чиндо бельберей лемге* в *текус* привязанной амазонки. Но только было он двинул своим каурым крупом, как из узкого переулка с громовым топотом вымахнула на площадь тесная толпа отставшего кентавриона.

Он был на некоторое время задержан давкою в воротах стены, окружавшей поселок, где из-за сшибки в тесноте образовалась плотная затычка из живых тел. В эту орущую затычку сзади ударил грудью слоноподобный Пуду и сразу задавил насмерть пятерых кентавров. Вожак с хриплым рычанием стал пробиваться к воротам, подминая под себя тех, что застряли на его пути; проникнув в самую тесноту, командир принялся могучими руками раздвигать затор и поотрывал многим головы и руки. Наконец он проскочил сквозь живую пробку в поселок, после чего она сама распалась, и вновь кентаврион хлынул вперед, опережая своего вождя. Напрасно он крушил направо и налево своей грозной кизиловой балдой — солдаты шустро обегали его с двух сторон и мчались дальше по улице.

И вот они, вылетев из узкой горловины проулка, набежали, закружились возле дерева с привязанной к нему амазонкой. Двух дерущихся около нее отшвырнули на самый край площади, а наяривавшего с оглядкой каурого грубо сдернули с места, и он покатился по земле, собирая пыль на свой влажный *елдорай*. В тот же миг попытался пристроиться к привязанной пленнице охотник Гнэс, но его живо снесли с копыт долой. И забурился бешеный водоворот на площади — кентавры дрались и кусали, уже не разбирая, кто кого. Ржали, как дикие кони, вскидывались на дыбы, таскали друг друга за волосы, крушили ребра, лягались задними ногами.

И все же Гнэс с окровавленным ртом подполз к дереву, распутал веревки и, подхватив пленницу, под общий шумок потащил ее в сторону. Но его заметили, и некто белый в серых яблоках, с длинным конским телом, со всего наскока выхватил у зверолова его добычу и поволок за собою. Только не удалось ему ускакать далеко: сразу с двух сторон с криком «*хардон*» налетели на него здоровенные битюги, один лысый, савраска по масти, другой широкоплечий, без шеи, бородатый, — они мгновенно ухватили амазонку за ноги и вырвали у белого. При этом бородатый воин, нагибаясь, звучно стукнул лбом по лысой голове саврасого кентаврона, как бульжником по бульжнику, и лысый пошатнулся, его повело в сторону, однако захваченной женской ноги он не выпустил. Приостановившись в замутнении, он невольно задержал устремленный бег бородатого — и кентавры чуть не разорвали свою добычу пополам.

Но их окружили, растащили по сторонам, а растерзанное дранье выхватили другие и поволокли по земле в сторону, грызясь на ходу, с визгом лягая друг друга, вскидываясь на дыбы, и, сцепившись в объятиях, обрушивались наземь. На минуту обозначились среди толкотни громадные плечи и лохматая голова военачальника — он что-то пытался там ухватить, но более мелкие и резвые, чем он, подхватили окровавленную тушу человеческой самки и стремглав унесли через боковой проулок.

Вся возбужденная толпа конелюдей с гиком ускакала с площади, только валяясь там и сям несколько изувеченных в сутолоке борьбы кентавров. Сидел на заду, словно собака, передними ногами упираясь в землю, ошеломленный лысый савраска с окровавленным носом, с багровой шишкой на лбу. Угрюмо понурившись, шагал в сторону своего дома кентавроводец Пуду, тер кулаком глаза и, ощеривая лошадиные зубы, утомленно зевал на ходу.

А разыгравшиеся вояки проскакали через всю деревню и снова выскочили на простор речной долины. Там они уже разделились на несколько независимых кучек, каждая старалась удержать у себя окровавленную тушу, на скаку перебрасывая ее друг другу.

Понаблюдать за их игрою высыпала из поселка пестрая веселая толпа — быстроногие кентаврята и молодые кентаврицы в цветных вязаных подхвостниках. Сзади ковьяляли несколько стариков и старух, зябко кутаясь в длиннополые теплые попоны. И только молодые кентавронцы, увлеченные совсем иной забавой, ушли в другую сторону к роще, ведя на веревке упиравшуюся кобылу-пленницу.

А на приречном лугу до самого вечера шла неугомонная игра, и уже затемно возвращались в поселок взмыленные, еле волочащие ноги кентавроны, сопровождаемые кентаврицами, которые делали им насмешливые жесты и при этом поднимали хвосты, тем самым намекая, что вряд ли теперь мужики хоть на что-нибудь годятся.

То, что было когда-то амазонкой, осталось валяться у самой реки, брошенное в траву, и это истерзанное нечто ничем больше не напоминало человеческое тело. Над затянутой в сумеречный лиловый туман долиною зеленело небо, первая звездочка еще не мелькнула на нем. И тихо покоились под этим ярким небом вечера мертвые тела кентавров, разбросанные по недавнему полю брани.

Но вот показалась бредущая вдоль воды понурая тень — невнятное пятно темноты, ковьялящее на тонких ногах, низко свесив голову. И это был не кентавр, восставший из смерти в предночный час, — это была почти до смерти замученная лошадь погибшей амазонки. Избитая палками, с обнаженными у холки ребрами, изнасилованная доброй сотней юных кентавронцев, кобыла еле смогла подняться на ноги и, выйдя из рощицы, где ее бросили, полагая, что она сдохнет, с трудом добрела до реки.

Попив воды, она ощутила приток сил и, словно подчинившись какому-то зову, тихонько пошла вдоль берега. Вскоре кобыла набрела на тело хозяйки, сразу узнала ее, хотя у той ни головы, ни рук не было и ничем не напоминала эта окровавленная туша амазонскую воительницу. Долго стояла лошадь, нюхая останки своей подруги и всадницы, затем молча принялась рыть землю.

Она рыла передним копытом, отбрасывая песок назад; повернулась в другую сторону и так же мощно копытила, расширяя яму. Долго она трудилась, постепенно зарываясь в землю с головою, выбрасывая песок резким гребком под брюхом... И когда показалась достаточной глубина вырытой могилы, она подошла к кровавому ошметку, ухватила его за ремешок сандалии и осторожно стащила в яму. Зарыв хозяйку, лошадь глухо прогудела утробой, посмотрела напоследок в сторону поселка кентавров и побрела прочь. Подойдя к тому месту, где днем переправлялись амазонки, кобыла бесшумно вошла в воду и поплыла через реку. Перебравшись на другой берег, она уже безбоязненно шумно отряхнулась и направилась в степную темноту.

2

Торговец несколько лет тому назад уже побывал в поселке, но если прошлый раз кентавры выпрашивали у него пуговицы, теперь никто даже внимания не обратил на самые превосходные изделия чужедальних мастеров. А кентаврицам было почему-то смешно, когда купец вынимал из коробки и протягивал им пуговицы. Глубоко засунув в рот большой палец, другою рукой теребя себя за

грудь, лохматая женокобылица при этом пучила на сторону глаза и едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться.

Вначале торговец даже подумал, что он попал в другое племя, но при виде знакомых кентавров, таких, как зверолов Гнэс и старикан Пассий, он убеждался, что племя прежнее. Только нет у причудливых конелюдей должной памяти, счел купец, словно у человеческих младенцев. Никто в этом поселке не помнил, что и кому задолжал, но никто и о возвращении себе долгов не поминал. И остался купец со своим коробом, полным гремящих пуговиц, а корней *кимпу* никто и не думал ему принести, как обещали в прошлый раз многие, одолевая пуговицами. И не понять было человеку, почему столь ценимые тогда кентаврами пуговицы теперь даже простого любопытства у них не вызывали. Он же ничего другого с собою не привез, и теперь нечего ему было предложить за корни *кимпу* и, главное, за черную смолу *янтю*, пахнущую овечьим навозом. К тому же не время было сейчас копать корни, и за смолою охотники пойдут в горы не скоро. Смолу собирали осенью, лазая по скалам, и это в прошлый раз делали для него звероловы Гнэс и Мата. И вот, оказывается, Мату стрела укусила (как обычно говорили кентавры: стрела укусила, меч укусил), и его постигла *серемет лагай*, то есть Быстрая смерть.

Купец не смог уговорить Гнэса пойти за смолою раньше осени или хотя бы просто на охоту в горы, чтобы завалить себе на мясо горного козла. Кентавры не ели мяса, они питались лесной растительной пищей, домашними корнеплодами — *лачачой*, и торговцу приходилось здесь почти что голодать. А в эти дни как раз созрела на полях *лачача*, и для всех *елдрайцев* поселка началась совсем иная охота. Весь поселок вылез за стены, одни чтобы подкрадываться к полям и воровать земляные плоды, а другие — караулить и не давать этого делать.

Обычно кентавры на еду выкапывали корни и луковицы, собирали грибы и ягоды *веруську*, рвали и ели с кустов молодые побеги. И только самки кентаврские умели выращивать одно: сочную кормовую *лачачу*, семена которой хозяйки бросали в скважины — *текус*, проткнутые в земле заостренной палочкой. Это делалось ночью, самки разбрелись в темноте поодиночке и совершали посадку в тайном месте. Ели *лачачу* в сочном виде, для привлекательности помыв в воде и развалив бронзовым секачом на большие куски.

Купец же не мог обходиться одним сыроедением, как племя кентавров, использовавшее огонь только для зимнего обогрева жилищ и бронзового кузнечества. А теперь, летом, чтобы сварить себе горсть диких бобов, торговцу приходилось разжигать очаг в какой-нибудь хижине, вызывая недовольное ворчание хозяев, которых беспокоил дым, — топились дома у кентавров по-черному. Он стал готовить еду на дворе, собирая щепки по проулкам.

Но вот у него стащили походный медный котелок. Кентавренок Ресятирикопаличек унес посудину, пока хозяин спал, и, выйдя на улицу, тотчас натянул котелок на голову. Тут подкрался сзади кентавронек Афоня и, размахнувшись, пристукнул сверху и плотно насадил посуду на череп Ресятирикопаличку. Тот глухо взвыл от боли и помчался вслепую, натываясь на заборы и стены. Кто-то подвел беднягу к воротам и выпустил на простор — кентавренок помчался по лугу, отчаянно крутя пушистым хвостиком и пытаясь на бегу стащить с головы удушающую каску. Ресятирикопаличек упал в реку с берега и утонул вместе с котелком, а вся деревня, высыпав за глиняную ограду, с громовым хохотом следила до самого конца за его нелепыми прыжками и слепыми метаниями.

Лишившись единственной посуды, торговец мог теперь есть только жареное на углях мясо ящериц и сусликов, которых ловили и приносили ему кентаврята. Охотник же Гнэс в эти дни совсем не ходил на охоту: за имевшееся у него в запасе шкуры лисиц и муфлонов кентаврицы готовы были давать ему не только *калкарый чиндо ленге*, но и пожрать *лачачи* сколько хочешь... И Гнэс блаженствовал, обедаясь сладкими корнеплодами, а торговец слонялся голодный, кое-как питаясь испеченными на палочках кусочками *лачачи*. Однако и эту малопригодную для него еду приходилось добывать с трудом — никто ему плодов задаром не давал, воровать же он боялся — бдительные хозяйки полей могли и зашибить насмерть. И приходилось ему зарабатывать еду пением и плеской, до коих кентаврицы были большими охотницами.

Никому не нужные, обманувшие его надежды пуговицы он решил раздать четворе, но и малолетние кентаврята с полным безразличием отворачивались от

них. И только беспредельный голодарь Фулю единственный брал протянутые ему горсти черепаховых пуговиц, тут же высыпал их в рот и не жуя проглатывал. Теперь, тоскливыми глазами посмотрев на куча словно бы в ожидании добавки, юный голодарь икнул и отправился дальше в поисках пищи.

А вскоре он уже забавлялся тем, что влезал на кучу хвороста и прыгал оттуда, чтобы, когда он приземлялся на все четыре, слышать вместе с еканьем селезенки и стук костяных пуговиц. Подобный звук занимал не только Фулю; вскоре около него собралась кучка таких же любопытных юнцов, и Фулю вновь и вновь залезал на хворост и прыгал, а заворуженно-восторженная толпа стояла вокруг и слушала, как брякают в его утробе костяные пуговицы.

Тогда и другие кентаврята прибежали к торговцу, прося у него пуговицы, чтобы глотать их и, подскакивая на месте, прислушиваться, как звучат они в животе. Купец щедрой рукою раздал все запасы из своей коробки, и вскоре штук пятнадцать кентаврят прыжками неслись по деревне, словно стадо бесноватых. А следом ходили многочисленные зрители, юнцы и взрослые, громкими криками и хохотом выражая свой восторг.

Но веселие это кончилось тем, что вскоре все кентаврята, проглотившие пуговицы, умерли в страшных корчах, и лишь обжора Фулю отделался благополучно, сумев извергнуть из себя разом девяносто пуговиц. При этом он весь покрылся потом и мелко дрожал.

Освободив коробку от пуговиц, торговец стал настойчивее приставать к знакомым кентаврам, чтобы они пошли в горы за смолой *янто*. Одна эта штука лечебная смола, если бы ее удалось набрать, принесла бы ему столько же золота. Исцеляющее от множества тяжелых недугов, средство это шло среди людей именно на вес золота. То же и с корнями *кимпу* — они стоили еще дороже, ибо, кроме лечебных свойств, обладали чудодейственной способностью пробуждать и мертвого к стремлению *чиндо текусме* и, самое главное, наращивать и наращивать *бельберей елдорай*, который начинал как бы даже звенеть от собственного перенапряжения. И эта дивная редкость водилась в лесах Кентаврии, и осенью кончеловеки могли выкапывать и жрать корешки сколько угодно, увеличивая главную мужскую силу, хотя им-то все подобное было вовсе ни к чему!

В эти дни посёлок был почти пустым, оставалось в нём лишь немного дряхлых стариков да младенцев со старыми бабушками. И уныло бродили пустыми улицами прирученные страусы-*мереке*, выковыривая из щелей проросшую в глиняных стенах молодую травку. Старцы собирались возле источника на краю площади, лежали на траве и дремали, привычно думая о самом дорогом для всех кентавров — о *серемет лагай*. Торговец иногда сиживал среди них и, тоскливо ковыряя пальцем в носу, слушал стариковские разговоры — все о том же, о легкой Быстрой смерти, даруемой некоторым счастливым кентаврам благосклонной к ним судьбою.

Торговец хорошо обучился кентаврскому языку, мог лопотать не хуже любого из них, но по-человечески он мог поговорить только с двумя кентаврами: военачальником Пуду и старым Пассием, которые когда-то были захвачены в плен и долго прожили среди греков. Вот и мог бы купец развлечься беседою с ними, коротая томительные дни ожидания осени, но Пуду в мирное время обычно ходил в одиночестве по берегу, заложив за спину руки, и думал о воинских уставах, а Пассий засыпал на третьем же слове, склонив огромную лысую голову и пуская шипучие ветры. И от тоски одиночества древнему греку часто приходилось разговаривать самому с собой.

А вокруг поселка было шумно от женского гомона, яркие попоны и подхвостники пестрели повсюду. Сытые кентаврицы стояли или возлежали посреди своих полей, недавно еще тайных, и множество крупных черных птиц прыгало подле развороченных ямок, откуда уже были вынуты крупные глыбы *лачачи*.

Все кусты, растущие вокруг этих полей, шевелились словно живые: за каждым из них прятался какой-нибудь охочий кентавр, выслеживающий из своей засады хозяйку поля. Он ждал, когда она задремлет, навалясь сытым животом на кучу собранных корнеплодов. И когда это происходило, *елдораец* высовывался из-за куста и, замерев неподвижно, еще какое-то время следил за хозяйкой, сомневаясь, уснула она на самом деле или только притворяется. Но уверившись, что все надежно, он на полусогнутых, растопырив руки и приподняв плечи, султаном воздев хвост, крадущейся иноходью подступал к наваленному

лачачовому холмику, на вершине которого возлежала, уткнувшись лицом в подложенные руки, похрапывающая кентаврица...

По всей кентаврийской долине в эту пору зрелого лета шла однообразная брачная игра. Когда созревала *лачача*, каждая хозяйка уютно вычищала поле от сорной травы, оставляя одни лишь торчащие из земли круглые плоды. И начиная с края, кентаврица принималась вытягивать их и сносить к середине поля, складывая в кучу. Собрав урожай, хозяйка тут же принималась поедать его, возлежа рядом с *лачачовым* холмиком в позе отдыхающей лошади и сидящей женщины. Эта женщина чистила ножом мажущую соком *лачачу* и, нарезая ее крупными кусками, насыщала лежащую лошадь.

Тогда и начинали шевелиться кусты возле полей, и за кустом прятался кентавр, жадно принюхивавшийся к тому, как пахнет любимое лакомство, а также и сама кентаврица в эту пору. На задремавшую хозяйку он налетал сзади и всегда удачно попадал куда надо, а она, лежащая в удобной позе, сначала даже не оглядывалась, хотя уже не спала, и ни в чем ему не противилась. И лишь потом, глубоко удовлетворенная, бросала первый взгляд на него, желая узнать, кто таков сей внезапный ее жених. Если он продолжал ей нравиться, она бывала нежна к нему и позволяла мужику нажраться плодов до отвала, пока у него глаза на лоб не полезут. А если жених был ей почему-либо не по нраву, она разрешала ему слегка угоститься начищенными *лачачинами* — и внезапно давала здоровенного пинка в зад и выпихивала вон с поля.

При любой попытке какого-нибудь наглого *елдорайщика* воспротивиться или к тому же ухватить и унести охапку чужого добра женокобылица быстро поворачивалась к нему задом и молотила его по бокам тяжелыми твердокаменными копытами. С тем и провожала гостя хозяйка, вскидывая при каждом взбрыке подхвостник выше головы. И уже на краю поля, глядя вслед удирающему галопом жениху, она успокаивалась, поправляла подхвостник, отклоняясь всем своим женским корпусом назад, задно расправляла на себе задранную попону.

Если же в кентавре жеребец оказывался слишком дик и необуздан, то кентаврица звала на помощь, и на ее вопли сбегались молодые девушки, бродившие по лугам с венками на головах: Сии молодичи еще не сажали *лачачи*, игр с жеребьячьими кентаврами не затевали, и взрослые кентаврицы опекали их, подкармливали *лачачой*, учили, как отражать внезапное нападение *елдорайца* с тыла, нещадно колота его по зубам задними копытами. И вот пять или шесть гибких красоток, прилетевших на зов матроны, гнали с поля мохнатого битюга, атакуя его задом наперед и вскидывая свои стройные бабки выше спины.

Все это видел пришлый торговец, бродя полями в поисках заработка. И если хозяйка поля бывала настроена добродушно после недавнего свидания с каким-нибудь гостем, то позволяла человеку зайти на поле и немного попеть и поплясать перед нею. Ублаготворенно вздыхая и лениво поигрывая приподнятыми на ладонях грудями, она смотрела, как иноземец танцует под свое пение и хлопанье в ладони. Потом она вознаграждала его корнеплодом и недолго разговаривала с ним по-кентаврски, забавляясь тем, как смешно он произносит слова.

— Что будешь делать, — спрашивал торговец, — если придет начальник Пуду и сожрет всю твою *лачачу*?

— Где Пуду? — оживлялась кентаврская баба и оглядывала ближайшие кусты. — Если ты увидишь его, то скажи ему, пусть приходит ко мне.

— Значит, все вы одинаковы, — бормотал тоскливый иноземец. — Всем вам одно только подавай, да побольше.

Женокобылица молча взирала на него, щуря раскосые глаза, и он, видя в них немой вопрос, давал объяснения:

— Ну да, этого самого: *бельберейским* лемге тебе в *текус*.

Но тут четвероногая хвостатая женщина закрывала глаза и, обронив на грудь голову, сцепив на животе руки, погружалась в neodолимую дрему. А иноземец бормотал, уставясь пустыми глазами в ее лохматую макушку:

— Какими тяжкими путями я добирался до вашей проклятой страны! Но это во второй раз. В первый же раз мне пришлось сделать всего два шага, чтобы оказаться у вас. Передо мною раскрылась завеса мира!.. Это случилось, когда я шел с караваном по финикийской каменной пустыне. От каравана я отстал, но зато оказался почему-то в вашей Кентаврии, и карманы мои были полны пуговицами.

ОТСТУПЛЕНИЕ 4. Когда люди начали умирать в караване от кровавой холеры, купец стал срезать с их одежды пуговицы. ибо заметил, что у каждого на одежде они особенные. Он хотел эти пуговицы сохранить в память о погибших. Караван был огромным, каждый день умирало много людей, и скоро карманы у купца наполнились пуговицами. А от каравана осталось всего шесть человек. Тут начался холерный понос у самого купца, и он подумал с горечью, что напрасно собирал чужие пуговицы. Когда он, ослабев, свалился с седла, пятеро спутников даже не оглянулись и уехали дальше. Вслед за ними ушла и его лошадь — в числе других лошадей, которые оседланными, но без седоков следовали за караваном. Купец увидел недалеко от того места, где лежал, белый песчаный оползень на крутом склоне холма, заросшем небольшими раскидистыми деревцами. И в неимоверной тоске захотелось ему умереть, лежа на этом белом склоне. Он поднялся на ноги и, пересиливая смертную слабость, направился к холму. До песка он, какется, добрался — и тут разошлась перед ним завеса мира, ставшая на миг видимой для него. Надо было совершить усилие и пройти сквозь эту завесу — он сделал всего два шага. И вдруг оказался сидящим на площади в окружении большой толпы кентавров. Он был жив и, оказывается, совершенно здоров, и в карманах у него гремели пуговицы.

Объединение *лачачой* и сопутствующие обжорству брачные игры продолжались ровно столько дней, сколько нужно было, чтобы съесть урожай корнеплодов. За это время все дряхлые старики, слабые на ноги, умирали голодной смертью и высыхали где-нибудь на задворках, не удосуженные быть похороненными. В поселке почти никого, кроме больных и неходячих кентавриархов, не оставалось в эти дни. Даже старухи с младенцами на руках ночевали в лугах, расположившись под открытым небом возле костров, потому что кормящие молоком матери стерегли свой урожай и бегать домой к грудным кентаврашкам не могли. Старенькие няньки теперь были у них под рукой, за услуги свои получали любимое лакомство.

Кентаврская же молодежь в дни сбора *лачачи* сбивалась в собственные кентавронческие табуны и отправлялась в лес на кормежку. Обычно еду для детей и стариков приносили из лесу матери кентавроны, ведь на слабых и малых могли напасть хищники, но в страдные дни взрослые переставали заботиться о молодом поколении, потому что были заняты иным делом. Тогда дети заботились о себе сами.

У юных кентавричек в эти дни появлялись свои заботы. Понаблюдав из-за кустов за тем, как их родительницы, охваченные мужскими руками, вытягиваются и раскачиваются взад-вперед, младые полукобылицы сами желали заняться тем же. И находили, что едва покрытые лошадиной шерсткой бесчинствующие на улицах поселка сверстники, то и дело пребольно хватающие их за груди, вполне годятся для этого дела. Так что в пору любовных оргий взрослых розовые подростки устраивали себе не менее веселые игры с совместными походами в лес.

Один лишь кентавр Пассий в эту пору ничего не хотел кроме того, чтобы поесть чего-нибудь; с тем и ходил каждый день в лес. Проходя мимо полей с обжирющимися и брачующимися, он делал вид, что совершенно не интересуется ими, и даже голову отворачивал в сторону. На своей обрюзгшей курносой физиономии он хранил твердокаменное выражение и только звучно плевался от избытка набегающей слюны.

Однажды, встретившись с торговцем, который выбирался с какого-то поля с пустыми руками и бормотал под нос кентаврские ругательства, Пассий приветствовал его на греческом языке:

— Удачи тебе, любимец Гермеса!

— Э, никто уж не любит, — отмахнулся с досадой торговец. — Вот, пел перед ней и прыгал, как козел, а она, гада, *ккапистая текус*, даже *лачачинки* не дала! Куда идешь, досточтимый Пассий?

— В лес пожрать то, что боги дадут, а не эти *калкарайки*, — отвечивал кентавриарх. — Пойдем вместе, *рекеле* чужеземец.

— Что ж... — согласился торговец.

В прошлый раз он мгновенно попал в страну кентавров, пройдя сквозь завесу мира, но зато выбирался два месяца, карабкаясь по горам и каменным распадкам. И воображая эту тяжкую дорогу назад, в мир людей, да еще и без драгоценных

кимну и янто, он обмирал в тоске и думал: «Зачем я пришел сюда? Для чего боги открыли мне эту кошмарную страну?»

Когда они вдвоем, мохнатый кентавриарх со свисающим почти до земли брюхом и унылый человек в изодранном платье, шли по вытопанной копытами дорожке, мимо них пронеслась, обгоняя, ватажка кентавричек, словно стайка щебечущих ласточек. И пока два пустых желудка медленно продвигались к лесу, их успели обскатать еще несколько табунков молодых кентавриц и кентавронцев. Они тонкими голосами напевали:

— *Инкерт працу келеле! Катвах десис текусме!*

Старый Пассий только башкою вертел туда и сюда, выслушивая все эти несусветные оскорбления, да испуганно при этом моргал сырыми набрякшими глазами. Торговец же попытался ответить, выкрикнув вслед обидчикам: «*Бельберей калкарай...*» Но тут один из кентавронцев отстал от дружков, развернулся и, с хмуроватым видом подскакав к торговцу, принялся гваздать его задними копытами, повернувшись к нему юным задом, и при этом все время норовил заехать по скулам. Лишь тогда отвязался злой кентавренок от человека, когда тот догадался нырнуть под грузное брюхо Пассия. Кентавриарх остановился, благожелательно растопырив ноги, тяжело вздохнул и столь пристально уставился на драчуна, что тот не выдержал взгляда, отвел глаза в сторону и, развернувшись на одной ножке, стреканул с места в карьер — догонять свою компанию.

— Нелепость моего положения еще и в том, — говорил торговец, выползая из-под брюха стоявшего враскоряк кентавра, — что я ведь не из вашего полуживотного мира, а из человеческого. И все, что я испытываю здесь, не имеет к моей жизни никакого отношения.

— Точно так же я думал про себя, когда был у вас в плену, — пробормотал кентавр, с рассеянным видом пустив струю *ккани* в затылок торговцу.

Утираясь пучком травы, купец отполз в сторону и уселся на землю сохнуть. Старик Пассий тоже присел на дорогу, упершись передними ногами, а человеческие руки скрестив на груди. Огромное брюхо его при этом пузырем легло на вытопанную траву, *елдораи* согнуло пополам.

— Почему эти жеребятки бегут в лес? — вслух рассуждал торговец. — Вон их сколько проскакало туда, а из деревьев скачут все новые засранцы.

— Они собираются в лесу все вместе, чтобы раньше времени, чем когда им можно тыкаться, совершать совместную *ырыд илеши калкарай*, — с задумчивым видом отвечал старый кентавр. — Видывал я такое в селениях карликов *киркеров*, у них молодежь, перед тем как всему племени вымереть, начинала бешено *илеши ырыд калкарай...*

— Но этим не спасешься, — злорадно молвил купец, осторожно слизывая кровь с разбитой губы. — Что толку для племени, если его сосунки начинают *калкараить* своими зелеными огурчиками.

— Спасения в этом нет, — согласился кентавриарх, — однако что поделаешь, если им хочется стукнуть *елдораем* по брюху, как мечом по щиту? Это утешительно и для молодежи и для стариков.

— Так что же, старина? Чуете вы, что ли, свою скорую погибель? — спросил человек.

— Не мы чует, — ответил кентавр. — Она чует.

— Кто это?

— *Серемет лагай*.

— Вот как... Но вы же любите умирать, — молвил человек, — ваши старики только об этом и говорят.

— Мы не любим умирать, — отвечал кентавр, — мы любим помахать. Но для меня это не имеет больше никакого значения, — продолжал он, вздохнув грустно. — Когда я был в плену у людей, то видел, что ваши самцы и самки тоже любят помахать не хуже кентавров. Я понял, что в этом вся истина — *сулукве*. Но однажды ночью некая знатная дама с большим белым задом стала *текусме* со мной через решетку клетки, в которой меня возили напоказ по разным городам и селам. Ее поймали прямо на мне, потому что с нами случилось то же самое, что бывает между собаками. И у меня хозяин тут же вырезал *елдолачу...* С этого дня вся *сулукве* этого мира для меня уже ничего не значит, иноземец, но ты об этом никому из кентавров не рассказывай и не объясняй им — они ведь ни о чем таком не знают, не понимают, и не надо их пугать.

— Что ж, в твоих словах есть своя *сулукве*, — согласился торговец. — А как же ты, бедняга, сумел убежать из плена и вернуться домой?

— Передо мною разодралась завеса мира, — был ответ.

— Как?! И перед тобой также? — воскликнул иноземец.

И поскользнувшись на жидком *раккани*, оставленном на дороге каким-то поносным кентавренок, он чуть не упал. Они были уже на подпути к лесу, где закурились там и сям беловатые хвосты дыма, поднимаясь из темно-зеленых куш.

— Это, я понимаю, случается в самое неожиданное время и самым непонятным образом, — с задумчивым видом произнес Пассий.

— Совершенно непонятно и неизвестно когда! — подтвердил человек. — Ведь так и не нашел я ту прореху, через которую первый раз пришел сюда. А второй раз путь мой к вам был долгим и страшным — как и путь отсюда, дорогой Пассий. И никакая завеса передо мною уже не раскрылось. Так кто же, по-твоему, раздергивает эту проклятую занавеску?

— Тот, кто и сейчас внимательно наблюдает за нами, иноземец, — сказал кентавр. — И кому смешно, что я тащусь сейчас по дороге со своим бесполезным *елдораем*. Кому смешно, что мы такие смешные.

— Когда я много дней шел сюда по горам со шкатулкой пуговиц под мышкой и с лаконийским мечом в руке, то мне и вправду показалось, что кто-то смеется надо мной, — бормотал торговец. — А что смешного в том, что я хочу стать богатым? Ведь в этом вся *сулукве* нашей человеческой жизни — каждый хочет разбогатеть. Вы, животные, не понимаете этого, значит, вы не знаете *сулукве*, не знаете, зачем вы живете...

Когда они подошли к лесу, в глубине его мелькали, словно чьи-то красные зрачки, огненные пятна начинающегося лесного пожара. И на свету пламени мелькали темные и шустрые, как муравьи, фигурки кентаврят

— А я хотел поест хотя бы грибов *мрычи*! — разочарованно воскликнул Пассий. — Ведь похоже на то, иноземец, что все пропало. Лес сгорит, и нашему народу грозит голод!

Жаркое лето высушило лес, и он воспламенился в одно мгновение от костров, разведенных юными кентавронцами. Теперь они, бегая по огненным смыкающимся лабиринтам, на всем скаку падали в огонь, вдохнув полную грудь пламенного жара. Некоторые успевали выбежать на край леса и, роняя ключья догорающих попон, стремительно неслись по чистому полю. Стараясь ускакать от огненной муки, иные оказывались довольно далеко от опушки леса — там и валялись наземь в рое искр, взятые смертью на всем скаку.

Старый кентавр и пришлый торговец стояли и смотрели издали, как огненное бедствие уничтожает большой лес с главным пропитанием кентаврского народа и как гибнет в пожаре молодежь, цвет нации. Небесный ветер между тем обрушился с невероятной мощью на горящий лес и погнал пламя в его глубину по широкому и длинному ушелю как по трубе. Хвойные и эвкалиптовые деревья, основное население леса, вспыхивали и сгорали в одно мгновение, принесенные в жертву какому-то неизвестному и непостижимому замыслу. Кентавр и человек понимали это, глядя на огненный бурлящий ад, который устремил свой поток в сторону гор.

— Ну вот, теперь вам всем будет и на самом деле *сермет лагай*, — кривя разбитые ударом кентавронца губы, молвил торговец. — И мне, похоже, незачем уже дожидаться здесь осени. Пропали мои корешки и смола *янто*!

— А я боюсь, Быстрой смерти моему народу не видать, — вздохнул мудрый кентавр. — И для меня ясно одно: с этого дня начну медленно, а не быстро, подыхать с голоду. Если только ты не поможешь нам, иноземец.

— Ты шутишь, наверное, Пассий! — воскликнул купец. — Мне и самому жрать нечего!

— Шучу, конечно, — подтвердил кентавр.

И еще более голодными, чем были, они возвращались назад, уже ни о чем не заговаривая друг с другом. Когда возле самого поселка они собирались разойтись по разным дорогам, то увидели темную густую толпу кентавров, выбегавших из ворот. Не обращая внимания на горевший лес, добрая сотня разномастных воинов понеслась галопом к реке, на бегу надевая деревянные доспехи и опоясываясь мечами.

— *Томсло! Томсло!* — кричали некоторые из них и добавляли для ободрения самих себя: — *Хардон лемге!*

— Где они увидели людей?— востропнулся торговец и тотчас пустился бегом вслед скачущему кентавриону.

Последним из ворот вынесся тяжело скачущий Пуду, размахивая над головою громадной дубиной из цельного кизилового ствола.

— Кентаврион!.. На месте стой! Стройся!— хрипел он, кашлял и отхаркивался на всем скаку, пальцем свободной руки зажимал ноздрю и сморкался на землю тяжелой соплей.— Убью!

Но убежавшие вперед кентавроны не слышали его или делали вид, что не слышат; обнаружив странное явление на берегу реки, они были настолько захвачены увиденным, что вмиг забыли про воинскую дисциплину, вколотенную в них командиром Пуду.

ОТСТУПЛЕНИЕ 5. Когда-то кентавренок Пуду был похищен амазонками и затем продан фракийским купцом. Те перепродали его македонцам, и у них Пуду, вымахавший с небольшого слона, был оценен в своих воинских достоинствах и зачислен в фалангу правофланговым. Не было солдата более надежного и доблестного во всех македонских армиях всех времен. Там, в своем родном подразделении, наставляемый мудрыми командирами, изучил он строевой устав и обрел несокрушимую веру в воинский порядок. Затем в одном заморском походе македонцы были разбиты противником. Отступив к берегу, они сели на остатки кораблей и бежали морем. Однако буря разметала флотилию, и триера, на которой плыл раненный в ногу Пуду, перевернулась; все находившееся на ней воинство утонуло. Лишь Пуду, несмотря на торчавший в ляжке наконечник стрелы, за четыре дня добрался до суши. Он вынужден был во все эти дни хватать зубами из воды и жрать рыбу — не как пищу, а ради ее пресного сока вместо питья. После моря звериный нюх провел его через многие страны, которые он миновал глухими и безлюдными ночами, днем же прячась в болотах и лесах,— и вывел к родной долине, к единокровному племени... Не мог он не дать соплеменникам такого блага, как строевой устав, потому что сам без него был уже не способен существовать.

Подбежавшие первыми к реке кентавроны без строя увидели перед собою некий большой предмет, содержащий явный соблазн для них. Сей предмет был похож на огромный корнеплод *лачачи* самой дивной формы и такого же зеленовато-серебристого цвета. А перед ним, выстроившись в недлинную цепочку, стояли четыре *тамсло*, и один из них махал поднятой рукою. Но в этой руке с четырьмя пальцами (больше не было) он как раз держал настоящий плод *лачачи* вполне обычных размеров. Видимо, жест этот означал призыв к вниманию всех кентавров, и они замерли, выпучив глаза, раскрыв рты.

Затем он начал им внушать, ни слова не произнося вслух,— в головах кентавров зажужжала мысль, как бы выраженная на их языке. Они внимали: «ПРОНОРИ КУЫРК АМ КУКЕМВРИ, СОРИМАР ТАНОПО И МАНГ Ю ЛЕМГА ВИРЕМБИ ЛАЧАЧА МЯФУ-МЯФУ. ЗОМЕ АМДА МЕН ШУ МЕТЬ ЕЛДОРАЙ, ПАСИВАСИ ЛЕКЮНТРОПУСКАЙТЕПАРЕК, И ЧЕНГА МИЛЕЙШИЕ Ю МЕНДО, ГАМ ЧЕ САТЬ НЕ ЕВПАТИ». И услышав все это, кентавры обрадованно замахали хвостами. Большеротые физиономии их расплылись в самой добродушной улыбке, губы развесились, как ягоды *веруськи*. Ибо услышанное означало: «Дорогие кентавры, ваш лес горит, и скоро всем будет нечего жрать. Вам здесь все равно придется пропадать, потому что не дадут жить ваши милейшие соседи — дикие лошади и амазонки. Поэтому мы хотим переселить вас всех на другую планету, где растет в изобилии вот такая *лачача* и вы можете ест ее сколько душе угодно. И там вам придется жить прилично, *елдораи* завязать в узел, а вашим дамам носить подхватывающие их груди мешочки на лямках, и это все».

Тот, кто держал плод *лачачи* в руке, сделал шаг вперед и внятным тонким голосом произнес:

— *Меролимо?*

— *Уаф! Уаф!*— живо отозвались некоторые кентавры и, высунув языки, стали шумно перхать, как это делают горные козлы, когда они чем-нибудь очень довольны.

Молодой кентаврон Потогришечек, лохматый, бородатый и румяный, коренастый, приземистый и маленький, не выдержал больше и, торопясь скорее к счастью, кинулся первым к огромному светящемуся телу, которое кентавры быстро назвали *елдолача*, яйцо то есть. За Потогришечеком рванулись еще несколько кентавронов, но тут налетел на них сзади подоспевший Пуду и с ходу уложил одного ударом кизиловой балды. Он хотел зацепить и Потогришечека, тот едва успел увернуться и отскочить назад к остальным.

— Кентаврио-о-он! Стройся! — грозно заревел главнокомандующий, попутно пытаясь зацепить еще кого-нибудь своей дубиной. — Воевать, *калкарай малмарай!* — ревел он. — К бою готовься!

И пришедшие в себя солдаты вновь обретали чувство дисциплины, выбегали на ровное место и привычно выстраивались в две шеренги. Возбужденное безудержное хвостомачание постепенно упорядочилось, строй выравнивал носки копыт. Пуду отошел в сторону и для вящего порядка заставил кентаврион помаршировать на месте, считая:

— Ду! Прол! Цайн! Чимбо!

Четыре круглоголовых *томсло* между тем разомкнули строй пошире, и тот, кто поднимал над собой *лачачину* да внушал соблазнительные мысли, теперь отбросил в сторону не нужный больше корнеплод и стал копаться четырьмя своими ручными присосками у себя за поясом. По его примеру и три остальных *томсло* полезли за пояса и вынули оттуда какие-то скрюченные предметы о двух концах.

Удачно выстроив кентаврион, военачальник Пуду приказал взять дротики в зубы и приготовить луки к стрельбе. Полководческая наука предписывала при встрече с неизвестным противником не сразу сходитьсь врукопашную, а сначала попытаться достать его издали стрелами. Все враги, думал Пуду; кто не кентавр, тот и враг. Пускай его сначала кунет стрела, а там посмотрим, *лемге хардон*.

Но в продолжение сей полководческой мысли кто-то считывал ее прямо с мозговой извилины Пуду и возражал на нее обратной мыслью: а что, если стрелу не пускать и не воевать, а сейчас же начать переделку всей жизни, *уаф*? На что мозг главнокомандующего кентавра отвечал: *раккати* все это, никакой переделки не получится, обман все это! А надо бить врага до полного уничтожения...

— Кентаврион! Готовься! — скомандовал он, стукнув по земле дубиной, которую крепко сжимал обеими руками.

Стрелы полетели в четырех, короткие тяжелые кентаврские стрелы. Но еще в воздухе они превратились в мягкие веревки и бесславно упали в траву, не долетев до цели. Мало этого — упавшие стрелы, ставшие веревками, вдруг зашипели, задымились с одного конца и начали гореть огненными комочками, которые быстро передвигались к другому концу стрелы, как бы пожирая ее. Подобравшись же вплотную к бронзовым наконечникам стрел, бегущие огоньки мгновенно сливались с ними в едином оглушительном хлопке с разлетающимися искрами. И на лугу словно заплясали огненные блохи, окутанные клочьями голубого дыма.

Четверо стояли неподвижно, выставив перед собою блестящие изогнутые предметины, а необычайно возбужденные кентавры с громовым хохотом побросали строй и кинулись рассматривать вблизи скачущие огненные трескунчики. Четвероногая пехота уже не обращала внимания ни на маячивших перед нею в строю *томсло*, ни на свирепую колотьбу дубиной командира, который словно с ума сошел и крушил направо и налево, разбивая набалдашником кизиловой дубины хохочущие головы своих солдат.

Удивленные *томсло* наблюдали за кентаврской Быстрой смертью и не могли взять в толк, почему *серемет лагай* сопровождается столь бурным весельем, боковым дурашливым поскоком прыгающих кентавров, умирающих под ударами кизиловой балды с широко разинутой от смеха зубастой пастью.

И вот по знаку одного из *томсло* все четверо навели свои изогнутые предметы на прыгавших в веселье конелюдей, и раздались пронзительные «пик! пик! пик!» И лишь прозвучали эти писки, стали мгновенно исчезать в воздухе один за другим, целиком, особи резвящихся кентавров. И только соловый Лютес, съевший когда-то семь ящериц, исчез не сразу, а после семи прозвучавших «пиков», точнее, Лютес после выстрела сначала исчезал, но тут же появлялся снова, хохоча и прыгая, как прежде. Но после третьего выстрела он исчез наполовину: человеческий перед его исчез, а задние ноги и машущий хвост

кентавра продолжали бесноваться на месте. После четвертого выстрела произошло нечто замечательное: левая нога отделилась от правой, обретя совершенно независимое скакание, хвост также отделился, продолжая самостоятельно махать, распалось единое тело, и обнаружилось, что оно до сих пор было не чем иным, как союзом независимых членов! И на уничтожение каждого из них понадобилось по одному выстрелу.

Эти ли мгновенные исчезновения кентавров, внушение свыше или попросту возымевшие действие доводы кизиловой дубины Пуду, но что-то повлияло на поведение разложившегося воинства. Остаток кентавриона вдруг сам, безо всякой команды бросился в сторону на широкий бугор и выстроился на его вершине в две шеренги.

И остался на ровном лугу один командир Пуду да молодой бородач Потогришечек подхватил с земли отброшенную пришлым *томсло лачачину*, которую шустряк давно заприметил, и пустился галопом наутек, прижимая добычу к груди. Одинокое «пик» прозвучало вослед убегающему, но, видимо, стрелявший промахнулся: Потогришечек благополучно исчез за бугром. И тогда четырехпалые каратели (или спасатели?) открыли беспорядочную стрельбу по оставшемуся в одиночестве кентавроводцу Пуду. Но все было напрасно: он не исчезал. Видимо, Пуду (как и Лютес), евший мясо в молодости, будучи солдатом македонской армии, съел этого мяса столько, что его тело стало непроницаемым для лучевых снарядов пикающего оружия пришельцев. И только задняя правая нога его, когда-то раненная стрелой, вдруг без крови отскочила от бедра и заскакала независимо.

В это время кентавроны, выстроившиеся на вершине бугра, начали без всякой команды маршировать, да так ладно и с таким усердием, что даже хвостами замахали совершенно одновременно и единообразно! *Калкарарай малмаррай!* Так именно предписывал их командир Пуду и многие годы тщетно пытался добиться такого хвостомаршания от подчиненных.

А теперь он на трех ногах продвигался к марширующим, тихонько рыча от радости и едва сдерживая слезы восторга. Между тем, выйдя строевым скорым шагом на самый верх широкого бугра, уцелевший кентаврион как бы затанцевал весело... Затем сделал четкий поворот направо, оказавшись фронтом к приближавшемуся командиру, и стал звонко чеканить копытами шаг на месте!

Полководец Пуду наконец приблизился к своему войску, стал под бугорочек и хриплым от волнения голосом начал держать счет:

— *Ду! Прол! Цайн! Чимбо!*

Войско безупречно печатало шаг, держало строй; Пуду отступил, любуясь им. И тут же рухнул на землю, тяжело завалившись назад. Он еще не привык к тому, что не хватает ноги, и попытался опереться на пустоту. Когда он упал, грохнув всеми своими членами и грузными мышцами, остаток кентавриона на бугре продолжал маршировать, как на параде. Одинокая задняя нога Пуду, когда-то раненная стрелой и теперь отделившаяся от него, резво подскочила к нему по лужайке и стала лнуть нежно, словно соскучившаяся по хозяину собака. Оглушенный падением кентавр, тщетно пытавшийся подняться на ноги, сначала просто отстранил ее рукою, затем, когда нога вновь полезла ласкаться, Пуду схватил свою *чимбо танопото* за мохнатую бабку и далеко отшвырнул лошадиную ногу от себя.

Но с этим последним усилием Великий Кентавр всех времен потерял всю свою решимость и командирскую волю. Он не захотел больше подниматься и продолжать командовать своими солдатами. Как-то очень быстро успокоившись, громадный кентавр лежал на брюхе, подвернув под себя передние ноги, и, сутуло выгорбив человеческую спину, потупив голову, ковырял пальцем в носу.

Между тем отстрел кентавров продолжался, и они исчезали один за другим из пространства, вычеркнутые пикающими выстрелами оружия *томсло*. «Пик!»— и как не было здоровогоного лохматого кентавра с его боевой попоной, деревянным панцирем и тяжелым яблоневым луком. «Пик!»— и нет в строю уже и другого солдата, только что рядом месившего воздух ногами в старательном шаге на месте. За исключением двух случаев, когда разделился на суверенные члены единый организм Лютеса и не удалась попытка вычеркнуть из пространства воителя Пуду, оружие *томсло* действовало вполне успешно. И вскоре на бугре гваздал копытами в строевом шаге на месте всего один воин из исчезнувшего в воздухе кентавриона.

Четверо пришельцев, стоявших перед своим полупрозрачным плодом *лачача* размером с гору, опустили руки с зажатым в них оружием. Трое это сделали почти одновременно, и лишь один опустил оружие вычеркивания чуть позже, ибо он удалял из пространства последнего кентаврона, одиноко маршировавшего на вершине бугра. По его исчезновению все четверо сошлись вместе и о чем-то говорили между собою, издали поглядывая на безучастно лежавшего, словно усталая лошадь, поверженного наземь великого военачальника и реформатора кентавров.

За всей этой великой битвой следило со стен поселка и из-за кустов множество кентаврских глаз. Наблюдателями были кентаврицы всех возрастов и те кентавры, которые опоздали в строй и потому не смогли участвовать в сражении. Поодиночке же или самостоятельно, без команды кентавры сражаться не умели, так их приучил воевода Пуду. Когда бой кончился и последний кентаврон на бугре, а именно гнедой по имени Вонахорт, исчез в воздухе вслед за писком блестящего оружия *томсло*, жители поселка взволновались, задвигались беспокойно на стенах и под прикрытием кустов. Им хотелось жрать, как всегда, но они находились в тоскливой нерешительности: можно ли теперь разбежаться по своим делам или еще нельзя? И тогда к ним обратился один из пришельцев.

Вначале он согнул три пальца из четырех, а последний оставил торчать, и этот выпрямленный палец он приставил к своему виску. В таком положении, вращая этим приставленным к башке пальцем, он повернулся на все четыре стороны и сказал, не произнося ни слова вслух:

— Кентавры, вы есть очень глупый народ. Мы вас хотели спасти, переселить на другую чудесную планету, но вы начали с нами войну. Теперь черт с вами, живите как знаете, а мы уходим домой.

Внушив это по-кентаврски прямо в мозговые извилины всех аборигенов, пришелец вновь отошел назад к товарищам, и четверо, спрятав оружие за пояс, повернулись и пошли к своему голубовато-серебристому кораблю, названному кентаврами *елдолачей*.

И тут из-за куста выскочил торговец-пуговичник — побежал, отчаянно размахивая руками, вслед за гордо уходящими *томсло* — четырехпальцами, могущественными и страшными в своем загадочном могуществе. Но это были именно те, догадался пуговичник, кто имеет власть раздвигать чудесную завесу мира, — и можно было снова попросить сделать это... Однако странно поведали себя четверо, увидев бегущего к ним человека, существо, столь похожее на них самих. Они вдруг бросились от него бежать и, достигнув корабля, живо скрылись в нем.

И тогда купец, охваченный великой тоской и злобой, крикнул им вслед, потрясая над головою кулаками:

— Выведите меня отсюда, козлы! Неужели вам не жалко человека?! Возьмите меня с собой, *бельберей калкарай!* Я погибаю!

Тут он набежал на серо-голубую огромную *лачачу*, хотел упереться в нее руками, чтобы удержаться с разбега, — но сначала руки, а затем и сам он весь беспрепятственно проскочил сквозь невесомый материал, из которого был построен этот горообразный круглый предмет. Купец вбежал таким образом внутрь молочно-голубоватого сияния и ничего особенного не почувствовал, кроме легкого шелеста в ушах. Он с ходу проскочил через все это шаровидно-туманное тело и затем, остановившись, удивленно посмотрел вокруг. Перед ним была знакомая площадь в Мегарах, навстречу ему шел, зевая от сонной скуки, городской философ Евклид.

3

Когда сгорел лес и есть стало нечего, кентавры дружно кинулись на поля, охраняемые кентаврицами, и, забыв о всякой любви, сметали с пути хозяек, чтобы наброситься на собранный ими урожай. В два дня самцы сожрали все, что вырастили трудолюбивые женокобылицы. Надо сказать, избитые, рыдавшие на краю своего поля кентаврицы время от времени тоже принимали участие в жадном пиршестве, утоляя свой естественный голод, и кентавры их не прогоняли, потому что доблестные мужи обжирались до такого состояния, что в полном изнеможении валились отдыхать прямо на земле, откинув в стороны копыта и блаженно жмуря глаза. Тут уж обозленные и обиженные кентаврицы пинали их

и кусали, таскали за хвост по земле и, присаживаясь над их сонными головами, мстительно поливали их своей горячей *ккапи*. А иные из самых разъяренных, пользуясь беспомощным состоянием обжор, сдирали с них попоны с подхвостниками и, хищно согнувшись над ними, молча *мялоу силунду пилорме*, и, *чиндо няла елдорай*, при этом *мяфу содигму прундо симапрандидас!* Однако *текусме на фуму хардон малмарай*, — и, ничего не добившись, полукобылы в сердцах так колотили своих бесполезных грабителей копытами, что у тех проламывались ребра и порою слетали черепашки с незадачливых голов.

Лес кое-где оставался, но очень далеко в стороне, за полдня кентаврской рыси по извивам одного небольшого ущелья, не тронутого пожаром. Остальное, что было поближе к поселку, начисто выгорело. И для того, чтобы поесть молодых побегов папоротника или полакомиться ягодами *веруськи*, кентаврам приходилось теперь тащиться очень далеко от поселка. Но и перебраться поближе к корму они не могли, потому что в этом случае удалялись от водопоя. И прибрежная речная долина в эти дни была наполнена бредущим разрозненным народом, ибо кентавры кормились поодиночке, каждый когда хотел — одни предпочитали с утра выходить на кормежку, другие с вечера, по прохладце, ночью жевали на ощупь, утром шли на водопой.

Солнце поднималось над равнинным краем заречной степи. Кентавры пили, стоя в ряд вдоль реки, — и каждый из них время от времени отрывался от воды и, роняя с мокрой морды капли, очень долго, зачарованно смотрел на востекающий в небо шар солнца.

Но однажды увидели кентавры подбирившиеся с разных концов неведомой и враждебной степи темные табуны лошадей, которые двигались неспешно, на ходу поедая подножный корм. Сойдясь на реке, стоя разделенные водою, лошади и кентавры рассматривали друг друга, принялись к воздуху, текущему навстречу, и оставались безмолвными, словно оба народа не могли поверить в то, что уже началось. А началось война, хотя еще не было ни одного соприкосновения между теми, кому предстоит грызть друг друга, бить копытами, драться в напряжении всех своих сил и в яростном махании косматых хвостов.

Но военные действия долго не начинались, потому что кентавры не помышляли переплывать реку ради вступления в битву, а дикие лошади пока преспокойно паслись на хорошей траве, произрастающей в приречной долине на том берегу. Столь же спокойно они поглядывали на кентаврский берег, где буйно зеленела высокая трава, не едомая кентаврами, и где возвышались глиняные стены поселка, в котором скрывались трепещущие от страха самки кентавров. И предвкушая тот миг, когда он привстанет на дыбы над круглым задком кентаврицы и впервые прикоснется к ней *елдораем*, дикий жеребец выпускал оный почти что до земли, а затем с силою стучал этой штукою себя по брюху. И вот нарастающий шум позволял кентаврам судить, насколько уже близок час форсирования реки табунами лошадиной армии.

Пока звуки из-за реки были барабанно-разрозненными, похожими скорее на мирные удары крупных рыб, мечущих икру в прибрежных камышах, кентавры могли не особенно беспокоиться, и они продолжали все бегать в лес на кормежку. Однако постепенно при тысячекратном усилении заречных звуков, переходящих в сплошную канонаду, уже оставаться спокойным не мог ни один кентавр. А накануне форсирования реки густыми полками жеребцов стоял такой обвалный грохот, что всем было ясно: война на пороге.

В эти дни кентавры, глядя на темные тысячные табуны диких лошадей, коими была покрыта вся заречная сторона от края и до края, все отчетливее понимали, что им не устоять перед пришлым врагом. Тем более что такой защиты, как строевое воинство, у них теперь не было, хотя солдат оставалось еще предостаточно. Их главный воитель Пуду, сочинивший кентаврионы и фалангу четвероногой пехоты, теперь сам остался с тремя ногами и в последнее время сильно голодал, питаясь через день, ибо хромать на трех до отдаленного леса великану приходилось в течение многих часов, а там ночь напролет кушать, ощупью нашаривая папоротники и в темноту безразборно обирая языком ягоды *веруськи* с кустов, и наутро сразу же отправляться в обратную сторону на водопой. Так что Пуду все время был в пути, чтобы не умереть с голоду, и времени для военных занятий с солдатами у него не оставалось.

А без командира с кизиловой дубиной в руке армия вмиг рассыпалась, и, радуясь свободе, кентавроны отрасли длинные хвосты, а некоторые так и стали

сразу бегать иноходью, за что раньше командир тут же убивал на месте. И возможно, чуя приближение гибели, многие из них принялись *текусьме* словно безумные, *елдораиствуя* день и ночь и тем самым принося кентаврицам неслыханные дотоле радости и беспокойство. В эти дни самкам, чтобы попросту добраться до еды, приходилось красться разными потайными дорогами к лесу. Но на всех путях их все равно поджидала засада. И в лесу, стоило лишь кентаврице нагнуться к папоротнику, как из-за ближайшего куста в треске ломаемых сучьев выскакивал самец с раскаленным *елдораем* и входил до отказа и на самом бешеном аллуре махал, скосив к переносице глаза. Дошло до того, что кентавроны отощали на треть своего боевого веса, и к водопою выходили уж не прежние лоснящиеся brave солдаты, а сущие одры, обтянутые пыльной разномастной шкурой.

В тот день, когда первые отряды диких жеребцов, переправившись через реку, двинулись на поселок, кентавры еще продолжали махать *елдораями* в лесу и дома, на дорогах и прямо посреди деревенской площади. К нападению лошадиных орд и к их отражению воины кентаврского народа, таким образом, совсем не готовились.

Но дикие лошади не бросились сразу в бой, они мирно расползлись по отлогим лугам со свежей травой, которую кентавры не употребляли в пищу. И весь день и всю ночь в долине около поселка сохранялась глубокая тишина, нарушаемая лишь отрывистым ржанием какого-нибудь молодого жеребца, о чем-то вопрошающего соседей, да монотонным, как шум моря, звуком всеобщего перетирания лошадиными зубами поедаемой травы.

Наутро был перекушен кентавренок громадным вороным жеребцом, и то была первая жертва начавшейся войны, но это произошло скорее случайно, нежели по воинской злобе. Тощенький ребенок кентаврский, недавно родившийся, но брошенный матерью в эти неблагоприятные дни, заполз в густую траву за воротами поселка и там лег, скорчившись на земле и вытянув длинную и тонкую, как веревочка, узловатую шейку. Черный жеребец с повисшими до земли блестящими прядями гривы в удивлении покосился на откатившееся вздрагивавшее безголовое тельце — не больше зайчонка — и, вывернув глаза в другую сторону, посмотрел на оторванную голову, еще моргавшую глазами. С отвращением фыркнув, вороной жеребец выплюнул испачканную кровью траву и поскорее прошел дальше.

Общий переход через реку неисчислимой орды диких лошадей был завершен ночью, и уже на следующее утро кентавры увидели вокруг поселка тесный сплошняк пасущихся животных. Пришельцев было так много, что над их горячими телами, заполнившими все окрестные пределы, стояло сплошное облако тумана, пропахшее конским потом.

Первые два дня лошади в поселок не заходили, занятые поеданием травы на окрестных пустырях. Но зеленый корм вскоре был съеден сплошь, до самого горелого леса, после чего конский поток начал заворачивать назад и медленно кружиться вдоль глиняных стен поселка кентавров. Население его эти дни голодало, испуганно сидя в своих дворах за крепко запертыми воротами. На исходе третьего дня кентавры, дрожа от страха и слабости, начали высовываться на улицу, где уже вольготно разгуливали длинногривые завоеватели. Они пока что со спокойным любопытством рассматривали улицы и площади, ничего не трогали, и лишь кое-где любопытствующие молодые жеребцы расколотили копытами глиняные корчаги с дождевой водой, выставленные в разных местах для общественного пользования.

Вскоре появились первые жидкие струйки кентавров среди густых толп лоснящихся степных коней, битком набившихся в глиняный поселок. Смельчаками были кентаврята-подростки, для которых голодное сидение в домах стало совершенно невыносимым. И тонконогие кентаврятки, держа друг друга за хвосты, стали робко прогуливаться среди конских толп. Поначалу никто, казалось, не замечал появления на улицах аборигенов, молча и внимательно рассматривал лошадиный народ предметы и строения вокруг, изучая чужеземную культуру... Однако со временем взоры лошадиные стали обращаться и на появившихся перед ними жителей захваченного поселка.

Уже и взрослые кентавры прокрадывались по улицам, ежась от смущения и глубоко подтягивая со страху свои голодные животы. Прятались по домам по-прежнему лишь самки кентаврские, опасаясь насилия со стороны степных

тяжеловесных жеребцов, чьи *малмараи* были все же больше самых крупных кентаврских *лемге*...

Но дикие кони пока никого не трогали, и хотя траву около поселка они всю съели, долго задерживаться здесь им было ни к чему. По этому поводу в широкоротых головах кентавров шевельнулась обнадеживающая мысль: а вдруг кони уйдут, не нанеся стране большего урона, чем разбитые глиняные корчаги да горы свежего *раккани* повсюду?.. Тогда, наверное, можно будет рвануть к лесу на кормежку... И оголодавшие, отощавшие до предела кентавры с нетерпеливой надеждой посматривали на захватчиков, словно бы готовые подсказать им, как надо поступить.

Но вот началось новое движение в теснящихся на узких улочках поселка войсках диких лошадей: они стали разбивать ворота кентаврских домов и проникать в крытые дворы. Все это кони делали молча, лишь под негромкое деловитое пофыркивание. И мужская часть поселка не смела оказывать хотя бы малейшее сопротивление, кентавроны отходили в сторону со стесненной ухмылкой, и жеребцы пока их не трогали.

Входя во дворы, кони стали деловито разрушать все, что попадало на глаза: дробили копытами глиняную посуду, ломали деревянные навесы из жердей и тростника, валили наземь обмазанные хворостяные стены, пробивая их насквозь ударами передних копыт. Ухватившись зубами за углы хижин, растаскивали их и обрушивали крыши наземь.

Выбегавшие из-под рухнувших обломков кентаврицы не успевали опомниться, как уж бывали придавлены неимоверной тяжестью, от которой у них трещали все косточки и подгибались ноги... Распаленные жеребцы наваливались на них всем корпусом, превосходящим кентаврский почти вдвое, и у хрупких кентавричек тут же ломались хребты. И самки умирали, биясь в пыли, не успев даже воспринять конское оккупантское насилие и грубость. Неутоленные жеребцы дико злобились и, бешено выкатив глаза, добивали свалившихся кентавриц короткими ударами задних ног.

Когда началось всеобщее избиение самок, один из кентавров, Потогришечек, попытался оттащить за хвост жеребчика от своей подруги, истошно вопившей от страха и звавшей на помощь именно Потогришечека... И когда каурый жеребчик, оставив орущую самку, обернулся к кентавру и пошел на него, поднявшись на дыбы, молодой кентаврон совершенно непроизвольно, неумело сунул мечом в брюхо коню — и нечаянно зарезал его. Тут дикие лошади принялись уничтожать кентавров со всей свирепостью и беспощадностью полных победителей, не встретивших сопротивления побежденных. Древняя вражда и таинственная ненависть сопровождали безумие истребления степными жеребцами мирных и беспомощных кентавров. Эти гибли почти без всякого боя, не умея сражаться в единоборстве.

ОТСТУПЛЕНИЕ 6. Жестокие войны между кентаврами и лошадьми шли с незапамятных времен. Никакие другие враги не были страшны и ненавистны кентаврам так, как дикие кони. Почему-то само их сходство наполовину и, очевидно, некое скрытое родство происхождения вызывали непримиримую вражду лошадиного народа по отношению к кентаврскому. В сравнении с лошадьми более подвижные и мелкие, кентавры приспособились когда-то жить в горных местностях, где укрывались они от нашествий лошадиных орд и откуда сами совершали набеги в степные края своих врагов. Прячась по оврагам и заросшим кустарниками балкам, кентавры подстреливали из засады взрослых жеребцов и кобыл, у которых они **отрезали** их длинные хвосты. Подстерегая пасущиеся в степи небольшие табуны диких лошадей, кентавры за один поход могли настрелять помногу хвостов каждый, и с этим военным трофеем они возвращались домой, где их ждали с великим нетерпением жены-подруги, для коих и предназначалась добыча — шла кентаврицам на парики и фальшивые хвосты. Но не всегда кентавронам удавалось благополучно вернуться домой — порою стремительно сбивались отдельные конские табуны в огромный косяк и, разворачиваясь лавой, настигали отряд кентавров и окружали его со всех сторон. Впопыхах выпустив все стрелы, кентаврские вояки гибли самым жалким образом под натиском бешеных жеребцов, которые забивали их копытами и рвали на части зубами. Много белых кентаврских костей валялось по степи, растасканных шакалами, не

один кентаврион пропадал безвестно в чужом краю. Но, не имея памяти и не наученные жестоким опытом, легкомысленные кентавры из поколения в поколение продолжали свои походы за конскими хвостами.

Итак, в разрушенном поселке конелюди погибали почти без сопротивления. Они умели стрелять из засады, наступать македонским строем, обученные полководцем Пуду, но нападать и защищаться от врага в одиночку никто не умел. Матерого зверолова Гнэса забил совсем молодой жеребчик, стройный каурый-трехлетка. У зверолова был в руке меч, деревянный щит прикрывал его человеческую грудь, но, замахнувшись мечом, кентавр не решился опустить его на голову атакующего коня, это казалось ему почему-то почти невозможным. Если бы сам кентавр напал, да еще и сзади, исподтишка,— было бы другое дело, но обученные убивать только того, кто сам не нападает, а боится или убегает или находится в одиночестве вне сплоченной, мерно грохочущей фаланги, кентавры были совершенно беспомощны в поединке. Зверолов Гнэс так и стоял перед нападающим каурым, то и дело замахиваясь и не смея ударить, а в конце совершенно пал духом и даже отбросил в сторону щит свой с мечом. И он погибал, безоружный, закрывши голову руками,— клонился все ниже и ниже к земле, пока каурый жеребчик лягал, повернувшись к нему задом, а после бешено кусал его подставленную шею и колотил передним копытом по затылку.

А виновник того, что кентаврское воинство не знало приемов рукопашной схватки и одиночного ведения боя, сам военачальник Пуду оказал могучее сопротивление, потому что обучался всему этому, служа в македонской армии. Прыгая на трех ногах, слоноподобный Пуду крутился на тесной площади, окруженный со всех сторон возбужденными кровью жеребцами, и, размахивая своей кизиловой дубиной, лупил их по чему попало.

— *Хардон лемге...*— кричал он.— *Текусме ю чоңдо... Танопо... Р-раккапи!*

И очень ловко поражал балдою кизиловой палицы какого-нибудь близко подскочившего жеребца. Против кентавра-великана хотели выступить много богатырей лошадиного войска, и были среди них настоящие гиганты, не меньше ростом, чем сам Пуду. Но по природному свойству лошадиного боя дрались они всегда в единоборстве и не знали привычки бросаться скопом на одного. Поэтому дикие жеребцы кружились в громе копыт и теснились около исполинского кентавра, огненными глазами пожирая его. Им было неясно, против кого лично направлен беспримерный бой трехногого инвалида, размахивавшего стволем дерева, удары которого по костям и черепам лошадиным были весьма сокрушительными. Выйти же один на один против него пока что никто не решился — даже и трехногий, кентавр-инвалид внушал почтительный страх.

Пыль на площади поднялась густым туманом, и лишь головы лошадиные, высоко задранные, да разлетающиеся по ветру космы длинных грив взметывались над пылевой завесой. Пуду с ревом крутился посреди лошадиной толпы, иногда вскидываясь на дыбы, стоя на одной задней ноге, и тут же резко припадал на передние, одновременно вытягивая весь исполинский человеческий торс вперед и доставая ударом набалдашника далеко отстоявшего противника. Он успел изувечить уже нескольких жеребцов — трясая головами и припадая на ослабевшие ноги, они ковыляли в сторону, чтобы лечь где-нибудь на землю и испустить дух.

Вскоре почти все самые видные воины лошадиной армии прибежали на площадь, жаждая вступить в бой с бесновавшимся Великим Кентавром. От тесноты в окружающей Пуду лошадиной толпе жеребцы не могли повернуться, плотно притгирались мокрыми боками друг к другу, и когда нужно было выбираться из толпы, каждый мог это сделать, только пятась и рывками выдирая себя из общей мышечной теснины. А возле хромого исполина вскоре образовался круг, куда ступил наконец лоснящийся и черный, как ночь, вороной гигант. Голова этого колоссального жеребца вздымалась даже выше, чем бородастая, взлохмаченная башка кентавра, да и корпусом сей конь казался выше, чем его противник. Но Пуду был зато почти вдвое массивнее в своем лошадином туловище — это была целая гора воинских мышц. И если бы не увече Великого Кентавра, вряд ли кому из лошадиных богатырей пришло бы в голову выйти с ним на единоборство.

По представлению диких лошадей, четвероногое существо, потерявшее хотя бы одну конечность, уже не могло считать себя принадлежащим к миру радостных *елдорайцев*, бодро скачущих на пастбищах жизни. Несчастливого должен был обязательно добить кто-нибудь из сильных и здоровых, и никогда не бывало так, чтобы в этом благотворительном для инвалида последнем поединке побеждал увечный, а не полноценный четырехногий. Однако сейчас все стало как-то непонятно: уже столько жеребцов изувечил и убил этот трехногий кентавр, что в умах лошадиных возникло даже сомнение: а собирается ли вообще умирать мохнатое чудовище и не считает ли оно, что ему можно оставаться жить ковыляющей на трех ногах несущимся, в то время как вокруг скачут по земле и едят траву вполне бодрые четырехногие существа?..

Пуду не задумываясь первым кинулся на вороного, но запальчиво устремившись на трех ногах, не успел изготовиться и подняться на дыбы, в результате чего вынужден был с ходу, стоя передними ногами на земле, замахнуться дубиной, чтобы нанести удар по голове черного гиганта. Но тот сам вспрыгнул на дыбы — оказался воспарившим над кентавром, который занес двумя руками палку огромного размера. И удар кизилowym набалдашником пришелся по черному тугому животу вороного, у которого загудело и грохнуло в утробе и вылетело горячее *раккани* из-под хвоста.

Кони дружно заржали, пятась, — натиск задних был столь силен, что места для единоборствующих почти не осталось, и они вынуждены были драться без простора и разбега. Дубиной другой раз было не размахнуться, и Пуду отбросил ее. Вороной с дыбков, с высоты, рухнул на кентавра и обхватил его передними ногами, чтобы удобнее было запускать в человеческое тело противника свои зубы и рвать его мясо. В ответном порыве Пуду также стиснул передними лошадиными ногами шею вороного, а свободными руками зажал ему храп, схватил и скрутил жгутом верхнюю губу жеребца. Но удержаться на одной ноге кентавр-инвалид не мог, и, потеряв равновесие, он рухнул на землю, увлекая за собою и вороного жеребца. Оба стали бешено ворочаться под ногами лошадиной толпы, скрытые от нее густыми клубами пыли.

Когда оба они поднялись, вновь возвысившись над более мелкой толпой, воитель Пуду и вороной гигант стали неузнаваемы. У кентавра отсутствовала нижняя челюсть — на его человеческой голове лишь мотался длинный язык, по обеим сторонам которого кровавыми сосульками торчали слипшиеся остатки бороды. Вороной жеребец лишился одного глаза, который висел на кровавой нитке, выскочив из глазницы, и храп его вместе с верхней губой был разорван надвое, отчего зубы обнажились и жеребец казался смеющимся.

Погибая, исполинский кентавр был еще достаточно силен, чтобы размахнуться волосатым кулаком и так хватить по вппадине виска противника, что конь коротко проржал, словно охнул, зашатался, пытаясь удержаться на ногах, — и рухнул как подрубленный. А лошади вокруг ржали, визгливо грызлись, неистовствовали, сцепившись в пары дерущихся между своими, храпящих и бесноватых... Такими вдруг стали все жеребцы, собравшиеся на этой площади, — и уже давно вороной гигант бездыханным валялся под их ногами, затоптанный насмерть, и воитель Пуду без нижней челюсти выбрался из толпы и побрел куда-то в сторону, пригнув голову и чихая в пыль дороги брызгами густой кентаврской крови.

Охватившее лошадиную толпу яростное бешенство передавалось от этого места далее, все шире и шире — и вскоре все лошади, а за ними и кентавры, убиваемые завоевателями, стали попарно драться и убивать друг друга, заразившись неуправляемым конским бешенством.

По истечении недолгого времени в поселке кентавров было убито всех душ ровно половина, считая вместе и хозяев и оккупантов. Оставшаяся в живых половина коней и кентавров ползла, изнемогая от усталости, в разные стороны сквозь проломы в глинобитной стене. Вся долина перед ущельем, от реки и до громадного пожарища, оказалась заполненной бредущими в одиночку, натякающимися в темноте друг на друга кентаврами и дикими лошадьми.

Дети и женщины кентавров, также принявшие участие во всеобщей потасовке безумства, пострадали меньше мужского населения, потому что розовые кентаврята и изнеженные растительной пищей кентаврицы не умели убивать до смертельной окончательности. Бредущие в глубоких сумерках маленькие фигурки кентавренушей, утирающих на ходу слезы, изредка оказывались среди

множества изнуренных коней и полуживых поникших кентавров. Иной детеныш плакал навзрыд, и в предночной тишине его писклявый голосок, призывавший мать, звучал столь заунывно и скорбно, словно плакал это последний оставшийся живым на земле человек:

— *Келиме-е! Уо, келиме! Кугай сунгмо, урели ми юн лачача, уо! Кугай чиндо, уо.*— И так далее и тому подобное.

Ночь после побоища была одна из самых страшных за всю историю лошадей и кентавров, но ни те и ни другие не осознали этого. Многие из диких жеребцов самого отменного здоровья вдруг легли на землю и, выпустив *елдорай* на полметра, почему-то умерли в эту трагическую ночь. Тогда же и народ кентаврский, подвергшийся захвату и избиению, потерял три пятых своего мужского населения.

Эти умирали в лихорадке, в частой припадочной дрожи, сотрясавшей все конско-человеческое тело от копыт до макушки. Скорчившись на земле животной своей половиной и ссутулившись человеческой, сунув скрещенные руки под мышки, так и заоченели в однообразном виде по всей долине вокруг поселка.

Когда тусклый рассвет одолел-таки ночь смертей, во мгле сырого воздуха, намешанного с туманами, двинулись безмолвные и тихие, словно призраки, неисчислимые тени уходящих лошадей. Дикая орда двигалась к реке и, одолев ее молчаливой переправой, утекала широкой живой лентой в невидимую за туманом даль. К восходу солнца вся земля кентаврская была вновь свободна от диких лошадей, и последние оккупанты выбирались из воды на противоположный берег, встряхивались и, роняя дымное *раккани*, удалялись восвояси.

Итак, взошел первый день свободы над поселком кентавров, а они, уцелевшие, совершенно подышали от голода. Пожар в лесу и нашествие степных лошадей, военная разруха и огромное количество конских и кентаврских трупов, валявшихся на земле,— все это устрало подавленную душу нации. И, не стовариваясь, кентавры двинулись в беженство по направлению к горам. Народ навсегда бросал свои обжитые места и оставлял в развалинах родного пепелища всю бронзовую и глиняную утварь, а также обессилевших детей и стариков, не умерших еще раненых, глухо стонавших из-под глиняных развалин.

Кутеремиколипарек, один из тех, кто был завален обломками рухнувшего дома, старик саврасой масти, высунул руку из груды обломков и схватил за край попоны проходившего мимо приятеля Хикло. Тот в диком испуге вскрикнул «*хардон*» и рванулся прочь, но рука не выпустила его. Жалобный голос раздался из щели под рухнувшей глинобитной стенкой:

— *Оу, кикамвэ ми юн, рекеле! Хикло! Оу, кугай серемет лагай!* ^v

Это он просил, чтобы старинный друг разобрал обломки и, добравшись до заживо погребенного, предал его скорой смерти, ибо он, Кутеремиколипарек, был в безнадежном состоянии, придавленный бревенчатой балкой, перебившей ему крестец. Не получив *серемет лагай* (Быструю смерть) от судьбы, Кутеремиколипарек попросил этого величайшего для всех кентавров блага у своего приятеля. Но от последнего услышал вот какой ответ:

— *Мен юн чиндо ламлам, рекеле! Чиндо кугай, Кутеремиколипарек, бельберей калкарай малмарай! Кированунде сулакее, чирони мерлохам текусте. Мяфу-мяфу!*

После этих слов рука, торчавшая из груды обломков, безнадежно поникла, и старичок Хикло, поскорее высвободив из разжавшихся пальцев свою попону, рысцою затряхал прочь, звонко екая селезенкой.

Как и все в этот первый день свободы, Хикло спешил в сторону леса, чтобы поскорее добраться до корма. Кентавры во дни осады и набега степняков ничего не ели — и голодному сроку настало несколько дней... Голод сводил с ума кентавров, пуста брюха выгесняла из них человеческое и сдвигала их гораздо ближе к скотскому.

Спеша к лесу широкой разрозненной толпой, народ кентаврский помнил, что все большое лесное пространство недавно погорело и там одни черные головешки. И тем не менее ноги сами несли в ту сторону, где раньше было многолетнее привычное место кормления.

Итак, весь кентаврский народ от мала и до велика бросился в голодном отчаянии в сторону леса, которого уже не было, чтобы утолить мучительный голод привычной лесной пищей, которую уже не найти было на старом месте.

И когда последние кентавры, способные сами передвигаться, ушли в сторону гор, из зеленой рощицы вышла одинокая гнедая кобыла. Неспешно прошагала она знакомой дорогой от поселка до дальней излучины реки, где была когда-то похоронена амазонка Оливья, бывшая хозяйка и подруга гнедой кобылы.

Во время набега она вместе с другими лошадьми переплыла реку и в отдельном косяке кобыл ходила по долине кентавров, обедая траву и не вмешиваясь в солдатские дела жеребцов. Когда же все было сделано и лошадиная орда ушла обратно, гнедая кобыла осталась одна на кентаврийском берегу, спрятавшись в рощице. Она знала, что сразу же, как только уйдет конская армия, кентавры побегут в горы искать пищу, и тогда можно будет выйти из укрытия и спокойно навестить могилу бывшей хозяйки. Этого она не могла сделать и в присутствии лошадей, своих диких соплеменников.

После кентаврского плена и смерти амазонки кобыла попала в один вольный косяк при том гигантском вороном жеребце, который погиб в бою с кентавроном Пуду. Постепенно все привычки прежнего существования совместно с людьми были ею позабыты, но, живя среди диких подруг-кобыл, сполна познав любовь могучего степного супруга, гнедая не могла забыть только одного: своей любви к человеческой самке, к храброй воительнице-амазонке, — и ночами потихоньку плакала, скрывая свои слезы от других кобыл, когда вспоминала про то, как хоронила кровавые останки Оливьи на берегу кентаврской реки.

Однажды гнедая рассказала вороному-мужу про поселок кентавров, про то, как была изнасилована молодежью почти что до смерти. Жеребец покосился на нее синеватым черным глазом и удивленно прифыркнул: сколько же их было там, сопливых *елдорайцев*, чтобы такая лошадка, как эта жена, пришла в столь плачевное состояние? Он вспоминал, как дрожит от нетерпения и, поворачивая назад голову, жарко взглядывает на него гнедая, когда он входит в нее. И при этом грива на холке у нее поднимается дыбом. И круто, туго притираясь к нему, она вращает в одну сторону и в другую своим налитым крупом, и так порою круто, что у него даже что-то с хрустом смещается в самом основании *елдорага* и там сбоку образуется некий желвак...

А гнедой хотелось добиться того, чтобы семья, весь косяк вороного о полсотню кобыл с жеребятами, отправилась бы в сторону долины кентавров и там ходила, кормясь вдоль пограничной реки. В это время гнедая и рассчитывала как-нибудь ночью отделиться от косяка и потихоньку сбежать через реку к могиле амазонки.

Звериная жизнь гнедой кобылы наладилась превосходно, степная свобода была сладка, и муж ее любил. Дважды она успела понести от него и родить красивых жеребят, ей от этого не было худо, она даже помолодела, стала стройной, глянцевито поблескивала чистой шерсткой, отрастила хвост до земли и столь же длинную черную гриву... Она уже позабыла, что ее когда-то подстригали, корнали ей хвост, что клали ей на спину седло и в зубы вставляли трензеля. Все это она не помнила — и лишь одного не могла забыть в своей памяти: любви к амазонке Оливье.

Эта любовь была единственной и ни на что не похожей во всей жизни рыжей кобылицы. Любовь сия существовала лишь в ее душе и больше нигде на свете; вместе с оной любовью кобыла гуляла в своих сновидениях по каким-то дивным степям, где она ощущала себя вовсе не лошадью и даже не человеком, подобным амазонке Оливье. Каким-то дивным третьим существом без запаха и цвета бывала она в этих ярких снах! Не по-лошадиному она и передвигалась во сне среди облаков, плавно пролетая над протекающими далеко внизу реками и островершинными скалами. И во сне кобыла вздрагивала, вся напрягаясь от страха, потому что в земном своем существовании очень боялась высоты, крутых склонов и никогда не забиралась на вершины гор... Вскрапнув от тайного ужаса, кобыла вскидывала голову, которая обычно покоилась на чьем-нибудь плече, и тихо взвизгивала, а порой даже кусала кого-нибудь спросонья, за что немедленно получала в ответ крепкий удар копытом по брюху.

Словом, не могла гнедая забыть про могилу на берегу кентаврийской реки, где была похоронена амазонка Оливья. Возможно, преображенное существо, которым становилась в своих сновидениях кобыла, являло собою суть кентаврову — именно соединение начал лошади и человека, их любовное слияние. Возможно, эта изглубинная, во тьме времен сокрытая устремленность лошади к человеку и создала на земной поверхности такое реальное чудище, как кентавр —

существо с человеческим верхом и лошадиным низом, с членораздельной речью и конским *елдораем*.

Что бы там ни было, но гнедая стремилась к стране кентавров, где был похоронен человек (вернее, самка человеческая), с которым она воссоединялась в мире снов. И это идеальное совокупление двух начал, лошадиного и человеческого, порождало не страшилище, подобное кентавру, а некое задушевное и светлое существо без конского смрада и человеческих соплей, способное летать по небу меж облаками, не роняя при этом *раккани* из-под хвоста.

Значит, это гнедая кобыла явилась причиной свирепой войны и последнего нашествия степных лошадей в страну кентавров — ее тайное постоянное желание приблизиться к этой стране. Поедая корм в широкой травяной степи, гнедая непроизвольно двигалась в сторону зовущего пространства, и вместе с нею бездумно напраплялись, опустив головы в траву, в ту же сторону и другие лошади. Для них все направления в вольготной степи были одинаково призывными сочной травянистой зеленью и прохладными водопоями на берегах многочисленных рек и озер. В глубокой сосредоточенности безмятежного приема пищи лошади могли качнуться в любую сторону света и двинуться по самой прихотливой линии. И для этого нужно было хотя бы самое малое дуновение чьей-нибудь воли. Чаще всего, разумеется, подобная воля исходила от косячного главаря или от какой-либо из его приближенных кобылок.

Но в степи, где рай для лошадиного племени, часто бывало так, что в табуне наступало полное оцепенение всякой воли выбора. Тогда табун останавливался и, сгрудившись где-нибудь на высоком открытом месте, погружался в дремоту, охлестываясь роскошно-длинными хвостами от мух и слепней.

При появлении следующего, хотя бы самого малого желания куда-то двигаться лошади легко просыпались и охотно шли в любую сторону. — вслед за тем, в ком пробудилась воля следовать почему-то именно этим путем.

Дальнейшее заражение чувством движения происходило от одного табуна к другому, от косяка к косяку — и вот оказывалось, что, почти не глядя друг на друга, поедающие траву в бескрайней степи собрались вдруг вместе в одну громадную армию, которая уж должна была непременно двигаться куда-то. Тут и бывало достаточно любого незначительного вздора, чтобы оный мог стать целью и причиной нового грандиозного военного похода степного племени в какую-нибудь сопредельную страну.

Например, причиной одного из самых свирепых набегов на соседние земли амазонок явилась в старину одна каверза, неизвестно кем пущенный слух, мгновенно распространившийся по всем табунам. Мол, под мышками у амазонок пахнет, как *ырдымор пелеяра нгифо*. И этого было достаточно, чтобы произошло нападение на страну самых опаснейших, сильных и могущественных врагов.

Гнедая же кобыла рассказала мужу, вороному жеребцу-гиганту, всего лишь о том, что у кентавриц нет постоянных мужей, как у кобыл, что они живут в свободном бесстыдстве, на каждый раз выбирая себе нового мужа. Вороной выслушал эту новость спокойно, не прекращая щипать траву, но при этом все же его *елдорай*, такой же аспидно-черный, как и сам хозяин, наполовину выставлялся из своего местелища. И вроде бы ни с кем не делился он узнанным и не общался с соседними жеребцами, разве что подрался кое с кем из них на водопое, — но вскоре вся орда степняков в ее жеребчачьей половине уже упорно думала о свойстве кентаврских самок свободно предоставлять свой *текус* всякому *елдорайщику* из чужого табуна... Вот так и привели семейные жеребцы своих разномастных кобыл и их приплод к берегам кентаврийской реки.

Несколько дней гуляла армия семейных вдоль берега, пока подходили, еще и еще, табуны холостых жеребцов, диких и необузданных драчунов, зверей с огненными глазами. Этим тоже интересовали кентаврицы, но их интерес был гораздо проще, чем у женатых. *Бельберей елдорай калкарай!* — вот что было для них главным. А там хоть *серемет лагай* и хоть трава не расти! Лишь бы поскорее добраться до кентавриц! Но вот все уже произошло — на кентаврском берегу трава съедена, все кентаврские самки *чиндо текусме* по-воински, и многих из них постигла *серемет лагай*, потому что они оказались слабыми и у них легко ломались хребты. Но несмотря на эту опасность и ожидаемый ужас, ничего особенно страшного для многих кентавриц не было в нападении лошадей. Некоторые из молоденьких кентавричек, выдержавшие испытание конским

насилим, даже влюбились в иностранцев и готовы были идти за ними хоть на край света...

Разочарование же коносское было глубоким и сокрушительным! Нет, не понравились степным жеребцам мелковатые кентаврские самочки, и не понравились настолько, что теперь им было совершенно непонятно, почему же хотелось так *чиндо*, до иступления в *елдорах*, вломить этим косопузеньким кентавричкам...

Вожак уводил свои табуны с поспешностью воришек, желающих скорее уйти с того места, где натворили дел, за которые больно бьют. Нежно и виновато косясь на гаремных своих подруг, жеребцы тихим ржанием просили их не отставать и быть поосторожнее — не наступать на ядовитых змей, коих так много в этой занюханной долине кентавров.

Холостые жеребцы ушли еще затемно после ночи безумств и смертей — именно холостых, молодых больше всего в ту ночь просто легло на землю и умерло от непонятной тоски. Эта глухая тоска напала на них после *текусте* с кентаврскими самками. Глубоко входя в них, дикие жеребцы вдруг почувствовали в полной мере, что такое безысходность. Любовная ярь, вызывающая извержение *елдолач*, как рвоту после съеденного ядовитого гриба *химуингму*, — ядовитая любовь с чудовищами опустошала не только *елдолачи* жеребцов, но и их звериные души. И они бежали без оглядки вон, на рысях выносясь из ворот поселка к реке, а в предраассветной полумгле несколько кентаврийских самочек, влюбившихся в них, кинулись следом. Но, приостанавливаясь и яростно набрасываясь на них с оскаленными зубами, молодые кони нещадно били их и отгоняли назад, не желая брать с собою.

Итак, поселок кентавров был до основания разрушен, а затем дикая орда лошадей ушла назад в степи, а жители поселка кинулись в сторону гор, чтобы поскорее найти себе хоть какую-нибудь пищу. Раненые и засыпанные в руинах домов несчастливыцы умирали спокойно, мертвецы же, валявшиеся повсюду, вели себя еще спокойнее. И лишь птичий истошный крик нарушал тишину наступившего дня — со всех краев серенького душноватого неба летели неисчислимые стаи ворон.

Гнедая кобыла одиноко брела по берегу реки и пыталась отыскать то место в земле, куда она зарыла остатки растерзанного тела амазонки. Обнюхивая землю, гнедая попробовала найти могилу по запаху тления, но кентаврский берег весь провонял трупным смрадом, и не было пяди на нем, где бы не валялся когда-нибудь какой-нибудь мертвец.

За все время существования поселка погибло от насильственной смерти больше половины кентавров, рожденных на свет. Своей смертью, лежа где-нибудь под кустиком и глядя перед собою в землю, умирали немногие. И наблюдая вокруг такое большое число мучительных смертей, кентавры понимали их неотвратимость, не противились судьбе и желали себе только одного: Быстрой смерти, легкой и милосердной *серемет лагай*.

ОТСТУПЛЕНИЕ 7. Кентавров спустилось с гор в долину около 1000 голов. В долине они размножились, и в годы расцвета народ насчитывал 27 436 особей обоего пола. Во время набегов на земли амазонок, в страны диких лошадей и лапифов сложили головы в чужих краях не менее 9—10 тысяч кентавров. Из-за введения Великим Кентавром Пуду македонского строя и системы всеобщей воинской повинности погибло мужского населения около 2500 кентавронов. Причем почти половина из них — 1200 солдат — была убита ударами кизиловой дубины знаменитого военачальника. Остальные умерли от тягот муштры и казарменной тоски, когда в один достопамятный год полководец решил загнать всю кентаврскую армию в казармы. В результате последнего нашествия диких лошадей племя потеряло около 1500 голов, остальные попали в плен к амазонкам. К пленным можно причислить и последнего в роду кентавра Пассия, который попал в столицу Амазонии Онитупс через раскрывшуюся перед ним завесу мира.

Потеряв надежду отыскать место захоронения своей хозяйки Оливьи, гнедая кобыла остановилась на вершине бугра и, сумрачно оглядевшись окрест, вдруг увидела внизу, на берегу, возле самой воды, несуразную темную фигуру громадного кентавра. Находясь в позе сидящей собаки и погрузив передние ноги в реку,

он пытался напиться, макая длинно висевший язык в воду. Это был воитель Пуду без нижней челюсти, потерянной в поединке с вороним жеребцом.

Напиться кентавру никак не удавалось, вода стекала с длинного языка, а прихватить струю было невозможно без нижней губы — Великий Кентавр сидел в реке и умирал от жажды. Шумно хрипя и булькая кровью, пузырями кипевшей в глубине раны, Пуду с беспомощным видом смотрел на гнедую кобылу, когда она приблизилась к нему. Встать на ноги он уже не мог, великая мощь его истекала последними струйками слабых усилий, от которых лишь надувались жилы на волосатом человеческом торсе да вздрагивали мышцы конского тела. Плачущими глазами, но без слез смотрел великий полководец на меркнувший день мира, в котором совсем ещё недавно был он самым сильным существом и убивал вокруг себя столько, сколько ему хотелось.

Кентавронам в шеренгах и в сарайных казармах, куда он их нещадно загонял, было неудобно и тягостно, но все же были созданы его волей и маршировали по холмам боевые кентаврионы! Это было, было! Гром согласно топающих, нога в ногу, кентаврских копыт прозвучал под этим небом!

Спокойно он встретил первую атаку гнедой кобылы, которая с разбега ловко, словно кошка, извернулась всем телом и, вскинув задние ноги, обеими копытами ударила снизу вверх по голове кентавра. Он только мотнул этой головой да жарко отфыркнулся кровью. Гнедая видела, что кентавр и так погибнет, без ее стараний, но вспоминая свою растерзанную подругу и хозяйку, кобыла изнывала лютой жадной мести и лупила копытами по кровавой ране на голове кентавра.

Наскакивая второй раз, она уже спокойно понимала, что будет убивать этого чудовищного полуконя, не только мстя за Оливью, но еще и потому, что он являл собою подлинное соединение человека и лошади; но, являясь таковым, был настолько нелеп и уродлив, что одним своим существованием унижал то горячее устремление к человеку, которое носила она в своем сердце. Кентавры явно намекали собою, что невозможно и не нужно это — любить лошадям людей. От этой любви рождаются страшилища, никем не любимые и для всех смешные — даже для страусов-мереке, которых кентавры приручили и держали у себя ради красивых хвостов. Вспомнила гнедая кобыла, как две эти птицы заливались хохотом в той маленькой рощице, где юные кентавронцы насиловали ее, но они смеялись не над нею, которую кентаврята, прикрутив голову к дереву, мусолили сзади, а над самими юнцами, чьи губы выворачивались и обвисали, как ягоды *веруськи*, глаза закатывались под лоб, а *малмарайчики* при этом часто попадали вовсе не туда, куда следует, а мотались в воздухе, и тем не менее все заканчивалось скоропалительным выстрелом, сопровождаемым тоненьким горловым писком сопливого кентавреньша, — последнее-то и вызывало веселый смех одомашненных страусов, пасущихся в лесу... Кобылица вновь хотела ударить острыми копытами по кровавой ране, подсесть этот висящий, словно дразнящий окровавленный язык кентаврона. Но он вдруг вялым движением руки случайно поймал ее за бабку задней ноги.

Столь же вяло он махнул этой мощной рукою и отбросил лошадь далеко в воду, но сам не удержался и, покачнувшись, упал лицом в реку, да так и остался лежать распластанным на ее поверхности. Кобыла же, сначала с головою исчезающая в воде, потом вынырнула и отфыркивалась, чихала с брызгами, наглотавшись водицы, ошеломленно таращила глаза и совалась то в одну сторону, то в другую, не зная, куда ей плыть. Тем временем громадное тело кентавра, ставшее в воде невесомым, всплыло и, подхваченное течением, тихо двинулось вдоль берега. Оказавшись головою в воде, раненый кентавр хлебнул наконец и стал жадно пить через кровоточащую рану рта без нижней челюсти. Так и пил он, не отрываясь, ничком покачиваясь на воде, уплывая вниз по течению, пока не захлебнулся и не умер. А возле него кружилась злая кобыла, уже пришедшая в себя после падения в воду, и, ощерившись, кусала его человеческое тело, погруженное в реку лицом, широко раскинувшее руки.

Таким образом проводив до излучины реки убийцу своего мужа, гнедая кобыла отцепилась наконец от тела врага и поплыла к степному берегу. Выйдя из реки, она с удовлетворением встряхнулась, разбрызгивая вокруг себя воду, и бодрой рысью двинулась вслед за ушедшей армией.

По мере того как удалялась гнедая кобыла от кентаврийских берегов, сердце ее обретало лошадиное спокойствие и наполнялось кобыльим весельем. Она

поняла, что больше ничто не будет призывать ее сюда, в этот край. И гнедая стремительной рысью убегала от своей бывлой любви и тоски по amazонке Оливье.

Проскакав час-другой по пустынной степи, она увидела вдалеке, на фоне ковыльной равнины, еще одну несуразную темную фигуру кентавра. Приблизившись, кобыла поняла, что это молодая кентаврица, бредущая вслед за ушедшей армией степных лошадей. То была одна из тонконогих кентавричек, выдержавших жеребьячью тяжесть, кому очень понравились дикари из холостых банд, скачущие по степным просторам, мотая выпущенными *елдораями*... Кентаврица плелась, понурившись и спотыкаясь на ровном месте, проливая горячие слезы на смуглую грудь, которую нещадно же теребила на ходу руками. Увидев гнедую кобылицу, подлетающую к ней с приподнятым хвостом и прижатými к черепу ушами, с оскаленной мордой, кентавричка вскрикнула «*уо, келиме*» и попыталась убежать, но провалилась передней ногою в суслицью нору и со всего маху грохнулась на землю. С земли она так и не смогла больше подняться: с разбега гнедая вскочила ей на грудь передней ногою, прижала к земле, а копытом другой ноги принялась колотить кентавричку по запрокинутому лицу...

Мигом лошадь забила юную полукобылу-полуженщину до смерти. После этого, ощутив полное удовлетворение, кобыла поскакала ликующим галопом вослед запаху дикого пота, в котором уже ничего человеческого не было и не могло быть.

А у только что убитой кентаврицы, оказывается, тоже был под мышками запах *ырдымор пелаярва!* И на самом же деле весьма *нгифо*, то есть отвратительно и непримиримо для всякой кобылы, которая любит своего супруга и не хочет, чтобы он унюхал это не у нее самой, а в каком-то ином случае, далеком от супружеской любви.

4

Извилистым и длинным ущельем продолжалось то замкнутое пространство между отвесными скалами, которое раньше было наполнено живым лесом, а теперь из-за неосторожности кентаврской молодежи с огнем выгорело дотла. Пепел и обугленные кочерыги стволов наполняли Большую предгорную равнину, и лес горел здесь сплошняком, как в печке дрова. Для кентавров не осталось ни единого съедобного корешка или побега, и нация решила, не сговариваясь, устремиться через звериное ущелье в нагорную страну, где раньше жили древние кентавры и где, по рассказам стариков, было очень много леса и еды. Там росла даже дикая *лачача*, которую никто не сеял, и ее можно было есть сколько угодно, не вступая с самками в разные хитрые и трудные игры!

Пробежавшие первыми кентавры оставили за собою в сером пепле отчетливые черные цепочки следов, по которым двинулись остальные беженцы, испуская голодные стоны и мучительно перхая, кашляя и чихая от гаревого удушья. Первые, самые сильные и проворные, пробежали выгора поодиночке, а следом идущие брели колонной, поднимая тучи черной угольной пыли, едва видимые в ней, как черти, идущие в тумане ада на свою работу.

А те первые, что раньше других вбежали на каменистые донные уступы ущелья, увидели на крутых склонах не тронутые огнем пожара кусты, отливающие синеватым налетом, — заросли *веруськи* со вполне зрелыми ягодами. И полезли, с грохотом оскальзываясь на камнях, оголодавшие кентавры по малодоступной крутизне. Кое-кто из них без особого труда добрался до еды и повис в скалах, утвердившись на камнях лошадиными ногами, одной рукой держась за куст, а другою обчищая с его веток синие ягоды. Но для многих подъем был неудачным — они съезжали вниз, испуганно припадая на брюхо, вместе с гремящей каменной осыпью. Некоторым же совсем не повезло: добравшись до куста и кое-как утвердившись на скале, сгорбясь в старании удержать равновесие и судорожно хлеща в воздухе хвостом, кентавр только начинал собирать с куста ягоду горстями, как вдруг ветка, за которую он держался, внезапно обламывалась, и несчастный запрокидывался через голову назад, взмахнув в воздухе всеми четырьмя копытами, и стремительно улетал вниз, разбиваясь на каменных уступах.

И все же с кентаврион голодных воинов благополучно пристроились к ягодным кустам, наконец-то заимев возможность наполнить хоть чем-то свое беспредельно оголодавшее брюхо. Но тут стали набегать последующие, обсыпанные пеплом, с черными, как у негров, лицами, на которых сияли голодным

блеском глаза с яркими белками. Эти угольно-черные тоже поползли наверх к тем, которые уже пристроились к еде и которые, узрев подбирающихся к ним снизу, стали махать задними ногами, отягиваясь, но при этом не отвлекались от начавшегося процесса насыщения. И на крутосклонах завязывались драки, в результате дерущиеся вместе скатывались вниз, колотясь о каменные уступы, оставляя на них кровавые кляксы. А на освободившееся место к ягоднему кусту подбирались другие черные кентавры, щелкая зубами от голода, — по несколько воинов на кустик *веруськи*.

Некто мохнатый, черный догадался стрелять из лука в тех, кто подобрался к одному из ягодных кустов. Стоя внизу, под скалою, кентаврон прицельно всаживал стрелу меж лопаток очередному, который пристраивался к ягодам. И катились один за другим вниз подстреленные мохнатцем однополчане, пока у него не кончились все стрелы. Тогда он сам полез к кусту, но кто-то вослед идущий, такой же угольно-черный, как и другие, схватил его за хвост, намотал на кулак и сдернул вниз. И мохнарец рухнул на камни, сжимая в руках вырванный из земли куст *веруськи*.

И таким образом вскоре все кусты ягодные были выдраны с корнем, дратья было не из-за чего, и, осознав это, кентавры сползли со скал и побежали в ущелье. Там тянулся извилистый каменный коридор, холодный, темный и безветренный, пропахший странным звериным смрадом. Сюда никакие кентавры не проникали с тех давно забытых времен, когда они переселились с гор в речную долину. Здесь, в тихом ущелье, было царство горных хищников, для которых самой природою было создано множество весьма удобных нор и пещер.

Красивые пятнистые снежные барсы и огромные бурые львы удивленно прижмуривали глаза и, склоняя головы то на одно плечо, то на другое, смотрели на измызганных черных кентавров, высунувшись из своих пещер. Беженцы же кентаврские тесной толпою валили мимо, чихая, перхая, кашляя и отхаркиваясь черным пеплом прямо под ноги царственных хищников. Не сдерживаясь, многие из встревоженных своей судьбою кентавров пускали шипучие голодные ветры в нос чувствительным зверям. И косматый лев с громадной головою, настоящий великан, не выдержал, вскочил с места, яростно рывкнул и, развернувшись, с возмущенным видом удалился в глубину пещеры.

Передние наиболее шустрые кентавры проскочили самое дно звериного ущелья, и вскоре перед ними явился узкий ход наверх, к вершине горного перевала. То был путь по извилистому распадку, заваленному камнями, — унылый и безжизненный камнеброс, где надлежит громоздиться до скончания веков всем этим случайно скатившимся сверху бездушным обломкам скал... И многие из кентавров, выбравшихся на это место, начали в отчаянии хвататься за животы, скорбно перхать и вякать и падали на камни, а некоторые так и умерли.

Впереди никакой пищи не было видно и воды тоже. И кентавры все как один громко взвыли: «*Серemet лагай! Серemet лагай!*» — призывая милосердную Быструю смерть. Но она и не думала являться ко всему племени: лишь несколько счастливых испустили на этом месте дух от тоски и испуга, остальных надо было набираться мужества и карабкаться вверх по каменистому распадку.

Тем более что и пути назад для них не было — уже давно хищники, живущие семьями в ущелье, опомнились от растерянности и начали ловить проходящую мимо добычу.

Из каменного ущелья неслись жалобные вопли детенышей и кентавриц. Ленивые львы и осторожные барсы хватали наиболее доступное и одновременно самое вкусное — молодняка кентаврский и женщин. Выпрыгивая из своих пещер, львицы настигали кентаврят и, схватив их за шеи, тащили еще живыми в свое логово, где складывали в кучу про запас. Суета в ущелье поднялась изрядная. Огромный лев-великан, растерявшись во всей этой неразберихе, то налетал и ударом лапы сваливал какую-нибудь жирную кентаврицу, то, бросив ее, кидался преследовать подвернувшегося кентаврчика, с отчаянным визгом убежавшего от него. И наконец лев, совершенно осердившись, заревел во всю глотку так, что оглушил всех находившихся в ущелье, после чего схватил заваленную кентаврицу, закинул ее на плечи и бегом унес в свою глубокую пещеру.

ОТСТУПЛЕНИЕ 8. Арьергардная часть кентаврского исхода, состоявшая из кентавриц, их детенышей и слабосильных стариков, не смогла пройти сквозь охотничий заслон хищников вслед за остальными кентаврами. Пришлось отсталым, спасаясь от львиных клыков, поворачивать назад и бежать на пожарище. И эта испуганная толпа самок кентавровских с кентаврятами составила табун голов в пятьдесят; мужская же часть народа вся проскочила через ущелье и ушла в нагорные края. Оставшиеся на старом месте образовали новый кентаврский народ, получивший от самого себя название «*Янто хи лери*», что означало «Кентавры, черные, как смола *янто*». Они вышли благодаря тому, что, выбежав на пожарище, рассеялись в разные стороны, гонимые хищниками, и неожиданно обнаружили выросшие под слоем пепла съедобные грибы — *мрычи*. Они росли в таком количестве, что в иных местах корка пепла, образовавшаяся после недавнего дождя, подымалась над землей непорученной, воздетая тесно составленными шляпками выросших грибов. Это было любимое лакомство кентавров, но раньше, до пожара, *мрыча* попадалась не столь уж часто, и редко кому удавалось поесть ее вволю. Теперь же грибов под пепломросло столько, что они стали спасением остатка нации; благодаря этим грибам кентавры в конце своей истории попали живыми на небо — ведь если бы они умерли с голоду или были съедены львами, конец был бы, само собой разумеется, совсем другим.

Те же кентавры, которые друг за другом полезли по камням вверх по распадку, еще долго мучились голодом и погибали от жажды. Примерно 170 голов прошло сквозь ущелье хищников, 5—7 из них получили от судьбы *серемет лагай*, ощутив безысходную тоску, 37 размозжили головы, споткнувшись и грянувшись на камни, когда карабкались к вершине перевала. Пятеро сломали ноги или сорвали копыта, из-за чего вынуждены были лечь на землю и умирать мучительной смертью.

Остальные, почти полтора кентавриона, благополучно добрались до вершины горы и, перевалив через нее, оказались на обширном высокогорье. Оно было пересечено множеством заснеженных гребенчатых хребтов, один вид которых устрасил робких кентавров так, что у многих немедленно пошло жидкое *раккани*, хотя желудки их уже несколько дней ничем не наполнялись.

Где-то правее от вершины перевала, на котором стеснились жалкой кучкой кентавры, находилась их древняя родина, в лощинах которой в изобилии произрастала дикая *лачача*. Но никто из нынешних кентавров не знал обратной дороги к покинутому раю, и они пошли не направо, а налево, ведомые новым несчастным вожакom народа.

Самым крепким, самым голодным и решительным среди добравшихся до Амазонии (а это была Амазония на ее горной границе со страной Халиб, где знали железное ковачество) был кентаврон по имени Кехюрибал — в серых яблоках савраска, широкоплечий и совершенно лысый. Он и направился первым в левую сторону, навстречу своей ужасной судьбе, и сделал это не по какому-то внутреннему зову, а единственно потому, что чутким ухом вдруг уловил далекий шум воды. А остальные кентавры зашагали вслед за ним, удовлетворенно взмахивая хвостами; по-прежнему они не знали, как жить и куда идти, если их не погоняли и не веди за собою разные верховоды и копытоводители.

Кехюрибал не ошибся — вскоре привел всех к небольшому водопаду, чем окончательно и утвердил себя как новый командир кентавров. Его власть началась с того, что он сразу же убил двух кентавронов — так учил властвовать Великий Кентавр Пуду.

Первого, Хеленболика, новый вождь схватил одной рукою за хвост у самого основания, а другой рукою за волосы на его человеческом затылке и, рванув на себя, сбросил с мокрой скалы. Сделал это новый командир потому, что нетерпеливый кентаврончик Хеленболик, кудрявый и смазливенький, сунулся первым на каменную площадку, с которой удобно было пить, хватая ртом низвергающуюся в пропасть струю горной воды. Когда отчаянно мотавшее головою и сучившее в воздухе ногами тело Хеленболика грянулось вниз о камни и осталось неподвижно лежать на месте, кентавры все как один подняли головы и с неммым вопросом уставились на лысого командира.

Посмотрел на него и Потогришечек с косматой гривой и с такою же косматой бородкой. Он посмотрел столь же неопределенно, как и все остальные

кентавроны. Но он стоял ближе всех к новоявленному вождю, и это предредило его участь. Коротко вскинувшись на дыбы, Кехюрибал двумя передними ногами обрушился на грудь Потогришечеку. Этот охнул испуганно и, взмахнув руками, мгновенно исчез за краем обрыва.

Два трупа неподвижно лежали внизу один возле другого, чуть ли не обнявшись, и, полюбовавшись на них, кентавры вновь подняли глаза на лысого Кехюрибала, и в их взглядах новый копытоводитель уже не увидел никаких смутных чувств. Общий единообразный взгляд кентавронов был ясным, исключительно одобрительным безо всякого сомнения. Кехюрибал тут высморкнулся, зажимая большим пальцем по очереди широкие ноздри своего вздернутого носа, наклонился к струе и принялся жадно пить. И никто в это время не подумал к нему приблизиться. Командир основательно напился прохладной водицы и неспешно уступил место следующему, мухортому битюгу Гухемгухему, буйно бородатому, с полуседой сивой гривой.

Утолив жажду, отряд кентавров спустился с водопойной скалы и направился в сторону ближайшего леса, зеленеющего на склоне горы. Свежее лесное веяние пробудило надежды кентавров, они жадно потянули воздух ноздрями, зачихали жизнерадостно и бодро зашагали, выпрямив свои человеческие станы, покачивая широко расставленными локтями, деловито махая хвостами. Лес обещал им долгожданный корм, впереди отряда шел новый командир, сверкая шаровидным голым черепом, и его лысына казалась теперь кентаврам совсем не такою, как вчера. Это была отныне совсем не смешная, а какая-то особенная лысына: можно сказать, она была похожа на самую лучшую в мире круглую *лачачину*, только что вымытую в чистой воде... И подобным образом мечтая о лучшем будущем, кентавры незаметно для себя перешли на рысь.

Когда они были уже близко к опушке леса, длинными гривками зелени уходящего вверх по склону, вдруг под купою отдельно растущих деревьев обозначился человек. Он был с голыми ногами, одетый в шкуру овцы, с обнаженным левым плечом, в руке держал короткую палочку. Кентаврский отряд дружно замедлил бег и, пыля копытами, притормозил возле неизвестного *тамсло*. Тот с удивленным лицом взирает на них и, держа на плече палочку, шагнул навстречу кентаврам. Эти также раскрыли рты от удивления, ибо в стоявшем перед ними существе они учуяли и увидели человеческую самку, выпустившую на волю свою голую левую грудь. На месте правой женской груди у нее было плоское место, прикрытое полосой белой овечьей шкурки. Под легкой меховой одеждой амазонки бугрилось и дышало могучее тело, снизу на ней были короткие меховые штанишки из пятнистой барсовой шкуры, голые свободные ляжки ее, толстые и дебелие, были искусаны комарами и расцарапаны до багровых полос.

Учуяв вблизи здоровенную *текус*, едва прикрытую барсовой шкурою, из-под края которой выглядывали ее собственные темные, длинные, буйно выходящие волосы, кентавры радостно заперхали, высунув языки. И несмотря на многодневный голод, их *елдораи* начали высовывать свои головы из капюшонов.

А лысый командир Кехюрибал чуть не до самой земли вывалил свои жеребьячи возможности и, широко расставив руки ладонями вперед, крадучись двинулся к амазонке. Он как бы играл в ловлю птицы *мереке*, чьи хвосты украшали головные уборы кентаврийских щеголих. При этой игре так и двигались: как бы бесшумно подкрадываясь, на мысках всех четырех копыт, иноходью, растопырив руки и в знак высшей настороженности шевеля кончиком высунутого языка и скосив к переносице глаза.

Неожиданно повела себя при этом амазонка: не побежала прочь, испуганно оглядываясь, не вскрикнула со страху, а спокойно шагнула в сторону, упрочилась на широко расставленных ногах и, встряхнув рукою, расправила по земле то, что оказалось прикрепленным к концу палочки. Это был плетенный из бычьей кожи чудовищной мощности пастушеский бич — самое надежное оружие против горных хищников, волков и барсов. О существовании такого оружия кентавры ничего не знали. И когда крадущийся «птицелов» с мотавшимся причиндалом приблизился на вполне подходящее расстояние, амазонка шагнула вперед и с воинственным вскриком «хэс-с-с» нанесла бичом первый удар по конскому телу кентавра. От неожиданности и страшной боли кончеловек так и взвился на месте — приземлился, отскочил в сторону, споткнулся о камень, упал. Тут же

щелкнул следующий удар, оставивший на человеческом плече кентавра мгновенно вздувшийся багровый рубец. — Хэс-с! хэс-с! — продолжались удары, и амазонка безжалостно катала по земле корчившегося кентавра. Тот вскочил, кинулся прочь, остальные кентавры также бросились врассыпную, отбежали и остановились, оглядываясь через плечо назад. Но амазонка не дала убежать их копытоводителю — змеей пустила бич над травой, его конец обвился за бабку передней ноги Кехюрибала. Мгновенно с силою дернув ременный бич на себя, амазонка вновь повергла наземь лысого кентавра и, резво подбежав к нему, уселась верхом на его пятнистое брюхо задом наперед.

Саврасый был крупным кентавром и сильным воином, но, не зная приемов самозащиты без оружия, Кехюрибал лишь визжал от щекотки и мотал копытами в воздухе, подбрасывая на своем брюхе сидящую верхом амазонку. Ее звали Полифимьей, то была здоровенная амазонская солдатиха, охотница на львов. Она ненавидела все мужское на свете — подсакивая на чувствительном жеребьем пузе, свирепая андрофобка озверела от ненависти и схватилась за рукоять ножа, висевшего на поясе в ножнах.

Полифимья любила холостить рабов, уже с дюжину их бегало по Амазонии с отрезанными лично ею *елдолачами*. Но на этот раз она действовала в ослеплении такой ярости, что и до причин не добралась, а в гневе ухватила сразу за то, что моталось под самым ее носом. Стоило только ей это сделать, как саврасый испустил одновременно стон сладострастия и струйку щедрого кентаврского семени. Но сие последствие особенно взъярило андрофобку. Бешено мотнув стриженной головою и даже плюнув от злости, она широким ножом, зажатым в правой руке, смахнула то, что держала левой. Оружие было сделано в стране Халиб, нож был железным, одним из немногих, имевшихся в стране амазонок. Темная кровь хлынула страшным потоком из круглой раны, столь же страшным был последний крик Кехюрибала. И затем он сразу умер, получив от судьбы *серемет лагай*.

Солдатиха Полифимья была одна из тех амазонок, которые когда-то под командованием воительницы Апраксиды преследовали стаю львов и попали в страну кентавров. Там они имели сражение с конечеловеческой четырехногой пехотой — амазонки впервые увидели кентаврскую фалангу. Нелепая и смешная с виду, марширующая пехота была тем не менее неприступна для атакующей конницы... Пришлось амазонкам тогда отступить. И с тех пор ненависть к кентаврам у Полифимьи была особенно велика; размахнувшись тем, что моталось у нее в левой руке, она швырнула это в толпу трепещущих кентавров и не промахнулась: амазонские солдатихи одинаково хорошо владели и левой и правой рукою. От ужаса взвизгнув и заржав по-лошадиному, кентавры галопом ушли в рассеяние по всей горной долине, бросив у ног амазонки своего нового предводителя, который был добродушно-покоен в смерти. Полифимья тщательно вытерла нож о его пятнистую шкуру и вложила в деревянные ножны — охотница очень дорожила своим редкостным оружием и берегла его от ржавчины.

Вдруг загремела земля — из ближайшего леса вылетело в долину выгтянувшееся в длину стадо быков, поднимая над собою тучу пыли. И в этой пыли скакали, пригнувшись к лошадиным шеям, две молодые амазонки, размахивая и щелкая бичами.

Полифимья едва успела отскочить за дерево, как стадо быков набежало, и самые передние начали с ревом бить рогами и топтать труп кентавра. В одно мгновение он был превращен в грязное отрепье, заляпанное кровавой пылью, опутанное блестящими кишками. И растоптав дранье, стадо быков кинулось дальше — преследовать разбежавшихся по долине кентавров. И ничто уже не могло остановить разъяренных рогатых зверей, почуявших запах вражеской крови.

Две юных амазонки, уже голоногих, как взрослые воительницы, но еще обоюгрудых, не прошедших обряд выжигания правой груди, крутились на своих лошадях перед охотницей Полифимьей и прокричали ей, чтобы она догоняла их, а они поскачут за быками. После чего амазонки шенкелями разгорячили коней и вмиг умчались за зеленый холм.

Охотиться на хищников по горам и ущельям было трудно, куда легче делать это, выманивая львов из их горных убежищ, для чего Полифимья и пригнала сюда быков. А ей помогали два подпаса, молодые амазонки, не прошедшие еще военной подготовки и ~~всех сопутствующих~~ этому испытаний и обрядов. Деви-

цы-подпаски попались буйные, неумные, именно такие и нравились матерой охотнице на львов. И Полифимья мечтала со временем сама им выжечь правую грудь и священным каменным *елдораичиком* по-матерински дефлорировать каждую...

Полифимья пронзительно свистнула, заложив два пальца в рот, — из леса выбежала стройная и сильная лошадь соловой масти, заржала радостно и галопом помчалась к хозяйке. На бегу она игриво кособочилась и, отбрасывая задние ноги, лягала воздух. Подбежав на пять шагов, кобыла вскинулась на дыбы, грозно пророкотала грудным голосом, как бы собираясь броситься на хозяйку, но Полифимья на это лишь улыбнулась и, оглушительно хлопнув ладонью о ладонь, с места стремительно побежала к дереву, где на ветке были развешены легкое седло, а также колчаны с луком и стрелами. Лошадь следовала за нею не отставая и пыталась кунуть за бронзовую пряжку, которою были скреплены на правом плече амазонки передняя и задняя половинки ее мехового хитона... Пробегая мимо останков растоптанного быками кентавра, соловая приостановилась и, выгнув дугою шею, раздув ноздри, горящими лиловыми глазами скопсилась на мертвое чудище.

Тем временем быки разметали по всей долине кентавров и добивали их поодиночке. Голодные конечеловеки не могли уйти далеко и умирали покорно. А вокруг огромных валунов, лежавших посреди зеленой лошины, закрутилась настоящая карусель кентаврской смерти. Не в силах бежать вдаль, десятка три кентавროнов стали носиться вокруг камней, преследуемые взбесившимися быками.

ОТСТУПЛЕНИЕ 9. Странную и необъяснимо жестокую вражду испытывало рогатое племя к кентаврам. Совершенно необоримое желание охватывает даже самого ленивого и тупого быка при виде конечеловека: всадить острый рог в его брюхо. Сами же кентавры ничего, кроме ужаса, не испытывают перед рогатыми тварями, мычащими и ревущими, роющими землю передними копытами, поднимающими хвост палкой, когда их донимают мухи, оводы и слепни. С древних времен страдая от быков, кентавры вынуждены были уйти из долины в горы; не употребляя в пищу мяса, они не умели охотиться (только кентавры-звероловы промышляли хищников, чтобы воспользоваться их теплыми шкурами) и потому были перед парнокопытными совершенно беззащитны. А тех эта кентаврская беззащитность только возбуждала и, похоже, вызывала жажду крови у мирных скотов. То же самое наблюдалось впоследствии, через тысячи лет, когда во время корриды, проявляя высочайшее искусство тавромахии, пикадор упирался копыем в окровавленный горб дичайшего быка, а тот как бешеный рвался вперед, желая приблизиться к коню настолько, чтобы всадить ему в брюхо рог. Не представлялось ли быку в тот вожделенный миг, когда с треском рвались чужие кишки, что сидящий в высоком седле ненавистный пикадор и кляча, испуганно пукающая под ним, это одно существо — кентавр? И таким образом проявлялось начало слепой и яростной ненависти быка к конечеловеку, могущей быть названною — кентавромахия.

Да, кентавромахия была на этот раз высокой скорости и небывалой жестокости: быки легко нагоняли усталых кентавров, скачущих вокруг камней посреди лошины, и, в последний миг невероятно увеличивая резвость, всаживали громадный изогнутый рог в нежный пах убегающего кентавра... И таким бесславным образом погибло много конечеловеков посреди этой горной долины; лишь девятнадцать кентавროнов сумели спастись от ненависти быков, успев вскарабкаться на высокую скалу — быки лазать по скалам не умели.

Тут, на камнях, и застигли конечеловеков две юные амазонки, ударами длинных плетей отогнали прочь быков, а потом, вставив большие пальцы рук в губы, удивленно взирали на кентавров снизу вверх. В самых невероятных положениях, вызванных поспешностью и ужасом, застыли на скале девятнадцать спасшихся кентавров. Одни полувисели, уцепившись руками за выступы скалы, всеми своими копытами упираясь в неровности каменной глыбы. Другие держались за кусты и ветви стелющихся деревьев, голодным брюхом прижимаясь к обрыву, опасно помахивая хвостом и боязливо оглядываясь через плечо назад. Амазонки

засмеялись, достаточно полюбовавшись на них, после о чем-то негромко поговорили между собою и начали разматывать длинные волосяные арканы.

Этими арканами амазонские девицы начали стаскивать кентавров вниз. С размаху ловко бросив петлю аркана и накинув ее на шею лохматому кентавру, юная силачка принималась с глупым хохотом дергать за конец веревки. Удерживаясь изо всех сил на крутой, почти отвесной стене обрыва, взлетевший туда чудом кентавр испытывал сейчас не меньший страх, чем перед рогатыми скотами: на его глазах безжалостная амазонка ножом отделила от лысого Кехюрибала то, чего каждый из них никогда не хотел бы лишиться.

Но эти две гологрудые, голоногие, с нахальными глазами, восхитительно пахнущие амазонские девки внушали кентаврским воинам не только чувство священного ужаса. Воплощение горячей и страстной любви лошадей к людям, кентавры сию минуту представляли из себя все же начало больше лошадиное, нежели человеческое: несмотря на свое безнадежное положение, они не впали в отчаяние и у большинства из них *елдораи* высунулись из своих природных укрытий и с самым откровенным видом повисли со скалы.

Но юные амазонки не давали им особенно мечтать — зацепив кого-нибудь арканом, они сдергивали с места этого *елдорайца*, и тот срывался со скалы и мчался вниз, бурно размахивая руками для удержания равновесия. Разлетевшись на огромной скорости, кентавр во время стремительного движения бывал остановлен грубым рывком веревки за шею, и это было столь сокрушительно-ошеломительно, что каждый слетал с копыт долой и катился по земле, отчаянно взмахивая хвостом. А потом, приходя в себя, копошась в пыли под бдительным оком всадниц, кентавроны судорожно кашляли и отплеывались; тут уж было им не до мечты или природного желания.

Стащив всех кентавров со скалы, амазонские девки-подпаски сбили пленников в кучу и погнали к лесу. Тут вновь со всех сторон набегали быки и, охваченные страстью кентавромахии, хотели поднять врагов на рога, но были вовремя отогнаны свирепыми ударами бичей. Амазонки не допускали рогатых зверей ближе чем на двадцать шагов — вот и шли быки, полукругом обволакивая с двух сторон стадо кентавров ревущей толпой фанатиков, жаждущих крови. И столько было ярости и злости в этом реве, что не только кентавроны, исходящие со страху жидким *ракками*, но и сами подпаски амазонские опасно косились на дико ревущий, готовый бодаться скот. И были рады обоегрудые, когда увидели скачущую им навстречу воительницу Полифимью.

Она подскакала, оглушительно шелкая бичом, разогнала во все стороны быков — и в маленьком стаде кентавров началась настоящая паника. Двое тут же упали и умерли. Осталось их семнадцать. Кентавроны покрывались холодным потом, лица их бледнели, морщились, как ядовитые грибы *химуингму*, а один кромешно черный вороной на глазах у всех поседел и стал из черного совершенно белым кентавром. Звали этого чудака, теперь редкостной среди кончеловеков масти, Каволодьловор, и если раньше он был очень красивым среди кентавров, то теперь, став белоснежно-белым, явился самым красивым, Великий ужас перед угрозой лишиться *елдораи* не лишил, стало быть, Каволодьловора его внешней привлекательности.

Амазонки сошлись поближе и, кружась на беспокойных лошадях, громко между собою совещались, и Полифимья решила гнать пойманных кентавров в большую амазонскую деревню Овотямену, а обоегрудым велела оставаться пасти быков и беречь их от нападения львов. И сразу же как было принято решение, девицы соскочили с лошадей и мигом связали между собою кентавров в длинную цепочку, скрутив каждому руки за спиною. В таком виде и погнала охотница Полифимья остаток кентаврской армии в плен. Обоегрудые живо отбили рогатых кентаврненавистников ударами бичей и повели свое стадо в обратную сторону.

Большая деревня Овотямена находилась в полудне ходьбы от места охоты на львов, и весь этот путь пленники прошли голодной трусцой, от близкого присутствия *елдомакчи*, как они прозвали Полифимью, забыв даже о голоде и не переставая дрожать. Однако Полифимье это вонючее от страха стадо полуконей казалось чем-то опасным и подозрительным, замышляющим недоброе. Солдатиха участвовала во многих войнах и брала пленных, перегоняла их с места на место тысячами, уж она-то знала, что мысль военнопленного работает лишь в одном направлении: как бы совершить побег; и она свирепо бичевала

пленников, чтобы у них не возникали лишние мысли, и при этом тщательно следила, чтобы не был пропущен ни один из гонимых в конвое кентавров.

Когда пылящая цепочка кентавров появилась на виду деревни Овотямена, со стороны ее соломенных крыш и глиняных стен навстречу пленным побежали темные фигурки людей, показались несколько скачущих на лошадях всадников. Стоило только приостановиться ведомому Полифимьей стаду пленников, как оно было плотно окружено большой толпой амазонских жителей. В большинстве это была молодежь, обоюродная еще, одни были голоногими, а другие, совсем еще юные, прикрыты до колен юбочками. Прибежали и рабы, трудившиеся на ближних полях, сморщенные и коричневые от солнца люди мужского пола. На шеях у них имелись широкие тусклые бронзовые обручи. И всего лишь несколько всадниц, возвышавшихся на лошадях среди толпы, были взрослыми амазонками, солдатами с одной отрезанной грудью.

Эти-то одногрудые и раскупили с ходу, не доведя до деревни, всех пленников у охотницы Полифимьи, отдав ей по два железных наконечника стрелы за раба. А за красавчика Каволодедлора, который шел нарасхват, Полифимья в придачу к наконечникам заполучила еще и узкий ножик, которым пользовались для кастрирования жеребцов и мужчин-рабов. На радостях охотница хотела тут же опробовать ножик и предложила одной из новых хозяек кентавров выхолостить кого-нибудь из них, причем она бралась сделать это совершенно бесплатно. Но широколобая, приземистая силачка Рукюма, с довольным видом сидевшая на лошади, положив одну ногу поперек седла так, чтобы можно было чесать рукоятью плетки себе пятку, сдержанно усмехнулась и покачала головой, отказываясь: мол, не надо, спасибо, в случае чего и сами справимся. И молча продолжала почесывать пятку.

Затем добровольные помощницы, двугрудые девочки в юбках, развязали кентавров, веревки отдали Полифимье и с веселым шумом стали разбирать купленных рабов, теперь принадлежащих разным хозяйкам-всадницам. Вышло четыре кучки пленных кентавров, и владелица каждой из них, сопровождаемая оравой босоногих девочек, своих дочерей и родственниц, погнала к поселку новоприобретенных четвероногих рабов.

А двуногие рабы с бронзовыми ошейниками, стоявшие в стороне поодаль, стали разбредать по полям, каждый к месту своей работы. И хотя они все время молчали, на их грубых загорелых лицах ясно читалось злорадство, смешанное с тоской. Вид полновесных, крутых, лоснящихся *елдолач*, сегодня еще украшающих заднюю часть кентавров, вызывал у двуногих рабов едкую зависть и грустные воспоминания.

ОТСТУПЛЕНИЕ 10. Использование мужчин на тяжелых полевых работах и в рудниках заставляло амазонок много воевать и брать пленных. Но имея дело с *елдорайщиками*, у которых только одно на уме, гражданки амазонской республики должны были подумать о том, что им делать с ненадежной природой и животными началами своих рабов. И решение было найдено самое простое и надежное: освобождать от этих начал все мужское население страны, включая и рабов и собственных сыновей. Граждане Амазонии из этих последних, лишенных мужества, могли принимать участие во всякой деятельности, кроме военной службы. Здесь евнухи ни на что не годились, даже на то, чтобы обеспечить тыловую службу и продовольственно-фуражное снабжение. Почти поголовно мужчины амазонской страны, и рабы и вольногражданские, были пьяницами, и им нельзя было доверять материальные ценности — они могли все пропить. Пробовали время от времени вводить в стране сухой закон, но получалось еще хуже. Вместо благородного вина, производимого из тучных гроздьев, созревающих на местных вертоградах, кастраты Амазонии начинали варить тайком самогон из испорченного зерна и брагу из виноградных выжимок. Рабам из военнопленных, которых пригоняли амазонки после своих походов, была уготована одна участь: их вначале держали в общественных или частных гаремах, затем, повывжав из них все соки, одалисков холостили и отправляли на сельскохозяйственные работы или в рудники, также на заводы, где они плавил медь и бронзу, изготавливали оружие и строили боевые колесницы. С этого момента вся дальнейшая жизнь бывшего *елдорайщика* становилась совершенно беспросветной — ему даже пьянствовать не разрешалось, только

работать, и от подобной жизни рабы приходили в такой душевный упадок, что выглядели менее веселыми и привлекательными, чем даже домашняя скотина. Постепенно они забывали всё о *елдрайных* забавах и о личной свободе. Правда, некоторые из них от безысходности принимались работать на полях и в кузницах страны с огромнейшим усердием, за что получали от хозяев похвалу и разные привилегии. Основными из них были: пища, жилье и железный ошейник вместо бронзового. Передовые работники вместо двухразового питания в день получали трехразовое, жить их переводили из общей казармы, где по ночам валялось до сотни тел, в бараки-общешития, где в одной комнате обитали всего четыре-пять евнухов. Ну а те из них, которые достигали высших хозяйских милостей, получали на шею вместо бронзового ошейника железный, а в руки — кнут надсмотрщика.

Ничего не знающие о своей будущей участи, пленные кентавры испуганно проследовали под конвоем амазонских юниц в разные концы богатой деревни, дома которой отстояли друг от друга на большом расстоянии. Стреноженные лошади паслись на пустырях, подняв головы, удивленно смотрели они на прогоняемых мимо по дороге чудищ, грязных, голодных, усталых. Амазонские боевые собаки-*энкеведы*, обученные рвать на куски человека, зверя на привязи в крепких загородках, рвались с шестов, к коим они были прикреплены за ошейники (как к цепям), и самым бешеным образом оглушительно лаяли. Никогда не видевшие и не слышавшие собак, кентавры начали дрожать и ронять жидкое *раккапи*, и это несмотря на совершенно пустой желудок.

Но наконец пленники попали каждый туда, где их накормили. Давали им пищу, какую обычно ели рабы в Амазонии, — грубой выпечки хлеб и похлебку из корнеплода, напоминавшего по вкусу *лачачу*. Уже много дней ничего не евшие, почти умирающие от голода кентавры накнулись на еду с таким остервенением, что сразу же были биты надсмотрщиками. Но несмотря на самые жестокие удары бичом, кентавры рвали руками черный хлеб и запихивали в рот огромными кусками; не имея терпения как следует прожевать его, они давились, и некоторые из пленных, недешево доставшихся хозяевам, так и умерли, широко разинув рот, с непроходящим хлебным комом в глотке. За что двуногие рабы-надсмотрщики, на попечение которых были отданы кентавры, понесли суровое наказание: кто-то был переведен на полевые работы, кому-то пришлось немедленно перебраться в общие свальные бараки. Но самым страшным и невыносимым наказанием было лишение железных ошейников — этих совсем узеньких и таких красивых и прочных ободков из стальной проволоки! Раб, наказанный столь суровым образом, обычно не выносил позора и кончал с собою, подвешиваясь за бронзовый ошейник, которым оковывали его хозяева взамен железного в наказание.

Оставшиеся в живых кентавры были вымыты теплой водой, к вечеру умащены благовониями и перевязаны у основания хвоста пестрыми лентами. Их увели в те охраняемые теплые покои, где хозяйки содержали свой мужской гарем. Выбракован был и отправлен в рабочий барак лишь битюг Гухемгухем, который не понравился хозяйке из-за чрезмерной громоздкости конских членов и звериной волосатости его человеческого тела. И на следующий же день Гухемгухем, связанный по рукам и ногам, был повален на землю и выхолощен рабом-оскопителем, проворным мастером своего дела.

Обычный путь, проходимый каждым рабом-военнопленным в Амазонии, был уделом и для пленника-кентавра. Грубые в любви солдатики, побаловавшись с ними какое-то время и не найдя в том ничего особенного, перепродавали кентавров другим амазонкам или, при отсутствии желающих занять в гареме полуконя-получеловека, кастрировали их и отправляли в рабочие команды. Там они исполняли в основном тягловую работу, как обыкновенные лошади, потому что копать в грядках им было несподручно из-за своего конского телосложения, а в ремеслах, кроме грубого бронзового ковачества и плетения корзин, они были неискусны. Люди-рабы все это делали гораздо лучше, и их в Амазонии, постоянно воевавшей с соседними странами, было предостаточно. И возили кентавры, превращенные в меринов, небольшие тележки, на которых доставляли бады и корыта с пищею для рабов, трудившихся на дальних полях. А некоторым из кентавров, наиболее смышленным и крепким, везло стать чем-то вроде лошади-кучера и возить хозяек в легких домашних колесницах.

Не умея разговаривать на тех языках, которыми пользовались остальные рабы при общении друг с другом, кентавры постепенно разучивались говорить и на своем родном. И если случалось, что где-нибудь возле забора на привязи, ожидая хозяек, гостивших у своей подруги, бывшие кентавроны из одного кентавриона встречались ненароком, то они и не смотрели теперь друг на друга, оба равнодушно погруженные в дремоту. Так и не произнеся ни слова, не поздоровавшись, не попрощавшись, они увозили в разные стороны своих захмелевших в гостях хозяек.

Их отличие от лошадей заключалось, кроме внешнего, еще и в том, что кентаврам не надо было вставлять удила в зубы и навязывать вожжи — кентавры возили хозяек по команде и, если знали дорогу, могли сообразить сами, куда ехать, и доставить домой совершенно пьянющую госпожу.

Итак, почти все пленные кентавры кончили дни на грузовом и легковом извозе, прожив в неволе не очень долго. *Серемет лагай* они не получили, но и особенно страшная их рабскую смерть нельзя было назвать. Только один из них, ослепленный для гарема, завершил свою жизнь неслыханной смертью. Каволодьявор, белоснежный кентаврон, бывший когда-то воронным по своей конской масти, настолько полюбился хозяйке, широколицей силачке Рукюме-воительнице, что она сделала его своим постоянным одалиском. Со временем чувства суровой на вид, но нежной в душе солдатихи стали такими сильными, что она постепенно забросила весь свой гарем и сосредоточилась исключительно на одном своем четвероногом любимце. Даже уходя в военные походы, она не хотела с ним расставаться и водила его за собою в обозе, поручив ухаживать за ним одному кастрированному рабу-лапифу.

Дело дошло до того, что Рукюма решила сделать его своим супругом и подала в Высший Совет Всадниц прошение об этом. В Амазонии супружество в редких случаях разрешалось, и на то было необходимо решение ВСВ,⁴ но мужем амазонской гражданки мог стать только свободный гражданин Амазонии. Однако по закону этой страны каждый рожденный мальчик кастрировался еще в младенческом возрасте, поэтому мужчины не вырастали там и выходить замуж амазонкам было вроде бы не за кого. Лишь в исключительных случаях, когда волки или громадные орлы *даксы* утаскивали младенца и он у них вырастал — на таком амазонце при возвращении его в родную страну могла пожениться амазонка. И за то, что он не кастрирован, уж никто не отвечал, и государство его не преследовало. Но если какая-нибудь малодушная и негражданственная мать утаивала рождение сына и, не подчинившись закону, не кастрировала его вовремя, то по изобличении преступного деяния оба, мать и сын, подвергались немедленной казни через расстрел из боевых луков или поднятие на копья.

Но если все подходило для супружества, муж амазонки должен был подвергнуться ритуальному ослеплению. Ибо в стране традиционной андрофобии не должны были мужчины оставаться полноценными, каким их создал Бог, ведь иначе они могли потребовать равноправия или поднять рабий бунт, бессмысленный и жестокий. Идея всеобщего сдерживания мужского начала путем отсекования главной причины его нахального самодовольства была неоспорима. А одногрудых гражданок Амазонии, воинственных всадниц, она подвигала на совершение все новых военных походов: стране нужны были для пополнения гаремов чужестранные *елдорайцы*. А в устремлении к этому их слепые мужья опять-таки не могли представлять никакой помехи.

Итак, Каволодьявор предстал перед Высшим Советом Всадниц Амазонии, весь состав которого был небывало заинтригован прошением на брак между амазонкой и кентавром, пришедшим в столицу из деревни Овотьямена. До неблизкого Онитупса всадница Рукюма вела любимого кентавра за руку, сама ехала рядом, пустив свою лошадь тихим шагом, внимательно следя за тем, чтобы она ненароком не укусила изнеженного одалиска. Он был одет в красный хитон из тончайшей шерсти, подпоясан чеканным серебряным поясом, а белоснежный лошадиный торс его был накрыт богатым финикийским ковром.

Когда старые, седые, а иные и совершенно лысые конгрессорши ВСВ увидели перед собою красавца кентавра во всем его великолепии, у многих из них отвалились челюсти и широко открылись беззубые рты. Тихое и злобное шипение раздалось с их стороны, и на широкой площади Советов стало тихо.

Спикеры Совета и просто зеваки, даже не слезшие с лошадей, настороженно примолкли.

Взволнованная потная Рукюма стащила с любимца красный хитон, убрала коврик с его лошадиной спины, просунула руку к нему в просторный пах и подкачала *елдолачу*, чтобы вызвать движение *елдора*, и в таком виде провела своего картинного кентавра по кругу и вновь поставила перед конгрессоршами Совета. Каволодьловор был действительно хорош! Рукюма даже слезу смахнула пальцем с правого глаза.

Лицо слепого кентавра с широко раскрытыми белыми глазами, нежное, розовое, обрамленное бронзового цвета кудрями, было прекрасным, как у Адониса. Статный и гармонично составленный человеческий верх кентавра напоминал торс Аполлона, а белый-белый, с блестящей шелковистой шерстью конский корпус его был не менее прекрасен... И достойным завершением всего этого явился блестящий и черный, как обсидиан, упруго-внушительный, хотя и лишь наполовину явленный, безукоризненный *елдора* кентавра.

— Смотрите сами и судите, матушки-командирши! — воскликнула Рукюма. — Могла ли я не полюбить его, если он сам весь белый, как ромашка, а вон там у него черненькое, как аспид! По законам нашего государства запрещается солдатам жениться на рабах. Но ведь разрешается любить нам то, что отличает их от нас?

Тут одна из старейшин, совершенно беззубая, но упитанная старуха с огромной, как мешок, грудью и с жирным брюхом, нависавшим на меховые штаны, буркнула недовольным голосом:

— Ну и люби... Для чего жениться — замуж идти?

И при этом вытерла вспотевшее красное лицо грудью, неторопливо приподняв ее на ладони. Все конгрессорши настороженно притихли и, выставив сморщенные подбородки, пронзительными глазами уставились на солдатиху Рукюму.

Та собиралась еще подкачать для красоты своего кентавра, но при последних словах старейшины замерла согнутая, с протянутой рукою, потом медленно выпрямилась. И выйдя на середину круга, ответила твердым мужественным голосом:

— А затем, мать-воительница, что я хочу от него родить ребенка.

— Как!!! — вскричали тут все старейшины разом. — Да как она смеет, деревенщина! Это что она такое сказала!

Старуха, совершенно лысая, но с рыжей бородкой, Генеральная старейшина Елена проверещала злющим голосом, произнося каждое слово отчетливо и ядовито:

— С давних пор считается, что ублюдки кентавры были рождены кобылами от мужиков, а не женщинами от жеребцов. Это святая правда, и тех, кто хочет исказить ее, надо расстреливать, расстреливать. Теперь же я что слышу? Солдат Рукюма из деревни Овотьямена хочет доказать нам, очевидно, что женщина может родить кентавра? Неслыханная дерзость! Понятно, если здоровая солдатиха полюбит конский *елдора*, пускай он черный даже, как головешка, шут с ним. Это я могу понять, сама была такая... Но чтобы гражданка нашей страны хотела родить от этого, пусть даже оно будет не только черным среди белого, а и зеленым с красными полосками...

Народ, наполнивший площадь Советов, буйно захохотал, амазонки засовывали пальцы в рот и свистали, лошади под ними волновались и подсекались. В этом шуме сказать что-нибудь у Рукюмы надежды не было, и она выхватила меч из ножен, чтобы заколоть первого же, кто осмелится приблизиться к ней и ее любимцу. Рукюма поняла, что проиграла: не только разрешение на брак не получить ей, но и придется, наверное, распрощаться с жизнью.

Рукюма взмахнула над головою своим бронзовым мечом, и — дзам-м! — он был перерублен стальным, которым действовала проскакавшая мимо всадница. В руке у деревенской силачки остался короткий собачий обрубок ее оружия.

И тут она решительно сбросила с плеч коротенький плащ, выкинула остаток меча и, широко разведя полусогнутые ноги, поприседала, одновременно прижимая локоть к середине живота и выставив вперед сжатый кулак. Этим движением она вызывала щеголих-солдатих Онитупса на смертный кулачный бой. И тотчас же из плотного круга толпы вышла вперед молодая мускулистая широкоплечая амазонка, дотоле стоявшая в сторонке с огромной собакой-энкеведом на поводке. Передав кому-то боевую собаку, столичная солдатиха тоже скинула плащ и оказалась в черном пантерьем меху, из которого были сшиты штанишки, ладно

облегавшие ее бедра и зад. Это была новая мода богатых столичных амазонок: мех черной пантеры.

Выйдя на самую середину раздавшегося круга, бойчихи поплевали на руки и сжали кулаки, обмотанные узкими ремешками. Деревенская бойчиха выставила вперед левую руку, правую прижала к подбородку, прикрывая его в защите, а столичная красавица встала перед нею, вольно бросив кулаки на бедра и презрительно глядя в глаза противнице.

Рукюма сделала шаг вперед в легком выпаде — вдруг пантерная щеголиха взвилась в воздух и, сжавшись в клубок и тут же резко развернувшись, ударила боковиною мощной ноги в горло деревенской силачке. Та только крикнула и тяжело рухнула наземь. Бой был закончен, к большому разочарованию зрителей, которые ожидали увидеть интересный поединок достойных друг друга противников. Но искусство столичной воительницы оказалось несравнимо выше старинной солдатской выучки деревенщины.

Однако толпа утешилась самосудной казнью, которой был предан белый слепой кентавр. Вначале его долго гоняли по площади ударами плеток, затем спустили на него собак-энкеведов. Те мгновенно настигли слепца и, повиснув на его боках, живо выпустили ему кишки. Когда кентавр со страшным криком упал и забился на земле, псы стали с живого драть куски мяса. Вскоре с ним было покончено, но молодые одногрудые солдатики, раззадорившись, решили позабавиться с наибольшим смыслом. Они взяли и отсекли мечами его лошадиное туловище, отделив его от человеческого, но оставили при последнем его передвижении ноги. Получился как бы человек с лошадиными ногами. В таком виде и приставили труп к стволу дерева, насадили его спиной на торчащий сук. И он стоял, странный человек с лошадиными ногами, будто прислонившись к дереву, и можно было бы принять его за грустного фавна, если бы только не был он столь красив: юношеским торсом Аполлон, кудрявой головой Адонис.

Собаки крутились возле него, слизывая с земли кровь, дрались меж собою, рычали и гавкали, пока их не отогнали камнями дети. Они подошли и, став полукругом, со смехом разглядывали стоявшего диковинного фавна. Это были девочки в длинных еще юбках, подростки с торчащими грудашками. Они громко тараторили меж собою, а грустный фавн слушал их, склонив голову с белыми, по амазонскому способу выжженными глазами, как бы внимал детским шуткам, лукаво улыбаясь.

Подошли еще дети, совершенно голые мальчишки, тащившие на головах корзины с мокрым бельем. Остановились и с хмурым видом постояли, глядя на распятого, — но маленькие кастраты хмурились не потому, что вид казненного вызывал у них страх или недовольство. Мальчишки остановились поодаль от юных амазонок и так же, как они, с большим любопытством рассматривали разрубленного кентавра, но голые амазонцы с корзинами белья на голове делали это без живости в глазах, не улыбаясь, — мужское население великой Амазонии не знало улыбки.

5

Оставшиеся в долине кентавры, в основном самки и их детеныши, выжили благодаря грибам-*мрычам*, в изобилии произраставшим на месте сгоревшего леса. Ведя полуживотное существование, кентавры постепенно одичали и мало-помалу стали растворяться в горах и лесах, расположенных вдаль от прежнего поселка. Исчезновение в дикой природе остатков кентаврского племени было тихим и незаметным. Кентаврицы с кентавренышами разбрелись поодиночке, и гибель каждого — от голода ли, холода или от нападения хищников — оставалась совершенно безвестной для мира. И плавный уход в небытие кентаврского народа происходил в такой тишине, что порою, когда на окраине горелого леса показывалась крадущаяся фигура кентаврицы, ведущей за руку кентаврняка, то оба они, мать и дитя, казались призрачными видениями иного времени.

«*Янто хи лери*», — сказал однажды старый кентавр Пассий, показывая своему другу Хикло на пасущихся кентаврских женщин с детьми. Черный, как смола *янто*, народ — означали слова Пассия. И это потому, что покрытые угольной пылью кентаврицы и все их потомство были теперь одной масти — черные, как головешки на лесном пожарище. И старики, два оставшихся в живых поселковых

кентавра, тоже были черным-черны, как негры, ибо они, подобно всем другим *янто хи лери*, жили теперь на лесных выгонах, где росли грибы-*мрычи*.

В эти закатные тихие дни кентаврского племени снова появился в долине торговец из Мегар, побывавший в Кентаврии уже дважды. На третий раз он прибыл не один — его сопровождала дюжина городских пролетариев, отправившихся вместе с торговцем в экспедицию за кентаврскими сокровищами.

Мегарские пролетарии наслушались рассказов торговца о стране конелюдей, где можно выменять за какой-нибудь пустяк драгоценную смолу, от которой прибывает мужская сила и остаются вечно молодыми старики, желающие утех с девушками. И захотелось беднякам разбогатеть — вот и сколотилась дюжина охотников до легкой наживы во главе с торговцем, и они сообща внесли плату за проезд на корабле, переплыли море, а затем, высадившись в Финикии, пошли дальше пешком. Но когда после мучительного путешествия они пришли в страну кентавров, то увидели лишь разрушенное городище и среди руин — двух черных от угольной пыли стариков Пассия и Хикло, уныло бродивших в поисках вчерашнего дня...

Философ Евклид из экспедиции тотчас вступил с кентаврами в беседу, узнав, что Пассий хорошо говорит по-гречески. Торговец же сделал вид, что не знаком с Пассием, и к нему не подошел, потому что былых дружеских чувств у него не пробудилось при встрече, и кипела в душе купца одна лишь досада на то, что проклятые кентавры почему-то вымерли и никаких надежд на обогащение пролетариям не оставили. Два дряхлых старика не могли служить провожатыми в горный поход за смолой *янто*, это было ясно торговцу с самого начала. И надо теперь думать, что предложить спутникам, чтобы они от разочарования и огорчения не захотели бы вдруг придушить его или сбросить в пропасть.

— Куда же делся твой народ, о Пассий? — спрашивал философ Евклид. — Ведь слышали мы, что он многочислен и могуч.

— *Елдорай* и *текус* его размолотили, — был ответ кентавра.

— Как понимать тебя, мудрый Пассий?

— А так. Когда-то жеребцы *текусе* амазонок, а может быть, и наоборот. Появились от этого мы, кентавры. А потом лошади прогнали нас от себя: мол, у ваших кобыл вымя не сзади, а спереди, не снизу, а сверху, и не одно, а целых два. Мы ушли от лошадей и отправились к амазонкам. А эти вовсе повернулись к нам задом: мол, выкусите это, звери, не рожали мы вас, никогда не давали жеребцам и привычки такой не имеем. Вас родили, мол, кобылы, которым понравились *малмарайчики* человеческих самцов, этих несусветных паскудников. Вот поэтому вы такие уроды, скоты и чудища — пошли вон! И амазонки стали нас расстреливать из своих дальнобойных луков, протыкать нас стрелами с железными наконечниками, знаменитыми *эоттиями*. Мы побежали от них, но с другой стороны понеслось на нас видимо-невидимо самых свирепых и диких жеребцов. Итак, чужеземец, ты теперь знаешь, как был размолочен наш великий народ между *текус* и *елдораем*, словно между ступой и пестиком.

Пока философ Евклид и кентавр Пассий беседовали, устроившись на земле среди развалин поселка, старичок Хикло почтительно маячил рядом, стараясь не чихать и не пукать, а если его распирало, он отходил в сторону и производил звуки потихоньку.

Между тем мегарские плебеи и торговец придумали, как им теперь поступить. Они дружной толпой подошли к философам и, окружив их, схватили старых кентавров за шиворот и немедленно общупали их *елдолачи*. Люди при этом выглядели деловито.

— Э-хе! — сказал один из них, тот, который обследовал толстого Пассия. — Да тут в мешке поросят уже нету. Увели поросят, одни пустые мешки остались.

— Ах, я же забыл! — вскричал тут торговец. — У старика, верно, ничего нет! Его кастрировали лапифы, когда он был у них в плену...

— Значит, ты все же помнишь меня, *рекеле* иноземец! — усмехнулся старый кентавр. — Ну, если не меня самого, то хотя бы про мои выдолбленные яйца.

На эти слова торговец ничего не ответил и отошел в сторону, туда, где пролетарии возились со вторым кентавром.

— Ну, ничего, граждане! — успокоил он своих товарищей. — Зато у этого кролика в мешке полно еще, как у горного барана! Думаю, что выжмем из него кое-что.

Решение, к которому пришли мегарские плебеи, было следующим. Надо изловить в горелом лесу и в дальнем ущелье одичавших кентавриц и заставить их размножаться, поместив на ферме вместе с самцом.

Поощрительно хлопая тощего Хикло по холке, одноглазый мегарский пролетарий подморгнул своим единственным глазом:

— Эй, старичок! Твой дротик еще послужит, не правда ли? — И схватил его за *елдорай*.

Старый Хикло бесшумно заплакал, вытирая слезы кулаком; ему показалось, что люди хотят сделать с ним то, что они сделали когда-то с его другом Пассием. Но сам Пассий и успокоил его: они хотят поймать одичавших *келеле* для тебя, чтобы ты поскорее начинил их кентаврятами, объяснил он испуганному Хикло.

— Зачем? — удивился повеселевший старичок. — Зачем это им нужно, *рекеле* Пассий? — спрашивал он у друга.

— Мы смешные, *рекеле* Хикло, — отвечал Пассий. — Поэтому *тамсло* хотят угнать к себе побольше кентавров. Чтобы показывать их по разным городам за деньги — вот как меня, когда я был у них в плену.

Пришельцы тут же начали строить из жердей просторную круговую ограду, а старые кентавры стояли рядом и смотрели на их работу. Когда загородка была готова, плебеи отделили Хикло от Пассия и, связав первому руки за спиною, велели ему проследовать за ворота ограды. Ничего еще не понимая, Хикло послушно проследовал туда, куда ему повелели, и ворота тотчас были закрыты и заперты с наружной стороны. Старый кентавр хотел выйти назад — но тут стало ему ясно, что это невозможно. В три ряда жердей была собрана загородка, через верхнюю нельзя перепрыгнуть, а под нижнюю жердь не пролезешь: кентавры так же, как и лошади, совсем не умели ползать. Хотел старик Хикло открыть запор на воротах, просунув руку сквозь жерди, и тут как бы впервые почувствовал, что руки у него связаны; никогда не скручивали ему рук за спиною — это было необычайно новое ощущение для кентавра.

— Оу, *рекеле* Пассий, — с беспомощным видом позвал он друга. — *Хардон малмарай*... Что бы все это значило?

— Считай, что ты как страус-*мереке*, запертый в земляной тюрьме, — пояснил ему Пассий.

— Но туда, в земляную тюрьму, страусов сажают, чтобы они несли яйца! — воскликнул Хикло в отчаянии.

— Вот и тебе придется делать что-то вроде этого, *рекеле* Хикло, — сказал Пассий. — Только надо будет не просто нести яйца, а носиться с ними от одной молодки к другой. Но думаю, что это не доставит тебе удовольствия.

— Почему это? — забеспокоился Хикло. — Почему ты так нехорошо думаешь, *рекеле*?

— Потому что ты это будешь делать не по желанию, а по принуждению, — с глубокомысленным видом изрек Пассий.

— Нет, по желанию! — возразил Хикло. — У меня всегда это идет по желанию.

— На сей раз не будет этого, — сурово отрезал Пассий. — Потому что народ наш уходит в Большую смерть. А когда это происходит, никто из *елдорайцев* ничего уже не хочет.

— Но я же хочу! — сердито проворчал Хикло. — Я и сейчас не прочь...

— Ничего ты не хочешь, — оборвал его Пассий. — Это тебе кажется, что хочешь. У тебя просто сказывается привычка помахать, и это, *рекеле*, вовсе не то священное хотение, которое знал наш кентаврский народ когда-то. Да и я сам, признаться, еще помню кое-что из своей давно прошедшей молодости.

Два старых кентавра разговаривали, стоя по разные стороны загородки; Пассий держался за забор, положив руки на жердь, и связанный Хикло с завистью смотрел на эти свободные руки. А невдалеке мегарские пролетарии обедали, сварив в котле птицу *мереке*, которая накануне сама подошла к ним с любопытствующим видом и была убита ударом палки по голове... Один древнегреческий пролетарий вдруг вскочил с места и стал подзывать Пассия, взмахивая рукою, в которой была зажата крупная птичья кость.

Старый Пассий понимал жесты людей, знал их привычки, поэтому он покорно направился на призыв, хотя мудрому кентавру вовсе не хотелось этого делать. Но знал он также, что если не послушается человека, будет хуже, ибо он за непослушание хватает палку и бьет ею по голове непослушника. Воля людей

к насилию была известна Пассию, и он боялся этой злой воли. Но сейчас старому кентавру было особенно страшно.

ОТСТУПЛЕНИЕ 11. Когда Пассия не стало в Кентаврии, ферма по разведению конелюдей изрядно разрослась: голов пятнадцать самок с детьми изловили греки в лесах у дальнего ущелья и на старом пожарище. Одицавшие кентаврицы кусались и царапались, но мегарские пролетарии связывали им руки, так же как и старичку Хикло, из-за чего последнему приходилось любить самок, не обнимая их за талию. Но несмотря на это, все кентаврицы вскоре понесли, что стало заметно по их округлившимся животам и, главное, по их заметной смягчившемуся поведению. До этого своего положения они все были злы как черти, беспрерывно грызлись, лягались, даже, бывало, дрались головою, не имея возможности пустить в ход руки, скрученные у них за спиной. Их особенно раздражало сие обезрученное положение, при котором они даже есть должны были как животные, хватая ртом из долбленых корыт куски *лачачи*, которую научились выращивать чужеземцы на обрабатываемых полях кентавроводческой фермы. К тому же лишненные привычной возможности беседовать стоя друг против друга и при этом накручивая на палец свою длинную грудь, кентаврицы вовсе разучились улыбаться и разговаривать. Со связанными за спиной руками кентаврийские кумушки общаться меж собою не могли. Как молчаливые тени бродили они внутри загородки, каждая сама по себе, и рядом семеня на тоненьких ножках ее лагерный ребенок. И только один Хикло суеился среди угрюмых кентавриц, со скуки болтая сам с собою или ведя безответный односторонний разговор с какой-нибудь дремлющей кентаврицей. И вот однажды люди, державшие их в невольничьем лагере, вошли внутрь его со смотанными веревками в руках. Они стали ловить и вязать беременных маток в одну длинную цепь, собираясь гнать их караван в сторону моря. Малых кентаврят решено было не вязать, потому что они никуда от матерей никогда не убежали. Когда все кентавроматки были связаны в одну длинную колонну, два плебея подошли к ее голове, где находился старичок Хикло, и хотели его развязать, чтобы опустить на все четыре стороны — он был не нужен больше людям. И вдруг перед ними раскрылась завеса мира, из-за которой выступили несколько круглоголовых *томсло* с четырьмя пальцами на руках. Они каким-то невероятно мощным ветром сдули в одну сторону всех древнегреческих пролетариев и крепко прижали их к жердям ограды. Затем на глазах у греков развязали пленниц и старенького их мужа, пошире раздвинули завесу мира — и одного за другим провели сквозь нее всех кентавров. Онемевшие от страха мегарские плебеи стояли, прижавшись к забору, и тарасили глаза на то, как уходит за полупрозрачную, словно радуга, и такую же чудесную завесу не очень длинная вереница последних на земле кентавров. Во главе с худеньким лысым старичком Хикло кентаврицы удалялись, ведя за руки своих детей, — все выше и выше в глубину открытого неба.

Старый кентавриарх Пассий, приблизившийся к обедавшим древним грекам, был ими осквернен следующим образом. Торговец рассказывал своим товарищам, что кентавры никогда не едят мяса и что даже звероловы, добывающие меха на потребу, выбрасывают туши благородных оленей и горных муфлонов. Это сообщение торговца и раззадорило мегарских плебеев на одну выходку: они решили накормить жирным супом из птицы *мереке* достопочтенного Пассия. Налили полную чашу бульона, сунули ее в руки старику, и он, зная, что пропал, зажмурился и выпил всю чашу до дна. Потом он, к большому разочарованию зрителей, вернул посудину и преспокойно отошел в сторону, свесив на грудь лохматую голову с большой лысиной.

Не видя в нем никаких изменений, фермеры еще несколько раз кормили его мясной пищей, ожидая от этого хоть каких-нибудь последствий. Но поначалу ничего не было заметно. Вкушение еды, для приготовления которой надо убить кого-нибудь и отрезать от него кусок, не оказало вроде бы никакого воздействия на кентавра. Обладатель просторнейшего брюха, Пассий благополучно переварил съеденное мясо, не умер, но вскоре стал заметно жиреть, и с живота его выпали все волосы.

Тогда и стал замечать кентавр, что люди начали все чаще задумчиво поглядывать на него, а иной древнегреческий пролетарий прямо подходил к нему и заинтересованно ошупывал его бока, с озабоченным видом хлопал его по лысому брюху. Однажды приблизился к нему философ Евклид и начал такой разговор:

— Скажи, о мудрый Пассий, за кого ты сам себя принимаешь — за человека больше или за лошадь?

— За *елдорайщика* все же,— последовал ответ, сопровождаемый глубоким вздохом.

— Ну а таковой, которого ты назвал, кем больше является — человеком или животным?

— На это трудно дать ответ, о чужестранец,— молвил кентавр без особенного воодушевления.— Амазонки в соседней стране считают, что всякий, имеющий меж ног что-то иное, чем у них, уже не человек. А дикие лошади из степей Танопостана считают, что с такой висюлькой, как у человеческих самцов, нечего даже и думать, чтобы считать себя *елдорайцем*. Нас же они признают — кентавр может стукнуть себя по брюху *бельберей елдышкой* ничуть не хуже какого-нибудь дикого жеребца.

— Это все интересно, но мне желательно узнать другое,— сдержанно произнес философ.— Не насколько *елдорайцами*, а насколько человеками или лошадьми вы сами себя считаете? Кентавр — конь или человек?

— *Елдорайщик*,— последовал уверенный ответ.— Или, если на правильном греческом языке, *елдораец*. Иным себя ни один кентавр не считает... А зачем тебе нужно знать, о чужеземец, наше кентавровское мнение по этому поводу?

— А затем,— отвечал Евклид,— что от этого зависит многое, о, очень многое! И в первую очередь твоя собственная жизнь, Пассий. Буду откровенным с тобою, потому что ты полюбился мне своей мудростью. Мои спутники уже давно обсуждают меж собою, можно ли есть мясо кентавра или нельзя. Мы поистратили все свои стрелы, охотясь в лесу, и теперь нам живется голодно, сидим мы на одной рыбе, которую, ты знаешь, не очень легко поймать в глубокой реке... Вот мы и думаем: можно ли съест тебя? И это нелегкий вопрос! Если ты больше животное, нежели человек, то какой грех в том, чтобы употребить твое мясо в пищу? А если ты больше человек, чем животное, то как можно съест тебя? Это же, сам понимаешь, почти людоедство... Вот мне и хотелось выяснить, как ты разбираешься в этом сложном философском вопросе.

— Я понимаю так, что нижнюю мою часть, которая лошадиная, вам съест можно,— отвечал Пассий.— А верхнюю, которая человеческая, есть нельзя.

— Какая мощная диалектика!— восхитился Евклид.— Какая прямота и логичность мышления! Ты все больше восхищаешь меня, о Пассий! Так ты считаешь, что можно съест твою лошадиную часть?

— Вполне,— подтвердил кентавр.— Ешьте на здоровье.

— Однако вот здесь у тебя, на брюхе, где выпали все волосы, тело выглядит совсем как у человека,— засомневался философ Евклид.— Вот и кожа такая же, как у меня, и пупок торчит.

— Это, *рекеле*, не пупок, а старая грыжа.— отвечал кентавр.— Но ты глянь пониже грыжи: что там видишь? Эта штука у меня, конечно, сейчас бесполезная, но по виду ведь не скажешь этого. Разве у человека может быть такая вещь?

— Нет, не может, Пассий,— с почтением молвил философ.— Ты прав: все нижнее у тебя вполне лошадиное.

И Евклид покинул собеседника, чтобы сообщить своим компаньонам мнение кентавра о самом себе. Мегарские пролетарии выслушали философа и задумались. Ум мелких людей, всецело направленный на то, чтобы выжить и что-нибудь выгадать в жизни, зашел в тупик. Зачем кентавру нужно, чтобы его непременно съели? Не проглядеть бы тут какой-нибудь опасной хитрости, думали эти древнегреческие плебеи.

И для прояснения вопроса решено было подвергнуть старого кентавра бичеванию. Скрутили ему руки за спиной, привязали за шею к дереву и с двух сторон взяли в плети. Недоумевающий кентавр перебирал ногами на месте, вздрагивая при каждом ударе, косил глазами направо и налево, хрипел, захлестнутый веревочной петлею, и на его толстом бородачом лице читался отчаянный вопрос: за что бьете?

— Говори!— приказали бичевавшие кентавра, остановившись передохнуть.

— Что... говорить?— едва слышно просипел Пассий, полузадушенный веревкой.

— О чем ты думал, когда предлагал съест себя? Только правду говори, не то снова начнем бить.

— Женщина и конь... нас породили,— забормотал старый кентавр.— *Текус* и *елдорай*.

— Ну и что?

— Мы не злы, но мы смешны. Мы смешны, а не злы...

— Дальше!

— Мой народ не может больше жить на свете.

— Почему?

— От нас воняет.

— Ты старая, действительно вонючая, лысая скотина!— вскричал тут одноглазый древнегреческий плебей, угрожая плетью.— Говори наконец правду! Почему предлагал съест себя? Твое мясо отравлено? Или невкусно?

— Не знаю, *рекеле*... Но то, что намесили конский *елдорашиник* и лохматая *текус* солдатихи, не может быть вкусным. И это не может хорошо пахнуть... Мой народ не хочет больше вонять, как *ырдымор нгифо пелеярва*.

— А тебе-то что?

— Поэтому самая большая его мечта — это *серемет лагай*. Вот я, чужеземцы, и захотел получить ее из ваших рук. Но вы почему-то не убиваете меня, а бьете...

— Что он такое несет,— возмутился снова одноглазый и ударил-таки кентавра плетью по спине.— Скот грязный! Дурачина! Говори дело!

— О, нет, нет! Тут глубокая мысль!— возразил ему философ Евклид, выступая вперед.— Однако если послушать его, народ этот прелюбопытный, господа! Они как сама природа, предпочитают не противостоять беде, а отступать перед нею. Не нападать, а уступать. Вот вам и натурфилософия!

— Довольно болтать, Евклид! Ты не на базарной площади в Мегарах,— нетерпеливо перебил философа одноглазый пролетарий.— Отойди-ка в сторону, дай я огжу его еще разок!

И палач стал расправлять бич, чтобы нанести особенной сокрушительности удар.

— Подожди, Горгий!— удержал его философ.— Ты свое всегда успеешь, а пока дозвожь мне поговорить с ним. Ведь когда ты его зарежешь, не смогу же я беседовать с мясной тушей!

— Валяй, Евклид,— снисходительно уступил кривой Горгий.— Поболтай с ним, а я наточу пока ножик.— И он отошел в сторону.

— Досточтимый Пассий, все кентавры, которых я наблюдал, мало чем отличаются от животных, и уровень их интеллекта невысок,— начал философ Евклид.— Ты же замечательным образом выделяешься среди них. Чем это объяснить?

— Объяснить ничто невозможно,— последовал усталый ответ-кентавриарха.— Потому что нечем.

— Почему же «ничто», Пассий? Я ведь говорю о твоей мудрости.

— Я о том же самом. Это и есть ничто.

— Ну, тогда я по-другому задам вопрос... Почему это «ничто»?

— Потому что еще в молодые годы мне отрезали *елдолачу*.

— Неужели причина твоего незаурядного ума только в этом, о Пассий?

— Совершенно верно, о Евклид.

— Но я не понимаю, какая тут может быть связь?

— Я не мог жить *елдораем*, как все добрые кентавры, поэтому вынужден был жить разумом. Что же тут непонятного, иноземец?

— Значит ли это, что, *елдораиствуя*, кентавр не мыслит?

— Совершенно верно. *Елдораиствующий* не мыслит, а существует. Я *елдораиствую*, значит, я существую.

— Однако это чисто по-кентаврски!— воскликнул философ, пожимая плечами.— По-твоему, выходит, не надо *елдораить*, чтобы мыслить?

— Нет, я говорю: надо *елдораить*. Кто не *елдораиствует*, тот не живет.

— Но по ходу твоих мыслей получается, уважаемый Пассий, что ты не ценишь разум? Не любишь философию?!— воскликнул Евклид.— Основой существования ты признаешь одно только *елдораство*!?

— Я кентавр, о Евклид, и ничто кентаврское мне не чуждо,— последовал ответ.— А каждый кентавр не любит заниматься пустым делом, если рядом крутится пустая *текус*, которую можно живо наполнить. Для этого мы и существуем.

— Да это же какой-то половой экзистенциализм!— вскричал Евклид, весь красный от гнева.— Нет, ты все же не человек, ты настоящее животное. В твоём понимании сути вещей наличествуют всего две точки, между которыми можно провести всего одну прямую... И только животное может не любить высокую человеческую мысль!..

— И грязное притом,— грустно подтвердил кентавр.— В особенности когда это животное находится в таком положении, в каком нахожусь сейчас я... Как мне полюбить высокую мысль, о Евклид, если на шее у меня веревка, руки связаны за спиной, а на моем *елдорае*, залитом кровью, копошатся проклятые мухи?

— Горгий!— громко воззвал философ Евклид, уже не обращая внимания на слова кентавра.— Иди продолжай свое дело, приятель. С этой скотиной я уже разобрался в достаточной мере. Я уверился, что по своим убеждениям это не человек, но чистейшее животное.

От кучки мегарского плебса, сидящего вокруг костра, над которым висел котел в ожидании мяса, отделился одноглазый Горгий и, поглаживая о ладонь лезвие наточенного ножа, направился в сторону привязанного к дереву кентавра. На полпути он разминулся с шагавшим к костру философом, лицо которого было скучающим и кислым. Горгий подмигнул ему своим единственным глазом... Евклид не ответил.

За оградой *серала* в одном месте столпилось стадо кентавриц и с тревогой наблюдало за происходящим. Их мужской предводитель, старичок Хикло со связанными руками, в тоске и страхе грыз жердь на пряслах, сторбив свою костлявую спину. Проходя мимо кентавриц, одноглазый Горгий пугнул их, метнувшись на самок с поднятым кривым ножом, и те с визгом бросились в стороны, тряся грудями. Так как руки у них были связаны за спиной, самки не могли делать неприличных жестов, дразня неприятеля, поэтому они стали высовывать языки и кричать издали:

— *Инкерс працу келеле!*..

Ничего не понимающий Горгий в ответ также показал им язык и после с деловитым видом направился к одинокому дереву, где был привязан кентавр, предназначенный к закланию.

Когда он подошел шага на три-четыре к жертве, перед ним вдруг сверкнула молния, и кривой Горгий на какое-то время ослеп, потеряв из виду дерево с привязанным к нему кентавром. Плебей выронил нож и схватился за свой единственный глаз, в котором неимоверно жгло. А когда он смог открыть его, то увидел, что ни дерева, ни кентавра перед ним нет. На том месте, где они были только что, теперь дымила широкая и глубокая яма. Подбежали остальные фермеры во главе с торговцем и стали молча, с ошеломленным видом созерцать место таинственной катастрофы.

— Я знаю, кто это сделал!— воскликнул первым пришедший в себя торговец.— Это они...

— Кто такие?!— спросили испуганные мегарские пролетарии.

— Я их видел уже. Это те самые, которые могут кого угодно вычеркнуть в пустоту. Вот как дерево и кентавра. Помилуй меня Зевес!.. Они умеют раздвигать завесу мира и переносить тебя куда угодно. Они не похожи на нас, у них на руках по четыре пальца...

Только он успел произнести это, как фермеры, стоявшие на краю ямы, дружно ахнули, ибо на другой ее стороне увидели внезапно появившегося там четырехпалого с большой круглой головой. Четырьмя этими пальцами он сжимал изогнутое блестящее оружие, увидев которое торговец вдруг сорвался с места и побежал прочь, как заяц, виляя из стороны в сторону. Но большеголовый спокойно поднял оружие на уровень своих глаз и одним коротким пронзительным гиском-выстрелом вычеркнул грека на всем бегу.

ОТСТУПЛЕНИЕ 12. Когда торговец увидел себя вновь лежащим на белом песке оползня, он ничуть не удивился. Все вышло так, как он и предполагал. В прошлый раз, когда холерный караван бросил его умирать на этом же месте, перед ним раскрылась завеса мира, и он оказался в поселке кентавров.

Невидимые, что следили за ним, пожалели его потому, что он сам жалел умирающих от злой холеры и собирал пуговицы с их одежды, чтобы доставить родным и близким вещицы, помнящие последнее прикосновение тех, кто уже никогда не вернется домой. Многие из погибающих прощались с торговцем, благодаря и благословляя его душевную заботу. И пуговиц набралось у него полные карманы. Когда он по милости загадочных сил попал в поселок кентавров, там он выменял пуговицы, весьма заинтересовавшие кентавриц, на волшебную смолу *янто* и живительные корни травы *кимпу*. Тогда-то он и понял скрытый ход действий невидимых спасателей. Если человек хотя бы раз в своей жизни подумает о ближнем своем, умирающем, как о самом себе, то такого человека они примечают и в нужный момент приходят к нему на помощь. И в час, когда великая печаль и смертная тоска одиночества одолеют его душу, они внезапно, совершенно чудесным образом даруют ему избавление, жизнь и богатство. А затем наблюдают, что он будет делать со всем этим. И если спасенный поступит так, как поступил он, мегарский торговец, то они огорчатся и наказывают нечестивца... Все это он понял сейчас, лежа на песке с холерным огнем в животе, вспоминая, как сам поступал в жизни. Он не утешил вдов и сирот тех, что погибли на караванном пути от холеры, никого не навещил, никаких пуговиц им не снес, потому что все их обменял у кентавров на смолу и корни. И никаких даров не сделал осиротевшим, хотя сам разбогател. Но все богатство потратил на то, чтобы покупать красивых продажных женщин самого разного телосложения и жить с ними в неге и роскоши во дворцах. Разбазарив все деньги, он решил самостоятельно добраться до поселка кентавров и вновь наменять драгоценных снадобий на пуговицы. Однако, с величайшим трудом добравшись до Кентаврии, он заработал там круглый ноль — не желали кентавры на сей раз и смотреть на его пуговицы. И в то тяжелое для него время пришлось ему воочию увидеть этих таинственных *томсло*. Отчаяние, раскаяние, злора толкнули его тогда кинуться к ним с криком «козлы» — и это рассмешило их, и они снова пропустили его сквозь завесу мира, и он слышал, следуя светящимся проходом потустороннего пространства, их громовой богоподобный хохот. Но, возвращенный в родной город, он еще ничего не понял, и в дальнейшем жизнь его круто покатила вниз. Он связался с городскими подонками, попрошайками, мегарскими пролетариями, которые и уговорили его предпринять третью экспедицию в страну кентавров. И здесь он совершил то, из-за чего был теперь наказан: он велел зарезать на мясо кентавра Пассия, который всегда был добр к нему и приобщил его к самой дорогой мечте всех кентавров — пронзительной мысли о *серемет лагай*. А совершил торговец подлость потому, что ему стало невмоготу каждый день чувствовать на себе укоризненный взгляд старых глаз Пассия, который был ему когда-то самым близким существом в поселке. От взглядов Пассия торговец чувствовал себя отвратительно — мерзким гадом в этом мире представлялся он себе. И постепенно торговец возненавидел самого себя. Таким образом он и пришел к желанию уничтожить старого кентавра — возненавидев ближнего своего как самого себя. И теперь он лежал на песке, глядя на плывущее перед горизонтом мира смертное марево, и думал, что, возможно, ничего и не было такого чудесного, как благоуханная занавесь мира, за которою кентавры, далекая родина, честь и бесчестие, красавицы, пуговицы, звезды над караваном, шелест песков, сны, ангелы, птицы *мереке*. Возможно, всего этого и не было: великого испытания любовью к ближнему, которая проста, ясна, чиста, всемогуща и счастлива, — наверное, всего этого еще не было, ни спасения, ни испытания, иначе почему, почему он не выдержал его? Почему он возвращен умирать на этот белый песок?.. И ему все больше казалось, что ничего этого и на самом деле не было: ни любви, ни ненависти, ни богатства, ни бедности, ни гор, лесов, спасения, кентавров — ничего, кроме приближающейся холерной смерти, не было, и никто его ничем чудесным не одаривал, не спасал, не испытывал. А только всегда лежал он на чистом песке и с нежной грустью ожидал приближения легкой и прохладной *серемет лагай*.

Избитый кентавриарх Пассий был перемещен тайными силами и выставлен посреди бурьянного пустыря на окраине столичного города амазонок Онитупса.

Кентавр был таким же, как и прежде: старым, толстым, со связанными руками, до крови высеченным плетью, с далеко выпадающим вялым *елдораем*; но дерево, к которому он был притянут веревкой за шею, стало обугленным, совсем без листвы. Ничего не собирался предпринимать для спасения своего усталый кентавр, не понимал он, как очутился на новом месте, никаких не питал надежд — стоял Пассий на привязи понурившись, закрыв глаза, и старался ни о чем не думать, ничего не чувствовать. И только временами, когда со стороны города, видимого за дальним краем пустыря, раздавался какой-то необычайно мощный, сотрясающий землю удар, кентавр вздрагивал и, чуть приоткрывая глаза, поднимал голову.

В одно из таких мгновений приоткрыв глаза, он заметил несущуюся по пустырю в его сторону стаю псов, и, стряхнув безразличие, старый Пассий снова зажмурился со вздохом облегчения: «На этот раз *серемет лагай...*» Собак он боялся и ненавидел с дней своего плена, но сейчас, имея к ним особый интерес, он старался думать о гнусных псах с любовью и нежностью: вот они подбегут, голодные, кровожадные, и разорвут его на части... Что и собирались сделать псы, судя по виду стаи. Впереди ее громадными прыжками неся исполинский черный кобель-*энкевед*, видимо, сбежавший со службы. За черным великаном пласталось в зверином галопе десятка полтора лохматых бездомников. Они стремительно приближались, неотвратимые, как ангелы смерти, — и вдруг землю потряс такой мощный удар со стороны города, что псы на всем скаку слетели на землю с ног долой, покатались в пыли, затем вскочили и, с обалделым видом встряхиваясь, принялись тявкать и подвывать, обратившись мордами в сторону испугавшего их шума.

И тут как из-под земли появились перед кентавром два неких человека, замахали руками на собак, стали бросать в них камни, отгоняя прочь. Оба явившихся были с четырьмя пальцами на руках, но в коротких рваных штанах и с рабиными бронзовыми обручами на шеях. Кентавриарх поначалу принял оных за те существа, которым дано таинственное могущество переносить себя и других в иные миры и пространства, однако, приглядевшись и, главное, прочтя мысли в их головах, Пассий понял свою ошибку. (Оказывается, пройдя через перемещение в пространстве, Пассий мог уже считывать мысли с чужой головы; но зачем ему это, мелькнуло в его собственной.) А считал он сейчас весьма дурно пахнущие мысли, и таковые не могли принадлежать благородным *томсло*, не раз являвшимся к кентаврам. Эти же двое приближались с общей для обоих мыслью: «Наварим ведро свежей конины! А то надоело питаться тухлятиной!»

Два раба сбежали с хозяйских полей и уже много дней прятались на пустыре, возле ямы, куда жители города выбрасывали околевших животных. Ими и питались стаи одичавших собак да эти двое беглых. Но чего-то давно падали не было в яме, и вот сегодня рабы увидели привязанного к дереву кентавра, издали приняли его за старую лошадь, которую хозяева выставили поближе к свалке, чтобы самим не возиться с убоим.

Рабы подбежали с цветущими улыбками голодных, которым предстоит насытиться, но вблизи увидев не лошадь, а кентавра, разочаровались, улыбки на их лицах постепенно увяли. И кентавр считывал с грубых извилин рабских мозгов недоумение, подозрительность и страх: а что, если этот полулошак, кентавришка, возьмет и донесет куда-нибудь, что мы скрываемся здесь?.. И так далее. Тут тяжкой силы удар вновь чудовищно сотряс землю и воздух над нею. Собаки болезненно взвыли, вякнули и разбежались в стороны, гонимые лютым ужасом. Рабы попадали во ржавую осеннюю полынь пустыря.

ОТСТУПЛЕНИЕ 13. В стране амазонок изготовили неслыханное во всем древнем мире железное оружие, с помощью которого нетерпеливые воительницы хотели наконец покончить со всеми мужчинами окружающих стран, начиная от Халиба, Лапифии, Ахейи — и вплоть до гиперборейских стран. Халибов амазонки уже покорили и теперь выкачивали от них весь железный запас, чтобы отлить Железную Падающую Дубину. Мысль о ней пришла в лысую мудрую голову Генеральной Старейшины по имени Елена, которая призвала амазонок создать всенациональную железную балду со стальным набаддашником, чтобы она, поднимаемая веревками, грозно вставала торчком, а потом резко падала бы вперед, разбивая вражеский строй. Железную дубину решено было делать длиною в триста пятьдесят широких пехотинских

шагов, на передней части ее была наварена круглая стальная головка в 340 быков весом, нижняя же часть палицы крепилась к двум *лачачеобразным* приливам, над которыми и могла подыматься и с этого стоячего положения падать вперед грандиозная железная башня ЖПД. Везти ее нужно было на огромной платформе с восемьюстами огромными колесами, толкали телегу прикованные под ее днищем рабы. Но оттягивать, ставить в стойку и обрушивать на врагов железную балду должны были только солдатики амазонского воинства. Десять тысяч отборных воительниц тотальной гвардии предполагалось ставить на подъем и пуск ЖПД, остальное войско всадники должно было с мечами и луками обеспечивать охрану Всеамазонской дубины.

Двое сбежавших рабов отвязали кентавриарха Пассия от мертвого дерева, распутали ему руки, усадили на траву, сели рядышком и принялись тянуть из горлышка глиняной бутылки какое-то жутко пахнувшее пойло.

— А я-то тут при чем?— с глубоким недоумением в голосе произнес кентавр, думая о чем-то своем и с удовольствием потирая грубые следы веревок на запястьях, освобожденных от пут.

— А при чем тут ты, старичок?— с таким же недоумением переспросил один из рабов с потертым бронзовым обручем на жилистой шее, с глазами синими-синими среди темных морщинок лица.— О тебе и никакой речи нет! Мы же горим о своих делах, дедушка. Так что ложись и отдыхай, пока тебя не поймали и не запрягли в телегу. А поймать нас всех поймают — она все равно зацапает, уж будь спокоен.

— Откуда вы, *рекеле*?— отечески спрашивал у рабов Пассий на греческом языке.— По какой земле вы гуляли, пока не поймали вас амазонки?

— Мы полночные,— ответил один из них, вздыхая.— Загиперборейские. У нас там хорошо, мы пили пшеничное зеленое вино. Оно будет получше, чем это...

— Ладно тебе!— сердито прервал его второй раб.— И это неплохое, пей!— И он передал обеими четырехпальными руками глиняный сосуд товарищу.— Вот она наладит свою *елдышку* железную, перемолотит все вокруг, тогда и такого пойла нигде не увидишь.

— А кто это, кого вы всё называете «она»?— полюбопытствовал Пассий.

— Кто, кто...— недовольным голосом проворчал раб, оглядывая близкие кусты бурьяна.— Она... Военная... Вот кто.

И видя, что кентавр не понимает его, сделал предположение:

— Ты, наверное, иностранец... Но кто же тогда вычистил тебя снизу?

— Лапифы, когда я был у них в плену,— смиренно ответил старый кентавр.

— А наши яички выпотрошила она.

— Кто это?

— Военная... Змеюка, которая шипит в лохматых зарослях... Амазонская стерва, которая хочет ездить верхом на мужике, как на лошади... Лысая Елена, у которой растет рыжая борода... Понятно теперь?

Кентавр молчал, по-прежнему ничего не понимая. С недоумением и любопытством смотрел он на то, как, держа глиняную бутылку обеими руками, на которых было по четыре пальца, загиперборейский человек пьет из сосуда дурно пахнущую жидкость.

Это был, как и его товарищ, онитупский раб из пьяниц, коим хозяева поотрубали большие пальцы, чтобы выпивохи не могли обхватывать одной рукою емкий стакан или бутылку. Такая мера несколько ограничивала возможности неисправимых пьяниц, делая их заметными перед надсмотрщиками. Теперь раб не мог, как раньше, до операции, прикрыться полою халата и, держа бутылку в одной руке, быстренько махнуть прямо из горлышка...

— Можно мне, *рекеле*, уйти?— спросил Пассий, зачарованно глядя, как острый кадык пьющего раба прыгает вверх-вниз...

— Куда пойдешь?— спросил второй раб.

— Искать ее,— ответил кентавр.— У меня ведь тоже есть она.

— Кто это?— спросил первый раб, отставив питье, подвинув бутылку ко второму.

— *Серемет лагай*,— ответил кентавр.

— Так чего же ее искать?— улыбнулся второй и протянул сосуд Пассию.— Вот она, держи. Так бы сразу и сказал, что хочешь выпить.

— Но я ищу другое, господа,— устало вылупив глаза и близоруко рассматривая ужасно пахнущий сосуд, отвечал Пассий.

— Ты же сказал, старичок, что ищешь шербет лакай?— дружески молвил второй раб и вновь протянул бутылку.— Вот это и есть то самое.

— *Серемет лагай...*

— Ну да... Мы это пойло так и называем: шербет лакай.

Тут грохнуло вновь: ух!— столь тяжело, страшно, что земля на целую пядь подскочила под ногами, и старый кентавр невольно осел на хвост, а затем и завалился на бок. Рабы вскочили и помогли ему подняться. Кентавриарх сел по-собачьи, тяжело отдуваясь. Тут вновь сунул ему сосуд морщинистый раб, и Пассий смог перенять бутылку в свою руку, ибо большой палец на ней не был у него удален, как у его новых приятелей, рабов Амазонии. Вот так, опираясь одной рукою о землю, а другой приподняв над собою глиняную бутылку, старый кентавр Пассий и принял напиток бессмертия.

Его изготавливали амазонские рабы из виноградных выжимок и ядовитых грибов *химуингму*, народное название его действительно было созвучно крылатому выражению кентаврской речи, но это оказалось чистой случайностью, и «шербет лакай» означало «сладкое питье», что, впрочем, не соответствовало действительности, ибо питье это было горчайшим и не приводило к скорой смерти, но наоборот — приобщало к бессмертию.

Оно заключалось вовсе не в том, чтобы его достигать, а в том, чтобы его постигать. *Серемет лагай* вовсе не означало простого желания немедленно сдохнуть, а являло устремление к легкой, блистательной смерти, каковая одна только намекает на то, что смерть вообще ничто, некий фокус и обман, чистое надувательство. И ее не надо бояться... Настойка «шербет лакай» давала мозгам выпившего эту дрянь способность задымиться ядовитыми воспарениями сока *химуингму*, в которых вдруг обнаруживало себя другое существование души и другая, вовсе не *елдорайная*, ипостась живого существа.

Вдруг открывшийся для этой истины, кентавр Пассий пошел куда-то, едва чувствуя землю под ногами. И перед ним уже ничего не осталось такого, что могло быть страшным для него или мучительным. И даже последовавший самый страшный двойной удар земли, от которого все вокруг мгновенно взлетело в воздух, ничуть не задел плавного и безмятежного хода его воздушного передвижения. Он плыл, шевеля ногами, как при ходьбе, средь каких-то радужных легковесных складок, которые драпировались на всем его пути справа и слева.

Куда он попадет, было ему неизвестно, но очень любопытно, и знал кентавр лишь то, что будет ему не хуже, а несравнимо лучше. Легчайшая и непроницаемая завеса мира скрывала за собою радость жизни, похожей на Божественное существование. И этот дивный полог отвесно стоял в воздухе, подобный земной многоцветной радуге, которая становится видимой лишь в минуты влажного просветления солнца после чистого дождя. Окруженные изгибающимися пространством иного бытия, кентавры и люди, амазонки и лошади и все прочие твари земные, балующиеся *елдораем*, не могли так просто попасть за волшебную завесу мира,— ибо там не жаловали этого дела. Даже тем, кому жестоко навязали безгрешность, опустошив с помощью бритвы сосуды греха, не дозволено было приблизиться к благоуханному внеземному пологу без помощи волшебного снадобья.

И одно только изобретение рабами напитка из виноградной браги и грибов *химуингму*, пошла настолько мерзкого, что оно вмиг очищало существо, употребившее эту отраву, от всех былых грехов,— лишь добрый глоток «шербета лакай» позволял нечистому грешнику приблизиться к полувоздушным драпировкам завесы мира.

Невидимые доброжелатели, находившиеся где-то совсем близко, громоподобно хохотали. Им нравилось, что бывает на свете такая смехота: обездоленные рабы, измученные гнусным трудом из-под палки, с отрезанными большими пальцами рук, словно бы для того отрезанными, чтобы рабы не могли показать кукиш своим господам, ежедневно избиваемые суровыми амазонками, бесправные да еще и выскобленные в том месте, где раньше у них мотались жизнерадостные висюльки,— сии чудачки ко всему еще пили эту мрачную гадость, дергаясь и глубоко вздрагивая чревом от неимоверного отвращения... И, удовлетворенные столь забавным зрелищем, незримые режиссеры позволяли пьяным рабам и кентавру порхать, словно пушинкам, среди кулис вселенского театра,

возле обшитого золотыми звездами занавеса, отделяющего зрителей земли от небесных артистов.

Старик Пассий, последний кентавр из поселка, плыл по воздуху через бурьянный пустырь на окраине Онитупса — и катастрофический удар земли о воздух даже не отразился на его бесподобной сомнамбулической иноходи... А вокруг вся местность мгновенно покрылась облаками пыли, которая поднялась над рухнувшими глинобитными домами столичного города.

Землетрясение последовало от удара, происшедшего при падении ЖПД во время испытаний этого нового оружия. Кентавр ничего об этом не знал — он только видел перед собою смутно, как во сне, взвившиеся в воздух клубы белесой пыли.

Изготовив величайшую в мире железную дубину, на что пошло все железо из недр завоеванной амазонками страны Халиб, воинственные андрофобки решили испытать новинку на своих рабах, для чего и согнали их к полигону в количестве двенадцать тысяч *елдораев*. Половина их пошла под платформу, на тягло, чтобы катить вперед и удерживать при откате восемьсот колес телеги, на которой зижделась железная чушка. Вторая половина рабов, выстроенная в виде македонской фаланги, должна была при поднятии дубины промаршировать под нее сомкнутыми рядами и занять то место, где покоился до своего воздымания к небесам отливающий синеватым блеском многотонный стальной набалдашник.

Десять же тысяч спешенных всадниц взялись тянуть канаты, коими силою женских мышц должно было быть приведено в боевую готовность это грозное оружие для уничтожения всякой власти мужчин на земле. Но случилось так, как не раз бывало при самых первых попытках подготовить ЖПД к испытанию: начала откатываться платформа, плохо удерживаемая рабами, загнанными под нее, и совсем невысоко поднятая за головку балда упрямо грохнулась назад, не дав возможности фаланге, составленной из рабов, зайти на предопределенное ей место и принять на себя испытательный удар. Новые попытки привести оружие в действие толку не давали — согласованности усилий амазонок и рабов не получалось, балда падала назад, не поднявшись до надлежащего уровня, и только шум производила большой да сотрясала землю.

Тогда великая воительница, Елена-лысая-и-бородатая, Главнокомандующая новым оружием, приказала уложить непосредственно под каждое колесо платформы по 10 рабов... Накатываясь на мягкий упор, огромные деревянные колеса должны были затормозиться — без нерадивого удержания их рабской силою. Но когда рабы перед угрозой все той же самой смерти легли друг на друга под каждым колесом поперек его хода, произошло нечто чудесное и непредвиденное.

Пушка вдруг стала сама воздыматься — в наступившем величественном молчании, без всякого усилия со стороны, преодолевая непомерную тяжесть стального набалдашника. И поднявшись почти в вертикальный стояк, на что и не рассчитывали проектировщицы, дозволив целую минуту полюбоваться своим грозным и могучим видом, великая дубина покачнулась слегка, словно бы задумавшись, что ей делать, затем стремительно и неудержимо рухнула вперед.

Удар железного столпа был настолько силен, что невольно подскочила и задняя утяжеленная часть с двумя мощными *лачачеобразными* приливами, они так же грандиозно шмякнулись назад, с ужасающим треском раздавили деревянную платформу и тысячи рабов, загнанных под нее. Все восемьсот громадных колес оторвались и покатались в разные стороны, попутно давя мечущихся в панике людей.

В то мгновение кентавр Пассий и остановился посреди большого пустыря, перед только что рухнувшим городом Онитупсом — и странным предстал перед ним окружающий многосложный мир. С одной стороны пустыря клубились светлые вихри пыли над развалинами города, с другого края, со стороны полигона, где испытывали Оружие, бесшумно катились громадные колеса, вилля на ходу. И между ними бежали, шарахаясь из стороны в сторону, обезумевшие толпы людей.

Стоя меж стремительно надвигавшихся стихий земного потрясения — облак пыльных и толп человеческих, — кентавр Пассий заметил еще одну, третью, стихию: нисходящую с неба армию потустороннего мира.

Широчайшей полицейской цепью спускалось к земле воинство таинственных и всемогущих *толсло*, сжимая в четырехпалых руках свои грозные изогнутые пипикалки, которыми они собирались вычеркивать с земного пространства

непригодных для дальнейшей истории Земли злонамеренных андрофобок. Об этом решении небесных воителей было сообщено непосредственно в плешивую голову кентавра Пассия.

И вострепнувшись всей своей измученной душой, кентавр подумал: «Возможно, я перенесен сюда, чтобы заодно быть вычеркнутым вместе с ними — ведь и кентавры не нужны больше истории. Только мне непонятно, почему всякая тварь, убивающая другую тварь, чтобы съесть ее, считается виноватой и ей нет спасения, а этим лохматым *елдорайщицам*, сожравшим за свою жизнь столько мужичьего мяса, выпадает столь славный и долгостоящий конец? Ведь слава о них будет вечно стоять в мире. Но я тоже в молодости баловался *елдораем* и ел мясо — заслуживаю ли сам того, чтобы заполучить прекрасную *серемет лагай*? Во всяком случае, что бы там ни было, но уже подходит мой финал», — думал кентавр.

В это мгновение пылевая волна, мчавшаяся со стороны разрушенного города, и люди, бежавшие от полигона, сшиблись и смешались посреди пустыря, где находился кентавр Пассий. Мимо него прокатилась громадная тяжеленная машина — деревянное колесо. Промчалась небольшая сплоченная толпа оборванных рабов. И совсем рядом галопом проскакала голая обоегрудая амазонка, лохматая в паху, обдала кентавра жаром и пылом юного разгоряченного тела, вильнула ягодицами и скрылась в пыли.

И тут кентавр Пассий почувствовал, как что-то увесистое набухает у него меж задних ног. И зачем-то опять вдруг захотелось ему стукнуть, ожившим *елдораем* по брюху, хотя времени уже ни на что не оставалось, да и все это было вроде бы ни к чему, потому что в налетевшей пыли ничего не стало видно и в любое мгновение могло накатить исполинское деревянное колесо.

В 1993 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ
НОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИВАНА ОГАНОВА

Песнь виноградаря осенью

Эпос

В редком, насквозь просвечивающем, озаренном холодным солнцем буковом лесу Нодар Шашвидзе замер, завороченно вдыхая горьковатый и грустный, позднесенний дух стылого, навсегда исчезающего леса. Хмуро зеленеющей влагой поблескивали мшистые камни. Кахетинский лес! Наш лес!.. Пахучий, сам дышащий оплывшим ворохом сухих листьев, охваченный сладкой дрожью озноба, свежестью плывущей на нас большой, огромной осени. Сжались в разваливающихся, опустелых гнездах оставшиеся мерзнуть в одиночестве птицы. Птицы прислушивались к шороху зимы.

Лес чудился Нодару Шашвидзе окаменевшим. Но даже каменный и холодный, он продолжал с каждым кахетинцем разговаривать взволнованным шепотом. Если едешь по долине в эту пору, хоть и умирают, а все же продолжают звать к себе умирающие буковые и грабовые леса. Озаряются кусты орешника. Это мелкие листья, слетаясь на погребальную землю, холодным огнем греют синий, одичалый лес.

Набравшись за август позднего, медвежьего солнца, леса стоят гаснущими кострами. Прячется в берлогу засыпающее солнце.

Костры листьев — тусклые пожары.

Сентябрьский лес, обиталище бродячих богов и зверей, угасал. Лес вырубали и расхищали мироеды. Им торговали. Распилочно и навынос. Каждое бревно. Человек природный спекулировал лесом жизни.

(«Изгнание свиней из храма»)

ДМИТРИЙ ВЕДЕНЯПИН

*

СОЛНЦЕ НА ПОЛУ

Снимок

Человек подходит к микрофону.
Утро отражается в реке.
Женщина летает над газоном,
Полулежа в красном гамаке.

Сонная Австралия. Зеленый
Летний день. Залитый солнцем джип.
Смуглый фермер, с детства умудренный
Тайным знанием бабочек и рыб.

Не спеша потягивая виски,
В кресле у окна сидит старик.
Не спеша потягивая виски,
В зеркале сидит его двойник.

Девочка играет с обезьяной.
Негр в очках копается в саду.
Над зеленогрудой поляной
Вьется белоснежный какаду.

Если радость — это чувство света,
Выстрели из фотопистолета
В это небо, полное тепла,
И оттуда с серебристым звоном
На поляну рядом с микрофоном
Упадет Кошечкина игла.

Голубь

Поблескивая круглым рыжим глазом,
Он смотрит на меня через стекло,
Такой дурной, что вправду тяжело
В нем не признать разносчика заразы.
Так посидит, погукает и вдруг
Взлетит опять и, крыльями тугими
Пролопотав, опишет полукруг
Над мусорным газоном, где с другими
Насельниками каменных застрех,
Уродцами асфальтовой расцветки
Начнет, толкаясь, склевывать объедки,
А их сегодня мало, как на грех.

Но был иной тот, для кого гофер
Стал островом в дымящейся пустыне,

Кто, как пушинка, бился посредине
 Двух беспредельных серых полусфер;
 Тот, кто, порхнув (смотри 9-й стих
 8-й главы) в отверстие ковчега,
 Кружился долго в поисках ночлега,
 Но не обрел покой для ног своих.
 И снова взмыл — перед Пречистым чист —
 В рябую высь над рыхлой пеленою,
 А на закате возвратился к Ною,
 И вот во рту его масляный свежий лист...

И понял Ной, что в мире только эта
 Доверчивая милость дорога,
 И тотчас семицветная дуга
 Зажглась над ним предвестием завета,
 Оттиснувшего на воздушной ряби,
 Что кончилась бездомная страда
 И Бог уж не откроет никогда
 Источники и окна грозной хляби,
 Благословляя землю на века...
 Чтоб человек — где тонко, там и рвется —
 Перемарал святого голубка
 В помойного уродца.

Зима

Шел снег. На улице ругала мама сына.
 Он дулся, всхлипывал, канючил, «не хотел».
 Его жалела ржавая машина,
 И он ее без памяти жалел.

Брел мимо них старик с облезлой палкой,
 Шла женщина в малиновом пальто —
 Ему их всех в тот вечер было жалко,
 Его тогда не понимал никто.

Луна желтела так же безучастно,
 И снег все так же падал кое-как...
 Он понял вдруг: все взрослые несчастны;
 И это в самом деле было так.

Натюрморт

Человек одинок, как прозрачно стоящий стакан
 На столе, опустевшем к утру от локтей и посуды;
 Заоконный пейзаж неподвижно уходит в туман,
 Как подросток в блаженное облако детской простуды.

Человек обречен всякий раз восстанавливать сам
 Растворившийся смысл, из которого все вырастает;
 Время года легко различается по голосам,
 Долетающим с улицы... Грех — это то, что мешает

Понимать и молиться — и вот на туманной земле,
 Где живут очень добрые, щедрые, мудрые люди,
 Человек остается один, как стакан на столе,
 Остается пустым и печально мечтает о чуде.

* *
**Памяти Г. И.*

Там — тишина и пустота,
Простор и свет, кресты и ветки.
Здесь — теснота бумажной клетки,
Пятно голодного листа.

Здесь — сонный, слабый человек
Марают ватные страницы,

И только пыль над ним кружится;
А там — кружится только снег.

Здесь, что-то бормоча про ад,
Он что-то думает о рае, —
Все только болтовня пустая...
А там — уже не говорят.

* *
*

Даже эти шаги, даже эти следы на паласе,
Даже этот пейзаж с набегающим березняком,
Все, что было и будет, стояло тогда на террасе
В треугольниках солнца, трепещущих под потолком.

Человек в канотье, с чемоданом в пустынном отеле,
Оглянувшийся на неожиданный окрик портье,
Потому что портье примерещилась кровь на постели
И лежащий ничком этот самый субъект в канотье.

Или дама в машине, закуривающая сигарету,
Наклонившись к тому, кто, умолкнув, сидит за рулем,
Чуть подавшись назад и направо, навстречу ответу;
Сигаретный дымок как крыло у него за плечом.

Но потом все уходит. И только в бревенчатом доме
Белокурая девочка с чайным подносом в руках,
В белом платье, с бантом, помедлив в кухонном проеме,
Выплывает к гостям с пирогом в именинных свечах.

Но и это уходит. Лишь кружатся белые мухи,
И старик, помолясь, раскрывает святые уста,
Чтобы с кроткой улыбкой поведать землянам о Духе,
От которого радость, сияние и теплота...

В этих нежных волнах золотистого и голубого
Ни террас, ни машин, ни раскуриваемых сигарет;
Дверь сама открывается настежь в клубящийся свет...
Страшно: падая в небо, не вспомнить заветное слово.

* *
*

Надо постучаться — и отворят.
Снег, шурша, мелькает над полотном.
В вертикальном небе зарыт клад.
Демон знает о нем.

Человек стоит на краю перрона
Навытяжку перед судьбой.
Чтобы отнять золото у дракона,
Нужно вступить с ним в бой.

Снег лежит — как покров бессилья...
Главное — не побежать назад!
У дракона фиолетовые крылья,
Неподвижный, мертвый взгляд.

Главное — крикнуть дракону: «Нет!»
Крикнуть: «Убирайся!» — ночному бреду...
Просыпаясь, мальчик видел свет,
Чтобы взрослый смутно верил в победу.

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

*

СОНЕЧКА

Повесть

От первого детства, едва выйдя из младенчества, Сонечка погрузилась в чтение. Старший брат Ефрем, домашний остро слов, постоянно повторял одну и ту же шутку, старомодную уже при своем рождении:

— От бесконечного чтения у Сонечки зад принял форму стула, а нос — форму груши.

К сожалению, в шутке не было большого преувеличения: нос ее был действительно грушевидно-расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом, имела лишь одну статью — большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту приставленную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемного богатства спереди и унылой плоскости сзади.

Сострадательная старшая сестра, давно замужняя, великодушно говорила что-то о красоте ее глаз. Но глаза были самые обыкновенные, небольшие, карие. Правда, редкостно обильные ресницы росли в три ряда, оттягивая припухший край века, но и в этом особенной красоты не было, скорее даже помеха, поскольку близорукая Сонечка с раннего возраста носила очки...

Целых двадцать лет, с семи до двадцати семи, Сонечка читала почти без перерыва. Она впадала в чтение как в обморок, оканчивавшийся с последней страницей книги.

Был у нее незаурядный читательский талант, а может, и своего рода гениальность. Отзывчивость ее к печатному слову была столь велика, что вымышленные герои стояли в одном ряду с живыми, близкими людьми, и светлые страдания Наташи Ростовой у постели умирающего князя Андрея по своей достоверности были совершенно равны жгучему горю сестры, потерявшей четырехлетнюю дочку по глупому недосмотру: заболтавшись с соседкой, она не заметила, как соскользнула в колодезь толстая, неповоротливая девочка с медленными глазами...

Что это было — полное непонимание игры, заложенной в любом искусстве, умопомрачительная доверчивость не выросшего ребенка, отсутствие воображения, приводящее к разрушению границы между вымышленным и реальным, или, напротив, столь самозабвенный уход в область фантастического, что все, остающееся вне его пределов, теряло смысл и содержание?..

Сонечкино чтение, ставшее легкой формой помешательства, не оставляло ее и во сне: свои сны она тоже как бы читала. Ей снились увлекательные исторические романы, и по характеру действия она угадывала шрифт книги, чувствовала странным образом абзацы и отточия. Это внутреннее смещение, связанное с ее болезненной страстью, во сне даже усугублялось, и она выступала там полноправной героиней или героем, существуя на тонкой грани между осязаемой авторской волей, заведомо ей известной, и своим собственным стремлением к движению, действию, поступку...

Выдыхался нэп. Отец, потомок местечкового кузнеца из Белоруссии, самородный механик, не лишенный и практической сметки, свернул свою часовую мастерскую и, преодолевая врожденное отвращение к поточному изготовлению чего бы то ни было, поступил на часовой завод, отводя упрямую душу в вечерних

починках уникальных механизмов, созданных мыслящими руками своих разноплеменных предшественников.

Мать, до самой смерти носившая глупый паричок под чистой гороховой косынкой, тайно строчила на зингеровской машинке, обшивая соседок незамысловатой ситцевой одеждой, созвучной громкому и нищему времени, все страхи которого сводились для нее к грозному имени фининспектора.

А Сонечка, кое-как выучив уроки, каждодневно и ежеминутно увиливала от необходимости жить в патетических и крикливых тридцатых годах и пасла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые аллеи Тургенева и провинциальные усадьбы, согретые беспринципной и щедрой любовью почему-то второсортного Лескова.

Она окончила библиотечный техникум, стала работать в подвальном хранилище старой библиотеки и была одним из редких счастливых, с легкой болью прерванного наслаждения покидающих в конце рабочего дня свой пыльный и душный подвал, не успев насытиться за день ни чередой каталожных карточек, ни белесыми листками требований, которые приходила к ней сверху, из читального зала, ни живой тяжестью томов, опускавшихся в ее худые руки.

Многие годы она рассматривала само писательство как священнодействие: второразрядного писателя Павлова, и Павсания, и Паламу считала в каком-то смысле равнодостоинными авторами — на том основании, что они занимали в энциклопедическом словаре место на одной странице. С годами она научилась самостоятельно отличать в огромном книжном океане крупные волны от мелких, а мелкие — от прибрежной пены, заполняющей почти сплошь аскетические шкафы раздела современной литературы.

Прослужив отрешенно-монашески несколько лет в книгохранилище, Сонечка сдалась на уговоры своей начальницы, такой же одержимой чтицы, как и сама Сонечка, и решила поступать в университет на отделение русской филологии. И стала готовиться по большой и нелепой программе и совсем уж было собралась сдавать экзамены, как вдруг все рухнуло, все в один момент изменилось: началась война.

Возможно, это было первое событие за всю ее молодую жизнь, которое вытолкнуло ее из туманного состояния непрерывного чтения, в котором она пребывала. Вместе с отцом, работавшим в те годы в инструментальной мастерской, она была эвакуирована в Свердловск, где очень скоро оказалась в единственном надежном местообитании — в библиотеке, в подвале...

Неясно, была ли это традиция, угнездившаяся с давних пор в нашем отечестве: помещать драгоценные плоды духа, как и плоды земли, непременно в холодное подполье, — или была это предохранительная прививка для будущего десятилетия Сонечкиной жизни, которое ей предстояло провести именно с человеком из подполья, будущим ее мужем, который появился в этот беспросветно тяжкий первый год эвакуации...

Роберт Викторович пришел в библиотеку в тот день, когда Сонечка заменяла заболевшую заведующую на выдаче книг. Он был ростом мал, остро-худ и серо-сед и не привлек бы внимания Сони, если бы не спросил ее, где находится каталог книг на французском языке. Книжки-то французские были, но вот каталог на них давно затерялся за ненадобностью. Посетителей в этот вечерний час, перед закрытием, не было, и Сонечка повела необычного читателя в свой подвал, в дальний западноевропейский угол.

Долго и ошеломленно стоял он перед шкафом, склонив голову набок, с голодным и изумленным лицом ребенка, увидевшего блюдо пирожных... Сонечка стояла за его спиной, возвышаясь над ним на полголовы, и сама замирала от передававшегося ей волнения.

Он обернулся к ней, поцеловал неожиданно ее длиннопалую руку и голосом низким и богатым мерцаниями, как свет синей лампы из простуженного детства, сказал:

— Чудо какое... Какая роскошь... Монтень... Паскаль... — И все еще не отпуская ее руки, со вздохом добавил: — И даже в эльзевировских изданиях...

— Здесь девять Эльзевиров, — с гордостью кивнула растроганная Сонечка, отлично усвоившая книговедение, и он посмотрел на нее странным взглядом снизу вверх, но как бы сверху вниз, улыбнулся тонкими губами, показал

щербатый рот, помедлил, как будто собираясь сказать что-то важное, но, передумав, сказал другое:

— Выпишите мне, пожалуйста, читательскую карточку, или как это у вас называется?

Соня вытянула свою руку, забытую в его сухих ладонях, и они поднялись вверх по хищно-холодной лестнице, отбиравшей и малое тепло от всяких ног, ее касающихся... Здесь, в тесном зальчике старого купеческого особняка, она впервые написала своей рукой его фамилию, совершенно ей дотоле неизвестную и которая ровно через две недели станет ее собственной. А пока она писала неловкие буквы чернильным карандашом, мелко крутящимся в штопаных шерстяных перчатках, он смотрел на ее чистый лоб и внутренне улыбался ее чудному сходству с молодым верблюдом, терпеливым и нежным животным, и думал: «И даже колорит: смуглое печально-умбристое и розоватое, теплое...»

Она кончила писать, подняла указательным пальцем съехавшие очки. Смотрела доброжелательно, незаинтересованно и выжидательно: он не продиктовал своего адреса.

Он же был в глубоком замешательстве от напавшего на него внезапно, как ливень с высоты безмятежно-ясного неба, сильнеешего чувства совершения судьбы: он понял, что перед ним — его жена.

Накануне ему исполнилось сорок семь лет. Он был человеком-легендой, но легенда эта благодаря внезапному и, как считали друзья, немотивированному возвращению на родину из Франции в начале тридцатых годов оказалась отрезанной от него и доживала свою устную жизнь в вымирающих галереях оккупированного Парижа вместе с его странными картинами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии воскрешение и посмертную славу. Но ничего этого он не знал. В черном прожженном ватнике, с серым полотенцем вокруг кадыкастой шеи, счастливейший из неудачников, отсидевший ничтожный пятилетний срок и работающий теперь условно художником в заводууправлении, он стоял перед нескладной девушкой и улыбался, понимая, что в нем совершается сейчас очередная измена, которыми столь богата была его поворотливая жизнь: он изменял и вере предков, и надежде родителей, и любви учителя, изменял науке и порывал дружеские связи, жестко и резко, как только начинал чувствовать оковы своей свободе... На этот раз он изменял твердому обету безбрачия, отнюдь не связанному, впрочем, с обетом целомудрия, принятому в годы раннего и обманчивого успеха.

Был он женолюбом и потребителем, многую пищу получал от этого не иссякающего источника, но бдительно оберегался от зависимости, боялся сам превратиться в пищу той женской стихии, которая столь парадоксально щедра к берущим от нее и истребительно-жестока к дающим.

А безмятежная душа Сонечки, закутанная в кокон из тысяч прочитанных томов, забаянная дымчатых рокомом греческих мифов, гипнотически-резкими звуками флейты средневековья, туманной ветреной тоской Ибсена, подробнейшей тяготиной Бальзака, астральной музыкой Данте, сиреническим пением острых голосов Рильке и Новалиса, обольщенная нравоучительным, направленным в сердце самого неба отчаяньем великих русских, — безмятежная душа Сонечки не узнавала своей великой минуты, и мысли ее были заняты только тем, не совершает ли она рискованного шага, отдавая на руки читателю книги, которые имеет право отпустить лишь в читальный зал...

— Адрес, — кротко попросила Сонечка.

— Я, видите ли, прикомандирован. Я живу в заводууправлении, — объяснил странный читатель.

— Ну паспорт дайте, прописку, — попросила Сонечка.

Он порывлся в каком-то глубоком кармане и вынул мятую справку. Она долго смотрела сквозь очки, потом покачала головой.

— Нет, не могу. Вы же областной...

Кибела показала ему красный язык. Все пропало, показалось ему. Он сунул справку в глубину кармана.

— Мы сделаем так: я возьму на свой формуляр, а вы перед отъездом принесете мне книги, — извиняющимся голосом сказала Сонечка.

И он понял, что все в порядке.

— Я только прошу вас, очень аккуратно, — ласково попросила она и завернула в лохматящуюся газету три малоформатных томика.

Он сухо поблагодарил ее и вышел.

Пока Роберт Викторович с отвращением размышлял о технологии знакомства и тяготах ухаживания, Сонечка неспешно закончила свой долгий рабочий день и собиралась домой. Она уже нимало не беспокоилась о возврате трех ценных книг, которые беспечно выдала незнакомцу. Все мысли ее были о дороге домой через холодный и темный город.

* * *

Те особы, женские глаза, которые, подобно мистическому третьему глазу, открываются у девочек чрезвычайно рано, не то что были у Сони вовсе закрыты — скорее они были зажмурены.

В ранней юности, по четырнадцатому году, словно повинувшись древней программе рода, тысячелетиями выдававшего замуж девиц в этом нежном возрасте, она влюбилась в своего одноклассника, милovidного курносенького Витьку Старостина. Влюбленность эта выражалась исключительно в нестерпимом желании на него смотреть, и ее ищущий взгляд вскоре был отмечен не только обладателем кукольной мордочки, но и всеми остальными одноклассниками, обнаружившими этот интересный аттракцион раньше, чем Соня отдала себе в этом отчет.

Она старалась с собой управиться и все пыталась найти иной объект для глаза — прямоугольник доски ли, тетради, пыльного окна,— но взгляд с упорством компасной стрелки сам собой возвращался к русому затылку, все искал встречи с этим голубым, холодным, притягательным... Уже и сострадательная подруга Зоя шепнула ей, чтобы она так не тарасилась. Но Сонечка с этим ничего не могла поделать. Глаз жадно требовал русоголовой пищи.

Кончилось все это самым ужасным и незабываемым образом. Брутальный Онегин, изнемогший под тяжестью влюбленного взора, назначил своей молчаливой поклоннице свидание в боковой аллее скверика и не больно, но убийственно оскорбительно шлепнул ее два раза под одобрительный гогот четырех засевших в кустах одноклассников, которых можно было бы порицать за душевную грубость, если бы все эти юные соглядатаи поголовно не погибли в первую же зиму грядущей войны.

Воспитательный урок тринадцатилетнего рыцаря был между тем настолько убедительным, что девочка заболела. Пролежала две недели в сильном жару. Очевидно, огонь влюбленности покидал ее таким классическим способом. Когда же, поправившись, она пришла в школу в ожидании нового унижения, трагикомическое ее приключение было совершенно заслонено самоубийством школьной красавицы Нины Борисовой, повесившейся в классе после окончания вечерней смены.

Что же касается жестокосердного героя Витьки Старостина, он, к Сониному счастью, тем временем переехал с родителями в другой город, и Сонечка осталась при горьком сознании полной и окончательной исчерпанности женской биографии, что на всю жизнь освободило ее от старания нравиться, увлекать и очаровывать. Она не испытывала к своим удачливым сверстницам ни разрушительной зависти, ни изнуряющего душу раздражения и вернулась к своей рьяной и опьяняющей страсти — к чтению.

...Роберт Викторович пришел через два дня, когда Сонечка уже не работала на выдаче. Он вызвал ее. Она поднялась из подвала, в три приема вырастая из темной дыры, близоруко и долго узнавала его, потом закивала как хорошему знакомому.

— Сядьте, пожалуйста,— придвинул он стул.

В маленьком читальном зале сидели несколько тепло одетых посетителей. Было холодно — едва топили.

Сонечка присела на край стула. Расползающийся матерчатый треух лежал на краю стола рядом со свертком, который мужчина неторопливо и очень тщательно распаковывал.

— Давеча я забыл у вас спросить,— своим светящимся голосом проговорил он, а Сонечка улыбнулась хорошему слову «давеча», которое давно ушло из общепринятого обихода в просторечье,— забыл я спросить ваше имя. Простите?

— Соня,— коротко ответила она, все поглядывая, как он разворачивает сверток.

— Сонечка... Хорошо,— как бы согласился он.

Наконец обертка отшелушилась, и Соня увидела женский портрет, написанный на рыхлой грубоволокнистой бумаге нежной коричневой краской, сепией. Портрет был чудесный, и женское лицо было благородным, тонким, нездешнего времени. Ее, Сонечкино, лицо. Она вдохнула в себя немного воздуха — и запахло холодным морем.

— Это мой свадебный подарок, — сказал он. — Я, собственно, пришел, чтобы сделать вам предложение. — И он выжидательно посмотрел на нее.

И тут Сонечка впервые разглядела его: прямые брови, нос с тонкой хребтиной, сухой рот с выровненными губами, глубокие вертикальные морщины вдоль щек и блеклые глаза, умные и утрюмые...

Губы ее дрогнули. Она молчала, опустив глаза. Ей очень хотелось еще раз посмотреть в его лицо, такое значительное и притягательное, но призрак Витьки Старостина промелькнул за спиной, и она, уставившись в легкие извилистые линии рисунка, вдруг переставшего обозначать женское, а тем более ее собственное лицо, выговорила еле слышным, но холодным и отстраняющим голосом:

— Это что, шутка?

И тогда он испугался. Он давно уже не строил никаких планов: судьба завела его в такое мрачное место, в преддверие ада, его звериная воля к жизни почти исчерпалась, и сумерки посюстороннего существования не казались уже привлекательными, и вот теперь он видел женщину, освещенную изнутри подлинным светом, предчувствовал в ней жену, удерживающую в хрупких руках его изнемогающую, прильнувшую к земле жизнь, и видел одновременно, что она будет сладкой ношей для его не утружденных семьей плеч, для трусливого его мужества, избегавшего тягот отцовства, обязанностей семейного человека... Но как он подумал... как не пришло ему в голову раньше... может, она уже принадлежит другому, какому-нибудь молодому лейтенанту или инженеру в штатаном свитере?

Кибела снова дразнила его красным острым языком, и ее веселая свита, составленная из непотребных, страшных, но все сплошь знакомых ему женщин, кривлялась в багровых отсветах.

Он хрипло и принужденно засмеялся, придвинул к ней лист и сказал:

— Я не шутил. Я просто не подумал, что вы можете быть замужем.

Он встал, взял в руки свою немислимую шапку.

— Простите меня.

И по-старсофицерски резко поклонился, бросив вниз стриженую голову, и двинул к выходу. И тогда Сонечка крикнула ему в спину:

— Постойте! Нет! Нет! Я не замужем!

Сидящий за читальным столиком старик с подшивкой газет неодобрительно посмотрел в ее сторону. Роберт Викторович обернулся, улыбнулся ровными губами и от своей недавней растерянности, когда было заподозрил, что женщина от него ускользает, перешел к еще более глубокой: он совершенно не знал, что же говорить и делать он должен теперь.

* * *

Откуда взялись у истощенного Роберта Викторовича и хрупкой от природы Сонечки силы, чтобы посреди бедственной пустыни эвакуационной жизни, посреди нищеты, подавленности, иступленного лозунга, едва покрывающего подспудный ужас первой военной зимы, выстраивать новую жизнь, замкнутую и уединенную, как сванская башня, однако вмещающую без малейших купор все их разьединенное прошлое: ломаную, как движение ослепленной ночной бабочки, жизнь Роберта Викторовича с молниеносными и радостными поворотами от иудаики к математике и наконец к важнейшему делу его жизни, бессмысленному и притягательному размазыванию краски, как он сам определил свое ремесло, и Сонечкину жизнь, питавшуюся чужими книжными выдумками, лживыми и пленительными.

Теперь же Сонечка вкладывала в их совместную жизнь какое-то возвышенное и священное отсутствие опыта, безграничную отзывчивость ко всему тому важному, высокому, не вполне понятному содержанию, которое изливал на нее Роберт Викторович, сам не переставая дивиться, каким обновленным и переосмысленным становится его прошлое после долгих ночных разговоров. Наподобие касания к философскому камню, ночные беседы с женой оказывались волшебным механизмом очищения прошлого...

Из пяти лагерных лет, вспоминал Роберт Викторович, особенно тяжелыми были первые два, потом как-то обмялось — стал писать портреты начальственных жен, делал по заказу копии с копий... Сами оригиналы были нищенскими образчиками падшего искусства, и Роберт Викторович, выполняя их, обычно развлекал себя каким-нибудь формальным способом, например писал левой рукой. Попутно он сделал открытие об изменившемся в связи с временной леворукостью цветовосприятии...

По внутренней организации Роберт Викторович был человеком аскетического склада, всегда умел обходиться минимальным, но, лишенный в течение многих лет того, что сам считал необходимым — зубной пасты, хорошего лезвия и горячей воды для бритья, носового платка и туалетной бумаги, — он радовался теперь каждой малой малости, каждому новому дню, освещенному присутствием жены Соны, относительной свободе человека, чудом освобожденного из лагеря и обязанного всего лишь в неделю раз отмечаться в местной милиции...

Они жили лучше многих. В подвале заводоуправления художнику выделили безоконную комнату рядом с котельной. Было тепло. Почти никогда не отключали электричества. Истопник варил им картошку, которую приносил Сонечкин отец, добывающий дополнительное питание своим безотказным мастерством.

Однажды Соня с легким оттенком пафоса, вообще ей не свойственного, сказала мечтательно:

— Вот мы победим, кончится война, и тогда мы заживем такой счастливой жизнью...

Муж прервал ее сухо и желчно:

— Не обольщайся. Мы прекрасно живем — сейчас. А что касается победы... Мы с тобой всегда останемся в проигрыше, какой бы из людоедов ни победил. — И мрачно закончил странной фразой: — От воспитателя моего я получил то, что не стал ни зеленым, ни синим, ни пармударием, ни скударием...

— О чем ты? — с тревогой спросила Соня.

— Это не я. Это Марк Аврелий. Синие и зеленые — это цвета партий на ипподроме. Я хотел сказать, что меня никогда не интересовало, чья лошадь придет первой. Для нас это не важно. В любом случае гибнет человек, его частная жизнь. Спи, Соня.

Он накрутил себе на голову полотенце — была у него такая странная, в лагере нажитая привычка — и мгновенно заснул. А Сонечка долго лежала в темноте, мучась от недоговоренности и отодвигая от себя еще более ужасную, чем эта недоговоренность, догадку: муж ее обладал знанием столь опасным, что лучше было этого не касаться, — и она уводила свою тревожную мысль в другое место, к томным и тонким переборам внизу живота, и пыталась представить себе, как пальчики размером в четверть спички в такой же темноте, которая окружает сейчас и ее, легко проводят по мягкой стенке своего первого жилища, и улыбалась.

А Сонечкино дарование яркого и живого восприятия книжной жизни отуманилось, как-то одеревенело, и оказалось вдруг, что самое незначительное событие по эту сторону книжных страниц — поимка мышки в самодельную ловушку, распустившаяся в стакане заскорузлая и сплошь мертвая ветка, горсть китайского чая, случайно добытая Робертом Викторовичем, — важнее и значительнее и чужой первой любви, и чужой смерти, и даже самого спуска в преисподнюю, той крайней литературной точки, где совершенно сходились вкусы молодых супругов.

Еще на второй неделе их скоропалительного брака Соня узнала от своего мужа нечто для нее ужасное: он был совершенно равнодушен к русской литературе, находил ее голой, тенденциозной и нестерпимо нравоучительной. Для одного только Пушкина неохотно делал исключение... Завязалась дискуссия, в которой Сонечкиной горячности Роберт Викторович противопоставил строгую и холодную аргументацию, Сонечкой не вполне понятую, и кончилась эта домашняя конференция горькими слезами и сладкими объятиями.

Упрямый Роберт Викторович, оставлявший всегда последнее слово за собой, в глухом предутреннем часу успел еще сказать засыпающей жене:

— Чума! Чума все эти авторитеты, от Гамалиила до Маркса... А уж ваши... Горький весь дутый и Эренбург, насмерть перепуганный... И Аполлинер тоже дутый...

Сонечка на Аполлинере встрепенулась:

— А ты и Аполлинера знал?

— Знал, — нехотя отозвался он. — Во время той войны... Я с ним два месяца жилие делил. Потом меня в Бельгию перевели, под город Ипр. Знаешь такой?

— Да, иприт, помню, — пробормотала Сонечка, восхищенная неисчерпаемостью его биографии.

— Ну слава Богу... Я как раз и попал в эту газовую атаку. Но я был на холме, с подветренной стороны, потому и не был отравлен. Я ведь везучий... счастливчик... — И чтобы еще раз удостовериться в своем исключительном, избранныческом везении, просунул руку под Сонины плечи.

К русской литературе они больше не возвращались.

* * *

За месяц до рождения ребенка срок неопределенной командировки Роберта Викторовича, которую он длил до последней возможности, кончился, и он получил предписание немедленно вернуться в башкирское село Давлеканово, где и надлежало ему дотягивать ссылку в надежде на будущее, которое все еще представлялось Сонечке прекрасным и в чем сильно сомневался Роберт Викторович.

И отец, и совсем разболевшая легкими мать Сони уговаривали ее остаться в городе хоть до родов, но Сонечка твердо решила ехать вместе с мужем, да и сам Роберт Викторович не хотел разделяться с женой. На этом самом месте и проскользнула единственная тень недовольства зятем со стороны старого часовщика. Старик, потеряв к этому времени сына и старшего зятя, бессловесно и близко сошелся с Робертом Викторовичем: различие в их социальном уровне теперь, в перевернутом мире, оказалось не то чтобы несущественным, а скорее выявляло все мнимые преимущества интеллигента перед пролетарием. Что же касалось всего прочего, подводная часть культурного айсберга была у них единой...

Семья собирала Соню сутки — столько времени отвели Роберту Викторовичу для окончания всех его дел. Мать, роняя желтые слезы, стремительно подрубала пеленки, тонкой заветной иглой нежно обметывала распашонки, выкроенные из собственной старой рубахи. Старшая сестра Сони, недавно потерявшая на фронте мужа, вязала из красной шерсти маленькие носочки, глядя перед собой неподвижными глазами. Отец, добывший пуд пшена, пересыпал его по маленьким мешочкам и все поглядывал с недоверием на Соню, которая хоть и была на девятом месяце, но так похудела за последнее время, что даже пуговицы на юбке не переставила, а беременность ее угадывалась скорее не по изменению фигуры, а по расплывшемуся лицу и припухшим губам.

— Девочка, девочка будет, — тихонько говорила мать. — Дочери, они всегда материнскую красоту пьют...

Сестра Сони безучастно кивала, а Сонечка растерянно улыбалась и все твердила про себя: «Господи, если можно, девочку... если можно, беленькую...»

* * *

Ночью знакомый железнодорожник посадил их в маленький, трехвагонный состав, стоявший в полутора километрах от станции, в вагон, сохранивший следы благородного происхождения в виде добротных деревянных панелей. Впрочем, мягкие диваны и откидные столики давно были выломаны и пульмановская роскошь заменена дощатыми скамьями.

От Свердловска до Уфы ехали больше полутора суток в туго набитом вагоне, и всю дорогу почему-то вспоминалась Роберту Викторовичу его шальная юношеская поездка в Барселону, куда рванул он, получив первые крупные деньги, году в двадцать третьем или двадцать четвертом знакомиться с Гауди.

Сонечка доверчиво спала почти все время их путешествия, упершись ногами в пышный узел одеяла и привалившись плечом к худой груди мужа, а он все вспоминал кривую, ползущую вверх улицу, на которой стояла его гостиница, круглый наивный фонтанчик перед окном, смуглое лицо с вырезными ноздрями необыкновенно красивой проститутки, с которой он купчески кутил всю ту барселонскую неделю. Он шарил в памяти и легко находил в ней мелкие и яркие детали: совершенно совиную морду официанта в гостиничном ресторане, чудесные плетеные туфли из палеовой телячьей кожи, купленные в магазине с огромной синей вывеской «Гомер», и даже имя этой барселонской девчонки вспомнил — Кончетта! Итальянка она была, приезжая, родом из Аbruцци... А

Гауди ему совершенно не понравился... Во всех подробностях теперь, через четверть века, он видел перед собой эти странные сооружения, совершенно растительные, сплошь надуманные и неправдоподобные...

Сонечка чихнула, полупроснулась, что-то пробормотала. Он прижал к себе ее сонную руку, вернулся в окрестности Уфы, в дикую Башкирию, и улыбнулся, качая седой головой и недоумевая: «Да я ли был там? Я ли теперь здесь? Нет, нет никакой реальности вообще...»

* * *

Родильный дом, куда на исходе женского срока при первых же знаках приближающихся родов повел Роберт Викторович Сонечку, стоял на окраине большого плоского села, в безлесном растоптанном месте. Само строение было из глиняных, вымешанных с соломой кирпичей, убогое, с маленькими мутными окнами.

Единственным врачом был легко краснеющий немолодой блондин с тонкой белой кожей, пан Жувальский, беженец из Польши, в недавнем прошлом модный варшавский доктор, светский человек и любитель хороших вин. Он стоял спиной к вошедшим посетителям, сверкая голубоватой белизной халата, неуместной, но успокаивающей, кусал концы светлых усов и протирал замшевой тряпочкой стекла своих крупных очков. Сюда, к этому окну, он подходил несколько раз в день, смотрел на бесформенную, в грязных ключьях травы землю вместо стройной Ерусалимской аллеи, куда выходили окна его варшавской клиники, и промакивал слезящиеся глаза красным в зеленую клетку английским платком, последним из сохранившихся...

Он только что осмотрел приехавшую за сорок верст верхом немолодую башкирку, крикнул санитарке: «Подмойте даму!» — и стоял теперь, унимая невольную дрожь оскорбления в груди и с тоской вспоминая своих атласных пациенток, молочно-сладковатые запахи их выхоленных дорогостоящих гениталий.

Он обернулся, почувствовав чье-то присутствие у себя за спиной, и обнаружил сидящую на скамье крупную молодую женщину в светлом поношенном пальто и остролицего седого мужчину в залатанной тужурке.

— Я осмелился побеспокоить вас, доктор, — заговорил мужчина, и пан Жувальский, с первых звуков голоса почуввав в нем принадлежность к своей касте, к попанной европейской интеллигенции, двинулся навстречу с улыбкой узнавания.

— Прошу вас... Пожалуйста. Вы с супругой? — полувопросительно произнес пан Жувальский, отметив их большую разницу в возрасте, допускавшую и какие-то иные отношения между этими по виду мало подходящими людьми. Он указал на занавеску, где был выгорожен для него крохотный кабинетик.

Еще через пятнадцать минут он осмотрел Сонечку, подтвердил приближение родов, однако велел набраться терпения часов до десяти, если все пойдет правильно и своевременно.

Соню положили на кровать, покрытую каляной холодной клеенкой, пан Жувальский похлопал ее по животу жестом скорее ветеринарским и отошел к башкирке, которая, как выяснилось, три дня назад родила мертвого ребенка, и все было хорошо, а теперь вот стало нехорошо.

Через два с половиной часа доктор с большими слезами на чисто выбритых щеках вышел на крыльцо, где сидел, куда не отходя, сумрачный Роберт Викторович, и громко, трагически зашептал ему в ухо:

— Меня надо расстреливать. Я не имею права оперировать в таких условиях. У меня ничего нет, буквально ничего нет. Но не оперировать я не могу. Через сутки она умрет от сепсиса!

— Что с ней? — одеревеневшим языком спросил Роберт Викторович, представив себе умиравшую Сонечку.

— Ах, Боже мой! Простите! С вашей женой все в порядке, идут схватки, я про эту несчастную башкирку...

Роберт Викторович хрунул зубами, выматерился про себя: он терпеть не мог нервических мужчин, одержимых желанием ежеминутно выговаривать свои переживания. Он зажевал губами и посмотрел в сторону...

Маленькая двухкилограммовая девочка, которую родила Соня в те пятнадцать минут, пока пан Жувальский разговаривал на крыльце, была беленькой и уколищей, точь-в-точь такой, как Соня ее задумала.

* * *

Все у Сонечки изменилось так полно и глубоко, как будто прежняя жизнь отвернулась и увела с собой все книжное, столь любимое Соней содержание и взамен оставила немислимые тяготы неустроенности, нищеты, холода и каждодневных беспокойных мыслей о маленькой Тане и Роберте Викторовиче, которые попеременно болели.

Семье не выжить бы, если б не постоянная помощь отца, который ухитрялся добывать для них и посылать все самое необходимое, чем они жили. На все уговоры родителей переехать с ребенком в Свердловск на это самое тяжелое время Соня отвечала одним: мы с Робертом Викторовичем должны быть вместе.

После дождливого, похожего на нескончаемую осень лета всякого перехода наступила суровая зима. В зыбком домике из сырых саманных кирпичей подвальная комната в заводууправлении вспоминалась как тропический райский сад.

Главной заботой было топливо. Школа комбайнеров, где Роберт Викторович служил бухгалтером, давала иногда лошадь, и он еще с осени довольно часто уезжал в степь, чтобы нарезать сухостойных высоких трав, похожих на камыш, названия которых он так и не узнал. С верхом груженной телеги хватало на двое суток топки, это он знал по опыту той зимы, которую провел в селе до отъезда в Свердловск.

Он пресловал траву, забивал самодельными брикетами пристройку. Поднял часть пола, который сам и настелил в свое время, не подумав о необходимости хранилища для картошки. Вырыл подпол, отсушил его, укрепил ворованными досками. Он построил уборную, и его сосед старик Рагимов качал головой и усмехался: в здешних краях деревянную доску с вырезанным очком считали излишней роскошью и обходились испокон веку тем недалёким местом, что называлось «до ветру»...

Он был вынослив и жилист, и физическая усталость была утешительна его душе, страдающей острым отворачиванием к бессмысленному счету фальшивых цифр, составлению ложных сводок и фиктивных актов о списании разворованного горючего, украденных запчастей и проданных на местном базаре овощей с подсобного хозяйства, которым ведал пройдоха огородник, веселый и бесстыжий хохол с искалеченной правой рукой.

Зато каждый вечер он отворял дверь своего дома и в живом огнедышащем свете керосиновой лампы, в неровном мерцающем облаке он видел Соню, сидящую на единственном стуле, переоборудованном Робертом Викторовичем в кресло, и к заостренному концу ее подушкообразной груди была словно приклеена серенькая и нежно-лохматая, как теннисный мяч, головка ребенка. И все это тишайшим образом колебалось и пульсировало: волны неровного света, и волны невидимого теплого молока, и еще какие-то незримые токи, от которых он замирал, забывая закрыть дверь. «Двери!» — протяжным шепотом возглашала Сонечка, вся улыбаясь навстречу мужу, и, положив дочку попереки единственной кровати, доставала из-под подушки кастрюлю и ставила ее на середину пустого стола. В лучшие дни это был густой суп из конины, картошки с подсобного огорода и пшена, присланного отцом.

Просыпалась Сонечка на рассвете от мелкого копошения девочки, прижимала ее к животу, сонной спиной ощущая присутствие мужа. Не раскрывая глаз, она расстегивала кофту, вытягивала отвердевшую к утру грудь, дважды нажимала на сосок, и две длинные струи падали в цветастую тряпочку, которой она обтирала сосок. Девочка начинала ворочаться, собирать губы в комочек, чмокать и ловила сосок, как маленькая рыбка большую наживу. Молока было много, оно шло легко, и кормление с маленькими торканьями соска, подергиванием, легким прикусыванием груди беззубыми деснами доставляло Соне наслаждение, которое непостижимым образом чувствовал муж, безошибочно просыпаясь в это предутреннее раннее время. Он обнимал ее широко спину, ревниво прижимал к себе, и она обмирала от этого двойного груза непереносимого счастья. И улыбалась в первом свете утра, и тело ее молчаливо и радостно утоляло голод двух драгоценных и не отделимых от нее существ.

Это утреннее чувство отсвечивало весь день, все дела делались как бы сами собой, легко и ловко, и каждый божий день, не сливаясь с соседствующими, напоминался Сонечкой в своей отдельности: то с полуденным ленивым дождем, то с прилетевшей и усевшейся на ограде крупной кривоногой птицей ржаво-железного цвета, то с первой ребристой полоской раннего зуба в набухшей десне

дочки. На всю жизнь сохранила Соня — кому нужна эта кропотливая и бессмысленная работа памяти — рисунок каждого дня, его запахи и оттенки и особенно, преувеличенно и полновесно, — каждое слово, сказанное мужем во всех сиюминутных обстоятельствах.

Много лет спустя Роберт Викторович не раз удивлялся неразборчивой памятью жены, сложившей на потаенное дно весь ворох чисел, часов, деталей. Даже игрушки, которые во множестве и с давно забытой творческой радостью мастерил для подрастающей дочери Роберт Викторович, Сонечка помнила все до единой. Всякую мелочь — вырезанных из дерева животных, скрученных из веревок летающих птиц, деревянных кукол с опасными лицами — Сонечка увезла потом в Москву, но никогда не забыла и того, что было оставлено рагимовским детям и внукам, дружной стайке одинаковых тощих воробышков: раздвижную крепость для куклы-короля с готической башней и подъемным мостом, римский цирк со спичечными фигурками рабов и зверей и довольно громоздкое сооружение с ручкой и множеством цветных дощечек, способных двигаться, трещать и производить смешную варварскую музыку...

Затеи эти много превосходили игровые возможности маленького ребенка. Остропамятливая девочка, сохранившая, как и мать, множество воспоминаний этого времени, не запомнила этих игрушек, может быть, отчасти и потому, что уже в Александрове, куда переселилась семья с Урала в сорок шестом году, Роберт Викторович строил ей целые фантастические города из щепок и крашеной бумаги, богатые подходы к тому, что впоследствии назвали бумажной архитектурой. Хрупкие эти игрушки исчезли в многочисленных переездах семьи в конце сороковых и начале пятидесятых.

Если первая половина жизни Роберта Викторовича проходила в крупных и шальных географических бросках из России во Францию, потом в Америку, на Балканы, в Алжир, снова во Францию и наконец опять в Россию, то вторая половина, отбитая лагерем и ссылкой, проходила в мелких перебежках: Александров, Калинин, Пушкино, Лианозово. Так целое десятилетие он снова приближался к Москве, которая отнюдь не казалась ему ни Афинами, ни Иерусалимом.

Эти первые послевоенные годы семью кормила Сонечка, унаследовавшая материнскую швейную машинку и невинную дерзость самоучки, способной пристроить рукав к вырезу проймы. Заказчики ее были нетребовательны, а сама мастерица старательна и без запроса.

Роберт Викторович работал на каких-то полуинвалидных работах, то сторожем в школе, то счетоводом в артели, производящей чудовищные железные скобы неизвестного назначения. Вскормленный на вольных парижских хлебах, Роберт Викторович и помыслить не мог о профессиональной работе на службе у скудного и унылого государства, даже если бы и смог примириться с его тупой кровожадностью и бесстыдной лживостью.

Свои художественные фантазии он удовлетворял на белоснежных планшетах, сооружая третье поколение бумажно-щепочных строений, которыми когда-то занимал дочь. Мимоходом в нем открылось особое качество видения разверток, точного чутья на пространственно-плоскостные отношения, и глаз нельзя было отвести от причудливых фигур, которые он вырезал из цельного листа и потом, где-то чуть промяв, где-то согнув и вывернув наизнанку, складывал предмет, не имеющий имени и никогда донныне не существовавший в природе. Игра, выдуманная когда-то для дочери, стала его собственной.

Женская доверчивость Сони не знала границ. Талант мужа был однажды принят на веру, и она в благоговейном восхищении рассматривала все, что выходило из его рук. Она не понимала ни сложных пространственных задач, ни тем более элегантных решений, но она чуяла в его странных игрушках отражение его личности, движение таинственных сил и счастливо проговаривала про себя свой заветный мотив: «Господи, Господи, за что же мне такое счастье...»

Живопись Роберт Викторович, можно сказать, забросил. Из его прежних развлечений с Танечкой вышло новое ремесло. Покровительствовал, как всегда, случай: в александровской электричке он столкнулся с известным художником Тимлером, знакомым ему еще по Парижу и поддерживавшим с ним отношения после возвращения в Москву вплоть до ареста. Художник этот с репутацией формалиста — кто и когда объяснит, что имела в виду под этой кличкой зарвавшаяся и узаконенная бездарность, — укrywался в те годы в театре. Он

приехал к Роберту Викторовичу, полтора часа простоял в дощатом сарае перед несколькими композициями, подписанными рядами арабских цифр и еврейских букв, и, сын местечкового плотника, два года проучившийся в хедере, оценив их исключительное качество, постеснялся спросить автора о значении этих странных рядов, а самому Роберту Викторовичу и в голову не пришло пускаться в объяснение этой несомненной для него связи кабалистической азбуки, сухого остатка его юношеского увлечения иудаикой и дерзких игр с разъятием и выворачиванием пространства.

Тимлер долго молча пил чай, а перед отъездом хмуро сказал:

— Здесь очень сыро, Роберт, вы можете перевезти свои работы в мою мастерскую.

Предложение это означало полное признание и было весьма благородным, но Роберт Викторович им не воспользовался. Вызванные к случайному существованию необозначенные предметы вернулись в небытие, сгнив в одном из последующих сараев и не переживя многих перевозов.

Здесь же, в сарае, знаменитый Тимлер дал Роберту Викторовичу первый заказ на театральный макет. Спустя некоторое время макеты его прославились по всей театральной Москве, и заказы не переводились. На полуметровой сцене он сооружал то горьковскую ночлежку, то выморочный кабинет покойника, то громоздил бессмертные лабазы Островского.

* * *

Между дровяными сараями, голубятнями и скрипучими качелями ходила странная Таня. Она любила носить старые материнские платья. Тощая высокая девочка тонула в Сонечкиных балахонах, подвязанных в талии блеклым кашемировым платком. Вокруг узкого лица как зрелое, но не облетевшее еще одуванчиковое семя держались стоячие упругие волосы, не продираемые гребнем, не заплетающиеся в косички. Она сновала в густом воздухе, перегруженном запахами старых бочек, тлеющей садовой мебели и плотными, слишком плотными тенями, которые окружают обветшалые и ненужные вещи, и вдруг, как хамелеон, исчезала в них. Она замирала надолго и вздрагивала, когда ее окликали. Сонечка беспокоилась, жаловалась мужу на нервность, странную задумчивость дочери. Он клал руку на Сонино плечо и говорил:

— Оставь ее. Ты же не хочешь, чтобы она маршировала...

Сонечка пыталась приохотить Таню к книгам, но Таня, слушая мастерское Сонино чтение, стекленела глазами и уплывала, куда Соне и не снилось.

За годы своего замужества сама Сонечка превратилась из возвышенной девицы в довольно практичную хозяйку. Ей страстно хотелось нормального человеческого дома, с водопроводным краном на кухне, с отдельной комнатой для дочери, с мастерской для мужа, с котлетами, компотами, с белыми крахмальными простынями, не сшитыми из трех неравных кусков. Во имя этой великой цели Соня работала на двух работах, строчила ночами на машинке и втайне от мужа копила деньги. К тому же она мечтала объединиться с овдовевшим отцом, который почти ослеп и очень был слаб.

Мотаясь в пригородных автобусах и расхлябанных электричках, она быстро и некрасиво старилась: нежный пушок над верхней губой превращался в неопрятную бесполоую поросль, веки ползли вниз, придавая лицу собачье выражение, а тени утомления в подглазьях уже не проходили ни после воскресного отдыха, ни после двухнедельного отпуска.

Но горечь старения совсем не отравляла Сонечке жизнь, как это случается с гордыми красавицами: незыблемое старшинство мужа оставляло у нее непреходящее ощущение собственной неувядающей молодости, а неиссякаемое супружеское рвение Роберта подтверждало это. И каждое утро было окрашено цветом незаслуженного женского счастья, столь яркого, что привыкнуть к нему было невозможно. В глубине же души жила тайная готовность ежеминутно утратить это счастье — как случайное, по чьей-то ошибке или недосмотру на нее свалившееся. Милая дочка Таня тоже казалась ей случайным даром, что в свой час подтвердил и гинеколог: матка у Сонечки была так называемая детская, недоразвитая и не способная к деторождению, и никогда больше после Танечки Соня не беременела, о чем горевала и даже плакала. Ей все казалось, что она недостойна любви своего мужа, если не может приносить ему новых детей.

* * *

В начале пятидесятых Сонинными огромными трудами и хлопотами семья полуобменяла-полуприкупила жилье, и въехали они в целую четверть двухэтажного деревянного дома, одного из немногих оставшихся к тому времени строений в почти сведенном Петровском парке, возле метро «Динамо». Дом был чудесный — бывшая дача известного до революции адвоката. Четверть сада, примыкавшего к дому, тоже была в придачу к квартире.

Все состоялось. У Тани была отдельная комната, светелка во втором этаже, Сонин отец, доживавший последний свой год, занимал угловушку, на утепленной террасе Роберт Викторович устроил мастерскую. Стало просторней и с деньгами.

По случайному стечению квартирообменных обстоятельств Роберт Викторович оказался вблизи московского Монмартра, в десяти минутах ходьбы от целого городка художников. К полной своей неожиданности в том месте, которое он считал опустошенным и вытопанным, он нашел себе если не единомышленников, то по крайней мере собеседников: российского барбизонца, покровителя бездомных котов и подбитых птиц, Александра Ивановича К., писавшего свои буйные картины, сидя на сырой земле, и утверждавшего, что это антево прикосновение его сидалища придает ему творческие силы; лысого украинского дзен-буддиста Григория Л., устраивавшего на бумаге прозрачный фарфор и шелк, десятки раз перекрывая акварельные слои то чаем, то молоком; пестроволосого, с перебитым носом поэта Гаврилина, обладавшего врожденным даром рисовальщика: на больших неровно обрезанных листах оберточной бумаги среди замысловатых фигур он рисовал свои поэмы-палиндромы, словесно-шрифтовые шифровки, восхищавшие Роберта Викторовича.

Все эти странные люди, обнаружившие себя в начале обманчивой оттепели, тянулись к Роберту Викторовичу, и постепенно его замкнутый дом превратился в своего рода клуб, где сам хозяин играл роль почетного председателя.

Он был, как всегда, немногословен, но одного его скептического замечания, одной усмешки было достаточно, чтобы выправить заблудшую дискуссию или повести разговор в новое русло. Тяжко молчавшая много лет страна заговорила, но этот вольный разговор велся при закрытых дверях, страх еще стоял за спиной.

Сонечка штопала Танин чулок, натянув его на скользкий деревянный мухомор, и прислушивалась к разговору мужчин. То, о чем они говорили — о зимних воробьях, о видениях Мейстера Экхарда, о способах заварки чая, о теории цвета Гёте,— никак не соотносилось с заботами стоявшего на дворе времени, но Сонечка благоговейно грелась перед огнем этого всемирного разговора и все твердила про себя: «Господи, Господи, за что же мне все это...»

* * *

Плосконосый Гаврилин, любитель всех искусств, имел привычку лазать по журналам. Однажды он наткнулся в библиотеке в американском искусствоведческом журнале на большую статью о Роберте Викторовиче. Краткая биографическая справка о художнике оканчивалась несколько преувеличенным сообщением о его смерти в сталинских лагерях в конце тридцатых годов. Аналитическая часть статьи была написана слишком сложным для поэта языком, он не все понял, но из того, что ему удалось перевести, следовало, что Роберт Викторович чуть ли не классик и уж во всяком случае пионер художественного направления, изо всех сил расцветающего теперь в Европе. К статье прилагалось четыре цветных репродукции.

На следующий же день Роберт Викторович в сопровождении друга барбизонца пошел в московскую библиотеку, разыскал статью и пришел в неопишемую ярость оттого, что одна из четырех репродуцируемых картин не имела к нему никакого отношения, ибо принадлежала Моранди, а другая напечатана вверх ногами. Когда же он прочитал статью, он пришел в еще большую ярость.

— Америка еще в двадцатые годы производила на меня впечатление страны беспроблетных дураков. Видно, она не поумнела,— фыркнул он.

Однако Гаврилин растрезвонил об этой статье по всему околотку, и старого макетчика вспомнили даже разбитные быстродействующие театральные художники и прибежали заново знакомиться.

Неожиданным следствием всей этой беготни было принятие Роберта Викторовича в Союз художников и получение им мастерской. Это было хорошее ателье, окнами на стадион «Динамо», ничуть не хуже того последнего парижского, мансарды на улице Гей-Люссак, с видом на Люксембургский сад.

* * *

Сонечке было уже под сорок. Она поседела и сильно располнела. Легкий и сухой, как саранча, Роберт Викторович мало менялся, и они постепенно как-то сравнялись в возрасте. Таня немного стеснялась старости своих родителей, так же как и своего большого роста, ступней, груди. Все было не в масштабе, не в размере того десятилетия, когда акселераты еще не народились. Но в отличие от Сони рядом с ней не было подсмеивающегося старшего брата, а со всех стен благотворно смотрели ее чудесные портреты во всех детских возрастах. И эти портреты смягчали Танино недовольство собой. С седьмого класса она начала получать убедительные доказательства своей привлекательности от не доросших одноклассников и более старших мальчиков.

С раннего детства все Танины желания были легкоудовлетворимы. Любящие родители по этой части сильно усердствовали, обычно забегая впереди ее желаний. Рыбки, собака, пианино появлялись едва ли не в тот же день, когда девочка о них заговаривала.

С самого рождения она была окружена чудесными игрушками, и игра, самостоятельная, не требующая иных участников, была главным содержанием ее жизни. Так и получилось, что, выйдя из развлечений своего затянувшегося детства, года два проспала она, промаялась на известном переходе и, рано поняв, какую именно игру предпочитают взрослые, отдалась ей с ясным сознанием своего права на удовольствия и свободой не подавленной личности.

Ничего и близко похожего на унижительную любовь Сонечки к Вите Старостину у Тани не было. Хотя она не была красавицей усредненного канона и была совершенно лишена общепринятой миловидности, ее длинное лицо с тонким в хребте носом, в сильно вздыбленных кудрявых волосах, узкие светлостеклянные глаза были на редкость притягательны. Ровесников привлекала также Танина манера постоянно играть: с книгой, карандашом, с собственной шапкой. В ее руках постоянно происходил маленький, заметный только ближайшему соседу театр.

Однажды, заигравшись с пальцами и губами своего приятеля Бориски, к которому бегала списывать домашние задания по математике, она обнаружила некий предмет, ей не принадлежавший, который чрезвычайно увлек ее. Дверь в комнату родителей Бориски в этот вечерний час была приоткрыта, и эта светлая широкая щель с двумя толстыми теньями перед телевизором тоже как бы входила в условия игры, которые они прекрасно соблюли, подавая друг другу реплики, совершенно не имеющие отношения к происходящему. И хотя сеанс этот начался с невинного детского обмена вопросами: «А ты никогда не пробовал?», «А ты?» — после чего не знающая ни в чем отказа Танечка предложила: «Давай попробуем!» — сеанс этот закончился кратким введением — в прямом и переносном смысле — в новый предмет.

В обжигающий момент из соседней комнаты поступило несвоевременное предложение поужинать, и дальнейшие пробы были отложены до более благоприятного времени.

Следующие встречи происходили уже в отсутствие родителей. Самым увлекательным для Тани было новое осознание своего тела: оказалось, что каждая его часть — пальцы, грудь, живот, спина — обладает разной отзывчивостью к прикосновениям и позволяет извлекать из себя всякие прелестные ощущения, и это взаимоисследование доставляло обоим массу удовольствия.

Шустрый вснушчатый мальчик с выпирающими вперед крупными зубами и воспаленными уголками губ также проявил незаурядный талант, и в течение двух месяцев юные экспериментаторы, вдохновенно трудясь от трех до половины седьмого, то есть до прихода Борискиных родителей, в полном объеме усвоили всю механическую сторону любви, не испытав при этом ни малейшего чувства, выходящего за рамки дружеского и делового партнерства.

А потом между ними произошел конфликт, что называется, на производственной почве: Таня взяла у Бориски тетрадь по геометрии — и потеряла. И сообщила ему об этом в совершенно легкомысленной форме, даже не извинив-

шись. Бориска, человек аккуратный и даже педантичный, страшно возмутился — не столько фактом потери тетради, сколько полным непониманием Таней неприличия своего поведения. Таня назвала его занудой, он ее — жлобихой. Они поссорились.

В высвободившееся от трех до половины седьмого время Бориска стал усиленно заниматься математикой, полностью определил свое призвание в области точных наук, а Танечка, нисколько не гонявшаяся за жизнеустройством, выдувала плохонькую деревянную музыку из флейты в своей светелке, грызла ногти и читала... О, бедная Сонечка, светлая ее юность, прошедшая на высокогорьях всемирной литературы! — фантастику, только фантастику, как зарубежную, так и отечественную, читала ее гуманитарно-невинная дочь...

Тем временем на шаткие звуки Таниной флейты стягивались войска поклонников. Самый воздух вокруг нее был накален, ее наэлектризованные кудри стояли дыбом и искрили мелкими разрядами при одном только приближении руки. Сонечка еле успевала открывать и затворять двери за молодыми людьми в зоологических свитерах с угловатыми оленями и сизых гимнастерках и кителях, анахронической одежде школьников конца пятидесятых годов, придуманной в припадке ностальгического слабоумия каким-то престарелым министром наробразования.

Владимир А., выдающийся музыкант, скандальнейшим образом оставшийся в Европе в те годы, когда по эту сторону границы такой поступок воспринимался как политическое преступление, в книге своих воспоминаний, изданной в конце девяностых годов и обнаружившей в нем незаурядные дарования литератора, опишет музыкальные вечера в Таниной комнате, ее прямострунное пианино с чудесным звуком и нуждающееся в ежедневной настройке. С нежностью вспоминает он этот старинный инструмент, открывший начинающему музыканту тайну индивидуальности вещи. Он говорит о нем, как можно было бы говорить о старенькой, давно умершей родственнице, кормившей автора в детстве забываемыми пирожками с начинкой из одной вишни...

По свидетельству Владимира А., именно в Таниной комнате, выходящей затайливым окном в сад, на старую яблоню с раздвоенным стволом, аккомпанируя слабойкой Таниной флейте, он впервые испытал волнение творческого взаимопонимания и радостно шел на некоторое музыкальное самоуничтожение, чтобы предоставить робкой флейте более значительное положение.

Владимир А., в ту пору маленький, толстоватый, похожий на тапира мальчик, был влюблен в Таню. Она оставила глубокий след в его жизни и душе, и обе его жены, первая, московская, и вторая, лондонская, несомненно принадлежали к этому женскому типу.

Вторым музыкальным собеседником был Алеша Питерский — под такой кличкой его знали в Москве. Классической выучке Володи он противопоставлял гитарную свободу и полное владение всеми предметами, которые могли издавать звук, от губной гармошки до двух консервных банок. К тому же он был поэт и высоким петрушечьим голосом пел первые песни новой подпольной культуры.

Были еще несколько мальчиков, скорее присутствователей, чем участников, но и они были необходимы, поскольку создавали восхищенную аудиторию, в которой нуждались обе будущие знаменитости.

* * *

В годы своей юности Роберт Викторович тоже был центром завихрения каких-то невидимых потоков, но это были потоки иного свойства, интеллектуального. На них, как и на зов Таниной дудочки, тоже стекались молодые люди. Примечательно, что кружок этих рано взрослевших еврейских мальчиков, тинэйджеров, по современным понятиям, в острые предвоенные годы исследовал не модный в ту пору марксизм, а «Сефер ха-зохари», «Книгу сияний», основной трактат кабалы. Эти мальчики с Подола, еврейской окраины Киева, собирались в доме Авиддора-Мельника, отца Роберта Викторовича, и дом этот примыкал стена к стене к соседнему, принадлежавшему Шварцману, отцу Льва Шестова, с которым спусти двадцать лет, уже в Париже, близко сойдется Роберт Викторович.

Ни один из тех мальчиков, кому выпало пережить годы войн и революций, не стал ни традиционным еврейским философом, ни вероучителем. Все они выросли в «эпикейрес», то есть в «свободомыслящих». Один стал блестящим теоретиком и несколько менее удачливым практиком начинающего кинемато-

графа, второй — известным музыкантом, третий — хирургом с благословенными руками, и все они были вскормлены одним молоком, тем молодым электричеством, что накапливалось под крышей Авигодора-Мельника.

Происходящее вокруг Тани, как догадался Роберт Викторович, было то самое, чем и его молодость была заряжена, но под знаком иной стихии, женской, столь ему враждебной, да еще с поправкой на обнищавшее, выродившееся поколение...

Роберт Викторович первым заметил, что поздние Танины посетители уходят иногда рано утром. Сохранивший на всю жизнь привычку к раннему просыпанию, Роберт Викторович, выйдя в шестом часу утра из жилой части дома в свою мастерскую-террасу, где любил проводить эти первые, наиболее чистые, по его ощущению, часы, заметил свежие следы, ведущие с крыльца к калитке по только что выпавшему снегу. Через несколько дней он заметил их снова и осторожно спросил у жены, не ночевала ли у них Сониная сестра. Сонечка удивилась: нет, Аня не ночевала...

Роберт Викторович не стал производить расследование, поскольку на следующее утро увидел, как через садик выходит высокий молодой человек в тощей курточке. Соне о своем открытии он ни слова не сказал. И Сонечка клонила ночную тяжелую голову на мужнее плечо и жаловалась:

— Она не учится... ничего не делает... в школе ее ругают... какие-то намеки гадкие эта ее... Раиса Семеновна...

Роберт Викторович утешал ее:

— Оставь, Соня, оставь. Это все мертвое и смердит отвратительно... Да пусть она бросит эту убогую школу. Кому она нужна...

— Что ты! Что ты! — пугалась Соня. — Образование нужно.

— Да утомись ты, — обрывал ее муж. — Оставь девчонку в покое. Не хочет — и не надо. Пусть играет на своей дудке, в этом не меньше проку...

— Роберт, но эти мальчишки. Меня так беспокоит... — шла в робкую атаку Сонечка. — Мне кажется, один у нее всю ночь просидел, она потом в школу не пошла.

Роберт Викторович не поделился с Соней своими утренними наблюдениями, промолчал.

С тех пор как Таня дала отставку Бориске, началась настоящая собачья свадьба. Переполненные стероидами юноши клубились возле нее настойчиво и неотвязно. С несколькими из претендентов она испробовала новое развлечение. Сравнение шло в пользу Бориски — по всем статьям и статьям.

К весне стало ясно, что в девятый класс ее не переведут. Школьная маета была совсем уж непереносима, и Роберт Викторович, слова не говоря Соне, отнес Танины документы в вечернюю школу, что повлекло за собой глубочайшие последствия для всей семьи, в первую очередь для него самого.

* * *

Властная прихоть судьбы, некогда определившая Сонечку в жены Роберту Викторовичу, настигла и Таню. Предметом страстной влюбленности стала школьная уборщица, а заодно и одноклассница, восемнадцатилетняя Яся, маленькая полячка с гладким, как свежеснесенное яичко, лицом. Дружба их медленно завязывалась на предпоследней парте. Крупная и размашистая Таня с обожанием смотрела на прозрачную, вроде отмытого аптечного пузырька, Ясю и страдала от застенчивости. Яся была молчалива, односложно отвечала на редкие Танины вопросы и вид имела сдержанно-высокомерный. Была она дочерью польских коммунистов, бежавших от фашистского нашествия — по воле обстоятельств в разные стороны: отец — на запад, мать с грудной девочкой — на восток, в Россию. Ей не удалось раствориться в миллионной стране, и она была человеколюбиво сослана в Казахстан, где, промыкавшись горько десять лет, не утратив возвышенных, безумных идеалов, и умерла.

Яся попала в детский дом, проявила незаурядную привязчивость к жизни, выжив в условиях, как будто специально созданных для медленного умирания души и тела, и вырвалась оттуда благодаря умению максимально использовать предлагаемые обстоятельства.

Высоко поднятые над серыми глазами брови и нежный кошачий ротик, казалось, просили о покровительстве, и покровительство действительно находилось. В числе ее покровителей бывали и мужчины и женщины, но в силу

природной независимости она предпочитала мужчин, с раннего возраста усвоив недорогой способ с ними расчесться.

Один из последних ее покровителей, возникший уже после ее зачисления в какое-то чудовищное ремесленное училище для детдомовских и продуманного побега из него, был толстый сорокалетний татарин Равиль, проводник, доvezший ее до самого Казанского вокзала города Москвы, откуда она планировала начать свое восхождение. В боковом кармане ее клетчатой хозяйственной сумки лежали выкраденный из директорского кабинета, незадолго до этого выписанный на ее имя паспорт и двадцать три дореформенных рубля, стянутых у спящего Равиля на подъезде к Оренбургу. Ворованные эти деньги не жгли ей рук по двум причинам: она взяла совсем немного из толстой пачки и, кроме того, чувствовала себя вполне отработавшей эти деньги за четырехдневную дорогу.

Равиль дорожной кражи не заметил и сильно огорчился, когда девочка не пришла через сутки к седьмому вагону, чтобы вернуться с ним обратно в Казахстан, как обещала.

С улыбкой тонкого снисхождения к себе, такой наивной дурочке в недавнем прошлом, она рассказывала Тане, как, намочив серое железнодорожное полотенце в раковине общественной уборной Казанского вокзала, раздевшись догола на глазах очумевших азиаток, клубящихся в этом смрадном месте, она обтерлась с ног до головы, достала из той же клетчатой сумки завернутую в две газеты, давно хранимую для этого случая белую блузку с оборкой на воротнике, переделась и, бросив полотенце в ржавую проволочную корзину, пошла завоевывать Москву, начав с первой попавшейся позиции, то есть со знаменитой площади у трех вокзалов.

В клетчатой сумке лежали две пары трусов, грязная синяя блузка, тетрадь с переписанными собственноручно стихами и пачка открыток знаменитых актеров. Она была тверда, сообразительна и действительно до неправдоподобия наивна: она мечтала стать киноактрисой.

Все располагало к тому, чтобы Яся стала профессиональной проституткой, но этого не произошло.

За два года, проведенных в Москве, она достигла значительных успехов: у нее была временная прописка, временное жилье в чулане при школе, где она работала уборщицей, куда время от времени забегал к ней участковый Калинин, пожилой красноречивый благодетель, через которого она и получила все эти временные подарки судьбы. Посещения Малинина были кратки, для Яси необременительны и не слишком привлекательны для самого Малинина; но он был вдохновенным взяточником и вымогателем, а поскольку от Яси взять было совершенно нечего, то приходилось брать то, что дают.

В этом самом чулане на физкультурном мате, удачно заменяющем постель, Яся и рассказала Тане свою историю. Таня приняла все в сердце, испытав при этом сильнейшее сложное чувство жалости, зависти и стыда за свое беспросветное благополучие. Яся, подробно, точно и сухо рассказав о себе все, что помнила, неожиданно увидела все прожитое со стороны и возненавидела его так сильно и окончательно, что никогда и никому уже больше не рассказывала этой правды. Она придумала себе новое прошлое, с аристократической бабушкой, именем в Польше и французскими родственниками, которые как черт из коробочки вынырнут еще в ее жизни в свой час...

Кроме Ясиного чулана, где при школе еще одно жилое помещение, которое занимала преподавательница русского языка и литературы, военная вдова Таисия Сергеевна. К посещениям Малинина она относилась крайне неодобрительно, но это не мешало ей поручать Ясе надзор за своими малолетними детьми и всяческое мытье. За все эти соседские услуги Ясе разрешено было пользоваться книжным шкафом учительницы и не посещать уроков литературы. Таисия Сергеевна предпочитала, чтобы Яся в это время сидела с ее детьми.

Отслужив все часы своей службы, Яся ложилась на пахнущий потной кожей физкультурный мат и учила наизусть басни Крылова, без которых во все времена невозможно было поступить ни в какое театральное училище. Или читала вслух Шекспира от первого тома до последнего, разыгрывая трагическим шепотом все женские роли — от Миранды, дочери Просперо, до Марины, дочери Перикла.

Учителя вечерней школы, успевшие измотаться еще до обеда, обучая младших, дневных братьев своих вечерних учеников, не сильно донимали их уроками.

К тому же половину класса составляли обитатели милицейского общежития, находившегося неподалеку, и усталые молодые мужики мирно дремали в полутемном классе, получали свои тройки и успешно шли учиться дальше, кто на юриста, кто по партийной линии... Яся была единственной во всем классе, кому парта была по росту, остальные застревали в этих деревянных станках, специально придуманных для мучительства малолетних...

Резкая, размашистая Таня двигалась шумно, с невоспитанной свободой жеребенка. Садясь за парту, она сдвигала ее так, что Яся слегка подпрыгивала своей легкой головкой. Сама Яся выходя из-за парты, бесшумно откидывая крышку и делая скользкое и ласковое движение бедрами. Она шла по узкому проходу к доске, нижняя часть ее тела как бы чуть отставала от верхней, и та нога ее, что в шаг была позади, чуть приволакивалась, замирала на носочке, а коленями она двигала так, словно толкала тяжелую ткань длинного вечернего платья, а не задрипанной юбочки. И прогиб в поясице был какой-то особенный, и каждая часть ее тела совершала свои отдельные движения, и все они — и маленькое поигрывание грудью, и зыбкость бедер, и особое покачивание в щиколотке, все вместе это было не отработанными приемами кокетки, а женской музыкой тела, требующего внимания и восхищения. Немолодой тридцатилетний милиционер Чурилин с крупным лицом в черных военных порошинах тряс головой ей вслед и бормотал:

— Ишь ты... ммм...

И непонятно было, что в этом мычании — отвращение или восторг. Впрочем, держалась Яся так независимо, что дальше чурилинского мычания у милиционеров дело не шло.

Возвращаясь домой, Таня все пыталась пройти в темноте ночного парка этой походкой, сыграть Ясину музыку своими коленями, бедрами, плечами — тянула вверх шею, приволакивала ногу, качала бедрами. Ей казалось, что большой рост мешал ей быть такой же привлекательно-зыбкой, как Яся, и она сутулилась. «В ней есть что-то от эльфа», — думала Таня и, устав от своих ходильно-балетных упражнений, неслась к дому, разбрасывая длиннющие ноги, делая неравномерные отмашки то правой, то левой рукой, вскидывая головой, отбрасывая назад набравшие вечернего тумана волосы, а Роберт Викторович, частенько выходящий встречать ее в парке в эти вечерние часы, издали узнавал ее походку и весь ее характер, запечатленный в несоразмерных движениях, и улыбался силе и несурзности на полголовы переросшей его дочери.

Оба они любили этот вечерний парк, ценили молчаливое взаимопонимание, тайное подтверждение их не высказанного вслух заговора против Сонечки. Роберт Викторович по врожденному высокомерию, Таня — по юности и наследственности, оба претендовали на благую часть отборного интеллектуализма, оставляя за Сонечкой низменные столы и хлеба.

Но Сонечке и в голову не приходило печалиться своей участью, ревновать горнего: чисто мыла она тарелки и кастрюли, со страстным старанием готовила еду, сверяясь с рецептами, выписанными расплывающимися лиловыми чернилами из сестриной книги Елены Молоховец; кипятила баки с бельем, подсинивала и крахмалила, а Роберт Викторович иногда внимательно смотрел из-за ее большой спины на синьку, манку, струганое хозяйственное мыло, фасоль и со свойственной ему остротой отмечал убедительную художественность, высокую осмысленность и красоту Сонечкиного домашнего творчества. «Мудр, мудр мир муравья...» — думал он мимолетно и затворял за собой дверь на теплую террасу, где водились его суровые бумаги, свинцовые белила и еще немного, что он допускал в свои строгие упражнения.

Тане дела не было до материнской кухонной жизни: она существовала теперь в дымке влюбленности. Просыпаясь утром, долго лежала с закрытыми глазами, представляя себе Ясю, себя с Ясей в каких-то привлекательно-вымышленных обстоятельствах: то они скачут через молодой луг на белых лошадях, то плывут на яхте по Средиземному, например, морю.

Ее вольное и бесцеремонное даже обращение со священным инструментарием природы обернулось для нее тем, что инстинкты ее немного заблудились и, деля со стройными мальчиками веселые телесные удовольствия, душой она тосковала по высокому общению, соединению, слиянию, взаимности, не имеющей ни границ, ни берегов. Ясю выбрала ее душа, и всеми

усилиями разума стремилась она обосновать этот выбор, дать ему рациональное объяснение.

— Ах, мама, она кажется слабой, воздушной, а сильная — необычайно! — восхищалась Таня, рассказывая матери о своей новой подруге, о жестокой детдомовщине, побегах, побоях, победах. Яся в своих рассказах Тани из природной осторожности кое-что обошла: про ссылку матери, про детскую дешевую торговлю телом, про укоренившуюся привычку мелочного воровства.

Но Сонечке и сказанного было достаточно, чтобы заранее отозваться на детское страдание и догадаться о том, что от Тани оставалось сокрытым. «Бедная, бедная девочка, — думала про себя Соня. — И наша Танечка вот так же могла бы, ведь столько всего было...»

И она вспоминала все те многие случаи, когда Бог уберег их от ранней смерти: как Роберта выбросили из вагона александровской электрички, как рухнула балка в помещении, где она работала, и половина комнаты, из которой она за минуту до этого вышла, оказалась заваленной темным старинным кирпичом, и как умирала она на больничном столе после гнояного аппендицита... «Бедная девочка», — вздыхала Сонечка, и эта незнакомая девочка приобрела черты Тани...

* * *

До самого Нового года Таня не могла позвать Ясю в гости. Яся, пожимая плечами, все отказывалась, но не объясняла Тани свой упорный отказ.

А дело было в том, что ею давно уже овладело сильное и смутное предчувствие нового многообещающего пространства, и она, как полководец перед решающим боем, тайно и тщательно готовилась к этому визиту, связывая с ним самые неопределенные надежды.

В магазине «Ткани» у Никитских ворот она купила кусок холодной на ощупь и горячей на глаз, какого-то ошпаренного цвета, тафты и поздними вечерами шила мельчайшими стежками, в руках, нарядное платье — в тишине и одиночестве, молитвенно и сосредоточенно, как беременная женщина, немного боясь сглазить заблаговременностью шитья одежд не рожденному ребенку самый акт появления его на свет.

Она пришла в двенадцатом часу тридцать первого декабря, к накрытому столу, за которым сидели и барбизонец, и поэт, и сверх того режиссер с птичьим носом и лягушечьим ртом. Она еще толком не разглядела их значительных лиц, но уже внутренне ликовала, понимая, что попала в яблочко предвкушаемой мишени. Именно они, эти взрослые самостоятельные мужчины, и нужны ей были для разгона, для взлета, для полной и окончательной победы.

Ласковый и благодарный взгляд она бросила в сторону Тани, которая счастливо и розово сверкала ей навстречу подкрашенными щеками. Таня до последней минуты не была уверена, что Яся придет, и теперь гордилась Ясиной красотой, как будто сама ее придумала и нарисовала.

Платье Яси громко и шелково шуршало, а тяжелые русые волосы были цельными, словно отлитыми из светлой смолы и лежали на плечах как подрубленные, точно как у Марины Влади в знаменитом в тот год фильме «Колдунья». Вырез платья был глубоким, и козы ее груди, прижатые одна к другой, образовывали нежную дорожку вниз, и талия была тоненькая и еще специально утянутая в рюмочку, и щиколотки тонки под плотными икрами, и запястья казались особенно узкими из-за некоторой припухлости предплечий. Именно не гитарная грубость, а стеклянная прелесть маленькой рюмки, мимолетно отметил про себя Роберт Викторович.

Несколько разочарована была Сонечка. Заранее отозвавшись на трудную судьбу Таниной подруги, она не была готова вместо золушки-замарашки увидеть нарядную красоту с подведенными глазами, во всей притягательности светлой славянской милоты.

Яся отвечала на вопросы односложно, глаза ее были опущены, пока она не скидывала утяжеленные тушью ресницы, чтобы вымолить, именно вымолить со смиренно-королевской интонацией своей покойной матери: «Спасибо, нет, благодарю вас, да...» В немногословных ее ответах чуткое ухо могло уловить польский акцент, эти слипшиеся «в» и «л».

Сонечка с умилением подкладывала Ясе на тарелку еды. Яся вздыхала, отказывалась, а потом все-таки съедала и утиную ножку, и еще кусочек студня, и салат с крабами.

— Я уже больше не могу, благодарю вас, — обаятельно и почти жалобно говорила Яся, а Сонечка все не могла выпустить из своего сердца сочувствия: сирота, бедная девочка, детдом... Господи, ну как же так можно...

Барбизонец Александр Иванович уже пел томным дьяконским голосом оперные арии на итальянском языке, напившийся Гаврилин безумно смешно изображал, как собачка ищет блоху. Закатывая глаза, рычал то злобно, то блаженно, залезал головой себе под мышку, всех смешил до изнеможения. Роберт Викторович улыбался, посверкивая двойным металлом глаз и свежевставленных зубов.

В третьем часу пришел Алешка Питерский, Танин рьяный поклонник, с будущей славой, которую он уже на себя примеривал, и мешочком серой травы — был он из первых любителей азиатского кайфа на невских берегах. Алешка не чинясь расчехлил гитару и спел несколько печально-остроумных и смешных песен, яростно кривляясь и растягивая петрушечий рот балаганного актера.

Алеша был влюблен в Таню, Танечка — в Ясю, а Яся в этот новогодний вечер влюбилась в Танин дом. Под утро, когда гости разошлись и девочки помогли собрать со стола, Соня оставила Ясю ночевать в пустующей угловой комнате, где и обнаружил ее днем Роберт Викторович, зайдя туда в поисках рулона серой бумаги.

В доме было тихо. Соня, убрав в доме после гостей, уехала к сестре, Таня спала в своей светелке, а Яся, проснувшись от звука скрипнувшей двери, открыла глаза и довольно долго наблюдала, как Роберт Викторович роется за шкафом, тихонько чертыхается. Она смотрела ему в спину и все пыталась вспомнить, на какого именно американского актера он похож. Видала она такое же вот лицо, такой же серебряный бобрик в польском журнале «Пшегленд артистичен», который изучала от корки до корки. Она никак не могла вспомнить фамилию актера, но ей показалось, что даже и рубашка у того американца была такая же, в крупную и редкую клетку.

Она села на кровати. Кровать скрипнула. Роберт Викторович обернулся. Из огромной Сониной ночной рубахи выглядывала маленькая светлая голова на короткой шее. Девчушка облизнулась, улыбнулась, потянула рубашку за рукава, и она легко поползла вниз через горловину. Двинув ногой, сбросила на пол одеяло, встала во весь рост, и огромная рубаха легко соскользнула вниз. Детскими короткими ступнями она пробежала по холодному крашеному полу к Роберту Викторовичу, вынула из его рук наконец-то отысканный рулон и, как будто заменив его собой, оказалась в руках Роберта Викторовича.

— Один разок, и быстренько, — сказала деловитая фея без всякого кокетства, как говорила обычно своему благодетелю милиционеру Малинину. Но там-то она знала, зачем это делает, а здесь — ни корысти, ни расчета. И сама не знала почему. Из благодарности к дому... И еще — он здорово был похож на того актера, американского, знаменитого. Питер О'Тул, что ли...

А про то, что мужчина может отказаться от предложенной ему милости, знака внимания и благодарности, она просто и не знала. Маленькая, как будто на токарном станке выточенная из самого белого и теплого дерева, тянула она к нему свое праздничное личико.

Чуть попятившись к шкафу, он сказал строго: «Быстро под одеяло, прости-дишься!» — и вышел из комнаты, забыв рулон бумаги. Никогда не видал он такой лунной, такой металлической яркости тела.

Яся укрылась еще не успевшим остыть одеялом и через минуту опять спала. Спала с наслаждением и во сне не забывая о сладости этого домашнего сна в домашнем доме, и ночная Сониная рубашка, которую она уже больше на себя не надела, лежала у нее под щекой и райски пахла.

А ужаленный Роберт Викторович ходил по соседней комнате, ежился и крутил головой. Ранние сумерки только что начавшегося года смотрели в окно, и Соня все не шла, и Таня не спускалась вниз по скрипучей лестнице. И он осторожно отворил дверь в угловую комнату, тихо подошел к кровати. Девчонка была укрыта почти с головой, только русый затылок был на поверхности. Он сунул свои сухие ладони под теплый сугроб одеяла. И вмешательство его рук в Ясин сон не оборвало его, ничего не испортило. Яся развернулась навстречу его рукам, и еще одна, последняя жизнь началась у Роберта Викторовича.

* * *

Честный новогодний мороз к вечеру окреп. На столе подсыхали развороченные остатки прошлогоднего уже кушанья. Роберт Викторович не ел. Вчерашняя еда вызывала отвращение, и он думал о своих мудрых предках, сжигавших остатки пасхальной еды, не допуская такого вот ее поношения...

Сонечка бессмысленно размешивала ложечкой чай, в котором не было сахара, и все собиралась сказать мужу важное, но не находила для этого подходящих слов.

Роберт Викторович с задумчивым лицом ловил глухие отзвуки счастливого гула в сердцевине своих состарившихся костей и пытался вспомнить, когда же он испытывал это... откуда странное чувство припоминания... Может, что-то похожее было в детстве, когда, накувыркавшись досыта в тяжелой днепровской воде, он вылезал на хрусткий перегретый песок, зарывался в него и грелся в этой песчаной бане до сладкого отзыва в костях... И еще что-то схожее с острым озарением детства, когда, выйдя ночью по малой нужде, маленький Рувим, сын Авигдора, превратившийся с годами в Роберта Викторовича, запрокинул голову и увидел, что все звезды мира смотрят на него сверху живыми и любопытствующими глазами, и тихий перезвон покрывает небо складчатым плащом, и он, маленький мальчик, как будто держит на себе все нити мира, и на конце каждой звенит пронзительный мелкозвучный колокольчик, и во всей этой гигантской музыкальной шкатулке он и есть сердцевина, и весь мир послушно отзывается на биение его сердца, на каждый вздох, на ток крови и на излияние теплой мочи... Он опустил задранную ночную рубашку, поднял медленно вверх руки, словно дирижируя этим небесным оркестром... И музыка пронизала его насквозь, сладкой волной проходя по сердцевине костей...

Он забыл, забыл эту музыку, и только воспоминание о ней долгие годы не стиралось...

— Роберт, пусть эта девочка поживет у нас в доме. Угловая свободна, — тихо сказала Сонечка, остановив ложечку в стакане.

Роберт Викторович посмотрел на жену удивленным взглядом и сказал свое обычное, что говорил всегда, когда речь шла о вещах, мало его трогающих:

— Если ты считаешь нужным, Соня. Делай, как считаешь нужным.

И вышел в свою комнату.

* * *

Яся перебралась в дом Сонечки. Ее молчаливое миловидное присутствие было приятно Соне и ласкало ее тайную гордость — приютить сироту, это было «мицва», доброе дело, а для Сони, с течением лет все отчетливей слышавшей в себе еврейское начало, это было одновременно и радостью, и приятным исполнением долга.

В ней просыпалась память о субботе, и тянуло к упорядоченно-ритуальной жизни предков с ее незыблемой основой, прочным, тяжелоногим столом, покрытым каляной торжественной скатертью, со свечами, с домашним хлебом и тем семейным таинством, которое совершалось в канун субботы в каждом еврейском доме. И, оторванная от этой древней жизни, она вкладывала весь свой неопознанный-религиозный пыл в кухонную возню с мясом, луком и морковью, в жестко-белые салфетки, во всеустройство стола, где судок для приправ, подставки для ножей, тарелочки справа, слева грамотно были расставлены, как велел совсем другой канон, новый, буржуазный. Но до этого Соня не додумалась.

Последние годы, годы относительного благополучия, ей вдруг стала мала ее семья, и она втайне горевала, что не было ей суждено народить множества детей, как было принято в ее племени. Она все прикупала, прикупала разрозненные кузнецовские соусники и фаянсовые английские тарелки по баснословно блошиным ценам в комиссионке на Нижней Масловке, словно настраиваясь на грядущее многочадие дочери Тани.

Религия Сони, как и Библия, состояла из трех разделов. Только вместо Торы, Небим и Кебутим это было Первое, Второе и Третье.

Ясино присутствие за столом создавало Соне иллюзию увеличения семьи и украшало застолье — так естественно и мило она держалась за столом, ела как будто бы немного, но с несгораемым аппетитом, до смешной усталости, потому

что память о детском постоянном голоде была в ней неистребима. Откидываясь на спинку стула, она тихонько стонала:

— Ой, тетя Соня! Так вкусно было... Опять я объелась...

А Сонечка блаженно улыбалась и ставила на стол низенькие стеклянные вазочки с компотом.

* * *

Прошло два месяца. Благодаря Ясиной кошачьей приспособляемости и врожденной деликатности она не только заняла угловую комнату, но сверх того определилась в семье в статусе полуродственницы.

Ранним утром она убежала мыть шершавые школьные коридоры и слякотные уборные, вечерами вместе с Таней ходила в ту же школу на занятия. Иногда до школы не доходили, прогуливая убогие уроки засыпающих учителей. Их отношения с Таней определились как сестринские, причем Таня, по возрасту младшая, с переездом Яси в их дом незаметно заняла место старшей сестры, и ее влюбленность в Ясю перестала быть такой восторженной и напряженной.

Девочки часто забирались в Танину светелку. Таня, усевшись в позе лотоса, играла свою неверную музыку на флейте, а Яся, свернувшись клубком у ее ног, немного шепелявым шепотом читала вымирающие пьесы Островского. Готовилась в театральное училище.

Соню умиляло Ясино пристрастие к чтению. К тому же ей казалось, что Танечка попутно приобщается к большой культуре. В этом она заблуждалась.

Если девочки о чем и говорили, то Яся главным образом довольствовалась ролью вежливой слушательницы. Без особенного интереса и внутреннего сочувствия она слушала о Таниных любовных приключениях. Энтузиазм подруги был ей совершенно чужд, а Таня ошибочно относилась Ясино равнодушие за счет незначительности ее собственного опыта в сравнении с богатством переживаний подруги. Ей и в голову не приходило, что Яся — с двенадцати лет впервые — свободна от необходимости впускать в свое совершенно незаинтересованное тело «ихние противные штуки»...

* * *

Роберт Викторович от Ясиного присутствия изнемогал. Этот эпизод в угловой комнате, в ранних сумерках первого дня года, он вспоминал как наваждение, как подсмотренный чужой сон. Ясю он впускал теперь лишь в обзор бокового зрения, воровато услаждая свой глаз ее тихой белизной, и плавился на огне молодого желания. Никаких даже самых малых движений в ее сторону он не допускал, но не потому, что какие-либо мелкие моральные мотивы его беспокоили. Желание принадлежало ему, женщина ему не принадлежала и, более того, занимая Сониными стараниями табуированное место рядом с дочерью, принадлежать не могла.

Он часами смотрел в тонко меняющуюся от освещения и влажности белизну снега за окном, вглядывался в плавкий белый бок фаянсового кувшина, в обрезки крупнозернистого вагмана на столе, в тускло-белые гипсовые отливки старых рельефов с едва намеченными в них телами букв древнего алфавита.

На исходе второго месяца он снова стал писать — через двадцать лет после лагерных упражнений, прихотливого копирования скудной дичи.

Теперь это были сплошь белые натюрморты, в них выстраивались многотрудные мысли Роберта Викторовича о природе белого, о форме и фактуре, порабощающей живописное начало, и слогами, словами его размышлений были фарфоровые сахарницы, белые вафельные полотенца, молоко в стеклянной банке и все то, что житейскому взгляду кажется белым, а Роберту Викторовичу представлялось мучительной дорогой в поисках идеального и тайного.

Однажды, когда зима уже струнулась и снежное великолепие Петровского парка увяло и съезжилось, ранним утром они одновременно вышли на крыльцо: Роберт Викторович с двумя подрамниками и рулоном крафта и Яся с красной матерчатой сумочкой, в которой бултыхались два вечерних учебника.

— Подержите, пожалуйста. — Он сунул ей рулон в руки со смутным чувством, что нечто подобное уже где-то промелькивало.

Яся поспешно притянула к себе рулон, пока он поудобнее перехватывал подрамники.

— Может, я помогу вам донести, — предложила, не подымая глаз, девочка.

Он молчал, она подняла голову, и впервые за время их совместного проживания под одной крышей он острыми зрачками воткнулся в самую сердцевину ее безмятежных глаз. Он кивнул, и она согласно опустила голову в белой пуховой косынке и пошла за ним, колдовски ступая детскими резиновыми ботиками в его следы.

Он не оборачивался всю недлинную дорогу. Так, гуськом, они дошли до подъезда многоэтажного дома, где в длинных коридорах, дверь к двери, трудолюбиво и деловито созидали прилично оплачиваемое социалистическое искусство, вынося время от времени в унылые коридоры громоздкие изводы лыского гиганта мысли...

Прижимаясь спиной к гранитному боку монумента, неловко придерживая ногой дверь, он пропустил вперед Ясю. В момент, когда дверь захлопнулась, он почувствовал сильное и гулкое сердцебиение, но не в груди, а где-то в глубине живота. Сердцебиение восходило в нем вверх, как солнце от горизонта, морской гул наполнил голову, виски, даже кончики пальцев. Он поставил подрамники и принял рулон из Ясиных рук. Тут он и вспомнил, когда это было.

Он улыбнулся, положив руку на отсыревший пух ее косынки, а она уже сметливо расстегивала огромные пуговицы своего самодельного пальто, которое многие вечера шила из старого пледа вместе с Сонечкой. В тот год был припадок моды на большие пуговицы. И юбка Яси и блузка были ушиты стаями коричневых и белых пуговок, и она, сбросив пальто, серьезно и вдумчиво вытаскивала их одну за другой из аккуратно обметанных петель.

Сердцебиение, достигшее набатной мощи, заполнившее все закоулки самых малых капилляров, разом вдруг прекратилось, и в ослепительной тишине она села на сломанное кресло, поджав под себя тугие ножки. Потом отпустила на свободу стянутые на макушке резинкой волосы и стала ждать, откуда он выйдет из своего столбняка и возьмет ту малость, которой ей было не жаль...

С того дня Яся почти каждый день забегала в мастерскую. Горячим и странно безмолвным был их роман. Обычно она приходила, садилась в раз и навсегда избранное кресло и распускала волосы. Он ставил чайник на плитку, заваривал крепкий чай, распускал в белой эмалированной кружке пять кусков сахара — по детдомовской памяти она все не могла наесться сладким — и ставил перед ней белую фарфоровую сахарницу, потому что пила она не только внакладку, но и вприкуску.

Он смотрел на нее долго-долго, пока она медленно пила свой сироп, а он все вдумывался в ее белизну, которая ярче радуги сияла перед ним на фоне матовой побелки пустой стены. И блеск эмали кухонной кружки в ее розовой, но все же белой руке, и куски крупного колотого сахара в кристаллических изломах, и белесое небо за окном — все это хроматической гаммой мудро восходило к ее яично-белому личику, которое было чудо белого, теплого и живого, и лицо это было основным тоном, из которого все производилось, росло, играло и пело о тайне белого мертвого и белого живого.

Он любовался ею, а она это чувяла и возносилась под его взглядом, таяла от маленькой женской гордости, наслаждалась своей безраздельной властью, потому что знала: скажет она ему свое бесстыдно-детское: «Хочешь разочек?» — он кивнет и отнесет ее на покрытую старым ковром тахту, а нет, так и будет на нее тарашиться, бедняга, дурачок, чудной, совсем особенный, и любит ее безумно...

«Безумно», — повторяла она про себя, и гордая улыбка чуть трогала ее губы, и он чувствовал глуповатое ее торжество, но все смотрел и смотрел на нее, пока она не говорила:

— Ну все... Я пошла...

Вопросов он ей никогда не задавал, она о себе тоже ничего не рассказывала, да в этом и не было нужды. Его безграничная тяга к ней, как и ее неизменное желание находиться рядом с ним, не нуждалась ни в каких словесных подтверждениях. В его присутствии она чувствовала себя уже совершившей свою задуманную карьеру: богатой, красивой и свободной. И театральное училище было ненужным.

В середине апреля он начал писать ее портрет. Сначала один, с чайником и белыми цветами, потом другой. И стала образовываться целая анфилада белых лиц, так что одно уходило в тень другого, снова проступало, и лица эти были связаны каким-то оптически-обманым способом между собой.

Роберт Викторович писал быстро. И хотя она была рядом с ним и это было важно для художника, это не была работа с натуры. Он словно впитал ее в себя и теперь только заглядывал в свой тайник. Работал он весь световой день, все больше времени проводил в мастерской. Он и раньше любил уходить сюда спозаранку, теперь же он часто оставался здесь ночевать.

В это самое время, когда притяжение дома ослабло и жизнь Роберта Викторовича все более перемещалась в мастерскую, а мастерская мягко и своднически принимала в себя молчаливую любовницу, над домом собрались тучи.

Весь их небольшой поселок был определен под снос. Многолетние разговоры, настойчивые, но неубедительные, в один прекрасный день реализовались в гадкую, с размытой печатью бумажку — постановление о сносе дома и переселении жильцов. Бумагу вручили не лично, как подобает в таких случаях, а прислали по почте, и посреди дня, уже после утренней разноски, Соня заметила в почтовом ящике эту зловещую бумажку.

Зажимая ее в пальцах, Соня прибежала в мастерскую к мужу, куда обычно не ходила, соблюдая не высказанный, но известный ей запрет. Роберт Викторович был один, работал. Соня села в хрупнувшее под ней кресло. Муж молча сидел напротив. Соня долго смотрела на холсты с блеклыми белоглазыми женщинами и поняла, кто есть настоящая снежная королева. И Роберт Викторович понял, что она поняла. И они ничего не сказали друг другу.

Соня молча посидела, потом положила на стол печальное извещение и вышла из мастерской. У подъезда она остановилась пораженная. Ей казалось, что кругом должен лежать снег, — а на улице клубилась, кудрявилась разноцветно-зеленая майская зелень, и зеленым цветом отзывались длинные трамвайные трели.

Она шла к своему дому, любимому счастливому дому, который почему-то должны были раскатать по бревнышку, и слезы текли по длинным морщинистым щекам, и она шептала враз пересохшими губами:

— Это должно было случиться давно, давно... я же всегда знала, что этого не может быть... не могло этого быть...

И за эти десять минут, что она шла к дому, она осознала, что семнадцать лет ее счастливое замужество окончились, что ей ничего не принадлежит, ни Роберт Викторович — а когда, кому он принадлежал? — ни Таня, которая вся насквозь другая, отцова ли, дедова, но не ее робкой породы, ни дом, вздохи и крикты которого она чувствовала ночами так, как старики ощущают свое отчуждающееся с годами тело... «Как это справедливо, что рядом с ним будет эта молодая красота, нежная, и тонкая, и равная ему по своей исключительности и незаурядности, и как мудро устроила жизнь, что привела ему под старость такое чудо, которое заставило его снова обернуться к тому, что в нем есть самое главное, к его искусству...» — думала Соня.

Совершенно опустошенная, легкая, с прозрачным звоном в ушах вошла она к себе, подошла к книжному шкафу, сняла наугад с полки книгу и легла, раскрыв ее посередине. Это была «Барышня-крестьянка»: Лиза как раз вышла к обеду, набеленная по уши, насурьмленная пуще самой мисс Жаксон. Алексей Берестов играл роль рассеянного и задумчивого, и от этих страниц засветило на Соню тихим счастьем совершенного слова и воплощенного благородства...

* * *

Шли многодневные сборы. Сонечка вязала узлы, набивала ящики из-под папирос кастрюльками и тряпками и пребывала в странно-торжественном настроении: ей казалось, что она хоронит прожитую жизнь и в каждом из упакованных ящичков сложены ее счастливые минуты, дни, ночи и годы, и она гладила с нежностью эти картонные гробы.

Неприбранная Таня отрешенно бродила по дому, натываясь на мебель, спешащую с привычных мест и как будто приобретающую самостоятельную подвижность. Дверцы шкафов неожиданно отворялись сами собой, стулья ставили подножки.

Матери Таня не помогала. Преданная одним лишь своим ощущениям, она полностью погрузилась в величайшее отвлечение к происходящему в доме.

Было еще одно обстоятельство, глубоко ее удручающее: замкнутая, с недоразвившейся в ту пору речью, она выворачивала перед Ясей все завитушки своей растрепанной души, и Яся с ее умным молчанием оказывалась для Тани единственным в своем роде собеседником, который принимал ее вполне мелководные переживания с такой плодотворной для Тани доброжелательной нейтральностью, что в этих

беседах, которые были скорее монологами, Таня училась формулировать мысли, ловить с лёта образы, и это доставляло ей огромное удовольствие.

Другие ее друзья, ерник и выворачиватель всего на свете Алеша и Володя с океанским талантом, всепожирающей памятью и плотно упакованными с ее помощью сведениями обо всем на свете, насильственно вовлекали ее в их собственные соблазнительные миры, и только Яся оставляла ей возможность самостоятельно мыслить, рассуждать вслух, на ощупь выбирать те мелочи, из которых человек произвольно складывает тот первоначальный рисунок, по которому будет развиваться весь последующий узор жизни. Именно отсюда рождалось Танино чувство теснейшей с Ясей близости и смутной благодарности.

Во время какого-то редкого просвета в самоувлечении Таня заметила, что у Яси есть какая-то отдельная жизнь. Однако все ее попытки проникнуть в это заповедное пространство дневных — не школьных и не домашних — часов разбивались о нежное и уклончивое молчание или неопределенные слова. Первая попавшаяся версия — тайного романа — выдвигала перед Таней жгучий вопрос: кто же он?

Вопрос этот разрешился самым случайным образом. Таня столкнулась с отцом и Ясей возле метро и была не замеченной свидетельницей совершенно невозможной сцены: они ели мороженое на ходу, смеясь. Мороженое стекало густыми каплями, и Роберт Викторович стер с Ясиной щеки белое липкое пятно таким движением пальцев, что Таня, великий специалист по части касаний, дрогнула от нового, прежде неизвестного ей чувства ревности.

Ни женские интересы матери, ни какие бы то ни было соображения нравственного порядка Танечку совершенно не беспокоили. Возмущало ее только одно — подлое сокрытие этого во всех отношениях неинтересного Тани романа...

Таня устроила Ясе сцену. Яся, внутренне готовая давно к тому или иному разоблачению, немедленно собрала свои вещи и выскользнула с резного крыльца, оставив Таню в горе и недоумении. Ей-то казалось, что их отношения с Ясей гораздо важнее любых романов...

Роберт Викторович тем временем разбирал построенный им когда-то стеллаж и даже не сразу заметил Ясино отсутствие.

И вот наконец настал день, когда вещи вынесли. В свете яркого летнего дня обшарпанная мебель, такая уютная и обжитая, купленная в некотором охотничьем азарте на Преображенском рынке, оказалась совсем нищенской. Все погрузили в крытый фургон и перевезли в удручающие Лихоборы, в неудобную трехкомнатную квартиру, где все, решительно все было униженно убогим: тощие стены, крохотная, узкая Соне в локтях кухня, недоношенная ванна.

С помощью Гаврилина Роберт Викторович расставлял мебель. Каждая вещь упрямо сопротивлялась, не желая занимать отведенное ей место, все топорищилось лишними углами, везде не хватало нескольких сантиметром. Роберту Викторовичу пришлось сорвать плинтус, чтобы загнать однодверный, совсем небольшой платяной шкаф в отведенный ему простенок. Таня чуть не плакала над окованным сундучком с выпуклой крышкой, который рисковал вообще не вписаться в новое жилье.

В запроходную комнату Соня велела поставить Танину тахту и Ясину кровать и сказала:

— Вот будет девичья.

Яся, приглашенная Сонечкой на помощь в переезде, насторожила ушко. Она никак не могла взять в толк, что же происходит. Да это было и не так уж важно для нее. Не этим домом она так дорожила, а совсем другим. И ей казалось, что самое главное она крепко держит в руках.

А Сонечка вытащила откуда-то большую коричневую сумку, достала из нее скатерть-самобранку с салфетками, холодными котлетками и ледяной окрошкой из термоса.

Сонечка по-прежнему подкладывала Ясе хорошие кусочки на тарелку. Яся благодарно улыбалась. Удивительна была ей Сонечка. «А может, просто хитренькая такая», — с некоторым умственным усилием соображала Яся. Но душой знала, что это не так.

И вдруг посреди обеда Таня, вскинув локти, стала рыдать, трясая волосами и грудями, потом закатилась в истерическом хохоте, а когда припадок неожиданно закончился, она, еще мокрая от слез и вылитой на нее воды, заявила, что немедленно уезжает в Питер.

Яся увела ее в новообъявленную девичью, которой не суждено было никогда быть приютом какой-нибудь девы. Они влезли в Ясину постель. Яся сняла

резинку с толстого хвоста на макушке, и они совершенно примирились, поглаживая друг друга волосы.

Однако решения своего Таня не поменяла и в тот же вечер укатила к своему прокуренному сладкой травкой барду.

Роберт Викторович с Гаврилиным и Ясей уехали на Масловку, и, проводив своих домочадцев, в первый же лихоборский вечер Сонечка осталась одна. С грустью подумала она о развалившейся по всем швам жизни, о напавшем внезапно одиночестве, а потом легла на неразобранный диван в проходной комнате, вынула из перевязанной пачки случайного Шиллера и до утра читала — кто бы мог за этим чтением не уснуть! — читала Валленштейна, добровольно отдавшись литературному наркозу, в котором прошла ее юность.

* * *

Вопреки Сонечкиному предположению Роберт Викторович вовсе не соби-рался ее оставлять. Он приезжал в Лихоборы непременно по субботам и один-два раза в неделю, приезжал вместе с тихонькой Ясей, и пока она со своим шелковым шуршанием возилась в девичьей, перебирала там свои и Танины тряпочки и бумажки, Роберт Викторович заменил подоконники на более широкие, укрепил полки, распилил стеллаж и сделал из него два, развесил Танины портреты.

Они ужинали в средней комнате, которая закрепилась за Соней. Немного говорили о Тане, которая уже месяц как была в Питере и все откладывала свое возвращение в эти жуткие Лихоборы.

В непозднем часу расходились спать. Яся — в девичью, Роберт Викторович — в назначенную ему отдельную комнату при входе, а Сонечка тяжело заваливалась на диван и, засыпая, радовалась, что Роберт здесь, за тонкой стеной, а тонкая красивая Ясенька — по левую. И жаль только, что Танечки нет...

Наутро Сонечка складывала в баночки вчерашний салат, и котлетки, и гречневую кашу, обвязав горловинки, ставила все в коричневую сумку и отдавала Ясе.

— Спасибо, тетя Соня, — опуская глаза, благодарила Яся.

Когда случился день рождения Александра Ивановича, Роберт Викторович велел Соне захватить в мастерскую, чтобы вместе идти. Это был их первый семейный выход. Александр Иванович, девственник и монах от чрева матери, не замеченный во всю жизнь ни в каких шапнях с дамами и на этом основании подозреваемый доброжелательным обществом в каких-то более интересных грехах, был единственным во всей компании, кто воспринял это трио как вполне естественное.

Прочие гости, особенно художественные дамы, сладострастно по углам обсуждали создавшийся треугольник, выходя из себя, как тесто из квашни. Рыжая, слегка бесноватая Магдалина так исстрадалась за Сонечку, что у нее началась мигрень. И совершенно напрасно: Соня радовалась, что Роберт взял ее с собой, гордилась его верностью, которую, как она полагала, он проявил по отношению к ней, старой и некрасивой жене, и восхищалась Ясиной красотой.

По просьбе Александра Ивановича она немного хозяйничала за столом, обносила гостей покупной едой и, помня о вечных Ясиных желудочных болях, шептала ей в ухо:

— Деточка, мне кажется, эти голубцы немного того... Ты поосторожней...

Некоторые дамы были готовы укорить Соню в притворстве — уж больно хорошо она выглядела в этой, казалось бы, невыгодной комбинации; другим хотелось бы Соне посочувствовать, выразить порицание Роберту Викторовичу. Но это было совершенно невозможно, ибо держались они по-семейному, так и сидели за столом домашним треугольником: Роберт Викторович посредине, по правую руку на полголовы над ним возвышающаяся Сонечка, по левую сияла Ясенька своей белизной и маленьким острым бриллиантом на пальце.

Невозможно было себе представить Роберта Викторовича покупающим в ювелирном магазине бриллиант своей девчонке. Но справедливости ради надо признать, что она именно была из породы маленьких беззащитниц, которым так и хочется на пальчик надеть камушек, а на зябкие плечики — манто...

Не дал Роберт Викторович возможности посторонним людям, то есть друзьям, делать выбор между супругами, выражать сочувствие, порицание, негодование...

И вечер катился своей чередой. Подвыпивший Гаврилин изображал умирающего лебедя, потом Ленина и на бис — уже известную всем собачку, которая ищет блоху. Потом была представлена шарада, где фигурировал призрак, кото-

рый не столько бродил, сколько ползал по Европе, шестиногой короле, составленной из трех самых толстых дам, покрытых холщовой занавеской.

В этой части праздника все вспомнили о Тане, остроумнейшей придумщице шарад, а самые проникательные из дам переглянулись: бедная девочка!

Бедная девочка тем временем проживала в симпатичном логове на Васильевском острове у друга Алешки. В Питере стояли белые ночи, она была бесстрашной и любопытной, ежеминутно готовой во что-нибудь серьезно поиграть. Им совершенно не хотелось расставаться, в четыре глаза они глядели по сторонам, и Алеша с удивлением замечал, что ее присутствие не только не мешает его непредсказуемой жизни, а, пожалуй, сообщает дополнительные возможности по части отрыва от «совухи», как называл он презрительно общепринятое существование.

Спустя несколько дней после празднования у Александра Ивановича Соня поехала в Ленинград навестить дочь, прождала ее полдня во двореке, потом еще сорок минут посидела с Таней и Алешей за столом, на котором горой громоздились книги, пластинки, объедки и пустые бутылки, выпила чаю и вечерним поездом уехала обратно, просив дочь звонить почаще тетке и оставив денег.

В поезде Соня не уснула, все думала о том, какая прекрасная жизнь происходит у ее дочери и мужа, какое молодое цветение вокруг, как жаль, что у нее уже все прошло, и какое счастье, что все это было... Она старчески качала головой, подчинясь мелким сотрясениям вагона, предвосхищая тик, который появится у нее спустя два десятилетия...

* * *

А потом опять наступила зима. Девочки должны были заканчивать школу, но обе бросили. Таня всю зиму ездила по привычному маршруту. Она постоянно ссорилась с Алешей, возвращалась домой, но Лихоборы наводили на нее такую тоску, что она снова неслась в свой любимый Питер.

Роберт Викторович всю зиму писал. Он сильно исхудал, но сильно исхудав, лицом посветлел и стал как-то ласковее со всеми. Маленькая его сожительница тихонько существовала около него, то шуршала конфетными бумажками, то шелестела дешевым шелком — она постоянно шила себе разноцветные, одинакового фасона платья, мелко сверкая иглой, — то листала польские журналы.

В то время было повальное увлечение Польшей. Оттуда несло западной вольницей, слегка отяжелевшей в перелете над Восточной Европой.

Яся к тому времени перестала скрывать свое польское происхождение, и оказалось, что она прекрасно помнит свой детский язык, на котором говорила с матерью. Роберт Викторович, кроме общепринятых европейских, знал и польский, и этот обаятельно-шепелявый, ласковый язык разговорил их, и, как когда-то Соне, он рассказывал теперь Ясе маленькие истории, смешные, невероятные и страшные случаи, и это тоже была его жизнь, хотя, из какого-то вербального целомудрия, это была какая-то иная жизнь, как будто стоявшая за скобками той, что по рассказам была известна Сонечке.

Яся смеялась, плакала, вскрикивала: «Езус Мария!» — и гордилась, и восхищалась, и так радовалась, что даже научилась испытывать некоторые приятные ощущения, о коих прежде и не догадывалась, невзирая на ранний и долгий опыт общения с мужчинами.

А он все вглядывался в ее нетленную шею, в новенькую кожу лица, в белый пушок под узкой бровью и думал о драгоценности молодой материи, о той форме совершенства, про которую говорил единственный русский гений — «должна быть глуповата».

Плен Роберта Викторовича был плодотворен. Ему пришлось построить в мастерской новую антресоль, подрамники некуда было складывать. Он заканчивал свои белые серии. Открытия, как ему казалось, не состоялось. Он вскопал ту почву, что подалась, и это было немало, но сама тайна, обещающая вот-вот открыться, ускользнула, оставив сладкую боль приближения и свою полноправную представительницу такой сокрушительной прелести, что побеждала его усталость, и возраст, и всю изношенность плоти. Не в тягость были старому Роберту неумеренные любовные труды.

В конце апреля, в середине сырой ночной оттепели, он крепко сжал Ясины плечи и тяжело уткнулся дрогнувшей головой в жесткую подушку.

Прошло некоторое время, прежде чем Яся поняла, что он умирает. С воим выскочила она в коридор, куда выходили двери еще семи мастерских. Художники здесь не жили, мало кто оставался ночевать. Она рванула ручки двух соседних

дверей и понеслась с четвертого этажа вниз к телефону, который стоял в привратничкой.

Старуха с тонкой распущенной косой тихо взвизгнула, увидев голую Ясю, но та отпихнула ее:

— «Скорую», скорее... «скорую»...

И трясущимися руками набрала номер.

Когда приехали врачи, Роберт Викторович уже не дышал. Он лежал на животе, уткнувшись темным лицом в подушку. Яся так и не смогла его перевернуть.

Обстоятельства смерти были очевидны.

— Кровоизлияние в мозг, — буркнул толстый неприятный врач, пахнущий алкоголем и дурной едой. И написал телефон морга.

Громыхая не пригодившимися носилками, санитары спустились вниз.

— Старик, а на бабе умер. Молоденькая, — сказал один.

— А что? Лучше, чем в больнице-то гнить, — отозвался второй.

* * *

Лихоборская квартира была без телефона. Яся приехала к Соне, когда та собиралась выпить свою утреннюю чашку кофе. Соня мелко затрясла головой, схватила в охапку Ясю, прижала к себе, и они долго плакали в прихожей.

Потом поехали в мастерскую. Тело уже увезли в морг. Тот небытовой, страшный беспорядок, который образовался в мастерской после пребывания двух бригад, медиков и трупсозов, они быстро убрали.

Соня сняла с тахты стыдное для чужого глаза белье и спрятала его себе в сумку. Потом пошли звонить в Ленинград Тане, но соседи сказали, что они с Алешей уехали куда-то. Яся держала все время Соню за руку, вцепившись, как ребенок. Была она сирота, а Соня была мать.

Привратница уже успела проникновенно рассказать всем желающим ее выслушать о скандальной смерти старого Роберта. Соседи художники заходили с полудня в мастерскую. Несли кто что считал уместным в этих обстоятельствах: цветы, водку, деньги...

Попутно формировалось общественное мнение: Роберта жалели, Ясю ненавидели и презирали, с Соней было как-то сложнее, от нее чего-то ждали, смотрели с интересом, вполне, впрочем, сочувственным.

Поздним вечером, когда в мастерской остались лишь близкие друзья, Соня после тихого и бесслезного плача вдруг твердо сказала:

— Достаньте зал побольше. Я хочу, чтобы там, где будет стоять гроб, были развешаны эти картины. — И она указала наверх, на антресоли, где стояли подрамники.

Барбизонец переглянулся с Гаврилыным. Кивнули.

Так все оно и было.

Худфонд выделил зал. Накануне развешивали картины. Их оказалось пятьдесят две. Соня руководила развеской, и вряд ли кто мог бы сделать это лучше. Вдруг просунулось откуда-то солнце, болезненно-яркое, резкое, оно мешало, даже вмешивалось в Сонину работу. Холсты зеркалили, бликовали, и Соня попросила опустить казенные сборчатые шторы. Развесила. Шторы подняли. Солнце к этому времени утихомирилось, и оказалось все на своих местах. И сам Роберт Викторович не сделал бы лучше.

На следующий день к двенадцати стал стекаться народ. И представить себе было нельзя, сколько набежало людей на эти похороны. Пришли старые, маститые, заработавшие мозоли и медали на изготовлении парадных портретов не скажу кого, пришли средние, умеренно новой волны, пришли и те, кого на порог не пускали почтенные члены Союза, — шпаня, лианозовщина, авангард драный.

Посмертная эта выставка не располагала к обсуждению. Да и сам Роберт Викторович никогда не испытывал потребности к обсуждению своего дела.

Посреди зала стоял гроб. Лицо умершего было темным, как бы оплавленным, и только сложенные на груди руки сверкали ледяной белизной того сорта, который Роберт Викторович называл белое-неживое.

Яся в черном шелковом платье лепилась к большой и бесформенной Сонечке, выглядывала из-под ее руки, как птенец из-под крыла пингвина. Тани не было, ее не смогли разыскать в веселой Средней Азии, куда двинули они в поисках зеленого пастбища.

Весь шепоток, вся скандальность этой смерти оставались в раздевалке. Здесь, в зале, даже самые жадные до чужих потрохов люди примолкали. Подходили к Соне, произносили неловкие слова соболезнования. Соня, чуть выталкивая впереди себя Ясю, механически отвечала:

— Да, такое горе... На нас свалилось такое горе...

А Тимлер, в обществе молодой любовницы пришедший проститься со своим старым другом, сказал тоскливым тонким голосом:

— Красиво как... Лия и Рахиль... Никогда не знал, как красива бывает Лия...

* * *

Бог послал Сонечке долгую жизнь в лихоборской квартире, долгую и одинокую.

Таня, постепенно выйдя замуж за Алешу и получив от него в приданое колдовской неласковый город, в котором приживаются лишь гордые и независимые люди, стала петербурженкой. Дарования ее раскрывались поздно. Уже после двадцати оказалось, что она невероятно способна и к музыке, и к рисованию, и ко всему, на что только не упадет ее рассеянный глаз. Играючи она выучила французский, потом итальянский и немецкий — только к английскому питала странное отвращение — и все металась, покуда в середине семидесятых годов, уже расставшись с Алешей и еще двумя кратковременными мужьями, с полугодовалым сыном на руках и сумкой через плечо не эмигрировала в Израиль. Через короткое время она получила прекрасную должность ООН, чему в немалой мере способствовала всемирная известность ее отца.

В течение нескольких лет Яся жила у Сонечки в лихоборской квартире. Сонечка нежно ухаживала за Ясей, испытывая благоговейную благодарность providению, пославшему ее дорогому мужу Роберту такое украшение, такое утешение на старости лет.

Яся вернулась к идее поступления в театральное училище, но как-то вяло. Вместе с Сонечкой они с удовольствием рукодельничали, то вязали какой-то необыкновенный ковровый свитер для Танечки, то шили на заказчиц, но главным образом все-таки сидели и пили неумеренно черный кофе с медовыми Сониными пирогами. Яся стала постепенно захиревать, и тогда Сонечка разыскала в Польше посредством большой, в тайне от Яси ведущейся переписки Ясиных двух теток и бабушку, совсем не аристократического, а вполне скромного происхождения. Снаряженная Соней, Яся уехала в Польшу, где вскоре и завершился канонически сказочный сюжет: вышла замуж за француза, красивого, молодого и богатого. Живет она теперь в Париже, неподалеку от Люксембургского сада, в двух шагах от дома, где было когда-то ателье Роберта Викторовича, о чем она, конечно, не знает.

Дом в Петровском парке, выселенный, с выбитыми стеклами, в следах мелких мальчишеских поджогов, простоял еще много лет никому не нужный. В нем ночевали бродячие собаки и люди. Однажды там нашли убитого человека.

Потом обрушилась крыша, и непонятно было, зачем с такой поспешностью расселяли когда-то жильцов по безжизненным окраинам.

Пятьдесят две белые картины Роберта Викторовича разошлись по миру. На аукционах современного искусства каждая вновь появляющаяся приводит коллекционеров в предынфарктное состояние. Работы же довоенные, парижские, стоят баснословных денег. Их сохранилось очень немного, всего одиннадцать.

Толстая усатая старуха Софья Иосифовна живет в Лихоборах, в третьем этаже хрущевской пятиэтажки. Она не желает переселяться ни на свою историческую родину, где гражданствует ее дочь, ни в Швейцарию, где она сейчас работает, ни даже в столь любимый Робертом Викторовичем город Париж, куда постоянно зовет ее вторая девочка, Яся.

Здоровье портится. Видимо, начинается болезнь Паркинсона. Книга трясется в ее руках.

Весной она ездит на Востряковское кладбище, сажает на могиле мужа белые цветы, которые никогда не приживаются.

Вечерами, надев на грушевидный нос легкие швейцарские очки, она уходит с головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды.

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВ

*

ПО УЛИЦЕ ПИДЖАК ПРОМЧАЛСЯ,
ИЛИ
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАДИЯ

I. ИЗ ГАЗЕТ

*

Монолитная строка —
ВКП и ВПК.

*

Идеи, может, и достойны,
а результат — сплошные войны.

*

Помогите нации —
выйти из стагнации!

*

Товарищи, куда мы все бежим? —
демократический, но тоже ведь — режим!

*

Все вперед да вперед,
а народишко-то — мрет.

*

По четыреста грамм вермишели
в месяц вешали нам при Мишеле.

*

Социальная апатия —
в печку еду на лоцате я.

*

Культуры нет в наличности —
и перешли на личности.

*

Сразу видно дипломата —
говорит почти без мата.

*

Это место не менее свято —
потому что здесь родина чья-то.

*

Раз, два, три, четыре —
будем делать харакири.

(Японская считалка)

II. НОТАБЕНЕ

*

С виду кажется он валенком,
а похаживал по спаленкам.

*

Однажды черт забрался в улей —
и вылетел оттуда пулей.

*

Как показывает опыт —
время терпит, но торопит.

*

Если слово дали ворону —
шутки в сторону.

*

Выдавали по звезде,
но не всем и не везде.

*

По улице пиджак промчался,
а человека нет — скончался.

*

Жизнь — это промежуточная стадия,
и не понять, чего волнуюсь ради я?

*

Нет в искусстве выше темы,
чем цветенье хризантемы.

*

Много версталось,
да мало осталось.

III. ИТОГО

*

Что у них ни робится,
сразу все коробится.

*

То, что нам ночами снится, —
после смерти объяснится.

*

Поставили печать —
извольте отвечать!



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС ЗУБАКИН

*

СТИХИ И ПИСЬМА

РАЗБИТЫЙ СОСУД

В конце прошлого века в интеллигентных российских семьях имя Борис стало модным. Прославились как литераторы Борис Бугаев, ставший Андреем Белым, Борис Вогау, ставший Борисом Пильняком, Борис Пастернак и Борис Садовской. Еще один Борис, о котором у нас пойдет речь, Борис Зубакин, дружил или был знаком с названными Борисами и разделил трагическую судьбу своего поколения.

О Борисе Зубакине я узнал совершенно случайно. В комнате моей тещи Татьяны Сергеевны Ильинской до сих пор стоит лиловая венецианская ваза, украшенная позолотой. Однажды я взял ее в руки, чтобы полюбоваться, и услышал:

— Осторожно! Эти вазы имеют свойство разбиваться без видимой причины.

Я бережно поставил вазу на место.

— Была еще одна точно такая ваза, — продолжала Татьяна Сергеевна эпическим тоном, — их подарили Зубакину и моей сестре Леле на их свадьбу. Вазы стояли рядом, и на пятый день одна внезапно раскололась на мелкие кусочки. Борис расстроился. Он был суверен. И впрямь через пять лет Борис был арестован и выслан. Еще через восемь лет он был расстрелян. Тогда же была арестована и сослана на многие годы Леля.

Мой рассказ — попытка склеить биографию Бориса Зубакина из устных воспоминаний о нем, из его переписки с Горьким, Брюсовым, Пришвиным, Вересаевым и другими писателями, из материалов его следственного дела. Вместе с ним поднимаются из небытия тени его друзей, подруг, знакомых, людей прославленных, но так же забытых, как он сам, людей 20-х и первой половины 30-х годов — писателей, артистов, ученых.

* * *

Борис Михайлович Зубакин родился в Петербурге в 1894 году. О своем отце, офицере русской армии, он сообщает лишь то, что это самый обожаемый им человек. Мать, в девичестве Эдвардс, принадлежала к шотландскому роду, выходцы из которого обосновались в России, видимо, в XVIII веке. «Мать, — вспоминал Б. Зубакин, — всю жизнь мучалась мезальянсом с моим отцом, производившим свой род, увы, всего от сомнительного атамана-разбойника Зубаки-Зубакина».

Своими гимназическими и домашними учителями (последними он всю жизнь гордился) Зубакин был воспитан в любви к истории и мечтал о профессиональных занятиях ею. Но в последнем классе гимназии в нем просыпается интерес к религиозной философии. Вместо продолжения занятий в университете, для которых, судя по всему, он был подготовлен в полной мере, следуют четыре года затворнической жизни в завещанном ему дедом доме Эдвардсов в Озерках.

Осенью 1944-го, служа в пехоте, я обошел пешком Карельский перешеек и видел множество старинных деревянных домов с башнями, среди которых, возможно, сохранился и тот, что описан Зубакиным в одном из писем. Я представляю себе огромные пустынные комнаты, портреты «длинноносых пэров и лордов» на стенах, скрипящие сосны, багровый закат, бьющий в окна. Четыре года добровольного заточения в таком доме заменили юноше университет, а книги домашней библиотеки — профессоров. Древнерусская литература, русская и зарубежная классика, исторические исследования, масонские томики, труды философов-мистиков — все это было прочитано в длинные зимние ночи под треск сухих поленьев в камине и дребезжание стекол, колеблемых ветром с залива. Обстановка и книги сформировали человека и поэта.

Вступительная статья, публикация писем и примечания А. И. НЕМИРОВСКОГО.

Затворничество было прервано начавшейся войной и уходом на фронт. На каком из фронтов был Зубакин и сколько времени? Что он там пережил? Ни в письмах, ни в стихах война не оставила следов.

Биография Зубакина первых послереволюционных лет остается загадочной. Из протокола допроса (29 августа 1929 года) следует, что в 1918 году он уехал из Петрограда в Невель, где участвовал в работе «философско-мистического кружка», членами которого были, в частности, Н. В. Волошинов и М. М. Бахтин. В «Анжете арестованного» (1937) Зубакин указал, что в те же годы он «работает в народном образовании» и одновременно получает высшее образование по двум факультетам — истории искусства и археологии в Московском археологическом институте. Невель Зубакин покинул в 1921 году и с этого времени живет большей частью в Москве.

В 1922 году с Б. М. Зубакиным знакомится А. И. Цветаева, чьи воспоминания являются одним из главных источников сведений о нем. Цветаева записывает лекции Зубакина, специально для этого изучив стенографию, посещает его вечера поэтической импровизации, на которые сходилась вся Москва. Одна из сохранившихся импровизаций Зубакина (ее адресат — Валерий Брюсов) раскрывает некие стороны биографии поэта-профессора:

Вдали от злобственных укусов,
Как Фауст — среди книг и песен Муз,
Валерий Яковлевич Брюсов
Живет у Башни¹, где в союз
Вводил масонский — хмурый Брюс²
Терявших закоснелость русов,
А я, — питомец русских «Брюсов», —
На сухаревский ли доток
Сменил «гран-мэтров» молоток,
Науки мелкой черепками
Заняв себя и молотками
Музейных сумрачных витрин,
Где Бог палеолита — сплин?..

Тому, кто займется постреволюционной историей масонства, не обойтись без материалов биографии Б. М. Зубакина. Судя по рассказам Т. С. Ильинской, письмам Зубакина и его стихам, он был человеком совершенно аполитичным: не откликнулся ни на одно из событий послереволюционной жизни, не дримыкал ни к одной из партий и политических группировок. Численность возглавляемой Зубакиным ложи розенкрейцеров была невелика — Т. С. Ильинская называет десяток имен, в том числе свою сестру Елену, ее второго мужа Я. Монисова, некоторых известных писателей и артистов.

В 1923 году Московский археологический институт был распущен, разделив судьбу сотен других факультетов и институтов, занимавшихся историей России. Это был запрет на профессию, и научная карьера молодого историка Бориса Зубакина оказалась зачеркнута; вместе с ректором института он был арестован и некоторое время провел в тюрьме³.

Достаточно известна картина К. Ф. Юона «Никитинские субботники» (1930), изображающая группу писателей, литературоведов, артистов, художников, собравшихся вокруг длинного стола в зале, обрамленном псевдокоринфскими колоннами, среди книг и картин. На полотне мы без труда узнаем лица Л. М. Леонова, В. Г. Лидина, Б. Пильняка, П. С. Романова, А. С. Новикова-Прибоя, П. Н. Сакулина, Н. Л. Бродского. Но сколько мы ни вглядывались в этот коллективный портрет, так и не смогли отыскать героя нашего биографического очерка. А между тем с 1921 года Зубакин был неизменным участником субботников, что отражено в протоколах заседаний и других материалах фонда Евдокии Федоровны Никитиной. Здесь он прочитал ряд докладов, в том числе «О чувстве космического у Блока», «Проблемы смеха и серьезности», вызвавшие оживленную дискуссию, много своих стихов — серьезных и шуточных. Вот, например, приветствие на юбилейном заседании 6 октября 1924 года:

¹ Имеется в виду Сухаревская башня. Особняк В. Брюсова был на 1-й Мещанской.

² Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — сподвижник Петра I; предание о создании им масонского общества в Москве фактами не подтверждается.

³ Ректором был академик Ф. И. Успенский (1845—1928), один из крупнейших византинистов и славяноведов, основатель Русского археологического института в Константинополе. В деле № 349696 НКВД имеется выписка из дела № 16900-4-СО ОГПУ, согласно которой профессор-педагог Зубакин Борис Михайлович обвинялся в антисоветской деятельности и освобожден постановлением коллегии ОГПУ от 8 февраля 1923 года со взятием подписки о невыезде из Москвы.

Ах, в наше время роковое
 Делились мысль и сердце вдвое.
 Спасибо всем, спасибо вам —
 Субботним дружным вечерам.
 Когда, идя ночной дорогой,
 Сходились мы у лампы строгой,
 Дея раздумья и мечты,
 И смутность замыслов и планы,—
 И нас манила к песне ты,
 Россия, сказочной Светланой.

Главные сведения о Б. Зубакине содержит архив Максима Горького. Горький вел огромную переписку с писателями, политическими деятелями и рядовыми корреспондентами, но такие письма, как от Зубакина, ему не часто приходилось получать. «Вы, сударь,— пишет Горький Зубакину,— изумительно талантливый человек. И по-русски бесценно талантливый, думается даже, что Вы на грани гениальности. Впечатление это внушается не стихами Вашими, но великолепными рассказами, художественно фантастическими о Коте, о собаке и Скрябине». В том же письме, сопоставляя Зубакина с Л. Толстым и В. Лениным, Горький пишет: «Вот куда я Вас дерзко и уверенно ставлю, понимая, однако, что Вы хаотичнее их. В хаотичности этой и свободе — и есть счастье Ваше, но в ней же и угроза для Вас»⁴.

Заочное знакомство завершается личной встречей в Сорренто, куда Зубакин поехал вместе с А. И. Цветаевой по приглашению Горького. Очное знакомство, однако, привело к скорому разрыву, причина которого состояла, судя по всему, в глубоких мировоззренческих различиях Горького и Зубакина.

В 1928 году тесть Б. Зубакина С. Н. Ильинский выпустил книгу по товароведению и великодушно пожертвовал полученный за нее гонорар на издание стихов зятя. Единственный поэтический сборник Зубакина получил название по открывающему его стихотворению «Медведь на бульваре»⁵. Сохранилась запись С. Н. Ильинского об обстоятельствах написания «Медведя на бульваре»: «Поэт написал это стихотворение ночью. Я слышал время от времени, как поэт что-то напевал. Утром Б. М. пришел в нашу комнату и сообщил, что написал новое стихотворение. Ему долго не удавалось схватить обычный припев вожака. На сей раз это было на Никитском бульваре, и он запомнил его. Вскоре после этого Борис отнес это стихотворение Раскольникову, которому эта вещь очень понравилась».

В год выхода сборника (1929) Зубакин был арестован. Это был год сфальсифицированного ГПУ «профессорского дела», или «дела академика Платонова», потянувшего за собой двести выдающихся историков (Тарле, Бахрушин и другие). Зубакин проходил не по этому делу, но у него и у Сергея Федоровича Платонова был общий учитель — Д. Борзаковский.

Местом ссылки для Зубакина стал Архангельск, побывать в котором он давно мечтал, но, разумеется, не в качестве ссыльного. Во всяком случае, на Севере он получает возможность возвратиться к археологии. В Архангельске в 1931 году увидела свет первая научная работа Зубакина — «Холмогорская резьба по кости. История и техника производства». Экземпляр ее хранится в личной библиотеке М. Горького с дарственной надписью: «Дорогому и Глубокоуважаемому Алексею Максимовичу. Б. Зубакин, с. Холмогоры (близ Архангельска), Ломоносовский с. с. Жаль, что рисунки (из которых более половины публикуются впервые) так скверно отпечатаны и так сокращен текст».

В Отделе рукописей ГБЛ сохранилось письмо Б. М. Зубакина В. Д. Бонч-Бруевичу, свидетельствующее о другой работе, к сожалению, утраченной:

«Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу.

В 1932 году (при участии знатока биографии Ломоносова — Чл<ена>-к<орреспондента> Академии наук И. М. Сибирцева⁶) я закончил исследование — «Новое и забытое о Ломоносове». Книгу взялся издавать Сев<ерный> Краевой ОГИЗ, но «поднять» издание не смог. Я не согласился на сокращения и взял книгу обратно.

⁴ Архив А. М. Горького, ПГ 16, 34, 3.

⁵ Сборник стихов Б. Зубакина был немедленно отрецензирован. Пытаясь выявить «социальную подоплеку» настроений автора, рецензент писал: «Мы имеем здесь дело с откровенным выступлением деклассированного интеллигента, обломка прошлого, исполненного злобой к современности... Именно такую продукцию и мог выпестовать Всероссийский союз поэтов. Хвала ему» («На литературном посту», 1929, № 20, стр. 62—63).

⁶ Сибирцев Иустин Михайлович (1853—1933) — архангельский историк-краевед, член-корреспондент АН СССР (с 1928), занимался преимущественно изучением и изданием материалов по истории Архангельского края в XV — XVIII веках и биографией М. Ломоносова.

Хотел бы видеть ее поскорей напечатанной. В книге разделы: окружение Ломоносова — на родине, опровержение ошибок, допущенных его биографами, влияние Ломоносова на поэтов (до Маяковского включительно), местные легенды о нем, результаты раскопок на месте его жилища, его реликвии, курьезы его биографов и почитателей.

Проф. Б. М. Зубакин⁷».

Во время ссылки Б. Зубакин также занимался северной деревянной скульптурой, но его книга (или статья), согласно воспоминаниям Т. С. Ильинской, после ареста Зубакина вышла под чужой фамилией.

В ссылке Зубакиным написано, в частности, стихотворение «Печалеречивый Овидий», проникнутое верой в дружбу, объединяющую творческих людей и несущую узникам свободу (пушкинский мотив). В качестве вестника избавления выступает римский поэт Овидий, сам изгнанник:

Надев самоедские пимы,
В лучах ослепительных лыж,
Изгнанник далекого Рима,
Не ты ли к собратьям спешишь?

Благодаря хлопотам В. Вересаева Зубакин возвращается из ссылки, но, лишенный московской прописки, вынужден скитаться между Смоленском, Архангельском и Москвой, живя на случайные заработки. В Москве, на Никитском бульваре, на антресолях, превращенных в библиотеку, оставались любимые им книги по философии и археологии.

В Смоленске его нагнала весть об аресте Анастасии Цветаевой. «Есть ли у Вас телефон или адрес Б. Пастернака? — пишет он 6 мая 1933 года Жанне Матвеевне Брюсовой. — Молю Вас сообщить ему, что Ася (сестра Марины) по невероятному недоразумению арестована 23/IV (он в свое время обещал хлопотать). Знает ли он это? Я узнал более чем случайно...»

Вместо постскриптума в письме четверостишие:

Стал целью путь. Тому ль остановиться,
В чьем сердце смерть гнездо незримо вьет.
Так на лету подстреленная птица
Еще летит — инерцией — вперед.

В те годы шла подготовка к десятилетней годовщине со дня смерти Валерия Брюсова, которую предполагали отметить различного рода памятными сборниками и изданием произведений, оставшихся в рукописях. Этим занималась вдова Брюсова Жанна Матвеевна, человек очень тщательный. Но, не имея исторического образования, в работе над рукописью незаконченного романа «Юпитер поверженный» она столкнулась с непреодолимыми трудностями. Возвращение Б. М. Зубакина из ссылки было для нее огромным облегчением. Вряд ли она могла найти помощника более подготовленного, чем он, историк и эрудит. «Находясь в Москве, — вспоминает Татьяна Сергеевна, — Борис целыми днями пропадал на Мещанской, помогая там разбору рукописи Брюсовского романа. Брюсов был моим учителем по Высшему литературно-художественному институту. Я слушала все его курсы. Он принимал у меня экзамен по древнегреческой литературе. Естественно, я интересовалась и обстановкой дома Брюсова и непосредственно тем романом, который Борис по просьбе Жанны Матвеевны подготавливал к печати. Помните, Борис был всецело захвачен этой работой, но он жаловался на неразборчивый почерк и на недостаток времени. В некоторых случаях между отдельными выписанными Брюсовым эпизодами отсутствовала связь, и Борису приходилось ее восстанавливать. Вскоре Борис уехал. Появившись через месяц, он принес написанное им окончание романа и читал его нам. Мне всегда казалось, что такого рода продолжения, написанные за автора, не имеют права на существование. И я в этом духе что-то сказала Борису. «Но ведь сам Брюсов написал продолжение «Египетских ночей» Пушкина, — возразил он, — и, следовательно, не может обижаться на меня». Я засмеялась. И больше к этому вопросу мы не возвращались».

О том, что Татьяна Сергеевна ничего не напутала, свидетельствуют, во-первых, вопрос в уже цитированном мною письме Зубакина И. А. Брюсовой: «Какова участь Юпитера Пов.», а также сама четвертая книга романа, написанная Зубакиным.

Однако дополнение Зубакина к роману было отвергнуто издательством, поскольку принадлежало ссылке. В послесловии к роману «Юпитер поверженный» М. Л. Гаспаров упоминает о хранящейся в фонде Брюсова «любопытной попытке

⁷ ОР ГБЛ, ф. 369, к. 274, ед. хр. 22.

окончания „Юпитера поверженного” и высказывает справедливое сомнение в том, что Б. М. Зубакин пользовался письмами Брюсова и беседами с ним⁸. Исследователь не касается художественной стороны текста Зубакина. Нам же представляется, что Зубакин удивительно органично вошел в стиль Брюсова. Сама же история текста «Юпитера поверженного» требует уточнения. Заслуги Брюсовой, проделавшей «скрупулезную и чрезвычайно трудоемкую работу по разбору и прочтению рукописей, расслоению вариантов и датировке автографов», вполне могут быть разделены ею с Б. М. Зубакиным.

«Летом 1936 года,— вспоминает Татьяна Сергеевна,— Борис ворвался к нам сам не в себе. Я никогда не видела его таким взволнованным. „Умер Алексей Максимович! — крикнул он с порога.— Мой звездный друг ушел раньше меня, а я ведь уверял его, что уйду первым”. Усевшись в кресло перед столом, он достал пачку писем и стал дрожащими руками раскладывать. Они покрыли весь стол. „Вот они. Я боюсь, что их заберут и они исчезнут там... Кому мне их отдать? Скитальцу? Ведь он самый старый и испытанный друг Горького. Но дамоклов меч висит и над ним”. Нет, сестрица! Я отдам их Виноградову. Это будет надежнее”».

Какому из Виноградовых? Этого Татьяна Сергеевна не знала. Работая в ЦГАЛИ, я выяснил, что письма Горького были переданы Анатолию Корнелиевичу Виноградову, директору Ленинской библиотеки (1921—1925), известному в довоенные годы романисту и сотруднику Горького по редактированию серии «История молодого человека XIX столетия». От него письма попали в Архив Горького, но, видимо, опасаясь за их судьбу, Виноградов сделал их копии.

«И снова Борис исчез на несколько месяцев,— продолжала Татьяна Сергеевна.— В то время исчезали многие. Был арестован второй муж Лели, Монисов. И все же мы надеялись, что волна арестов обошла Бориса, что он у себя в Архангельске. Однако появление в доме нескольких следователей с понятием-дворником рассеяло все надежды. Следователи перерыли книги Бориса. Снимая со стола портрет Тухачевского, они не могли скрыть своей радости. К этому времени Тухачевский был уже расстрелян вместе с другими военачальниками, и можно было думать, что хранение этого портрета рассматривалось само по себе как криминал. Но у меня существуют подозрения, что Тухачевский был каким-то образом связан с московскими масонами. Во всяком случае, я помню, что Борис гордился знакомством с Тухачевским в той же мере, в какой хвастался встречами с Александром Блоком, Гумилевым, Белым, Анной Ахматовой¹⁰. Со стола был взят портрет Кнута Гамсуна с его надписью. Борис переписывался с Гамсуном, но его писем у нас дома не было¹¹. Затем следователи решили обыскать комнату, где была моя маленькая Люся. Их странным образом заинтересовала тряпичная кукла, с которой она играла. Но девочка не захотела расставаться с куклой и подняла рев. Не без труда дедушке удалось отнять куклу у ребенка. Передавая ее следователям, мой отец отважно пошутил: «Можете взять, только возвратите фарфоровую». Как только следователи удалились со своими трофеями, отец тотчас из шкафа в коридоре достал нарядную куклу, привезенную Борисом из Архангельска, торопливо вскрыл ее и обнаружил внутри бумагу с синими печатями и красной тесьмой. Кажется, там была подпись папы. Бумага, а за нею и кукла полетели в пылающую печь. Дело было зимой».

Моя жена Людмила смутно помнит эпизод с отнятой куклой, а вот ареста любимой тети в том же году и в том же месте не запомнила. «У нас дома,— вспоминает Людмила Станиславовна,— мне никогда не говорили о гибели Бориса и об аресте Лели. Такова была педагогическая установка моей матери: детство должно быть безоблачным. С детских лет я знала, что Леля живет в Сибири и играет в каком-то театре, будучи командированной от Малого театра, где она работала. Оттуда, из

⁸ См.: Валерий Брюсов. Собрание сочинений в семи томах. М. 1975, т. VI, стр. 668.

⁹ Б. Зубакин в те годы был частым гостем Степана Гавриловича Скитальца (1869—1941). Последний из доступных нам документов о автографом Б. М. Зубакина — стихотворение, посвященное жене Скитальца Вере Петровой, датированное 11 января 1937 года. Скиталец и его жена вернулись из эмиграции в СССР в 1934 году, и именно поэтому Зубакин мог считать дом Скитальца надежным местом для хранения писем.

¹⁰ В одной из автобиографий середины 20-х годов Б. М. Зубакин писал: «Рад, что видел и знал великих поэтов моего времени Ан. Белого, Ал. Блока и В. Брюсова, крупнейшего Вл. Пяста». Вообще он гордился «литературными знакомствами» и, по воспоминаниям Татьяны Сергеевны, приводил домой правнучку Вальтера Скотта. В письме Горькому он рассказывает о знакомстве с правнучкой Наполеона, сестрой Плеханова и внуком Пушкина: «У него его лоб — выпуклый, к середине как скрипичная дека (резонанс-то ведь какой!); голубой, круглый, всевидящий глазок (тоже пушкинский!) — и прохладный, четкий ум — и какое бешенство рта и голоса порою».

¹¹ Зубакин писал Горькому о своем восхищении, еще с гимназических времен, произведениями Гамсуна, но не упоминал о переписке с ним. Возможно, их переписка относится ко времени между 1927 и 1937 годами.

Сибири, приходили письма с тесными строчками, словно бы там не хватало бумаги. Борис же продолжал жить у нас дома в восхищенных рассказах бабушки и дедушки. Так у меня постепенно сложился образ необычайно яркого и неординарного человека, волшебника и поэта. С детства я знала многие стихи Зубакина с голоса дедушки или матери — художественное чтение было ее профессией. Стихи Бориса об Италии были для меня мостом в эту сказочную страну, древняя история которой стала моей специальностью. Я изучила итальянский язык, и мне посчастливилось побывать много раз в „зубакинских местах“. Проходя с группой экскурсантов по гулкому горбатуму мосту Венеции, я повторяла про себя:

Морская пленная царица,
С которой кто сравнится мог,
Кидает в волны из темницы
Свой пенный кружевной платок.

Во Флоренции на мосту через Арно я декламировала:

Ты выпнут высохшею веткой,
И не расцвешь ей на веку,
О, Понто Веккио — мост ветхий,
Хранящий Дантову тоску...

Он тут стоял — и так же видел
Вот эти горы — даль долин,
И мост от неба до Аида
Воздвиг уступами терцин...

У терм Каракаллы в Риме я вспоминала:

Сюда сходились с шуткой хмурой
Не раз сенаторы-друзья
Шепнуть опасным каламбуром
О том, что вымолвить нельзя.

Вскоре после войны в Москве появилась Леля. Лицо у нее было серым. Во время приступов сердце ее колотилось так, что его удары были слышны на другом краю комнаты. Ей бы пожить с нами, но она почему-то поспешила в Мичуринск, — А. Дикий рекомендовал ее в местный театр. Но в Мичуринске она проработала недолго и вскоре заторопилась на Урал. Именно в это время умер Сталин. Мне никто не сказал, что он виновник гибели Бориса, злключения Лели и многих иных потерь в нашей семье. И я была на его похоронах, откуда вернулась в пальто без единой пуговицы и в одной галоше. Леля переехала к нам и вскоре умерла. В доме появилась Анастасия Ивановна Цветаева, проходившая, как мне уже тогда сказали, по одному и тому же делу, что Борис и Леля. Многими часами Анастасия Ивановна беседовала с бабушкой и иногда оставалась у нас ночевать. По ее просьбе я перепечатала для нее стихи Бориса. Этот список я недавно видела в архиве Горького в фонде Е. П. Пешковой. В 1969 году умерла моя бабушка. Анастасия Ивановна пришла на похороны, а затем на поминки. Во время поминок среди прочих говорил брат моего деда Аркадий Николаевич, отличавшийся резкостью оценок. Он сказал, что годы бабушки были сокращены из-за несчастья с Лелей, в котором всецело виноват негодяй Зубакин. Тут поднялась Анастасия Ивановна и заявила: „В этом доме всегда любили Бориса, и не смейте говорить о нем плохо!“»

В нашей семье всегда с большой симпатией вспоминают о Борисе Зубакине. Нередко мне приходилось слышать: «Вот Борис так бы себя не повел!» Или: «Борис всегда умел выслушивать людей и не обрывал их на полуслове». Так у меня возник интерес к этому человеку. Захотелось больше узнать о нем еще потому, что и мне пришлось пережить в детстве и юности многое из того, что пережили близкие Зубакина: обыски, аресты, письма из лагерей, возвращение родителей из ссылки без права проживания в Москве и страх, постоянный страх.

Я больше никогда не беру в руки вазы Эдвардсов (ибо я тоже суеверен); но я часто подхожу к ней и слегка ударяю по ее покрытому позолотой краю. Ваза издает мелодичный звон, постепенно замирающий в комнате. Она напоминает перевернутый колокол. Как я этого не замечал?! Она будит воспоминание об Озерках, о доме с деревянной башенкой и его странных обитателях, о рождавшихся там стихотворных «сюитах». Вот-вот зазвучат и они.

* *
* *

Еще не встал у берега мир,
Еще плывут панелей — мимо —
Все те же тени — пилигримы —
Из тех же стареньких квартир.

Извозчик сгорбленный — кнутом,
Разносчик — яблочный глашатай,
Старуха — бархатной заплатой,
Пиит — чернильным лицом.

Еще бушует у пивной,
Как двадцать лет назад, как сорок,
Бродяга с хлябиной опорок,
Такой знакомый всем — и свой,—

Но мир — он тронулся уже! —
Не слышно под ногой — панели,
Плывут, как лед, к далекой цели,—
И свет — на каждом этаже.

И в этот час, когда еще
Ни день, ни ночь,— я дом покинул
И петь — счастливый жребий вынул,
Поднявши лиру на плечо.

1926.

Песня

Молчи, мое сердце, молчи,
Мы сами свои палачи.
И сами себе с давних пор
Готовим на выю — топор.
 Что ж вспомнить придется, о чем —
 Под злым и тупым топором? —
Неловкий полет голубей,
Да слезы седых матерей,
Да скучную песню о том,
Что залито горьким вином. Э-эх.
 Молчи, мое сердце, молчи.
 Мы сами — свои палачи.

Москва

Пусть все останется как есть,
И эта скудная эстрада,
И этой льстивой скрипки лесть,
И столиков кривых ограда:

Московской улицы пролом
Продолжен улицей Багдада,
И поит Ночь — Шехерезада
Ошеломляющим вином.

Кричите, бражники, как вы
Орали, пьяницы Пирея,
Египта, Ганга и Москвы —
Гамбримарейшая Ганзея!

Оперся месяц — страж гробниц
 На тонкий посох Аль Рашида,
 И прячет вечная Изида
 Сосцы под фартук продавщиц.

Москва, 1923.

Медведь на бульваре

Ай-я, ай-я... Ай-я, ай-я.
 Пляши, пляши, медведь.
 Ай-я, ай-я... Ай-я, ай-я
 Не все же нам говеть!

Иль ты показывать устал —
 Как красит «баришня» уста,—
 Как под ручку уйдет.

Как пьяный валится жоак —
 Когда как палуба — кабак —
 Из-под ноги плывет?!

Нёмало старых жоаков
 Кончает жить у кабаков,
 И стреляно зверья!..

Ай-я, ай-я, медведь, ай-я!
 Ай-я, медведь, ай-я!
 Вздывая на бульваре прах,
 Истерся плюш твой на боках —
 И рвет ноздрю кольцо.
 С бумажной розой на боку —
 Хранит комичную тоску
 Звериное лицо!

Ай-яй. Ай-яй, ай-яй, яй-яй!
 Чего же ты рычишь?!
 И цепь грызешь и мне грозишь?
 Пляши, коль жить хотишь!..

Я ль враг тебе, иль ты мне враг,—
 Но цепь у нас — одна!
 Чего ж косишься злобно так,
 Звериная шпана?!

И я б хотел валять врага —
 Да вот, валяю дурака
 И в потный бубен бью:
 Бум-бом, бум-бом! Бум-бом, бум-бом!..
 Кричат братишки «улю-лю!»—
 Спасибо и на том!..

Хэй! Поднимайся на носках:
 Ночлежка наша в двух шагах —
 Эй-я! Эй-я, эй-ей!

Истаскана твоя тоска,
 И мне вся жизнь — доска!

* * *

А. Андреевой.

Все опоганено — и что же?! —
 Осталось — подвязать ремень
 И вновь в толпе слепых прохожих
 Идти, переступая тень.

Еще сумею я с улыбкой
 Пастушью перенять игру —
 И птиц — за ангелов — ошибкой
 Принять спросонок, поутру.

10 марта 1926.

Сотер

I

Какой прекрасный юный бог —
 Рождался в Вифлееме!
 И золотой Единорог —
 На лунной плыл триреме.
 Из рощи выбежал сатир
 И выманил дриаду —
 Смотреть, как шла, сияя, в мир
 Звезда через Элладу.
 И пригибая острый лавр —
 Гремел навстречу Богу
 Из леса скачущий кентавр
 На лунную дорогу.
 И побледнев в предвесье дней
 Искупленных агоний —
 Адонис поднял из ветвей
 Пронзенные ладони.

II

Идут волхвы из дальних стран
 И, не боясь погони,
 Скользит воздушный караван —
 Верблюды, мулы, кони.
 Звенят бубенчики-псалмы
 Как ручейки на скате, —
 Три белых высятся чалмы
 На розовом закате.
 И луч Звезды, и шаг коня —
 Идут согласно рядом.
 Уже бубенчики звенят
 Янтарным виноградом;
 Уже верблюды встали в ряд, —
 Смотри — какие тучи!
 Уже горбы их нам дарят
 Запас дождя летучий.
 А в дальних зимах Декабря
 Идут от хат до хаты
 Три белых мальчика-царя
 С бородкою из ваты
 И носят золотой вертеп
 Из тонкого картона.
 Но видит каждый, кто не слеп,
 Звезду над их короной.

* *
* *
*

Печалеречивый Овидий*,
С тобою сравнившись в судьбе,
Как часто в жестокой обиде
Взывают поэты к тебе.
Дошел я до Белого моря,
Клюкою изгнания гоним,
До снежного Белого моря
И снежного неба над ним.
Но учит душа благодарно
Язык непонятных чудес,
Но близок в сиянье полярном
Развернутый свиток небес.
Надев самоедские пимы,
В лучах ослепительных лыж,
Изгнанник далекого Рима,
Не ты ли к собратьям спешишь?

Архангельский берег,
17 ноября 1929.

ПИСЬМА Б. М. ЗУБАКИНА А. М. ГОРЬКОМУ.

I

[Вторая половина 1926 года]

Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Невесело думать о том, что Вы так далеко, да и не знаете меня вовсе, а в то же время так близки мне и дороги. Перечитываю снова «Детство» — «В людях» — «Мои университеты», — и опять грустно от мысли, что никогда Вас не видел, никогда не слышал к себе обращенным — Вашего голоса. Как быть? — Решил прислать Вам 3—4 еще не опубликованных стихотворения, и Вы сами знаете, как обрадуете меня, отозвавшись, хотя бы одной строчкой. (В 1913 году С. Городецкий и Б. Верхоустинский¹ — вдвинули меня в несколько журналов, но через 3 месяца я решил уйти из «литературы» — и 10 лет не печатался.) В 1923 г. В <сероссийский> С <оюз> Писателей² и В. Брюсов, разыскавший меня, втянули меня вновь, — и теперь я изредка печатаюсь³ <...> Ну вот простите. Вы наверно знаете, как много Вас здесь читают. То, что Вы написали о Толстом (для меня и для многих), по-новому его вернуло сердцу. Помню, как об этом со слезами говорил мне и несчастный и добрейший Андрей Соболев⁴. Знаете ли Вы подробности смерти Л. Андреева? Если нет — опишу. Преданный Вам —

Борис Зубакин.

PS. Пусть Вас не смущает безвкусица поставленного мною в начале письма — моего штемпеля⁵. Это — на всякий случай: авось мой адресат взглянет на письмо — и заинтересуется, — «что, дескать, ученый архиолух — может мне написать?» — да и прочтет все письмо, не бросая.

Адрес такой: СССР. Москва.

Мерзляковский пер.

д. № 18, кв. 8. Анастасии Иоановне Цветаевой — для Б. М. Зубакина.

II

[Конец 1926 года]

Как обрадовало меня Ваше доброе и внимательное письмо ко мне! Давно у меня не было такой настоящей радости. Но ваш Postscriptum — взволновал меня. Понятно, Вы самый читаемый в России. Вещей Ваших почти не достать (в читальных очередь — они всегда разобраны. И наконец, несмотря на общую бедность, — каждый от профессора до рабфаковца — старается приобрести для себя — Ваши книги). Рабочий — рабфаковец — интеллигент — вот линия, которая охватывает весь круг

* Публикуется впервые.

Ваших читателей в России. Был я только что в «Союзе Писателей» в обширной аудитории «Лите<ратурного> звена» — и спросил самую разношерстную молодежь, обступившую нас после докладов: «Кого сейчас больше всего читаете?» — «Горького!» я хотел бы, чтобы Вы послушали, как это было сказано. (Занятно, и в этот раз обнаружилось своеобразное отношение к «Делу Артамон<овых>» — молодежь — в восторге, интеллигентная «стародежь» — ворчит!) В рабочих театрах неослабно смотрятся «На дне» — и «Мещане». МХАТ — по-новому готовит «На дне». Весь октябрь и ноябрь месяцы с<его> г<ода> — фильма, инсценирующая «Мать», шла во всех переполненных кино — одновременно. Не скажу, чтоб последний факт меня обрадовал, но радостно и знаменательно замечать нити, густо и ощутительно идущие от Вашего имени ко всем этим вольным или невольным Вашим современникам. После Вашего Postscriptum'a мне особенно захотелось рассказать Вам обо всем, что здесь делается в литературе и искусстве (не всегда, конечно, отрадном). Хочется даже вырезать и прислать Вам картинки из маленьких журнальчиков вроде «Новый зритель» — которые по мелкоте своей, может, и не доходят к Вам, но очень характерны. Пожалуйста, не очень смейтесь над тем, что не совсем еще престарелый «профессор» — собирается вырезать картинки для отнюдь не впавшего в «детство» — Максима Горького. Но — по какой-то простой, внутренне-сердечной дорожке я воспринимаю Вас и себя — как-то вне понятий о возрасте и о Вашем положении. Знаю, что вы таинственно-большой и, наверно, *Трудный*, отягченный Миром, Человек, — но в то же время где-то очень близко — и милый, и легкий, и свой, и веселый. И мне легко воспринимать Вас для себя и добрым и легким (вовсе не отмахиваясь от сознания Эдиповой и «Вийной» железной тягости на глазах человека, рискнувшего в упор глядеть на то, что смотрите Вы).

Ну так вот 1^{ое} написать ли Вам, напр<имер>, о бывшем вчера для деятелей искусства закрытом диспуте о современном танце, устроенном Рабисом в «Театре Сатиры»? Это отчасти и современная Москва, устраивающая диспуты об «антисемитизме» — и «браке на новых бытовых началах». 2^{ое} Написать ли Вам легенды, связанные со смертью Валерия Брюсова? Эти легенды в известном смысле — тоже «Москва»? 3^{ье} Театральная же Москва захвачена противоречивыми проблемами, — особенно мейерхольдовским «Ревизором». Рассказать Вам об этом или нет? 4^{ое} Что делают наши поэты? Интересует ли Вас это — или осточертело? 5^{ое} Написать ли Вам все, что я знаю о дорогом мне человеке — Сергее Есенине? Вот, что выберете — о том и напишу, хотя писать, как видите, не очень умею.

Все подробности кончины Л. Андреева я знаю, главным образом, от И. А. Белюсова и Ф. Н. Фальковского. Почти все и Вам известно от Фальковского. Но об одном из моментов этого злосчастного 12 сентября, кажется, Вам не рассказали. По крайней мере, Федор Николаевич на мой вопрос: «Сказали ли Вы об этом Горькому?» — ответил — «нет, позабыл, но, может быть, он (Горький) узнал от Гржебина, которому у кое-кто писал». Вы знаете, что Андреев возненавидел смертью свой старый дом — и со всей семьей перебрался к Фальковскому в Мустамяки. Тут ему предложили ехать с лекциями в Америку, куда он и собрался было вместе с сыном Саввой⁴. Был он все время мрачен и к последнему своему дню особенно грустен и молчалив. И вот как оно было! — перед самым обедом, незадолго до полной агонии, он стал внезапно лихорадочно разыскивать бинокль, схватил его и стремительно взобрался на башенку — искать Кронштадт! — единственную точку русской территории, ненавидимой и любимой, последнюю живую точку прошлого, оставляемого позади! За эти дни его жизни — веселым его вообще-то не видели, но и то все с сожальственным удивлением взглянули, как, согнувшись, посерев, он спустился вниз, ворча сквозь зубы: «Туман, проклятый туман! Ничего, ничего не вижу!» Заметив с неудовольствием общее внимание к своему состоянию, он с каким-то выз[ов]ом — поднял голову и стал как-то необычайно весел. Разговор его был странен: фейерверк анекдотов, сменяющихся один за другим — под громкий смех — повеселевших сотрапезников — потому что и сам рассказчик хохотал до упаду — до слез — чего давно с ним не было. Потом он, вдруг, очень просто и мило встал от стола и начал диктовать жене первую свою лекцию. Но едва продиктовал первую фразу (о большевизме), как сослался на желание прилечь, — и направился в отстоящую через несколько комнат спальню. Через 2—3 минуты он возвращается, открывает дверь — и, став на пороге, говорит: «Аня, мне дурно», — затем круто поворачивается — и, ни слова не отвечая, *упрямо и твердо проходит обратно* — все комнаты, отделяющие его от его спальни (кабинета Фальковского, который тот ему уступил), и тут — грохается прямо на пол, на ковер — и начинает хрипеть, полузакрыв обезумевшие глаза. В таком состоянии он пролежал 5 часов, и еще через 2 часа, стихнув, начал холодеть и оказался мертвым. Так точно умерал и его отец — пока Фальковский рассказывал мне это из соседней комнаты, где одевался к какому-то вечеру, я смотрел на пеструю ткань с разводами, висевшую на стене и покрывавшую постель в те дни, когда лежал

на ней мертвый Андреев — и на портрет его, висящий сейчас на ней. И почему-то, знаете, он мне страшно напомнил лицо Бориса Годунова. — Тоже, если хотите, незадачливого царя *своего* насильственно-умудряемого царства. Очень похожи. И уж совсем похожа мысль, сдвинувшая брови и сжавшая горько рот, — на пушкинское — бессмертное: «Достиг я высшей власти... Но счастья нет моей душе... Мне счастья нет»³. Мне очень жаль его. И, помня, как Вы писали о близости к нему, — я решил написать это. Ответьте, пожалуйста, знали ли Вы про башенку. Конечно, ни в какой внешний символизм я не верю. Но изнутри, — все наши внешние поступки, какие бы они ни были, конечно, значительны и связаны с самой *сердцевинной* человека. Если позволите, я еще пришлю стихов об этом. <...>

Все стихи, которые посылаю и пришлю, — не напечатанные. *Раз-два* в году какое-нибудь стихотворение мое — и попадет в очередной альманах. И, собственно, нигде не печатаюсь. Бегать же и предлагать стихов — не могу. Все внутри перевертывается при мысли о таком пути. Но это пустое — молодежь меня знает, а я — ее. <...>

Всем этим стихам одно оправдание: что вряд ли будут когда напечатаны. Но, если хоть *одно* из них не очень покажется негодным, как был бы рад автор, который ничем иным не умеет выразить Вам своего доверия и любви, как посылая свои неуклюжие вирши. <...>

Преданный Вам Борис Зубакин.

PS. Простите — сил не имею переписать начисто.

III

[Вторая половина 1926 года]

Дорогой и Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Какой Вы добрый и дорогой! Обрадовали Вы меня и посылкою и письмом. Какая блистательная вещь «Голубая жизнь» — да и «Отшельник». Все-все меня порадовало¹. Читал не как книгу известного мне Автора, а как совершенно нового неизвестного мне и поражающего рассказчика. Больше всего меня радует, что Вы — *поэт, прежде всего*. Хорошо о себе это понимал Гоголь (хватило же у него смелости назвать «Мертвые души» — поэмой). О «Деле Артамоновых», густо-волшебной книге, — мне хотелось бы написать особо, — но Вам, конечно, неинтересно мое «мнение». При моей счастливой и веселой нищете мне было бы долго не набрать денег на такую покупку. Мне самому очень хочется Вам что-нибудь послать, что доставило бы Вам удовольствие, вещь, которая мне самому была бы дорога. Оглядываю свою стародревнюю камору — и грустно, что же послать: ведь небось египетских слепков Вы не очень любите? Ваше доброе желание — помочь мне издать стихи — согрело меня очень. Спасибо, спасибо. Но об этом позвольте написать особо. Только что был доклад в доме Союза Писателей проф<ессора> Бродского о Вас на тему: «Челкаш, опыт социологического комментария». Но каково обычное положение критика? Тоже — весьма критическое. Однако, я пошел его слушать. Бродский профессорствовал когда-то со мною в нашем институте², и, по-своему, даровит. И вот, сказав, что обычно у нас «вычитывают» из писателя, а не читают писателя, — он и вычитал в трех изданиях текста — что Вы — Художник — и только — «художник». Конечно, где же увидеть Человека — писателя?! Это вроде К. Чуковского, вручившего мне свою книжицу о Вас, где он вещает о том, что вся Ваша «основа» — в *бессознательном* начале, глясящем от лица Солнца: «Прощается Вам, людишки, земная тварь, все прощается. живите бойко»³. И в голову ему не приходило, что всю-то, наверное, жизнь — Вы хотели — чтобы понял Человек о себе, что он *Сам* может и должен стать *в полноту Солнца*, прощающего и радующего, а не только — оставался бы в «людюшках под солнцем». Думаю, что — увидев в *человеке* «солнце» — только тогда Вы и захотели писать. Вам, наверное, покажется, что я лезу не в свое дело. Но ведь я тоже читатель и думаю над тем, что Вы написали. Мне очень хотелось бы написать Вам о «целостности» человека, потому что давно меня это занимает. Но Вам вряд ли интересны мои мысли об этом. Мне очень хотелось бы написать Вам о странном рассказе про Скрябина, слышанном [мною] от его тетки. Интересно Вам это? И еще о замечательном московском звонаре? О встрече с одной сабокой и о «разговоре» с одним котом? Нет, Вам, наверно, не захочется. Теперь напишу о С. А. Есенине. «Это черт и ангел вместе!» — сказала мне о нем Дункан. «Чертom» я его не знал. Подружились мы крепко только в 1923 году. В «Кафе Пегаса»⁴ с большими витринами окон — просиживал он целые ночи, а я заходил туда, чтобы с ним быть. «Музы» наши различны. И это нас — сближало. В это время его очень травил. Есенин мучился и метался. У него была обольстительная рассеянная улыбка. Но когда он

говорил серьезно, — улыбку сменяла сдвинутость бровей и суровых слов. «Мое место — здесь, в Москве. Ни в деревне, ни в другом каком городе! Если чего-нибудь ждешь настоящего, то только *здесь!* Не у бизнес-же-менов — в Америке!» — и неудержимо рвался прочь — из Москвы. В период травли и обид, чинимых ему, между прочими — и Демьяном Бедным, — я написал Есенину стихи — в ответ на его трогательную надпись. Есенин, снисходительный к стихам своих друзей, носил их при себе и дорожил ими. Без этого, конечно, не было бы смысла мне их Вам выписывать:

Сквозь ресторанное стекло
 Прошел Ты, мальчик наш кудрявый, —
 И все, что днесь слывется славой, —
 Кровавой лавой обожгло!
 За то — записан был в тетрадь
 Обычной «прописи» столичной —
 Такой напев многоязычный, —
 Какой и птицам не поднять!

Но — в «списках — набело» — потом
 Москва Тебя перечеркнула —
 Зане — вослед Тебе — плеснуло
 Берез качнувшихся — крылом —
 И звон моцартнейший свирели
 Покрывл демьянистых — «Сальери».

В Кенигсберге, в отеле «Бельвю» — видел я однажды залетевшую в залу ласточку. Она старалась вылететь обратно — и билась клювом о стекло, пока не упала замертво. Вот такими представляются мне и последние дни Есенина. «Знаешь, друг, тебе ведь много не надо, — говорил он мне, — бросим все это! Поедем на пароходе по Волге. Ты будешь читать обо мне лекции — а я стихи. Хорошо?» Билась головой ласточка о невидимое стекло между ею и жизнью живою — но не улетела. Уехал он сперва — на больничную койку, а потом, за несколько дней до гибели, опять: «Поеду в Питер. Поеду — работать буду». Это был — последний удар о стекло... В «Доме Печати» был на его предсмертном выступлении. Встретил меня каким-то стариком, кашлял. «Видишь, кашляю кровью», — сказал не своим голосом. Потом вышел на ту же эстраду, где при подобных же обстоятельствах читал перед смертью Блок. Начал читать — и запнулся. Неужели забыл стихи? И вдруг все увидели, что он с открытыми глазами — плачет. Все лицо под стеклом — хлынувших обильно слез. «Блока — люблю. Настоящий», — говорил он мне. А Брюсов мне же о Есенине: «Пустяк. На одной струне балалайка». Однако, при всей односторонности — кто же пел так глубоко — и для всех. Так проникновенно и по-своему. Очень хотел — быть «Государственным», — т. е. опереться на организованную жизнь широкого слоя людей. Но известно, что он считал, что ему это не удалось. Читал он стихи как никто из поэтов — глуховатым, волнующим голосом, на широкой волне, подчеркивая и удаивая изредка конечные согласные («все пройде-отъ как белых яблонь дымь»).

«Зачем ты пьешь?» «Чтобы не думать, — отвечает. — Я пью, стараясь допиться до той точки, после которой теряю всякую память и соображение: а до этой точки все помню, ничего не забывая — *ни-че-го!*» Называл себя «Государственной собственностью». Женщинам никогда не льстил. Обращался очень просто и человечно, чем и покорял — при встрече. *Один крупный поэт* (который до сих пор простить себе этого не может), раздраженный его задирами, — *ударил его*. Есенин разорвал свою рубашку и кинулся к нему: «Хочешь меня бить? Ну — на! бей, бей...»⁵ Слава Богу, меня при этом не было. Кормил и поил всех вокруг. На это уходили *все* деньги. Носил при себе не расставаясь карточки своих детей и сестры⁶. Иногда вваливался неожиданно, с ворохом игрушек, в квартиру бывшей своей жены⁷ — и тогда был странен, нежен с детьми — и мучителен. Но чаще всего — было с ним очень сердечно-легко — и сердечно-весело. И все его боготворили, кроме «стиховедов», незнакомых с ним. Шло от него прохладное и высокое веяние гения. Лукавый, человечно-расчетливый, двоедушный — вдруг преображался, и все видели, что ему смешны все расчеты земные — и слова — и «люди», и он сам себе — каким он был только что с ними. Он становился в такие минуты очень прост и величав — и как-то отсутствующ. Улыбался еще рассеянней и нежнее — как-то поверх всего, — *но всем*. Он не был «падшим ангелом», он был просто ангелом — земным.

После его смерти я долго не мог видеть его карточки, бывать на подлых вечерах в его (?) честь. Правление В. С. Поэтов⁸ предложило мне написать в память его стихи. Впервые в жизни было писать так трудно. И все же я был наказан. Стихи эти были до неузнаваемости искажены в печати⁹. Поэтому приведу их полностью:

Когда Твои отзеленели рощи,
Ты сам листом — качнулся золотым,
И как уйти еще честней и проще,—
Чем Ты ушел,— «как с белых яблонь дым»? —

Молчит Поэт,— а люди скажут: «Горд он!»
Смеется Он,— а скажут: «Легок — нрав!»
А Ты — как конь с оборванной кордой —
Был просто — резв, кипуч и нелукав.

С ветрами — ветер, и в колосьях — колос!
Герой — с героями, и с нищими — бедняк,—
В метельных днях сорвал Ты вещий голос,
Как с петель дверь — срывается во мрак.

И вот теперь, когда Тебя нет — с нами —
В стеклянный Колокол вызванивает Ночь
Твоими звонко-грустными стихами,—
О том, как Ты — был детски-звездоч!

Любимейший нежнейшею любовью,
Прости, что мы Тебя не сберегли! —
Мы — над Твоею васильковой кровью
Колосьями под градом — полегли.

Стихов ему своих я почти не читал (как и всем поэтам). Нравилась ему очень моя «Камаринская». Фамилию свою любил производить от «ясень»...

Перед часом смерти — он, по-видимому, предался чувству крайнего недоверия к окружающему и отчаяния, разорвал в клочки карточку сына¹⁰, с которой не расставался (воображая, как говорили, что сын не *его* и что он обманут, жена же боготворила его, и это — полный бред окружавших Есенина клеветников). Он был очень несчастлив — хоть был и баловнем судьбы и людей. Думаю, что характер его несчастья имеет источником — мало ведомое пока, — но подлинное счастье. Помните, как у Данте? — В вышнем мире — поют Высокие Ангелы — Согласный Гимн — а на земле это слышно как грохот, бурю и Хаос. Земной Хаос жизни Есенина был выражением внутренней особо присущей ему музыки и гармонии. Это счастье — есть состояние особо раскрытой и углубленной Человечности, владеют которой немногие счастливицы. Но владея им по временам — они не умеют удержать его в себе и применить к делу, к окружающему. Отсюда — страдание. *Но много счастья — не надо.* И мне радостно было слышать от Вас — Вашу благородную оценку жизни Есенина и его творчества. Вообще стихи Вы понимаете так отзывно, как редчайшие люди, умеющие узнавать присутствие — подземного ключа — в пустыне. «Упав,— я все же не буду Твой!» Мне дорогая строка. Ваше доброе предложение помочь мне издать стихи — я всегда буду благодарно помнить. Дорогой Алексей Максимович, конечно, кроме Вас мне никто не сможет помочь так, как Вы, но, если б Вы только знали, сколько досады с моими стихами! У меня — особо проклятый дар — импровизации. Брюсов впервые заставил меня импровизировать публично — и с тех пор пошло: импровизатор! Я импровизирую легче, чем пишу — трудными рифмами — любыми размерами и ритмами, записав на бумажку — темы¹¹. Меня хотели показывать как аттракцион и ученую обезьяну — но я, разумеется, отказался от всяких «турне». Чуковские и Рогачевские — Львы¹² — стонали о том, что «это не будет записано!», но им в голову не пришло взять для печати уже написанное. Брюсов, правда, потребовал тетрадь моих стихов и собирался печатать — да помер. Да, еще Городец-кий Сергей когда-то направил мою тетрадку в Госиздат, но в печати я ее не увидел. Итак, наградив меня ненужным *им* венком,— мои современники в торжественном склепе «легенды» — и припечатали накрепко: «импровизатор». А мне 32 года, и у меня несколько томов стихов, поэмы, роман в стихах¹³. Да пять пьес в стихах¹⁴. На три из них пишут музыку (оперы), но, вероятно, ее будут играть на моих похоронах. Право, я не столько сержусь, сколько посмеиваюсь. Ходить же по редакциям — предлагать свои стихи — у меня нога не пойдет. А на Вас, который, конечно, мне мог бы помочь — как раз я не смею рассчитывать. Почему? Потому что Вы слишком мало знаете моих стихов. Как я могу рассчитывать на Ваше доверие к моей Музе? Вы знаете, что меня всегда интересовало? Новый ритм, новая форма. Я ввел музыкальный лад построения «напевного стиха» — сначала меня ругали — а потом даже превзошли — на этой дороге. Теперь я работаю над введением «прозаического рефрена» в ямбические стихи. Так вот, поэт я довольно посредственный — но влечет меня реформирование формы¹⁵. И, конечно, я Вам тогдаш разонравлюсь, если ознакомлю с большинством таких именно, а не других своих стихов. И вот я решил

поступить с Вами честно, так, как и подобает. Я пришлю Вам ряд своих стихов еще. Мне будет больно знать, что я Вас разочарую, — но все же я надеюсь, что Вы не скажете, что я воспользовался Вашим незнанием целиком моих стихов — и вольно или невольно обманул Вас. Не думал я, что мне придется когда-нибудь еще запруживать Вас своими стихами. Меня к этому теперь обязывает долг перед Вами и благодарность. Не сердитесь на меня больше, чем заслуживаю...

Б. Зубакин.

IV

Глубокоуважаемый и Дорогой Алексей Максимович!

Чем Вы хвораете? Известите, пожалуйста, лучше ли Вам? Хорошее дело! Вы нездоровы, а пишете еще письма! Впрочем, знаю, что от непомерной доброты Вашей — Вас не вылечить даже длиннейшим моим письмом — и потому пишу опять — и выйдет, кажется, — *длиннейшее*. Вы пишете, что пришлете мне еще свои книги. Мне очень радостно, особенно радостно — иметь Ваши книги из Ваших рук (т. е. предмет, который Вы держали своими руками). Если это можно, надпишите одну из них — в подарок мне и моему сыну Азе Зубакину¹. Он с 4-х лет писал стихи, а теперь от меня далеко (его очень ловко увезли от меня — и с тех пор я воспитываю других детей). Теперь ему 13 лет, и когда-нибудь я ему вручу Вашу книгу. Потом еще просьба из порядка «институтских» (но ведь не все же «институтское» вовсе плохо!) — пришлите, если можно, свою карточку. (Я не хочу, чтоб Вы тратились на посылки, — может быть, у Вас есть тоненькая, которую можно вложить в письмо?) У меня еще есть одна просьба: мне нравилась всегда Ваши стихи, когда они мне встречались. Я почему-то уверен, что Вы пишете стихи и до сих пор. Напишите мне свои стихи. И еще: напишите мне, что у Вас видно из окна Вашей комнаты?

Ваше доброе и внимательное отношение к моим стихам — заставляет меня еще больше (если это только возможно) — гордиться Вами. Я горжусь тем, что настоящий русский человек — и писатель (с большой буквы) — может быть так добр и так внимателен, так отзывчив и заботлив к другому. Но об этом я еще напишу, а теперь хочется рассказать Вам о разном. Вы замечали, конечно, — как собаки становятся похожи на своих хозяев? У меня был пес Гарсон — тоже с удивительно горбатым носом. Меня забавляет, когда собак превозносят над людьми. Но и собакам в высокой степени присуще общее всей Природе (и человеку) — добродетель, сознательная жертвенность и доброта. Есть в Природе и стыдливость, и деликатность, не только смелость, которой, слава Богу, тоже немало! Но ведь — и жуткое есть в собаках иногда. Об этом немало рассказов. Случай, который я хочу рассказать, — совершенно неинтересный и даже жалкий и пустой. Но — мне хочется его рассказать.

Во время голода, в 1920 году, я был на отделении Археологического Института в Смоленске. Со мной в комнате жил серьезный человек в очках — Иван Фролович — мой студент и мой «опекун». Мы, конечно, голодали не меньше других. Но Иван Фролович умел добывать лишний хлеб (целые караваны). А я — на правах старшего и «философа» — конечно, этот хлеб рассовывал куда можно (увы, нет ничего легче как раздавать то, что легко досталось). Но вот однажды Иван Фролович взорвался и заявил мне — что ему, между прочим, надоело по моей милости голодать вместе со мной — и что — вот эту, последнюю, оставшуюся у нас с ним (он указал рябым пальцем на последнюю оставшуюся краюху хлеба) я не смел бы отдавать никому. Я потоптался на месте, ничего не придумав в ответ, — и пошел на вечерний доклад. Были прения. Кончилось поздно. Выхожу — мороз, — звезды с блюдечко величинной, — на улицах ни души. Помню, что я очень отчетливо понял, что я одинок на всем свете, и в каждый дом вокруг — я посылаю заочный привет и самые лучшие пожелания. В это время у моих ног появилась собака. Честное слово, это была особая собака, она смотрела на меня (шерсть у нее с одного бока свалилась, как у буйвола, а другой бок — был голый — и ребра выступали, как стальные стержни на порченном «Ремингтоне»), так вот, она смотрела на меня совершенно человеческими глазами — и я буквально понимал все, что она говорила ими — приблизительно так: «Дорогой Борис Михайлович, — (несомненно, ее мысль была вежлива, без амикшонства, но чрезвычайно интимна), — я тоже одинока, но кто же, как не я — Вам под пару. Кто же должен и понять меня, как не Вы один. Я абсолютно голодна... но я больше не прибавлю ни слова. И я совершенно доверяюсь тем выводам, какие Вы сами из этого сделаете... Между прочим, у Вас в шкафу, кажется, имеется отлично пахнущий кусок хлеба. Я ничего не говорю. Я даже не намекаю. Я — просто лежу у Ваших ног. Видите, — я ползу за Вами и больше не отойду от Вас ни на шаг». «Совершенно верно, — отвечаю я, — у меня есть дома кусок хлеба. Пойдемте!» И вдруг я отчетливо

вспоминаю ту, неприятную сцену, которую мне устроил Иван Фролович,— и мое молчаливое обещание — хлеба не отдавать.

Мне стало очень жаль Ивана Фроловича. Я, кстати, вспомнил, что он — не любит собак... И вот тут-то в голову мне пришла мысль, которая никогда прежде не приходила: «Что ж, всех собак — все равно не накормить». Собака как-то выпрямилась и «сказала» глазами: «Итак, я доверяюсь — и жду справедливости». И вдруг — что-то лопнуло во мне,— я поднял руку — и закричал невидимому врагу-шептуну: врешь, врешь,— *именно потому* — что всех собак никогда не накормить (т. е. *нужда* в корме так роковым образом *сильна*, что выросла до того, что ее всю не покроешь даже), именно потому-то — и надо накормить всякую, какую можно — эту — и эту. «Пойдем,— говорю я ей (уже на «ты»).— Пусть завтра ругается Фролович!» Смотрю, а собаки-то нет! Улица пуста. Убегала. С тех пор — я никогда не забываю этой собаки.

Не очень смейтесь надо мной, потому что я не умею рассказать. Видите, как выходит глупо и неинтересно. Случай же о *Коте* такой, что, когда я сейчас подумал, как его описать подробнее,— я даже побоялся это сделать. Поверьте, что не из самолюбия, а из самых живых чувств к Вам, я бы не хотел, чтобы Вы очень плохо обо мне подумали из-за этого случая. Мне было бы жаль, если бы что-нибудь во мне Вас сильно от меня оттолкнуло. Это потому, что я Вам — вроде родственника (не по таланту или личному объему — а по *моему* чувству живой близости к Вам). И мне было бы больно, если бы *Вы* теперь меня *лишились*. Потому что Вас меня никто не лишит. Так вот. Но все-таки, я не хочу — пользоваться Вашей симпатией, замалчивая о себе правду. Вот как. И даже рискуя Вас «потерять», я буду ее говорить. Уф!

Но все-таки оговорюсь. Я хочу это Вам рассказать, чтоб сказать Вам: *Коты* — *тоже* — *все* понимают! Во всей Природе я нашел полную сознательность, общий язык существ, общую правду, муку, цель — и согласованность ввиду этой невыразимой пока Цели!

Предварю: Вы слышали, конечно, как передает мысленно (без слов) свои сложные мысленные указания *В. Дуров* — своим животным? Это — неспроста. Вот какой был случай. Думайте о нем, что хотите. Возвращался я в позапрошлом году, тоже ночью, по двору. Был я перед этим в неважной компании. Люди говорили всякие гадости друг о друге. А я — все же с ними сидел, и потому, да и вообще, чувствовал себя справедливо негодяем. На меня залаяла собака. «Вот,— подумал я,— до чего, Борис, докатился! Даже собака чувствует, что в тебе мрак,— и лает на тебя». Конечно, мне было очень обидно,— я не помнил случая, чтоб собаки стали на меня лаять как на врага. Подымаюсь по черной лестнице, освещенной электричеством, и навстречу — незнакомый Кот. Несомненно голодный, потертый, мрачный,— недовольный. Я отчетливо понял, что он недоволен всем Миром в целом — настолько, что даже уже и не жалуется, что ему даже и говорить-то не хочется об этом. И вот я встал перед ним на ступеньках, чтоб ему было слышнее,— на колени и, помню, горячо (откуда взялось!) заговорил, что ему не надо отчаиваться, что я его понимаю, что я так же заброшен и один — но что это — пустяки! Что нужно перетерпеть! Что в Мире есть Правда для всех зверей и людей, что ради этой Правды, которая есть — (пусть мы ее не видим!),— почетно и благостно жить — и знать, что Она есть — и будет. И что Она с нами рядом,— тут! И ею мы все оправданы.

И вот тут произошло чудо: Кот — встал (навис как-то) на задние лапы, вытянулся струной — к моему лицу, прижав передние лапы к груди — и застыл, меня слушая. Как он на меня смотрел! Я знал, что он не понимал, конечно, моих слов, формы моих слов. Но я видел, что всем своим существом он чувствовал, что я обращаюсь к нему с чем-то ему необходимым, касающимся самого насущного его жизненного интереса. А я,— кажется, даже плакал — от восторга, что он меня слышит,— и говорил ему долго,— а он все стоял *на весу*. И вот я кончил. Встал. Кот прижался к моим сапогам — и я понял, что обрел верного Друга. Пошел по ступеням — и Кот со мной. И тут я тоже буквально слышал, как он мне всем своим существом говорил (на «ты»): «Я очень голоден. Тебе нечем меня накормить — но ведь ты мой приятель, а я знаю, что у тебя в комнате приволье — мышам. Они бегают у тебя по столу, по книгам. Они залезают в алебастровый домик, стоящий на подоконнике,— и немало тебя беспокоят». Он был прав. Но ведь и мышам — я тоже друг. И вдруг я понял, как трудно быть Хозяином Мира: Мышь хочет жить, а Кот невинен в том, что хочет мышей. Пахарь просит дождя, а моряк — попутного ветра и ясной погоды. Я все-таки должен был порвать с Котом — и не впустил его в дверь, хлопнув пред самым носом. Я не могу вмешиваться в судьбы котов и мышей. Но я знаю, что это не выход. Вот какой был случай.

А о Скрыбине вот что мне рассказала его «няня», заведующая его квартирой, ныне музеем². У меня скандально не хватило гривенника за вход — и мы с нею разговорились. У каждого своя «Ирина Родионовна» (как Бабушка у Вас). Вот и у

Скрябина своя — его старая тетя. Очень похожа на Вечную Парку — обжившуюся в квартире и оставшуюся там навсегда. Тихий-тихий рассказ — шепот: «Стал с Аполлоном Аполлоновичем Грушка³ писать контракт на эту квартиру: больше как на год — не подпишу! Нет. Нет!.. Только на год. Больше чем год — никак здесь не проживу... Ровно день в день — через год и умер⁴... В детстве приходил из консерватории огорченный до слез Аренским⁵ — не мог с ним заниматься. Сын Аренского — Павел Антонович — тоже недавно сюда приходил. Вот здесь в кабинете и писал. Мебель из-за границы вывезена». Широкий книжный шкаф. Книг немного. Поставлены отчетливо. Два тома «Магии», «Вестник теософии»⁶. «Читал, интересовался, но к этому не прилежал». — «Перед концертом всегда заедет к бабушке, чтобы перекрестила»... В комнате оставаться один не любил. Сажал няню-тетю подле. Сидела, стучала спицами Парка (вечный ее чулок). «Ночью пишет. А потом — плачет. А вот здесь, в спальне, и умер...» В ноги повесил картину, чтоб проснуться и видеть. На картине — рыцарь передает Св<ятой> Деве Розу. В день Смерти, к которому он, как и все вокруг, был уже подготовлен и предупрежден, никто ему о Смерти не говорил. И он не говорил. Был светел. Но все шли прощаться. Из одной двери шли — в другую проходили. Шли целый день. Предпоследним был у него Вячеслав Иванов⁸. Благословил, поцеловал над одеялом свисшую руку, поцеловал в лоб — и ушел. Последней пришла няня. «Что же так долго не приходила?» — спросил... В передней висит какая-то загогулина вроде колеса, или деревянного крыла с разноцветными, под радугой, лампочками⁹. Это — для Прометея. Сам заказал — и пробовал. Играл — и зажигали свет. Небось не лучше этих смешных загогулин были и неопытные, самодельные крылья Икара. И так же, не долетев и сгорев, оставили по себе вечно-звучущую память, от которой сосет под ложечкой и больно становится глазам. За порогом его квартиры¹⁰ Москва, словно на парче вышитая, в снегу. И перед подъездом — старая церковь. Струю русскую парчу он тоже любил и сам нашел на одеяло для кровати, на которой его убаюкала вечная нянька. Да.

А Павел Антонович Аренский рассказал мне как-то в Минске о внезапной встрече. где-то на вокзале в Париже — больного Аренского со Скрябиным, уже знаменитым. Окружающих Аренского пугливо передернуло. Скрябин, однако, оказал нежность и внимательность, был детски-трогательно заботлив: «Ну как, ну как Вы? Как Ваше здоровье? Дай Вам Бог...»

Я рад, что Вы цените звонарей. Я рад, что Вы заинтересовались и моим звонарем. Но не буду писать об этом сегодня, — да и пока Вы не подтвердите желания о нем слышать: боюсь, что Вам надоедят мои рассказы. Дурень я, дурень, вызвался сказать об «Артамоновых»! Не очень-то легко! Я читал — и следил рассказ по летящим передо мной страницам — как каскад водопада по уступам, любуюсь переливами — и следя за смелой лодкой повествования. «Вот это — замечательно!» — сказал я себе самому, прочитав, напр<имер>, — описание свадьбы. Вот как удалось! — по-новому передать вечно русский узел встреч бытовых корней — Свадьбу. Потом — смотрю: смена поколений дана без «ругон-маккаровских» длиннот (врасстяжку) — а концентрировано — одновременно. «Это здорово!» — сказал я (иногда я, по-видимому, очень вульгарен наедине). Но когда я понял, как объявлен Тихон Вялов¹¹, как он целиком неизвестен до последней страницы книги, а потом ретроспективно вырастает во весь рост, как живой Рок, Демон Совести и Человек! Вот тут я и сказал: *Вошество*. А в примечаниях — думаю — хорошо как показаны женщины. Прелесть — и распад — женского существа (Наталья). Видишь толстобрюхость, тупость — но помнишь, — что была несомненная прелесть на этом, или под этим — человеческим тестом. И «кутеж» Петра. И таинственно-живой мрамор Паулы Менотти. И озорство. И путь России изнутри — и через. Может, критики и «изобретут» что плохое — на то они и критики. А я, слава Богу, не критик. Спасибо Вам еще раз.

Ольгу Дмитриевну Форш видел как-то на сумбурном «Никитинском Субботнике», где —

И академик и герой —
И мореплаватель и плотник
Весьма паскудную ордой
На свой стекаются субботник¹².

Она мне почему-то сказала что-то ласковое после моей речи. Я понял, что она добра. Алексей Максимович! Даю Вам обещание — не уходить целиком в «форму». Но прошу Вас, будьте снисходительны к обилию посылаемых стихов. И если найдете что доброе, не посетуйте на трудность поисков. А мне очень хочется, чтоб Вам еще что-нибудь понравилось. Только вряд ли? А вдруг я еще напишу что-нибудь хорошее. Впрочем, правы, что я мало верю. Как трудно быть поэтом. Преданный Вам

Борис Зубакин. <...>

V

[Начало февраля 1927 г.]

Дорогой и Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

А у Вас нет рисунка или фотографии Вашей комнаты? Жаль, если нет. Вы умеете рисовать? Наверное, умеете. Вы были так внимательны, что спросили о моих научных трудах. Моя наука — мое больное место. Рассказать об этом — потребуется целая биография. Вот несколько слов об этом. С 5 до 17 моих лет меня воспитывало четверо ученых — я им всем обязан (1-ый мой воспитатель ученик астронома Глазенапа¹ — Протасевич, 2-ой крестный отец мой историк Борзаковский², 3-ий великий археолог Болсуновский³ и 4-ый естествоиспытатель А. фон Кордиг; трое последних великодушно считали меня своим преемником). «История Тверского княжества» В. С. Борзаковского послужила вообще образцом изучения удельного периода Рус. истории. Благодарный ученик Борзаковского академ. Платонов⁴. Я старался посылно разрабатывать идеи К. В. Болсуновского (хотя бы о герметическом культе на юге России, о едином интернационале доисторической культуры народов, о значении нумизматического материала для истории религии, о фиктивном значении для культуры переселений народов и о преувеличении объема этого события⁵) — ныне большинство этих идей, начатки коих высказаны Болсуновским 20 лет назад, а мной в 1909—10 гг. (т. е. 17 лет назад), торжествуют повсюду. [N.В. Вот недавно англ<ийский> египтолог Фл. Петри нашел в Египте орудия позднего европейского палеолита — и утверждает связь Египта с Кавказом! А установленное сходство названий, символов и культов у азиатских семитов и полинезийцев! А работы хотя бы Девина (1924, Paris) — все это подтверждение идей, высказанных Болсуновским, — через столько лет!] С 14-летнего возраста я уже читал свои доклады, а в 30 лет уже отошел — от «всего». Александр Каспарович фон Кордиг, благодаря скромности своей, мало известен. Он привез, между прочим, и ввел в оборот корень женьшень. За женьшень он имел какую-то хвалебную грамоту от министерства, над которой очень смеялся⁶. Воспитатели мои старались систематизировать и разнообразить мое чтение (интересовался я только историей и философией, проблемами средневековых ученых о единстве элементов и отчасти филологией); против моих мыслей они *не борались*; на склад их не влияли, но требовали строгой отчетливости и обоснований. Когда я выругал какую-то географическую книгу — Протасевич принес стопу бумаги и сказал: «Потрудись написать лучшую». Мне было 13 лет. Я упрямо сел писать сводку и выводы исторических обследований Полинезии. От души желаю каждому иметь таких учителей.

С детства я пожелал быть профессором истории, чтобы передавать свое восхищение от жизни человеческой самому живому и активному в жизни — молодежи. Затем в последнем классе гимназии (в 1911/12 году) произошел поворот в моих решениях (в «тактике»): решил удержаться от профессуры, замкнуться в деревне и работать над собой и над своей философской работой. Я отрекся от литературы и искусства (стихи мои уже становились отчасти известными в литер<атурных> кругах — и я был выбран членом рел<игиозно>-филос<офского> общества⁷) — и замкнулся на 4 года в старом дедовском загородном доме-усадебке с высокой деревянной башней (первой моей обсерваторией). Протасевича уже не было. Усадьбу унаследовал я от деда, но меня разорила — опека. В 1915 году под влиянием «философических» соображений — ушел добровольно на фронт с омерзением к войне, с чувством обязанности не остаться чистеньким — при всеобщей грязи — уверенный в бесполезности и проигрыше войны, который предсказывал к всеобщему неудовольствию, — и пр. Многие, причислившие меня заблаговременно «к лицу святых отец», — отшатнулись. Туда и дорога. На фронт я увез целую библиотеку и почетный диплом закрытого Institut'a Art. Liberalium⁸ за мои труды по истории тайных обществ и учений «об именах Божьих в кабалистических сектах». Был мне 21 год. До октября 1918 года при всех пертурбациях — я писал и работал над книгой «Опыт философии религии как антиципации культуры» (пишут «антиципация», но это философически глупо; несомненно религиозное творчество предвосхищает отдаленные цели культуры и потому совпадает с творчеством художественным). Да, с 16 по 18 гг. наездами читал лекции в Питере (одну публичную в 15 г.) у себя на дому и у профессора Л. Карсавина⁹ (в квартире при филологическом институте). Судьба моя горькая! Читая лекции профессорам, а самому оставаться «в дворниках» при науке.

В 1919/20 г., шутки ради, сдал экзамены при Моск. Археол. Институте, получил ученые степени за две работы (из них одна вышеупомянутая) и получил предложение занять кафедру. Что и сделал под давлением, с одной стороны, профессуры, с другой, детских воспоминаний — о желании когда-то «быть профессором». Читал курс в Москве и на Смоленском и Витебском отделениях. Прочел ряд публичных цикловых

лекций в Москве и других городах по вопросам литературы и искусства. Но основным моим курсом был: сравнительная история первобытных культов. Меня преувеличенно любили студенты, ненавидело большинство профессуры (но несколько упорных старых и молодых профессоров, и особенно маститый ректор¹⁰, — усиленно отстаивали). Ректор сулил поездку в Италию (у нас в Риме было отделение), а впоследствии обещано мне и самостоятельное проректорство и открытие нового отделения в Египте. И вот, вдруг, после всего этого...

Однажды, сидя на телеге, я читал афоризмы Вовенарга¹¹ (протеже Вольтера), и когда дошел до слов: «Сильного человека может сломить только болезнь или случайность» — точно холодный палец — холодок какого-то предчувствия упал мне на лоб. — И действительно, меня затравили вскоре как собаку, — безжалостно и тупо — пустив легенду, что я предатель своего ректора и еще черт знает что. Вот она — случайность. А я — не слабый. Ну, об этом потом.

Так вот. Археолог я плохой. Ученый, в традиционном смысле этого слова, сомнительный. У меня только проклятый дар — предвидеть выводы, к которым придут в науке. Мои мысли и оценки литературные и научные через пять-шесть лет — по известному высказыванию мною — становились триумфами — потом! Хотя мне всегда приятно находить подтверждение своей мысли у умов более мощных и опытных. Короче говоря, и я могу сказать вместе с Александром Ивановичем Хлестаковым, что «„Юрий Милославский“ тоже мною написан»¹². Практически — невеликая в этом честь. Помню, как в 1909—10 гг. я говорил, что прозаики вернуться к Лескову, поэты по-новому дооценят Ломоносова и Державина и труды Тредиаковского; теперь это уже банально! Интерес мой к напевной поэзии, мой прозаический рефрен — 1913 год — а эту «америку» — открывают ныне «конструктивисты» с необычайным громом через 15 лет. Тогда же я клялся, что наука пересмотрит вопрос о единстве химических элементов, и вот в 24 году Матэ — нашел золото — из ртути; о вещественности *мысленной* вибрации мозга (я ставил первые опыты в 1910—11 году) — см. утверждения ныне Лазарева и пр.; в 1910 же году говорил о *влиянии солнечных пятен* (которые я наблюдал с Протасевичем) — об этом теперь целая литература — на *историю человеческих движений*, говорил — и писал о единстве религиозных культов — и о единой линии развертывания — Христологических мифов у народов. Это теперь азбука почти и пр. и пр. Ну что ж, значит, не ошибся — и слава Богу. Читал я три года свой курс: в первом ряду профессора и их жены, — дальше студенты и вольнослушатели. Хоть разорвись! Приходили слушать как тенора: гнусно. А я должен был «стараться», чтобы поддержать интерес к институту — и усилить наплыв студенчества. «Благодарность» — за это выше (и ниже) будет изложена. Первый том моей капитальной работы хотел издать гржебинский представитель в Москве. Но издательство лопнуло. Там же застряла (правда, оплаченная) — и большая моя статья о философах-иррационалистах (в связи с трудами Дм. Шепеленки, мыслителя гениального, известного немногим, подыхающего в Москве от нужды бескрайней).

С 1923 года — по закрытию института — я по-прежнему числюсь в КУБУ¹³ — и меня благополучно переводят через все чистки (ибо многие из оценщиков-экспертов слушали раньше мои доклады). Кафедры нигде не возьму и хочу забыть, что я был «ученым». Много слишком горького с этим связано. Я уже забыл начисто греческий язык, и шведский, которым занимался; разучился французскому и почти не говорю по-немецки, бросил занятия итальянским, детскую астрономию — тоже забыл навсегда. Баста. Впрочем, в 24 году меня сманил ректор «Художественных» курсов¹⁴ (куда пригласили А. Белого, Рукавишников и Шенгели¹⁵) — читать историю искусства. Я читал почти с омерзением. Не хочу, не хочу и не хочу. Не присылать же Вам черновики моих рукописей и курсов? Целый ящик. Прекрасный материал для растопки! За эти четыре года (с 1923) двум друзьям (один мужественно изучил для сего даже стенографию) — ежедневно диктовал свою работу «О вневременном восприятии действительности» и «побочно» — 1) «О символизме поэтического языка», 2) «О мифологизме философского языка», а также 3) «Об иррациональном методе познания», 4) «К истории греко-христианского ритуала», 5) «О декабристе А. Бестужева», 6) «О свастике в палеолите», 7) «Искусство как познание». Накопилось три объемистых тома. Я не желаю этого печатать. Это мой интимный дар — друзьям. Путь прояснения моих мыслей. Я написал несколько работ и для печати, но... (книгу о Блоке, небольшое «открытие» — по Пушкину, о Дон-Жуане — работ 10). Но бегать — по редакциям! Нет, я не очень ленился, пожалуй. Но я не хочу быть ни ученым, ни критиком литературным, но я желаю быть (как писал 14 лет) —

пылинкой,

Одной счастливницей из тех,
Чья жизнь проходит невидимкой, —
Кому — весь Мир, и кто — для всех.

Есть такие пылинки, танцующие в солнечном луче.

К сожалению, нужда заставила меня застрять в Москве и выйти на наиболее для меня легкий, но все же мучительный путь «литератора». Я написал несколько пьес. Пишу сейчас и кончу в этом году еще 3. Вл. Пяст писал обо мне дружески-преувеличенно:

Даром (дарованьем) ты — *от Лопе*, ликом — *от Шекспира*,
Нутриною Данте (??) — трудолюбьем Брюсов.
И твоя — под громы *вражеских турусов*
Ангельские плясы — источает лира.

Но, действительно, я пишу так много, как Лопе де Вега, но, к сожалению, не лучше (а даже и... хуже). Да, я же забыл сказать, что — я упрям: буду, пока не слохну, не числиться «литератором». Но что же я пришлю из научных трудов? Ничего не пришлю, увы, как бы ни хотел. А печатные статьи в 2—3 журналах или газетах до того искромсаны ножницами, что верного в них только подписи: «проф<ессор> Зубакин».

Но зато я видел много великого, веселого и нежного. Спасибо жизни за все. Видел сон: задыхаюсь, умираю. За мной гонится Человек-Смерть. Забежал в какой-то боковой тупичок: Человек-Смерть промахнул мимо! Но знаю, что по круговому лабиринту коридора он вернется на то же место и — настигнет меня. Вдруг передо мной Мать моего ребенка (существо гениальное и саркастическое) держит в руках — Альбом со снимками, и тоже знает о бегущей сюда по лабиринту за мной смерти, — с ядовитой усмешкой разворачивает передо мной Альбом. Я стою в углу на коленях и смотрю на знакомые и страшные порой, страницы Альбома: неудачи, обманы лучших друзей, разочарование в близких людях: там наклеены фотографии моей жизни — дом в Озерках, Кенигсберг, Финляндия, садик Кордига, я — в каком-то мундире... Я жадно смотрю на эти листы. «Ну что?» — издевательски спрашивает Женщина — и ее черные птичьи пальцы, как вихрь, листают страницы... Уже слышен топот — Приближающегося — а я не могу уже оторваться от листов и бормочу как оглашенный: «Спасибо за это, и за это, и за это»... и уже вся жизнь сосредоточена только на том, чтобы поспеть, поспеть, поспеть — крикнуть благодарно и мужественно: «Спасибо» — и за самую последнюю страницу, что бы на ней ни было! Сердце бьется, как черт, — вот-вот — шаги... и просыпаюсь.

Спасибо и за сны!

Взволнованный воспоминаниями о Болсуновском — прервал письмо и отправился на лекцию Петра Козлова¹⁶. Открыватель города Хара-Хого — вдруг стал повествовать о найденных им в гробницах «двух-с-половиной-тысячелетназадней» давности, открытых в глубине Монголии¹⁷, греческих предметах — и влияниях на искусство. Я бросился в лекторскую. «Петр Кузьмич, скажите откровенно, почему среди китайских вещей — греческие?» «Потому, — отвечает, — что было несомненное общение и единство культуры». «Да знаете ли Вы, что мой учитель Болсуновский утверждал об этом 20 лет назад?» Разговорились. Козлов, заинтересовавшись, записал имя Болсуновского и мое — и стал звать меня в Ленинград — смотреть его коллекции. Святой старик и не подозревал, что не только в Ленинград — но и к нему-то на лекцию приехать было мне — весьма затруднительно. Ну, все равно, все равно.

А в каком я круге? Ни в каком. Почти нигде не бываю. Целая с этим связана история. О начале ее я говорил уже выше. В конце 1922 года моего ректора, проф. Успенского, — арестовали в связи с его старой дружбой с п<атриархом> Тихоном. Через месяц, как ближайшего друга ректора, — арестовали и меня. Вдобавок в архиве моего ректора нашли, нашли официально для археоло<огического> же музея переданные ему мною старые бумаги, которые я хотел было передать в Румянцевский музей, но раздумал. В бумагах были сведения о том, что я несколько лет назад кончил закрытую мистическую — филос<офскую> школу (мне это ничего не стоило, а бумаги, по трогательности воспоминаний, я берег). Месяца два выяснений, и меня, конечно, освободили. Московские же хлыстоплясцы — теософствующие и антропософствующие бездельники, с которыми незадолго до ареста я наотрез отказался и разговаривать-то, — весьма оскорбленные моей «надменностью», подняли бучу! «Как, Зубакин — ученик таинственного «женишеньца» Кордига — по аресте — освобожден! О — значит, он кому-то проданся (кому надо). Он и ректора своего предал (того освободили еще, кажется, раньше меня); он — «черный маг», как и его дружок — Брюсов». И пошло!

Московская интеллигенция мало отличается от московских кликуш. Бабы-присвири, имеющие под мочалистой бородашкой — университетские значки на рыхлом животе, — объявили меня под шумок, за спиной — предателем, провокатором (!), «жидо-масоном» (!) — и воплощением Сатаны. И это в XX веке!!! Я запретил моим друзьям защищать меня. И те приходили ко мне, рассказывали — ну и ну! — «слухи»!.. Поэт Евг. Штарк¹⁸ трогательно писал обо мне (еще в 1926 году):

Волны города — молва,
 Пена — песни!
 Суесловием Москва
 Плещет,
 Обесславит не за страх —
 А — задаром:
 «Кто кудесник, кто монах,
 Что за чары?»
 Чары, чарки, говорок,
 Разговор: «Повеса!
 Не пускайте, на порог! —
 Тайны, бесы»...

Отряхни прах от ног!
 Удальсь!
 Малой музы — платок —
 Знамя, — ввысь!!!
 Тщетны копыя и мечи
 Злоязычья!!! —
 Барабана окрик зычный:
 «Палачи!
 Прочь с дороги бессмертных,
 Смерды!»

Но, понятно, «интеллигентская чернь» — этого оклика не слышала.

Есенин, увидав меня, — подбежал (тогда мне еще незнакомый) и с криком: «С таким лицом подлецов — не бывает» — обнял меня и стал целовать. В моем альбоме хранится до сих пор меланхолично-горькая — мне надпись (копирую):

Тебе на память за все
 Неприятное, что говорят
 О тебе и обо мне.

С любовью С. Есенин.

Милый, дорогой Есенин... Один из виднейших ученых, с европейским именем, принесший мне в дом свои книги со своими надписями, — истово уверял, напр<имер>, окружающих: «Зубакин — непосредственное воплощение Люцифера (sic). От него исходит непонятная людям, но мне *теперь* понятно: чем привлекательная черная сила! Моя теща — лютеранка, а и то, когда Зубакин после своих дьявольских стихотворных импровизаций — вышел в прихожую, она почувствовала вокруг него — запах серы (!)». Вы думаете: я шучу! Если бы это были шутки.

Самый дар импровизации — был объявлен моим «пактом» с Дьяволом (à la Паганини, что ли).

Еще недавно быв<ший> профессор нашего института, с которым я 13 лет не виделся (он был на провинциальном, далеком отделении), — небезызвестный, вероятно, и Вам поэт Б. Садовской — писал мне: «Вы уж такой родились — и отсюда у Вас столько врагов... Теперь я понимаю, что то, что мне, олуху, в Вас казалось «генеральской подкладкой» (моя «надменность»), — есть особенность человека, перешагнувшего наши здешние грани... Вам уже не до „мелочей“...»

Хорошо сказать «мелочей». Мелочи бывают разные. Полчище комаров — может загнать и здоровую лошадь. Когда Вячеслав приехал в Москву в 24 году, первое, что сделали в Академии — на его лекции о Пушкине (что ли), — это сообщить ему, чтобы он меня остерегался, ибо мы будто с Брюсовым учредили — в соответствующем учреждении — «застенок для ловли „идеалистов-мистиков“!» Вячеслав с трогательной горечью передавал мне об этом, — сидя и вздыхая, кажется, на том же самом кресле, на котором я Вам пишу письмо. Нашлись молодцы, которые уверяли, что узнали меня в компрометирующем месте, — хотя я и был, по их словам, под маской!!! Ух... Когда однажды Елена поджидала меня на подъезде дома, в который я зашел, — к ней подкатился какой-то комильфотный молодой человек и сказал: «М-те, я Вас только что видел с Зубакиным. Это страшный человек — и ужасный предатель. Остерегайтесь его!» — «А Вы-то его знаете, лично?» — спросила Елена. «Что Вы! Нет, я только слышал о нем!» — «А я его — знаю: я Елена Зубакина». Молодой человек кинулся прочь со всех четырех ног...

Итак, вокруг меня создан фатальный круг, — фатами и глупцами. За меня вызывали на дуэль... Устраивали потасовки. Ибо у кого враги, у того и друзья. Но так как влиятельная прослойка кликушествоющих идиотов имеется во всех литературных и научных учреждениях, музеях, институтах и прочее, — мне было просто некуда податься. Мог ли я где служить *спокойно* в музее, — при подобном букете — атмосферы вокруг?! Я устал. О нет — не нравственно, но нервно и физически. Я омерзён моими «современничками», — храни их Бог, а меня от них! Конечно, из-за всего этого я пострадал окончательно и материально. «Но какая же выгода Зубакину быть тем, за кого Вы его считаете, — спросил однажды один мой непрошенный защитник, — ведь он бедствует. Все знают, что он нищ, как церк<овная> мышь». Ответ был оморочен: «Понятно, он не получает доходов за свою черную деятельность. Да, он, конечно, работает „принципиально“ — как фанатик тайного „служения Злу“... Ну вот это — «о круге», в котором я сижу. Ну — что же. Спасибо и «за круг». Все-таки это более глупо, чем печально. И, наконец, ведь бранят не меня, а того, кого вообразили на моем месте. Бог с ними, с моими современничками, — черт бы побрал

их глупость. Я перестал почти где бы то ни было бывать. Изредка на лекциях или в случайном кабачке, — вроде «Мансарды», преемствовавшей «Бродячую собаку» Питера¹⁹. Мой «круг» — это те, кто изредка — бывает у меня: Шенгели, П. Романов, Пильняк, Пастернак, А. Цветаева, Рукавишников Ив. — два-три ученых (акад<емик>-геолог Павлов²⁰ — или проф<ессор> Озеров²¹).

Так Вы не хотите больше, чтоб я Вам о звонаре написал! Да, а есть ли у Вас любимая собака или кошка возле Вас? Нет ли ее фотографии? У меня две кошки — но я их не очень люблю. Они все-таки коварны и насмешливы. А собаки держат нельзя по квартирным условиям. *Есть ли у Вас одна особая любимая песня?* Музыкальная пьеса? Я люблю орган, арфу, колокола. Гармоника и балалайка меня радуют в деревенских руках, — и даже шарманка. А Вы? А Вы? Среди уличных певцов у меня есть друзья. Ваш татарский поэт — был чистый человек... но страстный. Впрочем, чистота без страсти — кретинизм. Ах, вот вспомнил, в связи с тем, что сегодня Вам рассказывал — три анекдота: 1-ый. В купе вагона — сидят † Тартаков. 3. Лодий(?) — балерина Преображенская — и виртуоз Барэр. Уже ночь — а они все требуют, чтоб я импровизировал (конечно, впервые, в новинку, это всех удивляет — потом — обвыкают). Вдруг Барэр (он где-то теперь гастролирует в Америке) схватывает меня за руки — и неистово вопит в страшном волнении: «Зубакин, — скажите, ведь никто *так* не может, как Вы?!» «Никто, — возглашает авторитетно Тартаков. — Он — единственный». «Но если так, если так... — восклицает Барэр, — так, значит, Вы, Зубакин, — Гений?! Я никогда не видел Гения. Скажите, Зубакин, мне правду: Гений, или нет?!» — «Что Вы, голубчик, конечно нет», — отвечаю я. «Нет, Вы скажите правду». — «Честное слово, я не гений», — успокаиваю его я. «Ну, если так, — говорит Барэр, — тогда я спокоен». И смахнув рукой со лба капли выступившего пота, вышел из купе. Остальные два, — нет, я их расскажу, только если Вы захотите слушать в таком роде!

Я никогда не писал писем. Раз-два в году писал, бывало, три дня подряд «послание» — к друзьям — и оно шло крутом. Даже самый обожаемый мною человек — мой † отец, бывало, доходил до отчаяния, что я ему не пишу. Не мог я писать писем, не хотелось. А вот Вам стал писать на 32-ом году жизни. И потом вот теперь, узнав о болезни Садовского, стал посылать ему маленькие писульки. Есть несколько моих стихов, переведенных на немецкий язык. Мне хотелось бы послать Гауптману (за то, что его ругал, когда говорил о преувеличенности в свое время у нас отношения к нему, к Ростану и Метерлинку); да и Гамсуну (за его любовь к Виктории). А больше писать не стал бы! Булгакова я раз видел — на чтении. Мне понравился его голос и даже монокль. Говорят, что он даровит. Я всегда готов этому верить и желать этого для человека. Пришвинской книги не читал («сердит» на него, что он — побоялся, такой я дурак). Что я читаю? Пишу об этом под условием, что напишете и Вы, *что Вы читаете*. Я считаю, что книги делятся на 2 группы: на маленькую, которую читаешь *всю* жизнь, — и на большую, которую прочитываешь на ходу — по мере выхода этих книг в свет.

Я читаю постоянно и люблю: Гомера, Гоголя, былины о Святогоре и Ваське Буслаеве, Слово о полку Игореве, Калевалу, Эдду, «Круглый стол» (*Вед* — не люблю), 2—3 египетских гимна (в одной надписи, кажется, — египетской «правительницы Софы» — царевны Гатшупшитсу — говорится: «О, Возлюбленный мой, как *благо-родно* мне, когда *роса твоя* проникает в мое тело на нашем ложе»), Послания Ап<остолов> Иакова и Петра (отношусь без экстаза к Евангелию Иоанна); люблю Давида и апокалипсический язык пророчеств, сказки люблю, — почитаю, жалею, с отвращением восхищаюсь, но не одобряю писаний Достоевского, чу — Толстого, люблю Лескова. Читаю «Невидимую Брань» старца Святогора, Державина, Пушкина, — Вас. Читаю все, что попадется по истор<ии> искусству и археологии, и особенно описания людей исторических (без степени их ранга), т. е. мемуары. — Это — малый круг книг — постоянных. А потом — в большом, — почитываю все остальное, как и все, особенно по естеств<енным> наукам, и даже по уважаемой, но не очень любимой — математике. Из стихов уважаю Вяч. Иванова и Гёте. Одно стихотворение Гейне — самое любимое (*А Ваше* какое, чье?), и пушкинское — «Для берегов отчизны дальней...». Часто вспоминаю слова — «А вы на земле проживете...». Вы ошибаетесь, думая, что не написали еще «хорошее стихотворение». Только, пожалуйста, и впредь «хотите написать». Напишите и мне маленькое, маленькое, хоть шуточное в 4 строчки, а я Вам хоть большое (если захотите только). Как и кем сделана<-лась> запись бабушкиного сказания — об отшельнике и пришедшем его убивать хладнодушном царском воине? (Изумительно!)

У Вас очень хорошие вещи видны в окно. Я рад, что Вас любят соседи. Как Вы замечательно сказали о крестьянине и Пипенеле! Теперь они стали тоже моими соседями. Да, так вот — я рассказал Вам — многое из «биографии» — и рад, что отдался. Жизнь мою рассказывать нельзя — невероятна она для человеческого слуха, — а потому бесполезна для рассказа. Вы — ободряете меня насчет прозы. Да, — но кто же будет печатать? Я давно задумал — лелею одну книгу: «Человеческое в

сверхчеловека». Страницу (по одному на каждого) — из замечательного в людях, которых я видел. Первый «том» — о «известных», а второй — о «неизвестных» (о, радость, для меня!). Но, оказывается по «Дневнику», — Вы это уже сделали — великолепно (и я — опять остаюсь при «своем» «Юрии Милославском»)! Да и кто напечатает?

Раз Вы похвалили, я бы написал 1—2 и о тех, кого *не* видел сам, напр<имер>, о Скрябине, — (включил бы из странички черновика (уцелевшей) письма к Вам). Да нет, — пустое. А все же, я видел настоящих людей — и это на всю жизнь сделало меня неколебимым. Однажды я стоял рано утром у старого Невельского костела²². Стена белела от солнца и тень от Креста — у входа — как крыло. Стоял и думал: какая гармония тишины и правды. Как жаль, что не слышно органа — и службы нет. И вдруг — взыграл орган. Я был ошеломлен. Между ветвями, вскинутыми в синие бездонности между двумя колокольными башенками, между тенью-крылом и мной; позади меня, шевеля мои волосы и меховой воротник бекеша, — рокотала, росла — и сама на себя умилилась — высокая гортанная музыка труб и голосов. Я совершенно растерялся, ничего не понимаю, и только оглянувшись, — понял: был базарный день. Я задумался так крепко, что не заметил, как на пустую до того площад, примыкающую к решетке — костела — (еще Баторием строенного), — понаехали возы и сгрудилась толпа. И, вдруг, когда я захотел музыки — сразу в мои уши дошла и грянула многоголосица и единство их говора и движений. Так вот он, орган! И понял я тогда, что никогда не устану славить Человека — и радоваться ему — вовек. Вы обрадовали меня, сказав, что я понял Тихона Вялова. Вот за что я Вас еще люблю — Вам удалось сделать то, о чем я всегда мечтал: показать ценность жизни не какого-нибудь «ГЕРОЯ» (что очень тоже ценно); не декоративную фигуру, — а ценность — *серого* обычного «человека» — и, вдобавок, показать — «человека» не в смысле — «гоголевской шинели» (это — частность) — и не достоевского «геройчика» (это — историческая прихоть) — а показать ценность вовсе обычного и, примерно, — ЛЮБОГО — КАЖДОГО! Когда говорят: вот, дескать, через десять — тыщу — лет все станут прогрессивно культурными, образованными, талантливыми, — я тогда — сержусь, — чувш! вздор! — не зависит Человек от количества образования — нечего откладывать и ждть — с его оценкой. Уже сейчас — и прежде — была и есть — велика — и ценна человеческая личность! Ценна она в неповторимости своей и велика она — иррациональной, таинственной сущностью — особой своей природы! — Разве Гинденбург — умнее Александра Македонского? Аристотель — ниже Гумбольдта? Царевна Гатшупицше хуже — царевны Софьи Алексеевны?! Но, конечно, все новое, все грядущее — НАМ, ЧЕЛОВЕКАМ, на потребу! Но НЕ МЫ — ему (этому новому, грядущему; иначе прогресс-то получается — лишь прогрессивного паралича).

Не ретроградство и не жажду «новенького» чту я. А чту я — «жажду Преображения» — друг через друга, каковую жажду в любом участке Бытия, во всех точках истории — являет нам Единство Человека и Природы!

Еще раз спасибо за слово о Ломоносове. XVIII века поэты — (сии пророки — гражданские) — Ломоносов и Державин — и иже с ними — пытались впервые и неповторимо создать поэтический язык мышления для русской *литературной* речи. Это не удалось — но попытка благородна! Пушкин был по языку велик, — но все же во многом — вбок! (прозаизмы). Вячеслав и отчасти Брюсов — вслепую шли за державинско-ломоносовскою бороздою. Маяковский косолапо и криво — пытался нарочитыми прозаизмами — работать тоже над созданием специфизма поэтического языка, — да был незадачливее прочих. Есенин — для той же цели — стилизовался «à la Russe» в высоком смысле этого слова, — ища народно-песенных корней — древлерусского поэтического языка — и это немало! Уверен, что года через 2—3 это уже будут утверждать и все поэты. Ну а моя работа? — Да так, сбоку припека, — *но над тем же*. — А Вы-то как работаете над языком, — Милостивый Государь мой — Звездный Друг и Путешественник по Вселенной! Вы думаете — я этого не вижу? — Очень вижу. У меня собственно — ума нет, а только — глаз... Да, я люблю — «благодарно» женщин. Но поняли Вы это только потому, что *сами так* любите. Это я сразу догадался... Удивляться самому на себя не научился, — как это хорошо Вы все знаете! Мне не обидно, что Вы все знаете лучше меня: я радуюсь Вам, Алексей Максимович Пешков — Горький и радостный Звездный Друг, Путешественник по Вселенной!.. Любить таинственное человеческое в самом себе. Да! Да! Да! — вот ключ религии, философии, искусства. «Таинственное» — иррациональное — таков обязательно (а не иной, по своей природе) — имеющийся в основе Существования — «НЕГАТИВ БЫТИЯ». Но мы-то *должны* «проявить» этот «негатив» — отпечатками разумно сочетаемых слов, и художественных форм и форм социально-этических! Горе «мистикам» (в кавычках) — глядящим *только* на негатив, где белое — черно! Горе и принимающим «верную фотографию» разума за *единственную* правду о Природе. Нет! Она — Двойственная: 1) Жизнь — и 2) Смерть, 1) негатив и 2) — отпечаток, 1) свет-проявитель, сознания и [одно слово зачеркнуто] 2) предметность мира — позирующая перед объективом человеческого «аппарата»! Слава — художникам! Честь — научным фотографам! Презрение «кинематографистам» — фальсификаторам жизни! На

колени — перед деятелями Истории. Вот оно как, и никак не меньше! — леди и джентльмены!

Самым важным считаю — «талант жить», — талантливо жить. (Остальные «таланты» — как при переломе ноги — торчащая кость, — случайное, одностороннее выпирание из человека — этой основной талантливости.) Талантливо живут некоторые мужики, бабы, бродяги, святые, мошенники и пророки. Оттого Христос и любил простых и грешников. Наверное, оттого. Оттого я повторяю часто Ваше — «а вы на земле проживете»²³, — оттого особенно и Вы мне понятны и дороги, мой Звездный Друг, Путешественник по Вселенной!

О звонаре не писать? Если будете посылать портрет с человеком, пришлите, пожалуйста, и свой карандаш «обгрызенный» или не обгрызенный (если не грызете), но тот, которым что-нибудь писали. Какая досада! Соседи — обратили внимание на приходящий конверт от Вас (в мое отсутствие). «Это — что, — спрашивают, — от Горького?» Я мычу невразумительно и прохожу. Дернуло же и Вас быть — «Горьким». Мне было бы приятно работать в свое время с *Вами* в булочной — или на плотях! Ах, Господи, до чего мы мало благодарны. Вы — мой большой подарок! Простите за длинно-глупое письмо. Вы, конечно, невольно, — вызвали меня на это. И как говорил арендатор Быков («Бык») — «обратно извиняюсь». Я уж не настолько олух, чтоб не понимать, что неприлично утруждать Вас такими хартиями! (Поэтому и прошу Вас читать их как ряд писем — постепенно.) Но когда-нибудь я объясню Вам печально-комичную причину моего запикивания в один пишущий от натуги конверт — стольких листов зараз. Спасибо за Вашу доброту.

Ваш Борис Зубакин.

PS. Если я чего не путаю, — то мой «секретарь» — и друг — Анастасия Иоановна (дочь известного ученого И. В. Цветаева) играла в детстве в Ялте с маленькой Катей. И знала Максика — и много милого и забавного о нем. А. И. знает, что я с Вами переписываюсь, но писем моих к Вам не знает — и немножко досадует. Мои друзья все ревнивы. А Вы, пожалуйста, ответьте, хоть на половину моих вопросов. Здоровье? Сердитесь, что я так много пишу? Ну, конечно, да.

ПРИМЕЧАНИЯ

В Архиве А. М. Горького хранится 27 писем Б. М. Зубакина (КГ-П 29, 6). Для настоящей публикации отобраны пять писем, содержащих ценные сведения о биографии ученого и поэта и небезыңтересные рассказы о современниках. Письма печатаются впервые по автографу; отточиями в тексте обозначены приложенные к письмам стихотворения, не связанные с эпистолярным повествованием.

I

¹ Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт, прозаик. Верхоустинский Борис Алексеевич (1888—1919) — писатель и поэт.

² Объединение писателей, существовавшее наряду с Союзом крестьянских писателей и Ассоциацией пролетарских писателей. Объединяло преимущественно тех, кого в 20-е годы именovali попутчиками.

³ Стихи Зубакина публиковались: «Стык». Первый сборник стихов поэтов. М. 1925; сборник «Новые стихи». Всероссийский союз поэтов. М. 1926; сборник «Памяти Есенина». М. 1926; «Литературный особняк». М. 1929. Свыше ста сорока стихотворений осталось не опубликовано.

⁴ Соболев Андрей (наст. имя Юлий) Михайлович (1888—1926) — автор рассказов и воспоминаний о царской каторге. На одном из заседаний «Никитинских субботников» дал положительную оценку стихам Зубакина («Протокол от 3 марта 1923 г.». Отдел рукописей Государственного литературного музея, ф. 357, оп. 1, л. 108).

⁵ В углу письма штамп: «Борис Михайлович Зубакин. Профессор Московского археологического Ин-та».

II

¹ Белоусов Иван Антонович (1863—1930) — поэт, переводчик, руководитель Суриковского литературно-музыкального кружка. Фальковский Федор Николаевич (1874—1942) — драматург, один из владельцев Нового драматического театра в Петербурге, сосед Л. Андреева по даче в Финляндии. Орывок воспоминаний о смерти Л. Андреева см.: «Прожектор», 1923, № 16, стр. 27—30; «Литературное наследство», М. 1965, т. 72, стр. 594—597.

² Андреев Савва Леонидович (1909—1970) — сын Л. Андреева от второго брака.

³ Цитата из монолога Бориса Годунова (А. С. Пушкин, «Борис Годунов»).

III

¹ Рассказы М. Горького, переданные Е. П. Пешковой Зубакину по просьбе писателя (см.: «Архив Горького. Письма к Е. П. Пешковой». М. 1966, стр. 262).

² Археологический институт в Москве, созданный в 1907 году с двумя отделениями — археологическим и архивным. В числе слушателей института были лица с высшим образованием, получавшие после его окончания звание ученых археологов или архивариусов. Ректором института был Ф. И. Успенский. В институте читали лекции В. А. Городцов, С. И. Соболевский, Б. М. Зубакин и Николай Леонтьевич Бродский. Московский археологический институт был ликвидирован в 1922 году вместе с другими однотипными учреждениями.

³ Чуковский К. Две души М. Горького. Пг. 1924.

⁴ Кафе «Стойло Пегаса» на Тверской, 37. Оно принадлежало Б. К. Пронину, знаменитому владельцу «Бродячей собаки» в Петербурге. Пронин упомянут в примечании к стихотворению Б. Зубакина «Мансарда» («Медведь на бульваре». М. 1929).

⁵ Имеется в виду Борис Леонидович Пастернак. В воспоминаниях «Люди и положения» Пастернак пишет: «То, обливаясь слезами, мы клялись в верности, то завязывали драки до крови, и нас разнимали и растаскивали посторонние». В дальнейших письмах Горькому Пастернак неоднократно назван по имени, а из переписки Пастернака с Горьким встает достаточно сложная история отношений Зубакина с Пастернаком.

⁶ У С. Есенина было от трех жен трое сыновей — Юрий, Константин, Александр — и дочь Татьяна. Сестра — Александра Александровна Есенина.

⁷ Зинаида Николаевна Райх, вышедшей замуж за В. Э. Мейерхольда.

⁸ Всероссийский союз поэтов — литературное объединение, существовавшее в 1918—1929 годах. Его председатели: В. В. Каменский, В. Я. Брюсов, Г. А. Шенгели. Союзом были выпущены альманахи: «СОПО. Первый сборник стихов» (1921), «Союз поэтов. Второй сборник стихов» (1922), «Новые стихи» (1926), «Новые стихи» (1927), «Памяти Есенина» (1926), антология «Поэты наших дней» (1924).

⁹ Имеется в виду стихотворение «Камаринская», опубликованное в «Крестьянском журнале» (1927, № 2), и стихотворение «Есенину», опубликованное в сборнике «Памяти Есенина» (1926).

¹⁰ Константина, сына от З. Н. Райх. А. В. Мариенгоф (видимо, Б. М. Зубакин имеет в виду его под окружавшими Есенина клеветниками) вспоминает, что имя мальчику С. Есенин дал по телефону, но при встрече с З. Н. Райх на вокзале в Ростове сказал о младенце: «Фу... Черный... Есенины черные не бывают» («Роман без вранья». — В кн.: «Мой век, мои друзья и подруги». М. 1990, стр. 366—367).

¹¹ В. Брюсов от имени Союза поэтов, председателем которого являлся, устраивал в 1923—1924 годах публичные импровизации. Судя по воспоминаниям Вадима Шершеневича, поэты, участвовавшие в этих импровизациях, чувствовали себя жертвами (см.: Шершеневич Вадим, «Великолепный очевидец». — В кн.: «Мой век, мои друзья и подруги», стр. 632—634). Негативную оценку импровизаций «гения-импровизатора» Б. Зубакина см.: Белый А. Начало века. М. 1990, стр. 240. Обстоятельное восторженное описание импровизаций Зубакина наряду с образцами некоторых стихов см.: Цветаева А. И., «К переписке А. М. Горького и Б. М. Зубакина». — Личный архив Ильинских, стр. 39—42.

¹² Псевдоним Рогачевского Василия Львовича (1873—1930) — политического деятеля и литературоведа, автора критических статей о М. Горьком и В. В. Вересаеве.

¹³ Имеется в виду не законченный и не сохранившийся роман «Илларию» на сюжет гражданских войн в России — пересказ сюжета этого произведения см. в письме Горькому (КГ-П 29,6,13).

¹⁴ Имеются в виду не найденные драмы в стихах Б. Зубакина «Прометей», «Мерлин», «Пигмалион», «Белая лошадь» (башкирская легенда).

¹⁵ О вкладе Б. Зубакина в жанр «напевного стиха» см.: Пяст В. Современное стиховедение. Ритмика. М. 1931, стр. 313.

IV

¹ Сын Зубакина от первого брака.

² Скрыбина Любовь Александровна (1852—1941) — сестра отца А. Н. Скрыбина, хранительница его музея.

³ Грушкó Аполлон Аполлонович (1870—1929) — филолог, профессор Московского университета, член-корреспондент Академии наук, владелец дома в Николо-Песковском переулке, в котором Скрыбин снимал квартиру.

⁴ На самом деле через три года.

⁵ Аренский Антон Степанович (1861—1906) — композитор, дирижер, профессор Московской консерватории.

⁶ Религиозно-философский журнал, выходил в Петербурге в 1908—1916 годах; редакторы-издатели — А. А. Каменская и Ц. Л. Гельмбольдт.

⁷ Е. И. Скрыбина, бабушка по отцовской линии. На семейной фотографии 1876 года трехлетний Скрыбин прижимается к бабушке. Тут же лед композитора, его отец, дяди и тети Л. А. Скрыбина.

⁸ Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, философ. Зубакин поддерживал отношения с В. Ивановым начиная с 1913 года, когда обратился к нему с просьбой объяснить темные места Библии (см.: «Автобиография». Отдел рукописей Государственного литературного музея, ф. 349, оп. 1, д. 418).

⁹ Модель светоцветового аппарата, сконструированного по проекту инженера А. Э. Мозера.

¹⁰ Последняя квартира А. Н. Скрыбина, где он жил с октября 1912 по 27 апреля 1915 года, находится в Николо-Песковском переулке (ул. Вахтангова, 11, ныне Дом-музей А. Н. Скрыбина).

¹¹ Герой романа Горького «Дело Артамоновых», опубликованного в 1926 году. Горький так оценивает высказывания Зубакина об этом персонаже: «Тихона Вялова вы первый поняли правильно».

¹² Переложение стихотворения А. С. Пушкина «Стансы».

V

¹ Глазенап Сергей Павлович (1848—1937) — выдающийся русский астроном.

² Борзакровский Владимир Сергеевич (около 1840—1915). Ниже Зубакин упоминает его работу «История Тверского княжества» в «Записках Тверского общества любителей древности» (отд. изд., СПб. 1878).

³ Болсуновский Карл Васильевич. Ниже Зубакин имеет в виду следующие его труды: «Символ «змия» в Трипольской культуре» (Киев, 1905), «Жертвенник Гермеса-Световида» (Киев, 1909), «Памятник славянской мифологии» (Киев, 1914).

⁴ Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — выдающийся русский историк, академик с 1920 года, председатель Археографической комиссии (1918—1929), Комиссии по изданию сочинений А. С. Пушкина (с 1928), директор Пушкинского Дома (1925—1929) и библиотеки Академии наук (1925—1928). Главный труд Платонова — «Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.» (СПб. 1899). После организованной против Платонова кампании был арестован и выслан в Самару, где и скончался.

⁵ Речь идет о теории миграций, сторонники которой преувеличивали историческую роль переселений народов. Будучи широко распространена уже во второй половине XIX века, она испытала новый подъем в 30-е годы в Германии под влиянием идеологии и практики национал-социализма.

⁶ Кордиг Александр Каспарович (?—1915) — специалист по лекарственным растениям, служащий известной в Петербурге аптекарской фирмы «Штоль и Шмидт», которая субсидировала его экспедицию на Дальний Восток за женьшенем. 30 июня 1907 года он основал в Петербурге ложу розенкрейцеров, которую впоследствии возглавил Б. М. Зубакин. 30 июня было праздником, отмечавшимся членами ложи вплоть до ее ликвидации.

⁷ Видимо, Зубакин имеет в виду масонскую ложу в Петербурге, членом, а затем гран-маэтром которой он стал. Скорее всего он был вовлечен в эту ложу своим крестным отцом В. С. Борзаковским.

⁸ Институт свободных искусств — так Б. М. Зубакин называет оконченную им школу в Финляндии. Диплом этой школы, обнаруженный работниками ГПУ в канцелярии Московского археологического института, стал основанием для первого ареста Б. М. Зубакина в 1922 году.

⁹ Карсавин Лев Платонович (1882—1952) — профессор Петербургского университета (до высылки на Запад в 1922 году), медиевист, философ.

¹⁰ Успенский Федор Иванович (1845—1928) — академик с 1900 года, директор основанного им в Константинополе Русского археологического института, член многих научных обществ. Успенский поддерживал дружеские отношения с Зубакиным до своей кончины.

¹¹ Вовенарг Люк де Клапье (1717—1747) — французский писатель, друг Мирабо и Вольтера, автор книги «Максимы» (1746); русский перевод: «Афоризмы». СПб. 1900.

¹² Реплика Ивана Александровича (а не Александра Ивановича, как у Зубакина) Хлестакова в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (действие третье, явление VI).

¹³ Комиссия по улучшению быта ученых, образованная в 1917 году для оказания материальной и медицинской помощи работникам умственного труда.

¹⁴ Видимо, имеется в виду Высший литературно-художественный институт, ректором которого после смерти В. Брюсова стал В. П. Полонский. В 1925 году ВЛХИ был переведен в Ленинград, где волился в филологический факультет университета.

¹⁵ Рукавишников Иван Сергеевич (1877—1930) — писатель и поэт, один из самых близких друзей Б. Зубакина, постоянно бывавший в его доме. Шенгели Георгий Аркадьевич (1894—1956) — поэт, переводчик, теоретик стиха, в 1925—1927 годах председатель Всероссийского союза поэтов. «Шенгелевские строки» упомянуты в поэме Зубакина «Бетховен».

¹⁶ Козлов Петр Кузьмич (1863—1935) — исследователь Центральной Азии, руководитель Монголо-сычуаньской экспедиции, в ходе которой был открыт «мертвый город» Хара-Хото.

¹⁷ Речь идет о курганном погребении гуннской знати, открытом П. К. Козловым в 1923—1926 годах во время его последней монголо-тибетской экспедиции. Эти гробницы датировались рубежом новой эры. Говоря о двух-с-половиной-тысячелетней давности, Б. Зубакин ошибался.

¹⁸ Штарк-Михайлов Евгений Михайлович. В протоколе допроса Б. М. Зубакина от 8 декабря 1937 года он фигурирует среди лиц, «отошедших от организации».

¹⁹ «Мансарда» — литературно-художественное кафе, открытое в Москве Б. К. Прониным, вдохновителем и директором петербургской «Бродячей собаки». Находилось на Тверской улице.

²⁰ Павлов Алексей Петрович (1854—1929) — академик, специалист в области гидрогеологии, профессор МГУ.

²¹ Видимо, Озеров Иван Христофорович (1869—1942) — экономист, профессор финансового права МГУ.

²² В Невель Зубакин приезжал для встречи с друзьями, участниками философского кружка.

²³ Из «валашской сказки» М. Горького «О маленькой фее и молодом чабане» (1895): «А вы на Земле проживете, как черви слепые живут: ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют!»

ОТКЛЮКИ И КОММЕНТАРИИ

БЫЛ ЛИ СОЦИАЛИЗМ ОШИБКОЙ?

Манифест профессора Ф. А. Хайека

Журнал «Новый мир» (1991, № 7, 8) уже знакомил своих читателей с классической работой знаменитого австро-американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Фридриха Августа фон Хайека «Дорога к рабству». Поэтому нам особенно интересно отметить выход на русском языке последней по времени работы профессора Ф. А. Хайека — «Пагубная самонадеянность» (1988)¹. В предисловии к книге ее американский редактор, профессор Гуверовского института Стэнфордского университета У. У. Бартли, III, отмечая живость тона, свежесть аргументации энергичность автора и «практический подход к целому ряду проблем», высказывает предположение, что читателям было бы, вероятно, интересно узнать, что предшествовало появлению книги на свет. Он рассказывает, что в 1978 году в возрасте почти восьмидесяти лет Хайек, посвятивший жизнь борьбе с социализмом во всех его проявлениях, задумал провести широкую дискуссию (предположительно в Париже), в ходе которой ведущие теоретики социализма, встретившись лицом к лицу с ведущими мыслителями — сторонниками рыночного порядка, ответили бы на вопрос: «Был ли социализм ошибкой?» «Сторонники рыночного порядка, — пишет У. У. Бартли, III, — представили бы доказательства того, что социализм был — причем изначально — глубоко ошибочен с научной, фактической и даже логической точек зрения и что его повторяющиеся провалы <...>, в нашем веке ставшие очевидными, явились, в общем-то, прямым результатом его научной несостоятельности. От мысли о проведении широкой публичной дискуссии пришлось отказаться по практическим соображениям. Например, кого выбрать из сторонников социализма? Согласятся ли сами социалисты с теми кандидатурами, что должны будут их представлять? И даже если произойдет невероятное — можем ли мы ожидать, что они признают действительными итоги такого рода обсуждения?..» Коллегам Хайека было трудно совсем отказаться от этой идеи, и они просили его написать что-то вроде манифеста с изложением основных доводов в пользу свободного рынка. То, что было задумано как краткий манифест, выросло в крупную работу из трех частей, позднее сокращенную до размеров настоящей книги. Как считает У. У. Бартли, III, ее вполне можно считать таким (пространным) манифестом.

Основные идеи этого манифеста тезисно изложены самим Хайеком во вступлении к книге. Он считает, что

«...возникновение нашей цивилизации и сохранение ее в дальнейшем зависят от феномена, который можно точнее всего определить как «расширенный порядок человеческого сотрудничества» — порядок, чаще именуемый, хотя и не вполне удачно, капитализмом. Для понимания нашей цивилизации необходимо уяснить, что этот расширенный порядок сложился не в результате воплощения сознательного замысла или намерения человека, а спонтанно: он возник из непреднамеренного следования определенным традиционным и, главным образом, *моральным* практикам (*practices*). Ко многим из них люди испытывают неприязнь, осознать их важность они обычно не в состоянии, доказать их ценность неспособны. Тем не менее эти обычаи довольно быстро распространились благодаря действию эволюционного отбора, обеспечивающего, как оказалось, опережающий рост численности и богатства именно тех групп, что следовали им. Неохотное, вынужденное, даже болезненное принятие таких практик удерживало подобные группы вместе, облегчало им доступ ко всякого рода ценной информации и позволяло «плодиться и размножаться, и наполнять землю, и обладать ею» (Бытие, 1:28). Данный процесс остается, по-видимому, наименее понятой и оцененной гранью человеческой эволюции.

Социалисты смотрят на это иначе. Не только выводы их отличны — сами факты видятся ими по-иному. И то, что социалисты неверно судят о *фактах*, имеет решающее значение для моей аргументации <...>. Если бы социалистиче-

¹ Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. Перевод с английского Елены Осиповой, под редакцией Елены Гордеевой. Научное редактирование Ростислава Капелюшников. М. Издательство «Новости», при участии издательства «Catallaxy». 1992. 303 стр. (Откуда, кстати, взялась мнимая дата смерти ученого на последней странице обложки — 1988? Ф. А. Хайек скончался на девятую второму году жизни в марте этого года, когда настоящая заметка была в наборе.)

ское толкование существующего экономического порядка и возможных альтернатив ему было правильным в фактическом отношении, мы были бы обязаны — я готов признать это — подчинить распределение доходов определенным моральным принципам. Чтобы сделать такое распределение возможным, нам пришлось бы также наделить какой-либо орган центральной власти правом управлять использованием имеющихся ресурсов, что предполагало бы уничтожение индивидуальной собственности на средства производства. Если бы в утверждении, что централизованное управление средствами производства может способствовать созданию коллективного продукта, по меньшей мере столь же обильного, как мы производим сейчас, содержался хотя бы гран истины, нам действительно пришлось бы решать серьезную проблему: как осуществить распределение по справедливости? Однако подобная проблема перед нами не возникает. Кроме распределения продуктов с помощью рыночной конкуренции мы не знаем никакого иного способа информировать индивидов о том, куда каждый из них должен направить свои усилия, чтобы его вклад в создание совокупного продукта оказался максимальным.

Суть моих рассуждений, таким образом, состоит в следующем. Конфликт между сторонниками (с одной стороны) спонтанного и расширенного человеческого порядка, создаваемого рыночной конкуренцией, и теми (с другой стороны), кто выступает за сознательную организацию человеческих взаимоотношений центральной властью, опирающейся на коллективное распоряжение имеющимися ресурсами, вытекает из фактической ошибки последних в понимании того, как возникают и используются знания об этих ресурсах. Поскольку данный конфликт касается фактического вопроса, он должен быть разрешен с помощью научного анализа. Научный же анализ показывает, что, следуя спонтанно складывающимся нравственным традициям, лежащим в основе конкурентного рыночного порядка (а эти традиции не удовлетворяют канонам и нормам рационализма, принятым у большинства социалистов), мы производим и накапливаем больше знаний и богатства, чем возможно добыть и использовать в централизованно управляемой экономике, приверженцы коей претендуют на строгое следование «разуму». Таким образом, цели социализма фактически недостижимы, и программы его невыполнимы; к тому же оказывается, что в действительности они несостоятельны еще и логически. <...>

Требования социализма не выводятся как моральный итог из традиций, сформировавших расширенный порядок, который в свою очередь сделал возможным существование цивилизации. Скорее они являются попыткой разделиться с этими традициями, заменив их рационально сконструированной системой морали, притягательность которой кроется в том, что обещаемые результаты отвечают инстинктивным влечениям человека».

В манифесте профессора Ф. А. Хайека трактуются не исключительно политико-экономические темы — много места уделено проблемам морали, информации. Необходимо отметить главу 7 «Наш отравленный язык»; весьма важна также для понимания идей Хайека и глава 10 «Религия и блюстители традиций», в которой автор, именующий себя агностиком, предлагает некоторые соображения, касающиеся связи между предметом исследования и религией. В частности, он высказывает мысль, что хотя на протяжении последних двух тысячелетий многие учителя веры выступали против собственности и семьи, но выжили и сохранились только религии, которые поддерживали семью и собственность.

И особенно надо отметить, что «Пагубная самонадеянность» открывает первый том американского академического собрания сочинений Ф. А. Хайека. Издательство Чикагского университета (при содействии Гуверовского института и множества других организаций и исследователей) впервые предпринимает попытку ознакомить публику практически со всем, что написал Хайек.

У. У. Баргли, III рассказывает об этом так:

«Собрание открывается двумя заметно перекликающимися книгами о пределах разума и границах планирования в общественных науках. Это «Пагубная самонадеянность» (новое исследование) и «Использование разума и злоупотребление им: контрреволюция науки» (работа, никогда прежде в Великобритании не публиковавшаяся). Далее идут два сборника статей исторического и биографического характера («Тенденции развития экономической мысли: от Бэкона до Кэннона» и «Австрийская школа и судьбы либерализма»). Статьи, содержащиеся в этих двух томах, никогда не включались в сборники хайековских работ; более половины из них были опубликованы только на немецком языке. Из статей третьего тома, имеющих важное значение, примерно четверть никогда ранее не издавалась.

В следующих за ними четырех томах собраны основные работы Хайека, раскрывающие его вклад в экономическую науку: «Нации и золото», «Деньги и нации», «Экономические исследования», «Денежная теория и колебания промышленного производства».

За ними идут три тома документов, исторических свидетельств и материалов дискуссий: «Сражение с Кейнсом и Кембриджем», «Сражение с социализмом», а также замечательная, охватывающая более полувеска «Переписка между Карлом Поппером и Ф. А. Хайеком», в которой эти близкие друзья и единомышленники заинтересованно обсуждают основные философские и методологические проблемы, а также многие существеннейшие вопросы нашего времени.

За этими документальными томами следуют два новых сборника статей Хайека, а также том, содержащий его интервью и неофициальные беседы по различным как теоретическим, так и практическим вопросам, — том, названный «Беседы с Хайеком» и предназначенный для того, чтобы сделать хайековские идеи доступными для более широкого круга читателей.

Эти первые четырнадцать томов будут составлены по большей части на основе материалов обширного Архива Хайека в Гуверовском институте войны, революции и мира Стэнфордского университета, а также примыкающих к нему Архивов Махлупа и Поппера. Будут также использованы богатые архивные источники, рассеянные по всему миру. Так как первый том собрания сочинений — «Пагубная самонадеянность» — представляет собой только что вышедшую из-под пера Хайека новую книгу, он, само собою, не перегружен комментариями. Тексты последующих томов будут публиковаться в исправленном, пересмотренном и аннотированном виде, с предисловиями выдающихся ученых — это поможет поместить произведения Хайека в соответствующий исторический и теоретический контекст.

Собрание завершат восемь классических трудов Хайека — включая книги «Дорога к рабству», «Индивидуализм и экономический порядок», «Основной закон свободы», а также «Право, законодательство и свобода» <...>. Предполагается, что публикация всей серии займет 10—12 лет.

Впечатляющие планы американских исследователей навевают мечты, что и в России найдутся переводчики и издатели, которые сделают необходимые шаги, чтобы как можно шире познакомить наших читателей с трудами этого, пожалуй, самого знаменитого представителя экономического либерализма XX века.

А. В.

КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗАБЫТОЙ ПИЩЕ

Двое уже успевших очаровать нашу прессу авторов написали очередную, на мой взгляд, очень талантливую, интересную, умную и остроумную, ну просто превосходную, чего уж там, книжку¹.

Во-первых, хорошо придумано. Как и что едят в эмиграции. Значит, вообще об эмиграции. Но — через еду. И о еде вообще. О русской кухне. То есть про нечто прямо-таки реликтовое. Но вместе с тем — с практическим некоторым уклоном, с советами и пожеланиями. С оценками. С вождением. Со слюнками, которые так и текут. Мне не терпится перейти к цитированию, и из него все станет ясно. Вайль и Генис сами не любят тратить слова попусту, умеют написать живо, точно и красиво. (Пусть это будет -- во-вторых.) Итак, начнем. Тираж у книжки маленький, достать ее невозможно (мне, к счастью, подарили). Поэтому я не буду сокращать цитаты.

Глава 19, к примеру:

«Понятно, что Россию считают отсталой, дикой страной. Понятно, что ее не любят и боятся. Но скажите, ради Бога, при чем тут русская кухня? Мао-Цзэдун — тоже не Иисус Христос, но разве страдает репутация китайской кулинарии из-за культурной революции? Разве мир отвернулся от сосисок и баварского пива из-за преступлений третьего рейха? За годы эмиграции мы пришли к выводу: Запад катастрофически невежествен в вопросах русской кухни. Причем невежество это, как и любое другое, упрямо и агрессивно».

Здесь поясню тем, кто еще не слышал: Петр Вайль и Александр Генис жили-были себе в родимом городе Риге, но в 1977-м уехали и стали жить в Штатах. И там писать, выступать, сочинять и издаваться. Это к слову. И пойдём дальше:

«Но лучше они бы не знали вовсе о существовании русских блюд, чем извращать наше национальное достояние таким чудовищным образом, как это принято по дешёную сторону железного занавеса... Пусть они кидают в водку лед, пусть пьют ее, как кокетливые старые девы, глоточками, но можно ли считать прогрессивным обычай есть деликатную белужью икру с сырым луком?»

Чтобы описать все бесчисленные преступления Запада по отношению к нашей кухне, смеются авторы, нужно составить целый справочник. И он, к несчастью, уже

¹ Вайль Петр, Генис Александр. Русская кухня в изгнании. М. ПИК. 1990. 176 стр.

составлен. Шарлатана, который его написал, зовут Квентин Крю и живет он в Чeshire, Англия. Более подробного адреса издательство не дает, очевидно, опасаясь мести оболганных народов, в том числе русского.

«То, что вышеупомянутый негодяй пишет о русской кухне, являет собой симфонию невежества, увертюрой к которой может служить первая же фраза: «Русской кулинарии практически не существует». И это после того, как вся Европа заимствовала из России закусочный стол, богаче которого нет. Все эти холодцы, заливные, балыки, икра, соленья, произведшие фурор в самом Париже, для Квентина Крю не существуют. Естественно, он не знает и того, что в русской кухне самый богатый в мире репертуар супов, среди которых, как алмазы его британской короны, сверкают щи, уха и окрошка. Но самое веселое начинается дальше. Путеводитель перечисляет перлы русской кухни, которые «чаще всего встречаются в меню ресторанов». И вот что мы нашли в этом меню: черные оливки, клюквовый суп, креветкий суп, малекый суп, суп-холодец, грибной суп, угорь в вино, грузинский плов, индушка с каштанами...»

Авторы насмешничают и балагурят и, понятно, выступают патриотами русской кухни — иначе зачем книжку было писать?.. Но и сквозь густой юмор, как видите, прорываются ароматы, запахи и позабытые видения.

Ну а в-третьих, книжка легко и изящно написана, найден стиль и звук, всего отмерено и положено сколько надо, авторы творят свои фразы, пассажи и главки, как истинные кулинары и кондитеры готовят (готовили) свои яства.

Не могу удержаться и не прочесть, не процитировать вам, как я делаю это иной раз за столом друзьям, еще главку, которую так и хочется назвать маленькой поэмой:

«Глава 20. Уха не суп, а средство наслаждения... Горестный перечень невозвратимых утрат эмигранта столь же нескончаем, сколь и список приобретенных преимуществ. В области рыбной кулинарии основное завоевание — экзотическое обилие seafood'a (морской пищи, продуктов.— *М. Р.*). Главная потеря — настоящая уха. Если иноземец вздумает создать уху, руководствуясь воспоминаниями эмигрантов, то с удивлением обнаружит, что ее главным компонентом является водка. Действительно, вспомним сопутствующие ухе картинки: мелкий дождь, серые сумерки, плохо натянутая палатка, то и дело гаснущий костер, закопченный котелок, переругивание хриплым шепотом — считается, что нельзя спугнуть рыбу. Нет ничего прекраснее этой безотрадной картины, потому что каждый знает, что ждет его впереди: мокрые бутылки со сползшей этикеткой и божественный вкус ухи из свежепойманной речной рыбы. Уха и водка неразрывны в представлении настоящего русского человека — как Пушкин и Лермонтов, слон и моська, очи черные и очи страстные. Конечно же, уха — это обряд. Может быть, даже прежде всего — обряд. Но не только. Все-таки есть еще и кулинарная точка зрения, с которой уха — это жидкое горячее рыбное блюдо. Когда-то ухой на Руси называли любую наваристую похлебку — из мяса, например. В одном из лучших в русской литературе описаний застолья — «Князе Серебряном» А. К. Толстого — находим: «Принесли разные похлебки и трех сортов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную». Но уже в XVII веке ухой стали называть только рыбный навар. Следует решительно отмежеваться от попыток выдать за уху рыбный суп. Уха — это обязательно чистейший прозрачный бульон и потому не допускает ни мучных или крупяных заболток, ни жареного лука, ни спассерованных овощей. Вообще в уху, кроме рыбы, пряностей и корней, можно добавить только картошку и морковь — и все. Лучшая уха из: а) свежей, б) речной, в) мелкой рыбы. Из этих трех главных пунктов труднее всего выполним пункт б). Тут ничего не поделаешь, горестный перечень невозвратимых утрат... Для бульона хорошо использовать мелкую морскую рыбку. Эту рыбу следует выварить до разваливания — из расчета два фунта на 5-литровую кастрюлю воды, — а затем безжалостно выбросить. Навар процедить и поставить на маленький огонь, добавив лук, корень петрушки, сельдерей, зелень петрушки, лавровый лист, перец горошком, соль. Через минут 20—30 добавьте нарезанные соломкой морковь и картошку, эстрагон и базилик. Еще минут через 5—7 — положите куски рыбного филе. Здесь уже нужна благородная рыба: возьмите треску, форель, сига (!). Если удастся — стерлядь. Филе варится несколько минут... Отдельно в чашке заварите горячим бульоном несколько ниточек шафрана и влейте в снятую с огня кастрюлю. Уха станет золотистой и ароматной. Бросьте в кастрюлю кусок сливочного масла, дайте навару настояться минут 3—4 и подавайте, посыпав укропом и зеленым луком. Вопрос о том, следует ли подавать к ухе водку — в холодном, запотевшем, со слезой графине, — является преступным сам по себе и в качестве такового ответа не требует».

Страшную книгу насочиняли Вайль и Генис!

Мих. РОЦИН.

ПУБЛИЦИСТИКА

Д. ШТУРМАН

*

«ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СОН ЗОЛОТОЙ...»

Господа, если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навевает
Человечеству сон золотой!

*Из стихотворения Пьера Жана
Беранже, посвященного француз-
ским социалистам-утопистам.*

Очевидность этого подтверждается
в Утопии самой действительностью.

Т. Мор, «Утопия».

Все животные равны, но некоторые
животные равны более, чем другие.

Дж. Оруэлл, «Скотный Двор».

Спасение от утопии — дело
рук самих утопающих.

Анекдот, 1991.

И так, «человечества сон золотой...».

Читатель, вслушаемся в себя. Что просыпается в нашем сознании при слове «утопия»? Нечто заманчивое и прекрасное, но, увы, — несбыточное. Неосуществимая, но притягательная мечта. Заведомой грустью о не воплотимом в жизнь идеале овевает это слово. Его венчает некий ностальгический нимб, и не изменить уже его манящего и печального смысла. Печаль — от недостижимости воплощенного в утопиях идеала...

Но ведь все эти чувства родились в нас не при чтении книг прославленных утопистов. Многие ли их читали, да еще в зрелом возрасте? Мы, выросшие в СССР, в школьном отрочестве и позднее, в вузах, многократно слышали, что европейские утописты XVI—XIX веков прозорливо предначертали прекрасную гармонию совершенного мира, но не указали к нему реальных путей. Мы в это поверили. Сложился устойчивый смысловой стереотип.

Так, может быть, совершим прогулку по книжным мирам утопий, наделивших сознание XIX и XX веков непреодолимой тягой к социализму? Речь идет не об исчерпывающем изучении всех проектов идеального будущего, бесчисленных в истории разных цивилизаций и частью исследованных, частью нет. Я говорю всего-навсего о небольшой прогулке по «пяточку» европейских социальных утопий сперва XVI—XVII, затем XIX веков.

Начнем со знаменитейшего произведения, давшего имя двум литературным жанрам — утопиям и антиутопиям.

I

«Человек на все времена»¹ и его «Утопия»

Полное название «Утопии» Т. Мора² — «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии»³. Не

¹ Название известной пьесы Роберта Болта о Томасе Море.

² Все цитаты по изданию: «Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Утопический роман XVI—XVII веков». М. «Художественная литература». 1971. Страницы указываются дополнительно.

³ В литературе о Т. Море существует мнение, что он изображал Утопию иронически, издеваясь над ее мнимыми достоинствами. Автору этой статьи такая трактовка представляется необоснованной. Кроме того, последователи Мора, включая Маркса и Энгельса, приняли панегирик Утопии вполне всерьез. Поэтому следует оставаться в пределах традиционного взгляда на книгу Мора.

странно ли, что, посвятив столько гневных строк своей книги роковой общественной роли золота и уничтожению в глазах утопийцев этого коварного металла, Томас Мор (1478—1535) тем не менее называет свое заветное сочинение «золотой» книгой?

«...утопийцы едят и пьют в скудельных сосудах из глины и стекла, правда, всегда изяшных, но все же дешевых, а из золота и серебра повсюду, не только в общественных дворцах, но и в частных жилищах, они делают ночные горшки и всю подобную посуду для самых грязных надобностей. Сверх того из тех же металлов они выработывают цепи и массивные кандалы, которыми сковывают рабов. Наконец, у всех опозоривших себя каким-либо преступлением в ушах висят золотые кольца, золото обвивает пальцы, шею опоясывает золотая цепь, наконец, голова окружена золотым обручем. Таким образом, утопийцы всячески стараются о том, чтобы золото и серебро были у них в позоре» (стр. 95).

А книга все-таки «золотая». Не от вождения ли эта ненависть?

Удивительно, что, государственный деятель и царедворец Генриха VIII, Мор не понимает исторического механизма превращения золота и серебра во всеобщий товарный эквивалент, не осознает причины их дороговизны и намерен удешевить их одним только решением не считать их более драгоценными металлами и числить позорящим материалом.

Путешественник, рассказывающий об Утопии, многократно называет ее новым миром — хорошо знакомая нам в XX веке терминология. Основа благополучия «нового мира» — запрещение и отсутствие частной, а по возможности и личной собственности. Главное зло старого мира — наличие частной собственности, денег и неправильное распределение продуктов труда. Мысль о возможности объективного недостатка каких-либо средств к существованию Морю абсолютно чужда. Все дело в распределении. Источник всеобщего материального удовлетворения и благополучия усматривается Мором в экспроприации богатей и разделении между бедными их запасов:

«...вообрази себе какой-нибудь бесплодный и неурожайный год, в который голод унес много тысяч людей. Я решительно утверждаю, что если в конце этого бедствия порастрясти житницы богатей, то там можно было бы найти огромное количество хлеба; и если бы распределить этот запас между теми, кто погиб от недоедания и изнурения, то никто и не заметил бы подобной скупости климата и почвы. Так легко можно было бы добыть пропитание...» (стр. 139).

Идеальное распределение — это распределение поровну, за чем следует наблюдать неукоснительно. Не менее важны всеобщий обязательный труд поровну и строгая добродетель. Отсюда — сложная система наставляющих, надзирающих и руководящих лиц и инстанций.

В Утопии господствует абсолютная имущественная унификация. Одежды у всех строжайше одинаковые; различия делаются лишь для разных полов; изготавливается платье дома каждой семьей. Одежания эти самые грубые и простые (всякое украшение одежд и себя запрещено). На работе «они небрежно покрываются кожей или шкурами, которых может хватить на семь лет» (стр. 87). На улице сверху надевается длинный плащ, цвет и покрой которого одинаков на всем острове — некрашенная шерсть. Каждый довольствуется «одним платьем... на два года» (стр. 87).

Унифицированы не только одежды, но и города и семьи, численность которых регулируется посредством передачи избыточных членов семьи в малодетные семьи.

В Утопии пятьдесят четыре больших города.

«...язык, нравы, учреждения и законы у них совершенно одинаковые. Расположение их всех также одинаково; одинакова повсюду и внешность, насколько это допускает местность» (стр. 78).

«Кто узнает хотя бы один город, тот узнает все города Утопии: до такой степени сильно похожи все они друг на друга» (стр. 80).

Идеал — одинаковость (высшая степень равенства) всех поступков, реакций, достатка, форм общежития, личного и общественного поведения, рода занятий, состава семьи. Все строжайше регламентировано. При этом автору ни разу не приходит в голову мысль о том, какой величины аппарат планирования и контроля потребуется для осуществления этой тотальной регламентации и ее постоянного поддержания в силе.

Не работают лишь нетрудоспособные, а из трудоспособных

«в целом городе с прилегающим к нему округом... освобождение... дается едва пятистам лицам» (стр. 86).

Имеют право не работать правители, но они это право не используют, чтобы подавать всем пример:

«Той же льготой наслаждаются те, кому народ под влиянием рекомендации духовенства и по тайному голосованию сифогрантов⁴ дарует навсегда это освобождение для основательного прохождения наук» (стр. 86).

⁴ Правители местного масштаба, то же, что филархи.

Нерадивых ученых «удаляют обратно к ремесленникам» (здесь и далее в цитатах разрядка моя. — Д. Ш.), а склонных к наукам ремесленников переводят в ученые. Из ученых выбирают послов, духовенство, правителей и главу государства.

Очень характерно слово «наслаждаются»: труд в райской Утопии есть непривлекательная обязанность, а свобода от него — наслаждение. По-видимому, трудом Мору представляется лишь физическая работа. Правителей, священников и ученых он считает освобожденными от работы. Весьма симптоматичен и бюрократический контроль над учеными — постоянная угроза для них быть возвращенными в ряды ремесленников.

За всеобщей «одинаковостью» в Утопии скрыта неукоснительная иерархия полномочий.

На труд отводится не более шести часов в сутки. Это, вероятно, одна из самых привлекательных для читателей XVI—XIX веков черт Утопии. Мору полностью чужда мысль о том, что столь короткий рабочий день не мог бы обеспечить удовлетворительное потребление в его время.

Распределение предметов потребления (продуктов труда) производится просто и споро — точно-в-точь как у Маркса, Энгельса и Ленина в их описаниях коммунизма.

Обедают в общих дворцах, где живут правители и куда приписаны по тридцать семейств. «Тут эти семьи должны обедать» (стр. 90). Не запрещено обедать и дома, но никто не хочет, так как еда во дворцах «роскошная и обильная», а «все работы, требующие несколько большей грязи и труда, исполняются рабами» (стр. 90). Но варят женщины из каждой семьи поочередно. Правители, правда, все-таки живут во дворцах, но Мор не фиксирует на этом внимания, так как дворцы свободно посещаются гражданами и трапезы у рядовых с начальством общие. Главы семей, занятых в данный момент сельским хозяйством,

«определяют (и делают это весьма точно), сколько хлеба потребляет город и прилегающий к нему округ⁵, однако они и посевы делают, и скот выращивают в гораздо большем количестве, чем это требуется для их нужд, имея в виду поделиться остатками с соседями. Все, что им нужно и чего нет в деревне... они просят у города и получают от тамошних властей очень легко, без какого-либо обмена... Когда настанет день уборки урожая, то филархи земледельцев сообщают городским властям, какое количество граждан надо им прислать; так как эта толпа работников является вовремя к самому сроку, то они почти в один ясный день справляются со всей уборкой» (стр. 79).

Ошибочное и соблазнительное представление о простоте планирования и учета национального производства и потребления, о легкости централизованной организации личного и общественного труда (с постоянными перебросками продукции, инструментов, сырья, лиц, групп, целых трудовых армий — со склада на склад, из дома на склад и обратно, из семьи в семью, из города в село и из села в город) обще для всех социалистических утопий, включая марксизм.

Мор, казалось бы, глубоко уверен в том, что уничтожением частной собственности будут искоренены безнравственность и преступность, как одной уже отменой денег в его утопии уничтожается бедность (то есть нужда в деньгах):

«Выведя деньги из употребления, они совершенно уничтожили всякую алчность к ним, а какая масса тягостей пропала при этом! Какой посев преступлений вырван с корнем! Кто не знает, что с исчезновением денег совершенно отмирают все те преступления, которые подвергаются ежедневной каре, но не обуздания, а именно: обманы, кражи, грабежи, ссоры, восстания, споры, мятежи, убийства, предательства, отравления; вдобавок вместе с деньгами моментально погибнут страх, тревога, заботы, труды, бессонница. Даже сама бедность, которая, по-видимому, одна только нуждается в деньгах, немедленно исчезла бы с совершенным уничтожением денег» (стр. 138—139).

Общественные и частные манипуляции со всеобщим товарным эквивалентом — деньгами — начисто заслоняют от Мора истинный объект этих манипуляций — потребляемый товар (от самых насущных — еды и одежды — до предметов роскоши, свидетельств престижа, запасов ценностей, в том числе и эстетических). Уничтожение эквивалента означает для него одновременно и уничтожение дефицита, и конец неравномерности распределения. Иными словами, он наивно принимает функцию за аргумент. Но странным образом эта наивная подмена сохраняется даже в проник-

⁵ Им должны очень завидовать современные социалистические планирующие инстанции с их вычислительной техникой, тонушие в бесконечно запаздывающих расчетах.

нумом экономическими идеями марксизме, постулирующем отмену денег в качестве одного из условий равенства.

Итак, нет денег — нет бедных, нет преступлений. Так почему же в восторженном описании благоденствующей Утопии столь большое место уделяется ее карательной системе? Почему и как сохраняется на процветающем острове институт рабства? Ведь хотя «нигде нет такого превосходного народа и более счастливого государства» (стр. 107), без рабов не обходится в Утопии ни одна семья! Весьма воинственные утопийцы обращают в рабов своих многочисленных военнопленных. Но это ведь не единственный источник рабовладения на их острове.

В Утопии очень жестокая карательная система, причем большинство совершаемых утопийцами преступлений влечет за собой обращение осужденных в рабов. Рабством наказывается добрачное прелюбодеяние. Также и «оскорбители брачного союза караются тяжчайшим рабством... Но вторичное грехопадение карается уже смертью» (стр. 113).

«...все наиболее тяжкие преступления караются игом рабства... Труд этих лиц приносит более пользы, чем их казнь... Если же и после такого отношения к ним они станут опять бунтовать и противиться, то их закалывают, как неукротимых зверей, которых не может обуздать ни тюрьма, ни цепь. Но для терпеливо сносящих рабство надежда отнюдь не потеряна» (стр. 114).

Ни о какой юридической процедуре по отношению к закалываемым рабам Мор не упоминает. И вообще законов у утопийцев мало, четко определенных кар за определенные виды преступлений не установлено, адвокатура отсутствует.

«По словам утопийцев, все законы издаются только ради того, чтобы напоминать каждому об его обязанностях» (стр. 115).

О правах упоминания нет.

Рабов составляют в нарушение закона, который человек с советским житейским опытом назвал бы законом о прописке по месту жительства. Правда, у Мора этот закон реализуется куда более жестоко, чем в СССР, так как «прописка» эта является одновременно и обязательством не покидать самовольно даже на сутки место своего законного проживания.

Как же утопийцы передвигаются по своему острову?

«Если у кого появится желание повидаться с друзьями, живущими в другом городе, или просто посмотреть на самую местность, то такие лица легко получают на это дозволение от своих сифогрантов и траниборов, если в них не встречается никакой надобности. Они отправляются одновременно с письмом от князя, свидетельствующим о позволении, данном на путешествие, и предписывающим день возвращения... Хотя на весь свой путь они ничего с собой не берут, у них все же ни в чем нет недостатка: они везде дома. Если они останавливаются в каком-либо месте долее одного дня, то каждый занимается там своим ремеслом и встречает самое радушное отношение со стороны работающих по тому же ремеслу. Если кто преступит свои пределы по собственному почину, то, пойманный без грамоты князя, он подвергается позорному обхождению: его возвращают, как беглого, и жестоко наказывают. Дерзнувший на то же вторично — обращается в рабство» (стр. 92—93).

Столь враждебное отношение Мора к свободным отлучкам утопийцев из их городов объясняется, вероятно, размахом бродяжничества в Англии его времени. Он не раз о нем упоминает. Но картина не становится от этого привлекательней. По-прежнему остается загадкой: как могли — на столетия! — привлечь симпатии просвещенных людей такие порядки?

Законопослушный утопиец сыт — в этом, по-видимому, заключено все его счастье. Свободы же, в том числе и элементарной свободы передвижения внутри своей страны, он лишен начисто.

Мор, судя по всему, не сомневается в том, что человеческая натура не может без сопротивления поддаваться столь всепроникающей регламентации и унификации, как те, которые он ей предписывает. Поэтому он так озабочен и карами, и поощрением института доносчиков, и созданием утопийского (но, к сожалению, не утопического) ГУЛАГа:

«Зачем нам сомневаться в пользе того способа кары за злодеяния, который, как мы знаем, был так долго в ходу у римлян, весьма опытных в управлении государством? Именно уличенных в крупных злодеяниях они присуждали к каменолозням и рудникам, держа их, кроме того, постоянно в кандалах» (стр. 59).

Не забыты и «расконвоированные»:

«Если совершение кражи не осложнено преступлением, то похитителей не сажают в тюрьму, избавляют от кандалов, и они свободно и беспрепятственно

занимаются общественными работами... их не столько наказывают кандалами, сколько поощряют ударами... только ночью, после поименного счета, их запирают по камерам».

Знакомо, не правда ли?

«...в некоторых местностях преступники не исполняют никаких общественных работ; но... частное лицо... нанимает на рынке любого из них за определенную плату, несколько дешевле по сравнению со свободным человеком» (стр. 60).

Откуда взялась оплата труда раба и свободного человека? Ведь Мором постулировано полное отсутствие наемного труда и заработной платы в его Утопии. Там не существует даже продуктообмена: все сдается в общественные кладовые и все из них черпается по потребности. По-видимому, чрезвычайно трудно все время иметь в виду, работая над своим сочинением, столь противоестественную для Европы XVI столетия систему распределения, как безденежный продуктообмен.

Рабам нельзя давать деньги, нельзя брать деньги у них (наказываются дающий и берущий). Снова деньги!..

Но ведь денег в Утопии нет вообще! Ведь безденежное распределение — главный экономический принцип утопии Мора! Несколько ниже деньги упоминаются снова — в качестве награды доносчику за разоблаченное преступление.

Как и во всех случаях, связанных с надзором, планированием, контролем, учетом и управлением, контингенты охранников и надсмотрщиков для его ГУЛАГа, штаты судей и палачей Мором не предусмотрены. Он совершенно не представляет себе, сколь внушительное число обитателей Утопии будет занято трудом непродуцируемым, то есть существовать за счет чужого труда.

У утопийцев есть колонии вокруг Утопии. Туда же они переселяют свое избыточное население (на свободные земли, не занятые туземцами) и оттуда пополняют свое население в случае его убытия — например, после чумы.

Ни у рассказчика, ни у его слушателей не вызывает осуждения макиавеллизм утопийцев, их коварное отношение ко внешним врагам или к тем народам, которые они стремятся себе подчинить. Своих противников утопийцы ловко натравливают друг на друга.

«Если дело не подвигается путем подкупа, то утопийцы начинают разбрасывать и выращивать семена междоусобий, прельщая брата государя или кого-нибудь из вельмож надеждой на захват верховной власти. Если внутренние раздоры утихнут, то они побуждают и натравливают на врагов их соседей» (стр. 121).

В войнах утопийцы осаждают города и «убивают противившихся сдаче, прочих же защитников обращают в рабство» (стр. 125).

Деньги у врагов берут для внешнего обращения. Для того же употребляют и свое золото и серебро.

Для управления завоеванными народами посылают «некоторых из своих сограждан, чтобы они могли жить там великолепно и представлять собою вельмож» (стр. 125), употребляя на это дань, взимаемую с поработенных народов.

Таким образом, в Утопии есть лица и слои, имеющие дело с деньгами и ценностями и вне Утопии «представляющие собой вельмож». По-видимому, служба в «загранке» должна быть для утопийских чиновников не менее привлекательна, чем для советских.

Религии в Утопии многообразны; все они признаются законными и допускаются, но атеизм запрещен. Человеку с атеистическим образом мыслей «утопийцы не оказывают никакого уважения, не дают никакой важной должности и вообще никакой службы» (стр. 129). Ему разрешается дискутировать только со священниками и если и предоставляется какая-либо работа для пропитания, то лишь физическая.

Интересно, что, говоря о роли священнослужителей, поучающих юношей, рассказчик вмывает первым в главную их обязанность воспитание в молодом поколении не религиозной морали, а преданности государству и приверженности к его социальному строю.

«Именно они (священники. — Д. III.) прилагают огромное усердие к тому, чтобы в еще нежные и гибкие умы мальчиков впитать мысли, добрые и полезные для сохранения государства. Запав в голову мальчиков, эти мысли сопровождают их на всю жизнь и после возмужалости и приносят большую пользу для охраны государственного строя, который распадается только от пороков, возникающих от превратных мыслей» (стр. 132).

Иными словами, идеальный государственный строй Утопии был бы тотчас же разрушен неблагодарными утопийцами, если бы не жесточайшая карательная система и постоянная идеологическая обработка детей и юношей.

II

«Город Солнца»

Прогуляемся по улицам и общежитиям еще одного Эдема.

Этот литературный вариант «нового мира» наделен звучным и красивым названием — «Город Солнца». Автор — Джованни Доменико Кампанелла (1568—1639). Может быть, в силу своего заманчивого названия «Город Солнца» чаще других утопий упоминается по сей день как метафора нереализованного земного рая.

В утопии Кампанеллы принцип равенства декларируется с еще большей категоричностью, чем в «Утопии» Мора. Глубже, чем в фантазии Мора, проникают в жизнь граждан Города Солнца регламентация их частного поведения и верховный контроль. Резче выражена иерархичность социальной структуры. Жители Города Солнца — солнцепоклонники. Их верховный правитель считается наместником и воплощением Солнца на Земле. Выборы руководящих лиц у них, как и в Утопии, многоступенчатые, и лишь низших начальников избирает непосредственно сама община. Затем начальство каждого уровня последовательно выбирает очередную (высшую) ступень иерархии. Подчинение избранным беспрекословно. Отзывать и карать их может только начальство высшего по сравнению с ними ранга.

Безупречность деятельности начальства обеспечивается только тем, что все избираемые по условию выборов хороши и достойные люди.

«Народ этот появился из Индии, бежавши отсюда после поражения Монголами и насильниками, разорившими их родную страну, и решил вести философский образ жизни общиной. И хотя общность жен и не установлена среди остального населения, живущего в их области, у них самих она принята на том основании, что у них *все общее*. Они утверждают, что собственность образуется у нас и поддерживается тем, что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей» (стр. 149).

«Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое — у них общее. Но через каждые шесть месяцев начальники назначают, кому в каком круге спать и кому в первой спальне и кому во второй» (стр. 154).

В Утопии людей переселяют из города в село и обратно раз в два года, а из жилища в жилище только раз в десять лет. Здесь — из барака в барак — один раз в полгода. В ГУЛАГе тоже старались почаще перебрасывать заключенных с участка на участок, чтобы не обрастали связями, не обживались, не находили для себя выживательных ниш. Кому из бывалых эзков не ударило в сердце зловещее слово «этап» на каком-нибудь из более или менее выносимых «островов» арестантского Архипелага?

«В каждом круге есть свои кухни, магазины, кладовые для посуды, съестных припасов и напитков. Для наблюдения за исполнением всех обязанностей по этой части приставлены маститый старец со старухой, которые распоряжаются прислуживающими и имеют власть бить или приказывать бить нерадивых и непослушных... и горе уклоняющимся!» (стр. 155).

Согласно известному советскому анекдоту о равенстве в условиях социализма (то же и в «Скотном Дворе» Оруэлла), обитатели Города Солнца равны между собой, но некоторые из них равнее всех прочих. Способы поощрения гулаговские: посредством награждения «допайком» или новой одеждой.

«Должностные лица получают большие и лучшие порции, и из своих порций они всегда уделяют что-нибудь на стол детям, выказавшим утром больше прилежания на лекциях, в ученых беседах и на военных занятиях. И это считается одной из величайших почестей» (стр. 155).

«...героям и героиням раздаются от государства на празднествах во время трапезы обычно либо красивые венки, либо вкусные блюда, либо нарядная одежда» (стр. 161).

«Каждому полагается своя салфетка, миска, похлебка и кушанье. На обязанности врачей лежит заказывать поварам еду на каждый день: что готовить старикам, что молодым и что для больных».

«Часто также моют они свое тело по указанию врача и начальника» (стр. 156).

Можно ли помыть свое тело без «указания врача или начальника», не сказано.

Наиболее выразительно всепроникающая верховная регламентация частной и общей жизни обитателей Города Солнца проявляется в тех разделах сочинения Кампанеллы, которые посвящены деторождению и воспитанию детей. В солнечном царстве господствует грубая и примитивная принудительная еugenика. Фразеология Кампанеллы порой удивительно напоминает фразеологию оруэлловского «ангсоца», но начисто лишена гневного оруэлловского сарказма в оценке этой фразеологии.

«Ни одна женщина не может вступать в сношение с мужчиной до девятнадцатилетнего возраста, а мужчины не назначаются к производству

потомства раньше двадцати одного года или даже позже, если они имеют слабое телосложение» (стр. 157).

Допускаются исключения для особо пылких, но их совокупляют с бесплодными или беременными. Делают это по их просьбе или согласно начальственнo-медицинским наблюдениям на уроках гимнастики, где мужчины и женщины упражняются обнаженными.

«Однако же разрешение исходит от главного начальника деторождения — опытного врача, подчиненного правителю Любви» (стр. 157).

Совокупление с целью деторождения ничего не имеет общего с любовью и страстью. Личное отношение потенциальных родителей друг к другу просто не принимается в расчет.

Можно было бы объяснить душевную грубость Кампанеллы временем создания его утопии (XVII век), если бы та же и более ранние эпохи не оставили нам утонченных гимнов любви во всех родах искусства: в музыке, поэзии, драматургии, живописи, скульптуре... По-видимому, мы имеем здесь дело с чертами не столько времени, сколько личности, над которой довлеет к тому же всеподчиняющая установка: человек — для общества, а не наоборот.⁶

Дети воспитываются не родителями, а государством:

«Когда же они родят, то кормят сами и воспитывают новорожденных в особых общих помещениях; грудью кормят они два года и больше, в зависимости от предписания Физика⁷. Вскормленный грудью младенец передается на попечение начальниц, если это девочка, или начальников, ежели это мальчик» (стр. 159).

Идея общественного, а не семейного воспитания детей очень популярна в социалистических учениях, включая марксизм.

В интересах здоровья младенцев Кампанелла, не предугадавший возможностей искусственного вскармливания, рискнул допустить такую аномалию, как двухлетняя и более близость матерей и младенцев. Зато он не раз подчеркивает, что с двух лет воспитание детей и юношества становится стерильно общественным и родители не имеют по отношению к своему потомству никаких прав и обязанностей.

У жителей Города Солнца вроде бы «рабов... нет: они в полной мере обслуживают себя сами, и даже с избытком» (стр. 161). Но «рабов, захваченных на войне, они или продают, или употребляют либо на копанье рвов, либо на другие тяжелые работы вне города» (стр. 169). Таким образом, и эта утопия не обходится без рабского труда, да к тому же допускает работорговлю.

Подобно Мору, Кампанелла уделяет в своей утопии большое место описанию судебнo-карательной системы Города Солнца. Очевидно, и ему ясно, что столь жесткая и столь внешняя для человека регламентированность всей его жизни, вплоть до самых интимных ее сторон, не может происходить без принуждения, нарушений, протеста и кар.

В описании изобретенной Кампанеллой пенитенциарной системы сквозит некая извращенность, опять же настойчиво напоминающая антиутопию Оруэлла: караемые должны от души, с благодарностью признать правоту карателей; каратели обязаны предавать осужденных казни с любовью и только с их собственнoго согласия. Так герои Оруэлла в ходе чудовищных истязаний, которым их подвергали на следствии, должны были полюбить верховного правителя своей страны — Старшего Брата.

«Все по отдельности подсудны старшему начальнику своего мастерства.

Таким образом, все главные мастера являются судьями и могут присуждать к изгнанию, бичеванию, выговору, отстранению от общей трапезы, отлучению от церкви и запрещению общаться с женщинами. К насильникам применяется смертная казнь или наказание — око за око, нос за нос, зуб за зуб и т. д., согласно закону возмездия, если преступление совершено сознательно и с заранее обдуманнoм намерением» (стр. 176).

«Письменного судопроизводства (того, что называется процессом) у них не ведется» (стр. 176). Ни о какой адвокатуре не упоминается, но обвинители имеются. Осужденный

«ответчик примиряется со своими обвинителями и свидетелями, как с врачами своей болезни, обнимая их, целуя и т. д.

Смертная казнь исполняется только руками народа, который убивает или побивает осужденного камнями, и первые удары наносят обвинитель и свидетели. Палачей нет, дабы не осквернять государства. Иным дается право самим лишать себя жизни: тогда они обкладывают себя мешочками с порохом и,

⁶ Среди социализмов XX века ближе всего к еврике Кампанеллы подошел немецкий (гитлеровский) национал-социализм.

⁷ Следует понимать как физиолога, диетолога и санитарного врача.

поджегши их, сгорают, причем присутствующие поощряют их умереть достойно. Все граждане при этом плачут и молят бога смягчить свой гнев, скорбя о том, что дошли до необходимости отсечь загнивший член государства. Однако же виновного они убеждают и уговаривают до тех пор, пока тот сам не согласится и не пожелает себе смертного приговора, а иначе он не может быть казнен. Но если преступление совершено или против свободы государства, или против бога, или против высших властей, то без всякого сострадания приговор выносится немедленно.

И только такие преступники караются смертью» (стр. 177).

А как же насильники, о которых сказано выше? Их тоже казнят. Однако есть разница: все осужденные могут апеллировать к верховному правителю-наместнику Солнца о смягчении приговора или об оправдании. Преступников же политических казнят немедленно.

Из текста следует, что «свобода государства» и воля «высших властей» — это синонимы. Точно так же синонимичны воля божества (Солнца) и воля его наместника — верховного правителя государства. Беспощадно карая за преступления против государства, носители власти карают, таким образом, за преступления против себя. Впрочем, у приговоренного и тут есть возможность избежать казни — хорошо аргументированный донос на других преступников: «повинный смерти» спасается только в том случае, если в преддверии казни он не только убедительно объясняет свои проступки, но и доказательно указывает

«проступки других, заслуживающие смерти, и преступления властей, приведя доказательства того, что они заслуживают еще более тяжкого наказания, ежели только он в этом уверен. И если доводы его окажутся убедительными, он сам отправляется в изгнание...» (стр. 177).

На этом, пожалуй, прогулку по Городу Солнца можно закончить и перейти к «Истории севарамбов» Дени Вераса (1630—1700).

III

Еще одно государство Солнца

Государство севарамбов, подобно Городу Солнца, тоже королевство огнепоклонников. Короли севарамбов и тут считаются наместниками Солнца на Земле и поэтому называются вице-королями Солнца.

Севарамбы избавились ото всех социальных зол и бед, сделав все свое национальное достояние собственностью государства, а не частных лиц или групп. От имени государства распоряжаются всем достоянием нации вице-короли севарамбов.

«Богатство и обладание собственностью вызывают большие контрасты в обществе, и от них ведут начало алчность, зависть, вымогательство и множество других болезней. Поэтому он отменил право собственности, лишил его частных лиц и пожелал, чтобы все земли и народные богатства принадлежали исключительно государству, которое может ими неограниченно распоряжаться так, чтобы его подданные могли получить лишь то, что им будет предоставлено должностными лицами. Таким образом, он совершенно изгнал страсть к наживе, оброки, налоги, голод и бедность, порождающие столько бедствий в различных государствах мира. Со времени установления этих законов все севарамбы богаты, хотя и не имеют никакой собственности... Если среди этого народа кому-нибудь понадобится что-либо необходимое для жизни, ему стоит лишь попросить это у должностного лица, и он всегда получит. Ему не приходится заботиться ни о питании, ни об одежде, ни о жилище в продолжение всей своей жизни, ни даже о содержании жены и детей, хотя бы их у него были сотни и тысячи. Государство заботится обо всем этом, не требуя ни податей, ни налогов, и весь народ... живет в счастливом довольстве и с обеспеченным отдыхом» (стр. 422—423).

Не напоминает ли это марксистский тезис грядущей бесплатности для народа различных социальных услуг в социалистическом обществе? Мысли о том, что все предоставляемые народу продукты или услуги требуют для своего производства затрат времени и труда, то есть имеют стоимость; что эту стоимость кто-то должен произвести; что государственный аппарат сам по себе подобных стоимостей не производит; что их так или иначе должны создавать сами потребители, — Верасу чужды. Между тем для понимания этого не нужны никакие специальные знания (даже на уровне XVII века), а достаточно простого житейского здравого смысла («Ленч не бывает бесплатным», — говорят американцы).

Не возникает у авторов всех трех рассмотренных нами утопий и опасения, что должностные лица, обладающие столь широкими полномочиями, могут ими злоупотреблять. Это тем более вероятно, что всякое ослушание строжайше карается, а о таких вещах, как общественный контроль, гласность и оппозиция, ни в одной из этих утопий нет и речи. Мысль о потреблении, не зависящем от предшествующего ему производства, будучи выделенной в чистом виде, представляется абсурдной. Но она органично входит как в состав ряда социалистических (коммунистических в том числе) доктрин, так и в беззастенчиво вымогательскую политику нынешних монополистических профсоюзов свободных стран.

Всякая бесплатность услуг и благ (лечения, образования, транспортного и коммунального обслуживания и т. д.) фиктивна, ибо на них расходуется оплачиваемая работа соответствующих специалистов, производятся затраты на обучение последних, на обслуживание и производство амортизирующихся при этом технических средств и прочие накладные расходы. Так или иначе, непосредственно или через какие-то формы налогообложения граждане оплачивают все услуги. Многие не понимают этого и по сей день — в конце XX столетия.

Работать севарамбы должны, но отнюдь не из утилитарных соображений, не потому, что ничего не производящему или мало производящему обществу попросту нечего будет потреблять. Безделье противопоказано севарамбам из чисто политических и нравственных соображений. А если бы мудрые правители не предприняли этой воспитательно-профилактической меры, обитатели страны севарамбов разложились бы до совершенного неразумия — на полном довольствии у государства и в неизменном достатке, взявшемся непонятно откуда и неизвестно кем произведенном.

Несколько замечаний позволяют нам отчетливой представить себе законы, установленные вице-королями Солнца в стране севарамбов. Вице-короли в разное время постановили:

«Изгнать праздность из всей страны, потому что она — мать пороков и источник ссор и беспорядков, и приучить детей к умению работать» (а не потому, что без труда не вытащить и рыбки из пруда);

«Не занимать их бесполезными и пустыми искусствами, служащими лишь для роскоши...»;

«Наказывать всякую невоздержанность, ибо она развращает тело и душу...»;

обучать молодежь обоютого пола военному делу;

детей сызмала приучать «к соблюдению законов и к повиновению должностным лицам, являющимся действительными отцами родины»;

«По достижении детьми семилетнего возраста... отец и мать целиком лишаются данной природою власти над детьми, сохраняя лишь любовь и уважение, и с этого момента дети становятся детьми государства», то есть его «должностных лиц, являющихся политическими отцами родины».

«Действительные отцы родины», «политические отцы родины» — очень современная фразеология.

Детям «политические отцы родины» должны быть дороже, чем родители, ибо не последние, а первые являются их «действительными отцами».

Несмотря на то, что уничтожение частной собственности должно было, по замыслу вице-короля Севариаса, уничтожить «все контрасты в обществе», «алчность, зависть, вымогательство и множество других болезней», в утопии Вераса, как и в двух предыдущих утопиях, все граждане государства равны, но некоторые намного равнее, чем остальные:

«Должностные лица стоят выше народа, и обязанности их более почетны, чем у простых людей, поэтому они заслуживают большего вознаграждения, которое получают в зависимости от того положения, которое они занимают...» (стр. 438).

Оказывается, что должностные лица снабжаются лучше других (в спецраспределителях?). При неравном снабжении необходимы уже нормирование и аппарат, его осуществляющий и контролирующий. Только при нефальсифицированном распределении по потребности, определяемой к тому же самим потребителем, а не какой-то иной инстанцией, можно обойтись без распределительного аппарата: приходи в кладовую и бери, что душе твоей пожелается...

У севарамбов же осуществляется распределение в зависимости от места потребителя в иерархии государственной власти, а для такого потребления нужны расчет, учет и контроль. Итак:

«Прежде всего они (должностные лица.— Д. Ш.) имеют власть и получают удовольствие от оказываемого им повиновения. Закон разрешает им иметь больше жен, чем другим гражданам, и каждый из них имеет определенное число рабов. Обычно они имеют лучшие жилища, лучшее питание и одежду, чем частные лица» (стр. 438).

Опять рабы! Таким образом, утопическая монархия Вераса, «последовательная и деспотическая», она же и республика, как и обе предыдущие утопии, не обходится без рабства и рабского труда. Но откуда берутся в ней рабы, автор не сообщает...

IV

«Ничего нет легче!»

Мягкие утописты в истории всегда работают в пользу жестких, открывают им дорогу и часто погибают первыми.

В. Рыбаков.

«Вставайте, граф, вас ждут великие дела!» — говорят, что граф Анри Клод Сен-Симон (1760—1825) приказал своему слуге будить себя каждое утро этой фразой.

Граф Сен-Симон видел собственными глазами, чем обернулась на деле триединая формула французских просветителей и революционеров «свобода, равенство и братство». Он наблюдал якобинский и термидорианский террор, возвышение, войны и падение Наполеона и Реставрацию. Казалось бы, это могло натолкнуть пронизательного свидетеля на мысль о сложности взаимоотношений между идеями времени и попытками их исторической реализации. Должна была бы несколько потесниться и вера в необратимость и неуклонность поступательного движения общества от худшего к лучшему. Естественным было бы внимательней отнестись и к смыслу этих определений — «худший» и «лучший». Однако граф Сен-Симон остался неколебимым историческим оптимистом, и его вера в прогресс и во всемогущество разума не омрачилась никакими сомнениями. Столь же неколебима и его уверенность в собственной правоте, в безошибочности своих представлений о мире, человеке и обществе. Как нельзя более ярко выражена эта уверенность в его обращении к философам и ученым:

«Хотите ли вы, господа, организовать? *Ничего нет легче*: выберите одну идею, к которой можно было бы отнести все остальные и из которой можно было бы вывести все принципы в качестве ее следствий.

...эта философия, несомненно, будет основана на идее всемирного тяготения, и все ваши работы с этого момента примут систематический характер» (т. I, стр. 230)⁸.

«Ничего нет легче» — вот постоянный рефрен социальных утопий XVIII—XIX веков, включая марксизм. Утешительное упрощение мира, его закономерностей и взаимосвязей, его явлений и элементов, — эта основа утопического мышления предопределяет и логику Сен-Симона. По его представлению, внешний и личный, то есть

«большой и малый мир представляют явления, абсолютно сходные между собой; вся разница между ними только в размерах и длительности... Все малые миры сходны между собой в наиболее важных отношениях: таким образом, изучая самого себя, я изучаю одновременно всех людей и, сообщая вам свои наблюдения над действиями, которые я счел полезными или вредными для моего счастья, я стремлюсь привести всех людей к гармонии; это главная цель, которую должна себе ставить философия» («Труд о всемирном тяготении», т. I, стр. 243).

При таком подходе к своим и чужим представлениям о вреде и пользе, о счастье и горе и т. д. нет необходимости знакомиться с чьим бы то ни было толкованием этих понятий кроме своего собственного. Все таковы, как я, — поэтому моя воля есть одновременно и выражение воли всех и каждого.

Как большинству утопистов, будущее представляется Сен-Симону абсолютно предвидимым. Как и у Маркса, Энгельса, Ленина, однозначная предсказуемость будущего отражена в сочинениях Сен-Симона в постоянной замене грамматической формы будущего времени глаголов их настоящим, а то и прошедшим временем:

«Если философ бросит взгляд на жизнь народов в прошлом, он увидит в большинстве случаев, что они борются между собой силой оружия; обращаясь к будущему, он увидит, что они соперничают между собой на трех главных поприщах: нравственности, знания и промышленности»⁹.

Будущее можно «увидеть» с достоверностью, достаточной для того, чтобы без всяких сомнений руководствоваться увиденным.

Будучи убежденным в том, что личный и внешний («малый» и «большой») миры развиваются по одним и тем же законам, Сен-Симон распространяет свою схему индивидуального развития на развитие нации. По его представлению, индивидуаль-

⁸ Сен-Симон. Избранные сочинения в двух томах. М. — Л. Издательство Академии наук СССР. 1948. В дальнейших ссылках том и страницы указываются в тексте. Другие источники оговорены особо.

⁹ «Великие утописты. Сен-Симон, Фурье и их школы». М. — Л. 1926, стр. 89

ный рост сопровождают «три кризиса»: в семь лет («кризис прорезывания зубов»), в четырнадцать лет (половое созревание) и в двадцать один год (завершение морального и физического развития).

«...сейчас французский народ (оказавшийся благодаря революции во главе цивилизованного человечества)... перенес свой третий кризис; и... его социальный возраст соответствует двадцати одному году у индивидуума» (там же, стр. 88).

Сен-Симон уверенно отбрасывает «ложное и подавляющее подростковое представление, что добро предшествовало злу» (там же, стр. 89). Добро в его «малом» и «большом» мирах неуклонно растет, и движение из настоящего в будущее синонимично автоматическому накоплению блага. Судя по его сочинениям, в «малом» мире самого Сен-Симона господствовала благожелательность по отношению ко всему человечеству, и это свое качество он великодушно приписывает большинству людей. Однако в обществе есть слои, на которые его благожелательность не распространяется, и, как мы увидим ниже, эти слои обречены на исчезновение. Как они будут ликвидированы, их гонитель читателям не разъясняет.

Обращаясь со всеми своими проектами прежде всего к французскому королю, Сен-Симон много раз повторяет, что все его предложения должны осуществляться мирными средствами. В этом сказывается, очевидно, свежесть воспоминаний об издержках революционного преобразования французского общества. Тем не менее, требуя всепроникающего изменения привычного способа существования нации, Сен-Симон замечает, что «это изменение должно совершиться именно резко и сразу» (т. II, стр. 346).

Обосновывая желательность и возможность резкого и быстрого перехода к новому строю, Сен-Симон использует свой излюбленный метод доказательства — распространение хода событий прошлого на будущее. Но беда в том, что истинное течение событий прошлого предстает в этой экстраполяции решительно искаженным. Сен-Симон утверждает, что политеизм сменился монотеизмом «резко и сразу»; также и римская «власть консулов и проконсулов была сразу заменена властью вождей» германских племен. Также «рабство сразу изменило свой характер», сменившись крепостничеством. Процессы сложные, многоаспектные и разнообразные, в разных конкретных случаях весьма растянутые во времени (на протяжении ряда поколений), представляются Сен-Симону издалека сжатыми до некоего точечного скачка. Затем из приведенных выше примеров снова следует решительный вывод о том, что изменения системы происходят сразу.

Не является ли, однако, это нетерпеливое и категорическое «резко и сразу», и притом глобально, на всем общественном поле, одной из главных особенностей направления мысли, развившегося в марксистский социализм?

Что же именно хочет насадить в обществе Сен-Симон «резко и сразу»? Его проект достаточно строен и прост на бумаге, чтобы в своем законченном виде оказаться неосуществимым как некое целое в нестройной и непростой реальности.

В рассуждениях Сен-Симона есть отдельные реалистические соображения относительно упорядочения некоторых конкретных сторон национально-хозяйственной жизни, в первую очередь аграрной. Иногда кажется, что Сен-Симон поглощен лишь установлением «идеального буржуазного права» (К. Маркс) во всех сферах отечественной экономики и что в этом смысле его нетерпение лишь опережает процессы, которые развернутся в Европе в XIX — начале XX века. Но стоит нам выйти вместе с автором за пределы его чисто хозяйственных и некоторых других сугубо конкретных размышлений и предложений, как мы попадаем из житейских будней в хорошо нам знакомое по предыдущим утопиям царство централизованного совершенства. Единый и всеобъемлющий план, как некий молах, пожирает на наших глазах общественную свободу и независимость граждан.

Главная идея Сен-Симона состоит в том, чтобы, сохранив на вершине иерархии королевскую власть, исключить из этой иерархии аристократию и бюрократию, как старую, так и новую, и все административные (хозяйственные и политические) полномочия передать промышленникам, коммерсантам и финансистам: Сен-Симон безоговорочно уверен в умственном и нравственном превосходстве буржуазии над аристократией и не сомневается, что буржуазия с помощью ученых и людей искусства сумеет собственноручно организовать государственные дела к наибольшей пользе всего общества:

«...народная пирамида должна быть возглавляема королевской властью. но мы утверждаем, что от основания пирамиды и до ее вершины слои должны состоять из все более и более ценных материалов. Когда же мы рассматриваем современную пирамиду, нам кажется, что ее основание из гранита, что до известной высоты ее слои состоят из очень ценных материалов, но что ее верхняя часть, поддерживающая великолепный алмаз, есть не что иное, как позолоченный гипс» (там же, стр. 330). Далее следует такая классификация

современных автору общественных отношений, господствующих во Франции: основание пирамиды — «рабочие, занимающиеся ручным трудом» (ручной труд следует понимать как труд физический); «первый слой» — «руководители промышленности, ученые... и люди искусства»; «верхние слои» («простой гипс») — «придворные... вообще все дворяне, старые и новые... богатые туняды... правители, начиная от первого министра» (там же, стр. 330—331).

Необходимо для достижения совершенного строя «резко» и «сразу» убрать весь «гипс» и возложить прямо на «очень ценные материалы» «алмаз королевской власти».

Каждому из высоких слоев иерархической пирамиды, кроме рабочих, поручается в утопии Сен-Симона, помимо их повседневной, так сказать, классовой деятельности, своя управленческая задача.

Правительственную власть во главе с королем Сен-Симон предлагает свести к преследованию «бездельников, которые всегда будут склонны нарушать общественный порядок» (там же, стр. 357), оставляя за королевским правительством чисто полицейские и военные функции. Ученые, избранные для этого королем, делятся на две группы. Одна из них должна заняться «составлением хорошего кодекса интересов, а другая — разработкой кодекса чувств» (там же).

Поразительна, с одной стороны, жестокость, с которой Сен-Симон полагает возможным «резко и сразу» выбросить из жизни целый общественный слой, точнее — слои. С другой стороны, ошеломляет наивность, позволяющая ему надеяться централизованно избобрести или отобрать полезные интересы или хорошие чувства и тут же внушить их каждому члену общества (за редкими криминальными исключениями).

«Кодекс интересов» для всех членов общества разрабатывается с помощью экономистов, а «кодекс чувств» — с помощью «моралистов и теологов» (там же, стр. 358). К создателям «кодекса интересов» и «кодекса чувств» присоединяются еще и юристы — для обеспечения правового характера внедрения обоих кодексов. Во главе всего процесса, над академией наук («кодекс интересов») и академией искусств («кодекс чувств»), должна стоять академия философии — высший орган власти духовной, — каковую представляют собой совокупно все три академии.

«Руководство светской властью должно быть поручено самым значительным сельским хозяевам, фабрикантам, торговцам и банкирам» («совет промышленников», имеющий «право включать в свой состав служащих», которых сочтет отличившимися и достойными) (там же, стр. 359).

Этой администрации будет поручено «составление, рассмотрение и приведение в исполнение полезных для населения проектов.

...в этом великом деле люди искусства, люди с богатым воображением пойдут впереди» (там же, стр. 335).

«Ученые... докажут возможность большого подъема благосостояния всех классов общества, как самого многочисленного класса пролетариев, так и класса самых богатых людей. Они выяснят наиболее верные и быстро действующие средства обеспечить непрерывность труда массы производителей; они разработают основные начала общественного образования, они установят законы гигиены социального организма, и в их руках политика станет дополнением к науке о человеке.

Самые выдающиеся промышленники, сосредоточивая все свои мысли на производстве, обсудят, что может быть немедленно проведено в жизнь из тех проектов, которые задуманы и разработаны в общественных интересах совокупными трудами людей науки и искусства; они обдумают средства исполнения и руководство ими предоставят банкирам, стоящим всегда во главе финансовых дел» (там же, стр. 336).

Это

«путь административной власти — твердый, прямой и честный» (там же).

«Когда королю будет угодно поручить высшее руководство общественными делами промышленной администрации, расходы по управлению... чрезвычайно уменьшатся» (там же, стр. 341).

Таким образом, все честные промышленники, коммерсанты и финансисты заняты в действительности делами общими, и все дела государства решаются представительными органами этих слоев населения централизованно. «Кодекс интересов» и «кодекс чувств» для каждого гражданина, о которых сказано выше, призваны обогатить и гармонизировать жизнь всех членов общества. Поскольку в глазах Сен-Симона все «малые» миры (личности) решительно сходны между собой, то и очистительно-возвышающая стандартизация их интересов и чувств представляется ему задачей несложной. Но современному человеку трудно забыть, что наиболее полная попытка стандартизации интересов и чувств была произведена в Камбодже «красными кхмерами». Там предписывалось улыбаться при казнях близких и слезы

на глазах зрителей рассматривались как государственное преступление! Известная степень поведенческого и духовного единообразия насаждается при любом тоталитарном режиме. Разумеется, Сен-Симон предусматривает внушение обществу только правильных и возвышенных интересов и чувств. Но сами понятия правильности и возвышенности определяются его верховными учреждениями. Они не могут соответствовать всем субъективным критериям и поэтому не могут не быть насильственными. Смена интересов и чувств представляется Сен-Симону чем-то подобным распространенной в нынешней научной фантастике замене блоков сознания у роботов: один блок вынул — другой поставил. Мысль же о непреодолимых трудностях централизованной выработки программы действительно оптимальных не только интересов, но еще и чувств не посещает Сен-Симона вообще.

Ранние утопии были весьма проникательны, когда предполагали, что насаждаемые ими «правильность» и единообразие потребуют жесточайшего принуждения. Сен-Симон благодушен и лишен подозрительности: ведь его «кодексы» безошибочны и прекрасны; их составителям они нравятся, а все сознания (все «малые» миры) устроены одинаково; кто же будет отказываться от этих «кодексов»? Поэтому и предусмотрено лишь правовое, а не насильственное насаждение хороших интересов и чувств.

Многообразные социализмы конца XVIII — XX веков сохраняют в теории простодушное убеждение, что они должны (и будут!) нравиться подавляющему большинству своих подопечных. Поэтому обязательность для всех членов общества одной господствующей идеологии не связывается в их обещаниях и пророчествах с постоянным насильем. Но от всей массы намерений и надежд, которые обуревают социалистов-теоретиков, еще не видевших претворения своих надежд в действительность, у социалистов — практиков и победителей остается только уверенность в своем праве навязывать всему обществу свою игру. Почему так? Потому что все прочее: централизованная выработка наилучших программ миропонимания, чувствования и поведения; централизованное же «резкое и скорое» воспитание из каждого гражданина «правильно» мыслящего и «правильно» чувствующего человека; своевременное, безошибочное и тоже централизованное планирование и проведение в жизнь наилучшего варианта всех протекающих в обществе социально значительных процессов, — невыполнимо. Но без абсолютной централизованности управления (в качестве предварительного условия всеблагого порядка) как же достичь всеобъемлющей плановости и все предусматривающей рациональности нашего разнородного бытия? Это предварительное условие выполнимо, и оно выполняется. Последующие шаги построения идеального общества невыполнимы, и они, естественно, не осуществляются.

Но, обретя власть, люди, как правило, отказываются от нее не хотят. И, став монопольными правителями, вчерашние спасатели человечества делаются всего-навсего яростными охранителями как-то сколоченного ими порядка, дающего им исключительные полномочия и преимущества.

* * *

Новейшие социалистические теории чаще всего связаны с решением судеб пролетариата. Какое место занимает пролетариат в утопии Сен-Симона?

Отношение протосоциалиста Сен-Симона к пролетариату отличается некоторой непоследовательностью. С одной стороны, он уверяет, что французские пролетарии уже доказали свою способность управлять собственностью (см. там же, стр. 318) и что пора поэтому создать такие экономические обстоятельства, чтобы как можно большее число пролетариев постепенно обрело собственность. С другой стороны, он замечает, что «для класса пролетариев воспитание бесконечно важнее образования» (там же, стр. 324), что надо бы в ближайшие десять лет «обучить чтению, письму и счету всех пролетариев Франции» (там же), что «их можно было бы... обучить немного рисованию и музыке и использованию изящных искусств как средства воодушевления на общее благо» (там же). Сен-Симон несколько раз предлагает признать пролетариев «равноправными членами общества» и «произвести революцию в собственности», которая «призвала бы ко владению большее число пролетариев», но как это сделать, не говорит. Сказано только, что предварительно пролетарии «неизбежно должны... показать себя способными к управлению собственностью» (там же, стр. 362). Но как они могут это сделать, не имея собственности?

* * *

Советские авторы всегда отмечают в качестве слабости учения Сен-Симона сохранение им частной собственности на землю и средства производства. Но тут же смягчают его вину, напоминая, что частная собственность не помешала Сен-Симону

вести в систему всеобъемлющую централизацию, сводящую частнособственнические слова к пустой формальности. И они правы. Частная собственность Сен-Симона есть скорее форма государственного поручения, чем атрибут независимой хозяйственной деятельности. При этом, как и в более ранних утопиях, механизма, который позволил бы обществу как-то контролировать стоящие над ним управляющие инстанции, в его проекте нет. Можно было бы предположить, что Сен-Симону затем и нужна в его совершенном обществе королевская власть, чтобы она, стоя выше всех прочих правительственных институтов и не будучи связанной ни с одним слоем народа больше, чем с прочими, контролировала качество управления. Однако и королевская власть должна во всем руководствоваться рекомендациями своих советников. Впрочем, король необходим, по Сен-Симону, и для того, чтобы дать «начальный толчок» новой вселенной: сломать старую машину власти, изгнать из общества аристократию и бюрократию и отобрать достойнейших граждан в новые органы управления, которые затем станут фактически и над королем.

Подобно большинству протосоциалистов и социалистов, Сен-Симон неизменно смешивает формулировку задачи с изложением способа ее решения, принимая первое за второе.

«...закон должен установить такую политическую систему, в которой управление общими интересами будет поручено людям, отличающимся наиболее положительными и наиболее полезными обществу способностями; правительство должно применять распорядительные действия только по отношению к таким людям, поведение которых угрожает взмутить общественный порядок» (там же, стр. 319).

Или: необходимо добиться того,

«чтобы управление общественным достоянием находилось в руках людей, наиболее способных к управлению и наиболее заинтересованных в том, чтобы управлять хорошо, т. е. в руках людей, занятых в наиболее важных отраслях промышленности, и благодаря этим основным законоположениям общество получит организацию, вполне удовлетворяющую разумных людей всех общественных классов» (там же, стр. 327).

По ходу чтения этих рекомендаций возникает вопрос: как и на основании каких критериев следует отбирать людей, «отличающихся наиболее положительными и наиболее полезными обществу способностями», «наиболее способных к управлению и наиболее заинтересованных в том, чтобы управлять хорошо»? Кто будет производить отбор? Из чьих и каких кандидатов?

Сен-Симону представляется, что этот вопрос им решен. Он утверждает, что «люди, которые вызвали революцию, те, которые ее направляли, и все те, которые с 1789 г. и до нашего времени были вождями народа, совершили огромную политическую ошибку... Они должны были бы начать с постановки вопроса, который очень просто и легко разрешить» (там же, стр. 328).

Они должны были понять,

«кто те люди, которые при данном состоянии нравов и просвещения наиболее способны хорошо руководить национальными интересами?».

И тогда

«они заключили бы, что людям науки, искусства и промышленности и следует вручить административную власть, т. е. заботы о руководстве национальными интересами, функции же правительства следует свести к поддержанию общественного спокойствия» (там же, стр. 329).

Иными словами, надо заменить одних управляющих другими, и много классового происхождения, — и все управленческие проблемы будут разрешены.

У Маркса и Энгельса тоже имеется рекомендация не совершенствовать после революции «государственную машину», а сломать ее и функции высшего стратегического управления поручить пролетариату. Чиновников же, составляющих государственный аппарат, на недолгое время, пока государство не отомрет, Маркс и Энгельс советуют низвести на положение простых исполнителей, скромных слуг общества, контролируемых рабочими. Таким образом, различие между Сен-Симоном и Марксом в этом вопросе сводится к тому, что они рекрутируют своих идеальных управляющих из разных слоев общества: по Сен-Симону — это буржуазия и интеллигенция, по Марксу — пролетариат. Легко заметить, что Сен-Симон в этом вопросе несколько реалистичней Маркса: пролетариат по своей классовой роли еще менее способен и подготовлен к администрированию, чем буржуазия и интеллигенция.

Но в конечном счете и Сен-Симон в этом своем воззрении утопичен: изо дня в день эффективно совмещать свою профессиональную классовую деятельность с администрированием общегосударственного порядка (как того требует Сен-Симон от предпринимателей, коммерсантов, финансистов, ученых, философов и людей искусства, а Маркс — от пролетариев) не может в современном обществе ни один

его слой. Современному государству необходимы профессиональные руководители и администраторы. Речь может идти лишь о приближении последних к интеллигенции по уровню образованности и общей культуры, но и образование управляющих становится все более специализированным. Важно, кем и как избираются и переизбираются лица, действительно исполняющие функции всенародной власти. Есть ли у них на выборах настоящие конкуренты? Свободна ли гласность и узаконена ли оппозиция между выборами? Но этим вопросам Сен-Симон внимания не уделяет. Он глубочайше уверен (и в том ему следуют Маркс, Энгельс и дооктябрьский Ленин), что уже к началу XIX столетия задачи управления государством, обществом и его хозяйством в силу всеобщей и все возрастающей цивилизованности упростились до крайности.

Еще в начале XIX века стало, по мнению Сен-Симона,

«и небольшой затраты сил достаточно для поддержания общественного спокойствия; большинство полюбило труд (а это исключает всякое стремление к беспорядкам) и состоит в наше время из людей, уже доказавших свою способность управлять движимой и недвижимой собственностью» (там же, стр. 326).

Многokrатно повторяя (как уже было сказано), что частной собственностью следует наделить как можно большее число граждан и что французы начала XIX столетия созрели для такого перераспределения их национального достояния, Сен-Симон тем не менее предельно централизует и этатизирует (огосударствливает) распоряжение этим, казалось бы, частным имуществом. Иными словами, он предусматривает очень высокую степень упорядоченности в распоряжении частной собственностью, причем упорядоченности централизованной, вплотную приближаясь к прусскому этатическому социализму О. Шпенглера и к марксизму. Но культу чиновника, присущему Шпенглеру, и культу пролетария, характерному для Маркса, соответствует у Сен-Симона культ философа, промышленника, ученого и артиста.

* * *

Если бы меня попросили ответить, не долго думая, что представляется мне главным в утопии Сен-Симона, я бы, пожалуй, сказала так: жизнерадостное упрощение всего и вся и проистекающий из этого упрощения беспочвенный оптимизм.

Миром природы, общества и человека управляет один закон — закон всемирного тяготения. Все явления и плоскости бытия подчинены одному и тому же набору немногочисленных и простых правил. Все процессы в природе, в обществе и в человеке поддаются исследованию, постижению и упорядочению. Сен-Симон их постиг и знает, посредством каких нововведений можно их упорядочить. Хорошо изучив себя, ты постигаешь все человечество. Золотой век не позади нас, а впереди. Все движется от худшего к лучшему. Человечеству предстоят долгие, хотя и не бесконечные, тысячелетия счастья, если оно мирно примет открытую Сен-Симоном простую и гармонически совершенную систему самоорганизации. Несколько толковых комиссий, составленных из интеллектуалов и буржуа, философов и людей искусства, легко выработают за общество, для всех и каждого, наилучшие кодексы их интересов и чувств, а также спроектируют и будут безошибочно проектировать в дальнейшем их деятельность. И общество начнет со счастливой готовностью в огромном большинстве своем исповедовать эти кодексы и вершить предложенные ему дела, чем обеспечит свое процветание. Не исключено, что мир действительно управляется относительно немногими и простыми законами. Но эти законы реализуются в бесчисленных и разнообразных комбинациях, не знающих абсолютной тождественности друг другу, чего Сен-Симон не чувствует.

Нелицемерно исследовав свое «я» со всеми его озарениями, подпольями и лабиринтами, можно и в самом деле многое узнать о других людях, о человеке как таковом. Не случайно один из наиболее общих нравственных принципов — главная заповедь великих религий — гласит: не причиняй другому того, чего ты сам не хотел бы претерпеть от других. Но означает ли это, что следует всех мерить на свой аршин и предполагать, как это делает Сен-Симон, во всех людях свои побуждения, мораль, этику, цели?

Чем свободней и плюралистичней общество, чем лучше работают в нем механизмы удовлетворения разноречивого спроса его сочленов, тем судьбоносней для всех и каждого содержание этого спроса. Сам конкурентный рыночный механизм не имеет моральных и экологических критериев и удовлетворяет практически любой платежеспособный и технологически реальный спрос. Поэтому так важно знать, что полезно и нравственно у него просить. Заявленная Сен-Симоном (ему казалось, что решенная им) задача цивилизации и спроса (возвышения наших интересов и чувств) действительно первостепенно важна. Но если поставить, как того требует Сен-Симон, над обществом некую олигархию и сделать ее критерии обязательными

для всех и каждого, общество окажется у нее в плену. Претензия же этой инстанции централизованно вырабатывать за весь народ мерила, интересы и вкусы неминуемо сделает ее управление произвольным и деспотическим, ибо иначе как мнимо и произвольно «решать» нерешимые задачи нельзя.

На самом деле задача состояла и состоит в построении или сохранении и совершенствовании такого общества, которое имело бы внутри себя механизмы оперативного удовлетворения своего разногласного спроса и одновременно достаточно хорошо (последнее оказывается труднее всего) справлялось бы с опасными для себя тенденциями этого спроса. Достаточно хорошо — для чего? Для сохранения своей устойчивости, нравственного здоровья, безопасности и одновременно свободы своих граждан и групп. Свободы — в пределах, не угрожающих благополучию окружающих, и устойчивости в пределах, не исключающих плюрализма и совершенствующей изменчивости. «Простого и скорого» решения у этой задачи нет. Эта задача рождается постоянно и разрешается с большим трудом, с тяжелыми издержками, чаще хуже, чем лучше, конкурентной демократией (в том числе в форме конституционной монархии) повсеместно и ежечасно. Но когда прекращается конкуренция и какая-то сила присваивает себе монопольное право определять за все общество, что ему нужно и чего не нужно, демократия умирает. И вместе с ней умирает надежда на удовлетворительное решение упомянутой выше перманентной задачи.

V

Гармония Шарля Фурье

Марксистская традиция относит Фурье, как и Сен-Симона, к числу социалистов-утопистов. Однако и Сен-Симон и Фурье (1772—1837) считали свои сочинения научными и свои проекты — открытиями, а не предложениями или программами¹⁰. Подобно им Маркс называл научным открытием свою идею диктатуры пролетариата¹¹. Глобально-преобразовательная социальная мысль, как правило, принимает свои программы и прогнозы желательного для нее будущего за открытия чего-то имеющего объективную неизбежность возникнуть в природе. Глубокая вера в то, что нечто всего лишь предположенное или желаемое открыто, то есть опытно установлено, порождает гипнотизирующую безапелляционность суждений и тона. А поскольку во множестве слушателей и читателей присутствует то же самое стремление верить, что и в создателе утешительной доктрины, то за последней и закрепляется слава открытия, а не всего лишь предположения. Между тем относительно будущего принципиально нельзя совершать открытий, будущее — это поле гипотез и планов. Последнее надо бы иметь в виду, внимая призывам переделать мир согласно какой бы то ни было (сколь угодно соблазнительной) модели светлого будущего.

К чести Фурье следует сказать, что он, как и Сен-Симон, призывал лишь к мирному и добровольному испытанию своего проекта. Но его убежденность в безошибочности всего им «открытого» была столь глубока и выражалась так страстно, что его последователи вскоре заторопились действовать куда решительней, чем их учитель, и начали призывать к революции (в варианте российском, народническом, — «к топору»). Страсть человеческого ума строить упорядоченные модели всего существующего — страсть естественная, неистребимая и порой продуктивная. Но Фурье подвержен ей маниакально, хотя эта страсть и не числится в усмотренной и описанной им иерархии страстей человеческих. С категорическим и наивным апломбом он многократно отождествляет свои модели мира, человека и общества с замыслом Бога о мире, человеке и обществе:

«Когда я узнал, что общественный порядок, основанный на прогрессивных сериях (объяснение этому термину см. в главе об организации труда в фаланге. — Прим. составителя упомянутой книги), обеспечивает полное развитие влечений всех полов, возрастов и классов, что в этом новом порядке сила и благосостояние отдельных индивидуумов будут тем больше, чем больше они будут иметь страстей, — я пришел к следующему выводу: если Бог дал столь большое влияние притяжению страстей и столь мало значения противоположному ему началу, то только для того, чтобы указать нам путь к этому порядку

¹⁰ Все цитаты по книге «Великие утописты. Сен-Симон, Фурье и их школы». М.— Л. 1926. Страницы указаны в тексте после цитат.

¹¹ А. Авторханов заблуждается, считая идею диктатуры пролетариата для Маркса второстепенной. Напротив, Маркс полагал ее главным лично своим открытием (см. его письмо Вейдемейеру от 5 марта 1852 года).

прогрессивных серий, порядку, всецело основанному на законе притяжения... и отсюда я пришел к *аналитическому и синтетическому исследованию притяжения и отталкивания страстей*, которое и привело меня непосредственно к открытию земледельческой ассоциации (т. е. к открытию плана организации земледельческо-промышленных общин, пример которых должен изменить весь существующий общественно-хозяйственный порядок.— Прим. составителя книги)».

Причудливым образом видение будущего, предстающего перед Фурье, облечено им в математические одежды:

«Теория притяжения и отталкивания страстей имеет характер математической теории» (стр. 228).

Подробнейше и многократно произведя классификацию, подсчеты, измерения (по какой-то странной шкале) владеющих человеком страстей, дав им диковинные названия и малодоступные истолкования, Фурье заключает:

«Таким образом была открыта новая точная наука, *аналогия четырех движений: материального, органического, животного и социального*, или аналогия модификации материи с математической теорией притяжения страстей» (там же).

«Я узнал вскоре, что законы притяжения страстей во всем сходны с законами материального притяжения, открытыми Ньютоном и Лейбницем» (там же).

Приковывает к себе внимание следующая автохарактеристика:

«Я приношу больше новых наук, чем было найдено рудников золота при открытии Америки. Но, не имея необходимых знаний, чтобы разобрать все эти науки, я беру на себя только одну — науку о социальном движении. Я предоставляю все остальные ученым... которые сумеют воздвигнуть на заложенном мною фундаменте величественное здание» (там же).

«Была открыта новая точная наука», «я узнал», «я открыл», «на заложенном мною фундаменте», «я приношу больше новых наук...» (там же), «когда я был еще новичком в деле вычисления связанной с каждой отраслью индустрии дозы влечения» (стр. 294) — все это, повторяю, сказано с неподдельной серьезностью и с неподражаемой самоуверенностью, которую нисколько не ослабляет признание в недостатке «знаний, чтобы разобрать все эти науки».

Свою модель будущего общества Фурье называет комбинированным порядком.

И далее следуют «математизированные» примеры соответствия страстей человеческого замыслу Бога о человеке и обществе. К примеру: три четверти девушек не любят домашнего хозяйства и, напротив, имеют «большое влечение к украшению, волокитству и мотовству» (стр. 230).

Но порочны не эти девушки, а современный социальный механизм: десять тысяч лет велось разобщенное хозяйство, и все женщины были им заняты. Но семьдесят тысяч лет хозяйство будет вестись ассоциацией коллективно («комбинированный порядок»), и для этого хватит поочередной работы для четверти или одной шестой женщин. Остальные смогут предаваться своим природным страстям. Итак, порочны не три четверти женщин,

«а лишь цивилизация и философия, не соответствующие природе страстей и предначертаниям Бога» (там же).

Фурье уверен, что

«тот же самый аргумент можно привести по отношению к каждой из других отраслей, которые именуется у вас порядками... все наши страсти и черты характера хорошо и разумно распределены... надо их развивать, а не исправлять природу» (там же).

«...обязанности исходят от людей, влечение — от Бога» (стр. 231).

И Фурье перечисляет те фундаментальные страсти,

«к которым стремятся люди всех положений, всех возрастов. Эти страсти суть: 1. Люксизм — или стремление к роскоши. 2. Группизм — или стремление к образованию групп. 3. Серизм — или стремление к образованию серий» (стр. 232).

«Люксизм» и «группизм» понятны по определению. К «серизму» мы еще возвратимся. Кроме этих трех главных страстей, Фурье называет, многократно определяет, соизмеряет и комбинирует двенадцать страстей второстепенных:

«Мы будем иметь часто случай возвращаться к этому подразделению 12 второстепенных страстей на 5 телесных, или чувственных, 7 душевных, отражающих душевные движения (таковы 4 нежных, трогательных и 3 направляющих), и их общий очаг или ствол — *Унитеизм*, страсть, заключающая в себе три первоначальных ветви и являющаяся результатом их совместного действия. Унитеизм есть стремление человека, направленное к тому, чтобы согласовать

свое счастье со счастьем всех окружающих... Это — безграничный филантропизм» (стр. 233).

Из многообразных оттенков всех страстей и их многократно рассмотренных автором различных сочетаний и переплетений возникает, по Фурье, «бесконечное разнообразие характеров, которые, впрочем, можно свести к 800 (810) типичным чертам. Природа случайным образом распределила эти черты между детьми обоих полов, но с таким расчетом, что между 800 (810) детьми, взятыми без предварительного отбора, можно найти зародыши всех совершенств, которых могут достигнуть человеческая душа и ум, т. е. что каждый из них обладает в зародыше способностью сравняться с наиболее гениальными людьми всех времен и народов, как Гомер, Цезарь, Ньютон и т. п. Следовательно, если разделить на 800 (810) цифру в 36 миллионов, которой достигло население Франции, то окажется, что в этом государстве существует 45 000 лиц, способных сравняться с Гомером... Демосфеном и т. д., если бы они... получили *естественное воспитание*, развивающее все склонности, вложенные в нас природой. Но это воспитание может иметь место только при строе прогрессивных Серий, при режиме Ассоциации. Можно заключить отсюда — какова в этом новом порядке будет роль великих людей различных родов деятельности, если население одной Франции может дать их по 45 000 в каждой отрасли» (стр. 237).

Серьезность этих расчетов не требует особого комментария. Но Чернышевский, его окружение и последователи принимали, по-видимому, такие расчеты всерьез (как и переводивший Фурье с французского на немецкий молодой Энгельс). О каких качествах умов и душ бесчисленных разноплеменных фурьеристов это свидетельствует, судить не берусь. На мой взгляд, подобная загадка неразрешима.

Итак, все рассмотренные Фурье страсти, воплощенные в 800 (810) характерах, «и ведут общество к установлению общественного и домашнего механизма, совершенно неизвестного при цивилизации, но известного первобытному обществу. Это — потерянный секрет счастья, который нужно вновь открыть. Исследование Гармонии страстей таким образом должно быть направлено на искусство образовать и механизировать серии групп» (стр. 233).

Фурье, как вскоре после его кончины Маркс и Энгельс, видит цель своей деятельности в восстановлении некоей модернизированной идеализации первобытнообщинного равенства. Первобытнообщинный строй воспринимается всеми тремя как утраченный золотой век. О жестокости первобытной половозрастной иерархии, столь близкой к физиологической иерархии стада, они ничего не знают. Нет сословий и производственных классов — значит, нет неравенства. Нет неравенства — значит, господствует «потерянный секрет счастья, который нужно вновь открыть». Это спиралевидное движение вверх и одновременно вспять есть, по-видимому, идеал реактивный — отталкивание от многосложной и противоречивой действительности к мнимой простоте модернизированного прошлого.

Итак, счастья человечество достигнет тогда, когда оно поймет и примет «законы движения» и «притяжения», перенесенные Фурье в личную и социальную сферы существования. Характерно, что эти законы, несмотря на их, по убеждению Фурье, объективность, не самопроявляются до «открытия» и принятия их человечеством, то есть без их сознательного исполнения, хотя как некие органические алгоритмы человеческого бытия они должны были бы действовать и независимо от воли людей. Однако здесь вмешивается и нарушает оптимальное течение исторических и доисторических событий свобода выбора, которой наделено человечество. Так, первая фаза, или «детство человеческого рода», должна была, по Фурье, продолжаться пять тысяч лет (см. стр. 239). Однако люди благодаря полученной ими от Бога свободе выбора и из-за неточности своих наук произвольно затянули этот период на семь тысяч лет. Но появление учения Фурье дает, по его утверждению, основания надеяться, что человечество вскоре перейдет к истине самопонимания и к освоению правильных законов своего развития. «Социальное движение будет иметь правильный ход» (стр. 240) и после «долгого периода счастья» (семьдесят тысяч лет), когда все «изменения будут лишь вариациями наслаждений, а не опустошительными революциями» (там же).

По-видимому, все эти сроки, как и у Сен-Симона, обусловлены переносом усредненной схемы индивидуального бытия (с продолжительностью жизни примерно в восемьдесят лет) на человеческую историю, причем все сроки увеличиваются в 1000 раз. Предполагается, что, если бы первобытное общество могло обрести современную Фурье технологию и правильное представление о себе, человечество сразу перешло бы от него к Гармонии.

Переход от «разобщенного общества» к «обществу простых серий» «может быть достигнут лишь на основе преобразования индустрии и домашнего хозяйства, а не административных систем, которыми исключительно занимается философия» (стр. 241—242).

Придание определяющей роли экономике, способу производства, а не политическим надстройкам над ним тоже предвосхищает марксизм. Далее следует патетическая критика всех фаз и периодов «разобщенного мира». И наконец ставится главная задача, долженствующая объединить все ценные силы и умы цивилизованных обществ:

«...найти новый социальный порядок, который обеспечил бы последнему из производителей благосостояние в таких размерах, чтобы он постоянно и добровольно предпочитал свой труд тому состоянию безделья и разбойничества, к которому он стремится в настоящее время» (стр. 248).

По глубочайшему убеждению Фурье, он этот новый порядок нашел.

Что же такое «серии групп» — основа основ фурьеристской Ассоциации, заполнившей европейскую (в том числе и, может быть, наиболее сильно — российскую) мысль XIX столетия и достаточно притягательной и теперь? Правда, сегодня предметом симпатий служит тенденциозный пересказ фурьеризма, а не его первоисточники.

«Серии групп» — это прежде всего такие человеческие объединения, объемлющие все общество, которые исключают существование паразитов, наводняющих общества цивилизации. Обещая осуществить все свои нововведения мирно, Фурье, однако, предусматривает изменения столь радикальные, что с ним в этом смысле могут соперничать только Ткачев или Пол Пот. Об этом свидетельствует таблица «непроизводительной части населения в Цивилизации» (стр. 256), которая должна функционально исчезнуть или преобразиться в условиях Ассоциации. Заметим, что паразитами у Фурье оказываются все те, кого Сен-Симон считает самыми ценными элементами общества («фабриканты, коммерсанты, купцы»). Приводим здесь таблицу Фурье:

«Домашние паразиты: 1. Женщины. 2. Дети. 3. Прислуга.

Социальные паразиты: 4. Армии сухопутные и морские. 5. Агенты по сбору налогов. 6. Фабриканты. 7. Коммерсанты и купцы. 8. Агенты транспорта.

Побочные паразиты: 9. Гуляющие по закону. 10. Софисты. 11. Праздные люди. 12. Отщепенцы».

Все перечисленные категории паразитов делятся на два класса, названных Фурье стержневыми:

«13. Агенты положительного разрушения. 14. Агенты отрицательного производства».

Существование «домашних паразитов» обусловлено расточительностью и индивидуализмом посемейного домашнего хозяйства и развращающим недоиспользованием детского труда. К числу паразитов отнесены «три четверти городских и половина сельских женщин». С прислугой и домохозяйками все ясно: они самоликвидируются при исчезновении семьи в ее современном смысле слова. О том, как исключается из быта Ассоциации детский паразитизм, несколько ниже. К детям и семье как таковой Фурье относится с отчетливой неприязнью — так же, как и к занятым семейными делами женщинам. Не исключено, что бездетный и холостой Фурье реализует при этом некоторые свои комплексы.

Вторая категория паразитов вызывается к жизни войнами или ожиданием таковых, современной Фурье организацией производства и торговли и т. д. Рассыпая, как всегда, щедрые количественные характеристики, Фурье сообщает, что Ассоциация устранил нужду

«в половине фабрикантов, $\frac{9}{10}$ купцов и коммерческих агентов, $\frac{2}{3}$ агентов морского и сухопутного транспорта».

Полностью исчезнут контрабандные виды транспортировки товаров и торговли ими и сбор налогов.

«Гуляющие по закону» — это либо безработные, либо отпускники, либо отдыхающие и празднующие (праздников при Цивилизации существует, по мнению Фурье, непозволительно много), либо прогульщики. С не меньшей тщательностью, чем страсти, характеры, таланты, фазы и периоды, Фурье подсчитывает недельные разговоры, лишние взгляды и движения современных ему рабочих, резко снижающие производительность их труда.

К числу «софистов» — следовательно, паразитов — относятся все те писатели и философы, которых Фурье не считает «правильными» и необходимыми, — хороший прецедент грядущей социалистической литературной политики. Сюда же относятся и их читатели, а также $\frac{19}{20}$ адвокатов, свидетели в суде, путешественники, экономисты, думающие иначе, чем думает Фурье, и т. п. (см. стр. 259).

Примечательно, что и ранние утописты и Фурье негативно относятся к развернутой правовой судебной-следственной процедуре. Перечень паразитирующих «софистов» всех видов показывает, сколь широкий спектр профессий, воззрений и действий будет считаться нежелательным или недопустимым в новом обществе.

Томас Мор яростно ополчался против бродяг и самовольных разъездов — Фурье обличает паразитизм путешественников. Очевидно, всепроникающая упорядоченность миров Гармонии решительно не терпит свободы передвижения, предвосхищая тем самым мир реального социализма.

Глубочайшая уверенность, что всем людям будет нравиться то и только то, что нравится изобретателям гармонических «новых миров», утопистам никогда не изменяет. Эта их уверенность — единственный аргумент грядущего социального согласия, которое всегда живописуется без сомнений в предстоящем всем и каждому счастье.

«Агенты *положительного разрушения*» — это, по Фурье, «те, кто *организует голод или эпидемии* (??? — Д. Ш.) или содействует войнам» (стр. 260).

«Агенты отрицательного производства» — все те, кто выполняет общепринятые в порочных обществах, а на деле вредные или ненужные работы. Они исчезнут в условиях Ассоциации.

Итак, паразитов в «сосиетарном обществе» не будет. Но, как и у Сен-Симона, частная собственность сохранится. Она лишь будет коллективно эксплуатироваться — у Сен-Симона централизованно, у Фурье — дискретно, будучи распределенной по фалангам. Забегая вперед заметим, что это чрезвычайно усложнит расчеты фаланги с производителями и владельцами капитала. Поэтому закономерно, что более поздние социалисты вернулись к характерному для более ранних утопий отказу от частной собственности.

Полагая, что он упрощает общественную организацию и устраняет лишние виды труда, Фурье в действительности ставит перед своей Ассоциацией столь сложные организационные и производственные задачи, что невозможно себе представить, какой величины и квалификации управленческий аппарат мог бы с этим справиться. Фурье многократно формулирует некий сбивчивый ряд взаимоисключающих рекомендаций, адресованных как будто бы всему обществу, а на самом деле — инстанциям или силам, которые будут распоряжаться в фаланге. Ибо справиться со столь всеобъемлющими и всепроникающими задачами общество без помощи специально для этого выделенной, стоящей над ним и имеющей всеохватывающее поле обзора инстанций не сможет. Впрочем, предлагаемые Фурье нововведения непосильны и для такой инстанции.

Сперва подчеркивается предварительная необходимость

«в каждой многочисленной Ассоциации... разбить участников на группы, однородные по своим вкусам и наклонностям, и присоединить эти группы к серии в восходящем (??? — Д. Ш.) и нисходящем (??? — Д. Ш.) порядке, с тем расчетом, чтобы наиболее полно развить способности каждого члена и дать возможность проявиться соревнованию, неизбежному при методическом соединении контрастов.

Соревнование, усовершенствование труда и вытекающие из этого выгоды растут по мере того, как увеличиваются правильность и постепенность в распределении, нюансировке групп по склонностям в составлении из этих групп серий» (стр. 280).

Попробуйте представить себе, какого труда и каких немислимых знаний о каждом участнике производства потребует разбивка таковых на группы, «однородные по своим вкусам и наклонностям» и одновременно преисполненные «контрастов, ведущих к соревнованию». Да еще с учетом «тончайшей нюансировки» всех этих качеств.

Но ведь и это не все. С одной стороны, Фурье постулирует следующие условия правильного подбора «гармонических» групп: «1. Свобода Ассоциации, без всяких обязательств, кроме взаимного доброжелательства» (там же), «пылкость и слепое влечение к какому-нибудь виду труда» (там же). С другой стороны, при подборе видов труда для каждого человека должно приниматься в расчет «удовлетворение страсти к переменам, к порханию» (стр. 282), не позволяющей с увлечением заниматься ни одним видом труда более часа-полтора подряд.

С одной стороны, предполагается «беззаветная преданность интересам группы, готовность к жертвам во имя общей всем страсти» (стр. 281). С другой стороны, групп (то есть «страстей» к определенным видам труда) предусмотрено для каждого человека десятки, а то и сотни одновременно. И все группы и серии, состоящие из множества групп, должны быть воплощением неоднородности; группы каждой серии должны объединять «миллионеров и бедняков, ученых и невежд, старцев и юношей, миролюбивых и вспыльчивых людей и т. п.». Предусмотрено «непримиримое соперничество», беспощадная критика,

«чтобы... требования были несовместимы и совершенно свободны от всякого согласования... раскол, ревность, интриги всякого рода... согласно законам 10-й страсти к интриге» (там же).

Каким-то совершенно непостижимым образом из этой войны всех против всех в каждой группе «вырастает та сверхсложная свобода, которая находится в полном

противоречии с философскими доктринами» «софистов», основанными на признании ненавистной Фурье моногамной семьи первичной «ячейкой общества». Место семьи у Фурье занимают «группы, состоящие примерно из 1500 лиц», где «вместо супружеского равнодушия, монотонности Цивилизации и республиканского братства» (там же) будут все определять «10-я страсть к интриге», «11-я страсть к переменам», «12-я страсть, или увлечение,— порыв к труду, общий энтузиазм» (стр. 281—282).

Утверждение Фурье, что «кратковременность рабочих сеансов позволяет каждому члену любой серии участвовать одновременно в сотне других серий» (стр. 282; в других местах указано от 30 до 500 серий, в которых может участвовать каждый член фаланги), исключает всякий профессионализм и серьезное вхождение в дело. Разрыв между посещениями одной и той же группы, то есть между возобновлениями однодневной работы, должен длиться недели, а то и месяцы. Фурье имеет в виду, вероятно, лишь самые примитивные виды труда, когда приводит в пример садовника: если один садовник должен выполнить ряд работ за 50 часов, то 50 членов его группы выполняют эту работу за час. Но когда пытаешься применить рекомендуемое Фурье непрерывное «порхание» от дела к делу к более сложным трудовым процессам и задачам, приходит на ум известный советский анекдот. Некий специалист должен выехать в заграничную командировку, но у него нет жены и ребенка, которых можно было бы оставить в СССР в качестве заложников. Ему предлагают жениться и через месяц выехать. «Но,— говорит он,— ребенок не может появиться раньше, чем через девять месяцев!» «Ничего,— отвечают ему,— вам выделяют девять женщин, и чтобы через месяц ребенок был!»

* Но ведь Фурье предлагает не только продумать и пустить в ход «целую массу серий, не менее 50—60, но не более 500; затем... настолько укоротить сеансы работ каждой серии, чтобы каждый член ее мог... посещать 50—100 серий» (стр. 283).

Он требует еще и скрупулезнейшей продуманности взаимоотношений между группами, входящими в каждую серию:

«Если лестница вкусов и наклонностей хорошо расположена (кем? как? — Д. Ш.), то каждая группа находится в состоянии раздора с двумя смежными с ней группами. Возьмем серию из 12 групп, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М.

Группа Ж резко расходится с Е и З, осуждая их скверный вкус; она расходится наполовину с подсмежными Д и И; некоторую симпатию она начинает испытывать только к своим терциям, квартам, квинтам ГК, ВЛ и БМ, но смежные ступени лестницы антипатичны друг другу, ревнуют одна другую, оспаривают пальму первенства. Такое же явление мы наблюдаем в отношениях тонов музыкальной гаммы: каждый тон диссонирует со смежными ему тонами.

Только таким путем и возможно достигнуть идеальной гармонии и единения, при которых личный эгоизм и интересы растворяются в общем единении масс» (там же).

Рискуя прослыть злопыхателем, подобным советским психозаврам, все-таки непрерывно ловишь себя на коварном вопросе: не отдает ли эта неукоснительная продуманность и просчитанность несбыточного клиническим безумием?..

Нагромождавая свои фантазмагорические «математизации», Фурье то и дело запутывается в простейших расчетах. В одном месте он говорит, что рабочие должны менять виды своей работы 2—3 раза в день, находясь в каждой группе по 2 часа, то есть трудясь всего по 4—6 часов в день. В другом месте сказано, что сеансы труда должны варьироваться для каждого работника не менее 8 раз в день, ибо энтузиазм не может поддерживаться однообразным делом более 1,5—2 часов подряд. Так сколько же длится рабочий день при этих восьми переменках?

И если предположить, что Фурье портретировал в своей «таблице страстей» самого себя, то невелика же была его одержимость каким-то делом и способность на нем сосредоточиться. «Страсть к интриге» и «страсть к порханию», судя по тому постоянству, с которым он к ним возвращается, кажутся ведущими его страстями, так же, впрочем, как и «люксизм» (страсть к роскоши и развлечениям). Фурье и его последователи стремятся

«превратить труд в удовольствие», а «жизнь... для всех в торжественный и богато сервированный банкет, а не в убогую трапезу, где голодные гости спорят из-за кусков и вырывают их друг у друга, что и происходит в настоящее время».

Эта фурьеристская концепция труда-наслаждения и жизни-праздника воплощена Чернышевским в «четвертом сне Веры Павловны».

Сомнения в том, что его Ассоциация сможет обеспечить всем своим членам такой достаток, у Фурье нет. Беспокоит его другое: как совместить привлекательность труда для гармонийцев с неизбежным наличием и в будущем обществе отталкивающих и неэстетичных видов труда? Фурье предусматривает свою гармоническую Ассоциацию

не для туманного будущего, а для современной ему Франции. Никаких принципиальных технических новшеств вроде механизации и тем более автоматизации тяжелых и неприятных работ он не предвидит. Фурье чрезвычайно брезглив, и некие необходимые, но отталкивающие виды работ преследуют его как наваждение. Выход обретается, когда одна авторская антипатия встречается с другой его антипатией: отвращение к нечистоплотным работам переплетается с брезгливой отчужденностью гуманиста Фурье по отношению к детям. О «детских дружинах», выполняющих самые грязные работы и расположенных около самых шумных мастерских, говорится на 309, 312, 326—328 страницах книги. В то, как поставлен Фурье этот вопрос, трудно поверить, не ознакомившись с первоисточником. Дети в фаланге должны трудиться эпизодически с трех и регулярно с шести лет. Дабы использовать в интересах общества их «тягу к грязи», «любовь возиться в грязи», «неряшливость», дети ставятся на самые нечистоплотные и зловонные работы (мусорщиков, ассенизаторов, уборщиков). Эти работы в силу природной страсти детей к грязи доставляют им полное удовлетворение. Фурье говорит о детях с неизменной антипатией — до тех пор, пока не «открывает» выгодный способ эксплуатации извращенной тяги этих маленьких варваров ко всякой грязи. После этого он примиряется с ними и даже рекомендует кормить их преимущественно сладостями, а не хлебом, так как дети их любят больше, чем хлеб.

«Долгое время я стоял на ошибочной точке зрения, высмеивая неряшливость детей и надеясь на ее искоренение в механизме серий... Я встал на правильный путь, решив наконец, что необходимо действовать в согласии с естественным притяжением, с природными склонностями ребенка, в том виде, в каком они созданы Творцом... детям придется взять на себя только грязные работы; эта функция их приобретет высокое социальное значение, ибо таким путем постепенно будет искоренено презрение к низшим классам трудящихся — чернорабочим, и как следствие отсюда — также и к средним классам. Таким путем осуществится *братство*, единение всех классов, о котором столько грезили философы» (стр. 328).

Вот как просто, оказывается, добиться всеобщего братства: надо всего-навсего построить раскрепощение низших слоев трудящихся на добровольном рабстве детей! О школах, учебе детей, их развлечениях не говорится ни слова. Зато в «рабочих дружинах» участвуют в равной мере дети богатых вкладчиков капитала и неимущих тружеников, аристократии и простонародья. Обязательное и равное участие детей в отталкивающих работах, не зависящее от социального уровня семьи, связывает все слои фаланги братскими узами.

Фурье многократно останавливается на «влиянии данного рода работ на закрепление уз общественности, на гармонию социального механизма... С этой точки зрения и ценна серия детских дружин, без которых весь механизм Гармонии распался бы, а дружеское взаимное расположение стало бы недостижимым.

Поэтому серия эта и должна быть помещена на первом месте» (стр. 319).

При чтении посвященных детям страниц Фурье меня неизменно преследовал вопрос о том, почему заботами о всечеловеческом «гармонизме», о радикальной перестройке общества и о его благе так часто бывают заняты недобрые и нечуткие люди. Ответа на этот вопрос я не имею.

В отношении к оплате труда детей и юношества, а также других лиц, занятых тяжелым и отталкивающим трудом, отчетливо проявляется непоследовательность рекомендаций Фурье. Так, не однажды заметив, что неприятные работы, в том числе выполняемые детьми, в фаланге будут оплачиваться лучше других, он вдруг заговаривает о юношеском идеализме и намечает пути его безвозмездной общественной эксплуатации. Он пишет:

«...отцы уступают детям в наличии добродетелей, называемых патристическими. Ассоциация сумеет утилизировать эту склонность детей к общественному служению, она поручит юношеству те посты, которые были бы ненадежными в руках отцов, в том числе все отталкивающие отрасли труда... это отвращение .. будет преодолено, но не деньгами, а притяжением .. в полной Гармонии ни одного обота не будет истрачено на вознаграждение за черные работы. это было бы нарушением основного принципа — притяжения — и корпоративного духа, с помощью которых должно быть побеждено всякое отвращение» (стр. 326—327).

Но ранее четко говорилось, что неприятные работы, а таковы все работы «детских дружин», будут оплачиваться наиболее высоко! Здесь же оказывается, что странное тяготение детей к отталкивающим видам труда, а юношества — к патристической самоотверженности будет эксплуатироваться обществом еще и бесплатно!

Однако несколько раз Фурье постулирует в других местах

«вознаграждение для каждого — мужчины, женщины или ребенка... в прямом отношении к трем факторам: *капиталу, труду, таланту*» (стр. 284).

Количественно это распределение выглядит так: $\frac{4}{12}$ — доход, пропорциональный акционерному капиталу держателей акций; $\frac{5}{12}$ — доход, пропорциональный труду; $\frac{3}{12}$ — «на долю теоретических и практических знаний» и «таланта». При этом вкладчики капитала могут и не работать, пользуясь только первым видом дохода. Для неимущих же членов фаланги в «открытом» им «сосиетарном устройстве», как неоднократно напоминает Фурье, существует некий гарантийный минимум обеспечения. Этот минимум изображается автором то как аванс за предстоящие в году работы, то просто как некое социальное обеспечение, не связанное с трудовым вкладом члена фаланги. Этот минимум весьма высок:

«...пища за столами 3 класса (низшего из трех.— *Д. III.*), состоящая из пяти трапез в день; приличная одежда, будничная и праздничная... все инструменты и инвентарь для сельских или фабричных работ; квартира, состоящая из комнаты и уборной, с правом доступа в общие залы на праздники 3-го класса и на спектакли в 3-х (? — *Д. III.*) ложах» (стр. 316).

Необходимо, пишет Фурье в другом месте,

«чтобы при... новом порядке люди пользовались благосостоянием, гарантией известного минимума, достаточного для настоящего и будущего и избавляющего от забот о себе и своих близких» (стр. 285).

Зависимость гарантийного минимума от труда здесь не оговорена. Таким образом, в Гармонии не исключены как рантье, так и тунеядцы, согласные на гарантийный минимум. Как же не ощутить симпатии к такому раздолью при всех несомненных странностях гармонийской организации труда?

Однако при всем при том в фаланге ведется не только строжайший учет труда, но и неотступный контроль за качеством производимой в каждой из бесчисленных групп продукции. О контингентах работников, необходимых для оперативного осуществления такого учета, Фурье не вспоминает. Но эффективность и осуществимость последнего для него беспорны: группа,

«которая производит продукты среднего (а не отличного.— *Д. III.*) качества... вычеркивается из почетного списка, куда заносятся все работы, составляющие гордость фаланги; ее герб окаймляется черной полосой, она теряет право голоса на бирже (? — *Д. III.*), подчиняясь решениям других сельскохозяйственных групп... Конечно, такие группы... малопривлекательны и большей частью малолюдны» (стр. 287).

Какую роль играет в «сосиетарном устройстве» биржа, непонятно.

Очень ярко наивная и самоуверенная беспочвенность пророчеств Фурье, представляющихся ему плодами строго научного анализа, выступает в его рассуждениях о соотношении промышленности и сельского хозяйства в будущем обществе. Фабрично-заводской сектор существует в нем

«лишь как добавление к агрикультуре, как способ дать упражнению страстям, не находящим себе применения в течение долгих зимних и осенних каникул. Все фаланги земного шара будут иметь свои фабрики, но они будут стремиться к тому, чтобы все товары выделялись наилучшего качества, так чтобы незначительность изнашивания этих последних дала возможность сократить размеры промышленности... Для фабрично-заводского труда Бог вложил в человека лишь *одну четвертую* часть того влечения, которое член Ассоциации чувствует к труду вообще» (стр. 292).

Замена глаголов будущего времени глаголами настоящего времени («чувствует» вместо «почувствует») стилистически весьма характерна для всех утопистов, в том числе и для Маркса и Энгельса, о чем мы уже говорили.

А далее?

«Когда я был еще новичком в деле вычисления связанной с каждой отраслью индустрии доли влечения, я был весьма удивлен, обнаружив, что для заводской промышленности доза эта весьма ничтожна... Господь... сделал заводскую промышленность малопривлекательной с той целью, чтобы при сосиетарном устройстве люди достигли во всех предметах производства высшей совершенства, при котором ткани и домашняя утварь станут неизносимыми, *вечными*» (стр. 294).

А вот еще один «точный подсчет»: неизносимость тканей и домашней утвари должна

«создать в Гармонии *ежегодную* экономию в 400 миллиардов на одежду и в 2000 миллиардов на все остальные предметы обихода» (стр. 295).

И Фурье предсказывает экономию (несмотря на владеющий всеми «люксизм» — страсть к роскоши — и вопреки страсти к «порханию») от различных коммунальных нововведений, примененных фалангой, «на $\frac{3}{4}$, $\frac{9}{10}$, а иногда и на $\frac{99}{100}$ от современных ему расходов общества. При этом роскошь в фаланге поистине неимоверная: нарядные и просторные столовые, залы для собраний, библиотеки, помещения для научных занятий, храм, «Башня Порядка» (?), телеграф, почтовые голубятни, колокольни, обсерватория, «крытый зимний сад»... Все производственные помещения, жилые комнаты, гостиница, бальные залы и прочие соединены галереями и переходами, так что «самый бедный из гармонийцев, человек, не имеющий ни гроша за душой, подходит к своему экипажу через теплый крытый коридор; вымощенные и посыпанные песком подземные ходы ведут его из дворца в стойла и конюшни; из своей комнаты он направляется в общие залы и мастерские через крытые улицы-галереи, отапливаемые зимой и вентилируемые летом. В Гармонии можно обойти в январе месяце мастерские, стойла, магазины, бальные и обеденные залы и т. п., не зная, идет ли на улице дождь или снег, тепло ли там или холодно» (стр. 309—310).

Как же не плениться этой картиной! Тем более что автор делает оговорку, исключающую сомнения:

«Рассмотрение этого вопроса во всех его деталях дает мне право сказать...» (стр. 310).

Если отвлечься от беллетристики и попытаться выяснить самый общий принцип фурьеристской Ассоциации, то мы увидим акционерное общество, в которое входят держатели разновеликих пакетов акций и наемные работники, акций совсем не имеющие. Почему-то этот пестрый и разнокачественный производственный коллектив решает жить коммунально и дружно трудиться, не имея в значительной своей части (акционеры с крупными пакетами акций) никакой к тому надобности. Фурье, по-видимому, понимает, что очень трудно поверить в готовность богатых людей вступить в Ассоциацию. Поэтому он уделяет много внимания способам, должноствующим помочь Ассоциации разрешить «проблему сближения и развития дружелюбия в противоположных классах» (стр. 311). Не останавливаясь на исходном моменте — на том, почему богатые вступают в Ассоциацию, — Фурье предусматривает несколько мер, в результате которых «разовьется такое взаимное доброжелательство, что гармонийцы при распределении прибыли будут соперничать друг с другом не в эгоизме и жадности, а в великодушии» (там же). Он предлагает четыре способа объединения, взаимного притяжения и уравнивания в труде и быте имущих и неимущих, «магнатов» и простонародья (см. стр. 312—314). О первом уже упоминалось: дети богатых и бедных, работа на самых грязных и презираемых работах,

«великодушно взятых на себя детскими дружинами», сплотят родителей. «Простой народ полюбит богатых, чьи дети избавят его от презираемых работ и уничтожат само понятие позорной работы. Одинаковое воспитание является самым действительным средством для подготовки единения всех классов, для пробуждения в бедных симпатии к богатым, для *нисходящего сближения*» (стр. 312).

Нисходящим сближением называется тяготение богатых к бедным (знатных к простонародью), а восходящим — обратное направление возникающих симпатий. Но что же заставит богатых согласиться на это «одинаковое воспитание» и, главное, на участие их детей в самых грязных и презираемых работах без принуждения? И вообще — какие родители, имея гарантийный минимум потребления (а многие еще и доходы от акций), согласятся на каторгу для детей начиная с трех-шестилетнего возраста? Бесчеловечность и беспочвенность расчета Фурье самоочевидны, а ведь это первое, и главное, из доказательств осуществимости всеобщего братства в его фалангах.

Способ второй:

«Работа сериями... при Ассоциации, где богатый избирает себе работу, руководствуясь исключительно своими склонностями (богатый и без Гармонии может руководствоваться своими склонностями. — Д. III.), где он видит, с какой любовью остальные члены избранной им серии (меняется же от 30 до 500 серий! — Д. III.) относятся к работе, он сам начинает симпатизировать своим сотрудникам, прежде презираемым; эти последние также привязываются к богачу, занятому вместе с ними их любимым делом и поддерживающему его из своих средств. Таким образом разделение работ по сериям является вторым средством для *восходящего* или прямого сближения, возбуждающим приязнь со стороны бедных к богатым» (стр. 313).

Опять задача вместо решения. Ведь Фурье брался ответить на вопрос, что заставит богатых и знатных людей трудиться в фаланге наравне с ее неимущими членами. Вместо ответа на этот законный вопрос он объясняет нам, почему, трудясь вместе

и наравне, бедные и богатые, «нисходящие» и «восходящие» полюбят друг друга. Зачем богатым работать? Ведь многократно сказано, что «можно быть членом фаланги, не будучи акционером; можно также быть акционером, не принимая никакого активного участия в производственной деятельности фаланги. В этом последнем случае нельзя получать дивидендов, относящихся на долю труда и таланта» (стр. 321).

И детей можно не пускать чистить сортиры? На чем же тогда будет держаться братство пролетариев с капиталистами?

Опять и опять возникает мысль о том, насколько проницательней ранние утописты и более поздние социалисты, полностью исключившие из обихода «нового мира» частную собственность. Только эта акция может заставить всех граждан «стать работниками одного синдиката» (Ленин), то есть государства. Но и в таком случае из-за неравенства функций труд будет иметь разные качества, а трудящиеся — различные права и возможности.

Третье условие сближения богатых и бедных внутри фаланги для меня столь загадочно, что я предоставляю читателю самому в нем разобраться:

«3. *Интриги в сериях.* Враждебность, возникающая на почве имущественного и социального неравенства, исчезнет, когда появится дух интриги и когда гарантия минимума оградит богатых от попрошайничества, плутней и обмана со стороны бедных... Втянувшись в курс дела 30... серий, богатым, в конце концов, начинает любить бедный класс фаланги. Эти интриги, соревнования серий являются источниками *нисходящего* сближения, привлекающего богатых к бедным... Ведь... аристократы во времена революций и выборов, «богатые заискивали у последних плебеев. Богатые не прочь войти в контакт с низшим классом, когда в ход пущены какие-либо интриги (предвыборные и т. п.).» (стр. 313).

И наконец последний, четвертый, стимул, гарантирующий сближение богатых и бедных:

«4. *Благожелательное услуживание.* В Гармонии, где не будет заработной платы, услуги будут оказываться дружески и охотно».

Но плата же будет! Дивиденды от акций, оплата активного труда, таланта и знаний... Об этом Фурье забывает...

Ни одно из четырех условий сотрудничества и дружбы между богатыми и бедными, знатью и простонародьем в фаланге не является серьезным и убедительным.

Как же и кем управляется фаланга?

Ассоциацией руководит чисто рекомендательно «Ареопаг, являющийся советником, но не начальником для трудящихся». Он «состоит из высших чиновников (? — Д. III.) — представителей каждой серии», и каждая серия «вольна принять или отвергнуть» его «решения». «Ареопаг действует исключительно силой своего авторитета» (стр. 323).

«Ареопаг состоит: 1) из руководителей всех рабочих и увеселительных серий (ибо в Гармонии увеселения так же полезны, как и труд); 2) из трех почтенных старейшин; 3) из крупнейших акционеров, получивших право голоса путем покупки акций, и из акционеров, купивших акции позже на свои сбережения; 4) из магнатов и магнаток (? — Д. III.) фаланги. Ареопагу не приходится издавать никаких уставов и правил, ибо вся жизнь фаланги регулируется свободным притяжением и корпоративным духом ее серий и групп» (там же).

Так для чего же он нужен???

Что сие есть: «свободное притяжение и корпоративный дух серий и групп» и как они проявляются и реализуются организационно — уразуметь невозможно. А между тем у руководства фаланги должно быть великое множество задач и обязанностей. О сложности внутренней организации труда и быта при непрерывной перемене занятий каждым трудящимся и при разновеликом и сложном вознаграждении мы уже говорили. Но ведь отдельные фаланги производственно специализированы и торгуют между собой. Тут уже необходим еще один этаж управления, в обзор которого попадают все фаланги страны. Ассоциации платят налоги правительству и своим кантонам. Они поставляют правительству и кантонам рекрутов в промышленные армии и получают за это плату. Они разрешают конфликты между своими сочленами. Они ведут строительство и т. д. Однако Фурье неколебимо уверен (он во всем уверен неколебимо), что вся административная и учетно-распределительная деятельность в Ассоциациях будет простой и ограниченной по объему. Главной управленческой функцией представляется ему не организация труда, а распределение дивидендов. У Фурье речь идет о распределении, сопряженном с четырьмя показателями: с пропорциональностью акционерному капиталу, производительности труда, знаниям и таланту. Для этого необходима гигантская учетно-распределительная работа.



Что остается от фурьеризма, если отбросить скрупулезно и полностью произвольно расчисленную им фантазмагорию «притяжений» и «отталкивания», страстей и характеров, непрерывных «порханий» от работы к работе и детских ассенизаторских дружин, «восходящего» и «нисходящего» сближения богачей и нищих, добровольного труда рантье и общественных иждивенцев, получающих и помимо работы все житейские блага, страстей к интригам и распределения дивидендов согласно «свободному влечению» и т. д. Останутся акционерные общества, распределяющие свой доход между акционерами и наемными работниками согласно денежным и трудовым вкладам тех и других. Почему организуют свой быт коммунально богатые под одной крышей с бедными, понять невозможно.

В чем же тогда сила и обаяние доктрины Фурье, позволившие этому вопиюще беспочвенному учению лечь в основу множества «научных» и «конструктивных» социализмов более поздних времен? Скорее всего лишь очень немногие из тех, кто привычно считает, что Фурье набросал заманчивую достоверную картину будущего золотого века, читали его сочинения. Воображение большинства питается пересказами, полученными из вторых или третьих рук. А пересказы создают ослепительный стереотип «сосиетарного» (социалистического) грядущего, не вдаваясь в детали его построения и обоснования. В пересказах, приспособленных к массовому сознанию, возникают прекрасные, сверкающие изысканной роскошью общие дома-города, где уравниваются в труде и в потреблении все их граждане, где труд не знает будничности и утомительности, где нет семейной рутин, где жизнь — сплошной праздник и где развлечениям уделяется такое же место, как и труду. И в такие дома-коммуны организовано все население Земли, забывшее о войнах и бедности, о нынешнем однообразии своих повседневных занятий и нужд и о страхе за будущее... Может ли такое грядущее казаться большинству людей нежелательным, не привлекать и не зачаровывать?

А если кто-то, вчитавшись в патетически-многословные работы Фурье, рискнет заметить, что этому сияющему финалу земной истории он не придал ни единого достоверного обоснования, множество голосов объяснят усомнившемуся, что они намерены взять у Фурье только этот лучезарный финал, да и то с некоторой реалистической коррекцией. А пути к нему выберут или построят более надежные и обоснованные. И добавят, что реальные приемы построения светлого будущего уже обнаружены — «открыты», как любил говорить о своих проектах и прогнозах Фурье. И люди снова поверят, потому что уж очень хочется верить в манящие фаланстеры, если не для себя, то хотя бы для внуков или более отдаленных потомков. Противопоставлять этой вере логику — чрезвычайно неблагодарная работа. Но что же еще ей можно противопоставить?

VI

Пирамида коллективностей

Совершив прыжок из XIX века в XX и обратимся к социалисту, который, отделяя себя и от утопистов и от марксистов, видел в своем учении доктрину реалистическую и прагматичную.

Итак, социалисты грезят равенством. Они привлекают к себе симпатии как масс, так и чутких к несправедливости народных печальников тем, что обещают уничтожить в обществе различия и в потреблении, и в труде, и в пользовании властью. В действительности же стремление избавиться от социальной иерархии посредством уничтожения частной собственности и связанных с нею классов приводит социалистов к возведению особой государственной иерархии, монополю (и к тому же плохо) выполняющей обязанности уничтоженных собственников. На практике это происходит всегда. В теории существует ряд направлений социалистической мысли, стремящихся включить всех работников, то есть всех граждан, на равных основаниях в процесс управления обществом и государством. Так, «конструктивный социалист» В. Чернов, в своей книге обобщающий и согласующий друг с другом ряд социалистических движений (синдикализм, муниципальный, кооперативный, гильдейский и марксистский социализмы), предупреждает читателя, что истинная социализация не имеет ничего общего с огосударствлением («...ни с государственным социализмом, ни с государственным капитализмом», — говорит он)¹². Ему вторят и многие современные социалисты, считающие себя более демократами, чем сторонники западной

¹² Чернов Виктор. Конструктивный социализм. Прага. 1925, т. 1. Примерно то же в своих статьях о социализме говорит сегодня и Е. Наклеушев.

демократии нынешних образцов (например, нобелевский лауреат Дж. К. Гэлбрейт, США, называющий свое учение неидеологическим социализмом). Если бы действительно отличие социализации от огосударствления было доказано логически безупречно, исчез бы главный тупик социализма — невозможность по уничтожении конкурентного рынка обойтись без государства-монокапиталиста, централизующего управление экономикой и неизбежно преобразующего постреволюционное общество в тоталитарную структуру. В. Чернов предлагает, по его словам, «сугубо децентрализованный» план социалистического общественно-планомерного самоуправления. Он рассматривает отдельно сельское хозяйство и промышленность, производство и потребление. В сельском хозяйстве, по его представлению, саморегуляция начнется с «семейной кооперации». Равенство посемейного «трудового землепользования» будет регулироваться волостной и сельской общиной. Межволостные и межсельские земельно-производственные взаимоотношения должны координироваться районами, районные — областями. Проблемы общенационального землепользования и сельскохозяйственного производства смогут разрешаться некоей верховной коллективной инстанцией. Примерно так же строится В. Черновым предполагаемая ступенчатая иерархия самоуправления и в промышленности, где начальным звеном саморегуляции явится низовая ячейка профсоюза, а высшим, конечным ее звеном станет некий межотраслевой и общенациональный синдикат, управляемый всеми своими членами, то есть практически всеми производителями. Потребление организуется через такую же ступенчатую кооперацию, разворачивающую свои операции от семьи «вплоть до превращения великой всероссийской кооперации по *распределению* земли в такую же кооперацию по *трудовому использованию* земли». Посредством такой кооперации Чернов намерен дойти «до разрешения в этой области основной проблемы социализма» — «постепенной коллективизации индивидуальных трудовых прав» (стр. 281), постепенного построения общенационального, всеобъемлющего планомерно регулируемого хозяйства. Кроме того, существует еще и некое надобщинное, надкооперативное и надсиндикальное звено, согласующее сельскохозяйственную деятельность с промышленной, производство с потреблением и т. д. Вопрос о политических и административных внешних и внутренних функциях государства автором не рассматривается.

Чернов глубоко уверен, что в его социализированном хозяйстве «общественные коллективы разных ступеней выступают... как регуляторы действительного равенства пользователей» (стр. 279). А вся описанная выше структура представляется ему не иерархией управляющих разного ранга, а «пирамидой коллективностей, в совокупности своей способной уравнивать условия трудового пользования в общенациональном масштабе».

С незначительными изменениями подобные «пирамиды коллективностей» строят (в теории) все демократические социалисты, намеревающиеся сохранить в своем новом мире инициативу за массами, а не за администрацией того или иного рода. Поэтому, рассматривая внимательно проект Чернова, мы одновременно исследуем литературные конструкции всех демократических (по их собственному убеждению) социалистов.

Создается впечатление, что, начав перечислять свои регулирующие инстанции снизу, а не сверху, Чернов полагает, что и управляющие всей управленческой пирамидой импульсы будут двигаться снизу вверх, а не наоборот. Поскольку он рассматривает низовые малые коллективы прежде высших и все расширяющихся, ему представляется, что его пирамида управляющих будет стоять на наиболее узком и элементарном своем основании (свободная инициативная личность) и расширяться кверху вплоть до включения в широчайшее верхнее основание всех личностей — всех членов общества. И уж эти все будут вырабатывать общенациональные планы. Ту же схему рисуют и синдикалисты, и муниципалисты, и кооперативники, и гильдейцы: схема Чернова лишь объединяет все их частичные иерархии в одну всеобъемлющую.

Однако вполне самоочевидно, что и в модели Чернова, и в более узких, частичных ее вариантах степень коллективности управления будет снижаться по мере расширения задач управления и укрупнения его объектов. Там, где Чернов и его единомышленники видят «пирамиду коллективностей», то есть иерархию все расширяющихся самоорганизующихся человеческих множеств, одновременно и работающих, и управляющих работой, ведущих ее согласно выработанному при их непосредственном участии единому общенародному плану, на деле существует лишь иерархия управляющих. Выборность даже всех сверху донизу руководителей и работников управленческих аппаратов не меняет дела. Для того чтобы нереальность построения «пирамиды коллективностей» (взамен пирамиды управляющих) выступила с полной наглядностью, введем некий объективный показатель — коэффициент коллективности управления. Этот коэффициент представляет собой отношение числа управляющих, являющихся одновременно и управляемыми, к общему числу управ-

ляемых. Речь идет о совмещении управления и подчинения, развернутых так, чтобы управляющие одновременно и вырабатывали полноценные решения, и выполняли их в ряду других исполнителей.

На уровне семьи, сельского схода или низовой ячейки профсоюза и кооператива этот коэффициент в идеальном случае может быть равен единице (все работают и, собираясь на общие сходки, управляют своей работой). Мы пренебрегаем, соглашаясь с такой возможностью, наличием лидеров, неизбежно появляющихся уже на самых элементарных уровнях общественной организации. По мере укрупнения задач и руководимых объектов коэффициент коллективности управления будет неизбежно падать. Более того: изменится наше определение этого коэффициента. Уже где-то на одном из достаточно низких уровней иерархии исчезнет подчеркнутое нами условие: управляющие перестанут быть одновременно и управляемыми; коэффициент коллективности управления начнет измеряться отношением числа управляющих к числу управляемых — без того, чтобы первые участвовали непосредственно в исполнении своих решений. И этот коэффициент будет тоже падать по мере расширения задач управления и числа управляемых. Сравнительно рано появится «третья сила» — технические аппараты управления, то есть служащие, не принимающие решений, но технически участвующие в их подготовке и доведении до сведения исполнителей. Эти промежуточные инстанции будут расти гораздо быстрее числа действительно инициативных управляющих, а на определенном этапе — и числа непосредственных производителей товаров, услуг и т. п. («закон Паркинсона»).

Чернов предполагает, что управляющие и их аппараты могут оставаться везде одновременно и управляемыми, то есть занимающимися производительным трудом. Но это неверно: уже сравнительно низовые руководители и их помощники объективно не смогут совмещать хозяйственно-производственное управление с практическим исполнением своих команд. Достаточно рано исчезнет и выборность всех руководителей и их аппаратов.

Для руководства решением мало-мальски серьезных административных и профессиональных задач нужны соответствующая квалификация, соответствующее специальное образование. Масса избирателей некомпетентна в специальных вопросах и, следовательно, не сможет не только решать их, но и обоснованно избирать специалистов для их решения. Не сможет она и адекватно оценивать труд этих специалистов.

В РСФСР 1918—1919 годов на верхушке партии и профессиональных союзов велась ожесточенная борьба между защитниками всеобщей выборности должностных лиц и сторонниками их назначения. Закономерно, что одержала победу не марксистская эгалитарная догма поголовной выборности¹³, а прагматическая тенденция назначения.

В. Чернов, как и все без исключения социалисты, пишет о планомерном использовании «всех производительных ресурсов страны», о всеобъемлющем планомерном производстве и потреблении как о программе-максимум социализма. При этом он полагает, что его единый и взаимосвязанный для всей страны план будет строиться индуктивно, снизу, самими трудящимися, постепенно расширяясь и обобщаясь на каждом уровне его «пирамиды коллективностей», стоящей как бы на своем острие. Но ведь низовые инстанции во всеобъемлющем взаимосвязанном производстве и потреблении могут планировать лишь весьма ограниченное число сугубо местных и частных моментов своей деятельности. Да и то исходя из спущенного им сверху более широкого плана. Иначе построить свой план с учетом всего механизма связей, в которые они включены, они не смогут из-за отсутствия у них необходимой информации. У них нет достаточной широты обзора и компетентности для участия в общенациональном планировании. Если общество подчинено единому плану, каждое звено управления должно руководствоваться и руководствуется установкой инстанции, имеющей более широкие, более общие представления о данном деле, чем это звено. Таким образом, в своей специфической сфере действия (управление) все управляющие, кроме наивысших, являются одновременно и управляемыми. Но управляются они не собственными решениями и не волей «коллективностей» своего уровня, а критериями стоящей над ними инстанции, а на самом верху — лидера иерархии.

Когда социалисты-антиэтатисты строят (разумеется, на бумаге) свои «пирамиды коллективностей», от них ускользает еще одно важное обстоятельство: на самом-то деле никто из граждан не пребывает лишь на каком-то одном уровне упомянутой выше пирамиды! Каждый из них одновременно проживает и в микрорайоне, и в районе (городе), и в области, и в республике, и в стране, состоя и в цехе, и на заводе, и в отрасли, и в целом в промышленности, и так далее. В большинстве моделей

¹³ В «Государстве и революции» Ленин предусматривает выборность даже школьных учителей.

социализма обобщенное планирование всего и вся доходит до планетарного уровня. Значит, каждый должен участвовать в составлении планов на всех этих уровнях? Теоретически «пирамида коллективностей» приводит, таким образом, в пределе к тому, что любое существенное решение должно приниматься скопом, вечевым способом, всеми гражданами страны или всем человечеством. Невозможность этого самоочевидна. Естественно, что при любой попытке своей реализации «пирамида коллективностей» уступает место пирамиде частично избираемых, частично (в подавляющем большинстве случаев) назначаемых сверху управляющих. Для согласования же всех локальных потребностей и для включения всех локальных процессов в единый планомерный процесс оказывается необходимой какая-то полномочная инстанция, стоящая достаточно высоко, чтобы иметь всеобъемлющее поле обзора. Кроме того, она неизбежно должна обладать и всеобъемлющими полномочиями. Таким образом, откуда ни начинался бы путь ко всеобъемлющей единоплановости: с решительного отказа от централизованной государственной иерархии или с ее безудержной апологии,— обойтись без этой иерархии невозможно. Нельзя обойтись и без венчающего ее всевластного верховного центра.

* * *

Первый вывод, который приходит на ум при попытке обобщенно осмыслить группу ранних европейских утопий, представленных в этих заметках лишь несколькими примерами¹⁴, состоит в том, что они далеко не утопичны в общепринятом значении этого слова. Они реалистичны не менее, чем прославленные антиутопии XX века — Замятина, Оруэлла и других.

Мыслители, о которых шла речь выше, предложили миру самое разумное, на их взгляд, общественное устройство. Они полагали, что человечество было бы осчастливлено, осуществив его. Путь к нему они не искали, так как последнее не стало еще насущной задачей их дня: для начала надо было осмыслить и предложить миру цель, а не средства ее достижения.

Последний рассмотренный нами утопист — Виктор Чернов — считает себя не утопистом, а ученым, более реалистом, чем марксисты. Кроме того, он не только литератор, но и революционер, которому помешало проверить утопию на практике лишь его политическое поражение.

Утопистами предлагались изменения всепроникающие и всеобъемлющие. Частная жизнь граждан и бытие общества должны были измениться решительно во всем. Перемены сопровождались исчезновением целых функциональных слоев народа (наследственной аристократии, буржуазии), отменой традиционных общественных институтов (частной собственности), перестройкой городов и жилищ, верований и систем отсчета. Государств, столь безоговорочно упорядоченных и приведенных к единообразию, как те, что грезилась утопистам, на земле не было. Но частичное сходство с книжными царствами законченной и всепроникающей организованности обнаруживается в некоторых рабовладельческих государствах и староазиатских кастовых деспотиях Древнего Средиземноморья, Ближнего Востока, Китая некоторых периодов его многовековой истории, а также в современных утопистам государствах Центральной и Южной Америки и Восточной Азии. Характерно, что источниками сведений в утопических романах неизменно оказываются морские путешественники, относящие местонахождение идеальных обществ к почти не исследованному тогда региону между Зондскими островами и Новым Светом.

О том, что использование осужденных преступников на тяжелых работах заимствовано им у древних римлян, Мор пишет сам, так же как и о влиянии «Государства» Платона на его идеалы. То же практиковалось и в Древнем Египте в периоды усиления централизации. Да и в современной многим утопистам Европе позднего средневековья каторжный труд на галерах, в каменоломнях и рудниках был достаточно распространенным явлением.

Поклонение Солнцу существовало в Древнем Египте, Вавилоне, в империи инков и у многих других народов. В Японии эпохи сегуната (современной Вераса) осуществлялся строжайший контроль над выездом граждан за границу — вплоть до запрета. Суровая регламентация передвижения внутри страны господствовала в Китае эпохи Цин. Бросали людей на растерзание хищным зверям древние римляне, древние вавилоняне и другие народы. Целенаправленное воспитание детей в полном или преимущественном отрыве от родителей тоже практиковалось в разных масштабах у различных народов, известных авторам европейских утопий. Создается неожиданное впечатление, что просвещенные мыслители эпохи становления конку-

¹⁴ Их много больше. При строгом подходе следовало бы начинать с античности, напомним читателю, к примеру, идеальное государство Платона. Однако прославленные утопии Мора, Кампанеллы и Вераса достаточно ярко представляют весь этот жанр.

рентного капитализма (становления гражданских свобод!) в Европе тяготели к некоей идеализации тех мощных деспотически стабильных режимов, после крушения коих множество скованных ими народов уже не поднялись до полноценного государственного существования, во всяком случае в прежних формах (одни исчезли при разных конкретно-исторических обстоятельствах, другие возродились на иных началах, нередко на почве пришедших этносов или в смещении с ними).

Благодетельный и справедливый деспотизм, монархический или республиканский, — вот основа ранних европейских социальных утопий. Почему же деспотизм оказался столь привлекательным для просвещенных создателей и читателей этих книг?

Просмотренные нами утопии писались в тяжелые времена. Их авторами, людьми решительными и нетерпеливыми, в пору болезненного вхождения их стран в полностью независимый конкурентный капитализм двигало стремление предложить человечеству образцы обществ, лишенных вопиющих пороков современных им государств Европы: нищенства народа, бездомья, роста бродяжничества и преступности, ужасающего неравенства, праздности и жестокости меньшинства, произвола правящих и проч. Отталкиваясь от этих пороков со всей доступной живому уму силой воображения, реактивно идеализируя их антитезу, мыслители предусматривали в своих проектах уничтожение частной собственности — этого, по их убеждению, источника всех раздоров и смут, — исключение неравенства для подавляющего большинства народа, всеобщую сытость и житейское благополучие, отсутствие праздности, непогрешимую справедливость правящих и, главное, абсолютную упорядоченность частного и общественного бытия, в котором все предусмотрено раз и навсегда наилучшим образом. Стихийность и случайность из этого бытия исключены. В нем правит Порядок. А соблазн упорядоченного существования, не знающего неуверенности в завтрашнем дне, чуждого неожиданностей и коварных случайностей, извечно и по сей день чрезвычайно велик. Обещание создать «правильный», навечно очищенный от пороков строй, который будет существовать «до конца истории», не накапливая вопиющих противоречий, есть пленительная альтернатива непостоянной и несовершенной реальности. Даже недостатки утопий, будь они сразу же выявлены читателями, не испугали бы и не оттолкнули бы современников и ближайших потомков: они были наивными рационалистами, по убеждению коих любые ошибки Разума Разум же властен исправить. Неудачные детали плана следует заменить удачными или выбросить из проекта — только и всего. И жестокость утопического самоуправления не должна была отвращать от этих поучительных образцов читательскую элиту XVI—XIX веков: она привыкла к жестокости своего времени и прошедших эпох.

Современному читателю при чтении рассмотренных здесь книг сразу бросается в глаза жестокость кар, предусмотренная утопистами. Современникам Мора, Кампанеллы и Вераса и их ближайшим потомкам должна была бросаться в глаза прежде всего не жестокость, а справедливость кар и поощрений, господствующая в утопиях. Ибо в их времена бесчеловечные кары были слишком часто еще и несправедливыми, а баснословные выигрыши (преимущества рождения или богатства), так же как и несчастья (низкое происхождение и положение в обществе, внезапные разорения и опалы), выпадали на долю людей случайно, то есть незаслуженно. Они же тщатся сделать и счастье и горе предопределенно заслуженными для каждого.

Существует еще одна причина того, почему утописты XVI—XIX веков не отпугивали, а привлекали просвещенных читателей своего и последующего времен. Эти учения не были учениями для масс. Они не содержали практических рецептов своего построения, и из них еще не делались упрощенные лозунговые извлечения для простонародья. Последнее стало обыкновением политических деятелей и учений определенного типа в конце XVIII века и особенно во второй половине XIX столетия, достигнув апогея в XX веке.

Сочинения же, о которых говорится здесь, за исключением книги В. Чернова, писались интеллектуалами для интеллектуалов. И поскольку о каждом из рассмотренных тут обществ заранее категорически сказано, что оно возглавляется лучшими его гражданами, в том числе учеными, то читатели, не без основания видевшие в себе лучших людей своего времени, могли не пугаться ни жестокости представленного в утопиях управления, ни его частных ошибок и отдельных несовершенств. Согласно замыслам авторов, поставивших во главе утопических обществ их интеллектуальную и нравственную элиту, такие читатели были бы властны исправить все ошибки и несовершенства утопий по своему усмотрению. Чужая несвобода их не пугала, ибо несвободные пребывали бы в их воле, а они твердо намеревались использовать свои полномочия и сравнительную бесправность других людей во всеобщее благо. Заметьте, что в утопических государствах очень мало законов. У Мора прямо оговорено отсутствие юридической процедуры, хотя, казалось бы, Мор, лорд-канцлер Англии XVI века, то есть верховный судья страны, должен был понимать, каково значение четко выраженного судебного права. Но нет: утопийцев

судят не на основании хорошо разработанного уголовно-процессуального кодекса, а на основании правосознания высоко нравственных судей. Это прямо перекликается с «социалистическим правосознанием» советской юстиции. И там и здесь сознанию судей, то есть их произволу, придается большее значение, чем законодательству. И это кажется Мору само собой разумеющимся: ведь судить будут лучшие люди общества, достойнейшие сыны отечества. Чего же было бояться? Вопрос о том, что считать и что не считать преступлением, подлежащим каре, тоже был бы в их воле, а значит, мог бы со временем гуманизироваться.

Поставив над обществом лишь малую часть его лучших, избранных граждан и сделав полностью бесправными только рабов и преступников, авторы утопий предусмотрели для подавляющего большинства населения полное равенство.

Лучшие люди всех времен и народов испокон веков грезят всеобщим равенством. Однако в рассмотренных здесь утопиях равенство понимается не только как равноправие или равное бесправие, но и как одинаковость большинства. Одинаковость есть, по убеждению утопистов, высшая, абсолютная форма равенства, а значит, и справедливости, предел того и другого. Одно только юридическое равенство прав, дарованное неравным по природе людям, не приводит их к одинаковости и к равновеликим выигрышам и проигрышам. Равенство юридических прав есть, по сути, лишь равенство совершения спортивных попыток. Оно развивает и сходные и различные черты индивидуумов, оберегая их природную и обретенную в жизни неодинаковость.

Утопии же стремятся к иному равенству — не к равноправию, а к всепроникающей равнокачественности людей, к одинаковости их труда, поведения, поступков и свойств, а главное — их обеспеченности житейскими благами. Здесь все и во всех отношениях законодательно приближается к некоей усредненной абстрактной норме. И этот предельный идеал равноправия — абсолют одинаковости — есть тоже, подобно стабильности утопийского быта, идеал реактивный — альтернатива неравенству в окружающей жизни. И, подобно устойчивости же, он остается соблазнительным для людей по сей день.

Разумеется, одинаковости существ, органически друг другу не равных, достичь нельзя. В этом утопии остаются утопиями. Но возможно правление, имеющее своей целью максимальное приближение если не качества большинства своих подданных, то хотя бы их взглядов и поведения к такой одинаковости, движимое тенденцией ее достичь, и в этом утопии не утопичны. Зато они глубоко заблуждаются, надеясь принести посредством такого равенства счастье людям. Уже одно только приближение к одинаковости субъектов неравных и неуравнимых по своей природе не может достигаться иначе как посредством жесточайшей ломки естественных движений их душ и перестройки их естественного поведения.

Исторически наиболее полно (но не полностью!) одинаковость бытия большинства (но не всех!) союзников достигается в концлагерях и тюрьмах — в тоталитарных «малых зонах». Но и там одни равнее других. И именно там, в экстремально жестоких и нищенских обстоятельствах, перевес (для тех, кто равнее прочих) в двести граммов хлеба, лишний черпак баланды, день в тепле становится преимуществом выживательным. Работа придурка в лагерной конторе или санчасти по сравнению с мучительно непосильным трудом голодного, мерзнущего зэка на тяжелых обших — куда большее и более важное преимущество, чем дворцы, яхты и самолеты Рокфеллера по сравнению с коттеджем и автомобилем американского рабочего.

Заметим: по причинам, о которых — ниже, социализм всегда малопродуктивен. Блага в нем, чем он «старше», тем дефицитнее, и число его искренних внутренних сторонников по мере его старения падает. Подгонка же людей под некий стандарт вообще противоестественна. Все социалистические «большие зоны» в процессе унификации бытия и воззрений своих подданных проходят через эпохи истребительного «большого террора», никогда не отказываясь от принуждения и в сравнительно вегетарианские периоды своего существования.

Авторы утопий предчувствуют, что в их государствах человеческий материал будет сопротивляться процессу его стандартизации. Поэтому такое большое место занимают в их сочинении описания карательных систем. Отсюда же заботы их правителей о предупреждении «дезертирства» из страны за границу.

Соответствует неизбежному ходу событий и то, что, несмотря на проповедь уравнительности, структура всех рассмотренных нами утопических государств сугубо иерархична.

Невозможность (в масштабах современного им государства) чисто общинного самоуправления с равномерно распределенной между всеми гражданами инициативой и ответственностью ясна и Платону и утопистам XVI—XVII веков¹⁵. И как только

¹⁵ Зато она не ясна Марксу и Энгельсу, предусмотревшим для своего коммунизма безгосударственное и уравнительное самоуправление «ассоциированных производителей».

выстраивается в их сочинениях строго централизованный аппарат управления, общество попадает в полную и безысходную от него зависимость, отчетливо декларируемую сочинителями утопий, ибо никаких механизмов общественного контроля над правителями в утопиях нет. Оппозиция, стремящаяся предложить обществу какую-то иную, не исходящую от государственной власти программу поведения или систему взглядов, в картине утопических «новых миров» не только не легализована, но и объявлена государственным преступлением. Характерно, что о воспитании и наказаниях, долженствующих предупредить или покарать оппозиционность, не забыто ни в одной из утопий. Значит, возмущения против властей предусмотрены, но предусмотрены и меры их предупреждения и меры возмездия за них. И в этом все эти ранние утопии являются не фантазиями, а прототипами реального «демократического централизма».

Иначе быть и не может. Во-первых, оппозиция есть нарушение одинаковости — угроза тому, что утописты принимают за равенство и социальную справедливость. Во-вторых, утописты воссоздают в своих моделях заведомо совершенное, на их взгляд общество (лучшее из существующих и лучшее из возможных). Всякая оппозиция может его только ухудшить, ибо явится отступлением от идеала: совершенство невозможно улучшить. Поэтому предусмотрено абсолютное единодушие. Концлагерный опыт, сталинизм, нацизм, маоизм, Камбоджа времен «красных кхмеров» и все, что к ним тяготеет, а также миры антиутопий XX века не превышают в своей бесчеловечной продуманности той меры заботы о несвободе, которой грезят великие утописты.

* * *

Есть зловещее сходство между авторами утопий и их преемниками — революционерами. Сочинители глубочайше уверены в объективной благодати принуждения, царящего в их идеальных обществах. У них нет сомнения в справедливости кар и поощрений, которые будут исходить от лучших сынов отечества, «являющихся политическими отцами родины» (Верас). Революционеры же воображают «действительными отцами родины» себя самих. Они крушат и ломают сложившееся бытие государство и общество и лепят новое с маниакальной уверенностью в своем праве так поступать. Им удастся разрушить старое и внедрить в жизнь ряд черт утопий: отсутствие частной собственности, единственность мировоззрения, ступенчатый централизм, культ господствующих общественных отношений, жесточайшее принуждение соблюдать последние. Но людям становится от этого не хорошо, а плохо. И все механизмы общества, удовлетворяющие его материальные и духовные потребности, работают не лучше, а хуже, чем раньше. Казалось бы, тут и приходит время «отцам родины» усомниться в своей правоте (в правоте исходных утопий) и сознательно введенное сознательно и отменить же. С точки зрения рациональной, самое время вернуться к исходной позиции и попытаться осчастлививать общество не столь безудержно, предоставив ему самостоятельно искать своей пользы. Но со сложившимся образом жизни уже срослись огромные контингенты людей — диктаторы и их аппараты. Их исключительные права и преимущества решительно неотделимы от возникшего строя. Они уничтожают маниакальных идеалистов и, отходя все дальше от утопической цели — всеобщего принудительно вводимого блага, — неотвратимо нагнетают насилие. Сохраниться со всеми их исключительными привилегиями, не сохраняя построенного ими правопорядка, они не могут, ибо ни при каких других обстоятельствах им не будет в обществе такого места. Терпеть же этот правопорядок без принуждения никакой народ долго не станет.

Ведь стремясь к упорядоченности, правильности и прочности, что и толкает его в объятия социал-утопистов, человек в то же время мыслит правильность и упорядоченность исходя из своих, а не из чьих-то критериев блага и целесообразности. У одних людей есть своя точка зрения и в неких сложных и высоких вопросах бытия; критерии других объемлют лишь различные уровни быта — от сугубо личного до общественного. Но в тех областях действия и существования, которые для человека важны, у него есть обычно органически свой критерий. Не признавать за личностями и группами права на собственные критерии блага и целесообразности означает рассматривать людей как детали машины, работающей только по замыслу ее оператора. Собственные («личные») свойства деталей занимают оператора только в меру их роли в работе целого, то есть всей машины. Целей, не совпадающих целями оператора, ни у деталей, ни у машины нет. Наиболее надежная форма отнятия у людей права на собственную (земную) цель и систему ценностей — их умерщвление. Но и ограбление человека и общества посредством лишения их права на независимое миропонимание подобно убийству. В итоге такого акта живое превращается в нечт машинноподобное, то есть неживое, хотя и не умершее.

Несомненно, общество и государство должны ставить узаконенные, подлежащие обсуждению и коррекции пределы своеволию лиц и групп. Но в удовлетворительно

организованном обществе речь может идти о нейтрализации лишь таких притязаний, которые угрожают покою, свободе, достоинству и благополучию других лиц.

Последовательная демократия позволяет любому члену общества идти в артель и жить коммунально и уравнилельно, или наниматься на оплачиваемую работу, или завести собственное дело и броситься в океан конкурентного рынка. Свободное общество организует себя само изнутри, посредством выбора (из множества конкурирующих) наиболее притягательных для него программ, руководителей и систем отсчета. Конечно, и здесь существует никогда не исчезающая угроза: неправильный выбор, слепота выбирающих и выбираемых. Но это их риск, и они расплачиваются за ошибки как существа, наделенные волей и разумом, то есть отвечающие за свои поступки. Вселенная и создана как самоорганизующаяся система, состоящая из самоорганизующихся подсистем; и все живое в ней наделено свойством отбора, а на высших ступенях животного мира — свойством выбора (животные — инстинктивного, человек — сознательного). А то, что выбор во множестве случаев приводит к некоему необратимому результату, тут уж ничего не поделаешь. Надо учиться выбирать лучше и созидать осмыслительней.

Авторы же централистских утопий понимают упорядоченность и совершенство идеального социума как подчинение всего человеческого материала единой мере, а значит, и единому центру. Может ли эта мера включить в себя и критерии всех тех, кто должен ей следовать? Нет, не может. Для того чтобы внеконкурентная власть при построении своего мерила учитывала критерии всех своих подданных, она должна их по каждому серьезному поводу узнавать, исследовать, оценивать и либо использовать, либо доказательно отвергать. Это не под силу никакой власти. Невольно и неизбежно сила, взявшаяся всепроникающе и всеобъемлюще упорядочить существование человека и общества, действует, руководствуясь только своими критериями. Ибо критерии всех или большинства ее подданных для нее объективно непознаваемы.

Но и ее собственные критерии ненадежны: они недостаточно обоснованы. У этой всеобъемлющей власти для построения надежных критериев нет и не может быть достаточно полных сведений о системе «общество». Внешние и внутренние взаимосвязи и характеристики, определяющие эту систему и ее перспективы, подвижны, изменчивы и в любой момент времени практически бесконечны по своему количеству. Их нельзя своевременно познать, проанализировать и превратить в команды и коррективы.

Государства, стремящиеся своевольно упорядочить в обществе абсолютно все, не управляют эффективно ничем. Отчаявшись добиться единого всепроникающего порядка от огромного, непрерывно струящегося во всех своих частицах и связях социального космоса, правители таких государств начинают поневоле стремиться лишь к сохранению возникшей структуры и своего в ней места, используя в этих целях все ресурсы подвластного общества. Как уже было сказано, все альтернативы такого поведения чреваты для них принципиальным изменением строя, который дает правителям и их аппаратам необъятную власть и все с ней связанное. Мы знаем по опыту, как мала готовность тоталитарных властителей к отказу от этих преимуществ. Пока могут, они любыми доступными им средствами сохраняют свой статус единственной правомочной силы в Системе.

Если мы люди — существа с разумом и душой, способные к выбору, — мы не должны передоверять другим свое право выбора. А чтобы не погибнуть в бесплодной роковой смуте, мы обязаны научиться выбору цивилизованному: посредством диалога и согласования, а не насилия. Если мы этому не научимся, причем достаточно быстро, значит, мы выбрали смерть.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. КОРЖАВИН

*

В СОБЛАЗНАХ КРОВАВОЙ ЭПОХИ

Часть первая

ДО ВОЙНЫ

ВСТУПЛЕНИЕ

Иржеде всего о названии этой книги, которое может показаться слишком банальным и лубочным из-за слова «кровавой». Хотелось бы определить как-то более скромно — «жестоккой». Но жестокость в истории, при всей ее отвратительности, не всегда бывает вакханалией и бессмыслицей. Сталинщина — была. И то, что к ней привело, в значительной степени тоже. Так что соблазны, о которых будет идти речь в этой книге, были соблазнами кровавого, а не просто жестокого времени.

Часть этой работы (детство до 1937 года — календарного, а не символического) и первый вариант этого «Вступления» я впервые написал в 1980 году, когда ни о каком Горбачеве и ни о какой перестройке и речи как будто быть не могло. «Кающийся антисталинист» (это не ругательная кличка, а самоопределение) Александр Зиновьев предрекал брежневщине чуть ли не тысячелетнее царство. Я понимал, что этого не может быть, что брежневщина — эта «сталинщина с человеческим лицом» — сама себя съест, но в том, что это окажется благополучным исходом, сомневался и я (это и теперь еще не ясно). Но не исключал я и того, что просто, так же, как живем, организованными, якобы стройными рядами, по-прежнему лениво изображая из себя энтузиастов (точнее, не противясь тому, что нас лениво выдают за энтузиастов), мы и забредем в пропасть. В душе, конечно, теплилась надежда, но держалась она не на логике, а на вере в витализм народа и его истории. Не мог я представить себе, что все это вдруг может взять и кончиться — все, во что вложили себя Петр Первый и Александр Второй, Сперанский и Столыпин, Пушкин и Блок, Толстой и Достоевский, все, что за каждым и в каждом из нас. Да и наши собственные биографии — весь наш путь из прострации к реальности, от ностальгической романтики интернационализма и мировой революции (плод чьего-то беспардонного и неграмотного идеализма, привлекавший простотой и отвлеченностью тех, кому после 1917 года все равно уже некуда было податься) к ощущению вечности и родины, все наши бессильные, но просвещающие прозрения и открытия, все старания так или иначе восстановить исторические связи, — не мог я поверить, чтоб это все не имело ни смысла, ни развития. Огромный, несмотря ни на что, духовный и интеллектуальный потенциал не мог же быть дан этой стране просто так, навывброс.

Но, конечно, это было чувство, желание, надежда и вера, но не знание. Вера эта теплилась во мне и в тревожные предзимние дни 1990 года, теплится и теперь, в мае 1991-го. Но ни в уверенность, ни в знание она не превратилась. Ибо и теперь, как в 1980-м, я знаю, что время упущено и выхода не видно. Принято обвинять в этом Горбачева, и он действительно часто тормозил попытки наверстать время, но в целом это последний раз произошло задолго до него — еще при Хрущеве. Горбачев только более или менее робко попытался выйти из этой теоретически безвыходной ситуации, в которую не заводил, а попал вместе со всеми. Возможность такой ситуации предопределил Ленин, на бешеной скорости устремил к ней страну Сталин, упустил время сравнительно безболезненно ее предотвратить Хрущев (который к тому же усугубил безвыходность, втянув в абсолютно не нужную стране и непосильную глобаль-

ную политику), а утвердила ее в качестве неизбежного закона жизни — в сущности, исходя из принципа «после нас — хоть потоп!» — жовиальная брежневщина.

В сущности, брежневщина была самореализацией сталинщины, «сталинщиной на свободе». Сталинские соколы и те, кого они подобрали, без оглядки на сталинскую плетку реализовали те качества, за которые их когда-то выдвинул Сталин. Прежде всего естественный и (чаще) воспитанный аморализм. Начинаясь он хотя бы с того, что выдвигенцы обязаны были играть активную политическую и идеологическую роль, хотя подбирались они из людей, к этим материям безразличных. Безразличие это само по себе не аморально, но при согласии играть такую роль — а речь идет о государстве, являющемся по форме идеологической диктатурой, — положение меняется. Они становятся не только аморальны, но и опасны, ибо начинают контролировать то, в чем другие понимают больше, чем они. На том основании, что они больше преданы товарищу Сталину и лучше понимают его волю, а это и есть критерий всего. На их глазах и при их участии мучают и убивают, но мысль, что и при «великом Сталине» человек все равно должен иметь принципы и отвечать за свои слова и поступки, показалась бы такому человеку кошунственной, он об этом просто не догадывается. Ему удобно не догадываться, он привык к такой системе ценностей и лишь при ней значим. Так и получается — сначала не догадывается, а потом привыкает. А потом любой ценой защищает добытые при этой недогадливости привилегии. И саму недогадливость как их основу и высшую человеческую ценность.

Этих людей иногда воспринимают как фанатиков. Но они фанатики не какой-либо идеи, пусть античеловеческой, а только тех условий, при которых они играли не совсем им до сих пор ясную роль. Они и не изверги, как Сталин, хотя участвовали в его преступлениях, одобряли и покрывали их. Даже жуликами были далеко не все из них. Но жулики превалировали. Слишком много раз, при Сталине и после него, они вопреки очевидности «побеждали», «оказывались правы» и «на коне», чтобы это не оказывало «воспитательного» воздействия на окружающих, тем более на изначально деморализованный аппарат, всецело зависящий от непредвидимых поворотов. В этих условиях беспринципность и цинизм как бы обретают статус высшей государственной и даже человеческой мудрости, и если не формально, то фактически вся страна попадает во власть их морали. Тем более — аппарат. Сталинскому аппаратчику надо было каждодневно проявлять эти качества — если не для того, чтоб еще больше возвыситься, то хотя бы чтоб уцелеть. Идеологией при этом, сознавая это или нет, они только манипулировали, привыкая не отдавать себе отчета в действительных мотивах собственного поведения. Так что было чему развернуться при Брежневе, во времена, справедливо теперь называемые застойными. Только на сей раз приобретенные таким образом качества и навыки эти деятели проявляли, угождая не Сталину, а самим себе — чтоб власть пожить.

Застойность этих лет, конечно, относительна. Все, конечно, не стояло на месте, а двигалось — правда, в пропасть. Исчезали продукты. То, что было при мне, в 1973 году, всем в Москве доступно, к 1980-му уже смутно помнилось, а в Поволжье часто и помнить было нечего. Народ выкручивался как мог. А на поверхности лениво изображалось кипение — поднималось Центральное Нечерноземье, возводились «ударные стройки пятилеток», входил в силу «развитой социализм». Правда, почему-то вместе с Продовольственной программой, которая бралась покрыть потребности этого «развитого социализма» в продовольствии только через несколько лет, и то частично. Все это было достаточно нелепо, но властям предержавшим это обеспечивало — официально во имя будущего, а фактически за его счет — такое положение, чтоб «на их век хватило». Впрочем, афганская война показала, что они начали дуреть от бесконтрольности и стали опасны даже для самих себя. Это в значительной степени и определило слабость их сопротивления перестройке на первых порах.

Но все-таки в 1980 году, когда я начинал эту работу, противоестественное положение в стране выглядело вполне стабильно. Ясно было, что долго так быть не может — особенно после того, как Рейган принял советский вызов в гонке вооружений, — но нельзя было представить, как это может прерваться. На фоне этой странной и ирреальной стабильности, на которую никак не влиял тот факт, что мне, да и не только мне, ее генезис и порочность были ясны давно, я и начал писать эту книгу. Отчасти я просто уступал желанию своих друзей, считавших, что это будет интересно, отчасти же мне просто захотелось вспомнить о том, как мыслящие люди моего поколения ладили с ирреальной действительностью и вырывались из этой ирреальности. Я считал это существенным и важным.

Сегодня, когда люди моего поколения становятся объектом одномерной резвой критики новых поколений, важность этой задачи, на мой взгляд, даже возрастает. Дело не в том, что мы не заслуживаем критики — в этой работе ее будет сколько угодно, — дело в том, что в этой резвости есть не только попытка самоутверждения за чужой счет, но и опасное забвение истории. Будет плохо, если наш опыт не будет

учтен, если ехидно-наивный вопрос: «Как вы (то есть мы. — Н. К.) могли?» — будет многим казаться убийственно простым. Это значит, что многие из них при случае, в безвыходной ситуации, тоже не узнают соблазна (а он на то и соблазн, чтоб его не узнавали) и предадутся ему как истине.

Задача моя все та же, но времена и условия — иные. Как бы сегодня ни вел себя Горбачев (или Ельцин, или кто другой — вычитываю текст после крушения августовского заговора), то, что он сделал в начале перестройки, — это попытка реанимации нашего убитого общества. В дни, когда я пишу это вступление, реанимация захлебывается в цейтноте, преследовавшем ее с самого начала. Все надо сделать, все неотложно, все требует средств. Старая система работать не может, а новую вводить сложно и боязно. И есть чего бояться. Сравнение с нэпом неправомечно — тогда достаточно было разрешить крестьянствовать, торговать, заняться предпринимательством, люди все это умели делать. Теперь не то — слишком уж велик был этот «великий перелом», слишком уж долго мы жили этой переломленной жизнью, противоестественными производственными отношениями. Никому с ними не было хорошо — все страдали, все чертыхаются, но... привыкли, притерпелись, приспособились, многие приворожались. Как-то живут. И ломка пугает.

Выходит, пятая нога,
Пришитая искусно,
Бывает тоже дорога.
И это очень грустно, —

писал поэт Валентин Берестов о собаке, околевшей с тоски, когда у нее отрезали искусно пришитую и сильно досаждавшую ей пятую ногу. Мы не собаки, но пятую ногу пришили и нам. И многим страшно с ней расставаться. Но и оставаться с ней в нашем случае опасно — от нее гангрена идет. Систему все равно придется менять — иначе не выжить.

Но как это сделать? Обычно сменяющая система созревает в недрах сменяемой, но в недрах нашей искусственной системы не созревает ничего, кроме всесторонней коррупции. По-видимому, вернуться к естественности эта искусственная система может тоже только искусственным, то есть детально продуманным путем. С тем только отличием, что мероприятия должны быть продуманы таким образом, чтоб они по дороге подхватывались просыпающейся стихией жизни, то есть чтоб они шли навстречу этой стихии.

Это и само по себе трудно. Рыночная система может начать давать плоды, то есть облегчить людям жизнь, быстро, но не сразу. Поначалу она больно заденет ближайшие интересы слишком многих, отнюдь не только номенклатуры. А куда дальше задевать? Полки пусты, люди раздражены, в Москве очереди за любым товаром. Куда дальше? Никто еще никогда не возвращался к реальности из такого погружения в фантастику и протрацию, как мы. У человечества просто нет такого опыта. Экономисты ищут и предлагают разумные выходы, но на все нужно время, а его нет.

А ведь есть влиятельные круги, которым реформа — нож острый, которые самоубийственно стремятся и умеют загормозить любой путь к спасению. Сейчас они потерпели поражение в связи с попыткой переворота, но вряд ли исчезли. Военный переворот может стабилизировать политическую обстановку, но восстановить разрушенные экономические отношения он не может. Тем более с армией, допустившей дедовщину, и при генералах, слившихся с партократией. При этих условиях военный переворот в случае успеха окажется только стимулятором хаоса.

Но, может быть, разгром заговора спасет нас. Ведь дело пахло какой-то странной перманентной гибелью великой страны. И порою мне казалось, что писать нелепо — до того ли читателю?

Не идет из головы увиденное по телевизору осенью 1990-го. Интеллигентная женщина в очереди за чем-то, растянувшейся на десять кварталов. В ответ на вопрос корреспондента она показала ему ладонь с номером своей очереди, а потом отвернулась и заплакала. Конечно, от беспомощности и отчаяния прежде всего — тяжело и обидно выстоять такой хвост за тем, что съестся очень быстро. Но еще и от стыда за свою страну, за то, что без войны и бедствий мы сами себя довели, дали себя довести до жизни такой. Я старше этой женщины минимум лет на двадцать, живу за границей и хвостов не выстайваю. Но мне тоже хотелось плакать от стыда вместе с ней и перед ней, хотя никакой особой вины перед ней у меня нет. Разве только то, что я старше. Но и я уже пришел «на готовое», от меня ничего не зависело... А на постижение самых простых истин бытия мне пришлось потратить годы.

Я и теперь мало что могу изменить, но поделиться опытом этих лет считаю необходимым. Это напряженный духовный опыт. И даже если сейчас людям будет не до него, потом он может стать им нужным.

Есть еще одна — может быть, самая существенная — сторона моей жизни, связанная со всем, о чем говорилось выше, но особая. Это мои творческие поиски, то, к чему я пришел в понимании поэзии, моя борьба с культом бессмысленного самовыражения (самовыражения без откровения) и «новаторства». Она тоже будет занимать свое место в этой книге. В книгу, вероятно, войдут те мои стихи, которые имеют отношение к моей внутренней биографии, но не кажутся мне сегодня выходящими за ее пределы. В нашей жизни было и есть слишком много острой современности, и это не очень хорошо для искусства. Но еще хуже для него ложь — искусственно игнорировать эту «современность» тоже нельзя. Надо ее преодолевать. Но об этом в других моих работах и — в самой этой книге!

НАЧАЛО ДЕТСТВА: СРЕДА ОБИТАНИЯ

Я родился 14 октября 1925 года в Киеве. Это значит, что я родился через восемь лет после октябрьского переворота и года за четыре до начала «великого перелома», то есть коллективизации, уничтожения кулачества как класса в деревне и «мелкой буржуазии» в городе, индустриализации и прочих прелестей, определивших жизнь страны на многие годы вперед. Родился в апогее так угнетавшего романтиков революции «угара нэпа». Но подземная разрушительная работа «культурной революции»¹ уже шла вовсю, хотя казалась многим просто наивным культуртрегерством. Только такие зоркие люди, как И. П. Павлов, ощущали ее разрушительную потенцию.

Конечно, эти ретроспективные характеристики времени сами по себе не относятся к жанру воспоминаний, но без них не обойтись. Ими окрашены все воспоминания об этом времени, которое как-то уж очень быстро было отодвинуто в «наше славное прошлое», в разряд несомненных успехов, о котором запрещалось думать, да и сами запрещавшие, похоже, не думали, но у которого, конечно, была своя реальность, во многом определившая жизнь страны и жизнь многих, в том числе и мою. Мысли эти — не воспоминания, но для нас вспоминать значит думать. Думать о том, какой все-таки жизнью мы жили, что нас окружало, что значили слова, которые нам внушали. Блок сказал, что «Рожденные в года глухие/ Пути не помнят своего». Не знаю, как назвать наши «года», но для нас, оглушенных ими, каждое трехлетие, максимум пятилетие, — целая эпоха, по-разному формировавшая сознание. Каждая небольшая возрастная группа — и это продолжалось чуть ли не до начала шестидесятых — представляла из себя как бы отдельное поколение. Лишь потом все эти поколения слились в одно. В «годы застоя» произошла кардинальная, настоящая смена поколений: сменились, пусть еще не до конца, все наши поколения вместе.

На первый взгляд так бывает всегда — во всяком случае, в Новое Время. Поколения сначала расходятся, ибо молодое обычно сильно преувеличивает свою особость, а потом сливаются. Это естественно. Но в нашем случае ничего естественного не было. Просто при Сталине вся отечественная и мировая история рассматривалась как подчиненная инстанция: как прикажут, так и будет себя вести. Это касалось и более далеких ее периодов — они получали каждый раз новую трактовку в связи с ближайшими политическими расчетами. Но особенно это касалось времен более близких — те вообще наглухо засекречивались.

В декабре 1947 года со мной на Лубянке сидел очень милый и порядочный человек по фамилии Богданов, брат философа (его имя и отчество, к сожалению, выветрились из моей памяти). С ним произошло следующее. После того как более серьезные обвинения, выдвинутые против него, рассыпались, для того, чтоб «закрыть дело», остановились на его единственном неопровержимом «преступлении», а именно — на хранении найденной у него при обыске антисоветской литературы. Так вот, этой литературой был чудом уцелевший от тщательных самообысков конца тридцатых (завалился среди книг и бумаг) номер «Правды», датированный не то двадцать пятым, не то двадцать шестым годом.

В данном случае меня интересует не посприание права при Сталине (тогда права не было), а утвердившееся при нем пагологическое отношение к памяти. Думаю, что, если бы этот номер газеты центрального комитета правящей партии относился к началу тридцатых, «преступление» квалифицировалось бы так же. В библиотеках в открытом доступе (не в спецхране) нельзя было получить советские газеты более чем

¹ Культурная революция в СССР — фактически подготовка «в ударном порядке» фиктивной интеллигенции с целью заменить подлинную.

двухлетней давности. «Антисоветским» для этой партии стал прежде всего ее собственный (и страны под ее руководством) «славный путь».

Так что каждый мог помнить только те события, свидетелем которых он сам был, и то освещение этих событий (а также и событий далекого прошлого), которое давалось при нем, — короче, атмосферу времени своего становления, для каждого короткого периода особую. Суть не в нормальном и трагическом забвении времен (уж слишком коротки были эти «времена»), а именно в искусственном их засекречивании. Атмосфера каждого из этих «времен» всегда выдавалась за следование единственно истинной системе ценностей, но потом затапливалась подалеке и засекречивалась, и атмосферу эту можно было теперь только восстанавливать по памяти (и, как все скрываемое, она легко поддавалась романтической идеализации). Это влияло на формирование всех, в том числе и тех, кто не поддавался пропагандному облучению, кто сомневался и искал истину. Поиски каждого из них начинались с опровержения того варианта лжи, который внушался о времени, когда начинал мыслить именно он. Это и окрашивало по-разному облик разных поколений интеллигенции (я имею в виду не лиц интеллигентных профессий, а людей, для которых приобщение к культуре означает приобщение к мысли).

Как видите, дата моего рождения в этой работе служит для определения не только моего возраста, а и точки обзора.

Но вернемся к моей биографии. Читатель уже знает, что я родился в 1925 году в Киеве. К этому следует еще добавить, что родился я в еврейской семье. Факт этот существен для нашего времени, хоть он — хорошо это или нет — не оказал серьезного влияния на мою взрослую жизнь. Однако первые годы жизни я провел в кондовом еврейском окружении.

Правда, говоря о кондовости, следует сделать поправку на время. Ни отец, ни мать, ни семь сестры отца и одной из сестер матери не были религиозными и не придерживались связанных с этим традиций, что никак не соответствует представлению о еврейской кондовости. В старинном понимании этого слова они вообще не были евреями. Тем не менее — таковы были времена — принадлежность всех моих родных к еврейству была для них и всех, кто имел с ними дело, фактом несомненным, само собой разумеющимся и не нуждающимся в подтверждении. Они ушли от религии, но не ушли от сформированного ею уклада и психологии. Да и вообще практически они до самой войны и эвакуации в своей жизни и связях за пределы еврейского круга не выходили. Нечто подобное я встречал в СССР и среди секуляризованных мусульман.

Впрочем, вокруг меня было много и несекуляризованных евреев. С бородами. Один из них, муж старшей из материнных сестер — она была старше матери больше чем на двадцать лет, — Хаи-Иты (на мой слух — Хаиты) Аарон-Мойша (на мой слух — Армейша), жил с нами в одной квартире. До середины тридцатых он был владельцем того двухэтажного четырехквартирного дома (в нем была еще и пятая, но с выходом только во двор — видимо, дворничка), в котором мы жили. Это последнее, что оставалось от его дореволюционного, видимо, значительного состояния. Году в тридцать шесть он вынужден был «добровольно» сдать этот дом в жилкоп (жилищный кооператив), как говорили в Киеве (в Москве это называлось бы жакмом), фактически — государству. После войны все эти жакты и жилкопы укрупнили, открыто превратили в жилищно-эксплуатационные конторы (жэк), прямо подчиненные горсовету, и квартиры стали считаться государственными. Граждане не восприняли это как узурпацию — они не заметили разницы. Да ее и не было. Это было изменение в административной структуре, а не в их положении. Поначалу эту пятикомнатную квартиру с кухней и большой террасой, но без ванной занимали только мы и дядя с тетей. Потом квартира стала населяться и другими людьми. Первым поселился брат отца Иосиф, раввин, с женой и двумя сыновьями (он не только был с бородой, а почти и по-русски не говорил). Потом одну комнату разделили пополам, и в одной из ее половин поселился старик со взрослыми дочерью и сыном, тоже бородатый и тоже наш родственник, правда, дальний. Был у меня еще один дядя, брат матери, тоже Иосиф, тоже верующий, но он жил не с нами, а на Демиевке (тогда уже Сталинке). Так что бородатых вокруг меня вполне хватало.

Но были и впечатления совсем другого рода. Некоторое время, правда недолго, жила в нашей квартире (не знаю, на каких правах, может, тоже были родственниками) еще одна семья, муж и жена. Сравнительно молодые. Видимо, он был нэгманом. Помню, что был он большой, веселый и добрый. Но однажды за ним пришла девушка-милиционер и весело (именно весело — я это помню) увела его с собой. Вернулся он то ли в тот же день, то ли на следующее утро. Рассказывал взрослым, как объяснял следователю, что у него больше нет ничего. Не знаю, доказал ли, но вскоре они с женой куда-то исчезли. Наверно, уехали, чтобы раствориться где-то в России. Интересно мое восприятие этого события. Помню, что он был мне симпа-

тичен — детям нравятся большие, добрые, надежные люди, — но, будучи уже захвачен революционно-романтическим конформизмом, я ему не сочувствовал. Мне больше нравилась девушка-милиционер. Теперь я знаю, что тогда многие так метались по стране, запутывали следы, стремились добраться куда-то, где будут менее заметны, старались выглядеть имеющими гораздо меньше, чем имели (даже если имели мало), и т. д. Знаю и то, что мы все виноваты перед этими людьми. Но тогда я только удивился: был человек и вдруг исчез. Потом я этому уже не удивлялся, а настало время — и сам так исчезал. В такое время мы жили.

Все это происходило отнюдь не только в еврейской среде, но я рассказываю о том, что было на моих глазах. И если эти бытовые подробности опровергают распространенное в части эмиграции, а последнее время в какой-то степени и в СССР представление о неразрывной связи евреев с большевизмом², то только потому, что такой связи не существует. Несмотря на несомненность активного участия многих евреев в революции и в отставании советской власти, совершенно очевидно, что во всем этом участвовали не одни евреи и, главное, не все евреи и даже отнюдь не большинство евреев. Но попытке разобраться в этой непростой теме посвящена у меня отдельная статья «Безысходные умыслы», которую я не теряю надежды увидеть напечатанной на родине. Здесь же главным образом я рассказываю о том, что запечатлелось в моей памяти.

Жил я тогда в самой толще еврейской массы, но никакой особой приверженности к революционной власти в ней (потом, когда подросток, — к величайшему моему огорчению) не замечал. То, что вокруг не было никаких деятелей революции, меня не удивляло — небожители и должны обитать в иных сферах. Но получалось, что почти все вокруг, кроме меня, относились и к советской власти и к ее романтике весьма прохладно, были, говоря моим тогдашним языком, «мещанами», обывателями, проявляли обычную законопослушность — и только. Слова «коммунист» и «милиционер» произносились в этой среде (конечно, представителями старших поколений) с откровенной неприязнью и опаской. Дошло до того, что мой упоминавшийся уже здесь дядя, хозяин дома, в 1941 году наотрез отказался эвакуироваться и погиб в Бабьем Яре. Не веря советской пропаганде ни в чем, он не поверил и тому, что она говорила о нацистах, тем более что немцев в 1918 году³ он видел сам и знал, что они в отличие от большевиков «культурные люди». Он не предполагал, что «прогресс» уже коснулся не только нашей страны. Это не делает чести его осведомленности и пониманию обстановки, но уж никак не свидетельствует об органической связи всего еврейства с большевизмом.

Но это не отменяет и того факта, что действительно почти все еврейство было благодарно советской власти за отмену унижительных ограничений для евреев. Тут была и некоторая aberrация, ибо отменило их (окончательно, так как были размыты и до этого) Временное правительство, а не большевики. Но так внушалось. Следует помнить, что основная масса евреев была так же мало подготовлена к пониманию происходящего, как и основная масса населения Российской империи вообще.

А кроме того — что греха таить? — евреи помнили, что в хаосе гражданской войны только красные, да еще, кажется, Махно, активно противодействовали еврейским погромам⁴. К сожалению, белые с таким противодействием не ассоциировались даже в умах людей, отнюдь не захваченных коммунистической идейностью. В нашем доме — в уже упомянувшейся пятой, дворничьей, квартире — жил с семьей некто Арп Щиглик. Одно время он, помнится, и впрямь был дворником нашего дома, а потом просто квартира осталась за ним. Человеком он был малограмотным, но, видимо, неглупым. К существующему строю относился без всяких сантиментов. «У нас, — объяснил он однажды моему отцу, — социализм. А что это значит? Это значит все твое, но только руками не трогай». И вот в устах этого человека не было более злого оскорбления, чем — «Дыныкы!» Вряд ли Арп имел хоть какое-то представление о личности самого генерала А. И. Деникина. Это сказывались скорее всего просто не совсем приятные воспоминания о пребывании Белой армии в его местечке. Может, отчасти они были подогреты пропагандой, но вряд ли — к ней он был обычно глух, да и грамоты не хватало ее вкушать.

Могу засвидетельствовать, что, к сожалению, такие воспоминания долго оставались не только у евреев на юго-западе о деникинцах, а и у чисто русского населения

² Да, последнее время! Еще не выветрились из памяти годы, когда такое участие считалось почетным. Тогда не только неразрывная связь, но и само участие евреев в партии и революции отрицалось, а «заслуги» замалчивались.

³ Когда германские войска после заключения Брестского мирного договора и до капитуляции Германии на Западе оккупировали Украину.

⁴ Иногда и отдельные красные части баловались погромами (например, бригада батьки Боженко из дивизии Щорса), но это не поощрялось.

на Урале и в Сибири о колчаковцах. Поскольку мне потом пришлось жить и там⁵, на путях наступления и отступления колчаковских войск, я вполне могу засвидетельствовать, что и в той и в другой местности слово «колчаки» произносилось неприязненно, было ругательством. Вероятно, какие-то основания у такой репутации были, но я вовсе не думаю, что такая память о белом движении справедлива — белые отнюдь не были более жестокими, чем красные. Тем более не должны они были так восприниматься после всех бедствий коллективизации, разоривших деревню и жизнь, а это простыми людьми этих мест вполне и тогда сознавалось.

Но, видимо, с партии порядка больший спрос, и репутация эта имела место (и не только среди евреев). Все-таки во главе там были не полуграмотные выдвигенцы, а офицеры в погонах. Но когда эксцессы, вызывавшие такую репутацию, касались евреев, иногда вдобавок огуленно зачисляемых в большевики, это неизбежно ассоциировалось в их сознании с их положением до революции, с такими, например, акциями, как дело Бейлиса. Конечно, это не сравнимо с тем, что было потом, даже с теми же евреями. Планировавшееся дело врачей было пострашней и пототальной дела Бейлиса. Негласная процентная норма при Сталине — Хрущеве — Брежнев была намного ниже, чем гласная при царе. Правда, нет черты оседлости. Но, может быть, только потому, что необходимость иметь право жительства в виде прописки сегодня распространена на все население страны⁶. Но тем не менее приуменьшать оскорбительный смысл таких акций и открытых ограничений не очень достойно. Впрочем, при всем при том о жизни в «мирное время» (значит, до 1914 года) многие простые евреи, его хлебнувшие, вспоминали с нежностью. И жизнь и люди бывают логичны далеко не всегда.

Все это я говорю объективности ради, а не для того, чтоб затушевать роль евреев-революционеров или поведение тех евреев-интеллигентов, кто в начале двадцатых ринулся в непропорционально большом количестве в государственное строительство. Конечно, в том, что они этим элитным соблазнились, сыграло роль их положение до революции, когда всякая подобная деятельность была для них — независимо от их личных качеств — наглухо закрыта. Я не оправдываю ни одного по-настоящему образованного человека, кто этим соблазнился, — личность не могут оправдать обстоятельства. Но и обстоятельство эти оправдывать не следует.

Впрочем, вокруг меня никаких таких евреев (так же как и представителей других наций) насколько хватало глаз не было. Они были так же далеки от нас, как и от каждого среднего советского гражданина. И такое элитное детство, какое описывает в своих «Записках адвоката» Д. Каминская, мне даже и не снилось. Я этим отнюдь не открещиваюсь от ее элитной компании, куда входило много вполне мною потом уважаемых и даже любимых людей (то, что они получали от своего элитного детства, пошло на пользу не только им). В истории, да и в жизни, Зло и Добро не живут сепаратно, и, поднимая руку на Зло, надо следить за тем, чтоб она ненароком не опустилась на Добро. Да и отцов этих ребят я не сужу сегодня слишком строго, видимо, не такие уж это плохие были люди, если воспитали таких детей. Да и то, что никто из них, этих отцов, так и не вступил в партию, неся с достоинством клеймо беспартийного спеца (тогда беспартийность была клеймом, затрудняющим жизнь), тоже говорит о том, что рудименты честности и принципиальности сидели в них достаточно прочно. Тем более непростительно, что они — отнюдь не одни выходцы из евреев — соблазнились подобным «сменовеховством». Впрочем, в детстве вокруг меня и никаких «сменовеховцев» не было. Так же как не было «настоящих партийцев».

Но отдаленное отношение к революционным традициям наша семья все-таки имела. А именно — однажды в юности моя мать с сестрой Шифрой сходила на маевку в рощу возле родного местечка Ржищев Киевской губернии. Маевка была устроена кем-то из местных молодых и симпатичных передовых людей. Продолжалась она

⁵ С лета 1941 года до весны 1944-го я жил в эвакуации в поселке Симский Завод (потом городе Сим) Челябинской области, а с октября 1948 года по январь 1951-го в ссылке — в деревне Чумаково Новосибирской области.

⁶ Прописка существовала в России и до революции, но функций ее были иными. Они состояли в том, что жители больших городов должны были регистрировать в полиции место своего постоянного или более или менее длительного проживания. По-настоящему это затрудняло жизнь только уголовных элементов, что было бы совсем нелишне и в условиях современного Запада. В сегодняшнем СССР это прежде всего абсолютное и незаконное средство государственного регулирования миграции населения. Безусловно, в старой России никто бы не прописал человека в городе, где он по закону не имел права жительства, но сама прописка ничего не решала — права жительства лишил его закон, а не прописка. В современном же СССР отказать в прописке могут без всяких объяснений человеку, формально не лишенному никаких прав, а без прописки он не будет иметь права жить в данном городе. Короче — прописка приобрела мистическое значение, чего существовавшая когда-то простая обязанность регистрировать в полиции свой адрес была начисто лишена.

недолго. Только собрались, нагрянула местная полиция, и незадачливые революционеры пострадали за свободу — провели ночь в местном полицейском участке. «Страдали» весело. Пели песни, много смеялись. Наутро явился кто-то из родственников матери и выкупил всех бунтовщиков скопом не то за трешку, не то за пятерку (вероятно, и бывших главной целью этой крупной полицейской операции). На том и закончилась революционная деятельность обеих сестер. Остались только приятные воспоминания об «интересной молодости» (любимое выражение мамы).

С высоты своего личного и исторического опыта я привык относиться к этой историйке иронически. Но сейчас, когда я пишу эти строки, я вдруг поймал себя на сомнении в правомерности этой иронии. Ведь это первые неумелые попытки молодых людей, что-то читавших и о чем-то узнавших, вырваться из замкнутого и от этого нездорового мира, в котором жили их родители. На этот путь их толкала и великая русская литература, и культура, к которой они — тоже не всегда умело и не всегда грамотно — приобщались.

Впрочем, был среди моих родственников один, внесший более существенный вклад в революционное движение и даже в победу большевизма. Это Арон Ефремович Рубинштейн, другой мой дядя, муж второй маминой сестры, той самой Шифры, с которой она когда-то провела ночь в участке. Но вклад этот он внес не потому, что был большевиком или сочувствующим. Он просто был русским интеллигентом и не мог отказать в помощи простому человеку, которому трудно было самому грамотно составить нужную ему бумагу. И не вина дяди, что этим человеком, нуждавшимся в помощи, был не кто иной, как будущий «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин, а бумагами, которые надо было выправить, — тексты его зажигательных речей. По каким-то неизвестным мне причинам он в 1917 году часто заживал на петроградскую квартиру, которую дядя, будучи студентом, занимал вдвоем с приятелем, и они ему помогали как сыну народа. Кстати, Калинин был далеко не самым худшим или жестоким большевистским деятелем.

А интеллигентом дядя в отличие от всей остальной моей родни был наследственным, происходил из семьи, из которой вышли знаменитые музыканты Рубинштейны, был очень образован, знал европейские языки. И кроме того был в высшей степени добрым и порядочным человеком. Может быть, именно поэтому никакой карьеры при советской власти он не сделал, хотя окончил Институт внешней торговли в начале двадцатых, когда «кадры» были очень нужны. Ни разу он не обращался за помощью к Калинину и вообще не напоминал ему о себе. Может, еще и потому, что ни на какую карьеру не претендовал. При мне дядя, несмотря на все свои знания, работал заведующим библиотекой и переводчиком в НИИ деревообрабатывающей промышленности и, судя по моим детским и отроческим воспоминаниям, никаким комплексом неполноценности в связи с этим не мучался. Как я теперь понимаю, выглядел он человеком, потерпевшим крупное жизненное крушение. Какое — не знаю.

В молодости он привлекался к суду, но не за революционную деятельность, а за участие в еврейской группе самообороны. В эмигрантской печати встречается иногда осуждение этих групп: дескать, они с оружием выступали против безоружной толпы. Можно подумать, что эти группы занимались разгоном мирных демонстраций. Между тем они только оказывали сопротивление тем, кто шел громить, грабить и убивать. Отсутствие в руках таких громил огнестрельного оружия ничего не меняло, им при отсутствии сопротивления вполне хватало крюков и оглобелей. Иногда эту толпу оправдывают оскорбленностью ее монархических чувств, задетых евреями-революционерами. Безусловно, такие люди в России были (я сейчас не обсуждаю вопрос, правы ли они), но вряд ли именно они отправлялись по этой причине грабить магазины. Дядя мой, между прочим, защищал не заседание «совета депутатов» или эсдековско-эсеровской фракции, а именно магазины (хотя сам он никогда магазинами не владел) — именно против них почему-то в первую очередь в таких случаях обычно устремлялся «праведный монархический гнев». Иногда погромщиков называют еще консервативными элементами, но «консервативный погромщик» — это все-таки нонсенс. Дядя был судим по знаменитому гомельскому процессу, защищаем знаменитым адвокатом Зарудным и оправдан. Между тем он не был ни еврейским националистом, ни таким уж рьяным защитником частной собственности (кто тогда в молодой интеллигентской среде им был?) — он просто защищал свое личное достоинство, которое чувствовал задетым, и считал, что противостоит «темной силе». Думаю, что так оно и было. Ревизия революционных традиций русской интеллигенции, чтоб быть благотворной, не должна заходить за грани элементарной порядочности и здравого смысла. Обелять погромы, если еще не настал конец истории и памяти, — дело безнадёжное и неумное. Не более умное, чем идентифицировать с погромщиками весь русский, украинский или любой другой народ. Все-таки черное есть черное, а белое — белое. И пусть оно так и будет. Впрочем, сейчас появились в

России уже не защитники погромщиков, а апологеты погромов и геноцида (некоторые фракции «Памяти»), но это уже другая тема.

Умер мой дядя смертью, типичной для такого рода интеллигентов. В эвакуации, в Саратове, для него не нашлось другого места в жизни как быть завхозом ремесленного училища (никак не представляю его в такой роли). И уж, конечно, не нашлось никого другого, чтоб послать во главе «ремесленников» разгружать баржу. А был он, кроме всего прочего, уже в летах, старше моих родителей, а и им было уже по пятьдесят с гаком. Да и недоедание сказалось. Короче, схватил мой дядя на этой патриотической работе воспаление легких, а лекарства (кажется пеницилина, который тогда только начал поступать из союзной Америки) на него выделить не спешили (тем более был конец недели), и он умер. В сущности, это смерть героя «Сентиментальных повестей» М. М. Зощенко.

Правда, сам Зощенко добросовестно уверял себя и других, что ему этих своих героев не жалко, что все это им поделом. Но его проза точнее проявляла его чувства, чем его взгляды. На самом деле не худшие, а лучшие качества этих людей делали их неприспособленными для выживания в противоестественном обществе. Российская интеллигенция уничтожалась не только лагерями и расстрелами, а и просто так — вытеснялась самой жизнью. Дядя еще долго продержался.

Но дядя Арон выделялся из среды моего детства хотя бы нереализованными возможностями. У всех остальных если они и были, то обладатели их или сами об этом не знали, или не могли объяснить, в чем эти возможности заключались. Тем не менее и эта среда была не совсем рядовой.

Когда я слышу о всемирном еврейском заговоре, жидомасонах и сионских мудрецах, то, прежде чем возмутиться злостности и глупости выдумки, я удивляюсь. Удивляет меня полное несоответствие грандиозности приписываемых замыслов знакомому с детства образу. Ни с чем громадным то, что я видел вокруг себя, никак не ассоциируется. Но, видимо, реальность тут вообще ни при чем.

Для многих нынешних московских «интеллектуальных» антисемитов евреи — только интеллигенты. Не такие, как надо, но только интеллигенты. Других они не видели. Даже образ еврея-торговца поблек перед этим образом. Впрочем, это относится не только к антисемитам, но и ко многим другим московским интеллигентам, в том числе и еврейского происхождения. Последние впервые столкнулись с неинтеллигентной еврейской массой лишь на путях эмиграции — в Вене и в Риме (потом пути опять разошлись). Это было для них потрясение. Ничего подобного они не знали и не предполагали, хотя перед отъездом сильно распинались в своей любви к еврейскому народу и к его необыкновенным (обычно приписываемым всеми националистами своим народам) качествам. Часто эти интеллектуалы были даже не москвичами, а, допустим, кишиневцами — не важно. Дома они эту «массу» в упор не видели — культурно-психологическое отчуждение социальных слоев друг от друга в СССР было почти абсолютным. Я же вырос в довоенном Киеве, где евреев было много всяких и разных, а отчуждение не зашло еще так далеко. И поэтому удивлялся гораздо меньше. Хотя, конечно, разложение последующих лет отнюдь не прибавило благостности той «массе», о которой идет речь.

Но и эти люди не были на одно лицо. Достаточно сказать, что среди них были просто профессиональные уголовники. Эти попали на Запад по инициативе местных милиций, озабоченных улучшением отчетности. «Сам знаешь, — говорили такому в милиции, куда его вызывали или приводили, — материалу на тебя достаточно. Можешь в эмиграцию, можешь — в заключение. Выбор твой». Вот и становился такой политэмигрантом. КГБ этому тоже не противился — лишняя смута в эмиграции была ему только на руку.

Но уголовники — это крайний случай. Больше было людей не уголовных, но просто не очень порядочных, легко пускавшихся во все тяжкие. Однако многие из тех, кто поражал тогда воображение наших интеллектуалов, были хоть и не интеллигентными, но вполне порядочными людьми. В непорядочные их зачисляли исключительно по складу речи. Почему-то всех их считали одесситами, хотя они были из разных городов и хотя из Одессы выехало много интеллигентных людей, вообще к этому типу не относившихся. Так что с обобщением получается следующее: не каждый «одессит» из Одессы, не всяк, кто из Одессы, — «одессит», не все «одесситы» — торговцы, не все торговцы — по природе жулики.

Кстати, о порядочности. Недавно один нынешний антисемитский интеллигент, любитель моральной «широты», изобрел выражение «жидовская порядочность». Не знаю, что он имел в виду. Не думаю, чтоб среди евреев было больше порядочности, чем среди других людей, или чтоб их порядочность была какой-то особой. Я вырос в среде, где, как и во всем среднем классе России независимо от происхождения, честность и порядочность почитались. Существовало семейное предание о каком-то из моих предков, который, гостя в Киеве, однажды случайно проехал в трамвае без

билета. Он не мог успокоиться до тех пор, пока, опять попав в Киев, снова не сел в трамвай и не взял у кондуктора на этот раз два билета — один за прошлый раз. Так ли уж это смешно, как нам с вами сегодня кажется? А может быть, на такой «наивности» и «скучности» жизнь держалась?

Теперь о моем происхождении. То есть об истории моей семьи более конкретно. Разумеется, я никак не могу отнестись к тем, о ком Твардовский говорит: «Мы все, почти что поголовно./ Оттуда люди, от земли», но следующие за этим строки «И дальше деда родословной/ Не помним. Предки не вели» относятся и ко мне. Впрочем, предки, может, и вели, но до меня не дошло. Не в такое время я рос, чтоб особенно интересоваться предками. А потом я вообще ушел из этой среды, и другие были у меня и есть интересы.

Особого раскаяния по этому поводу не чувствую. Я прожил трудную, но наполненную и, в общем, счастливую жизнь. И тому, что я полюбил, что сделало меня человеком, я, по всей вероятности, буду верен до конца. Отчасти в этом причина моей малой осведомленности, о которой теперь сожалею. Ибо все-таки это имеет непосредственное отношение ко мне, да и само по себе интересно. Но кое-что я все-таки слышал. Больше от отца в разное время, немного от других родственников. Тем более что мои родители были в дальнем родстве и многие предки у них — общие.

О родственниках я уже тут говорил. Некоторые из них, как уже известно читателю, жили в нашей квартире, в доме, принадлежавшем тоже родственнику. В этой квартире в темном коридоре справа от входной двери стоял шкаф со старинными фолиантами на древнееврейском языке, что впоследствии, когда я начал без разбору читать, меня очень разочаровало. Обидно было — и книги стоят, и большие, а ничего, кроме «Дозволено цензурой», не прочтешь. Но кроме книг в этом шкафу находился предмет, имеющий более непосредственное отношение к истории нашей семьи, — портрет (теперь я думаю, гравюра) благообразного старика в ермолке, весь испещренный мельчайшими еврейскими письменами, может быть, даже и составленный из них. Возможно, это был способ обойти еврейский закон, строго запрещающий изображать людей, дабы не сотворить себе кумира, не знаю. Мне сказали, что это мамин дедушка и что он писатель. Видимо, эти письмена были цитатами из его сочинений. Потом я узнал, что этот писатель и вправду знаменитость — религиозный мыслитель, один из основателей хасидизма. В те времена жестокого богоборчества люди особо не упирали на подобные заслуги своих предков.

Этот писатель — седая древность, то ли век XVIII, то ли начало XIX. Но мой дед со стороны отца был как бы его наследником — цадиком. В цадики в детстве готовили и моего отца. Более того, после того как он осиротел, к нему уже и относились как к цадику. Хотя вроде бы это и странно. Ибо цадик в хасидизме — это мудрец, святой человек, наделенный благодатью, и его миссия не должна передаваться по наследству. Однако, видимо, так повелось. Тут не обходилось и без недоразумений. У разных цадиков (или династий) были свои поклонники, иногда очень страстные. Возникли острые конфликты. Однажды (а может, не однажды, но отец мне рассказал только об одном случае) дело дошло до настоящих баталий между двумя местечками. В дело вынужден был вмешаться губернатор. Между враждующими сторонами встали войска империи. «Раздухарившиеся» от «внутриизраильской» междоусобицы стороны вынуждены были заметить существование «внешнего» мира и обнаружить себя у берегов Днепра, а не Иордана. Обычно они в те времена (видимо, в середине XIX века) без этого вполне обходились.

Доходило до курьезов. Какой-то из моих благочестивых предков однажды решил совершить паломничество в Святую землю. Вероятно, момент, им выбранный для этого, вполне соответствовал определенному этапу его внутреннего и духовного развития. Но беда в том, что больше он ничему не соответствовал, ибо неожиданно для него на его пути встало такое мелкое по сравнению с вечностью, но все же труднопреодолимое препятствие, как очередная русско-турецкая война. Так что не исключено, что параллельно с путешествием моего предка в Иерусалим совершалось в тех местах еще одно путешествие, правда оставившее больше следов в истории, а именно — Пушкина в Арзрум. Но что моему предку была эта история и этот его современник? Мало вникая во все эти суетные «гойские» дела, он продолжал продвигаться к намеченной цели и в расположении войск. Сначала русских. Естественно, человек столь экзотического вида, к тому же, вероятно, и не говоривший по-русски, произволил «в стане русских воинов» странное впечатление. Его заподозрили в шпионаже, задержали и препроводили к генералу. Генерал, хотя легенды о еврейском шпионаже существовали уже тогда, довольно скоро понял, с кем имеет дело, и приказал не только отпустить его, но и пропустить за русские линии. На турецкой стороне произошло то же самое. Турецкий генерал, к которому он тоже был доставлен как шпион, также велел его отпустить. Вероятно, в те времена у людей были не только более простые понятия, но и более ясное ощущение религиозности,

и они не путали ее со шпионажем. Дошел ли мой предок до Иерусалима и на каком языке объяснялся с обоими генералами — не знаю.

Не скажу, чтоб такая отвлеченность, такая изолированность от всего, чем вокруг жили люди, очень меня умиляла, но как можно поверить, что среда, породившая такого человека (а уж он явно продукт среды, ее кульминация), может стремиться к такому хлопотному делу, как мировое господство, ума не приложу.

Мой отец никакого пристрастия к этой изолированности не имел. Он был убежденным, хотя и наивным атеистом. «Я стал свободным», — говорил он о моменте, когда отказался от религии. Однажды во время одного из моих последних посещений Киева, уже незадолго до моего отъезда и его смерти, а умер он на восемьдесят шестом году жизни, он вдруг спросил меня: «Эма, ты умеешь мыслить?» Я несколько смешался. С одной стороны, на такой вопрос во всей его глубине и Гегель бы не ответил вполне уверенно, с другой — речь явно шла не о тщете человеческой мысли, а о чем-то более простом. А я уже все-таки к тому времени был известным поэтом, автором статей, вызывавших споры. Я ответил неопределенно. Но он этим не удовлетворился и спросил меня прямо, верю ли я в Бога. Я ответил утвердительно и попытался ему объяснить, что это для меня значит. «Нет, ты не умеешь мыслить», — заключил он, выслушав мои сложные объяснения. И тут же привел мне в доказательство «неопровержимые» естественнонаучные доводы, которые сегодня легко найти в любом учебнике атеизма. Можно, конечно, улыбнуться, услышав про это, но для него эти доводы были не строчками из учебника. Они когда-то прозвучали для него откровением и действительно от многого его освободили.

Освободился он не столько от Бога, сколько от той атмосферы изолированности, которая в сочетании с темнотой приобретала иногда чудовищные формы. Они-то и связались у моего отца с представлением о религии и вытолкнули его из нее.

Произошло это так. После смерти деда (отцу тогда было восемь лет) к отцу, как я уже говорил, стали относиться как к цадику. Почему-то поверили именно в его святость и благодать. Являлись разные люди с подношениями и с просьбами: пусть ребе попросит у Бога это, пусть то.

Надо сказать, что малолетний «ребе» как мог увиливал от исполнения этих обязанностей — его больше интересовали детские игры. Но где б он ни прятался, служки неизменно его находили, отрывали от игр и заставляли произносить необходимые слова. Не знаю, приводили ли они к результатам, вероятно, иногда приводили (полагаю, независимо от того, имели ли они место), ибо просителей не убывало.

Пока просьбы были невинного характера (о выздоровлении, о рождении и т. п.), все шло более или менее гладко. Но потом случилось нечто чудовищное. Очередной посетитель, оказавшийся мельником, попросил, чтоб «ребе» (максимум десятилетний мальчик) сделал так, чтоб мужик, конкурент этого мельника, «сдох» (для чего требовалось просто произнести: «Пусть мужик сдохнет»). Отец наотрез отказался произносить эти страшные слова и убежал. Мельник забился в истерику. Как же, ребе не хочет пойти ему навстречу, от него отворачивается благодать (как будто она когда-нибудь на нем была), а значит, и фортуна (для таких скотов это одно и то же). Возможно, он при этом увеличивал «гонорар» — этого отец, поскольку был в это время в бегах, не знает. Но его разыскали и буквально силой заставили произнести это заклинание. Я понимаю, что, как говорится, лью воду на антисемитскую мельницу. Дескать, сам признает, какие они ужасные, эти евреи. Как будто темнота, корысть, религиозное отчуждение от иноверцев — качества исключительно еврейские. Люди, по тем же мотивам молившие Бога о подобных «одолжениях» по поводу всякого рода «неверных» или «нехристей», встречались довольно часто. Конечно, мне трудно представить православного священника, который бы по чьей-то просьбе начал накликал на кого-либо смерть, но и раввина такого представить тоже трудно. Но ведь вокруг отца никаких раввинов не было — только не совсем психически здоровая мать да неграмотные, а может, и корыстные (кто их знает) синагогальные служки, на свой салтык пекущиеся о сироте. Но все равно от этого эпизода, этой отчужденности чувств и совести, чем бы она ни объяснялась, мне до сих пор не по себе. Как было не по себе и моему отцу. Тем более что в довершение несчастья мужик этот вскоре действительно погиб страшной смертью — в пьяном виде поджег свою мельницу и сгорел живо. Получалось, что все это случилось по наущению моего отца, что он накликал смерть на голову человека, о котором не знал ничего дурного. Не думаю, что мужик действительно погиб из-за него, но духовно это было все равно накликаньем убийства. На отца это произвело страшное впечатление. Он отказался навеки от всякого «волхования» (кстати, строго запрещенного еврейским законом), хотя после такого знака его могущества количество просителей, вероятно, увеличилось, и вообще не мог успокоиться. Потом при первой возможности он уехал из родного местечка и, как живописный дождь восприняв естественнонаучные «опровержения» религии, ушел от Бога.

Конечно, случай это крайний. Но отход от религии на том основании, что застывшие формы ее проявления не соответствовали духовным потребностям живых душ, был знаменем времени. И имело это отношение не только к таким экстремальным случаям и уж, конечно, не только к иудаизму. Правда, в православии началось религиозное возрождение, к которому пришли духовные верхи русской интеллигенции, но оно почти еще не коснулось ее средних кругов. В иудаизме и того не было. Уходили в атеизм. И иногда заходили очень далеко.

Мой отец далеко не зашел. Он просто перестал молиться и начал есть трешное. Воинственного характера его атеизм не имел. Иногда, чтоб не обижать окружающих или если им требовался человек для нужного количества к молебну, он принимал участие и в богослужении. Никакой жадной творить историю он религию не заменил. Но в истории попадал. Во время гражданской войны он арестовывался попеременно всеми властями — белыми, красными и петлюровцами, но это происходило только по недоразумению и произволу, арестовывать им всем его было не за что. Мечта его была приобрести хорошую специальность — «фах», как он говорил, — чтоб кормиться от рук своих. Он перепробовал множество профессий, был механиком, чулочником. В худую минуту поступил даже продавцом, но здесь не прижился. Мечтал и об образовании (техническом). Мечту осуществил только в сорок пять лет, когда поступил в техникум (я тогда пошел в первый класс). Окончил он его в пятьдесят, когда я окончил пятый класс. По специальности (контролером ОТК) работал только во время войны. Во время учебы и все последние годы работал переплетчиком — переплетал в учреждениях документы.

Я пишу пока только о родственниках, ибо первые впечатления жизни — они. С ними ведь главным образом и общались мои родители. Среди них тоже встречались люди не совсем заурядные. И не только залетная птица — дядя Арон.

Взять хотя бы того же дядю Иосифа с Демиевки. Фигурой он был очень колоритной и не лишенной значительности. Прежде всего он славился на всю старую Демиевку честностью. До революции евреи приходили к нему разрешать тяжбы, хотя он вовсе не был духовным лицом. В том числе и тяжбы с его собственным тестем и компаньоном (они вместе владели каким-то складом) — так высоко было доверие к его слову. Во время нэпа он владел маленькой макаронной фабричкой на Подоле, на которой в годы нэпа и после него, когда она стала собственностью артели, механиком работал мой отец. Во время голода это выручило всю семью — отец дома пайкового хлеба не ел, а, как все рабочие фабрики, питался на работе загирухой.

Бизнесменские способности этот мой дядя унаследовал, по-видимому, от своего отца, моего деда со стороны матери, который тоже умер задолго до моего рождения и о котором я тоже поэтому почти ничего не знаю. Кроме того, что он вел в Кенигсберге оптовую хлебную торговлю (вероятно, торговал русским хлебом) и домой являлся только по большим праздникам. По слухам, он там, говоря нынешним языком, «завел себе бабу», может быть, даже не еврейку, что в тогдашней еврейской среде было явлением не только редким, но и почти невысказанным. То есть выходит, что он был тогда человеком для своей среды «передовым» — видимо, сказывался контакт с европейским просвещением. Один из его сыновей, Абрам, так и жил в Германии до Гитлера, а один из сыновей Абрама, Моисей (Мозес), по слухам, был даже коммунистом. Его отец и сестры после 1933 года уехали из Германии, а он, кажется, погиб при попытке перейти польскую границу — во всяком случае, его имя исчезло из писем. Когда-то я очень гордился, что у меня есть такой двоюродный брат, очень жалел, что он не может выбраться «на свободу», к нам. Но судьба, которая его ждала здесь, едва ли была бы легче, а в душевном отношении была бы наверняка тяжелее, чем та, которая его постигла. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Особенно когда выбирать надо между Сталиным и Гитлером.

Но и мои деды и мой дядя Абрам с потомством прямого отношения к моим воспоминаниям не имеют, я их никогда не видел. Я о них только слышал. А вспомнил сейчас о них только в связи с демиевским дядей Иосифом. Был он человеком глубоко религиозным, но без всякого фанатизма, по-своему образованным и умным. Во всяком случае, мудрым. Это я понял еще в детстве после одного моего «богословского» диспута с ним.

Диспут произошел у него дома, где я почему-то околачивался, вероятно, по случаю какой-либо эпидемии, и начал его я, и скорей всего от скуки. Дядя сначала молился, а потом углубился в какую-то религиозную книгу. Делать мне поэтому стало уже совсем нечего, и это бесконечно усилило мой пионерский атеизм. С этой высоты я и повел свою атаку на «пережитки», «дал бой» религиозным забубонам. Обычно такие мои наскоки его только забавляли. Но теперь он, видимо, счел меня уже достаточно взрослым и, как говорится, «дал по мозгам», да так, что я это до сих пор помню. Но перед тем как передать этот разговор, несколько строк об истории моего атеизма

Атеизм этот дался мне гораздо легче, чем многим, в том числе и великим, мыслителям прошлого. И гораздо более дешевой ценой, чем моему отцу. Дело в том, что в детстве я сначала в Бога верил. Моя тетьа Хаита, заменявшая мне бабушку, рассказывала мне о Нем, о том, какой Он добрый и мудрый, как все понимает, обо всех заботится и всех любит. В том числе и меня. И я отвечал Ему тем же. И так продолжалось до того дня, когда я пошел в детский сад. В этот первый мой детсадовский день из первой же беседы воспитательницы с детьми я доподлинно узнал, что никакого Бога нет, и с ужасом увидел, что все, кроме меня, давно уже это знают, что я остался в одном лагере с капиталистами и помещиками, которые всю эту сказку выдумали, чтоб обманывать людей, или с отсталыми, отжившими свое людьми, которые по темноте и неграмотности не могут уже от этого нелепого предрассудка освободиться. Это меня потрясло. Если первое ко мне все-таки прямо относиться не могло (меня явно не обманывали специально), то второе относилось в полной мере. Я оказался под влиянием темных и отсталых людей.

Это один из наиболее действенных методов воздействия на массовое сознание, выработанный — вероятно, стихийно, от необходимости внушать неочевидное — большевиками и усовершенствованный Сталиным. То, что нужно внушить, обычно не доказывается, а прямо объявляется давно и всем известным, кроме разного рода ублюдков, действующих в основном по корыстным мотивам (эксплуататоры или продажные агенты) или по недомыслию и темноте. Первое неуютно и опасно запахивает отщепенством, которого инстинктивно хочется избежать, а второе воздействует еще шире — кому охота быть отсталым и недоумком. Все, что Ленину приходило в голову внушить «массам», он немедленно объявлял известным и понятным «каждому сознательному пролетарию». И это работало — никакому активисту не хочется оказаться несознательным и всем охота быть приобщенными к сонму сознательных⁷. Вместе с этим легкодумно внушалось механическое неуважение к старшим, которым ввиду их испорченности капитализмом эта премудрость недоступна — во всяком случае, в той мере, что молодым. Так осуществлялась защита уже изрядно к тому времени подгнившего (и поставившего себя на службу гибельным для него сталинским амбициям) революционного фанатизма от традиционного опыта и здравого смысла. Но методы его пропаганды были тогда еще действительны — как в отношении пятилетних детей, так и в отношении их наивных воспитательниц⁸.

Короче, мою религиозность как рукой сняло. Более того, как уже понял читатель, я почувствовал себя обманутым, без вины вовлеченным в «отсталость». Мой детский конформизм был оскорблен и требовал немедленного возмездия. И я приступил к нему сразу, как только вернулся домой. А именно — стал сыпать хлебные крошки в хранящуюся в нижнем отделении нашего буфета теткин пасхальную посуду. Это было кощунством, ибо пасхальное не должно соприкасаться с хлебом: в пасху едят мацу. Мацу, правда, я и после этого случая не разлюбил и ел ее — хотя, конечно, не все восемь дней подряд, как полагалось, — с прежним удовольствием, но стал богоборцем. В сущности, я поступил так же, как в те годы антирелигиозного террора поступали и взрослые воинственные безбожники. Вероятно, и мой атеизм по глубине и серьезности был вполне сравним с их — в истории бывают инфантильные эпохи.

С высоты этого атеизма я и повел атаку на своего отсталого бородатого дядю, спросив у него без обиняков, зачем он молится, раз Бога все равно нет. Неожиданно вместо обычного посмеивания в ответ враг, как тогда говорили, «решил показать свои зубы». Впрочем, никакого оскала не было, и я поначалу никаких «зубов» не заметил.

— А что, — спросил он меня невинно, — ты действительно знаешь, что Бога нет?

Не чуя подвоха (да и как мне (!) можно было ждать подвоха от этого бородатого пережитка некультурных веков?) и не обратив никакого внимания на спрятанное в ровной интонации вопроса коварное слово *знаешь*, я ответил утвердительно. Естественно, я это знал. Еще с детского сада. А кто этого не знает? И тогда дядя скромно попросил меня поделиться своим знанием и с ним, поскольку он этого не знает. Я был готов. Что вопрос этот отнюдь не невинный и что многим на нашей

⁷ Этот метод внушения действует порой и на иностранцев, в том числе и на политиков. Американские президенты иногда руками и ногами открещиваются от обвинения в антикоммунизме как от чего-то стыдного, хотя сама американская конституция обязывает их быть антикоммунистами.

⁸ Приемы эти почти художественные. Они творят в сознании воображаемый мир, который — и тут отличие от искусства — должен заместить реальный, подчинить себе или отбросить реальные впечатления. Как средством воздействия эти приемы гораздо больше поддаются методам исследования в духе профессора Лотмана, чем подлинное искусство, которое, как известно, к самому факту воздействия не сводится.

планете это давно известно, я узнал много позже. И я бодро бросился в расставленную ловушку, повторяя ту чушь, которую слушал в детском саду и в школе (по уровню это было одно и то же), и внезапно сам с удивлением ощутил, что запутываюсь, что аргументов у меня нет. Дядя только изредка задавал «уточняющие» вопросы, после чего я еще глубже увязал в трясине теряющих смысл словес.

— Нет, — завершил дядя сочувственно, — ты этого не знаешь.

Я был уничтожен, оказавшись бессильным в схватке с мракобесом. Но как один чеховский герой, «будучи развит не по годам», я тут же нашелся и попытался переложить труд доказательств на оппонента:

— А ты раньше докажи, что Он есть.

Прием не рыцарский, но противник как будто дрогнул.

— Не могу, — смиренно ответил он.

Я вздохнул облегченно. Разум все же победил невежество. Оставалось только закрепить эту победу. Я подытожил:

— Ну так чего ж ты?

Но оказалось, что закреплять было нечего.

— А разве я тебе когда-нибудь говорил, что я знаю, что Бог есть? — спросил дядя еще более невинно. — Я только верю, что Он есть.

Чем мне тут было крыть? Конечно, это был старый трюк, и ни один сколько-нибудь образованный атеист на него бы не попался — атеисты тоже знают, что небытие Божье так же недоказуемо, как и Его бытие. Но я еще не был сколько-нибудь образованным, и значительность этих слов, этого хода мысли потрясла меня. И хоть я, конечно же, своих взглядов не изменил, я впервые столкнулся с тем, что все не так просто, и почувствовал уважение к чужой позиции, хоть и был мой дядя при бороде и в ермолке — явных атрибутах отсталости и мракобесия.

Есть у каждого из нас в жизни такие разговоры, такие услышанные фразы, сущность которых мы еще не готовы ни понять, ни принять, но которые тем не менее западают в душу, подспудно поражая своей убедительностью. Они все равно исподволь участвуют в нашем формировании, помогают рушиться всему внушенному, навязанному, несамостоятельному, чего много всегда, а особенно в наше время. И в нужный момент — когда мы уже готовы к этому — они вдруг всплывают на поверхность сознания и облегчают наше дальнейшее развитие, наши болезненные «прозрения» (ведь прозревать иногда приходится самые банальные истины). Впрочем, с такими прозрениями читатель, у которого хватит терпения дочитать эту книгу (и если у автора хватит терпения и жизни ее дописать), еще не раз встретится на ее страницах. А сейчас я говорю о среде, в которой я рос.

В том виде, в каком я ее застал, ее больше нет. И дело не только в Катастрофе, несмотря на ее тяжелейшие последствия для еврейского народа. Среда эта могла бы — пусть и не в прежнем объеме — восстановиться (и даже сталинщина не помешала бы), если бы у многих людей была настоящая и естественная потребность в этом. Ведь разрушение этой среды, исход из нее наиболее динамичных элементов начался еще в шестидесятые годы прошлого века. Даже мои родители и большинство родственников были в культурном отношении, так сказать, «продуктами полураспада». Но процесс распада на этом не кончился.

Конечно, гражданская война и коллективизация, подорвавшие экономические основы местечкового существования, явились мощными катализаторами этого процесса, но шел он и до этого. И дело не в антисемитизме. Наоборот, особенно бурно этот процесс шел в двадцатые и тридцатые годы, когда антисемитизм был под запретом. Просто к тому времени религия, бывшая основой еврейской диаспоры, потеряла почти всякое влияние. Конечно, это совпало с общим насаждением бездумного безбожия, жертвой которого стала — независимо от исповедания отцов и дедов — вся молодежь СССР. В том виде, в котором она существовала, еврейская религия удержать живые души и не могла. Сегодняшнее возвращение некоторых интеллектуалов в иудаизм редко бывает результатом духовных открытий — чаще это ответ на антисемитизм и попытка нащупать национальную почву.

Меня это не греет. И то, что я недавно крестился, — естественный итог всей моей жизни. Тем не менее по рождению я еврей. От этого никуда не денешься. Можно уйти от среды, но не от судьбы. Тем более от еврейской судьбы в XX веке. Всегда найдется кто-нибудь, кто о твоей связи с ней напомнит. Она — дополнительная тяжесть на плечах, сбросить которую не только невозможно, но и недостойно. Кроме того, полагаю, что и взаимоотношения с ней при некоторых условиях тоже обогащают. Сквозь эту тяжесть, если на ней не заикливаться, многое можно увидеть в XX веке.

Но определила и до сих пор определяет мою судьбу не эта тяжесть, а любовь — любовь к тому, что всегда светило мне и сквозь эту тяжесть. А любовь моя давно и бесповоротно отдана России. Почему я прежде всего и главным образом — русский.

Некоторые сочтут эту мою самоидентификацию предательством, некоторые — посягательством. Что делать! В расовые критерии как в главный признак идентификации человека я не верю и не поверю никогда. Я уже до конца буду воспринимать эти критерии как реванш безличного и уж конечно безличностного начала у веков христианской личностной культуры.

Так или иначе, но личностью какой-никакой я все-таки стал на самом деле. Я и мемуары стал писать с целью лучше объяснить себе и другим, как это было и что это значит. Поэтому мне и приходится уделить столько внимания среде, из которой я происхожу, хотя читателю, возможно, это и не так интересно. Но без рассказа о ней рассказ о моем становлении как личности был бы непонятен и недостоверен. Ибо хотя эта среда и не влияла на мое творчество, но в детстве она как-то участвовала в моем формировании. А как известно, все начинается с детства.

ДОМ И ГОРОД

Итак, я родился через восемь лет после «Великого Октября», через пять лет (а если считать и Дальний Восток, то через три года) после окончания гражданской войны и всего за четыре года до еще более судьбоносного «великого перелома». Причем родился в Киеве, через который кровавые цунами гражданской войны перекачивались многожды и всяко, а уж во что там обошелся, что там напереломал «великий перелом» — общеизвестно и все же непредставимо. Киев был едва ли не эпицентром этого отнюдь не стихийного бедствия, не менее бессмысленного, но более жестокого и разрушительного, чем любое стихийное. И если гражданская война происходила до моего рождения и была долго окутана для меня дымкой романтики (о том, как появляются такие дымки и как они окутывают страшные события, надо размышлять особо), то «перелом» проходил отчасти на моих глазах. Конечно, я мало что понимал в свои шесть-семь лет, но то, что я видел, не могло каким-то боком не застрять в моей памяти, каким-то образом не отразиться на моем духовном облике, как на духовном облике всех, кто тогда жил и пережил это. Каким именно — я понял только недавно.

Но все-таки детство было детством. Обе сестры моей матери — уже упоминавшиеся Хая-Ита и Шифра — были бездетны, дочери их брата Иосифа (одна недоразвитая) были уже взрослыми и в их попечении не нуждались. Поэтому вся их любовь, все неизрасходованное материнство были направлены на меня. Говорили: у Эмы три мамы. Часто это было мне даже в тягость, но ребенком я был вполне обихоженым, как и положено ребенку.

Кстати, об имени — великий московский остро слов композитор Никита Богословский сказал однажды, что любые два слога, где второй оканчивается на «а», могут в России составить неполное еврейское имя. Вероятно, он не далек от истины. Это относится и к русским дворянским и традиционно интеллигентским семьям, но все же не в такой степени. В еврейских семьях это переходило все границы сообразности.

Помню, как одна очень добрая родственница сетовала на то, что нашей дочери не дали имени ее погибшего во время сталинских чисток деда.

— Но она ведь девочка, — удивились мы, — а его звали Григорий, Гриша. Как же ее надо было назвать в честь него? Ведь нет такого имени...

Но для доброй женщины не было тут никаких трудностей.

— Как нет? — в свою очередь удивилась она. — А Грина?!

То, что такого имени нет в природе, ее просто не занимало.

Думаю, что приблизительно так прилепилось ко мне и имя Эма.

Вообще-то при рождении мне дали имя моего кенигсбергского деда — Нехемье. Но поскольку даже в обиходе того круга, где я родился, оно не звучало естественно, оно постепенно так «приспособилось к реальности». То, что оно при этом оказалось женским, никого не беспокоило. Так и живу. Спасаясь тем, что, подписывая письма друзьям — больше употреблять его негде, — пишу его через одно «м». Только дети иногда все же интересуются, почему я дядя, а не тетя. Но в быту, так уж получилось, мне привычнее и естественнее откликаться на это имя. Неудобств оно мне не доставляет. Более того, везде, где мое положение естественно, меня называют Эма, а везде, где я как бы не в своем облике (эвакуация, ссылка, горный техникум), меня называли Наум. Из чего отнюдь не следует, что отношения с людьми в этих местах у меня обязательно были более далекие и отчужденные. Где бы я ни был, у меня оставались друзья, которых я до сих пор люблю.

Но Наум я на самом деле. В русском переводе имя Нехемье значит Наум. Это не приспособление имени, а его перевод: пророк Нехемье — пророк Наум. Впрочем, и в приспособлении имени я никакой особой подлости не вижу. Слишком ломались уклады в наше время. Как бы ни презирали меня за это всякого рода разоблачители,

а с именем Нехемье, даже если б оно не имело перевода, я бы никогда себя отождествить не смог. В Израиле все эти имена уместны и звучат красиво, но в русской жизни они громоздки и неудобны. Впрочем, мои родители, которых в каком-либо отказе от еврейства обвинить трудно, в эвакуации звались Анна Наумовна (вместо Ханна Нехемьевна, как ее называли в Киеве) и Моисей Григорьевич (вместо Гецелевич). Просто потому, что на Украине тогда еврейские имена были не в диковинку, а на Урале были труднопроизносимы.

Но я забежал вперед, а мемуары в принципе следует начинать с начала, с раннего детства. Но о нем мне рассказывать почти нечего. Лев Толстой помнил даже, как его пеленали, но я этого не помню. Помню только, как меня баюкали, завернув в одеяло. И каким оно большим тогда было, это красное детское ватное одеяльце! Помню, что короткое время в самом начале у меня была няня и что звали ее Пашей.

Присутствие Паши я осознал раньше, чем присутствие матери. Помню, как однажды мы сидели с Пашей на крыльце нашего дома, и вдруг подошла какая-то женщина, вроде бы знакомая и симпатичная, и стала что-то требовательно внушать няне, почему я настроился по отношению к ней даже несколько недобрительно. Потом оказалось, что я живу с этой женщиной в одной комнате и что она — моя мама. Видимо, наше самосознание пробуждается в нас толчками, а не плавно. О Паше помню еще, что была она русская, а не украинка. Это было до начала массового бегства украинских крестьян из вымирающих деревень в города, и Киев был еще городом по преимуществу русским.

Впрочем, ее я встречал и позже, когда она от нас ушла, даже и после войны, — она жила где-то по соседству. Она, может, и сейчас еще жива, но только не «по соседству», ибо «соседства» этого уже нет: все домики вокруг и наш тоже снесли.

Но на дворе еще год двадцать седьмой, может быть, двадцать восьмой, и мы сидим с Пашей в солнечный день на крыльце нашего дома. Крыльцо, собственно, не совсем крыльцо — просто широкие цементированные ступени, где по вечерам жильцы, как во всяком южном городе, расставляют стулья и «дышат воздухом», устраивают нечто вроде импровизированного клуба. Но это воспоминания более поздних лет. А пока мы сидим с няней на крыльце; и что здесь бывает вечером, я не знаю. По вечерам я еще сплю.

Это крыльцо для меня выход в мир и вход в мой дом. Мимо нас с няней иногда проходят люди, соседи и родные, в дом и из дома. Каждый скажет мне хоть слово, некоторые и по щечке потреплют. Людям я рад, но куда они уходят, я не знаю и не интересуюсь. Я еще не знаю, куда можно уходить, но знаю, что можно, это данность. Данность и дом, на крыльце которого я сижу. Со стороны улицы он выложен кирпичом какого-то зеленовато-желтого, уютного, и вправду «домашнего», цвета. Или, наоборот, цвет этот воспринимается мной как домашний, потому что он связан с домом? Теперь этого уже не разобрать. На первом этаже (точной, в бельэтаже) справа от нас (мы ведь сидим спиной к дому) — пять больших широких окон. Первые два — теткинкой спальни, следующие три — нашей комнаты. Над ними — второй этаж — ряд таких же окон. Только вместо одного из них — выход на балкон. Слева от нас то же, что и справа, только эта часть дома продолжена подворотней (по-киевски — «подбездом»), над которой на уровне полуторного этажа еще одно окно — квартиры, предназначавшейся для дворника. Под каждым из окон бельэтажа есть еще одно небольшое окошко. Если стоять не рядом, можно видеть только его верхнюю часть, нижняя как бы уходит в землю. На самом деле вокруг каждого из них мощеная квадратная выемка. Это окошки подвала. Когда мы кончим «гулять», то есть сидеть на крыльце, и войдем в парадное, мы увидим вход в этот подвал — несколько ступенек, ведущих вниз, и широкую желтую — под цвет парадного — дверь, обычно запертую на висячий замок. Но в подвал мы не идем. Да меня туда и не тянет — там темно и оттуда несет сыростью. Там никто не живет, и никто еще не знает, что там можно жить. Тянет меня домой, там светло, там у меня есть игрушки, кровать, родное красное одеяло. Мы держимся правой и одолеваем почти такое же небольшое количество ступенек, что и в подвал, но только вверх, а не вниз, и оказываемся на своей площадке.

На ней друг против друга две двери — квартиры первая и вторая. Двери желтые, чем-то обитые, еще совсем не обшарпанные. Вообще дом не роскошен, но вполне добротен и опрятен. Вероятно, как все кругом, он еще тужится быть, «как в мирное время». Но для меня пока существует только одно время — каждый данный момент... На двери нашей квартиры на левой створке сверху — отлитый из чугуна вертикальный овал с большой цифрой «1». Это номер нашей квартиры. На той же створке гораздо ниже (впрочем, для меня все еще достаточно высоко) большой чугунный круг, в центре которого стержень с ручкой, представляющей из себя полукруг. Стремительная стрелка показывает, что ее надо повернуть вправо. Повернешь — раздастся звонок. Это я знаю. Меня иногда поднимают, и я поворачиваю эту ручку. Это

«музыкальное творчество» мне очень нравится, но, к сожалению, долго звонить мне не дают — быстро опускают.

Мы входим в темный коридор нашей квартиры. Щелкает выключатель, и под потолком, убранный в металлическую сетку, тускло вспыхивает продолговатая цилиндрическая электрическая лампочка, еще, по-видимому, угольная. Естественно, включать и выключать свет я тоже люблю, но мне и здесь не дают разгуляться. Детство — сплошное ограничение «творческих возможностей»...

Захлопывается входная дверь. Наша комната в противоположном торце коридора. Минувя слева открытую дверь кухни, а справа обычно закрытую дверь теткиной спальни, мы проходим к себе. Комната наша светла — все-таки три окна — и кажется мне громадной. В ней, как я узнаю потом, целых двадцать четыре метра. В те годы, когда я начну понимать больше, все будет считать ее выпавшим счастьем. Пока же, как я понимаю, это просто одна из комнат дядиной квартиры, которую предоставили небогатым родственникам. В одной из стен комнаты еще одна дверь, она ведет в теткину столовую, из которой есть еще один выход в мир — через кухню. Там я люблю бывать по пятницам и праздникам, особенно на пасхальных сейдерах, — в общем, когда вкусно едят. У дяди с тетей есть еще одна небольшая комната, рядом со столовой, окна обеих комнат выходят на противоположную улице сторону, только не прямо во двор, а на застекленную террасу, именуемую коридором, даже «калидором». Туда можно попасть только через кухню и меня туда пока одного не пускают. Ибо к нему примыкает деревянное крыльцо с довольно высокой лестницей, с которой недолго и свалиться. Впрочем, в кухню меня тоже не пускают, чтоб не мешал и не лез куда не надо. Но я все равно лезу, поскольку в кухне есть выложенная снаружи красной кафельной плиткой русская печь, в которой тетка часто что-то печет.

С отцом мы часто сидим на крыльце. Отцу очень нравится наш зеленый тенистый дворик с громадными акациями и четырьмя высокими дощатыми сараями слева у капитальной кирпичной стены. Эта стена отделяет наш двор от двора соседнего четырехэтажного дома 97^а (наш 97^б). Этот дом, это крыльцо и двор, эта квартира — микромир моего детства. Раннее младенчество будет переходить в раннее детство, будет пробуждаться сознание, и мой микромир будет постепенно не только углубляться, но и расширяться, все шире осваиваться и топографически — то плавню, то скачками. За этим не уследишь, тут не выделишь бахтинские «хронотопы», но связь возраста и освоенного пространства очевидна. Но начало всех моих путей — здесь.

В пятиэтажном доме напротив, который никак не назовешь по-современному — «пятиэтажка», окна всегда светятся. Это, как мне говорили, трикотажная фабрика. По-видимому, она была «нэпманской», потом ее не стало, и дом стал жилым. Дальше с противоположной стороны не то пустырь, не то склад — неуютные строения за забором (потом вместо этого будет построен НИИ электросварки академика Пагона). Больше на противоположной стороне нет ничего — только пересекающая ее под углом улочка, состоящая из маленьких невзрачных домиков, параллельных проходящей метрах в трехстах от них железной дороге. Это ведь район товарной станции, и склад, о котором я только что говорил, наверно, тоже от нее. Продолжение этой невзрачной улицы становится частью нашей, Владимирской. Это теперь наш район стал (поскольку город разросся) одним из центральных, а по тем временам он был достаточно заштатным. И выглядел так до самой моей эмиграции. Так что я не удивился, когда услышал, что наш дом вместе с другими стоящими ниже его домами и домиками, набитыми, как улы, снесли, а на их месте построили большой дом или дома — говорили: для элиты. Я понимал, что так или иначе дома эти все равно пришлось бы снести. В конце концов моя мать получила квартиру со всеми удобствами в новом районе. И претензий у меня — ни социальных, ни политических, ни моральных — ни к кому по этому поводу быть не могло. Для элиты или не для элиты, но в этом — теперь центральном — районе надо было построить другие жилые дома. В том, что они будут жилыми, я почему-то не сомневался. Это ведь было самоочевидно. Но 18 марта 1991 года я увидел на месте своего дома капитальную ограду промышленного типа. Четырехэтажный угловой дом рядом не был еще снесен, но уже необитаем. Так выглядели все дома квартала. Сомнений не оставалось — все было превращено в промышленную зону. В десяти минутах ходьбы от Крещатика, в пятистах метрах от Центрального стадиона! Психология, рассматривающая жизнь как неудобный придаток к производству, торжествовала очередную победу над жизнью.

Но пока я пишу о других временах. Я ведь еще ребенок, и во всем, что меня пока касается, есть еще ощущение довольства и покоя — во всяком случае, так это во мне запечатлелось. И осталось где-то в глубине подсознания как возможность бытия, хотя такое бытие я до весьма солидного возраста презирал и отнюдь не к нему в жизни стремился.

Конечно, то, что я сегодня знаю о том, что творилось тогда в специально отведенных для того местах, и о том, что тогда нависало над всеми нами, этому ощущению покоя противоречит, но рядовой обыватель, не принадлежавший к дореволюционным сословиям и партиям, мог об этом и забывать. Я же пока, как все дети, верю в правильность и прочность окружающего, и то, что я вижу вокруг, этому не противоречит.

И, как все дети, я люблю благоуобразие. Поэтому, сидя с мамой или с няней на крыльце, я смотрю не туда, где невзрачные домики, а в другую сторону. В ту, куда, сходя с крыльца, уходят соседи, где светлей, чище и многоэтажней.

Прежде всего импозантно выглядит упомянутый дом 97^а — он высокий, четырехэтажный, розоватый, угловой: одна его сторона выходит на Жилианскую улицу. И такой же большой, только зеленоватый, дом против него на другой стороне Владимирской. Года в четыре я уже буду знать, что Жилианская — улица очень интересная. Если пойти по ней вправо, то скоро, через два-три небольших здания, увидишь на другой стороне двор, в котором обычно толпится много веселых ребят, для меня почти взрослых. Это ФЗУ — школа фабрично-заводского ученичества. Когда я подрасту, эта школа ФЗУ давно уже будет просто средней школой № 95, и тут начнется мое вхождение в жизнь. Рядом со школой живут наши родственники с девочкой Адей, о которой я еще здесь однажды буду говорить. Дальше вдруг слышится беспорядочный звон струн — музыкальная фабрика. Потом она разрослась в музкомбинат, и уже ничего не слышалось. Незаметно добираемся до Кузнечной, переходим через нее и подходим к Большой Васильковской. Во втором доме от угла на другой стороне на втором этаже двухэтажного дома я бываю часто — здесь живут мамина сестра тетя Шифра и ее муж дядя Арон. У них большая комната с книгами на разных языках и маленькая, которую почти всю занимает зубоучебное кресло — Шифра, как и мама, зубной врач.

Большая Васильковская — улица серьезная, не чета нашей. Впрочем, она действительно одна из главных магистралей города. По ней тогда ходил трамвай № 1 — от Демиевки, где работала моя мама и жил мой дядя Иосиф, через Крещатик на Подол, где работал мой отец. Вагоны его были дореволюционные, еще бельгийской компании, — длинные красные, верней малиновые, какого-то вкусного цвета, пульманы, очень волновавшие мое воображение, даже в воспоминаниях кажущиеся мне уютными и красивыми. Ездить мне в них приходилось гораздо реже, чем хотелось. А в Пуцу-Водицу и на Куреневку ходили трамваи летние, практически без стен...

Влево от нашей Владимирской — к вокзалу и к Евбазу (Еврейскому базару) — мы попадали реже, лишь когда на подводе переезжали в Святошино, где снимали комнату на лето, или, того лучше, ехали на извозчике на вокзал. Конечно, много было суматохи и с подводой. Она через подворотню въезжала прямо во двор, будоражила друзей моего раннего детства, мечтавших при выезде уцепиться и доехать до мостовой, создавала суету с погрузкой вещей, а потом предоставляла мне счастливую возможность сидеть высоко на вещах и поглядывать оттуда на прохожих. Но все же с поездкой на извозчике на вокзал это ни в какое сравнение не шло. Тут обреталась некоторая экстерриториальность, и все предстало в каком-то новом освещении, приобрело значительность: и извозчик, и вокзал, и поезд. Поездки на вокзал волновали меня, но, как все хорошее, они случались тогда очень редко...

Я понемногу подрастал, и топография моего микромира расширялась — я узнал и Владимирскую горку, и бульвар Шевченко, и Подол, видел новых людей, знакомился с новыми понятиями. И в мое младенчество уже вторгалась история. Однажды, когда я сидел в нашей комнате на плетеном стульчике за плетеным столиком (они были недавно подарены мне, и я их очень любил), я был вдруг отвлечен от каких-то своих дел счастливым возгласом: «Эмочка! Рахилька пришла!» Из этого следует, что я к тому времени уже знал, что эта Рахилька (моя двоюродная сестра, старшая дочь демиевского дяди Иосифа) существует, видел ее до этого или был хотя бы о ней слышан. Вбежала радостная молодая женщина в демисезонном пальто цвета кофе с молоком, расцеловала и чем-то меня одарила, очень мне понравилась и... исчезла. Потом я еще долго спрашивал, когда она опять к нам придет, но она больше не пришла.

Смысл этой сцены стал мне понятен много позже. Оказывается, это было прощание — то ли перед отправкой в ссылку, то ли после возвращения из ссылки, перед отъездом в Палестину. В ссылку она была отправлена за сионизм⁹, причем, как это мне ни неприятно, судя по всему, за сионизм левый, почти коммунистиче-

⁹ Конечно, речь не о том демоническом сионизме, который существует только в арабской пропаганде и в недоброй фантазии всяких «Памятей», а о действительно имеющем место, то есть о стремлении основать еврейский национальный очаг в Палестине.

ский. С той только разницей, что коммунизм она собиралась строить не в «случайном» месте, где ее застала история, а вопреки известному анекдоту именно «в своей стране»¹⁰.

Сионистов, даже идейно близких, сажали тогда не из-за государственного антисемитизма — его не было, — а просто потому, что сажали всех инакомыслящих. Но «идейно близкие» сионисты (может быть, не только они, но о других я не знаю) пользовались тем преимуществом, что им после некоторой отсидки могли по их просьбе сылку как меру наказания заменить высылкой за границу. Практика была, с точки зрения Сталина, разумной, ибо левые народ необидчивый и, несмотря ни на что — пусть с оговорками, — будут поддерживать все, объявляющее себя левым. Они и поддерживали СССР и Сталина до самого процесса врачей, Шестидневной войны, а некоторые и до сих пор поддерживают — правда, Ленина, а не Сталина (идея для них важнее того, что из нее получается). Разумная «либеральность» Сталина (наказание высылкой из страны) продолжалась только года до тридцать пятого, то есть до его окончательного воцарения. Дальше уже такая целесообразность никого не интересовала.

Встреча с Рахилькой стала почему-то одним из самых ярких впечатлений раннего детства. Она исчезла, но вместо нее стали приходить письма с интересными марками, на которых было изображено красивое здание с круглым куполом (мечеть Омара). Но постепенно воспоминание о ней стиралось. Сама ее Палестина интересовала меня мало. Другие вещи волновали мою душу.

Однако я забегал вперед. Рассказ мой о преодолении слепоты, а я еще и до слепоты не дошел. Я еще слишком мал для нее — для обретения этой слепоты ведь нужен определенный уровень развития и грамотности. И на дворе еще сытые золотые годы нэпа. Конечно, если можно назвать золотыми годы застоя, как теперь некоторые, пусть и в шутку, но все же делают, то годы нэпа — сам Бог велел. Хотя они в своем стремлении напоминать «мирное время» были скорей не золотыми, а позолоченными. Но все же наш небольшой дом еще не шибко перенаселен. И наша квартира тоже.

Конечно, изначально она, судя по всему, была рассчитана (разумеется, в уже упоминавшееся «мирное время»¹¹) на спокойную и не тесную жизнь одной не очень зажиточной, но и не очень бедной семьи, а в нашей уже и тогда жило две (дядя с тетей и мы), что уже само по себе было неким беспорядком (никогда, впрочем, мной не признаваемым). Но это совсем не то, что было потом. К началу 1941 года она была уже набита, как курятник.

Полупуста по позднейшим меркам еще не только наша квартира, но и наш зеленый двор. Деревянная лестница из «калidora» еще широко сходит вниз перпендикулярно дому. Она никому не мешает. Потом ее прижмут к дому — слишком много народу появится во дворе.

А пока во дворе, кроме меня, растут еще два мальчика, мои сверстники. Но мама не хочет, чтоб я с ними играл. Я должен играть только с «хорошими», «интеллигентными» детьми, а эти мальчики — «уличные». Мне, конечно, льстит, что я отношусь к высшей категории «хороших» и «интеллигентных», но ведь играть больше не с кем. А детям — особенно мальчикам, особенно в семьях с одним ребенком — обычно так скучно. Я не очень люблю свое детство именно за это — за скуку и вечные поиски средств ее преодоления. Начиная с отрочества, лет с двенадцати-тринадцати, мне уже никогда не бывало скучно. Бывало тоскливо, страшно, но не скучно. Даже в эмиграции, которую я воспринимаю (верней, воспринимал до начала «перестройки») как период «после жизни». Я вообще не очень уважаю людей, которым скучно. Но в детстве мне самому бывало скучно. И с мальчиками этими я играл, хотя в глубине души подло считал их уличными. И о том, что сам я мальчик из интеллигентной семьи, при этом не забывал никогда. Хотя нет менее интеллигентного отношения к людям, чем это. Отношение это передавалось мне от матери. Тут наверняка у некоторых может возникнуть соблазн «догадаться», что это «обычное» проявление

¹⁰ Согласно этому анекдоту еврей рассказывает, как он жил в разных странах. На вопрос о том, что он делал в каждой из них, неизменно и с гордостью отвечает: «Строил социализм!» Потом он оказался в Израиле. На предположение, что он и там занимался тем же, ответил удивлением: «Как? В своей стране?»

¹¹ Формально это выражение связано с началом войны 1914 года. Но дело не только и не столько в войне, сколько в том, что жизнь для этого поколения как взорвалась от сараевского выстрела, так никогда уже нормальной не была. Мы ведь тоже пережили мировую войну, по последствиям более страшную, чем предыдущая, мы тоже с нетерпением ждали ее окончания, ждали мира, но предвоенные годы так и назывались предвоенными годами, и вряд ли кому из нас пришлось бы в голову называть их мирным временем. Устойчивого мирного времени я, как и почти все ныне живущие в СССР люди, не видел никогда.

«еврейской надменности» по отношению к «гоям». Пусть остановятся в своих догадках. Надменность тут, может, и была, но «гоев» не было. Оба эти мальчика были чистокровными евреями. Один был сыном продавца газированной (зельтерской, как говорили в Киеве) воды, а другой сыном того самого Щиглика, о котором уже шла речь. Кстати, эта «надменность» никак не распространялась на деревенских мальчиков, с которыми я играл, когда мы выезжали «на дачу» (чаще не в дачные местности, а подальше от Киева, в сельские предместья еврейских местечек, где продукты были дешевле). А они явно были «неинтеллигентными» и уж точно не были евреями. Видимо, предполагалось, что они «не испорчены улицей». Вероятно, это так и было. Но такое отношение к детям — пусть городским, пусть и впрямь «уличным» (что это значит, я и теперь не знаю) — все равно отвратительно. И чем дальше, тем больше это мне претило.

В основе такого отношения лежала прежде всего гордыня, особенно неприятная в человеке, который хоть раз да ходил на маевку пылать пафосом всеобщего равенства. Впрочем, может быть, воспоминание об этом «пылании» больше всего и поддерживало гордыню. Мне и сегодня неприятно об этом вспоминать, но все же за нелепыми проявлениями этой гордыни стояло и что-то существенное.

Гордилась мать ведь не просто тем, что получила зуборачебный диплом. Для нее, как и для многих в тогдашней России, он означал не столько то, что для многих означает сегодня — не просто достижение «хорошей» (или лучшей из доступных данному индивиду) профессии и устройства в жизни, — а прежде всего приобретение к «культуре», к «образованности», вообще к миру, правда, неопределенной, но несомненно высоких ценностей. И то, что она окончила экстерном гимназию в Нижнеднепровске (при мне Днепродзержинске), а потом еще и зуборачебные курсы при Университете святого Владимира в Киеве, для нее было предметом гордости не само по себе, а как доказательство того, что она «всю жизнь стремилась». И вот этот мир, где она когда-то «так стремилась», она теперь таким нелепым образом и защищала от размыва, стремясь отгородить своего сына от влияния «улицы». Все это отчасти было утрированным проявлением стремления многих оградить свой уровень от смешения и растворения, которые несла в себе революция. Это стремление, естественно, проявлялось тем острее, чем неотчетливой был сам уровень.

У моей матери все это выглядело еще достаточно невинно. В конце концов она при этом не устраивала революцию во имя равенства, не принадлежала к правящей партии, которая любой ценой бралась это равенство обеспечить. Что, например, сказать тогда об одной знакомой мне даме, члене партии, «комсомолке двадцатых годов», которая не отдавала свою дочь до пятого класса в общую школу, а нанимала ей частных учителей, чтоб она не соприкасалась с детьми тех, в борьбе за счастье которых она и получила эту привилегированную возможность.

Кстати, мои пути с этими двумя мальчиками сами собой разошлись очень скоро — конечно, по моему сегодняшнему счету времени, а не тогдашнему. Потому что разошлись наши интересы. А как они могли не разойтись? Один из них сидел в каждом классе по два года, и когда я учился в восьмом классе (стихи, влюбленности, «политические» сомнения и скандалы), он все еще был в четвертом и гонял с одноклассниками по улице, являя собой зрелище довольно жалкое (хотя никаким «уличным» все равно, конечно, не был). Спасло его появление ремесленных училищ. Став «ремесленником», он опять оказался среди сверстников. Дела его пошли на лад. Но пришли немцы, и он вместе со своей матерью был расстрелян в Бабьем Яре — в качестве, надо полагать, потенциального участника всемирного еврейского заговора и отчасти претендента на мировое господство. История, особенно в XX веке, занимается отнюдь не только теми, кто занимается ею.

Второй мальчик, сын Щиглика, тоже особыми школьными успехами похвастать не мог, тоже не раз оставался на второй год, интересы наши тоже скоро разошлись, но по улицам он не гонял, работал (семья нуждалась, может, поэтому он и не быстро учился), потом, вернувшись с войны, что-то окончил, приобрел профессию и успешно работал (и сейчас работает, если не ушел на пенсию) на одном из киевских заводов.

Нет, я не поборник равенства. Люди не равны ни по ответственности, ни по уровню постижения и потребности в истине, ни по многим другим параметрам. Эта простая мысль — одно из самых грустных открытий моей жизни, а может быть, и целого отрезка новой истории. Но перед Богом люди все равно равны. Это означает, что их жизни в главном равноценны. И что почти у каждого из них есть свои преимущества перед другими. И что нельзя — даже в душе — третировать детей за недостаточно «аристократическое» происхождение. Правда, плохо и то, когда взрослые люди лишены чувства реальной иерархии и пафоса дистанции. Но это уже другая тема

Впрочем: оградить меня от самого разнообразного общения все равно бы не удалось. Слишком уж я рвался к детям, к общению. Да и не таков был век. Вскоре произошло событие, о котором я уже упоминал, — под напором «социалистического развития», будучи прижат к стене преследованиями и придирками, мой дядя вынужден был проявить «сознательность» и «добровольно» передать свой дом «жилищному кооперативу», практически — государству¹². Мы оказались объединенными с уже упоминавшимся соседним домом № 97^а. Стену между дворами вместе с нашими сараями сломали, и образовался большой двор со множеством самой разной детворы, и тут уж и моей маме было не разобраться, кто «хороший», а кто нет.

При всем моем отрицании подобного отношения к людям, что-то от него засело во мне надолго. Хотя я и общался со всеми детьми, но дети из интеллигентных семей (или ошибочно казавшихся мне таковыми) имели в моих глазах некоторое преимущество, вызывали больший интерес. Я чего-то от них ждал. Как и от себя самого. Потом это превратилось в поиски все более и более подлинной интеллигентности, более точного соответствия человека тому, за что он себя принимает и чем хочет казаться (себе самому тоже). И сам я при этом — льщу себя надеждой — становился подлинней и начинал ценить человеческую подлинность как таковую. Конечно, не только в интеллигентах, а во всех хороших людях, каких я на своем пути встречал немало в самых разных слоях.

Что еще рассказать о своем детстве? Ведь до этого объединения дворов я прожил уже целую эпоху.

За эти годы произошло изменение всей жизни, и это, конечно, не могло не сказаться на нашей вполне серединной по своему положению семье. Конечно, нэпа я не осознавал и его конца тоже не заметил. Однако помню, как жил я сначала в одном мире, где меня пичкали всякой «полезной для ребенка» пищей, от которой я отбрыкивался как мог, а потом постепенно оказался в другом, более бедном и трудном. Переход из одной эпохи в другую дался мне вполне безболезненно, ведь ребенок все воспринимает как данность. А потом эпоха лишений была уже естественной средой обитания, лишения касались всех вокруг, даже самых привилегированных, и сравнивать можно было уже только их степень в разные периоды: в годы коллективизации, в предвоенные, в военные или послевоенные годы. Иногда бывал дефицитным даже хлеб, иногда штаны, иногда ботинки, всегда — жильё, иногда со «снабжением» (заменившим нормальную торговлю) было трудно и в больших городах, всегда — в провинции. На Западе тоже есть дефицитный товар, но только один — деньги. Деньги же средний человек может заработать, а потом от него уже зависит, как их тратить, в каком порядке обзаводиться имуществом, — в общем, как планировать расходы. Невозможность этого сама по себе неестественно усложняет и удорожает жизнь.

В сущности, жизни без дефицита и недостат я в СССР не знал. А ведь мне давно за шестьдесят, почти под семьдесят, я сегодня имею печальную честь представлять старшее поколение людей нашей страны. Это значит, что все нынешнее советское население всю свою жизнь жило в атмосфере недостат, когда предметы первой необходимости часто не просто покупаются, а «достаются» сложным, запрещенным и, строго говоря, не особенно нравственным путем. Или являются засекреченным атрибутом привилегий, что еще менее нравственно.

Эта жизнь вошла в плоть, кровь и сознание. Когда в начале эмиграции мы ходили по Вене, моя жена во все глаза смотрела на витрины мясных лавок. Такого мяса, как там было выставлено, она до этого не видела никогда. Мало того что оно было вообще без костей, оно еще было таким упитанным, таким первосортным, какого у нас никогда не бывает. Да и где она могла видеть такое мясо, если родилась в 1933 году? Спасибо партии и правительству, что выжила, чего тут еще требовать! «А кто у нас съедает такое мясо?» — спрашивала она в недоумении.

Кто? Однажды я видел такое мясо. Его принесла из «Березки» моим знакомым иностранная гостья, которая у них жила, она была очень довольна, говорила, что в России мясо дешевле, чем на Западе. А теперь мяса и на «Березку» не хватает. Хватает ли на начальство — не знаю. Во всяком случае, не на все. Так что в принципе этого мяса никто не съедает. Его просто нет. И всю нашу жизнь не было. Началось это с

¹² Почему на государство напал стих считать эту собственность кооперативной, объяснять не берусь. Тем более что в это время стали появляться настоящие, такие, как теперь, кооперативные, то есть построенные за счет будущих жильцов, на кооперативных началах, дома. Наши же жилкопы и жакты были, в сущности, государственной собственностью. Когда после войны дома были прямо переданы в ведение эжков, то есть государственных или городских жилищно-эксплуатационных контор, и, следовательно, формально были отчуждены у «кооперативов», никому и в голову не пришло считать это отчуждением. Ничье положение от этого не изменилось, то есть собственник остался тот же.

самого «военного коммунизма», но все-таки был перерыв с начала до конца нэпа, с начала тридцатых никаких перерывов уже не было.

Как мы жили тогда?

Восстанавливаю картину. Мне лет шесть-семь. Напряжение чувствуется, много разговоров о продуктах¹³, ощущается, хотя и не сознается, бедность (видимо, есть все-таки смутные воспоминания о недавних нэповских годах), но наша семья не голодает. А я тем более. Многие даже выглядят интересней. Откуда-то приносят подсолнечный жмых (макуху), убеждают себя и других, что это очень полезно и хорошо. А меня и убеждать не надо — мне и так он нравится гораздо больше, чем мамина «полезная еда». И потом никогда в нашем доме не бывало столько сладостей, как иногда теперь, когда отец, выкупив паек, может принести домой сразу огромный двухкилограммовый кулек пряников. Говорят, они соевые, но мне это безразлично. Они сладкие, а мне только этого и надо — гурманством я тогда не отличался.

Иногда мы ходим с отцом в торгсин («Березку» первой пятилетки). Чтоб купить продукты, сдаем на вес оставшиеся с «раньшего времени» серебряные ложечки и прочую мелочь. А иногда мы получаем из-за границы переводы от родственников, и у нас появляется рублей пять в бонах, а это целое состояние. Я уже умею читать, по этой причине сую нос во все преysкуранты и знаю, что цены в торгсине фантастически низкие. И все есть: ветчина, колбасы. Но мы всегда покупаем вещи не очень для меня привлекательные: немного масла, немного крупы. Нам не до жиру. Я не задаюсь вопросом, почему только в этом магазине все есть и такие цены. Тем более я уже тоже знаю, что нам, нашей стране нужно золото, чтоб покупать станки для строительства социализма. Построим — тогда всем станет очень хорошо жить. Это я читал во всяких своих «Мурзилках» и детских книжках, где так интересно рассказывается о страданиях и борьбе трудящихся в странах капитала. И я горжусь тем, что живу в самой счастливой стране, где трудящимся хорошо.

А вокруг на земле, на тротуаре лежат люди. Некоторые просят хлеба, некоторые уже ничего не просят. Лежат. Я воспитанный городской мальчик и знаю, что на тротуарах лежать некультурно, могут микробы завестись, ибо по тротуарам ходят ногами и они грязные. А раз эти люди там лежат, значит, они некультурные и невоспитанные — в общем, не такие, как я. Как видите, в шесть-семь лет я был большим *comme il faut*, дальше некуда. Тем более что, как я уже говорил, я очень любил читать детские книжки, особенно о дружных ребятах-пионерах, которые вместе весело собирают утиль для великих строек, борются с недостатками друг друга и вообще живут какой-то насыщенной, сознательной и увлекательной жизнью. А некоторые из них еще храбро борются с коварным, жестоким, глупым и жадным врагом — кулаками. А судя по всему, эти лежащие на тротуарах люди и есть кулаки или их помощники. Правда, на страшных и жестоких они не похожи, и у них есть дети. Это нарушало картину — в пионерских книжках о кулацких детях ничего не говорилось. В принципе я, так же как и взрослые, искал способов отгородиться от этого несчастья (я-то ведь не голодал, и мне надо было жить). Некоторые из взрослых утверждают, что все эти люди потому и валяются, что работать не хотят, но моего отца это объяснение почему-то не устраивает. «Я понимаю, идея красивая, — бормочет он, — но ведь люди на улицах умирают». В его «красивая» нет и тени иронии. Это просто буквальный перевод с идиш, куда перешло из немецкого. «Красивая» в этом контексте означает «прекрасная». Его почему-то это очень волнует, что люди умирают. Все вокруг от этих впечатлений отгораживаются. Особенно успешно идеалисты, которых так много развелось во всем мире. Ох уж эти идеалисты!..

Английский публицист Малкольм Магеридж, в прошлом левый социалист и поклонник «советского эксперимента», но потом, после близкого знакомства с ним (был в годы первой пятилетки московским корреспондентом лейбористской газеты), ставший его убежденным противником, вспоминает о таком знаменательном эпизоде начала тридцатых. Поезд, где был вагон с группой английских туристов, включавшей и известную английскую социалистку отнюдь не крайнего толка Беатрису Вебб и самого Магериджа, на какой-то большой станции оказался рядом с эшелоном раскулаченных. В зарешеченных окошках теплушек появились изможденные лица несчастных баб и худенькие ручки детей. И те и другие молили о хлебе. Английские туристы были поражены, многие, естественно, возмущены. Но больше всех возмущалась умеренная социалистка Вебб. Но чем была возмущена и даже оскорблена ее горячая умеренность? Головоутием и тупостью железнодорожных властей, поста-

¹³ Кстати, когда этим политэкономическим словом стали обозначать еду? Ведь продуктами (труда) является все — от огурца до синхрофазотрона. Впрочем, таким отвлеченным языком — «продукты питания», «пищевые продукты» — говорить о таких насущных вещах легче. Но когда так утвердилось это слово?

вивших этот эшелон рядом с вагоном неподготовленных (!) английских туристов, которые из-за этого (по-видимому, мелкого по понятиям г-жи Вебб) эпизода могли составить себе неправильное представление о «великих переменах», совершавшихся тогда в СССР, да и о социализме вообще. Судя по всему, сама г-жа Вебб к тому времени была уже достаточно подготовлена для приятия подобных впечатлений, и на нее подобный эпизод повлиять не мог. И если она поделилась потом этим своим возмущением с кем-либо из «вождей» (а почему бы ей этого и не сделать, раз она обнаружила такое вопиющее безобразие?), то ее возмущение наверняка встретило сочувствие и понимание, и в результате начальник этой станции (хоть нигде на земле в обязанности начальника станции не входит учет вида, открывающегося из окон вагона с туристами) поплатился за ее энтузиазм головой. Поражает гармоническое усвоение этой «европейкой» азиатской, казалось бы, логики большевизма и сталинского аппарата. Нет, видимо, таких жертв, каких определенного сорта идеалисты не принесли бы на алтарь сохранения и торжества своего идеализма.

А жертвы эти повсюду меня окружали, повсюду меня окружала смерть, хоть я и не знал, что это такое. Но однажды я с ней столкнулся вплотную. Это произошло при следующих обстоятельствах.

В нашу дверь постучался дядя, хозяин дома, и попросил отца срочно помочь ему. В подворотне нашего дома расположилась какая-то нищая женщина, может быть, даже больная, а это строго запрещено. Милиция за это строго преследует, особенно хозяев собственных домов. Так не может ли отец как человек более молодой и лучше говорящий по-русски выйти и сказать этой женщине, что здесь лежать нельзя, чтоб она уходила. Отцу неудобно было отказать своему родственнику, и он согласился. Я увязался за отцом. У ворот нашего дома уже собралась небольшая толпа. А в подворотне прямо на булыжниках лежала, скрючившись, опухшая и ко всему безучастная женщина неопределенного возраста, в грязных лохмотьях. Отец дрогнувшим голосом сказал ей, что здесь лежать нельзя и надо уходить. Она не реагировала. Кто-то в толпе сказал, что она, видимо, еврейка и по-русски не понимает (в те времена далеко не все евреи говорили по-русски). Отец перешел на идиш. Она открыла глаза, но тут же в бессилье их закрыла опять¹⁴. Памятуя о «суровой власти рабоче-крестьянской милиции», отец все же попытался растормошить эту женщину, чтоб она ушла. Так власть приобщила к своему палачеству и людей, не имеющих к нему никакой склонности, а к ней — никакого отношения.

— Да вы что, не видите, что она умирает? — раздался чей-то возмущенный голос.

Отец опешил. Через несколько секунд женщина вдруг дернулась и затихла. Человека не стало. В таком обличье предстала передо мной впервые смерть.

Дальше было еще страшней. Позвонили в милицию, и довольно скоро — я видел это в окно — перед домом остановился грузовик, накрытый брезентом. Выскочили два молодца, ловким привычным движением отвернули брезент, и глазам открылся слой трупов, почти скелетов. Стало ясно, что под ним перекрытый брезентом второй, третий — несколько слоев. Труп из нашего «подъезда» вынесли, быстро забросили наверх, накрыли брезентом, сели в кабину и уехали. Будничность этой картины поразила меня. Теперь я понял, что это за грузовики, аккуратно накрытые брезентом — я их видел и раньше, но не задумывался о них, — шныряют по городу. Так предстало передо мной впервые то страшное, тлетворное отношение к смерти, а верней, к жизни человека, которое всегда господствовало в советском бытии, но редко проявляло себя с такой откровенностью.

Приятно было бы иметь сегодня право сказать, что с тех пор я возненавидел этот враждебный человеку строй, понял его звериную природу. Но такого права у меня нет, ибо и не понял и не возненавидел. Наоборот, подсознательно лишний раз убедился, что такое случается только с какими-то другими, в чем-то не такими, как надо, людьми, а не с такими, как я. Ведь в моих книжках сознательные пионеры, живущие повсюду в нашей стране (но почему-то не в нашем и не в соседних дворах — так мне не повезло), продолжали трубить в горны, дружно собирать утильсырье и металлолом в помощь партии, бороться с кулаками и вообще жить очень интересной

¹⁴ Из того, что женщина, умершая от голода в нашей подворотне, оказалась еврейкой, не следует, что удар Сталина по Украине был в существенной части направлен и против евреев. Конечно, резкое снижение уровня жизни касалось всех, в том числе и евреев. Но своим острием этот удар был направлен против украинского крестьянства и ставил своей целью обескровить его. Подавляющее число людей, умерших от голода на улицах Киева, были украинские крестьяне. Евреев он задевал только случайно, рикошетом. Хотя голод накрыл и еврейские местечки, в принципе у евреев было больше возможностей увернуться от этого удара. Исторически и в силу своего положения им было проще (но совсем не просто) срываться с места в поисках спасения, чем украинскому крестьянину, привыкшему кормиться от земли (знаменитая подмосковная Малаховка, по-видимому, населилась евреями именно в это время).

и значительной жизнью. Это была (где-то рядом, хоть я ее не видел) настоящая жизнь, и какая-то неопытная женщина из подворотни и грузовик, который ее увез, не могли всего этого затмить и перевесить. Проще было поверить, что это неизбежные отходы «большой» жизни, на что не следовало обращать внимания. Конечно, все это формулы более позднего времени, но в чувстве именно так причудливо смешалось самоощущение «мальчика из приличной семьи» и поклонника пионерской романтики. С тех пор запад в мою душу и жил в ней, во многом руководил мной, когда я начал мыслить, не покидая меня при всех взлетах энтузиазма и оппозиционности, подспудный неосознанный страх попасть в категорию этих «других», с которыми можно так обращаться, которых не жалко. И продолжалось это до моего полного внутреннегo освобождения от большевизма, до 1957 года.

То, что женщина, умершая в нашей подворотне, оказалась еврейкой, чистая случайность, может быть, даже исключение. Но то, что я, мальчик, воспитывавшийся в тогда еще довольно замкнутой и традиционной еврейской среде, никуда еще за ее пределы не выходивший, с легкостью отнес и ее к категории этих «других, которых не жалко», которых жалеть стыдно, — факт вполне типичный и знаменательный. Это забвение ближнего во имя сохранения цельности мироощущения и было самым тяжелым грехом жизни нескольких поколений нашей интеллигенции любого социального и национального происхождения, нашим, выражаясь словами Генриха Бёлля, «причастием буйволу». Отец мой — в отличие от меня в юности и г-жи Вебб в зрелости — этого «причастия» не принимал никогда, какой бы «красивой» ни выглядела в его глазах «идея»¹⁵.

Эта противоестественная полоса отчуждения вокруг страдания, создаваемая сознательно¹⁶ и не свойственная ни русскому, ни какому бы то ни было другому духу, — одно из страшнейших достижений большевизма. Потом оно обратилось своим острием против самих его изобретателей, но вина это с них не сняло.

Сегодня коллективизацию и раскулачивание поносят многие, почти все. Она до сих пор еще тяжело сказывается на судьбе всей страны. Она — грех. Но грех не только тех, кто в этом прямо участвовал. То, что видел я, в той или иной степени видели многие мои сверстники, не говоря уж о людях чуть и не чуть старше. Видели — и жили потом как ни в чем не бывало. Причем даже не всегда нечестно. Некоторые, даже отстаивая — пусть и с ортодоксальных позиций — правду и справедливость, сами попадали под топор: ортодоксальность не спасала от расправы. Но коллективизация из их памяти как бы выпала и мимо их совести прошла. До времени, конечно. До очень тогда еще близкого времени.

Драматург Александр Константинович Гладков недоумевал потом, как он мог спокойно каждый день проходить мимо площади Курского вокзала, спеша на интересные диспуты и спектакли, когда, заполнив всю эту площадь, валялись и умирали на ней украинские крестьяне из Запорожской и Днепропетровской областей с женами и детьми, тщетно пытавшиеся найти спасение в столице. А. К. был добрейшим и порядочнейшим человеком. Однако — проходил. На до того было. А может, подсознательно чувствовал, что остановиться и задуматься в тот момент значит обресть и самого себя на такое же безличное исчезновение. В русской литературе тогда все, кроме «далекого от народа» Мандельштама, прошли мимо этой трагедии. Разве еще в романе А. Малышкина «Люди из захолустья» проглянула страшная правда, хотя автор и пытался ее оправдать. Больше никто. А уж западным энтузиастам, приезжавшим к нам, и подавно было не до того — им надо было успеть поскорей восхититься грандиозностью перемен и надыхаться озоном творчества! «Мы с вами, товарищи!» — с таким возгласом подходили они к нашим представителям в западных городах. Правда, они не верили буржуазной прессе, тем более ее «фантастическим» сообщениям о том, что на улицах и в подворотнях советских городов люди мрут как мухи. Мы ведь в это тоже как бы не верили, хотя сами видели. Ведь это действительно было неправдоподобно — мы-то ведь жили. Помню, я прочел

¹⁵ Это умение пропагандой создавать в умах людей мир, отличный от того, в котором они живут, — одно из самых «чудесных» свойств тоталитаризма, гитлеровского и нашего. Впрочем, Гитлер использовал и научно обосновал именно наши «достижения», а большевики открыли это эмпирически, защищаясь от напора жизни на схему. Впрочем, вполне возможно, сталинская пропаганда заимствовала и кое-какие достижения нацистов в этой области. Но моего отца, как человека прошлого времени, чувство реальности, а главное, реальной системы ценностей, не покидало никогда.

¹⁶ И соблюдаемая строго. Работник «Мосфильма» Валентин Дьяченко рассказывал мне о своем приемном отце, старом большевике и работнике политотдела, проводившем коллективизацию (кстати, еврее по национальности), которого чуть не исключили из партии за «жалость к классовому врагу»: он дал напиться воды казачке из толпы раскулаченных, которых в знойный день гнали к станции по улице кубанской станицы. Дьяченко и сам был сын раскулаченного казака, потому и остался сиротой.

в «Похищении Европы» К. Федина, как безработного нанимают стоять у булочной с плакатом, призывающим бойкотировать этот магазин, потому что он торгует продуктами, «отнятыми у бедных русских крошек». Звучало очень иронично, но именно этим — отнятым у русских крошек — здесь и торговали, если торговали советскими продуктами. И, собственно, это совпадало с пропагандой — все отдаем, чтоб купить станки. Но иронией по отношению к этому проникался и я, хотя что-то все же меня царапнуло — запомнил. Но зачем понадобилась Федину эта ирония? Он ведь мог бы вполне — времена еще позволяли это — обойтись тогда и без нее и без этого эпизода. Не обошелся. Не придумал значения? Может, просто не знал, что это «причастие буйволу»? Но в чем-то тут проявилось общее отношение. Получалось, что женщина, которую швырнули в грузовик, вообще никакого значения не имела. Как будто она не родилась когда-то на радость родителям, как будто не чувствовала, не думала, не надеялась. Однако будущее прояснило, что значение она все-таки имела. Оказалось, швырять так можно кого угодно. Только покажи, что это можно, а желающие найдутся.

«И это ж надо было убедить людей, — сетовал тот же А. К. Гладков, — что торговать — стыдно, а расстреливать — не стыдно». Однако убедили. И в этом убеждении мы жили довольно долго.

А. И. Солженицын где-то, кажется, в «ГУЛАГе» сказал, что во время коллективизации русская интеллигенция перестала быть интеллигенцией. Вероятно, эти слова с полным правом можно отнести и к интеллигенции мировой. А иногда мне кажется, что дело еще хуже — что в какой-то степени все вообще тогда перестало быть самим собой: народ народом, цивилизация цивилизацией, а человечество человечеством. Это была первая в новой истории, если не считать геноцида армян в Турции¹⁷, хотя и более сумасбродная по выбору объекта, чем гитлеровская, но в сходном духе попытка «окончательного решения» вопроса о том, кому существовать, кому нет. Она открыла путь, и по нему следуют многие.

Но это все осозналось потом, а пока рассказ о моей жизни дошел только до детсадовского возраста. Впрочем, в детском саду я пробыл недолго.

Что там со мной происходило? О том, как я просветился насчет Бога, я уже рассказал. Кроме того, я полюбил хоровое пение боевых революционных песен. Мне уже тогда это нравилось. Пел я со всеми, вдохновляясь и ничего не понимая. Особенно мне нравилась песня, которая должна была звучать так:

Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперед продвигались отряды
Спартаконцев, смелых бойцов¹⁸.

Голос мой тонул в общем хоре, что для него, как я потом понял, было наилучшим выходом. Но на самом деле пел я следующее:

Мы шли под грохотка наналы,
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперед продвигались тряды
Спарта кавцосмелых бойцов.

Смысла этих странных слов «грохотка», «нанала», «тряды», «Спарта» и особенно «кавцосмелых» я, естественно, не понимал. Не поручусь, что и слова «канонада» или «спартаконцы», если б я их правильно расслышал, были бы мне тогда более понятны. Но мне нравилось. Прежде всего — что смерти смотрели в лицо и что речь тут шла о смелых бойцах. Правда, не просто смелых, а как-то по-особому — «кавцо»-смелых. Но это уже были частности. Особенно когда я понял, что не «тряды», а «отряды», а я знал, что пионеры организованы в отряды. Следовательно, речь шла о пионерах, в которых я и без того давно мечтал состоять. Получалось, что в песне говорится о том, как отряд юных пионеров один на один сражался с мировой буржуазией. А

¹⁷ «Не считать» геноцида армян нельзя, и я не собираюсь. В чем-то он был даже страшнее, чем гитлеровский геноцид евреев. Это была именно резня, и у каждого убитого был персональный убийца. И произошло это, мягко выражаясь, при попустительстве, а на самом деле при активном, но подпольном участии государства. Но это злодеяние еще не было поставлено на бюрократически-индустриальные рельсы.

¹⁸ Музыковед В. Фрумкин говорил мне, что это австрийская патристическая песня военных лет. В двадцатые годы ее приспособили к своим нуждам отряды СА и Рот Фронта. Только барабанщика нацисты заменили Хорстом Весселем. Как тут не поверить теории про влияние излучений и расположения Солнца и звезд на психологию отдельных людей и историю в целом. И те и другие жили под одинаковым расположением звезд, и оно одинаково на них действовало, хотя и бросало друг против друга. Думаю, что и от этого уничижительного механического влияния на наш дух, если о нем знать, можно себя отстоять.

дальше речь шла о барабанщике, героически павшем в этом бою. Его даже в отряде юных пионеров считали юным. Значит, он был еще ближе мне по возрасту — не иначе как октябренок. Как же это могло мне не нравиться?

А касательно всего непонятого, то с меня вполне хватало, что это было понятно всем остальным — в этом я не сомневался. Вероятно, эти другие в число «остальных», которым в отличие от них все понятно, включали и меня. Я ведь тоже «пел» вполне вдохновенно.

Думаю, что многие современные «борцы за мир», леваки и террористы, преодолевают неизбежные логические неувязки своего мировоззрения точно таким же образом. С той только разницей, что детский конформизм — естественный и неизбежный способ постижения детьми мира и адаптации в нем, и не они отвечают за состояние мира, в котором адаптируются. А конформизм великовозрастный, да еще интеллектуальный, — вещь гораздо менее естественная и совсем не безобидная. Особенно если он приобретает недетскую форму проявления, как в террористических группах.

Но в детском саду (их было два или три, но не подолгу, и в воспоминании слились в один) я приживался плохо. Этим я ничего не хочу сказать плохого о детских садах или хорошего о себе самом. Дескать, тонкие натуры плохо приживаются в грубых коллективах, да еще по-советски идеологизированных. Нет, дело было не в этом. Как видел читатель, идеологизированность мне как раз нравилась. В этом смысле детский сад сделал свое дело. Барабан этого юного барабанщика еще долго находил отклик в моей душе и отражался на отнюдь не детских размышлениях. Не нравилось мне совсем не это, а «режим дня», особенно принудительный сон после обеда. То же самое не нравилось мне и в пионерских лагерях и санаториях, но там вдобавок — что уж совсем было невыносимо! — полагалось вечерами ложиться спать засветло, когда ни одному нормальному человеку «на воле» это и в голову не пришло бы. Может, с медицинской точки зрения это и было правильно, но уж очень это было унижительно. Я в таких здравницах нигде больше недели высидеть не мог, начинал тосковать «по маме», отчего и считался «маменькиным сынком». Но я им не был и тосковал, как теперь понимаю, не «по маме», а «по воле». Так и получилось, что главные мои дошкольные впечатления не детсадовские, а домашние.

Прежде всего, конечно, мать, ее разговоры об уже упоминавшейся «интересной молодости», вечных «стремлениях», учебе и т. д. Еще она любила декламировать отдельные строки из когда-то читанных стихов, особенно почему-то начало апухтинского «Сумасшедшего». Я как-то мало в жизни интересовался Апухтиным и только недавно узнал, откуда эти строки. Еще я от нее узнал, что жизнь должна быть не «пустой», а «идейной». Все это, конечно, во многом объяснялось ее общей экзальтированностью. Как и постоянная борьба с микробами. Тогда ведь далеко не все еще знали про то, что есть на свете микробы. Это знание и озабоченность — тоже часть той «культурности», которой она гордилась. В доме полный беспорядок, все выглядит неаккуратно, даже то, что стирано-перестирано. И какой-то абстрактный, «идейный» культ чистоты.

Мать всю жизнь была убеждена в своем культурном превосходстве над отцом. Между тем это превосходство было не культурным, а ценовым. Она, кроме гимназии, окончила еще и зубоврачебные курсы, а к началу тридцатых и стоматологический факультет или институт, а отец до пятидесяти лет — ничего. Типичный самоучка. Но он всем на свете интересовался, хотел учиться, читал, думал. И отнюдь не из «культурности» — просто на самом деле ему хотелось все понять и во всем разобраться.

Не помню, сколько мне было лет, когда отец стал подолгу работать дома — вязать носки на специальной машинке. Он все время крутил ручку (машинка была с ручным приводом), что-то проделывал с нитками и спицами и вел со мной разного рода беседы, рассказывал. Особенно много о революции. Мне она казалась чем-то очень далеким, а для него только пятнадцать лет прошло (я уже в эмиграции семнадцать). Больше всего ему нравилась февральская, бескровная¹⁹, принесшая свободу всем и равноправие евреям²⁰. Рассказывал он о гражданской войне и о Троцком. От него я

¹⁹ Февральская революция в Петрограде не была бескровной, толпа растерзала многих ни в чем не повинных городовых и прочих чинов полиции и даже просто офицеров, но отец в Петербурге не жил и этого знать не мог. Тем более что представление о бескровности было широко распространено и среди людей намного более осведомленных, нежели мог быть мой отец. Впрочем, по сравнению с тем, что было после Октября (но не в момент переворота), она на самом деле могла показаться бескровной, особенно такому далекому от полицейских кругов человеку, как он.

²⁰ Думаю, что отношение отца к февральской революции было типичным для всего среднего слоя России, в том числе и еврейства. Больше того, что дала им эта революция (и, очевидно, вскоре дала бы конституционная монархия, хоть в это они, как и весь средний слой, не верили), им и не надо было. Но эта среда, как и все остальные среды, в силу причин, о которых я уже отчасти говорил, выделила людей, чью жажду самоутверждения уже ничем нельзя было удовлетворить. Но «интересов» они уже ничьих не выражали.

узнал, что Троцкий был хорошим оратором, организатором Красной Армии, но теперь выслан, потому что у него другие взгляды. Это меня очень огорчило. Как же так — ведь настоящий революционер, в главном «за нас», и вдруг такая незадача. Я высказывал мудрую надежду, что он исправится и вернется. Отец обычно разговаривал со мной как со взрослым, пытаясь серьезно, объективно разобраться во всем, что знал и помнил, но тут он промолчал. Не из осторожности — разговор по тем временам не был опасным: Троцкий уже считался оппортунистом, но еще не врагом, не шпионом и предателем. Просто попробуй объясни такое ребенку. Да и вообще откуда ему было знать кремлевскую кухню? Но чувствовалось, что такой идиллический исход внутрипартийной свары ему не кажется реальным. Теперь я понимаю, что судьба Троцкого его вообще мало интересовала. Свою фразу о «красивой» идее, от которой люди на улицах умирают, он высказал тоже здесь, сидя за этой машинкой. Из большевиков он отдавал предпочтение скорее Бухарину, поскольку тот был ближе к здравому смыслу. Он подписывался на «Известия», которые редактировал Бухарин, и считал эту газету самой культурной. Я же про Бухарина ничего не знал, а культурностью и вовсе не интересовался — в «пролетарских» детских журналах она не котировалась (другое дело — положительные знания, в которых сила). Но — западало. Западало и запало. И с тех пор плакатное изображение истории меня раздражало и отталкивало всегда, даже в краткий период моего сталинизма, предохранило от растворения в идиотизме сталинщины. Должен сказать, что умению быть объективным, стремиться понять другую сторону, просто других людей, без чего не существует ни художника, ни личности вообще, я научился именно у отца — пусть не сразу и не только у него.

Вероятно, и материнская экзальтация сказалась на мне не только плохо. Представление о том, что жизнь не должна ограничиваться прожитием, было усвоено мной с детства именно благодаря матери. Правда, к самой экзальтации у меня выработалась при этом стойкая идиосинкразия. Стоит мне только ее почувствовать в разговоре, как мне приходится подавлять в себе раздражение. Я понимаю, что вовсе не всегда это котурны, что иногда это только неудачная форма проявления, манера, за которой может стоять и настоящая боль. Потому я свое раздражение и подавляю, но вовсе не чувствовать его я не могу — уж слишком большая доза экзальтации была мне привита в детстве.

Но экзальтация вообще была в духе времени. Она насаждалась самой государственной пропагандой. Она превратилась в норму приличия, в единственно приемлемую для тоталитарного государства форму общения с ним. И генерал Макашов, не так давно открыто сетовавший на Горбачева за то, что «мы без боя отдали всю Восточную Европу», проявлял не что иное, как привычку к экзальтации, расчет на ее воздействие. И сам, вероятно, проникнут безграничной способностью к ней, с ее помощью сакрализуя — и в собственных глазах тоже — любые свои интересы и амбиции.

Правда, теперь я отвергаю и саму «идейность», а не только нелепые формы ее проявления. Мне она кажется более примитивной, своекорыстной и опасной для других формой одухотворения собственной жизни. Духовное наполнение жизни надо находить не в ошалелом стремлении к некой конечной (и уже потому ложной) общественной цели (к земному раю), а в чем-то другом — в одухотворении повседневного. Короче, я вижу в духовных концентратах, которыми больше столетия питается мировая интеллигенция, не особую высоту, не подлинное приобщение к Духу, а скорей соблазн. Этому обычно противопоставляют крестьянский идеал (добывая хлеб в поте лица и помни Бога), но боюсь, что при всей мудрости этого образа жизни, при том, что он должен всегда присутствовать в сознании, он не охватывает всех потребностей и возможностей человечества. У меня нет исчерпывающего ответа на вопрос, как жить. Ответ на него, видимо, каждый человек находит в процессе жизни. Я просто говорю о системе ценностей, очень поколебленной стремительностью культурного развития нашего века.

Сказалась эта стремительность, отрывающая иногда детей от отцов (отнюдь не в плане «молодежной прозы» шестидесятых годов), и на жизни нашей семьи, она тяжело прошла и через мою жизнь.

Моя мать была очень трудным человеком, отец — нет. Но оба они были хорошими и порядочными людьми. Я уж не говорю об их отношении ко мне. Они всегда выручали меня в трудные дни, а таких в моей жизни было довольно много. Очень долго они безропотно поддерживали меня и материально — на ноги я встал

довольно поздно, после смерти Сталина, лет в тридцать или чуть позже, когда мне стали давать переводы. Но близости не было. Я ушел от них гораздо дальше, чем они от своих родителей, хотя переворот, совершенный ими в своей жизни, был гораздо более кардинальным. Да я вообще не совершал переворотов, просто жил и рос. И если я даже и вправду ушел вперед (а не только мне это кажется в хорошую минуту), то по пути, проложенному ими.

Сегодня я мог бы себя спросить: а стоил ли мой путь таких жертв? Ведь все равно я у разбитого корыта. Под разбитым корытом я подразумеваю не свое положение в эмиграции²¹, а сам факт эмиграции. То, что моя жизнь привела меня к этой форме капитуляции. И вообще то, что мне выпало жить в обстановке культурного кризиса. Это ведь не академический термин, а реальность, имеющая отношение не только к «культурной области». Это такое состояние человеческого сообщества, когда люди не знают, чем жить и чем дорожить, а не только, допустим, как писать. Когда то самое «индивидуальное начало», которое мы привыкли противопоставлять тоталитаризму, ошавает от скуки и потери критериев, став своеволием, само энергично прокладывает путь тоталитаризму — как коммунистическому, так и нацистскому (правда, нацистский еще полностью не возродился). В этой ситуации все, к чему я пришел в жизни, за что «страдал» — уважение к личности, к ее свободе, к выражающей форме в искусстве, — ставится под сомнение. Что я могу противопоставить напору пустого самоутверждения? Только здравый смысл, совесть, зоркость, ответственность. И конечно, любовь, и конечно, Бога. Но ведь и Его имя люди мастерски научились использовать для освящения своих ближайших интересов и амбиций. В этих условиях подобие внутренней жизни гораздо удобней, чем ее подлинность. А этому модернистские развлечения и культ эмоций (подсознательно — взамен чувств), с которыми я всегда боролся, соответствуют больше, чем подлинное творчество, основанное на глубинном личностном чувстве, на выявленном отношении к бытию. Кроме того, модернистские блестящие респектабельно отвлекают от сознания, что движемся к пропасти, или от того, что это страшно.

В сущности, остается только одно: все время напоминать себе и другим, что дважды два — четыре. Вроде негусто. А сколько сил, здоровья, надежд вложено, сколько проступков совершено, чтобы двигаться по этому пути!.. Так стоило ли?

Но выбирать поздно. Тем более выбрали до меня — все те, кто ушел из патриархальности. Разной, но одинаково не могущей почти никого удержать. Другим я уже все равно не стану. Да и не хочу — неинтересно, хоть, может, это и грех. Кто знает, может, греховно и само желание жить интересно? Но надеюсь, что не всегда. Что если это «интересное» оправдано высоким смыслом, если при этом быть ответственным по отношению к людям, то оно все же не грех.

И чем бы ни кончилась моя жизнь, она была хоть и тяжела, но наполнена. Многим людям я был нужен и интересен — я сам, мои стихи и мои статьи. Я был счастлив. Были у меня и грехи. От некоторых мне тошно и сейчас, некоторых, возможно, еще не осознал, но кто из нас без греха? Возможно, мне вообще лучше было бы быть другим человеком, но нет ведь такой возможности, да и не представляю я того другого, каким хотел бы быть...

А время повествования между тем движется к школе. Читать я выучился лет в пять-шесть сам дома. Из детского сада меня скоро забрали — как видел читатель, вряд ли против моей воли, — и я потом ходил в «группу» с «фребеличкой», с «немкой», по-разному это тогда называлось.

«Немка» эта была вовсе не немка, а вполне русская женщина, только из «бывших», и звали ее Елена Владимировна. Не только советский детский сад, но и школу она ругала на все корки, отрицая их с порога. Отчасти это было справедливо. Тогда еще не кончилась эпоха всяких «Дальтон-планов», и — того пуше — «бригадных методов», и прочих идиотских коллективистских экспериментов над детьми. Но

²¹ Положение мое в эмиграции теперь несколько лучше, чем было. Но отношение ко мне всякого рода здешних «изучателей» и наших «новаторов», когда оно выглядело вполне тотальным и подавляющим, могло ввергнуть меня в шок и депрессию как горькое ирреальности, но не заставить в чем-либо усомниться. Это тяжело воспринимать как средю обитания, но состояться я, к счастью, успел до того, как попал в эту средю. Их механистическая подражательность — подражание если не всегда присмам, то представлениям о литературе и о писателях и импульсах — для меня была всегда очевидна. Их корыта были разбиты еще до того, как выдолблены. Я говорю о более существенной трагедии, о «корыте», имеющем касательство не только ко мне.

отчасти и несправедливо. Уже начался возврат к старой, «гимназической» системе. Отмена этих экспериментов, на мой взгляд, единственное хорошее для страны, что сделал в жизни Сталин, во имя чего бы он это ни сделал.

Другое дело, что это не совсем гармонично сочеталось с коммунистической утопией. Казалось бы, беда невелика. Но поскольку от системы, вроде бы и созданной для воплощения утопии, при этом не отказывались, то это не только оскорбляло иногда молодые умы (что можно было бы пережить), но и погружало все вокруг в ту духовную и интеллектуальную прострацию, которую несла в себе начинающаяся сталинщина. Это было ее началом — побочным положительным последствием более чем отрицательного разрушительного в целом явления.

Разумеется, обеспечить гимназический уровень образования при таком размахе и массовости — пусть это пока в основном касалось только городов — было уже невозможно, но все же тогда было еще много учителей «с раньшего времени», которые могли подхватить это начинание. Во всяком случае, в тех классах, где я учился, меня учили. Были учителя хорошие, были похуже, но малограмотных не было. В эвакуации я людей недостаточно образованных встречал, но они не превалировали. Да и не очень образованные жаждали знаний. Сегодня положение хуже. Пединституты (в том числе и переделанные в университеты) подготовили (при мне) и, кажется, готовят и сейчас малограмотных учителей индустриальным способом. Разумеется, не только их — в России появляется и много хороших учителей, слишком развиты теперь коммуникации, — но и плохих тоже. Особенно по гуманитарным дисциплинам. В точных дисциплинах до какого-то уровня выручает природная сообразительность, а в гуманитарных она не может заменить чтения книг и интереса к этому чтению. Впрочем, это процесс мировой, но у нас он был направляем сверху и стимулировался тем, что отсутствие интереса к чтению чаще сочеталось с идеологической благонадежностью. Конечно, и плохих инженеров готовится много. Но ведь плохой инженер плох только тем, что за него работают другие, а плохой учитель плодит себе подобных.

Тем не менее, в досталь поблуждав по белу свету, могу с уверенностью утверждать, что все же советская (то есть российская, европейская) система образования в СССР и теперь была бы неплоха, если б она еще недавно не профанировалась столь часто «борьбой за успеваемость», «соревнованием» и прочей чепухой, заставляющей учителя выставять завышенные отметки. А тогда и подавно. Но это уже беды не только системы образования, а советской системы в целом. И все-таки в России сегодня образованных людей не меньше, а больше, чем раньше.

Однако Елена Владимировна — фамилии ее я по малолетству не знал — не нуждалась в подобных анализах. Просто, справедливо оценив советскую власть как хамскую, она из этого и выводила все свои умозаключения. В жизни же, как известно, не все так логично вытекает одно из другого, и добрая женщина была не во всем права. Во всяком случае, несмотря на большое количество фиктивно образованных людей (что опасно в социальном смысле), мы теперь далеко не последняя по образованности страна (в мире вообще с этим не густо).

Но детвору она любила и немецкому языку обучала играючи, весело и увлекательно. В школе у меня потом был французский. К немецкому я вернулся только в эвакуации, в девятом классе (проходили там, правда, курс седьмого), и мне вполне хватало знаний, полученных от Елены Владимировны. Ведь тогда, до школы, я уже вполне понимал, слушая, немецкие детские сказки про злых и добрых разбойников. Правда, в Вене, с которой началась моя эмиграция, моего немецкого хватало только на то, чтоб задавать вопросы и быть понятым, на понимание ответов его уже не хватало. Но тут уже виной время, годы, отвычка, но не Елена Владимировна.

Вряд ли она и раньше принадлежала к интеллектуальным верхам, но интеллигентность ее была вполне добротной. И это прикосновение в детстве через нее к тому почти исчезнувшему миру, который она, потеряв его из виду, все же в себе несла, безусловно было благотворно.

Как и большинство моих сверстников, 1 сентября 1933 года я тоже пошел в первый класс. Верней, в первую группу, тогда это еще так называлось. Слово «класс», отмененное как принадлежность старой, «царской» гимназии, было восстановлено в правах год или два спустя.

Это был мой первый выход из семьи в нашу эпоху, судьба которой тем не менее уже была решена задолго до этого дня.

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ — ШКОЛА И ДВОР

Мои первые школьные годы совпали с началом сталинской эпохи²². На моих глазах Сталин, если судить по смене газетных титулов, превратился из верного ученика Ленина в отца народов, гения всех времен, корифея всех наук и вождя всего прогрессивного человечества. А потом столь же централизованным порядком он стал понижаться в чине — превратился только в выдающегося марксиста, причем допуская серьезные, даже мешавшие «нашему делу» (но для марксиста, по-видимому, все же прогнательные) ошибки, как то: безграничное тиранство, низкое коварство, брутальную жестокость и массовое душегубство. Но это «понижение» произошло уже в другую эпоху. Теперь мне даже странно, что вся фантастика сталинщины продолжалась (если не считать рубежной, еще более фантастичной и страшной коллективизации) меньше чем двадцать лет. Это был очень долгий срок. Я пережил Сталина на тридцать восемь лет, но все равно мне кажется, что эти двадцать лет были длинней. Так же как непомерно длинными казались и кажутся годы гитлеризма, а их и всего-то было двенадцать. Наверно, потому, что каждый день этих лет нес особую тяжесть, тяжесть осознанного или неосознанного стыда, от которого не спасал никакой восторг, никакая «преданность делу».

Впрочем, когда я переступил порог школы, Сталин рекомендовался еще только первым среди равных, а это еще не требовало от нормальных людей большого насилия над здравым смыслом. Тем более что мы ведь и о нем и об остальных «равных», как и об отношениях между ними, имели смугное представление. Еще ведь и «съезд победителей» не определил судьбу своих делегатов, и Киров был жив, хоть я и не подозревал о его существовании. В жизни партии времена эти были еще сравнительно идиллическими (уже с политизоляторами и ссылками для оппозиционеров, но еще без того, чтобы их расстреливали). В жизни страны, то есть всех остальных людей, они уже давно не были такими. Но люди — жили.

Самые отвратительные тирании держатся еще и на том, что люди не могут прекратить или отложить свою жизнь, в том числе и ее радости, особенно если этих радостей немного. Страшные и точные слова Марины Цветаевой: «Есть времена, где солнце — смертный грех! / Не человек, кто в наши дни — живет» — не могут и, наверно, не должны служить руководством к действию для большинства людей, но все же неопровержимы. Ничего не поделаешь, даже честные и отзывчивые люди продолжают жить и тогда, когда на их глазах убивают и морят голодом других людей, когда им лгут в глаза, когда — исходя из того, что составляет их личность, — им вроде бы следовало на месте сгореть от стыда. Некоторые и сгорают. Но до конца — немногие. Большинство же таких людей все же остаются жить, и стыд этот, продолжая лежать тяжестью на сердце, постепенно теряет свою остроту. Во всяком случае, до времени.

Остальные же обычно ко всему происходящему относятся как к данности; как к неотвратимым, не ими созданным реалиям жизни, в которой им надлежит существовать. И пусть на улицах трупы крестьян, все равно городские девушки из семей, получающих скудные, но все же позволяющие выжить пайки, будут пробегать мимо них на свидания, и то, что связано со свиданием — «придет — не придет» и «что скажет», — будет в тот момент волновать их гораздо больше, чем эта ставшая привычной деталь пейзажа.

Да и вообще в основном люди будут заняты бытом. И средний человек, который достал и принес семье килограмм кетовой икры (тогда она была очень дешевой и воспринималась как не лучшая замена настоящей пищи), будет очень доволен собой и жизнью. Это печально, но, наверно, простительно, ибо он непрерывно занят спасением семьи, а решать вопросы более широко у него нет ни возможности, ни времени. И тем не менее, когда дело начинает касаться круга его обычной жизни,

²² Сталин стал генсеком задолго до этого, еще при Ленине, но сталинская эпоха отчетливо началась только после победного провала коллективизации, в котором, как говорит Пастернак в «Докторе Живаго», «нельзя было сознаться». Однако «18 брюмера» Иосифа Сталина — это 1 декабря 1934 года, дата убийства Кирова, а тогда я уже был во втором классе... Роль Сталина как организатора заговора, в результате которого погиб его главный конкурент, для всех, кто об этом думал, давно очевидна — теперь это подтверждено документально воспоминаниями разных людей. Да и кому еще могла быть нужна смерть именно Кирова? Тем более что потом по обвинению в этом убийстве были устранены и уничтожены другие конкуренты Сталина — реальные, возможные и мнимые. В этой чуши тоже «нельзя было сознаться». Ее можно было только поддерживать, придавая ей реальность, то есть создавая в мозгах людей ирреальный образ мира и патологическую — даже с точки зрения коммунистического сознания — логику и систему ценностей, массивной ложью, террором и полной герметичностью, всем, что и стало основными чертами этой полусторонней эпохи.

он (далеко не каждый, но все же) может подчас вести себя достойней многих из тех, кому это, так сказать, «положено по штату».

Когда раскулаченный отец поэта А. Т. Твардовского убежал из ссылки, где он был обречен на не очень медленное умирание, он, не имея документов и права жительства где бы то ни было в своей стране, то есть будучи прокаженным и неприкасаемым, все же пришел к своему двоюродному брату, жившему в Смоленске. Тот не вдавался в рассуждения, не стал выговаривать родственнику за то, что ставит его в затруднительное положение, а «просто» попросил его чуток подождать в передней, исчез в своей комнате и через минуту вынес оттуда не что-нибудь, не кусок хлеба даже, а паспорт! — свой собственный неподдельный паспорт, и со словами: «На, Тришка, живи!» — отдал его пришедшему (двоюродные братья были ровесниками и походили друг на друга внешне). Не мог он не понимать, что тому теперь терять уже нечего, а он может потерять «все», то есть то небольшое, но существенное — право жить на свете, — что имел и что отличало пока его самого от опасного гостя²³. Понимал, но думал не об этом, а о том, что человека жизни лишили. И вернул ему жизнь, рискуя своей, положил «душу свою за други своя». И вряд ли эти слова тогда пришли ему в голову: жалко стало человека, вот и все.

«На, Тришка, живи!» — это даже не протест, это естественное и трезвое отрицание той страшной вивисекции, которой при смущенном соучастии пойманных на слове идеалистов подвергали тогда простых людей России. Над всеми комсомольскими энтузиазмами, над всеми барабанами юных пионеров, над всеми историческими необходимостями, обезоруживавшими душу и совесть даже честных людей, — отъединенный от всего этого голос человечности и достоинства: «На, Тришка, живи!» Никто тогда не расслышал этих слов. Я уже говорил, что в те времена простые люди были умней интеллектуалов.

Кстати, в любой нормальной жизни (а сегодня и в нашей) передача паспорта другому лицу и проживание под чужим именем было бы делом, отнюдь не вызывающим сочувствия. Это было бы *against law* (против закона), что в англосаксонских странах звучит и как моральное осуждение (вроде как «против уговора») ²⁴. А по существу этот «проступок» даже героическим назвать остережешься, чтоб не обесценить, ибо он на большее тянет.

Кстати, в тогдашнем СССР, если б дело открылось, этот «проступок» расценили бы отнюдь не как нарушение какого-то там *law* (кого оно тогда интересовало!), а как открытое пособничество классовому врагу и контрреволюции. Одного моего знакомого исключили из партии только за то, что он, когда случались деньги, посылал небольшие переводы раскулаченному отцу, — это было «романтически» квалифицировано как «экономическая поддержка кулачества». А тут паспорт! Дело вообще пахло заговором. Декламация требует жертв.

Все это тогда происходило, однако, в общем, было далеко от меня. Стыдно сегодня сознаться, но то, что в этом году я наконец-то пошел в школу, было для меня гораздо более крупным фактом 1933 года, чем все его страшные события. Этого

²³ Этот случай рассказал в записанном примерно в начале семидесятых на пленку и пока, по-моему, нигде не опубликованном интервью старший брат поэта Константин Трифонович, бывший, как и отец, кузнецом в родной деревне.

²⁴ Я употребляю здесь английское выражение, ибо само понятие «закон» в применении к тому, о чем я рассказываю, иностранное. Не могу в этой связи не вспомнить одну эмигрантскую полемику. Отвечая на статью Г. Бёлля («Страна и мир», № 4), я в № 11 рассказал, в частности, о том, как южновьетнамские «партизаны» (на самом деле засланные с севера «товарищи бойцы») в районе, ими контролируемом, шли по следам посланного туда под охраной небольшой воинской части американского медицинского отряда и убивали всех его «пациентов». Американцы, узнав про это, были потрясены. Экспедицию ведь снарядили только потому, что кто-то в американском штабе вспомнил, что в районе, контролируемом вьетконгом, население давно не получало медицинской помощи, и вот как страшно все повернулось. В конце концов одного из убийц поймали. Когда его привели на допрос, он ухмыльнулся: «А что вы мне сделаете? Ведь вы без суда не можете, а его сразу не устроишь. А до суда что? Арестуете? Но как только вы уйдете, любой староста меня выпустит. Ему своя голова дороже». Но он просчитался. Лейтенант, командовавший охраной, понял, что нелюдь говорит правду, понял бессилие закона в этой ситуации, понял, что он косвенно оказался виновным в гибели невинных, вытащил пистолет и застрелил наглеца. Лейтенант этот за свой поступок должен был отвечать и ответить бы по американскому закону, но его никто не выдал. Рассказав это, я добавил от себя: «И я бы его не выдал!» Эта фраза вызвала отповедь редактора журнала Крониды Любарского, обвинившего меня в... проповеди самосуда. Это было единственной его реакцией на все, что рассказано выше, — не общеденность террористических методов вьетконга, не его «разумный террор», цель которого внушить, что ни в коем случае нельзя общаться с американцами, даже как с медиками, что они всегда — смерть... Правозащитничество не должно становиться инерцией, чтоб не превратиться в бессмыслицу или в защиту вьетконговского «порядка» или права КПСС на выражение своей, никогда не бывавшей у нее «точки зрения», под которой она всегда понимала «установку».

я ждал «долгие годы», и вот я держу в руках новый, роскошный, блестящий клеенчатый ранец, у меня уже есть пенал, ручка и карандаши. Нет у меня только тетрадей и учебников — в открытой продаже они появятся чуть позже, когда будет объявлена «большевистская забота о детях», а пока их выдают только в школе. Но и без книг и тетрадей я преисполнен сознания своей значительности и взрослости. В общем, чувствую то, что все дети перед первым в их жизни звонком. Это вполне естественно, и об этом теперь было бы даже очень мило вспомнить, если бы жизнь за окном была хоть отчасти естественной. Если бы «за кадром» не оставались сотни тысяч других детей, лишившихся — по воле власти — родителей или загубленных вместе с ними, отчасти у меня на глазах. Если бы многие из них из своего горького опыта (голода, беспризорности, равнодушия к ним окружающих) не выносили сейчас убеждения, что никаких устоев, справедливости и милосердия не существует, и не шли бы потом в уголовники... Я их потом встречал, сильно не одобрял, но очевидную связь между тем, что делали они и что сделали с ними, ощутил много позже²⁵. Конечно, сентябрь тридцать третьего все-таки не сентябрь тридцать второго. Трупы с тротуаров убраны, стоят длинные очереди за «коммерческим» (не по карточкам) хлебом. Но ведь и в сентябре тридцать второго дети этого непосредственно не задетого большинства так же готовились к школе и испытывали то же радостное волнение²⁶, какое, не понимая, что это грех, испытывал и я, когда погожим утром 1 сентября этого страшного года в толпе своих будущих, говоря по-нынешнему, одноклассников во дворе 95-й средней школы города Киева ждал выхода учителя, который должен был впервые ввести нас в нее. Кажется, школа еще была неполной средней — восьмые, девятые и десятые классы тогда только появились.

Кстати, и со школой в эти непростые времена не все было просто. Подавали мои родители не в эту школу, а в 44-ю, единственную русскую поблизости, у которой к тому же почему-то в нашем кругу была высокая репутация. Но, видимо, заявлений подавалось слишком много, и райнаробраз в прошлом году нашел выход — открыл младшие русские классы в 95-й украинской школе. Официальное объяснение — географическая близость — в отношении меня было верным. Она и впрямь была расположена очень близко от нашего дома — только перейти Жилианскую, тогда не бывшую транспортную магистралью, и, повернув направо, пройти по ней два дома. Третий дом от угла — школа. 44-я же тогда помещалась, правда, на нашей же стороне Владимирской, но дальше, чем 95-я. Пришлось бы пересекать не только Жилианскую, а и трамвайную линию на Мариино-Благовещенской. Но моих родителей и это не останавливало, хотя тряслись надо мной изрядно, — так им хотелось, чтоб я пошел именно в 44-ю.

В 44-ю я все-таки попал, но уже потом, когда перешел в четвертый класс, следовательно, в 1937 году. Тогда «жить стало лучше, жить стало веселее», и для нее построили новое типовое, роскошное по тогдашним представлениям здание. В связи с этим в школьном микрорайоне произошла сложная перетасовка. В новое здание из прежней 44-й перевели только старшие классы, начиная с пятого. Первые же четыре почему-то были оставлены на старом месте и превращены в 151-ю неполную среднюю школу. К ним перевели из украинской 95-й предшествующие нам пятые русские классы. Младшие же русские классы 95-й стали первыми четырьмя классами новой 44-й. Расположена была эта новая школа так же близко от нашего дома, что и старая, на той же стороне Жилианской и на таком же расстоянии от Владимирской, но только не вправо, а влево от нее.

Пристрастный взгляд заметит, что в результате всех этих циркуляций и комбинаций количество русских школ в районе и их удельный вес выросли. Это обычно расценивается как лишнее доказательство насильственной русификации Украины. Не отрицая самих попыток сталинской русификации, верней унификации, особенно проявившихся в варварской подгонке украинской лексики и грамматики под русские, я все-таки отрицаю, что увеличение количества русских школ связано с какой бы то ни было насильственностью. Наоборот, насильственность в этой отрасли проявлялась до этого, когда рост количества русских школ в таких городах, как Киев, искусственно сдерживался, когда детей насильственно впахивали в школы в зависимости от происхождения родителей, но без всякой зависимости от их желания:

²⁵ Я вовсе не верю в то, что во всех поступках человека виновата среда, а не он сам. И вовсе не оправдываю тех, кто стал и остался уголовником. Но и с общества в данном случае вину снять нельзя. Уж слишком некосвенным было его воздействие на их судьбы.

²⁶ Какое бы гигантское количество людей ни было задето тотальными преследованиями, большинство населения все равно остается непосредственно не затронутым — во всяком случае, в той степени, которая внушает ужас. И подсознательно или сознательно дорожит этой привилегией, даже благодарно за нее. И молчит, когда из него, этого большинства, выхватываются все новые и новые жертвы. Роль террора в формировании сознания многообразна.

украинцев в украинские, русских в русские, евреев в еврейские, поляков (в Киеве до тридцати седьмого существовало значительное польское меньшинство) в польские. Между тем Киев в целом был тогда русским городом, и большинство киевских родителей, в том числе и украинского происхождения, хотели отдавать детей в русские школы. Этому способствовало три фактора: то, что русские школы открывали широкие возможности в масштабах всей страны, а не только Украины, традиционное представление о более высоком качестве образования на русском языке и просто обаяние русской культуры, к которой многие люди украинского и всякого иного происхождения тоже тяготели. Возможно, интересы национального становления требуют и оправдывают такое насилие (я в этих вопросах не специалист, и эта логика мне недоступна), но насилием над волей людей оно от этого быть не перестает. Я люблю украинский язык и многое, на нем написанное, я отнюдь не желаю исчезновения украинской культуры и не верю в это. Но насилие как средство утверждения какой-либо культуры кажется мне делом не только нечистым, но и нелепым.

То же я могу сказать и о еврейских школах. Ничуть не отрицая существования в доперестроечном СССР государственного антисемитизма, я тем не менее утверждаю, что сетования некоторых еврейских активистов на то, что еврейские школы в СССР были закрыты насильно, лишены всяких оснований. Они исчерпали себя сами — во всяком случае, в больших городах — еще тогда, когда любое проявление антисемитизма было сопряжено с неприятностями.

Но это все сегодняшние мысли. А тогда, хоть моим языком всегда был русский, меня мало беспокоило, что школа, в которой я начал учиться, вся, кроме нескольких наших классов, — украинская. По-украински я читал так же хорошо, как по-русски, и вполне понимал устную речь, так что на общешкольных мероприятиях никакого комплекса не испытывал.

Мои школьные переживания были совсем другого рода и никак с национальным вопросом связаны не были. Просто в первом классе мне нечего было делать. Читать и считать я научился сам задолго до школы, а начальную премудрость письма, правда так и не научившись красиво и чисто писать (чего по природной несклонности и теперь не умею), я освоил под руководством Елены Владимировны. Вряд ли такая просвещенность хорошо отражалась на моем поведении в классе, и учитель договорился с матерью, что меня будут отправлять в школу как можно реже. Была еще возможность перевести меня во второй класс, но какие-то умники уговорили мать «не перегружать ребенка». В результате я целый год бездельничал, скучал и преисполнялся сознания собственной исключительности. Потом было довольно трудно войти в нормальный рабочий ритм. В такое положение попадают иногда эмигрантские дети в Америке. Программы большинства американских школ настолько облегчены по сравнению с советскими, что даже наши аутсайдеры на первых порах чувствуют себя здесь передовиками. Разумеется, это только стимулирует их природную беспечность, и очень скоро они опять прочно занимают свое законное место — уже применительно к новому уровню. Аутсайдером я не был и не стал, но некоторые неприятные открытия на свой счет (в том смысле, что я вовсе не такой абсолютный молодец, которому любое дело — раз плюнуть) сделал. Не скажу, чтоб мне все это было безразлично (мать накачала меня амбициями), но в целом я примирился с этим спокойно.

Я не очень люблю вспоминать эти годы, ибо не очень нравлюсь себе в этом нежном возрасте — с неловкостью во всех проявлениях и неловкими попытками компенсации и самоутверждения, с абсолютно или относительно безосновательной уверенностью, что принадлежу к высокому и благородному интеллигентному обществу. Помню, как классе во втором я внутренне претендовал на выборную должность санитаря (кажется, так это называлось). Не то чтоб мне так уж хотелось проверять одноклассников на вшивость или на предмет чистоты их рук, ушей и шеи, в чем эта должность состояла, но просто жажда престижа заедала, а я знал, что никакая другая должность мне явно не светит. На эту же я, по моим тогдашним понятиям, имел все права, поскольку был «из семьи врача» (тогда это было еще престижным и просто культуртрегерским положением). Но, к величайшему моему удивлению и огорчению, «не обломилось»: не выбрали.

К этому же времени относится и начало моей литературной деятельности. Выразилось оно — в плагиате. Но рассказ о том, как случилось это грехопадение, требует некоторой предыстории.

Еще в дошкольном возрасте в летнее время посещал я дневной пионерский лагерь (или санаторий) в полусельском районе уже упоминавшейся Демиевки, куда моя мать, как детский стоматолог демиевской поликлиники, откомандировывалась на лето. В этом лагере шла интенсивная культурная жизнь, расцветала «художественная» самодеятельность. Там я впервые увидел пусть самодеятельный, но все же драматический спектакль. Я был потрясен. До этого я уже был один раз в настоящем

театре, на балете «Феранжи», но впечатление было несравнимо. Даже то, что спектакль был революционным и на сцене иногда постреливали, не могло испугать для меня того, что персонажи только двигались, а не разговаривали, в результате чего даже главное для меня тогда — кто здесь красные, а кто белые — понималось смутно.

А тут все было по-настоящему, все понятно и ясно. И главное, в ролях преобразенными выступали ребята, хоть и более взрослые, чем я, но знакомые — те же самые, которых я знал в жизни другими, обычными. Правда, обаяние театральности (пусть весьма приблизительной) заставляло заглядывать как само собой разумеющееся и его «идейное содержание», точнее, внушение — это была обычная антикулацкая агитка тех лет. Но здесь она была — театром.

В этой атмосфере самодеятельности (я завидовал всем, кто имел отношение к этому «театру») и встретил я сына маминой коллеги Яшу, который был на три года старше меня. Отличие его от всех прочих, кого я знал до сих пор, состояло в том, что он сочинял стихи. То, что стихи сочиняет не небожитель, а обыкновенный мальчик, буквально потрясло мое воображение. А когда на каком-то вечере он публично исполнил один из своих опусов под оригинальным названием «Привет новому учебному году», он своей складностью привел в восторг и меня и всех вокруг.

Никакого пристрастия к стихам у меня тогда не было. Конечно, я еще помнил стихи из детских книжек, и вообще первой прочитанной мною (действительно прочитанной, а не запомненной наизусть по картинкам) книжкой была маршак-овская «Почта». Но после того как я прочел «Маленького оборвыша» Джеймса Гринвуда (фамилию автора узнал только недавно, тогда я такими привходящими обстоятельствами не интересовался), то есть первую в моей жизни «настоящую» и, как мне тогда казалось, толстую книгу, я стихи читать перестал, сочтя, по-видимому, что это для маленьких. Проза была не в пример увлекательней. Правда, очень меня заинтриговал Пушкин, но не «Сказкой о золотом петушке», которую прочел сначала (сказками я тоже перестал интересоваться), а подписью под его портретом в отрывном календаре: «Родился А. С. Пушкин — величайший русский поэт». Если б еще просто «великий», а то — «величайший»! Вероятно, это слово возбудило во мне некую тщеславную мечту — прославиться в деле, о котором и представления не имел. В наш век культурных революций со многими это и во взрослом состоянии случается...

Яшины стихи меня поразили тем, чем любые стихи поражают того, кому они абсолютно не нужны: в них было все как надо, как у больших, можно сказать, как у того же Пушкина (в таком же «прочтении»). Это меня настолько потрясло, что я эти стихи запомнил, благо память была свежая. Это меня и погубило. Но не сразу, а чуть позже, когда я, по-видимому, был в первом классе и, как уже знает читатель, навещал школу только изредка.

Тогда я часто посещал странное детское учреждение под названием дневной санаторий — нечто вроде современной группы продленного дня. Но относилась эта «продленка» не только к той школе, при которой находилась (хотя поначалу была создана ею для себя), а к обширному району. Летом учреждение переезжало на Черепанову гору, находившуюся в квартале от его основной базы, и функционировало весь день в качестве городского пионерского лагеря.

А база эта, то есть школа № 33, помещалась на Кузнечной и, к слову сказать (хоть это не имеет отношения к тому, о чем я сейчас рассказываю, а только к колориту тогдашнего Киева), еще была целиком еврейской. Наверно, должен был быть еврейским и находящийся при ней «дневной санаторий» (но не лагерь на Черепановой горе). Какое-то время он и был еврейским, и рудименты этого я еще застал. Руководители именовали «хавэртэ» (женский род от обращения «товарищ»): «хавэртэ Рая» и «хавэртэ Шифра»... Но при мне принимал этот санаторий детей не только из еврейских школ, а раз так, то, естественно, не только из еврейских семей. И поэтому звать их можно было и по-русски: «товарищ Рая» и «товарищ Шифра». Время быстро и круто менялось. Но и без всяких перемен жизнь в этом санатории («шенаторке»), как произносил завхоз школы Берман, ведавший и этим заведением) шла по-русски. Даже абorigine, ученики еврейской школы, между собой в быту общались по-русски. Их никто не заставлял, но ведь они жили той же жизнью, что и все, только уроки готовили на другом языке. Это было рудиментом, и постепенно сама еврейскость этой школы становилась рудиментом. Но я упомянул об этой школе только в связи с «шенаторкой», ибо именно там произошло мое грехопадение. Произошло оно так.

Однажды — дело было в сентябре — всем объявили о предстоящем выпуске стенгазеты и призвали сдавать заметки и другие материалы. Безусловно, чего-то ждали и от меня как от местного книгодея, и я обещал написать стихи. Собственно, с чего я взял, что я это умею делать? Не знаю, но, вероятно, оттуда же, откуда лет в пять я был уверен, что умею починять электричество. Но тогда взрослые только

посмеивались над этой моей уверенностью, а теперь отнеслись к ней вполне серьезно. И я взялся. Вероятно, в смутной надежде, что, поскольку, как все признавали, я мальчик способный и развитой, находящийся в интимных отношениях с культурной сферой, на меня в процессе работы что-то снизойдет. Но — не снизошло. Вечером дома я быстро убедился, что никаких стихов мне не написать. Я был в отчаянии. Ведь я так уверенно обещал принести их завтра в полдень: дескать, что нам такие пустяки. И вот на тебе — так опозориться! Настало утро, светило солнце, а стихов не было. И тут сами собой написались Яшины.

Нет, в отличие от Василия Журавлева, напечатавшего под своим именем ахматовские стихи, мне ни на секунду не показалось, что эти стихи мои. Я знал, что делаю, но, ужасаясь самому себе, делал — не мог остановиться. И отдал их в стенгазету. Триумф был полный — у редакторов и читателей вкус был не лучше моего. Мной восхищались, меня хвалили, а я не знал, куда деться. И я начал остервенело писать стихи — с благородной целью написать не хуже и хоть как-то оправдаться. Хоть перед самим собой.

Нет, ни этот факт, ни эти старания не имеют никакого отношения к истокам моего творчества. Оно началось совсем с других стихов, тоже плохих, но писавшихся по другой причине. Но к биографии моей этот факт и все с ним связанное отношение имеет...

Честолюбивые мечты моей матери оказались несбыточны. Учился я неплохо, но отнюдь не блестяще, весьма неровно. По чтению у меня неизменно были «очень хорошо», но по письму мог случиться и неуд. Писал я грамотно, но грязно и не без клякс. Я не только не стал первым учеником, но ни разу в жизни не был даже отличником — за исключением весенней сессии 1947 года, когда я кончал второй курс Литературного института. Однако тут я, видимо, схватил что-то «не по чину». И вскоре был арестован. Но в те годы, о которых идет речь, я был весьма далек от нарушения этих предопределений.

Сталкивался ли я тогда со страшными проявлениями начинавшейся сталинской эпохи? Безусловно, сталкивался, даже становился от этого в тупик, но вряд ли сознавал это — и сами проявления, и то, что становлюсь из-за них в тупик. Как мало сознавал те перемены в атмосфере времени, которые тоже, как ни странно, несмотря на возраст, чувствовал. Хорошо помню, например, убийство Кирова. Разумеется, не само убийство, а то, как оно прозвучало.

Учился я тогда, как сказано выше, во втором классе. От кого я услышал, что в Ленинграде враги убили какого-то вождя (все руководители еще назывались вождями), не помню. Тогда еще даже радио-тарелки не у всех были. На следующий день все газеты вышли с траурной каймой. В центре — портрет незнакомого мужчины. Это было странно. Мальчик я был начитанный, и имена и портреты главных вождей были мне хорошо знакомы. А об этом я слышал впервые. Подозреваю, что большинство людей вокруг знали о нем тоже довольно мало, хотя в областях, где он работал, как я понял потом, он бывал популярен. Он вообще умел быть популярным. Видимо, Сталин, начисто лишенный этого дара, отнюдь не лишнего для политического деятеля²⁷, не очень заботился о том, чтоб за пределами тех областей было известно имя «верного сталинца», впоследствии убитого им.

Были ли у Сталина личные основания для этого? Внешне нет. Широко известно, что именно Киров на каком-то из съездов специально знакомил «партию» с необыкновенными личными (а всего личного ему как раз всегда и недоставало) качествами и заслугами перед ней ее вождя. Но в то же время мне известно от очевидцев, что, приезжая по делам в Москву, Киров в кругу друзей определял эти заслуги и качества совсем иначе. По всей вероятности, его выступление на съезде было очередным ходом во всегда нечистой верховной внутривластной игре. И глупым. Ибо что другое, а «игры» Сталин понимал.

Впрочем, и сам Киров, хоть он и стал жертвой Сталина, на особое сочувствие претендовать не может. Как и вся «старая гвардия», он заигрался уже давно. Как я читал в эмигрантской печати, именно он в начале тридцатых во имя выполнения планов сева заставлял новозагнанных колхозников сеять чуть ли не по снегу. А ведь идиотом он не был. Просто «партия» (ее верхушка), уже и тогда почти полностью зависевшая от Сталина, позволила ему втянуть себя в коллективизацию, в прямую войну с народом и больше нуждалась в политическом, а не экономическом эффекте «посевной кампании», в том, чтоб ее воля была непрекаема. Даже если сам Киров в душе матерился, он это делал. Он был связан необходимостью освящать общий

²⁷ Он был мастер искусственным, «аппаратным» путем «создавать авторитет», то есть внушенную, искусственную популярность. Но это не освобождало его от комплексов по отношению к тем, кто создавал себе ее сам. То, что они и сами были преступниками, в оценке этой коллизии ничего не меняет.

грех, общее преступление партии перед страной и народом, на этом и поймал его, его единомышленников и противников — всю «старую гвардию» — Сталин. Сам Троцкий до конца своих дней видел себя не вне партии, а только лидером ее оппозиции. Освятив подлость и грех как метод, как они могли наметить этому границы? Конечно, сам Сталин нуждался в этом освящении для реноме, а не для личных душевных потребностей — он обладал всей полнотой этих подлых качеств изначально, а не от идеологии. Поэтому именно он, а не они, стал реальным воплощением большевистской победы. Только он пошел дальше — мифологизированной волей партии, подмяв ее, он освятил свою собственную, точнее собственные амбиции, которым заставил служить не только партию, а и раздавленную ею перед этим страну. Но предоставила ему эту возможность сама «старая гвардия». В том числе, и не в последнюю очередь, — Киров.

Однако кто об этом тогда думал? Повсюду происходили многочисленные митинги, на которых все выступавшие говорили о тяжести понесенной утраты, а также клеймили гнусных убийц и требовали выжигать их каленым железом. Об утрате говорилось так, словно все знают, о ком идет речь. Всенародная скорбь была явно организованной.

Конечно, ни масштаба, ни смысла происходившего я тогда не понимал. В том, что враги убили пролетарского вождя, ничего для меня противоестественного не было. На то и враги. А «наше» дело — их поймать и расстрелять. Все ясно. Удивляло, что этой естественной вещи все вокруг требуют так горячо. Разве кто-нибудь против? И хоть я тогда не мог понять ни фальши, ни организованности скорби, но некоторую неувязку все же чувствовал. Это не было четким отношением к вещам — да и откуда оно в таком юном, естественно-конформистском возрасте? Это было неосознанным смущением, которое я бодро подавлял, проникаясь общим настроением, но все же испытывал. Нет, я не старил чего-либо под сомнение, совсем наоборот, но в глубине души все же не откликался ни на авантюрный сюжет, ни на всеобщее возмущение. Запечатлелся один из лозунгов — «КАК ЗНАМЯ, БЕРЕЧЬ ВОЖДЕЙ!». Почему запомнился? Ведь не мог же я понимать, что это под шумок протаскивается уравнение, а потом замещение, Знамени (идеи, смысла) вождями, а потом и почти единственным, оставшимся незапятнанным ВОЖДЕМ. Однако же врезалось.

Врезался в память и такой случай, происшедший со мной 2 или 3 декабря. Было это на последнем этаже школы, где помещался наш класс. Уроки уже кончились (мы учились во вторую смену), все ребята спустились вниз — то ли домой, то ли на митинг по поводу злодейского убийства. Я замешкался. С криком «Киров! Киров!» гоняю по пустому коридору найденный только что обрывок газеты с портретом убитого вождя. Это не было ни протестом, ни кощунством — только странным экстазом, которому часто подвержены дети, после того как им некоторое время пришлось сидеть неподвижно. А тут еще это слово «Киров» у всех на устах, и сейчас будет митинг на эту тему. Так что у возбуждения моего несколько причин, и я минуты две самозабвенно предаюсь этому странному занятию. Пока в пустом коридоре меня вдруг не увидела учительница параллельного украинского класса. «Ты что делаешь? Немедленно перестань!» — закричала она испуганно. И стала мне что-то внушать. Смысла этого внушения я не помню, но помню отчетливое ощущение, прямо-таки дуновение опасности, от которой она хочет меня уберечь этим внушением. И я почувствовал, что этот мой поступок (да и не поступок, а просто экстатическое действие), не имевший никакого отношения ни к политике, ни к Кирову (не радовался же я его смерти), может быть кем-то как-то истолкован, что я внезапно окажусь не самим собой, а кем-то прямо противоположным себе, врагом революции. И никому уже не смогу доказать, что это не так. Естественно, я так не формулировал, но чувствовал именно это. Я впервые столкнулся с неприкрытой бессмыслицей, исходящей от взрослых, которой сами взрослые боятся. И пусть не умом (а может, уже и умом тоже) понял, как опасно давать повод для ложного истолкования своих поступков — эту первую заповедь подданных тоталитарного государства. Она была достаточно убедительна тогда еще и потому, что вполне гармонировала с организованной скорбью по человеку, самое имя которого вчера еще мало кто знал. С этой точки зрения мой легкомысленный поступок и впрямь был преступен. Он разрушал создаваемую властью атмосферу всеобщей скорби и единения в ней.

Примерно в это же время я оказался рядом уже с настоящей трагедией, связанной с упомнутыми выше чертами времени. Началась она вовсе не как трагедия. Однажды, когда мы уже начали учиться во втором классе, у нас появился новенький. Невысокого роста, коренастый, аккуратный, весь какой-то собранный, но мягкий и скромный, он произвел на всех очень приятное впечатление. Я помню далеко не всех одноклассников той поры, но его, с которым подружился всего несколько месяцев, запомнил на всю жизнь. Он был первым в моей жизни другом. Звали его Владик Федченко.

Сослись мы с ним на том, что оба не были драчунами и оба любили читать книжки. Жил он с отцом, матерью и тетей недалеко от нас в одноэтажном деревянном домике. Дорога к нему была моим первым экскурсом по Владимирской в сторону, обратную Жилианской, туда, где стояли невзрачные домики. Из визитов к нему я сделал открытие, что и в одноэтажных домиках могут быть вполне городские квартиры, чего я не представлял. Однако рассказ мой не об этом.

Родители Владика и его тетя были молодыми, красивыми, интеллигентными и деликатными людьми. В доме всегда что-то писалось, читалось, обстановка была спокойная, рабочая, встречали меня приветливо, играть нам не мешали. В общем, мне бывать у них нравилось. Но очень скоро — думаю, это было осенью 1935 года — стряслась беда. В одно прекрасное утро Владик не пришел в школу. Это меня очень огорчило, ибо мы накануне с ним наметили какие-то планы на сегодняшний день. И удивило — я знал, что вчера вечером он был совершенно здоров. Но мало ли что бывает, и после школы я, несколько встревоженный, отправился навестить его. Но, к моему удивлению, я против обыкновения не был к нему допущен. Обычно столь любезная его тетя на этот раз была суха и непреклонна. «Нет, к нему нельзя. Нет его», — односложно отвечала она, загораживая вход. Домой я вернулся обескураженный и обеспокоенный.

Увидел я Владика только на следующий день на большой перемене. Он стоял в коридоре, окруженный ребятами, и заливался слезами. Добиться от него, в чем дело, я так и не смог. Ни на какие вопросы он не отвечал. И тем не менее не знаю, откуда, как и почему, но я сразу все понял: и то, что произошло, и то, какая сила вмешалась в судьбу этой приятной мне семьи. И почему Владик никогда не распространялся о ее и своем прошлом, я тоже понял.

Как ни странно, я всегда смутно чувствовал, что эту семью окружает какая-то тревожная тайна, и она была настолько безусловна, что я, отнюдь не отличаясь природной тактичностью, ни разу не задал Владика ни одного вопроса о том, где и как они жили раньше. И я им сочувствовал, хотя «барабаны эпохи», над которыми смеялся даже Корнейчук (в пьесе «Платон Кречет»), звучали еще в моей душе достаточно громко и я вроде бы не должен был сочувствовать людям, преследовавшимся революционной властью.

Для меня совершенно было ясно, как ясно и теперь, что приехали они из ссылки, а теперь отца опять арестовали, и Владика с матерью надо опять куда-то уезжать. Я и теперь не знаю, за что они преследовались. На людей, преследовавшихся за происхождение, каких я потом много встречал в ссылке, на пересылках и в эмиграции, они не походили по общему очерку. Возможно, они были участниками партийных оппозиций, но скорее относились к остаткам молодежных социалистических (меньшевистских и эсеровских) групп начала двадцатых, о которых и сама память к тому времени была фактически вытравлена. А ведь они существовали. Судя по времени их очередного ареста, они имели отношение к одной из этих категорий.

Я до сих пор не знаю, кем были родители Владика, какими были тогда их взгляды и как бы я отнесся к ним сегодня. Но в том, что они относились к гонимым (и гонимым к этому времени уже давно), у меня нет никаких сомнений. И не было их тогда. Я об этом не думал, я это знал. И сочувствовал. И ни разу ни при каких извивах моего внутреннего развития (а бывали всякие) я не подумал о них иначе как о хороших людях. Видимо, они такими и были. Возможно, такое мое отношение к ним — отзвук разговоров, услышанных дома, где о преследуемых и высланных по старинке уважительно говорилось как о «пострадавших за идею». Не знаю. Но думал я о них именно так. Как ни странно, при этом мое общее отношение к власти и ее врагам оставалось прежним...

Почему? Как увязывалось одно с другим? Обычно людьми моего поколения все дурное, исходящее от власти, истолковывалось как творимое не ею, без ее ведома или даже против нее. Но в данном случае не было и этого. Просто, испытывая полную преданность советской власти, даже проникаясь романтикой ее беспощадности, я в то же время сохранил теплую память о Владике и его родителях, пострадавших от всего этого. При этом я о них мало знал, а нам всю жизнь внушалось: «Ты ему веришь? А разве ты знаешь всю его подноготную?» Я о них не знал не только «подноготную», но вот — верил. Верил общей атмосфере чистоты и порядочности, исходившей от этого дома, верил чистым и безутешным слезам Владика. До сих пор стоит он у меня перед глазами в углу школьного коридора, окруженный растерянными одноклассниками, и беспомощно плачет под грузом обрушившейся на него — который раз! — «чугунной беды» (А. Галич). Я так тогда и почувствовал: который раз. Было в его горе особое, отделяющее от всех нас знание, которым невозможно было ни с кем поделиться — запрещено, — да никто б и не понял.

Поколебать в нас тогда, в начале тридцатых, нашу верность революции и ее романтике не могли еще никакие факты, никакие дружбы. У этой власти был еще

колоссальной кредит почти во всех слоях общества. Даже дети раскулаченных иногда воспринимали постигшую их участь как оскорбление их преданности революции²⁸. Этот странный идеализм помогал выстраивать полосы отчуждения вокруг тех, на кого обрушивался удар. Этот «идеализм», слава Богу, давно уже выцвел, задолго до «перестройки». При Брежневе человека можно было замучать в лагере, напугать, даже натравить на него, если он пытался поднять голову, других (не идеологически, а — «сидишь, как все, в дерьме, так без толку не чирикай»), но отделить человека от других можно было уже только физически. Насилие все равно было подлым и жестоким, но оно было и голым: мистики за ним не было никакой. Только грубая клевета на Сахарова, будто бы он хочет войны, имела некоторый успех: войны боялись. Но и она носила индивидуальный характер и поддерживалась усложненной, дорогостоящей, но все равно физической изоляцией. Той незримой, но вполне ощутимой чертой, которая когда-то отделяла плачущего Владика от других ребят, отделить кого-либо уже было невозможно.

Потом зазвонел звонок. Владик, как мы его по неведению ни уговаривали, не пошел с нами в класс и... исчез из моей жизни. Как потом не раз на моих глазах исчезали друг у друга из виду люди, успевшие сдружиться, а то даже и пожениться в лагерях, тюрьмах и ссылках, когда их забирали с вещами на этап, равнодушно и безжалостно разрывая живые связи, и навек уводили неизвестно куда мучаться порознь. То, что это окажется не навек, не было известно ни уводившим, ни уводимым. Но тогда, с Владиком, это происходило на моих глазах первый раз.

Я не знаю, как сложилась дальнейшая судьба Владика. В тот раз он наверняка приходил в школу за документами, потому что после ареста отца (а в том, что произошло именно это, у меня не было и нет никаких сомнений) они с матерью должны были срочно уехать из Киева. Может быть, и самостоятельно — к родственникам, живущим в глуши, чтоб там затеряться, — но скорее их, как часто тогда бывало, срочно отправляло в ссылку (с отцом или без него) само ГПУ.

А что с ним было дальше? Кто знает. Веер возможностей, который предлагает всем нам, и особенно таким, как он, «наша великая эпоха», был чрезвычайно широк. Из ссылки он мог попасть в лагерь, стинуть там или выжить. Мог попасть на фронт, там прославиться или попасть в плен и в обоих случаях избежать или не избежать гибели. Мог, попав в плен, остаться после войны за границей, а мог и вернуться домой, а дома опять попасть (за плен или по совокупности) в ссылку или лагерь, где тоже мог погибнуть или выжить. Мог и не попасть — я знаю и таких. Впрочем, при его «наследстве» это было почти исключено. Мог выжить, пройдя через все эти испытания, а мог и умереть.

Но могла его жизнь сложиться и иначе. Свет не без добрых людей, и могли ему разрешить поехать учиться (сам ведь он на первых порах ссыльным не был), и в конце концов, особенно после смерти Сталина, судьба его могла сложиться и благополучно. Но, доверяя памяти детства, я думаю, что при всех обстоятельствах он оставался порядочным и достойным человеком. Непохоже, чтобы звериная эпоха могла заразить его своей звериностью.

Впрочем, и большинство тех, кто тогда окружал его растерянной толпой в углу школьного коридора и кто наверняка казался ему счастливицами, ожидала судьба немногим лучшая, чем его собственная. Кто сравняется с ним «в правах» очень скоро, когда его — тоже через родителей — достигнет волна сталинских чисток (тридцать седьмого года), кто чуть позже погибнет на войне или в Бабьем Яре, кто будет вывезен немцами в Германию и долго будет дома считаться человеком второго сорта, чей путь пройдет через Архипелаг ГУЛАГ.

Да и без этих «крайностей» — вот эту толстуху потом с детьми бросит муж, а эта, с косичками, так никогда и не выйдет замуж, ибо слишком много мужчин будет перебито на войне и погибнет в лагерях. В общем, время нас всех ожидало, как «мужественно» писалось в доперестроечной печати, «неласковое».

Владик Федченко вовсе не первый человек, который на моих глазах попадал в мясорубку сталинщины. Трупы на киевских улицах я ведь тоже видел. Сестра Рахилька тоже как-то входила в мое сознание. Но он был первым из таких людей, кто существовал для меня персонально, как личность, и уж никак не мог быть отнесен к каким-то «другим», не таким, как я. Поэтому он так и врезался в мою память.

Но Владик Федченко был в каком-то смысле сбоем сценария. Хотя бы потому, что его исчезновение не было незаметным. И хоть он не сказал ни слова, только

²⁸ Примерно так и вспоминает о постигших их семью несчастьях периода раскулачивания брат А. Т. Гвардовского в уже упоминавшейся магнитофонной записи беседы с ним. Сталин хорошо знал и хорошо умел поддерживать и использовать эту психологическую особенность времени всевозможными и в разных формах «головокружениями от успехов».

плакал, но все же не исчез совершенно безмолвно, дал если не понять, то хотя бы ощутить ту черту, которой его отделили от нас. Другие исчезали, не сказав ни единого услышанного нами слова. Так исчезли, например, китайцы.

Дело в том, что неподалеку от нас, на углу Жилианской и Тарасовской, стоял четырехэтажный красный дом, населенный китайцами и называемый китайским. Поэтому в школе было некоторое количество китайцев. В нашем классе их было двое, Коля и Женя, кажется, брат и сестра. Учились они с нами с первого дня. Женя была обыкновенной девочкой, мягкой и ироничной, Коля — обыкновенным драчуном, быстро занявшим почетное место на «хулиганском» фланге нашего класса. В первый момент они вызвали некоторое любопытство, потому что внешне отличались от всех остальных ребят, но поскольку говорили они по-русски так же, как мы, и вообще были обыкновенными детьми, это удивление быстро прошло. Они, как и все мы, стали органичной частью сообщества, которое называлось наш класс.

Но однажды мы явились в школу после летних каникул и обнаружили, что их среди нас уже нет. Исчезли китайцы и из других классов. Однако поскольку впечатлений было много, как всегда бывает в начале года, и к тому же мы начали учиться в новой школе (дело было, следовательно, в четвертом классе), то особого внимания мы на это не обратили. Тем более что в начале года всегда кто-нибудь не является — куда-то переезжает, переводится и т. п. Видимо, и они переехали. То, что с ними вместе, по-видимому, переехало и все население китайского дома — а наша новая школа была расположена почти прямо против него, — было тоже замечено и, главное, осознано нами не сразу. Правда, мы должны были заметить, что исчезла радость нашего детства — торговцы китайскими фонариками и другими бумажными поделками, а также сладями, гулявшие до этого со своими лотками по всем улицам микрорайона. Но, с одной стороны, мы были в том возрасте, когда такими игрушками уже подчеркнута не интересуются, а с другой — тогда с улиц исчезли вообще всякие торговцы, что знаменовало собой переход к социализму. Так что и это было в порядке вещей и не обратило на себя нашего внимания. А если бы обратило? Мы (впрочем, как и взрослые) вполне бы удовлетворились «государственным» объяснением — дескать, Киев слишком близок к границе. Хотя какую опасность — даже по сталинской логике — могут представлять китайцы на з а п а д н о й (!) границе, понять трудно.

Впрочем, взрослым тогда, в 1937—1938 годах, и без китайцев было о чем думать.

Так же незаметно выселили, а в значительной мере просто пересадили по обвинению в шпионаже, киевских поляков. Просто вдруг исчезли с тумб и стенов афиши польского театра. Вместе с поляками выслали и униатов. Но об этом я не знал, не знал даже, что такие существуют. Увидел я их (думаю, что это были они) впервые на Урале, где они находились в трудармии — нечто среднее между концлагерем и стройбатом, — куда их, как и немцев, и представителей других наций, не внушавших почему-либо доверия Сталину, брали вместо армии из местностей, куда их году в тридцать седьмом выслали из приграничных (имеется в виду старая граница) районов Украины. Я был очень удивлен, что их все вокруг, да и они сами себя, называли поляками, в то время как они — уж это я знал точно! — разговаривали друг с другом на чистейшем украинском языке. Да и по всему были они обыкновенными украинскими мужиками. Униатами я их называю только потому, что так я понял задним числом объяснения моего приятеля из их среды. Возможно, они были просто католиками. К полякам их можно было отнести только формально. Но тут уж и удивляться было нечего. Если с польской границы можно было в предвидении войны убрать китайцев, то поляков и униатов по этой логике сам Бог велел. Правда, воевали мы вообще не с Польшей и отнюдь не на границе, но такова была сила «гениального» сталинского предвидения, от которой мы все физически зависели.

Интеллигенты всех не высланных (или высланных позднее) народов или интеллигенты из евреев, которых выслать так и не успели, если даже до них тогда доходили смутные слухи о происходящем, полагали, что подобные меры вызваныображениями безопасности и их не касаются. Между тем в этом проявилось то отношение к человеку, которое касалось всех. Случайное тактическое соображение «великого вождя», а порой и каприз, могло в любой момент распространить эту «меру безопасности» и на их народы и на них самих.

В такой атмосфере, проявляясь внутренним энтузиазмом, мы росли, жили и учились. Разумеется, все это проникало и в школу. Но тем не менее школа как-то сглаживала это авторитетом, а отчасти еще и атмосферой культуры, знаний и товарищества, да и вообще всяких высоких материй — еще много было хороших и порядочных учителей. Впрочем, они и сейчас есть.

Однако жизнь моя протекала не только в школе, но и во дворе, в нашем большом объединенном дворе, где изнанка жизни и истории проявлялась чаще и откровенней, чем в школе, и чему школа служила как бы противовесом, как порядок — хаосу.

Восприятие это довольно типичное для интеллигентных детей той поры. У него есть свои основания, своя оправданность (от хаоса естественно отталкиваться), но вряд ли своя праведность (этот хаос возник не сам по себе). Поразительное дело, ведь речь идет не о старой классовой, как тогда говорили, гимназии, а о советской, действительно бесклассовой школе. Там действительно учились все дети, независимо от социального происхождения их родителей, и все были на равных²⁹. И тем не менее эта школа, где учились все, в моем сознании противопоставлялась двору как хаосу. Отчасти, наверное, потому, что там уважалась устраивающая меня иерархия ценностей — по культуре, по знаниям, по увлечениям, а необязательно по физической ловкости. Но это уже, как говорят в Америке, моя проблема. По-настоящему же главным было другое. Школа как бы утверждала модель правильного мира, а тот, который был во дворе, переводила, сама того не желая, в разряд неправильного, нетипичного, чего-то, чем следует пренебречь. И действовала она так отнюдь не только на интеллигентных или считающих себя таковыми детей, а и на многих других. Своим существованием на общем фоне, тем, что она открывала горизонты иной жизни, она звала не изменить жизнь «двора» (у каждого ведь есть позади такой «двор» или нечто подобное), а уйти из него и забыть, а если и не уйти, то подняться над ним к высотам культуры и «сознательности» и не принимать его всерьез. Это один из вариантов (смягченный) того, что я называю «получение грамоты вместе с людоедством».

Наш двор был южный — практически весь нараспашку. И его жизнь гораздо более откровенно отражала состояние страны, происходящие в ней процессы и реакцию на них, чем что-либо иное, более упорядоченное, — она была изнанкой истории. Что говорить, изнанка эта представляла собой в те годы малопривлекательную картину. Я имею в виду не ребят, с которыми играл, а многих взрослых, тоже наполнявших наш южный двор, — слишком уж деморализующе прошла своими бессмысленными лемехами по многим из них сталинская «историческая необходимость». Ведь только что закончился искусственный голод — запланированный мор украинской деревни. И неудивительно, что во многих из тех, кто, убежав, уцелел — а такие были во всех окрестных дворах, — он утвердил чувства отнюдь не добрые. То, что они видели и испытали, от чего, прямо скажем, увернулись как бы не совсем законно (по «закону» им положено было издохнуть), не укрепило в них веры в человеческие установления. А это мало кого, кроме святых, располагает к доброте и доверию к людям. В те годы в жизни нашего двора ощущалось нечто темное, «отсталое», отчужденно-негармонирующее, как мы полагали, светлому, несмотря ни на что, облику нашего времени. Помню слова одного из друзей моего детства: «Самая худшая часть населения — это крестьяне, вышедшие в города». Думаю, что какой-нибудь московский или питерский интеллигент (отнюдь не антисемит) в начале двадцатых мог так же выразиться и о евреех. И действительно в обоих случаях в устоявшийся быт хлынула орда, не знающая ни местных норм общежития, ни обычаев. Почему она хлынула, как-то и не думается, а раздражать раздражает.

Что говорить! Темного в этих людях хватало. И отсталого тоже. Но ведь и наше «передовое» особенно светлым не было и света в души этих иногда деморализованных людей внести не могло. Я помню враждебные предвидения, как поведут себя эти люди во время войны, как их обиды взметнутся темной стихией. И удивляюсь тому, как легко выпадал из сферы эмоций и даже логики тот вроде признаваемый факт, что их ведь действительно — мягко, очень мягко говоря — обидели. Воспитание и мировоззрение с этим не считались.

Короче — узел взаимного непонимания был затянут туго. И развязать его в рамках официального, полуофициального или даже оппозиционного большевизма было невозможно, а другого способа осмысления мы не знали. Осмысления и не было, были только реакции на неприятные или просто безвыходные явления. А что касается «проблем двора», хотелось просто от них уйти. И уходили. В школу, которая вводила от этих людей и проблем уверенно и далеко. Уводила не только таких, как я, вводила и выходцев из этой среды — забыть и пренебречь означало для них, конечно, и возможность социального восхождения, но и не в последнюю очередь обретение пусть иногда понимаемых на свой лад, но все же культуры и осмысленности. Грамоту все тогда получали вместе с людоедством.

²⁹ Влиятельное протезирование своим отпрыскам большие начальники, то есть сталинские выдвиженцы, стали позволять себе много позже, чуть ли не только после смерти Сталина, когда «освободились». Разумеется, я говорю об общих, открытых школах. О закрытых, привилегированных у меня достоверных сведений нет. Если они существуют, то, вероятно, появились еще позже. Во всяком случае, моя ровесница Светлана Сталина училась в формально обыкновенной школе, где учились и сравнительно обыкновенные, то есть «жившие в миру», дети.

Все это сегодняшнее осмысление тогдашнего, но, так сказать, суммарного, а не эмпирического восприятия. Тогда я осмыслением особенно не занимался — просто жил как живется. В основном с детьми. И тому, что мой дядя «сдал» свой дом в жилкоп, я радовался совершенно искренне — и не только потому, что это избавляло меня от косвенной, но все-таки как-то позорящей связи с частной собственностью. Только через много лет я понял чувства моего отца, который жалел, что наш маленький теннисный дворик перестал существовать, растворился в большом объединенном. Сам я об этом тогда не жалел нисколько — был в упоении, когда ломали кирпичную стену между дворами, радовался суматохе, бывшей в то же время могучей поступью социализма. И конечно, тому, что теперь в нашем дворе так много детворы. Детям для здоровья, может быть, и нужны тихие тенистые дворы, но где вы видели детей, особенно мальчиков, пекущихся о здоровье? Гораздо больше значения для них имеют общение, дружба и возможность себя чем-нибудь занять.

До определенного возраста я принимал деятельное участие в жизни дворовой детворы, во всех ее играх и затеях. И даже играл в футбол. Правда, я плохо бегал и полевым игроком был никудышным, но зато меня ценили как вратаря. Тут я брал хребтостью, бросался в ноги нападающим.

Были у меня и более интеллектуальные товарищи — с ними я играл в шахматы (отец показал мне ходы). Я довольно быстро достиг определенного, очень невысокого уровня, но дальше не пошел. Дочитать до середины хотя бы самое элементарное пособие по шахматной игре у меня никогда не хватало терпения. Поэтому все мои шахматные коллизии незаметно развивались так. Поначалу, пока мой новый партнер только привыкал к шахматам, я у него неизменно выигрывал. А потом с тем же постоянством проигрывал. Поначалу это меня обескураживало. Но потом я начисто излечился от спортивного азарта. И теперь выигрывать у меня — никакого удовольствия, ибо меня это нисколько не огорчает. То же происходило у меня и с точными науками. Задачи средней трудности я научился решать скоро, а очень трудные — никогда. Предпочитал, явившись в класс, объявлять, что не понял. Но это уже позже, когда мои интересы определились. А в младших классах интереса, который бы всерьез потребовал от меня упорства, у меня еще не было. Он только смутно предчувствовался. Я любил рассказывать ребятам всякого рода истории и сказки, в основном героически-революционного характера, где прочитанное переплетается с вымыслом и, как сказано в одном из моих лет через десять после этого написанных стихотворений, «где за развязкой следует завязка и никогда не следует конец». То есть, выражаясь по-лагерному, «тискал романы», удовлетворяя ту же детскую потребность слушателей. Кстати, потом я эту способность начисто утратил. Я могу почувствовать сюжет, но выдумать его не в состоянии. И лежа на нарах свердловской пересылки, я «тискал романы» гораздо хуже и бесцветней своих более простодушных конкурентов. Говорю это отнюдь не с гордостью: способность придумывать сюжеты, конечно при прочих равных, — ценная способность. Другое дело, что в поэзии все это выглядит совсем иначе — в ней ничто не движется сюжетом, а, наоборот, сюжет, если он есть, движется чем-то другим. Но эта тема уже не имеет отношения к двору моего детства.

Конечно, двор этот был «улицей», а к «улице» в литературе установилось отношение безусловно отрицательное («Завтраки 43-го года» Василия Аксенова и многое другое). Отношение это, в общем, справедливое. Особенно если речь о сорок третьем годе, когда была война и плохо было всем. Но по отношению к тридцать второму году все это не так безусловно. Ведь, как уже сказано, многие из тех, кто стал тогда уголовником, были детьми раскулаченных, то есть детьми, нагло обездоленными, на глазах у которых были затоптаны в грязь не только их дома, но и все внушенные дома устои бытия («не зарься на чужое», «что добыл горбом, всегда твое» и т. д.), причем затоптаны не кем-нибудь, а самой властью, казалось бы, для того только и существующей, чтоб эти устои поддерживать. Власть интересовалась или имитировала интерес к чему-то более важному, чем их существование на земле, а от них требовали — даже ценой смерти от голода — соблюдения того, что было так открыто нарушено в отношении их самих.

Я согласен с теми, кто отрицает широко распространенное утверждение, что за поведение человека всегда несет ответственность общество, а не он сам. Но тут под словом «общество» обычно понимается пассивное действие слепых «общественных условий», в которых живут все, но к которым не все могут приспособиться. Те же, о ком я сейчас говорю, стали жертвами сознательно направленных против них активных действий общества, точнее, подмявшего под себя это общество государства. Конечно, человек отвечает за свое поведение. Отнюдь не все дети и сироты раскулаченных стали, а главное, остались уголовниками. У разных людей разная степень устойчивости. Одни умрут, но не возьмут чужого, другие возьмут, чтоб не умереть с голоду, но не прикоснутся к нему, как только эта угроза отойдет, а в третьих что-то сломается — раз начав, они не смогут кончить, привыкнув к такому образу

жизни. И каждый, кто идет этой третьей дорогой, безусловно виноват. Но государство, таким образом испытывающее людей на устойчивость, и общество, терпящее такое государство, тоже — и притом непосредственно — виноваты перед этими людьми. И общество, даже если оно ничего не может сделать, должно это помнить. Это не значит, что можно не судить за уголовные преступления. Но это значит, что, как здесь уже сказано, у общественного возмущения поведением этих «оступившихся» (от сильного государственного толчка в спину!) уверенности тогда могло быть и поменьше.

Разумеется, уголовники — это крайний случай. В нашем дворе уголовников я не припомню. Но напряжение, вызванное недавними событиями, масштаба которых никто (в том числе и я, и друг моего детства, высказавшийся насчет крестьян, вышедших в город) по-настоящему не сознавал, порой ощущалось очень остро. Киев — и наш двор в частности — был буквально затоплен волной переселенцев из провинции. Все подвалы (свободной жилплощади в городе не было) были заняты ими. Не следует думать, что эта волна состояла сплошь из крестьян. Первая семья, поселившаяся в нашем доме, еще когда он принадлежал моему дяде, была местечковая семья. Кстати, и не говоривший по-русски мой дядя-раввин, брат отца, переселился из Богуслава в Киев тоже отнюдь не в жажде культурных развлечений. В местечках тоже ведь стало нечего есть.

Уезжали в город по самым разным причинам. Кто — чтоб скрыть свое ставшее вдруг преступным прошлое (имел магазин или мельницу, кто — сообразив, что в городе, особенно в Киеве (столица!), получше снабжение, а следовательно, и реальная заработная плата выше, кто — просто спасаясь от голодной смерти. Среди этих спасавшихся большинство, естественно, составляли бывшие крестьяне, бежавшие от преследований, голода и вообще от колхозной неволи и бесперспективности.

Конечно, устроиться в Киеве им было сложно, значительно сложнее, чем, допустим, в Магнитогорске или Игарке, где иногда закрывали глаза на некоторую недостоверность их документов (иногда кажется, что весь сыр-бор затеяли для того, чтоб обеспечить таким путем рабочей силой «первенцы пятилетки»), но приток рабочей силы требовался и расширявшимся киевским заводам. Можно было осесть на первых порах где-нибудь дворником, кочегаром и т. д. Можно было, если повезет, оборудовать кое-как под жильем сырой подвал, для этой цели никогда не предназначавшийся. При общей нехватке жилья привередничать не приходилось. Главное — зацепиться и выжить: в тесноте, да не в обиде.

Но «не в обиде» не выходило. «Не в обиде» бывает, когда это касается людей, которых что-то объединяет. Да и когда тесноту эту не надо терпеть слишком долго. И то в эвакуации (когда дело было у всех общее и понятное — война) нередко случались пусть неглубокие, но часто мучительные конфликты между хозяевами и вселенными к ним квартирантами из эвакуированных³⁰. А в начале и в середине тридцатых тесноту эту никто не воспринимал как временную, да и была она для новых киевлян не причиной, а следствием и катализатором «обиды», никем, кстати, не признаваемой и не сознаваемой, всеми игнорируемой, но присутствовавшей в упомянутой выше напряженности изначально.

В этой связи «подвал» приобретал символическое значение. Дело было уже не только в качестве жилья, а в том, что оно стало как бы символом социального положения и культурного статуса, символом унижения крестьянина в городе. Человек чувствовал неуважительное отношение к себе как к неотесанной деревенщине, для которой и подвал — квартира. А ведь это были люди, знавшие себе цену, самостоятельные хозяева, привыкшие к заслуженному уважению. И в их глазах именно город был местом, из которого вышло все это несчастье, откуда наезжали все эти коллективизаторы и раскулачиватели, начальники политотделов и агитаторы с браунингами. И теперь этот город, разрушив их мир, обесмыслив их труд, выжив их из домов и вообще из деревни, вдобавок еще высокомерно возвышался над ними!

Конечно, так было вначале. Люди работающие, умелые, цепкие, они потом вполне приспособились к городской жизни. Ведь это не первые деревенские люди, вышедшие в город. Всегда выходили — в мастера, в торговцы, а потом помаленьку и в студенты. Те приспособились, и эти потом приспособились. Отличие было в том, что

³⁰ Может появиться соблазн думать, что это потому, что эвакуированные якобы были в большинстве евреями. Прежде всего в большинстве этого не было. Даже если забыть о том, что в организованном порядке была эвакуирована большая часть промышленности, все равно это не так. А потом — конфликты случались просто из-за тесноты и из-за несовместимости людей, до этого живших врозь, а теперь вынужденных жить вместе. Национальный момент мог быть аргументом в пререканиях, в крайних случаях катализатором, но не сутью конфликта. Могли быть такие конфликты и между евреями (если евреи вселялись в еврейскую семью), могли люди и становиться друзьями. И все это независимо от их происхождения.

те выходили по своей воле поодиночке и когда хотели, а этих вытолкнули громадной массой общие экстремальные обстоятельства. И я говорю сейчас об их восприятии первых лет, когда они неожиданно для себя и не по своей вине оказались в роли городских аутсайдеров.

Все тогда жили тяжело, но все, кто приезжал до них, жили в городских квартирах (пусть в коммунальных, пусть в тесноте, но ведь не в подвалах же) с удобствами, работали на ученых барских работах или просто были уже — по их мнению, хорошо — устроены. И вдобавок среди них было много евреев, на которых гнев изливался привычной и проще, чем на кого-либо другого. Тем более что бытовало мнение (про него я уже говорил), что евреи — это и есть советская власть и что все надругательство над жизнью, от которого так жестоко пострадала теперь деревня, идет от них. Но евреи для недавних крестьян были только крайним воплощением города, который их обидел. Разумеется, не у всех это было, не у всех в равной мере. У молодежи меньше. Перед ней, как это ни парадоксально (конечно, если говорить о тех, кто уцелел, вывернулся) открывались новые горизонты, даже приобщение к культуре (подлинной или имитированной — как всегда, в зависимости от личных качеств), представлению о которой brutальный антисемитизм тогда еще не очень соответствовал. Легализован он был во время войны обеими воюющими сторонами. И тогда тоже люди этой судьбы вели себя по-разному — в зависимости от личности каждого³¹.

Все мы жили в мире ложных ценностей, и это затрудняло понимание самых простых вещей. А жизнь тогда была еще менее простой, чем всегда. Атмосфера, создаваемая не лучшими из этих невинно пострадавших, ощущалась и действительно была неприятной, тяжелой. Этим отчасти объяснялись и слова моего приятеля о «худшей части населения». Как ясно из сказанного выше, мне эти слова неприятны: и потому, что они несправедливы по отношению ко многим хорошим людям, тоже относившимся к такой категории, и потому, что они скользят над и мимо трагедии этих людей и не замечают всеобщего греха перед ними. Мне стыдно, что и до меня это тогда не доходило. И до определенной черты я считаю себя более виноватым перед ними, чем их перед собой. Но только до этой черты.

Если она перейдена, положение меняется. Правда, черта эта довольно «далекая», и не всякий может до нее дойти и тем более ее переступить. Не всякий ее и переступил — даже во время гитлеровской оккупации, когда появилась и стала поощряться такая возможность. Эта черта — слепая, не направленная месть и добровольное согласие на палачество, садистская удовлетворенность им³². Месть направленная, то есть использование удобных обстоятельств (в той же гитлеровской оккупации, например) для сведения счетов с конкретным, а не символическим обидчиком, — дело пусть отнюдь не рыцарское и не привлекательное, но в какой-то мере объяснимое — человек, к сожалению, не всегда звучит гордо. А вот то, что дальше...

У одного из героев повести Юрия Трифонова «Старик», у еврея-комиссара из анархистов, когда-то, в пятом году, казаки в Екатеринославе зверски вырезали всю семью, и с тех пор он ненавидит все казачество поголовно. И теперь — дело происходит во время гражданской войны на Дону — он и мстит всему казачеству: занимается тем, что расстреливает казаков направо и налево, правых и виноватых.

³¹ Из этих людей долгие годы практически формировался правящий аппарат. Существенная часть бессмысленных сталинских выдвиненцев, власть которых закончилась со смертью Черненко, состоит из них — из детей, чьи родители увернулись от раскулачивания, или даже просто из детей раскулаченных. Конечно, это наиболее активная часть народа, но думаю, что Сталин еще отчасти использовал их воспоминания об организованной им же самим коллективизации и подсознательную (и справедливую, как я теперь понимаю) ярость простив города для того, чтоб душить все живое. Эта ярость, например, лежала в основе проведения организованной им антисемитской и антикультурной вообще «борьбы с космополитизмом». И ответная ярость и ненависть направлялись тоже на них, на «пробравшихся кулаков», чем еще раз освящалось главное преступление Сталина и еще раз «интеллигенция» противопоставлялась «народу». Здорово Сталин умел использовать последствия своих преступлений и провалов и направлять чувства и действия людей против них самих... Но из детей раскулаченных вышли не только выдвиненцы, а и совсем другие люди — серьезные специалисты, серьезные деятели культуры (достаточно назвать Твардовского), инженеры и мастера. И в конечном счете вышло такое значительное явление, как деревенская проза, которая, наверно, и смогла состояться (то есть быть разрешенной) только потому, что выдвиненцы в данном случае уступили тайной своей ностальгии по временам, когда они были людьми, и памяти о событиях, из-за которых началось их «падение вверх».

³² Во время «борьбы с космополитизмом», если говорить о тех, кто проводил ее «с душой», и не по должности и не от излишнего доверия к «линии партии» (тогда еще и такие были), тоже иногда проявлялась эта тенденция. Но, во-первых, все-таки никого прямо не убивали, а во-вторых, и чаще всего, преследовали менее бескорыстные цели, чем «чистый» садизм. То есть эта подлость имеет отношение больше к другой стороне советской действительности.

Разберем эту нравственную коллизию. Прежде всего установим, что казаки, вырезавшие его семью, действительно в свое время совершили чудовищное преступление. Даже если он был бомбистом (о чем они вряд ли бы знали), дело надо было иметь с ним, а не с семьей. Вряд ли кто-нибудь с этим будет спорить. Допустим, эти казаки каким-то образом избежали суда и наказания, по закону полагавшихся им и «при старом режиме» (такое случалось, хотя далеко не всегда), и после революции этот несчастный глава семьи разыскал именно этих казаков и, пользуясь своим новым положением, жестоко им отомстил. Думаю, что мы отнеслись бы к этому самоуправству отрицательно и даже брезгливо, но не забывая при этом, что эти люди у человека всю семью вырезали. Но когда он стал мстить расстрелами всем казакам вообще, он стал преступником не менее гнусным, но еще более страшным, чем убийцы его семьи, поскольку был еще облечен властью. Никакая его собственная трагедия тут оправданием служить не может.

Наверное, свои оправдания есть и у сталинских выдвиженцев, сбитых в номенклатуру. Тем более есть они у вытолкнутых из деревни крестьян. Но даже и их она оправдывает только до тех пор, пока они сами не перешагивают через определенную черту, не становятся палачами. А если становятся, тогда, несмотря на все ими пережитое, оправдания им нет, и их не только можно, но и нужно осуждать. Хотя все-таки, принимая во внимание извивы нашей истории и наши многочисленные вины перед самими собой и друг перед другом, взрослым людям нельзя это делать с легким сердцем, как мой приятель в детстве. И совсем не с легким сердцем приступаю я к рассказу о подлости и жестокости одного такого садиста из пострадавших.

Люди плохо себя знают. Пострадавшие от тотальных преследований часто мечтают жестоко отомстить обидчику, а иногда всему миру, равнодушно взиравшему на то, как над ним надругались. И в мечтах готовы переступить через любую черту, ведь в отношении их все черты были перейдены. Но когда доходит до исполнения, далеко не все, кто так мечтал и говорил, могут и хотя бы реально ее переступить.

В нашем дворе было как минимум несколько человек, вероятно, считавших себя вправе ее перешагнуть. Это чувствовалось и по отдельным их высказываниям, и по атмосфере, возникавшей вокруг них и вносимой ими в жизнь двора. Не уверен, что, когда начались страшные для евреев дни (а речь сейчас об этих днях), все они вели себя благородно. Но что касается черты, то перешагнул ее, как мне известно, только один из них. И это предчувствовалось — перешагнет. Человек этот был дворником нашего дома. Всего только дворником. Как говорится, «простым человеком». Фамилия его была Кудрицкий. В мою жизнь этот человек со своей фамилией врезался весьма прочно — не отдерешь. Но имя его — Митрофан — я чуть не забыл, только сейчас вспомнил: я ведь не звал его по имени. Он не изменил ни судеб мира, ни судеб страны — только намеренно и изощренно отравлял последние дни людям, ничего плохого ему не сделавшим. Не более чем двадцати. Лично превращал их жизнь в сплошной кошмар и лично получал от этого удовольствие. То, что он над ними совершал, простить может только Бог. Я только человек, и кругозор мой человеческий. По моим представлениям, простить такого Кудрицкого имеют право только те, над кем он измывался. Но они лежат в Бабьем Яре. Так что простить некому. Впрочем, ему и не надо их земного прощения — он и сам скоро последовал за ними.

Я говорю не о юридическом прощении. Их убили немцы, а не он, а он лично, насколько мне известно, никого не убил, не служил в лагере, не стоял в оцеплении во время немецких акций по «окончательному решению», не был оператором в газовой камере или шофером душегубки. Он был только дворником. И работал только сам от себя и для себя, для собственного удовольствия. До конца он никого не убил (боялся? растягивал удовольствие? — на него и то и другое похоже), и, возможно, суд присяжных при хорошем адвокате его оправдал бы. Да и советский суд стал бы в тупик. Тут даже соотрудничества с врагом не припишешь. Немцы только создавали обстановку, в которой ему можно было развернуться. А действовал он сам. Тем более потом он переоценил свою «социальную близость» оккупантам и спер у них какую-то мелочь, когда рядом с нашим домом остановился их воинский обоз. Видимо, по привычке думал, что она плохо лежит. А у немцев ничего плохо не лежало, хватились сразу. И поскольку они к таким вещам не привыкли относиться с юмором (да и, наверно, не первый он был такой на их пути «социально близкий»), то не прощали их никому. Так что он без лишних проволочек был тут же за это расстрелян, стал жертвой гитлеровских оккупантов. И следует удивляться, что он в герои партизанского подполья еще не попал. А может, попал, но я не знаю. Попал же Киев в города-герой³³.

³³ Киевское поражение — самое крупное поражение второй мировой войны. Под Киевом были окружены, разгромлены и пленены три советские армии.

Впрочем, для меня это не важно. Даже если б он так глупо не погиб, а жил бы гепер в Америке, и если б по закону его деяния подлежали бы преследованию (думаю, что подлежали бы), я бы его не разыскивал, не стал бы добиваться его наказания или «репатриации», а, встретив, прошел бы мимо. Не для демонстрации презрения (что ему мое презрение!), а просто не до него как-то. Сейчас в Америке он продолжать свои художества ни в какой форме не мог бы, содеянного им все равно не исправишь, а мстить ему хлопотно и неинтересно. Да и много чести. Но умолчать о нем я не могу — слишком он врезался в мою память.

Появился дворник Кудрицкий с семьей в соседнем дворе году в тридцать четвертом, когда дворы еще не были объединены. Узнал я об этом так. Однажды после дождя, когда я возле нашего дома то ли пускал кораблики, то ли строил из песка запынды в канавке у мостовой, ко мне подошел мальчик примерно моего возраста (потом оказалось, что чуть постарше) и выразил желание принять участие в этом развлечении. Я обрадовался, и мы стали играть вместе. Мальчик был вежливый, скромный, дружелюбный и мне понравился. Он сказал, что они приехали из деревни и его отец теперь дворник соседнего дома и что они живут в дворничьей. Я знал ее — это был отдельный домик во дворе прямо против подворотни. Скоро мальчика позвал отец — тогда я впервые увидел самого Кудрицкого. Мальчик, с которым я познакомился, был третий его сын — Иван.

Надо сказать, что и он и его братья (два старших и два младших) быстро акклиматизировались в новой среде. Мы вместе играли, дружили, и, в общем, ничего плохого о них я сказать не могу. Ничего плохого я не слышал и об их поведении в те страшные девять-десять дней (между уходом советских войск и Бабьим Яром), когда свирепствовал их отец. Но речь не о них, а именно об отце.

Я его хорошо помню. Помню, как со своими метлами, совками и прочими атрибутами дворничьей профессии он буквально царил во дворе. Он обладал удивительной способностью все на свете превращать в атрибуты власти. Не припомню, чтоб он особенно досаждал нам, ребятам, — наверно, не больше, чем положено дворнику. Но сдержанная злость его ощущалась как-то иррационально — даже сквозь угодничество, которое тоже было ему вполне свойственно. И очень часто звучал на весь двор его обличающий голос: такого-то посадили, а такой-то «жинку брось». И думаю, что он ненавидел тех, перед кем заискивал. Думаю, что он вообще ненавидел тех, кто, как ему казалось, преуспел в жизни больше, чем он. А поскольку его выбили из колеи, то таких на новом месте было много — горячего хватало. Но думаю, что дело здесь не только в «колее» (из нее многих выбили), а и в нем самом. Если б его не выбили, если б не коллективизация и оккупация, все это зло все равно сидело бы в нем (преуспевшие больше тебя всегда найдутся), но дремало бы, не развившись. При всей его неприязни к советской власти, разбившей ему жизнь, которая проявлялась косвенно, но ощущалась явно, ему нравилась власть как таковая. И быть понятым при обысках и арестах (это и доньше входит в обязанность дворника) ему тоже нравилось. Нравилось ему падение людей, устроившихся лучше него, с этажей, которые, вероятно, и воплощали в его глазах эту устроенность. Нравилось больше, чем не нравилась сама советская власть. Но когда запахло другой властью...

Помню его ликование во время первых налетов немецкой авиации на Киев. Помню, как утром на третий или четвертый день войны над нашим домом с ужасающим рокотом на малой высоте прошло два, кажется, звена немецких самолетов — безнаказанно, не нарушая строя, не обращая внимания на эскорт безопасных для них пока зенитных разрывов. Помню собственное чувство беззащитности, неожиданное в человеке, уверенном в «нашей непобедимости», и помню, что творилось в этот момент с Кудрицким. Он был вне себя — от счастья и страха одновременно. Он был в восторге от собственного страха перед силой приближающейся непобедимости власти. Он орал нечто нечленораздельное, что, с одной стороны, могло означать заботу о соблюдении порядка (загонял всех в подворотню, чтоб не убило), а с другой — ликование (он и загоняя в подворотню, чтоб не убило, этим еще с удовольствием демонстрировал мощь наступающей силы). Не знал он, что это ликование и по поводу собственной гибели. Предвкушал он только, как будут погибать другие. Рад ли я, что он расстрелян и порок наказан, что случилось по пословице «не копья могилу другому — сам в нее попадешь»? Да нет, пожалуй. Мне страшно, что люди могут быть такими.

Могут возразить, что его довели до потери человеческого образа. Мол, то, что он радовался концу советской власти, это естественно для человека, согнанного ею с земли. И даже то, что больше всего его радовала открывающаяся возможность безграничного сведения счетов, тоже еще как будто естественно. Но выражение «сводить счеты» неизбежно предполагает вопрос: с кем их сводить?

Действительно, с кем он собирался сводить счеты? С советской властью? Но это существо для мести слишком абстрактное. Счеты можно сводить только с конкрет-

ными людьми — с непосредственными обидчиками и теми, кто направлял их деятельность. Но ни тех, ни других рядом быть не могло. Первые — рядовые (уполномоченные, политотдельцы)— либо остались в деревне, либо могли попасться ему только случайно, ибо были рассеяны в неопределенности. Ну а тех, кто направлял их деятельность, представителей центральной власти³⁴, в его дворе и быть не могло, а если бы были, уехали бы в эвакуацию. Даже люди, верившие, что «во всем виноваты евреи», не могли не понимать, что это явно «не те евреи», раз они не смогли или не захотели эвакуироваться. А он не был идиотом и был дворником, то есть прекрасно знал, кто есть кто на контролируемой им территории. И это в наиболее «идеальном» случае. Короче, он собирался вовсе не мстить, а только мучительством невинных сладострастно, садистически «отводить душу» или «срывать зло». И от немцев он ждал безнаказанности в реализации этой своей потребности. Ничего больше.

А срывал он свое зло — страшно. В нашем большом дворе оставалось не больше двадцати евреев. В нашем маленьком домике, кроме дяди с тетей, остались еще две семьи — Этингеры, поступившие так из тех же побуждений, что и мой дядя, и жившие в одной с ними квартире мой ровесник-ремесленник, о котором я уже рассказывал, и его мать. Но эти, как и большинство оставшихся евреев, просто по каким-то причинам не смогли сдвинуться с места.

Не мог, например, сдвинуться с места из-за дебильной дочери Веры мой демиевский дядя Иосиф (тот, с которым я спорил о Боге). К несчастью, когда пришли немцы, он тоже оказался в нашем доме. Получилось это так. В Голосеевском лесу над Демисвкой высадился немецкий десант, и жителям приказали ее покинуть. Вот дядя с семьей и переехал к сестре, в нашу опустевшую квартиру.

Всем оставшимся евреям нашего дома пришлось от Кудрицкого солоно. Но точно мне известно только то, что он вытворял в нашей квартире. Об этом я и буду говорить.

Итак, в квартире жили пять человек: два дяди, их жены и дебильная Вера. Дяди — оба пожилые, оба бородатые, оба верующие. Пожилыми и верующими были, естественно, и их жены. Это должно было говорить само за себя. Тогда еще не было прирученных церквей и синагог, и верующие не могли восприниматься как опора власти. И еще насчет большевизма: Кудрицкий, конечно, не мог знать, что один из этих дядьев, как и он, ждал немцев — он ведь и сам об этом вслух не говорил. Но он не мог не знать, что этот дядя раньше владел домом, а потом вынужден был его сдать, то есть что не он раскулачивал, а его раскулачили. Да и вообще он ни на минуту не мог предположить, что эти люди как-либо связаны с деяниями советской власти, что ему есть за что им мстить.

Кстати, насчет раскулачивания. Ему очень нравилось, когда дядя вынужден был сдать свой дом. Он с удовольствием и важностью тогда выступал от имени советской власти, этот дом принимавшей. Еще один человек, тем более еврей, утрачивал преимущество перед ним. Нет, не социальные мотивы руководили им. Конечно, он был патологическим антисемитом. Но главным в нем была патология (патологическая злобность), а антисемитизм был наиболее удобной ее канализацией.

И он тешил душу. Ежеутренне являлся он в нашу квартиру как злой рок, как знак возобновления мук с единственной целью — надругаться. Он издевался над этими стариками многообразно и изобретательно, избивал их, заставляя руками чистить дворовую уборную и делать многое другое, всегда унижительное, часто непосильное. И за недостаточное хорошее исполнение наказывал. Он был господином их каждой минуты, и ему нравилось быть таким господином.

Легализация погромного антисемитизма пришлась многим на руку. Подонков на земле всегда много, и в такие моменты им вольготно живется, они «грабят награбленное». Вероятно, врываюсь к ним и уличная шпана, отбирала что могла. Почему б не обидеть беззащитных стариков, если власть разрешает. Думаю, что и Кудрицкий охулки на руку не клал, бессребреничеством он не отличался. Но главное его наслаждение, главная корысть была не материальной, а духовной. То, что он делал, было не спорадическим хулиганством или грабежом, а перманентным садизмом.

Все было так страшно, что тетя Хаита в отчаянии умоляла соседку Анну Семеновну Колесникову, к которой всегда относилась с симпатией, но с которой

³⁴ Представители власти к тому времени тоже сменились в результате сталинского государственного переворота. Те, кто был представителем власти во время коллективизации, к 1941 году были или расстреляны, или в лагерях, или — в лучшем случае — просто не у дел. Правда, Сталин заменил их такими, кто зачастую принимал еще более непосредственное участие в коллективизации. Так что эти тонкости не имели бы значения для Кудрицкого, даже если бы он в них разобрался и действительно искал достойных мести. Впрочем, тогда мало кто в этом разобрался в полной мере.

близких отношений у нее все же никогда не было³⁵, спрятать ее мужа. Нет, не от немцев, Боже сохрани,— от издевательства Кудрицкого. Анна Семеновна была вполне порядочной, интеллигентной и доброй женщиной и сочувствовала несчастьным старикам. Но она, смущаясь и стыдясь, отказала им в помощи. Боялась. И опять не немцев — Кудрицкого. Да и попросить об этом можно было, только потеряв голову от отчаяния,— ну кто мог от него кого-нибудь спрятать? От гестапо было бы много легче. А у нее самой, с точки зрения «нового порядка», было рыльце в пушку — сын в Красной Армии. Кудрицкий наводил на весь дом страх и трепет. В том и состоял его звездный час. Конечно, его боялись и потому, что за его спиной стояла вся мощь вермахта, СС и гестапо, но в данном случае он их использовал, а не они его.

Немцы вошли в Киев 19 сентября, расстрелы в Бабьем Яре начались 29-го. Все эти десять дней родные мои жили под властью не столько Гитлера, сколько Кудрицкого. У Гитлера были еще другие заботы, у Кудрицкого, видимо, только эта. Он устроил им персональный Освенцим на дому, и ему было не лень следить за его «распорядком», чтоб не забывались. И хотя погибли мои родные не от его руки, но изымательства его были таковы, что, вполне возможно, эту гибель они восприняли как освобождение. От него. То, что он им устраивал перед смертью, было, по-моему, страшней, чем сама смерть.

Я не знаю, какова степень его страданий во время коллективизации. Вероятно, сравнительно не самая крайняя, раз он смог поселиться в Киеве и никем не преследоваться. И, вероятно, все же немалая, раз он вынужден был покинуть деревню. Да и не было этой малой степени в таком страшном деле, да еще на Украине. Но, по-видимому, жажда мстить вообще определяется не мерой страдания, а склонностью к таким занятиям.

Мне рассказывали об одной здоровенной бабе, которая остановила на дороге из Кишинева в Одессу уходящих пешком от немцев бабушку с четырехлетней внучкой и велела девочке снять и отдать туфельки. Девочка сначала не поняла, чего от нее хочет эта громадная взрослая тетя. Но бабушка ей ласково объяснила, что надо сделать. Дальше девочка шла босиком по горячей каменистой дороге. Не знаю я, что за плечами у этой бабы. Но что бы ни было, она — образец жестокой изменности. Но по сравнению с Кудрицким бабища эта — ангел непорочный. Ей ведь только туфельки и были нужны. И занималась она обыкновенным грабежом, даже мелким. Кудрицкий этим не ограничивался. Ему для удовлетворения и крови было мало. Надо было еще и мучать.

Когда немцы взяли Киев, мы, находясь в эвакуации, естественно, очень испугались за своих близких. Мы ничего еще не знали ни о Бабьем Яре, ни об «окончательном решении еврейского вопроса». Знали только, что немцы развязывают антисемитизм. И больше всего беспокоило нас в связи с этим то, что это полностью отдаст их в руки именно Кудрицкого. Мы почему-то заранее знали, чего от него можно ждать. Чувствовалась в человеке изощренная эта злобность.

История наша трагична. Во время войны многие оказались с оружием в руках на другой стороне. Я не думаю, что это было мудро или правильно — хотя бы потому, что «другая сторона» своей сущности и своих намерений в отношении нашей страны не скрывала. Но я никого за это не осуждаю. Как я могу осуждать, например, раскулаченных крестьян? Или тех, кто был в Белой армии, не смог с ней эвакуироваться и жил потом двадцать лет с засекреченной биографией, как бы не существуя? Приход немцев для таких был реальным освобождением. Но в данном случае речь идет не о таких людях, а о подонках, которых в изобилии, разными сочетаниями пряника с кнутом, производит советская эпоха и которых было достаточно по обе стороны фронта. На Лубянке в 1947-м я даже слышал хвастливую формулу от некоторых «нахально репатриированных»: «При советской власти неплохо жил и при всякой не пропаду». Конечно, есть в этой формуле и бесшабашность отчаяния, но в устах у иных это вполне звучало как нравственный принцип... Мне приходилось читать в эмигрантских изданиях, что в РОА было много немецких агентов, сообщавших в гестапо все, что они видели и слышали вокруг себя, то есть стучавших на своих чужим. А эти за какую коллективизацию мстили?

Далеко меня, однако, завела тема Кудрицкого. А ведь коснулся я ее в связи с жизнью нашего двора, чтоб передать атмосферу на фоне атмосферы времени. Не скоро, очень не скоро стал задумываться я над всем этим. Лет до двенадцати такого осмысления вообще не бывает, а потом его затмили широкие горизонты. Мы — говорю (словами Маяковского) о себе и своих романтических сверстниках — стремились во всем «рваться в завтра, вперед,/ Чтоб брюки трещали в шагу». И презирали

³⁵ Все, что я здесь рассказываю о судьбе близких, моим родным, когда они вернулись в Киев, рассказала она. Так что — сообщаю тем, кому это важно,— сведения об этом получены из русских, а не еврейских источников, которым и взягся-то было бы неоткуда.

всякую косность как мещанское противостояние сталинскому «новаторству», которое обнимало все стороны жизни, распространяя это на искусство и без спросу — впрочем, как и многие западные интеллектуалы. — меряя все и всех этой приближительной мерой.

Впрочем, и здесь я забегаю вперед. Все эти мои мысли и заблуждения еще впереди. И даже из Маяковского я читал пока только «Возьмем винтовки новые...» в «Пионерской правде» и недоумевал, почему в стихах этого великого, как он назван в той же газете, поэта слова так трудно складываются в строки. Года через три я это пойму, а лет через тридцать опять перестану понимать. Но все это не будет связано с жизнью двора, а сейчас речь именно о нем.

Я скоро уйду из него. Уйду без всякого сожаления, не оглядываясь, гордясь, что расту, что выхожу на свою колею. Хотя сегодня я отнюдь не убежден, что так уж это хорошо — уходить не оглядываясь. Некоторые мои сверстники так и остались людьми двора и улицы (конечно, не в мамином понимании слова «уличные»). Навещая после войны своих вернувшихся в Киев родителей, я мог не раз в этом убедиться. Работали они в разных местах, а жили во дворе и по соседству: все связи, вся «светская жизнь» у них была здесь. Это их жизнь. Чище она или не чище какой-либо другой, знает только Бог. Презирать ее за мещанство? Но я давно уже не боюсь этой опасной детской болезнью русской и мировой интеллигенции. Понимаю, как трудно в наше время бывало порой прожить жизнь людям, которых так обзывают и которыми те, кто их презирает, с легкой душой расплачивались за любые свои романтические проекты.

Нет, это не покаяние. В моем уходе из нашего двора не было ничего надменного. Меня увели новые интересы и увлечения, все, что сделало меня потом самим собой и в конечном счете научило понимать и то, что я сейчас говорю — о том же мещанстве, например. И что повернуло мой интерес назад к двору.

Впрочем, как уже знает читатель, это поворот в конкретном смысле несколько запоздалый. Ни нашего двора, ни его жизни больше нет. Все ее участники разъехались по новым квартирам и живут иной жизнью. Как им живется в этой новой жизни — пусть более уютной, но и более унифицированной, отдельной, — мне неизвестно. Да и не до того было. Но вот теперь вспомнил — и захотелось знать. Это ведь тоже часть моей жизни, не говоря уж о том, что пережитое здесь людьми — это часть нашей общей истории, нашей общей трагедии.

Вызвано у меня жизнью двора еще одно воспоминание, мало, в общем, с ней связанное, но важное. Вдруг появился в нашем дворе Гаррик Городецкий. Мальчик моего возраста или чуть моложе. Явно интеллигентный. Появился не один, а с Ваней, приемным сыном своих родителей, парнем, по моим тогдашним понятиям (мне было лет одиннадцать), совсем взрослым, лет восемнадцати, наверно. Был он, видимо, как говорили раньше, «из простых», но не украинец, а великоросс. Подозреваю, что Ваня был подобран отцом Гаррика во время коллективизации в деревне, куда его посылали по партбилету. Такое случилось. Впрочем, это мой домысел, мне этого никто не рассказывал. Говорили Ваня и Гаррик как-то не по-нашему, не по-киевски. (А. А. Реформатский называл Киев фабрикой порчи русского языка, но мы этого не знали. Мы свое произношение и лексику воспринимали как норму, а остальные — как экзотику.) Ваня опекал Гаррика. Он был вполне покладистым парнем, но умел за себя постоять. Он поступил на расположенный рядом завод «Червоный двигун» («Красный двигатель») и вскоре стал кадровым рабочим. Когда вскоре после событий, о которых я сейчас расскажу, Гаррик с матерью уехали из Киева, Ваня остался в одной из комнат их квартиры и стал органической частью нашего двора. Что с ним было во время войны (по-моему, его мобилизовали в один из первых же дней), что стало после нее — не знаю. Знаю, что он был симпатичным и, как я сказал бы сегодня, оценив его поведение во время тех же событий, надежным и устойчиво-порядочным человеком. В наше время качество не столь уж частое.

Жизненный уклад этой семьи ощущито отличался от уклада всех известных мне семей какой-то естественной интеллигентностью и тем, что я бы сегодня назвал неуловимой столичностью. Все остальные семьи, считавшие себя интеллигентными, были только мещански-добродетельны, что, как я теперь понимаю, тоже не так уж мало. Правда, и материальное положение этой семьи было выше, чем у всех вокруг.

За отцом Гаррика (он был крупным работником трикотажного треста, как я потом узнал) ежедневно приезжала персональная легковая машина — явление по тем временам неординарное и волновавшее воображение дворовой детворы. Пока за ним однажды не приехала машина отнюдь не персональная и не увезла его в тюрьму, что в те годы было явлением неординарным только для нас, детворы. Оповестил громогласно весь двор об этом — радостном для него — событии, как обычно, дворовый герольд, дворник Кудрицкий. А скоро мы узнали из местных газет, что начинается суд над шайкой жуликов, орудовавших в трикотажном тресте. Среди

прочих фамилий значилась и фамилия Гаррикиного отца — Городецкий. Я был ошарашен. Семья никак не была похожа на жульническую. Но как я мог не верить газете?

Только здесь, в эмиграции, я прочел (в «Большом терроре» Р. Конквиста), что процесс трикотажников в Киеве был обычной сталинской провокацией, звеном в цепи фиктивных процессов, связанных с чистками, то ли их предтечей, то ли составной частью. Мне даже кажется, звеном он был даже самым остроумным. Трест этот был своеобразной ссылкой для неугодных партийцев средней высокопоставленности.

Писали о жуликах, но дело было не в них, хотя жулики, наверно, тоже были к нему подключены. Но нужны они были организаторам этого процесса не сами по себе, а чтоб связью с ними скомпрометировать неугодных Сталину и по этой причине в данный трест сосланных (небось радовались, что столько приятных людей в одном месте) работников. Пикантно, что трест этот был не областной, не всеукраинский, а всесоюзный, и его перемещение из Москвы в Киев (из-за чего Гаррик и появился в нашем дворе), вероятно, и было предпринято для того, чтоб отделить этих людей от центра, а может быть, даже и для удобств задуманной судебной расправы над ними. Все-таки подальше от знакомых, от тех, кто знал этих людей. Остроумие процесса заключалось в том, что, убирая неприятных ему людей (может, бывших оппозиционеров или кого-то в этом роде), Сталин в то же время вроде оказывался совсем ни при чем. Дело ведь вообще не было политическим — ну спутались где-то в Киеве отдельные партийцы с жуликами, моральное разложение, тогда это часто бывало, особенно в провинции. Кроме того, населению убедительно объяснялось, почему и из-за кого в магазинах страны не хватает трикотажа. Как всегда, Сталин одним преступлением убивал нескольких зайцев.

Я видел этих людей в день начала суда над ними возле здания на Красноармейской, где он должен был проходить. Я бегал туда с толпой дворовой ребятни глазами, как из тюремных карет выводят подсудимых. Выводили их по одному. Дорога между каретой и входом в здание была ограждена двумя цепями милиционеров, так что каждый из подсудимых шел как бы по пустому пространству и был хорошо виден. Выглядели они вполне прилично, приветствовали близких и были по-деловому озабочены. Видимо, действительно верили в свою невиновность и надеялись что-то доказать суду. Только по ходу процесса они, верней, самые пронизательные из них, могли понять, что доказывать что-либо на этом суде — зряшное занятие. Вряд ли они были наивными людьми. Те из них, из-за кого это было затеяно, уже прошли политические огни и воды и знали, чего можно ждать от Сталина. Но ведь суд был не политический. Это не могло не сбивать с толку. Поразительно, как, когда надо было дурачить людей, масштабная дьявольщина переместилась у Сталина с мелкой чертовщиной. Ему все было не лень. Как дворнику Кудрицкому.

В свете сегодняшнего опыта совершенно ясно, что их не могли оправдать хотя бы потому, что уже все вокруг знали, что они жулики и из-за них в магазинах нет трикотажа. Но тогда еще, несмотря на дела, подобные шахтинскому, к такой юридической логике (особенно если дело касалось партийцев) не совсем привыкли. Поэтому подсудимые и ждали чего-то от суда. Впрочем, может, им даже повезло. Может, заклеившая их «бытовая» статья неожиданно и защитила во времена ежовщины от более смертельных. Если, конечно, сам Сталин вдруг не вспомнил о ком-либо из них. Так что, может быть, и Гаррикина семья потом смогла где-то притулиться и выжить. Дай-то Бог, особенно его матери. А тогда то, что подсудимые на что-то надеялись, чувствовалось по всему их поведению и очень меня удивляло. Среди многих «всех», читавших газету, я тоже (вопреки собственным впечатлениям от этой семьи) знал, что отец Гаррика — жулик. На что же он мог надеяться?

Но и «зная» это, я продолжал дружить с Гарриком — до суда, во время и после него, до самого его отъезда. Я, конечно, ему сочувствовал: ведь тяжело быть сыном такого человека. Но против моих ожиданий ни он, ни его мать, ни Ваня вовсе не сгорали от стыда — наоборот, в их поведении ощущалось сдержанное достоинство людей, знающих то, что другим недоступно. Не только то, что все, что о них говорят и думают, чушь, но и вообще еще нечто такое, о чем другие и не догадываются и чего им даже нельзя объяснить. Их от других отделила та же черта, что когда-то (теперь я понимаю, что недавно, а тогда мне казалось — давно) отделила от нас плачущего Владика Федченко. В последующие лет восемнадцать эта черта возникала в моей жизни не раз — вокруг других и меня самого, — и я давно понял, что это такое. А тогда я еще ничего не знал ни о ней, ни о личном достоинстве, ни о личной порядочности, только чувствовал что-то. Не эти качества пропагандировались пионерскими газетами и журналами, до которых я был большой охотник и которым верил, уж конечно, больше, чем Гаррикиной маме и Ване. Но поведение их мне

безотчетно нравилось, нравилось как раз их достоинство. Они и виду не подавали, что у них несчастье.

Впрочем, то, что они никогда не говорили о нем при мне, было еще и естественно. Понять я их все равно тогда не мог, а разболтать — хотя бы в удивлении от необычного отношения к жизни — мог. Но однажды Гаррикина мама сорвалась, и сорвалась довольно опасно. И благодаря этому я получил первый в жизни жесткий урок естественной порядочности, реальной иерархии ценностей.

Произошло это так. Я рассказывал Гаррику очередную вычитанную из пионерской газеты глупую байку о героическом пионере, который раскрыл и предотвратил козни каких-то врагов, кулаков или еще кого-то, в том числе чуть ли не родителей: подглядел, подслушал — и «раскрыл». Бестактности своего поведения я начисто не понимал и пел соловьем. К ужасу своему, не поручусь, что это не было скрытым подбодрением товарищу: дескать, не все еще потеряно, у тебя еще есть возможность остаться в наших светлых рядах. Но может быть, я сейчас и клевету на себя — все тогда могло быть с незащищенным ребячьим девяти—одиннадцатилетним сознанием, облучаемым пионерскими газетами. Потом, в Москве, я видел кое-кого из этих «облучателей» — властителей моих тогдашних дум. Уровень их был невысок, но иногда это были даже неплохие люди, которые сами были облучены диалектической «идейностью». Потом, во время чисток, они сами были репрессированы «в общем порядке». Они, по-моему, и до сих пор, если живы, не знают, что они с нами делали. Впрочем, то же самое раньше сделали с ними — во времена раннего коммунистического энтузиазма. Сталину вполне сгодились плоды досталинского революционного воспитания.

Газетные словеса и звучали во мне, когда я пел соловьем у Городецких. И тут мать Гаррика, которая обычно в наши разговоры не вмешивалась, оторвалась от того, чем была в этот момент занята, посмотрела на меня и каким-то подчеркнuto обыденным голосом как бы между прочим спросила:

— А разве это хорошо — подслушивать, подглядывать и доносить?

Вопрос этот прозвучал для меня как гром среди ясного неба. Сравнение затаскано, но именно так он и прозвучал. Так же неожиданно и так же сильно. Как видите, я запомнил его на всю жизнь. Если бы я был тогда человеком чести, он прозвучал бы как пощечина. Но я был не человеком чести, а мальчиком, читавшим пионерские газеты. И тогда он меня больше смутил, сбил с толку, чем потряс абсолютностью. Нечто подобное я мог слышать и дома, но ведь на моих родителях были «родимые пятна» капитализма, а тут это говорила молодая, блестящая, явно современная женщина, говорила убежденно и как само собой разумеющееся. А как же тогда все, чему меня учили? «Мы и враги», «общее над личным», «верность классу» и все прочее? Эта женщина явно «вела мешанские разговоры», явно не могла «подняться над личным» (а мне казалось, что это не только хорошо, а и просто), но тем не менее несимпатична мне не была. И я никогда и никому не рассказал об этом разговоре. Постарался забыть. Видимо, подвиг Павлика Морозова привлекал меня только теоретически.

А ведь тому, что это хорошо, учило все. В том числе и вся литература, не только пионерская. Помню чей-то рассказ о гражданской войне. Один молодой коммунист интеллигентного происхождения выдает ЧК приятеля своих родителей, которого те прятали в своем доме. И помню, как иронично воспринимает герой трагическое (по мнению рассказчика, трагикомическое) недоумение своих родителей: «Как? Ты мог донести? Ты доносчик?» Как же! Ведь герой как раз сейчас получает «пролетарскую» закалку, избавляется от мелкобуржуазной интеллигентской мягкотелости. Наоборот, он чувствовал бы себя предателем, если бы скрыл это от своих новых товарищей. Мысль о том, что тайна была ему известна только потому, что ему ее доверили как своему, просто для него не существовала. А ведь открыто, сознательно, по убеждению порвавший с революционерами и перешедший на сторону правительства народоволец Лев Тихомиров в письме, в котором он каялся и просил о прощении, тем не менее предупреждал адресата, что никаких доверенных ему бывшими товарищами тайн при всем отвращении к ним он не выласт, и именно потому, что ему их доверили как товарищу. Это могло поставить под сомнение его искренность и затруднить его положение, но иначе он не мог. У героя же этого рассказа вместо личной совести была классовая, точнее партийная. Как же тут Сталину было не развернуться?

Это уже в «Литературной газете» семидесятых—восьмидесятых годов, когда ею руководил один из самых непопадочных людей нашей эпохи — А. Б. Чаковский, на

каждом шагу можно было встретить слово «порядочность». Иногда его употребляли порядочные люди в честных целях, иногда слово «порядочность», придавая ему противоположный смысл, использовали — призывали к ней — брежневские гебешники. Но авторитет этого понятия³⁶ уже признавался всеми. В тридцатых же это слово воспринималось как наследие «проклятого прошлого». Другое дело «беззаветная преданность делу революции и непримиримость к ее врагам» — это я понимал. Я потом — конечно, через много лет — не раз с благодарностью вспоминал этот разговор, хотя думаю, что и без этой ее фразы я бы все равно не стал ни подлецом, ни доносчиком, тем более что и эта фраза тогда все же не перешла влияния моих любимых органов печати.

Могут сказать, эта женщина еще недавно была женой видного члена партии, то есть сама принадлежала к той среде, которая, собственно, и научила меня говорить глупости, вызвавшие ее отповедь. Помнила ли она об этом, когда ее произносила? Сказала ли бы она мне эти слова годом раньше? Я не хочу об этом думать. Может быть, и думала, может, и сказала бы: в конце концов, видным членом партии была не она, а ее муж, а она могла и не придерживаться партийной морали. Да и есть такая вещь, как покаяние, — когда человек, которого оболгали и обидели, не только огорчается за себя, а начинает понимать, что и сам он лгал и обижал других. Может, это и произошло с ней? И даже с ее мужем? Что я вообще знаю о них?

Но что бы ни было с ней раньше, как бы она сама ни заблуждалась, в чем бы ни была виновата — все равно я ей благодарен. Все-таки именно она в этот сложный для себя момент впервые продемонстрировала передо мной нормальные отношения к вещам, величие человеческого достоинства. Даже если восстановление этой истины далось ей самой только в результате превратностей ее собственной судьбы, все равно это тогда было подвигом. В дни, когда со всех трибун и полос прославлялся «бесстрашный» сибирский пионер Павлик Морозов, донесший на родного отца, ее слова шли вразрез со всем, что внушалось, и произнести их было непросто. Могут сказать: подумаешь, подвиг! Каждый, кого «сбрасывают с раската», становится защитником порядочности и справедливости. На основании невеселого нашего опыта я могу твердо на это ответить: нет, не каждый. Ох не каждый...

Кстати, интересно и то, в каком именно преступлении был согласно внушаемой легенде (истинности ее под сомнением, но внушали именно ее) с помощью Павлика Морозова изобличен его отец. В самом страшном. Будучи председателем сельсовета, он помогал «заметать следы» контрреволюционерам. Каким именно? Газеты об этом писали вполне определенно. Речь шла не о политических деятелях, не о террористах, не о диверсантах или шпионах, а о крестьянах, сосланных в эти места в качестве кулаков и подкулачников. Отец «юного героя», председатель сельсовета, выдавал им фальшивые справки, позволявшие им как якобы местным жителям покинуть место ссылки и, к слову сказать, влиться в социалистическое строительство. Вероятно, отец большей частью оказывал эти услуги людям за соответствующую мзду, но в такие времена взяточник — фигура гораздо более моральная, чем моралист, свято соблюдающий бесчеловечные правила. Тем более что взятка здесь — плата за риск. И немалый.

К сожалению, у «юного героя» нашлись последователи, о чем всегда сообщала «Пионерская правда», стоявшая во главе этого «движения». Одну из его последовательниц газета отыскала и в нашей школе. Звали ее Таня Бойко. Приятель познакомил меня с ней. Оказалась она симпатичной живой девочкой из параллельного украинского класса. Дело было еще в 95-й украинской школе, и мы оба были третьеклассниками (то есть десятилетними). Связан был ее подвиг с широко тогда известной, воспевавшейся в стихах и прозе (в том числе и в поэме позднее расстрелянного Бориса Корнилова) «трипольской трагедией», или гибелью «героев Триполья». У этого события есть две истории — история самого события и история его освещения.

Начну с события, как оно видится из сегодняшнего дня, то есть без революционно-романтического флера, которым оно было окутано во времена моего детства и отрочества. Летом 1920 года под Киевом вспыхнуло большое крестьянское («кулацкое», как его актуально обзывали газеты в начале тридцатых) восстание, руководимое

³⁶ Реабилитировал это важное беспартийное слово, конечно, не Чаковский, а честные и хорошие люди, которые у него иногда печатались. Они сделали большое дело — страна нуждалась в реабилитации этого слова. Вероятно, и коррумпированная, но и раздраженная коррупцией «низов» брежневская верхушка временами имела некоторый, конечно, слабый, но все-таки позыв призывать их к порядочности, то есть чтобы меньше воровали. Это и использовали честные журналисты, стремясь как можно больше расширить смысл понятия. Но имя Чаковского рядом с ним, а также использование его гебешниками — все равно парадокс и напоминание о фантастических условиях нашего бытия.

атаманом Зеленым, с центром в селе Триполье, расположенном на правом берегу Днепра, километрах в тридцати—сорока южнее Киева. Настоящих воинских частей для немедленного подавления восстания в городе не было, и из местных комсомольцев был сформирован особый комсомольский полк. Полк отбросил восставших от Киева, куда они уже подошлись, и на второй или третий день вошел в Триполье. Крестьяне, среди которых было много фронтовиков, применили военную хитрость. Они спрятались вместе с семьями в погреба и другие укромные места, так что село выглядело пустым. А ночью, когда полк, расположившийся в центре села, на площади у церкви, заснул, вылезли из укрытия и уничтожили карателей. Спаслись только шесть или семь человек.

Убивали комсомольцев картинно. Связав руки, сбрасывали в Днепр с высокого обрыва и расстреливали из пулемета. Все это страшно, как страшна всякая жестокость. Но ведь каратели-идеалисты приходили к мужикам не с Евангелием, а с оружием, чтоб заставить их покориться и славить продрозверстку во имя нужной идеалистам, но никак не мужикам, мировой революции.

Конечно, дело этим кончиться не могло. Против повстанцев послан был из Киева пароход с другими карателями, однако мужики его потопили первым же выстрелом из орудия (вероятно, отнятого у идеалистов). Но плетью обуха не перешибешь. Подошедшими войсками повстанцы были частью рассеяны, частью уничтожены, а в дальнейшем опозорены. Само же событие — в большевистском освещении, но с сохранением канвы — было, так сказать, «вписано в книгу героических деяний комсомольцев».

Правда, потом с канонической легендой происходили удивительные метаморфозы. Я два раза ездил на экскурсию в Триполье (там до войны был открыт музей, как теперь сказали бы — мемориал, в честь этого события) и каждый раз слышал разные версии о составе участников. Во второй раз, после 1937 года, в духе времени все семь уцелевших уже оказались самозванцами, командир полка — предателем, но само событие оставалось нетленным. А после войны эту трагедию просто отменили и мемориал не открыли вовсе... Классик советской литературы и государственный деятель А. Е. Корнейчук объяснял это моим знакомым приблизительно так: «Большинство погибших в Триполье — евреи (что естественно, раз отряд формировался на еврейском Подоле. — *Н. К.*), в то время как большинство погибших на Украине за советскую власть — украинцы. Только погибли они не здесь, а в других местах. Поэтому мемориал в честь этой трагедии нарушал бы справедливость».

Объяснение смешное, но выводы меня устраивают. Мемориал в честь трипольской трагедии открывать не надо, грешно. А если открывать, то действительно в честь украинцев, но не украинских комсомольцев, погибших в других местах, а украинских крестьян, защищавших себя от любых комсомольцев и разбитых армейскими частями. Их трагедией это и было.

Но в дни, когда Таня Бойко совершала свой «подвиг», обстановка была такова, что никакому Корнейчуку и в голову не пришло бы ни вообще вылезать с такими обоснованиями, ни просто ставить под сомнение «героев Триполья». Все вокруг пело им осанну: радио, газеты, киножурналы и школа.

А дядя Тани Бойко, у которых она жила, выпивая с друзьями, хвастали тем, что это именно они учинили расправу над героями. Они были родом из Триполья. И о советской власти дядья тоже выражались вполне неласково (дело ведь было после коллективизации и голода). Доставалось за рюмкой и евреям, с которыми у них ассоциировалась эта власть (а у Тани в школе были друзья-евреи). Мудрости в их филиппиках, возможно, и впрямь было меньше, чем озлобления, но кое-что из личного опыта они могли привести в подтверждение своих слов. А они ведь были не философами, а только крестьянами, согнанными с земли. Все это стало известно лишь потому, что об этом ТАМ, ГДЕ НАДО (как названо это учреждение в романе В. Войновича), рассказала сама Таня.

Почему она это сделала? Я читал, что дядя ее плохо с ней обращались, напившись, били, заставляли много делать по дому. Но с другой стороны, они как-никак пригрели сироту, содержали как могли. И, судя по всему, обращались не плохо, а как вообще с девочкой в крестьянских семьях. Кстати, как и с кем она жила, «разоблачив», то есть погубив, дядьев, я не знаю. Повторяю, она вовсе не выглядела несчастной, когда я с ней познакомился, подколодной змеей она тоже не выглядела.

Думаю, что дело или не в этом, или не только в этом, а еще и в том, что я раньше назвал противостоянием школы и двора. Дядья в этом смысле, естественно, выступают в роли двора. А Таня ходила в школу. Вероятно, обстановка в доме была действительно не особенно радостной и светлой. Да и как могла она быть иной, если хозяевам надо было скрывать свою биографию и сущность, скрывать, как позор, то, чем гордились? А в школе было сравнительно празднично и нарядно, никто не пил и не ругал ее. К тому же в школе перед ней открывались широкие горизонты и

перспективы. И «герои Триполья», которых дядя ненавидели такой безысходной и бессильной ненавистью, составляли органическую часть этого манящего праздничного мира. В школе их чтили. Так что и они оказались на светлом школьном берегу — не там, где дядя. Герои погибли, но были для нее там, где свет и сила, а дядя там, где мрак и бессилие. Расправа над героями, водка и грубость сплелись для нее в один отталкивающий образ. Мысль о том, что выглядевшие в ее глазах так дядя могут быть в чем-то и правы, просто показалась бы ей тогда несурозной. Они не выглядели правыми. Надо было — нас всех учили, что это обязательно, — сделать выбор, с кем она. Для нее это был выбор между светом и мраком. И Таня его сделала, как ее учили.

В сущности, такой выбор стоял тогда перед всеми нами, и такое предательство совершали тогда мы все — выбирали свет ценой забвенья тех, кому была навязана роль представителей тьмы. И никто не понимал, что потом можно так же предать забвению нас самих, когда роль представителей тьмы на тех же основаниях начнут навязывать нам. Под словом «мы» я разумею кого угодно.

Это легенда, что молодежь — та, которая тянется к осмысленной и интересной жизни, а в Тани школа эту тягу безусловно пробудила — всегда настроена бунтовщически и непримиримо. Это бывает только тогда, когда, в худшем случае, ведет к временным неприятностям, иногда даже к мгновенной героической гибели, но не к прочному отстранению от жизни. Молодежь вообще интересуется не столько правотой, сколько само обаяние жизни, которое проигравшая, задавленная правота часто теряет. Именно поэтому она часто переходит на сторону победившего тоталитаризма и в жажде принять его слепую и тупую силу за творческую занимает в нем порой крайние позиции. Это не то же, что сервиллизм. При Сталине за защиту этой крайности платили головой, но отрекались не всегда. Сталинский тоталитаризм любил менять личины, однако не любил, чтобы его ловили на этом, а бунтующие молодые люди — ловили. Но когда они выбирали этот путь, они выбирали то, что утвердилось в жизни, а не то, что заведомо задыхалось, выбирали участие в игре, которая еще может вестись — пусть даже и с невыигрышной позиции, а не с той, которая как бы исчерпала себя. И это естественно. Молодежь хочет жить и отталкивается от всего, за чем не чувствует жизни. Ей трудно поверить, что истина и правота не всегда там, где жизнь. Таню тоже этим заразили. В ее представлении тоже, как и у многих других, грамота и свет стали неотрывны от людоедства.

Конечно, таких страшных стрессов, как у Тани, у большинства, в том числе и у меня, не было, ибо не было и подобной ситуации. Я был таким же учеником младших классов, как и все вокруг. Может быть, только был менее ловок физически и поэтому выглядел нелепей большинства. И внутренние претензии мои были большими. Впрочем, откуда мне знать, какие были у других, если и то, в чем именно состояли мои, я знал весьма приблизительно. Действительно, в чем? После конфуза с плагиатом (о нем никто не узнал, но я-то помнил!) на «литературу» я больше не претендовал. Донимала романтика — хотелось быть профессиональным революционером, пользуясь сегодняшним примером, таким Че Геварой. Везде ездить и везде кого-то от чего-то освобождать. Получалось благородно и интересно. Это хорошо компенсировало меня за все мои нелепости и неловкости. Дескать, погодите, узнаете!

Я понимаю, что лью воду на мельницу того московского «просвещенного антисемита», интервью с которым (при отповеди А. Синявского) было опубликовано когда-то «Синтаксисом». Я как бы иллюстрирую собой то его положение, что евреи стали вращаться в литературу после того, как их вытеснили из политики³⁷. Но на самом деле тот романтический бред, который меня занимал, может быть назван политикой только с очень большой натяжкой. Скорее в «политике» для меня сублимировалось то, что должно было вести к поэзии. Впрочем, в тридцатые годы это можно было отнести не только ко мне или даже всей советской культуре, а и к мировой. Однако речь пока идет о временах, когда я вообще еще вряд ли знаю, что есть проблемы культуры. Больше всего меня все-таки занимает революционная романтика, и я жду не дожусь, когда меня примут в пионеры.

Помню, как я был оскорблен, когда поначалу меня не включили в первую группу учеников нашего класса, принимавшуюся в эту организацию. В нее включили только

³⁷ Ко мне это не относится, но это ни о чем еще не говорит. В принципе, наверно, с кем-то могло быть и так. Многие часто сублимируют в искусстве активность, которую по каким-то критериям не могут проявить в других, более подходящих для них областях (или принимаемых за таковые). Например, приятель и единомышленник упомянутого выше автора, неудавшийся шпион Дмитрий Жуков стал прозаиком. Правда, он теперь, как я слышал, выдает свой советский шпионаж за русский патриотизм, но это его дело. Журналист Геннадий Бочаров в «Литературной газете» выдает за русский патриотизм и вообще «нелегкую службу в сложных условиях» (умеют журналисты романтично и обтекаемо выражаться!) — судьбу советских солдат в Афганистане. Важно не откуда вытеснили, а кто ты есть и что из всего этого вынес.

отличников. Мое же положение в классе было всегда странно межуточным — я помещался где-то между отличниками и учившимися кое-как. Да и поведение в классе у меня сильно хромало, хотя опять-таки к «хулиганскому» крылу я не примыкал. И помню, как я был счастлив, когда меня все же включили в эту патрицианскую группу. Ибо идейность моя была уважена, справедливость восстановлена и тщеславие мое, в котором я себе не признавался, тоже компенсировано. Впрочем, в школе в пионеры приняли и всех остальных. Наш класс, как и все другие в стране, автоматически стал пионерским отрядом.

Принимали нас на партийном собрании одного из цехов завода «Красный двигатель» — тогда почти все окрашивали именно в красное. Завод этот — тот самый, на который устроился Ваня, — был шефом 95-й школы, где мы тогда еще учились, и расположен был на Жилинском как раз напротив нее.

Выстроившись на сцене, мы звонкими голосами продекламировали текст торжественного обещания — еще досталинского, выдержанного в революционно-интернациональных тонах. Мы обещали отдавать все силы борьбе за освобождение рабочего класса всего мира — не меньше. После чего наша вожатая, студентка-философ Галя Калининская, повязала нам заранее купленные каждым для себя пионерские галстуки, и нас проводили бурными, хотя и снисходительными аплодисментами. Домой мы вернулись пионерами. Мечта нескольких предыдущих лет исполнилась.

Но на самом деле вступил я уже не в ту организацию, о которой мечтал. Я оставляю в стороне то, что не нашел в этой организации тех идеальных пионеров, о которых читал в пионерских газетах, журналах и даже книгах, вряд ли они и раньше существовали. Я говорю о самом характере этой идеальности, о ее, так сказать, направленности. Из этой направленности был тихо, на ходу, удален революционный дух, к которому я тогда так тяготел, и заменен межуточной абракадаброй. От прежней оставался пока еще только текст торжественного обещания, но и тот через год или два был приведен в соответствие с наступавшими временами. Клялись в основном хорошо учиться (хорошо учиться требовалось и в гимназиях — при чем тут красный галстук?) и быть верными некоему делу Ленина — Сталина (которое тем и хорошо, что оно дело Ленина — Сталина). Практически клялись в верности начальству. Верность ложной античеловеческой идее классовой борьбы была на ходу подменена верностью не менее античеловеческой бессмысленной безыдейной борьбе неизвестно за что.

Так входил и захватывал жизнь бессмысленный дух сталинщины. Ее элементы проникали как бы незаметно, как бы случайно, исподволь. Просто одни понятия или даже цели запросто, с шулерской наглостью, словно ничего не происходит, подменялись другими (как одни люди — другими, а потом иногда третьими), так что могло сначала показаться, что ты ослышался или допущена опечатка. Но не успевал ты опаметь, как видел, что эта «опечатка», приведя за собой массу соответствующих, уже получила права гражданства и уже почти всеми вокруг воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Только вот из-за этого «разуметь» что-нибудь люди постепенно перестают, но это от них как будто как раз и требуется. Неполноценными себя чувствовали те, кто не мог перестать помнить и думать³⁸.

Конечно, дело не в моих тогдашних скорбях об утрате пионерской организацией революционного духа. Мне давно ни к чему и этот дух, и сама идея создания из детей политической организации. Это нелепость, но она составная часть другой нелепости, более общей, — большевизма, его «бури и натиска», его «штурма небес» и его святая святых — мировой революции. Конечно, нелепы групповые и массовые, политические клятвы в десять лет, но идея допускать к этим клятвам в зависимости от академических успехов вообще бессмысленна. Такая же, как выбирать в Верховный Совет за производственные показатели.

Нет, дело не в моих романтических скорбях. Конечно, в школе надо учиться, а не бороться за мировую революцию (даже если б она была делом стоящим). Я ничуть не сожалею о том, что обязанностью школьников снова стало учиться, а не заседать в общественных организациях, как в двадцатые годы (хотя в детстве думал иначе). Но все это было связано с системой противостоительных ценностей, которая одна только — хотя бы субъективно — оправдывала противостоительную власть. Отказавшись от этой системы ценностей, но не отказавшись от порожденной ею системы

³⁸ Забегая вперед скажу — и читатель это увидит, если Бог даст дописать эту книгу, — что содержанием неофициальной интеллектуальной жизни двух десятилетий была попытка обнаружить связь алогизмов сталинщины с «подлинной» дельной идеологией. Это долго мешало обнаружить несостоятельность самой идеологии. Сколько сил, духовных, душевных и интеллектуальных, потрачено на «открытия», связанные с блужданием в трех соснах. Но это были блуждания честных людей. Приветствую всех, кто вместе со мной, рядом со мной и вдаль от меня блуждал в потемках.

власти (наоборот, усугубив и ожесточив ее), государство погружалось само и погружало весь народ в прострацию.

Конечно, я в детстве так не формулировал. Но чувствовал какое-то несоответствие, какой-то дискомфорт. Долгое время мне казалось, что это происходит со мной одним. Потом по некоторым реакциям понял, что неуютно в этой прострации чувствуют себя почти все. Во всяком случае, люди близкого мне возраста. Именно поэтому ностальгия по идеологии и романтике мировой революции стала символом веры и основой духовности нескольких поколений. Это была ностальгия по смыслу и оправданию происходящего. Проявлялось это по-разному: и в убеждении, что Сталин эти идеалы предал, и в вере в то, что он более сложными и менее приятными путями («приятность» согласно большевистской традиции полагалось презирать) ведет к той же цели. У меня бывало и то и другое. Но — позже. И каждый раз упоминание об этих материях волновало. Ранние стихи Симонова привлекали именно этим. Он умел использовать государственный антифашизм для протаскивания прежней «идейности» и публике нравился.

Из всего сказанного, из того, что запомнилось, вовсе не стоит делать вывод, что в девять — одиннадцать лет я был настроен как-то особенно оппозиционно. Нет, я был обыкновенным советским школьником, верящим, что живу в самой счастливой и справедливой стране, что партия заботится о всеобщем благе и служит высоким целям. А то, что меня иногда царапало, я старался заглушить как голос собственной недостаточности. Но иногда действительность ставила меня в тупик.

Например, однажды, году в 1933-м, в конце коллективизации, в киевской украинской газете «Пролетарська правда» я вдруг наткнулся на материал под приблизительно таким странным заголовком (даю в переводе): «Уничтожить кулацкие колхозы!» Я оторопел — не мог понять, что это значит. Если колхоз «социалистическим путем» разбогател, почему ж его называть кулацким и уничтожать? Разве не к тому «мы» стремимся, чтоб они все разбогатели? Вопрос так и остался без ответа. Не забылся, а отошел на дно сознания. Вспомнил я этот заголовок в 1961 году в Сибири, когда один настроенный вполне ортодоксально бывший коллективизатор рассказал мне свою историю.

Увидел я его впервые на заседании дирекции совхоза «Северный» Северо-Казахстанской области. Вопросы там обсуждались исключительно практические и неотложные. Но вдруг поднялся пожилой человек в ватнике, с бельмом на глазу (это был он, ныне председатель сельсовета) и произнес громовую речь, предупреждавшую присутствующих о кознях классового врага. Все это было ни к селу ни к городу, звучало странным анахронизмом, но присутствующие, люди очень занятые и деловые, не раздражались, а просто спокойно ждали, когда он кончит, привычно относясь к этому как к неизбежной ритуальной задержке, вызванной давно известной им слабостью уважаемого человека. А дождавшись, продолжали обсуждать свои дела так, как будто его речи вообще не было. Его явно уважали, хотя я и не понимал почему. Косноязычный и многословный, он мне симпатии не внушил. Я представлял себе, что мог такой вытворять в те дни, когда эта терминология не была анахронизмом.

Отношение мое изменилось на следующий день. Я, кроме всего прочего, интересовался и прошлым тамошних мест. Неожиданно выяснилось, что в деревне почти нет ни одного старожила, а все, кого я вижу, народ пришлый — почти все приехали недавно по случаю «поднятия целины» (которую там подняли, наверно, еще при Екатерине, да вот приходилось вторично)³⁹. И тогда мне посоветовали зайти в сельсовет к председателю. Я удивился, но советовавшие говорили вполне серьезно. Однако тут возникло еще одно препятствие — в понедельник утром я уезжал, а разговор произошел в воскресенье. «Воскресенье? — переспросили меня. — Да он этого не признает! Идите смело. Там он».

Чувствовалось, что здесь гордились таким диковинным председателем. Должен сказать, что это «не признает» сразило и меня. Стало ясно, что я чуть не упустил шанс познакомиться с реликтом минувшей эпохи. Я и пошел смело. Он, как и говорили, был там. Правда, собирался уже уходить на обед, но из-за меня снова отпер сельсовет и вернулся. И я до сих пор благодарен ему за это.

Он в самом деле был реликтом. Прежде всего он действительно был идеалистом, которых много ведь было и в народе. Он в самом деле считал своим долгом отдавать все свои силы обществу — и отдавал. Другое дело, всегда ли это шло обществу на пользу, но он ведь верил тем, кто пробудил его к сознательной жизни. У его большевистской ориентации была и личная подоплека — у него на глазах когда-то,

³⁹ Хрущевская кампания поднятия целины привлекла многих людей, когда-то покинувших деревню и желавших вернуться к сельскому труду. Она сулила городские заработки при сельской жизни. Проблем сельского хозяйства она, как известно, не решила, но многие люди так и осели в деревне.

когда ему было лет девять, колчаковцы расстреляли отца. Согласитесь, факт запоминающийся. После этого все его пути были только с советской властью. Он был одним из первых комсомольцев, горячим сторонником коллективизации как пути к новой, счастливой и чистой, жизни. В каком-то смысле он таким оставался и поныне.

Но то, что мне рассказал этот горячий сторонник советского строя, отнюдь не желавший его очернять, не мог бы выдумать и злейший его враг, фантазии бы не хватило. Ибо рассказанная им история действительно совершенно уникальна. А может, их в свое время было и не так мало, но просто хорошо позаботились, чтоб сама память о подобном развеялась. Ведь вот и об этой я узнал совершенно случайно. А опоздай я минуты на три, не узнал бы и я. А значит, и вы. А значит — никто.

Начиналось, как у всех. В начале коллективизации к ним прислали в председатели по партмобилизации ростовского (ближе не нашли) рабочего-двадцатипяти тысячника по фамилии то ли Перх, то ли Берх, а скорее всего (мое предположение) — Берг. Человек он, по словам рассказчика, был хороший, честный коммунист, одна беда — в сельском хозяйстве ничего не понимал. Из-за этого над ним местные подкулачники очень издевались. Доходило до того, что лошадь ему запрягали железными к телу. И она сразу кожу до крови натирала. Так или иначе — с этим хорошим коммунистом они быстро дошли до ручки, загубили почти весь скот и поголовье лошадей. Через год этого Перха, Берха или Берга, к великой его радости, от работы освободили и разрешили вернуться в свой Ростов. А к ним прислали другого партмобилизованного, ленинградского рабочего, который по счастливой случайности оказался родом из деревни. И, видимо, обладал организаторским даром. И тут, собственно, и началось уникальное. С этим председателем они ожили. Разбогатели. Построили к 1935 году множество мельниц, крупорушек, мастерских и т. д. Стали настоящей рекламой социализма.

Но оказалось, что социализм в такой рекламе не нуждается. Колхозу было предложено «раскулачиться» — немедленно сдать все, что нажили и построили. Собралось партбюро и, обсудив, приняло единственно естественное, а в наших условиях совершенно невероятное, решение: ответить отказом. Так и поступили. Им поставили ультиматум, по истечении которого обещали отобрать все силой. Тогда партбюро превратилось в военный штаб и стало готовить круговую оборону. По кузницам и прочим мастерским распространили «военные заказы» — в срочном порядке готовить пики и другое оружие, что удастся. Кроме того, укреплялись подступы к деревне. Короче — под руководством правления колхоза, комячейки и питерского пролетария, председателя-двадцатипяти тысячника, колхоз подготавил и занял правильную круговую оборону. Подошедшие войска приступили к штурму мужицкой крепости. Крестьяне, руководимые коммунистами, отчаянно сопротивлялись. Но, как говорится, силы были слишком неравны. Противник бросил в бой не то танки, не то бронемашину, не то кавалерию, и героическое сопротивление крестьян было сломлено.

Процветающий колхоз, краса и гордость социалистической сознательности, был стерт с лица земли. Крестьяне были рассеяны, а колхозное имущество, которое вроде хотели отобрать, погибло. Важно было не овладеть им, а всего лишь отобрать. В когда-то густо населенной деревне остались всего две семьи. Не сохранилось даже памяти.

Мой собеседник был одним из активнейших участников как коллективизации в их деревне (думаю, что тем, кого он честит кулаками и подкулачниками, крепко от него досталось), так и этой беспрецедентной обороны социалистического хозяйства от социалистического государства.

Не знаю, что случилось с питерцем, не думаю, чтоб ему простили «измену» (хотя изменил не он, а ему изменили), но у меня создалось впечатление, что никого не ловили. Просто разрушили и разогнали. Если мой собеседник и не миновал лагерей, то посадили его, видимо, не за это и не тогда. Но, кажется, вообще не посадили. Не знаю, отнимали у него партбилет или вернули его после реабилитации.

Некоторый свет на смысл этой кампании по ликвидации «кулацких колхозов» пролил Лев Копелев в своей книге «Не сотвори себе кумира». Это были, оказывается, колхозы, созданные действительно энтузиастами колхозного строя, часто до коллективизации и на основе добровольности. Сибирский колхоз с хозяйственным ленинградцем во главе относился к этой же категории. Копелев дал и объяснение описанной выше «политике». Созданные энтузиастами и обязанные процветанием самим себе, независимые колхозы устраивали Сталина так же мало, как и независимые крестьяне. Ему нужны были крестьяне только сломленные, всецело зависимые, всё и себя самих потерявшие, благодарные, что хотя бы позволили жить. Это очень удобно для ничего и никого не представляющей, нелегитимной власти. Это и есть сталинщина.

Кстати, неожиданное применение термина «кулацкий» я встретил потом и в учебниках географии. Сельское хозяйство досоветских Латвии, Литвы и Эстонии базировалось, по их словам, на кулацких хуторах, а Дании и Голландии — на кулацких кооперативах. Потом я понял, что это значит: кулацким называется любая форма крестьянского хозяйства, существующая, а тем более процветающая без «нас», то есть без партократии. Это не очень устраивало и зарубежных коммунистов, а уж про Сталина и говорить нечего. Многие этой нелогичности не замечали — не до того было, — но меня это царапало. Все-таки нет более унижительного насилия, чем насилие над логикой и здравым смыслом, ибо людей принуждают проделывать эту операцию над самими собой. И надо быть абсолютно бесчувственным, чтоб не ощущать унижения. Я его ощущал, хоть и не сознавал этого.

Впрочем, были у меня в детстве потрясения и другого рода, где выявлялись другие чувства. Когда я переходил в четвертый класс и в новую школу, я узнал, что наши родственники (близкие, правда, больше территориально) получили разрешение выехать в Палестину. Было это в 1936 году. Группа верующих евреев обратилась к «весоюзному старосте» М. И. Калинин с просьбой отпустить их по религиозным соображениям. Кстати, глава этой родственной семьи был раввином, но, как мне кажется, зарабатывал он тогда как-то иначе. Калинин прочел им нотацию в том смысле, что они пожалеют об этом решении, но отпустил. Не знаю, что послужило причиной такой либерализации. То ли внешнеполитические соображения, то ли тогда выезд за границу еще не приобрел такого сакрального характера, как потом, и Калинин имел право самостоятельно принимать подобные решения, — не знаю. Однако разрешил.

Представляете, какое это впечатление должно было произвести на мальчика, читавшего и мечтавшего о морских путешествиях. Ведь сначала участники группы должны были ехать в Одессу, где я никогда еще не бывал и которая всегда волновала мое воображение тем, что там — море. Там они сядут на настоящий морской пароход и несколько дней будут плыть на нем в какую-то экзотическую страну. Было от чего кружиться голове. Тем более что все это должно было произойти и с моей ровесницей (моложе меня на год и на класс, но учившейся со мной в одной школе), дочерью раввина Адей. Но на этом кончается все, чему я завидовал. Вернее, я ей вообще не завидовал, я ее жалел. Ведь она уезжала от «нас» в капиталистическую страну! Путешествия меня волновали, но уезжать я никуда ни за что не хотел. Таким я тогда был. Поразительно, как я не ощущал закрытости общества.

Потом пришло письмо. Семья эта в Палестине не задержалась (была она явно не первопродходческого типа, да и вряд ли там было тогда много людей, нуждавшихся в услугах раввина) и переехала в Америку. Потом я вообще потерял ее из виду. И приехав в 1974 году в Америку, я ее не разыскивал. Телефон Ади я получил случайно лет через восемь после приезда.

Я позвонил. Ответил мне добрый женский голос. Нет, она меня совсем не помнит, русский язык тоже почти забыла. Меня это несколько удивило. Мы жили рядом, они бывали у нас (у папиного брата, раввина) довольно часто. Конечно, я с ней не дружил (девчонка, да еще маленькая), но все же мы знали друг друга хорошо. И вот — совсем не помнит.

Нет, это не было с ее стороны стремлением отгородиться от участия в судьбе новоприбывшего родственника, которому полагается помогать. Во-первых, к тому времени я уже давно не был новоприбывшим, во-вторых, она пригласила меня в гости сразу после наступающих тогда больших еврейских праздников, во время которых они все будут очень заняты. И приглашение это было вполне искренним и дружественным. Рассказала она мне о детях и внуках — все нормально, все по-человечески. И уж конечно, все благополучно. Нет, у меня уже давно нет романтического презрения к благополучию. А в ее устах оно не выглядело ни пошлым, ни самодовольным. Желаю его всем, в том числе и самому себе, и рад за всех, кто его достиг, в том числе и за нее.

Но все-таки, говоря с ней, я вспомнил свое детское восприятие ее отъезда. И вот после того как потерпело крушение все, исходя из чего я ее жалел, а сам я как бы последовал за ней в преклонном возрасте, и ждет меня неопределенная и отнюдь не безоблачная старость, — после всего этого и зная все это, я все-таки почувствовал, что мое восприятие ее отъезда, пусть по другим причинам, остается тем же. Я вспоминаю ее измученных сверстниц — выехавших и не выехавших, — для которых каждое платье было (а для оставшегося большинства и является) событием, которым многое открылось в жизни (хотя бы всерьез — что чего стоит), а некоторым сквозь все это и подлинный смысл культуры и подлинная радость искусства. Я вспоминаю их и начинаю чувствовать ее несколько обделенной. Поэтому мне и становится ее немного жаль. Показалось мне, что она (не она, конечно, а ее родители за нее)

сменяла Россию даже не на Америку, а на Бруклин. И дело было не в том, что она уехала из России, а в том, что жила так, что могла ее начисто забыть.

Все это достаточно глупо с моей стороны. Да и вообще я впадаю тут в романтическую гордыню, в снобизм. Разве это так мало — стать просто хорошим и добрым человеком, матерью большого семейства? Ведь сам я знаю, что горячка массового самоутверждения, охватившая мир, ни к чему хорошему привести не может. Разве было бы лучше, если б этой горячкой заболела и она?

Нет, я так не думаю. И конечно, никак ее не осуждаю и не стремлюсь возвыситься над ней. Просто я люблю то, что я люблю. Мне просто захотелось выразить свое восхищение и любовь поседевшим девочкам и ослепительным женщинам моего возраста, интеллектуалкам с авоськами, рыщущим сегодня по опустевшим магазинам Москвы, Ленинграда, Киева и других городов в поисках продуктов, новых книг и билетов на Рихтера и Окуджаву. Дай вам Бог все достать и все вынести. Вам это мало теперь поможет, но я вас помню, люблю и никогда не предаю.

Да, я никак не ощущал закрытости общества, но все же Адин отъезд был неординарным событием моего детства. Неудивительно, что я ее запомнил лучше, чем она меня. Она уезжала в мир, в который я не стремился, но все же мне недоступный. И это тоже придавало, вероятно, какой-то вес этому событию. Больше вокруг меня никто за границу не уезжал. Тем не менее с отъезжавшими за границу я столкнулся еще раз, чуть позже и в другой обстановке. Но на их отъезде уже явственно лежала печать времени, верней сталинской руки, наложенной на время. Как говорится, атмосфера тогда непрерывно сгушалась, хотя это выражение неверно — ее непрерывно и намеренно сгушал Сталин.

Мой дядя Арон с тетей Шифрой сняли на лето комнату в Святошине (тогда оно еще было дачной местностью) и взяли меня с собой. Люди, которые сдали нам жилье, только что его купили и сами там пока не жили. В сарае же рядом с домом, когда мы въехали в него, обитали еще прежние хозяева. К моему удивлению, они оказались итальянцами и собирались в Италию. В сарае они жили в ожидании отъезда. Помню, как, стоя у этого сарая, окрестности которого были усыпаны мраморной крошкой, курил свою трубку глава этой семьи, чуть седоватый высокий стройный мужчина, дружелюбный и вежливый, похожий на стандартное изображение итальянца в учебнике географии (когда я был в Италии, я таких там уже почти не видел — видно, тип изменился). Итальянец был мастером по мрамору, и сарай этот раньше служил ему мастерской. Помню, что у них был еще мальчик Фино, любимец всей округи, года на три старше меня. Остальных членов семьи не помню. Жили эти люди здесь несчетное количество лет, сильно обрусели, были своими. Все это время они были итальянскими гражданами, и никого это не беспокоило. Но товарищ Сталин, превращая общество из просто закрытого в герметически закупоренное, такого безобразия перенести не мог, и им предложили на выбор — либо принять советское гражданство, либо выметаться. Они предпочли второе⁴⁰.

Во все глаза смотрел я на людей, добровольно уезжавших в фашистскую страну из страны социализма, и очень был смущен тем, что они мне не были неприятны. Сегодня, конечно, объяснять никому не надо, что с ними было бы, если б они поддались «пролетарскому интернационализму» и остались в СССР. Да самый этот факт был бы квалифицирован как «добровольно остался в СССР с целью шпионажа в пользу Италии»⁴¹. Но тогда мне это еще видно не было.

Уезжали они через несколько дней после нашего переезда. Набежала вся округа, многие плакали: их любили. Приехала, естественно, и их старшая дочь со своим русским или украинским мужем, из-за которого она и оставалась. Что с этой парой было дальше — не знаю. Хотелось бы думать, что ничего плохого с ними не случилось. Но на это мало шансов. Единственная надежда, что они были простыми людьми и о них могли забыть. А так — ей прямая дорога в лагерь за шпионаж, а ему за сообщничество и связь с собственной женой. А могли по отношению к ним обоим ничтоже сумняшеся обойтись и абстрактными и не требующими доказательств «буквенными» статьями: КРД — «контрреволюционная деятельность» или, того

⁴⁰ Теперь я понимаю, что это было неслышанной либеральностью. Думаю, что тут сказалось уважение Сталина к Муссолини как к серьезному мужчине и коллеге-диктатору, ведь отпущен был по требованию Муссолини даже левый коммунист Шелига, человек, прошедший политизолятору, то есть «много знавший» и вообще относящийся к категории, наиболее неприятной Сталину. Вероятно, есть факты, которые могут опровергнуть мое предположение (ведь это только предположение), но думаю, что некоторая психологическая достоверность за ним есть.

⁴¹ Иностранное гражданство не спасло от обвинения в шпионаже, например, американских инженеров и мастеров, работавших на Горьковском автозаводе.

интереснее, ПШ — «подозрение в шпионаже» (все равно те же десять — пятнадцать лет лагеря). Это не преувеличение, а печальная бытовая повседневность сталинщины.

Мы уже в ней жили. В этой связи мне вспоминается и та семья, которая купила квартиру у итальянцев и сдала ее на лето нам. Они явно не подходили под тип людей, сдававших в те времена дачные комнаты. Вида они были совсем не крестьянского, отца и матери с ними не было, а главой семьи был старший брат Виктор. У него были младшие брат и сестра. У обоих были экзотические имена — Адольф (Дольчик) и Ванда. Они приехали то ли из Фастова, то ли из-под Фастова и явно в спешном порядке. Жили пока у родственников. Виктор уже при нас устроился на близлежащий завод чертежником, а Дольчик и Ванда собирались в школу. Ванда была красавицей, будившей романтические чувства, с Дольчиком я хотел играть и разговаривать о книгах. Но приходили они довольно редко, и хоть были вполне дружелюбны, по-моему, старший брат не очень хотел, чтоб они появлялись здесь и особенно чтоб подолгу разговаривали с посторонними. Только он зря беспокоился — они и так никогда ничего о себе не рассказывали. Какая-то тайна окружала их всех. И она соблюдалась настолько отчетливо, что я ни разу даже не задал им вопроса об их родителях или прошлом, хотя, как уже говорил, вовсе не отличался тактичностью. Подозреваю, что приехали они вовсе не из Фастова и что их родители были какими-то крупными деятелями, то ли интеллигентными партийцами, то ли просто интеллигентами, до этих пор не преследовавшимися режимом. Но сейчас кто-то из них явно был арестован. Думаю, они были поляками, и это тогда очень «актуальное» происхождение (за него сидело много людей) тоже могло сыграть свою роль. Все это, в общем, я знал уже тогда. Знал и хотя все еще — пусть подавляя внутреннее сопротивление — верил газетам, всем этим людям сочувствовал. И не только от личной симпатии, а еще и потому, что то, что овладевало жизнью и губило их, было тупым, механистическим, подавляющим и мне враждебным. Я это чувствовал, хоть и не хотел в этом себе сознаваться.

Я сочувствовал этим людям, хотя совсем не уверен в их сочувствии моему сочувствию. Принять его значило принять противостояние, а мыслями я тогда и сам до него не дорос. Это противостояние было страшно тем, что отделяло от всего и всех даже больше, чем сам арест близкого человека. Мы уже жили в сталинской эпохе.

(Окончание следует)

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Читайте в 1992 году:

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

О католицизме

Католическое воспитание. (Из книги «Родная Европа». Париж. 1959)

О католицизме. (Из книги «Видения на заливе Сан-Франциско». Париж. 1969)

Речь в Люблинском католическом университете в июне 1981 года после при-
суждения звания почетного доктора.

Вступительное слово, перевод с польского и примечания Вл. Британишского.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ

*

ПАТОГЕНЕЗ И ЛЕЧЕНИЕ ГЛУХОНЕМОТЫ

Поэты и постмодернизм

...все скребу по сусекам
слова эти глухонемые.

Виталий Кальпиди.

...я как будто составлен тобой
из осколков твоей немоты...

Иван Жданов.

уже не кажется странным
что люди
не умеющие говорить
обвиняют тебя
в неумении слушать

Нина Искренко.

...но прозреваешь, когда молчишь.

Юрий Арабов.

1

Какое точное название дал своей статье Вячеслав Курицын: «Постмодернизм: новая первобытная культура» («Новый мир», 1992, № 2). Умри, Слава, лучше не скажешь! Действительно, от предложенной концепции веет какой-то первобытной простотой — ведь если доводить ее основные тезисы до логического конца, то либо выходит, что все мировые шедевры от «Дон Кихота» до «Евгения Онегина» постмодернистичны (во всех них мы найдем и иронию, и цитатность, и пародию, и авторефлексию, и ритуальность), либо, наоборот, получается, что все предшествующее сегодняшнему периоду в искусстве — одна лишь предьстория, а сама-то, истинная, история литературы начинается здесь и теперь. Что поделаешь, со времен предисловия к драме «Кромвель» Виктора Гюго каждое новое литературное течение с детской (первобытной) резвостью переставляло кубики истории культуры, с тем чтобы на самую-самую вершину пирамиды водрузить свой собственный кубик.

Я вовсе не ставлю перед собой цель развернуть рядом или супротив курицынской еще одну концепцию постмодернизма. Я лишь хочу попытаться прояснить некоторые распространенные недоразумения, накопившиеся вокруг отечественного постмодернизма, — и тем самым включиться в предложенную редакцией «игру в мэйл-арт».

Одно из самых типичных — неразличение модернизма, авангарда и постмодерна. Нынче у нас все попросту: то, что раньше именовали авангардизмом, теперь стало постмодернизмом. Всего и забот-то — новое слово выучить. Между тем на самом деле не так все элементарно. Андрей Белый — безусловно модернист, но никак не авангардист. То же можно сказать и о Блоке, Ремизове, Сологубе. Даже Пруст, Кафка, Джойс — признанные классики модернизма — вряд ли имеют отношение к авангарду. Модернизм во всех его многообразных вариантах стремится постигнуть и во-плотить знание о некоей сверхреальности, будь то мистическая сфера символизма или экспрессионистические бездны мирового взрыва; либо пространство подсознания,

От редакции. Все статьи в этом разделе представляют собой отклики на материал о постмодернизме, опубликованный в № 2 нашего журнала за этот год.

осваиваемое сюрреализмом. Модернизм предполагает, что именно в этой сверхреальности и заключена подлинная истина бытия — при этом абсурдность и богооставленность наличной действительности, по существу, приняты как данность: это исходная точка. Важно, что сверхреальность модернизма — это всегда суверенный и самодостаточный мир духовной свободы, универсум индивидуалистического сознания, взятый в определенном смысле повороте. Однако модернизм не порывает с существующими языками искусства, хотя и вносит в них много нового и сильного. Эта двойственная природа модернизма отразилась даже в названии, которое получил период расцвета модернизма в русской культуре, — «серебряный век».

Авангардизм идет еще дальше. Поиски сверхреальности приводят к поискам сверхискусства, то есть искусства, отказывающегося от своих родовых признаков, взорвавшего привычные формы художественной коммуникации, выходящего за рамки эстетического непосредственно в плоскость жизни как таковой. В сущности, авангардизм хочет перестать быть искусством, став творчеством самой жизни. Он обыкновенно начинается не с художественных текстов, а с умозрения, манифеста, требующего веры в истинность своих постулатов. Здесь, кстати, несомненно присутствует связь и с другой важной чертой авангарда — он всегда стремится преодолеть отдельное человеческое «я» ради коллективных ценностей, имеющих отношение ко всем без исключения. В этом смысле нет большой разницы между создателем «театра жестокости» А. Арто, апеллирующим к бессознательному, и соцреализмом, поэтизирующим классовую ненависть.

Сегодня многие пишат о соцреализме как о некоем суперавангарде (Б. Гройс, Э. Надточий, Е. Добренко, С. Кропотов). Это и так и не так. Соцреализм — это авангардизм особого рода, реализовавший свою программу-максимум, овладевший монополией не только в сфере искусства, но и поставляющий лекала, по которым государство кроит саму жизнь. Соцреализм поэтому отказывается от авангардистского бунтарства: ему на смену приходит наглая бюрократическая респектабельность. Соответственно и разрушение языка искусства стало выдаваться за новую жизнь авторитетной традиции русского реализма (хотя для этого пришлось в первую голову слепить сугубо авангардистские муляжи, симулякры классиков русской словесности).

Однако интересная деталь: русский футуризм и акмеизм возникли почти одновременно как реакция на одни и те же процессы в искусстве и жизни. И если модернизм порожден глубоким и трагическим сознанием того, что «Бог умер», то расширение сферы этого сознания буквально на все в мире — в том числе и на непреходящие ценности уникального человеческого «я» — ставит модернизм в положение постоянного кризиса. Вот именно ощущением и осознанием того, что мир приобрел новые очертания, как писал Бердяев, «нарушаются все твердые грани бытия, все декристаллизуется, распластывается, распыляется. Человек переходит в предметы, предметы входят в человека, один предмет переходит в другой предмет, все плоскости смещаются, все планы бытия смешиваются», — это чувство и понимание, многократно обостренные революциями и последовавшим за тем катастрофическим опрокидыванием всех жизненных абсолютов (кстати, дата лекции, из которой взяты приведенные выше слова Бердяева, — 1 ноября 1917 года), это и вызвало к жизни, с одной стороны, авангардизм (футуризм), объявивший сам процесс разрушения высшей и окончательной ценностью, а с другой — акмеизм.

«Доктрина, принципы акмеизма были такими верными и сильными, в них было угадано что-то такое важное для поэзии, что они дали силу на жизнь и на смерть, на героическую жизнь и на трагическую смерть» — эти слова беспощадного на оценки Варлама Шаламова из его письма Н. Я. Мандельштам дорогого стоят: выходит, акмеизм не опровергнут тем адским опытом ГУЛАГа, которым Шаламов поверял все без исключения культурные ценности. Сам Шаламов определял существо акмеистической концепции как «религию поэзии, религию искусства». Общеизвестно другое определение акмеизма: «госка по мировой культуре» (Осип Мандельштам). Акмеизм не только пронзительно ощутил хрупкость и ужас человека в сплошь относительном мире, не только заново научился любить красоту в повседневных, плотских мимолетных мгновениях этой на глазах теряющей очертания жизни, но и нашел средства сопротивления наступающему хаосу мироздания и истории: соотнося, и тем самым увязывая, частицы души с тканью мировой культуры, с материей цивилизации. В этом смысле акмеистичны не одни лишь акмеисты, Мандельштам, Ахматова, Гумилев, но и Ходасевич, но и (в прозе) Вагинов, Газданов, Добычин, Хармс, в определенной степени — Булгаков и Зошенко. Но в особенности! — Набоков с его вкусом к мельчайшим подробностям бытия, с его беззащитными гениями, пыгающимися найти спасительную почву в тайных мирах, просвеченных лучами культуры и поэзии, будь то детство, шахматы, память о России или (почти тавтология) собственно литература.

Акмеизм — это скорее всего ветвь, или, точнее, мутация, модернизма. Но, по-моему, это именно та ветвь, которая — по крайней мере в русской литературе — ведет к постмодернизму. Смешно, разумеется, объявлять Мандельштама постмодер-

нистом. Смешно хотя бы потому, что он, как и Набоков, масштабнее и постмодернистской и модернистской доктрины. Смешно, по-моему, толковать о «Машеньке» как о постмодернистском романе (ибо в таком случае как прикажете поступать с «Улиссом» или «Волшебной горой» с их цитатностью, с их литературной игрой — ведь это признанные вершины собственно модернистской культуры!) — но пример Набокова существует прежде всего как наглядное, выразительнейшее доказательство плавной эволюции от акмеистической ветви модернизма к специфическому русскому постмодернизму.

По сути дела, Мандельштам в поэзии, Набоков в прозе с колоссальным опережением прошли (и даже оставили далеко позади) те пути, на которых наша словесность лишь в последнее время пытается найти свое неповторимое лицо. Правда, одно дело — прозрения гениев. Совсем другое — сформировавшееся литературное течение, такое, как отечественный постмодернизм 60—90-х годов. Я не стану вновь перечислять всем известные имена тех, кто по праву почитается лидерами этого течения, достаточно напомнить об авторе поэмы «Москва—Петушки» и поэте «конца прекрасной эпохи». Скажу только о том, что — по меньшей мере в наших социокультурных обстоятельствах — становление этого литературного течения воплотило вполне реальный и объективный процесс тотальной релятивизации общественного сознания, на долгие годы жестко скованного догмами Передового Учения. Правда, в 60-е годы релятивизм миропонимания, в том числе и эстетического, был еще фактом личного самостояния — сегодня это факт массового сознания. Последнее для литературы вряд ли плодотворно.

В. Курицын разъясняет ключевую для понимания постмодернистской эстетики формулу «мир как текст» следующим образом: «Вторая реальность принципиально перекрывает первую, воля и законы культуры выше воли и законов «действительности», материя духа приобретает сугубую материальность, не текст существует по законам мира, а мир по законам текста; эта инверсия и есть, очевидно, начало постмодернизма». В ответ резонно будет заметить, что формула «мир как текст» совсем не означает отмены жизни культурой: речь идет о специфической релятивистской концепции действительности, которая, как выясняется, лишена самостоятельной внутренней логики, очевидных и абсолютных ценностей — и потому должна быть воспринята как условный текст; весь вопрос в том, на каком культурном языке его читать. Собственно, процесс постмодернистского творчества — это и есть процесс «языковых игр», перебора и подбора культурных языков и их сочетаний. При этом, правда, проступает еще одна закономерность: истина о «сплющ относительно» мире не принадлежит ни одному из культурных языков, адекватный образ возникает лишь на скрещении различных кодов и поэтических систем. Впрочем, философская логика этого типа культурного сознания исчерпывающе, на мой взгляд, описана М. М. Бахтиным в его теориях полифонизма и романного слова (вот, кстати, фигура, дополняющая в области теории культуры то, что было сделано в поэзии Мандельштамом, а в прозе Набоковым).

Но именно в силу всех этих причин приемы, столь тщательно перечисленные В. Курицыным, сегодня ничего не объясняют ни в постмодернизме, ни в других сопредельных ему течениях, ни в современном реализме. Релятивистское сознание, ставшее нормой, создает всеобщую постмодернистскую ситуацию, в которой «чистые» реалисты — вроде В. Маканина, Л. Петрушевской, Ф. Горенштейна — в принципе не могут обходиться без эстетических красок из постмодернистской палитры. Речь идет не о приемах, а о художественной философии постмодернизма и ее динамике: ведь тут тоже, к счастью, ничто не стоит на месте.

Американскому романисту Джону Барту, одному из великих западных постмодернистов, принадлежат две разные, разделенные двенадцатью годами статьи о постмодернизме: первая называлась «Литература истощения», вторая — «Литература восполнения». У меня такое чувство, что нам еще только предстоит пройти путь от понимания постмодернизма как «литературы истощения», сосущей соки из культуры прошлого, замкнутой на «внутрикультурных заморочках», к осознанию роли этой поэтики в познании «литературы восполнения», тем более что восполнить нам есть что, и в культуре, разумеется, тоже. Но для того чтобы двигаться по этому пути, надо бы освободиться от восприятия отечественного постмодернизма как некоего монолита. К счастью, по-моему, это миф. (К счастью, потому что монолит больше подходит для могильного памятника.) Он очень разный. Этот наш постмодернизм. И чтобы проявить меру этих различий, а вместе с тем и попробовать уловить логику колебаний и внутренних противоречий «текущего» постмодернистского процесса, я выбрал почти наугад из вышедших в последнее время поэтических книг четыре, написанные, на мой вкус, достаточно представительными для «новой волны» авторами: Иваном Ждановым («Место земли». М. «Молодая гвардия». 1991), Юрием Арабовым («Автостоп». М. «Советский писатель». 1991), Ниной Искренко («Или». М. «Советский писатель». 1991) и Виталием Кальпиди («Пласты». Свердловск. 1990: «Аутсайдеры-2». Пермь. 1990).

2

Ей-богу, не шутки ради я вынес в эпиграфы к статье те строки каждого из моих героев, в которых так или иначе обыгрываются мотивы немоты и глухоты поэтического сознания. Это действительно то общее, что бросается в глаза. Здесь Орфей глух, здесь Пророку вопреки традиции слово не даровано — оно у него отнято: «Забудь, что с небом ты когда-то был на «ты» — уже вот-вот веретено закружит пряжу, пойдет приказывать, собирая на рубаху парализующую кротость немоты». Но главное (прямое) проявление этого звучного молчания — мощная, затягивающая, гипнотизирующая даже, смысловая «темнота» поэзии Жданова. О ней еще после первой (нашумевшей!) книги этого поэта хорошо написал критик Е. Ермолин: «В поэтическом мире И. Жданова слово окликает слово, напряженно ищет с ним связь. Возникает емкая сеть для взаимопересечений, перекличек, смысловых опосредований. Но слишком часто чего-то тут не хватает, соединительная ткань расплывается, смыслы так и остаются обособленными, а слова одинокими. Возникает грандиозный и величественный словесный обвал, сдвиг общей речи, смысловые развалины, неожиданно торжественные, оттого что овены обычно ясным, строгим смыслом». Сегодня, правда, очевидно, что эти разрывы в соединительной ткани — прямое порождение внутреннего сюжета поэзии Жданова. По-своему они логичны и необходимы.

Мне кажется, наиболее пронизательное, хотя и не прямое объяснение этой (глухо)немоты поэтического слова дает сам Жданов в авторском предисловии к своему сборнику, где пытается объяснить, в чем же духовная трагедия его поколения: «Может быть, она в том, что мы слишком рано поняли рассогласованность обломков культуры и невозможность привести их к согласованию». Жданов вглядывается в текст бытия, текст природы — и обнаруживает повсюду лишь одно: спутанное, неустойчивое, хаотичное мироздание. Здесь все навыворот, здесь нет земного притяжения, здесь абсолютная невесомость. «Мы входим в этот мир, не прогибая воду, горящие огни, как стебли, разводя. Там звезды, как ручки, текут по небосводу и тянутся сквозь лед голодный гул дождя». Тут реально только движение — движение в пустом пространстве: «Никого на дороге: ни мира, ни Бога — только луч и судьба преломиться ему. И движеньем своим образует дорога и пространство и миг, уходящий во тьму». И небо здесь не свод и не твердь. Это небо, притягивающее своей бессмысленностью: «На обочине неба, где негу ни пяди земли, где немислим и свод, потому что его развели со своим горизонтом, — вокруг только дно шаровое, только всхлип бесконечный, как будто число даровое набрело на себя, и его удержать не смогли».

Грань, отделяющая кипящий жизнью хаос от бездны небытия, незаметна — «мы стоим на пороге, не зная, что это порог». Потому-то с такой горькой привычностью звучит здесь мотив онтологического саморазрушения: «Здесь и теперь в этом времени вечности нет, если, сражаясь, себя разрушает оно, если уходит в песок, не стесняясь примет, чуждое всем и для всех безупречно равно». Отсюда и особое понимание «потерянности» собственного поколения — это потерянная не социальная, это затерянность в хаосе бытия: «Мы — верные граждане ночи, достойные выключить ток».

Но тогда как и чем жить поэту, не существующему вне «обломков культуры», не умеющему дышать, если «музыка поражена»? В чем здесь и теперь, между хаосом и ночью, может реализоваться его духовная свобода или, по крайней мере, воля к свободе? Перебирая экзистенциальные варианты, Жданов разрывается между окном и зеркалом — вот, по-моему, еще два крайне важных для понимания этой философской коллизии символа его поэзии. Простейший вариант — эмиграция в зеркало: «Останься, мир, снаружи, стань лучше или хуже, но не входи в меня!» Правда, в стихотворении «Контрапункт» этот исход легко дискредитируется: «Пусть я уйду в иголку, но что мне в этом толку?.. и там, внутри иголки, как в низенькой светелке, войду в погасший свет, себя сведу на нет». Но может быть, душа сохранится, если уйти в зеркало вдвоем, вместе с любимой (вариант, кстати говоря, принципиальный для Набокова — от «Дара» до «Лолиты»):

Внутри рояля мы с тобой живем,
из клавишей и снега строим дом.
Летучей мыши крылья нас укроют.
И, слава богу, нет еще окна —
пусть светятся миры и времена,
не знать бы их, они того не стоят.

Приятно исцелять и целовать,
быть целым и другого не желать,
но вспыхнет свет — и струны в звук вступают.
Задело их мышинное крыло,
теченье снегопада понесло,
в наш домик залетела окон стая

Музыка дар мешают этому способу спасения от хаоса, музыка размыкает зеркало в «окон стаю». Что ж, тогда иной — отчаянный! — вариант: превратить стены души из зеркал в окна, впустить хаос внутрь себя и самому окунуться в броуновский поток, чтобы в идеале преобразить хаос в гармонию или, в случае поражения, стать последним свидетелем бытия: «Ты — последняя пядь воплощенной вины, ты — свидетель и буква света, ты — свидетель, привлекий к чужому суду неразменную эту беду». У Жданова есть даже образ-утопия, своего рода поэтический ритуал диалога, возвращающего устойчивость и небу и земле: «И тогда мы пойдем, соберемся и свяжемся в круг, горизонт вызывая из мрака сплетением рук, и растянем на нем полотно или горб черепахи, долгополой рекой укрепим и доверимся птахе, и слонов тяготенья найдем для разгона разлук». Не случайно и многие стихи Жданова обращены к «ты» — некоему абстрактному собеседнику, вернее, к собственному отражению в зеркале. Ведь в том-то и дело, что диалог не удастся, и, вглядываясь в другого, поэт видит только себя — окно превращается в зеркало, точнее, во множество зеркал, что особенно болезненно: «Где зеркало теперь мое? Бродячим отраженьем, не находя ответных глаз, по городу бреду. Грозит мне каждое окно моим прикосновеньем. Мне страшно знать, что я себя нигде не обойду. Я натыкаюсь на себя и там, где не был даже, весь город мною заражен — повержен в колдовство...»

Но в то же время — как насыщен смыслом этот поэтический жест, каким искренним трагизмом веет от этого неизбежного молчания, от муки глухонемоты: «Каждый выдох таит черновик завершеного мира. У меня в голове недописанный тлеет рассвет. Я теряюсь в толпе. Многолюдная драма Шекспира поглощает меня, и лицо мое сходит на нет». На мой взгляд, лирика И. Жданова — это по-своему уникальное сочетание строгой романтической культуры с постмодернистским сознанием. Не то романтический постмодернизм. Не то постмодернистский романтизм. Самое интересное здесь — наблюдать за тем, как разрушаются романтические оппозиции, как размываются границы между миром души и внешним хаосом, между небом и твердью, между светом и мраком, между зеркалом и окном. А главное — как внутри высокого монологического сознания возникает острая потребность в диалоге. Потребность, трагически не умеющая себя осуществить.

Известный теоретик постмодернизма американец Ихаб Хассан напоминает миф об Орфее, разорванном на куски менадами: даже отрубленная голова Орфея поет, даже место, где зарыты его останки, наполнено соловьиными трелями. И. Хассан понимает этот миф как метафору постмодернистской эстетики и задается вопросом: «...не должна ли голова поэта быть отрублена для того, чтобы она могла продолжать петь? Позвольте мне поставить вопрос более резко: не должна ли жизнь периодически сокрушать искусство для того, чтобы страховать здоровье и превосходство человека? Не должны ли слова стремиться к молчанию?» Один из его собственных ответов на эти вопросы звучит так: «Молчание разворачивается как метафора того нового отношения, которое литература выбирает, когда ей необходимо самоадаптироваться».

Выходит, сегодня, когда наша литература пробует, утратив роль социального вождя, вернуться к самой себе — иначе говоря, самоадаптироваться, — трагическая глухонемота, молчание, подобное тому, что звучит в поэзии Ивана Жданова, по большому счету не только не бесполезны, но и более плодотворны, чем бодрая говорливость, обычно претендующая как минимум на новое открытие Америки.

3

Виталия Кальпиди никак не назовешь подражателем Жданова (сам он скорее склонен признавать внутреннее родство с Парщиковым, что, на мой взгляд, также весьма проблематично). Но со Ждановым у Кальпиди множество перекличек: и в конкретных мотивах, и в общих очертаниях образа мира — глухонемого («Зачехлена трава, вернес, шум травы примят глухонемым движеньем снегопада...»), «...в глухонемую жару мы при помощи пальцев играем в людей говорящих...»), разъятого на неравные фрагменты и продолжающего саморазрушаться («Разрушается все — даже замкнутые узкоколейки на ободках монет...»), подвластного лишь темной, невнятной, а то и вовсе отсутствующей логике хаоса, мира, лишнего небосвода: «Что мне Бог, если небо над нами не щит Ахиллеса, а со свистом дыра...»

Все так, но у Кальпиди нет той напряженной, трагической безысходности, что есть у Жданова. И это никак не дефект его сознания — у него иной фундамент мировосприятия. Да, Кальпиди готов признаться, что «от слабости становятся пийтом» и что первотолчок поэзии — ужас перед жизнью: «Жизнь боится меня, только я ее трижды боюсь. Если б духу хватило... но к страшному я не готов: потому и портвейн, потому и поет Мистер Блюз». Это цитата из стихотворения, которое так и называется — «Признание в профнепригодности». Но чуть позже — в «Письме к самому себе» — он, перечисляя всевозможные, в том числе и посмертные, подянки

мироустройства, в то же время спокойно констатирует: «А слово поэта, что часто рождается в тризне, частично сильнее, чем хаос (и это — понятно)».

За этими констатациями и за раскованной интонацией стихов Кальпиди какая, однако, стоит художественная логика? Начать хотя бы с того, что для Кальпиди стихи не результат жизни, а, наоборот, та сила, что формирует и судьбу и в конечном счете структуру реальности. Во всем виноваты стихи. Формула «мир как текст» здесь наполняется осязаемо конкретным, даже просто биографическим смыслом:

...лет до восьми — я в поисках отца,
затем за мной гоняется бумага.

Она ленивей света по ночам,
но трескратней кожи человечесьей.
Я столько лет, балбес, в нее стучал,
но даже первый слой не изувечил.

Так вот, я жизнь на буквы разменял.
(Меня учили алфавиту тролльши.)
Я честно жил лет до восьми — не больше,
но это ясно вам и без меня.

Тут особый драматизм: неотвязное, как горб, восприятие жизни исключительно сквозь поэзию как бы лишает реальность самостоятельного значения, внутреннего, органического смысла. Отсюда у Кальпиди лейтмотивы такого типа: «Все конечно. И бог молекулярен. Он вместо снега ссыпал алфавит»; или: «С неба валится не вода, а нелепое слово Дождь...». Конечно, здесь чувствуются отголоски пастернаковских «акrostихов дождя» (Кальпиди и не думает скрывать учебы у раннего Пастернака), но там, где у классика был восторг от изначальной поэтичности самой жизни, у нашего поэта зияет мучительное ощущение и с ч е з н о в е н и я реальности под грудой слов — именно грудой, набором букв, отдельными единицами языка, никак не выстраивающимися в смысловые ряды высокого порядка. Вот почему, если вдуматься, не так уж и парадоксальны такие, скажем, стихи Кальпиди: «Конечно, ты можешь запоем иероглиф полета осы читать, для тебя — не пустое лиловые клубни росы, травы атлантической ропот, потертой на сгибах, двойной, и неба пугающий шепот, что все зовут тишиной... Вот — птица нырнула под ветер. Вот — мать, как в гербарии лист. Вот — то, чего нету на свете, иди и к нему прислонись» (разрядка моя. — *М. Л.*). То ли слова создают фиктивный, а потому, по сути, пустой и глухонемой мир, заслоняющий истинные смыслы бытия, то ли, напротив, невесомая тяжесть слов так легко проламывает картину реальности, что сама она, эта картина, всего лишь плоская бумажная декорация, прикрывающая молчаливую бездну тьмы? И то и другое решение отзываются в стихах Кальпиди. Но в любом случае оказывается, что искать адекватное жизни Слово означает разрушать ту хрупкую иллюзию логики, строя, лада, которая, в общем, и делает абсурд существования терпимым и привычным. Получается, что последним виновником обступающего хаоса остается не кто иной, как сам поэт: ведь это он нагружает жизнь непосильной ношей слов. И лирический двойник Кальпиди все время укоряет себя за то, что лишил жизнь настоящего значения настолько, что даже самоубийство — обесценено: «А ответ на вопрос: почему не включается газ? — прост, поскольку и смерть станет слишком бумажной и книжной. Напоследок скажу: больше всех я дурачил себя. Спи, читатель, на этой заполненной шрифтом странице. Слева-справа белеют (ты понял какие?) поля: не исхожены мной, не загажены зверем и птицей».

Таким образом, результат поэтического высказывания оказывается, в сущности, заведомо предпрешенным — но зато самодостаточное значение приобретает черновой процесс порождения поэтического слова, где опять-таки даже молчание, не заполненная лексемой ритмическая дыра («пауза», как обозначает этот ход Кальпиди), не менее значима, чем собственно слово. Он может вскользь, в скобках, бросить: «Здесь пауза о дочери и смерти», — и в таких, как, впрочем, и во многих других, «паузах» Кальпиди помимо эффекта спонтанной речи прорывается стремление освободить словесную ткань от необходимости выражать то, что и без слов понятно; эти «паузы» встраивают в поэтический поток как бы окошки бытийного молчания.

Ты помнишь, Алеша... Но так начинать не годится.

Я не разучился реветь над строфой Пастернака.
Как там Коленгаген, что пьет, мать ее, за граница?
(Тут «Письмами к римскому другу» пахнуло, однако.)

Сузается жизнь. Постепенно, конечно, не сразу.

.....
Подстроено все. Кто сказал, что достаточно сил
все время стоять под тамтамы на скользком татами,
ведь даже Сизифа (чего уж скрывать!) придавил
в тринадцатой ходке сорвавшийся (пауза) камень.

(«Письмо Алексею Парцикову»)

Паузы, все более частые, напоминают вдох или моргание. Объяснение всему этому самое явное. Темнота — регулярное состояние познающего себя мирового текста. «Космос громко моргнет, не имея ни глаз, ни ресниц, чтобы вновь доказать, как бессовестно временны мы». Кальпиди не утешает себя: он отлично знает, что миг промежутка в зрении космоса, культуры и истории вполне может накрыть всю человеческую жизнь, буквально все в ней лишив ценности и смысла: «Ты жмешь к груди отсутствие ребенка, и входим мы уже в предбанник Ада, и на тебе кровавая фата (а в черно-белом варианте съемки фата черна, как зрение крота)». Он не забывает о тех, кто жизнью заплатил за знание того, что «темнота не жена, но, возможно, подруга поэта» — от Осипа Мандельштама до Андрея Тарковского, — и неизбежность этих жертв ничуть не ослабляет боли:

...и что кроты — наследники Гомера,
и норы их длинней, чем Илиада:
такой расклад, поверь мне, не химера,
хотя на слово верить мне не надо.

Убитый снег упал лицом на поле.
Кто был охотник, кто дуплетом бил,
кто говорил, что есть покой и воля?

Я это никогда не говорил...

(«Памяти Андрея Тарковского»)

Убийственно погруженное в хаос мироздание (а социум всего лишь орудие убийства) — это, мне кажется, принципиальный акцент. Кстати, недаром Кальпиди в полемический контекст помещает пушкинские слова «покой и воля». Пушкин для Кальпиди — это идеальный образ поэта, адекватного «световой фазе» мирового ритма. Но, собственно, единственное, что способно оправдать мрак, это уничтожающий его свет, отсюда пушкинский мотив в стихотворении, посвященном «поэтам, чья юность пришлось на 70-е годы»: «Вот Пушкину не нужен логопед, а мы до наглости косноязычны. Ни снега, ни травы не надо. Нужен свет, который нас сведет практически на нет, как профессионал, застукав нас с поличным...».

В тексте мирового космоса (а это постоянный фон всей лирики Кальпиди) может действовать одна только логика — логика мифа. И дело даже не в том, что в его стихах то и дело пере-игрываются сюжеты античной мифологии. Этого могло и не быть вовсе. Дело именно в л о г и к е мифа, логике мирового кругооборота, где хаос переходит в космос, а космос вновь (правда, уже на время) замещается хаосом, где смерть готовит новое рождение, в свою очередь устремленное к небытию; где темнота лишь преддверие света, а свет — первый шаг к темноте. Это мифологическое миропонимание исключает трагизм и безысходность. Правда, парадокс этого мифа в том, что выстроен он не вокруг каких-то внеличных и всеобщих ценностей — но вокруг одинокой личности, создающей тотальную недостачу каких бы то ни было реальных ценностей вообще. Отсюда парадоксальность отношений Кальпиди и его лирического персонажа с темнотой хаоса — не преодоление, не борьба, даже не отшатывание (как у Жданова), но, может быть, скорее горькая и самоироничная «апология Ночи?» (именно так, с вопросительным знаком, названо одно из лучших стихотворений Кальпиди):

«Как мне хочется выйти из этой остуженной ночи», — писал я, но с этим завязал, и сквозь буквы пробилась полынь и пустая трава.

Раньше думал: поэт — небожитель, учитель и прочая феня.
А теперь, капитально достроив крошечную ночь,
Обживаю ее: вот варенье варю, вот солю (как их то бишь?) соленья,
вот нормально упала, споткнувшись, моя слепоокая дочь.

Обживание ночи — это опять-таки попытка диалога с хаосом, а слепоокая дочь — жуткий знак того, что такой диалог. к несчастью, может быть лишь обоюдоострым.

Кстати, в том, что сам Кальпиди называет размагниченным зрением; в раскованности интонации, иной раз переходящей в развязность, чувствуется стремление хотя бы с помощью формы (а тут и разноstopные трехсложники и крайне нестрогая рифмовка) форсировать эту тенденцию к диалогу. Но стремление форсировать процесс, по-моему, может быть рождено лишь одним — пробуксовкой: в тот самый момент, когда уже произнесенное слово требует ответственной платы, «взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез». Позволяет ли насквозь игровой постмодернистский стиль уйти от этой вечной коллизии или, как и всегда, остается дилемма: либо экзистенциальная жертвенность — либо беличье колесо самоповторов? Любые советы в этой ситуации отдают пошлостью. Сам Кальпиди, похоже, пока что длит паузу:

Вино — это крылья, которые в общем-то — плечи,
Вино — это вира, которая в общем-то — майна.

По крайней мере без вранья.

4

Однако уже поставлен — и в редакционном послесловии к статье В. Курицына, и в недавней колонке поэта Сергея Стратановского в «Литературке» — и требует ответа вопрос о том, не стираются ли в постмодернизме эстетические границы между искусством и подделкой, между художественным фактом и его симуляцией. Это, я бы сказал, внешний поворот все того же релятивистского мировосприятия, о котором шла речь выше, — постмодернистам приходится пожинать его несладкие плоды. И действительно, такой вопрос совершенно закономерен. Он прямо связан с проблемой критериев художественности. Уже «классический» авангард, резко примитивизировав литературную технику, по сути дела, оставил единственный и универсальный критерий художественности — новизну, абсолютный приоритет изобретения. Но постмодернизм снял и этот абсолюте, выдвинув на первый план нескрытую и тайную игру с узнаваемыми и неузнанными, но всегда уже существующими чужими и культурными языками. Что в итоге — полный беспредел? На мой взгляд, нет тут никакого беспредела, есть и здесь свои внутренние, непреодолимые законы сугубо эстетического порядка. Только вот какие?

Если не ответить, то хотя бы наметить очертания ответа на этот — действительно важный — вопрос могут, по-моему, помочь тексты Юрия Арабова и Нины Искренко. Они с этой точки зрения более чем показательны.

У Юрия Арабова устойчивая репутация элитарного, эстетского даже, автора-сценариста, регулярно сотрудничающего с таким же элитарным и эстетским Сокуровым. Тем более удивляют вошедшие в его, Арабова, книгу «Автостоп» такие, скажем, стихи:

Товарищ Ежов и товарищ Ягода!
Вот голова моя, как початок,—
найдите мне место в каком-нибудь лагере,
а то не хотят меня, гады, печатать.

Или же другой пример — целая поэма про комара: «Ох, как же он спать мешал, комарище, шприц тонкотелый! Я правой бил, но он был левша. Всю ночь по-державински, не спеша, пускал меня в дело». И в таком духе вся поэма!

Ну ладно стиль «стёб», что-то вроде соц-арта, ироническая разновидность постмодерна. Но почему-то по мере чтения книжки Ю. Арабова патентованные постмодернистские приемы вызывают все большее раздражение. Я никак, например, не могу понять, зачем нужно «полистилистически» скрещивать Мандельштама с Лениным («Дайте Ленину стрекозу, догадайтесь, почему») и как это помогает выразить такую, честно говоря, весьма незатейливую мысль: «Я б с удовольствием переселился на Марс, но, говорят, там скудее масть растений, солнца, и реки уже... А впрочем, чем здесь, мне не будет хуже?» Я никак не могу уловить смысл ассоциаций с евангельским мифом о Рождестве в достаточно нелепом стихотворении «Про боцмана» («Придя, волхвы не снимали бот и не делили коньячных порций, хотя знали твердо — такой убьет. Не убивай же их, боцман!»). Никак не соединяются изощренная иной раз игра культурными знаками, мотивы хаоса, химерические образы мироустройства — с трюизмами, плоскими рассуждениями на избитые темы, юмором среднего кавээнковского уровня. Вообще от стихов Арабова возникает впечатление вполне культурных, образованным человеком выполненных, риторических упражнений на темы обших мест.

Недаром в стихах Араובה то и дело проступает интонация позднего Маяковского: «Берега тут не шатки, не топки, белы стволы, как девичьи шалости. Большак не вденешь в ушко иголки, а реку или ручей — пожалуйста». Может быть, это пародия? Но для пародии тут маловато остроты, соли, гротеска.

И тут закрадывается сомнение: уж не провокация ли вся первая половина сборника, где постмодернистские трюки украшают банальную риторичку? Недаром же в стихах, завершающих книжку Араובה, появляются строки, явственно осуждающие чуть не все предыдущие тексты. Именно здесь опять возникает тема глухонемоты. Вот стихотворение «Ветрено» (лучшее, по-моему, из всей книжки) — это стихи о цене поэтического слова, в том числе и своего собственного, среди пустого пространства хаоса: «Между двух пустот образуется ветер, и эта связь придаст им имя... Если выстроить бублики в непрерывную цепь, то внутри их завертится ураган. Кто живет внутри ветра? Мнимые величины, тени дубов, чьи тела разрушены, пустые тревоги, следствия без причины и не воплотившиеся в пустомелю души». Мизерная цена, надо сказать. Цена пустоты. И если это автопортрет поэзии, то немота — ее первый признак.

Ветрено, други мои. Глубокие дыры, как рыбы, вдыхают ртами.
И твой же крик возвратится в легкие,
едва поднявшись к твоей гортани.

А в другом тексте («Размышление о градe Козлове») мотив молчания вообще превращается в образ полного растворения, и исчезновения «я» среди обломков пустоты: «Когда полжиши во сне кричишь, становишься хлопотно и обидно, но прозреваешь, когда молчишь,— сухой березы зимой не видно». А последние строки последнего в книге стихотворения звучат как прямое завершение этого сюжета: «Ты свое лицо проиграл вчистую, жизнь и смерть поменяв местами...» После всего этого совсем иначе понимаешь и название книжки — «Автостоп».

Вообще, по-моему, метасюжет книги Араובה (похоже, тщательно выстроенный автором) — это самое в ней интересное. Это метасюжет, обрубаящий мотивом молчания, в сущности, целую ветвь отечественного постмодернизма. Я имею в виду так называемую ироническую поэзию, в своих «крутых» вариантах ведущую к концептуализму приговского толка. Араובה в своей книжке сначала добросовестно отработывает расхожие модели «иронической поэзии» со всеми ее пороками — а затем столь же добросовестно, хотя и прохладно, рационально, без откровений, дает своеобразный лирический комментарий к этим текстам. (Кстати, я вполне допускаю, что такова просто логика эволюции этого автора.) И тут обнаруживается, как обманчива ирония и ироническая позиция вообще. Ведь еще совсем недавно казалось, что ирония спасительна именно потому, что она, как бронжилет, облегает душу, позволяя ей самосохраниться даже среди абсурда, даже в гуще хаоса. Араובה, на мой взгляд, достаточно убедительно (хотя зачастую методом «от противного») доказал, что ирония сегодня уже превратилась в стереотип, в банальную форму существования. Ирония не только «заменила мировоззрение» (выражение М. Золотосова), но и автоматизировалась, стала механическим жестом души — и выродилась в пошлость. Кстати, и отторжение постмодернистской поэтики от иронических эскапад, столь явное у Араובה, свидетельствует, по-видимому, о том, что ирония — по своей природе форма диалогическая — сегодня мешает глубокому диалогу с миром и культурой, так как подменяет его поверхностной имитацией.

Ирония не может защищать от хаоса, так как сама становится инструментом нивелировки. Тотальная ироничность приводит к тому, что «от себя» уже нечего сказать: все чужое, все напрокат. Исчезает первый участник диалога — «я».

То, что у Юрия Араובה составляет предмет самоанализа, то в книге Нины Искренко заключено в броскую рамку и повешено на видное место как сертификат, подтверждающий и збранность автора. Оформленная самой Н. Искренко книга «Или» по своему замыслу решена так, чтобы производить впечатление Абсолютно Новой Поэзии. Еще бы: без знаков препинания! без заглавных букв! внутри текстов прозрачно зачеркнутые слова (то бишь налицо «гено-текст»)! можно читать и по горизонтально и по вертикали! два текста в одном! а какие графические игры и изыски!.. Не беда, что все это (да еще и похлестче) было, было, было,— о том знают лишь «объевшиеся рифмами зазнайки». Зато эффект вполне авангардный.

Правда, этот эффект в силе лишь до той поры, пока не начнешь читать эти «стихи и тексты» (так не без тайны Искренко обозначает жанровый облик книжки). Когда начинаешь читать, то выясняется, что перед нами в лучшем случае (подчеркиваю: в лучшем!) скромные, почти безобразные бытовые зарисовки. Допустим: «Загустевает влага облако немеет и обнимает черную трубу. Трубе не спится, грубый крик трамвая

ей подпеваает, под мостом темно, и хлопает вода как заводная. Как расписные, бабочки лесные летят, посвистывают. Мокнут на асфальте авоськи, девочки, конфетные обертки...» И т. п. Просто и незатейливо. Но на самом деле эти строчки у Н. Искренко выглядят так:

Загустевает влага облако немеет и обнимает
черную трубу трубе не спится грубый крик
трамвая ей подпеваает под мостом темно и
хлопает вода как заводная как расписные
бабочки лесные летят посвистывают мокнут
на асфальте авоськи девочки конфетные
обертки

Деваться некуда: авангард! Правда, тут еще можно расставить знаки препинания. Самое обычное у Искренко — нарочито бессвязный словопоток, который никакими запятыми не улучшишь. При этом, кстати, не удается скрыть одно — полное отсутствие у автора слуха к слову. Мне думается, что даже самый «крутой» авангардист не может позволить себе выражения типа: «Тело ломит пикассит и мандельштамит из себя меня корежит и кусается во сне»; или: «потрогала его голову конкретными руками». А вот еще перл: «Небо жжет и подтекает как беременный утюг Тишина воткнется в сердце краеведческой икотой»... Это даже не смешно, потому что «конкретные руки», «беременный утюг» и «краеведческая икота» не вызывают ровным счетом никаких ассоциаций. Как сказано у самой Искренко, «нулевой образ».

Это именно авангардизм с его притязанием разрушить сам язык искусства. Хотя Н. Искренко истово присягает на верность постмодерну; у нее даже есть «Гимн полистилистики», а в центр книжки помещена поэма «Среда», где изображена эдакая тусовка гениев мировой культуры от Пушкина до Ионеско, миленько так, по-молодежному проводящих время в гостях у «уборщицы будущей кинозвезды прописанной в Москве по лимиту». Здесь, в этой поэме, Искренко оглашает главное, по-моему, обоснование своей поэтики: «Почему убирается однозначность, четкость определения понятий, недвусмысленная мотивировка действий? Потому что перестал интересовать отдельно взятый конкретный человек. Точнее — его нет, этого отдельного конкретного человека, он существует лишь как некое вероятностное распределение, он размазан с некоторой плотностью, подобно элементарной частице. То есть имеет смысл говорить лишь о наборе ситуаций и наборе поступков, в пределах которых будет действовать в данной ситуации то или иное конкретное лицо, практически любое».

Это наукообразное рассуждение может показаться имеющим отношение к художественной философии постмодернизма. Здесь слышатся отголоски бартовской «смерти автора», идеи замещения характера набором культурных языков, различных релятивистских концепций... Между тем, по мере того как сама Искренко реализует эти постулаты в своей практике, понимаешь, что, строго говоря, нет ничего более чуждого постмодернизму как искусству чем этот демонстративный отказ от интереса к «конкретному человеку».

Во-первых, раз «имеет смысл говорить лишь о наборе ситуаций», то здесь, заслоняя все прочее, должен выйти мирообраз хаоса. Однако сочинения Н. Искренко четко демонстрируют, что без живого отношения к «конкретному человеку», без душевной муки «конкретного», единственного существования среди хаоса, с надеждой на гармонию, с жадной истины, с ужасом перед неуправляемостью жизни, — без всего этого сам образ хаоса бытия совершенно обесмысливается: он превращается в аттракцион, не более. Потому-то не отпускает ощущение того, что Искренко с помощью сугубо формальных ухищрений все время имитирует хаос и релятивистское мировосприятие — и делает это лишь для того, чтобы скрыть скучную примитивность своих текстов.

Во-вторых, стихи Искренко, размазывающие «конкретного человека», как бы по определению глухо замкнуты для какого бы то ни было диалогизма. Даже подражая концептуалистам и пытаясь перевоплотиться в кондового совка, Нина Искренко терпит явную неудачу, ибо «другое» сознание для нее изначально выставлено за порог, тут нет даже попытки понять, а уж тем более пережить иную, чем собственная, логику существования. Чужое может быть только патологией: «Пекёт Текёт И нагинается Кой-как зажгёт и снова маяется Позвонит включит поканючит Заплотит и уж чуть не плачет А тут как выбросят Возьмет и в сумку ложит Улыбается».

И все-таки — вопреки всему сказанному — надо честно признать: поэзия Искренко — это тоже постмодернизм. Такой. Постмодернистский китч — со всеми вытекающими последствиями. Я понимаю, что явление это закономерное и даже неизбежное. Но то сплющи в а н и е, которое превращает действительно живые и щедрые открытия постмодернизма в эстетику «искусства для бедных», — это знак кризиса, тупика, остановки в развитии.

Когда-нибудь, я думаю, будет написана история и предыстория русского постмодернизма, и тогда выяснится, почему первоначальные плоды скрещения постмодернистской эстетики (как таковой еще не осознанной) с русской культурной традицией оказались такими мощными и так возвысились над всем, написанным последователями и продолжателями. Стихи Бродского, «Москва—Петушки», «Пушкинский дом», «Школа для дураков» (вне этого ряда, хотя в явственной близости к нему, должны быть упомянуты и лучшие английские романы Набокова — «Лолита», «Бледный огонь», «Ада»)... Во всех этих произведениях в той или иной степени осуществляет себя действительно новый тип художественного сознания. Искусство всегда ставило перед собой задачу претворения хаоса в гармонию. Авангардизм объявил высшей гармонией — хаос, и авангардистские умозрения трагически срифмовались с той исторической логикой, которая привела европейскую цивилизацию к ГУЛАГу и Освенциму. Постмодернизм же, в сущности, отказался от целеустремленной работы по гармонизации хаоса. Чужд он, впрочем, и авангардистскому упоению хаосом. Диалог — вот тот тип отношений творящего «я» с хаосом, который в постмодернизме выходит на первый план. Диалог, пронизывающий все уровни текста: от стилистики до концепции, от характера до сюжета и системы авторских оценок...

То, что сегодня в постмодернистской словесности все отчетливее проступает коллизия глухонемоты, молчания (а это ощущается у всех сколько-нибудь интересных авторов постмодернистской ориентации: от поэта Тимура Кибирова до прозаика Михаила Берга — наши персонажи не исключительны в этом смысле), по-моему, говорит о том, что тот уровень диалогизма, который был задан отцами отечественного постмодернизма еще в 60-е годы, либо исчерпан, либо — скорее всего — их опыт воспринят лишь поверхностно, а значит, в полной мере так и не востребован. Но как бы то ни было, если постмодернизм, как считают, это переходная художественная система, аналогичная тем, что складывались при сменах одной культурной парадигмы на качественно иную (барокко, сентиментализм), то, похоже, нынешнее переходное состояние литературы либо подходит к исходу, либо уже завершено. Чтобы продолжался диалог, требуется по крайней мере более конкретный и пристальный взгляд и на самого «конкретного человека», и в особенности нужен иной образ окружающего нас бытия и того хаоса. Ведь и среди этого хаоса идет вечная человеческая жизнь — и в ней, этой жизни, вопреки всему есть и правда, и счастье, и смысл; и дети вновь приходят в мир для новой жизни, и любовь еще греет сердца... Как соединить такие разные способы отношения к одной и той же реальности? Тут не обойтись без реализма. Реализма, сумевшего бы вместить в себя в первую очередь главное открытие постмодернизма — его художественную «теорию относительности», запечатленную в слове устремленность к тотальному диалогу всего со всем. Убежден, что наиболее интересные находки русской литературы ближайшего будущего следует ждать именно от реализма, от обновленной, унавоженной постмодернистским опытом, но в фундаментальных своих качествах традиционной поэтики психологического реализма.

И в поэзии тоже. Ведь как по-разному поворачиваются противоречия современной культурной ситуации в стихах Жданова, Кальпиди, Арабова, Искренко. Глухонемота культуры — культуры, внутри которой только и можешь дышать, для Жданова становится источником романтической трагедии, для Кальпиди — философской драмы, для Арабова — бестрепетно решаемой задачки, для Искренко — фарса. Но во всех случаях возникает тяжкий конфликт между постмодернистской поэтикой «мира как текста» и самодвижением собственно лирического текста как материализованного мира авторской личности. Кроме случая Искренко, в большей или меньшей мере обе стороны этого внутреннего спора пребывают в напряженном, но неустойчивом равновесии. Правда, случай Искренко в высшей степени значителен: когда побеждает голая поэтика — умирает поэзия.

Постмодернизм, даже постмодернизм, достигший границ собственной эстетики, как и любое искусство, вырастает из искреннего и масштабного страдания. Там, где нет страдания, нет и искусства. Игровое искусство отнюдь не исключение. Наш постмодернизм вошел в полосу глухонемоты — в кризис, иными словами, — прежде всего потому, что литературные игры этого типа стали слишком легкими, даже общедоступными. И сразу стала уходить боль, а на ее месте все пышнее зацвело самодовольство, самолюбование. Выход из кризиса такого рода может быть только один — надо оплачивать каждое слово собственной судьбой. Одним словом — страдать.

С. Н. НОСОВ

*

ВСЕЛЕННАЯ БЕЗЫДЕЙНОСТИ

В кратком эссе «Заметки на полях „Евгения Онегина”» Роман Якобсон выдвинул тезис о «колеблющейся характеристике», к которой, по его мнению, прибегал создатель «Евгения Онегина», уклоняясь от какой бы то ни было однозначности в обрисовке главных героев романа в стихах¹. Вспомним, что, по словам Писарева — злого критика Пушкина, Белинский поклонялся Пушкину, им же самим и выдуманному. С равным успехом можно утверждать, что и Писарев нападал не на подлинного, а на вымышленного им Пушкина. А каков не вымышленный Пушкин? Возьмем на себя смелость предсказать: никогда не будет окончательного ответа на этот вопрос. Творения Пушкина, как и творчество любого большого художника, дают простор для всевозможных толкований. Не в последнюю очередь поэтому они и приемлемы для всех, общезначимы, окружены всеобщей любовью.

Заостряя, можно сказать, что любой читатель приходит в храм литературы с собственным служебником. Содержание (идейное, нравственное) литературных произведений, вокруг которого всегда идут грозящие дурной бесконечностью споры, в известном смысле не существует в «готовом виде» — каждая эпоха да и в какой-то степени каждый человек вносят в одни и те же творения новое содержание. И это естественно: в литературе и искусстве нет, не было и никогда не будет полной смысловой определенности, как нет ее в самой жизни, во всем живом или просто действительном. (Напомню, что Ап. Григорьев именовал истинные произведения искусства живорожденными, приравнивая подлинное в литературе к живому в природе. Эстетически это единственно верный подход.)

Пушкин не судит своих героев, оставляя эту роль читателю, критику, историческому времени. По-своему был прав Белинский, увидевший в судьбе пушкинской Татьяны Лариной свидетельство о бесперспективности смирения перед пошлостью жизни. Но прав был и Достоевский, считавший, что образом Татьяны Лариной утверждается высота смирения как истинно христианского идеала. Для каждого интерпретатора пушкинских творений найдется своя, большая или малая, правота, потому что художник предоставил им такое право — судить по своему усмотрению. Это великое право, но никто, кажется, не желает признать себя его обладателем.

Попробуйте заявить верующему человеку, что он волен толковать Библию и Евангелие как вздумается, в согласии со своими представлениями, — его возмущение легко предвидеть. Отношение к классической литературе, в России особенно, и было, в сущности, религиозным — в ней искали ответы на «проклятые вопросы» бытия и легко находили эти ответы, но — неодинаковые, нередко взаимоисключающие. Слаб Гамлет или мужествен, смешон Дон Кихот или героичен? — нет и не будет ответа, но каждый, судящий по своему усмотрению, окажется хотя бы чуть-чуть прав. Великими признаются, как правило, книги, чьей смысловой многомерности не видно границ. Но попробуем сделать следующий логический шаг — безграничная многосмысленность не равна ли отсутствию смысла как такового? Такой вывод грозит нигилизмом по отношению к классике и рискует прозвучать кощунственно.

Для «частного человека» магия литературы всегда состояла в том, что, вольно или невольно подкрепляя его субъективизм (для рационалиста Дон Кихот не иначе как жалок, для романтика — героичен и т. п.), литература позволяла всем и каждому утверждать свои разнородные ценности от ее имени. Если же художник пытается быть «идейно последовательным», верным одной-единственной первоидее, в чем бы она ни состояла, в его произведениях возникает заданность, разрушающая их художественные качества. Этот процесс — разрушения, разъедания художественности идеологием — очевиден, например, в «Воскресении» Льва Толстого. Жажда

¹ Якобсон Роман. Работы по поэтике. М. 1987, стр. 222.

сохранить художественную верность умозрительной схеме не позволила состояться второму тому «Мертвых душ» Гоголя. Причем неудача художника в его стремлении стать идеологом на базе своего художественного дарования мало зависит от характера и природы идей и идеалов, которые он пытается в своем творчестве проповедовать. Тут сказывается нечто родовое в искусстве — если хотите, несовместимость искусства и чистой мысли.

Сама природа литературы — творчество живого — сопротивляется утверждению идей художественным путем. Художник не судья изображаемого им, и в этом его драма. (Речь не идет о натуралистическом жизнеподобии — живыми могут быть ирреальнейшие видения и фантазии. Кафка, например, изображал, в сущности, лишь собственный ужас перед жизнью, превратил этот ужас — одно-единственное, пусть и господствующее в сознании чувство — в главного героя своих произведений, а никто ведь давно уже не пытается утверждать, что произведения этого большого писателя умозрительны, лишены жизни.)

Творец идей может обладать художественным дарованием — как, скажем, Ницше, — однако не в состоянии превратить его в источник порождения идей, если и пожелает. У Ницше упорство философа, доказывающего моноидею, только усилено художественно выразительным красноречием. А у Достоевского (для сравнения) глубина проникновения в мир идей вносит новую серьезность и неокончателность в их вековечный спор — отдалает от неизбежной для мыслителя приверженности одной из идей или одному ряду идей. Художник может изображать все существующее, в том числе и любую идею, но лишен прямой возможности быть ее проповедником.

Казалось бы, можно испытывать к литературе благодарность за то, что она так великодушна к человеческому субъективизму, к выбору истины «по вкусу». Но читателю всегда хочется, чтобы истинность дорогих ему идеалов была еще и доказана художником, чтобы художник был рупором его личного мнения или взглядов, свойственных его эпохе, верований, разделяемых его народом. Чем значительней художник, тем такое желание несбыточней. «Всечеловечность» Пушкина свидетельствует, кстаи говоря, и об этом. Можно бы сказать, что художник, в меру роста, приближается к некоему всепониманию, утрачивая волю или охоту судить людей и жизнь, так что где-то на гипотетических вершинах он как бы становится равен жизни, создает своего рода «книгу Бытия», где охвачено все земное, все сущее. Не случайно Гейне сравнил творения Шекспира с Библией. Шекспир создал антологию человеческих судеб и характеров, «книгу книг», и, кажется, приблизился к пределу возможного. А есть ли у Шекспира ответы на роковые вопросы бытия? — нет. И нет их именно потому, что он наделен даром всепонимания, всепроникновения.

Искусство и мысль живут своей жизнью каждое, не в силах покорить друг друга. В современной европейской цивилизации значение искусства резко упало, на мой взгляд, потому, что искусство обнаружило свое бессилие в части утверждения и отрицания. Искусство пыталось стать формой мысли, особенно на рубеже XX века, в так называемую эпоху декаданса, но в целом — безуспешно. В творчестве наиболее глубоких писателей той поры, таких, как Розанов, всегда существовало множество взаимоисключающих идей, не сводимых к общему знаменателю, а значит — для осмысления того же Розанова (даже и Мережковского) нужен интерпретатор со своей неизбежной субъективностью. Литература сама по себе ничего не проясняет в жизни — эта мысль незримо присутствует в сознании современного писателя и читателя и исподволь разрушает религиозное отношение к изыснной словесности, в силу которого литература была на авансцене в прежнюю эпоху.

Ныне уход идей из литературы воспринимается уже как естественное состояние дел и переживается со смесью печали и радости — печали, что неизобразима несомненная картина мира, и радости, что огромен простор для фантазии в заведомо сомнительном литературном космосе, где все ирреально, а потому одинаково приемлемо: греза и явь в смысле их художественной истинности равнозначны — писатель вправе изобразить свой сон как художественную реальность и материальную действительность как чей-то болезненный сон.

Один из новых авторов, Валентин Реликтов, в сочинении с характерным названием «Книга беспечельных блужданий» (Л. 1990) от имени героя (авторского alter ego) признается: «Идей нет. У меня их никогда и не было. Сюжет прячется за ощущениями: кафе-мороженое над речкой, прогулка, поцелуй в парадной, почти пустой зал в кинотеатре...» В подборке философических экспромтов Михаила Кузьмина (современного писателя, не имеющего отношения к прославленному почти однофамильцу), опубликованной в «Юности» (1991, № 4), под статью два характерных изречения: «Ничего не сказать может только поэт. Ни к чему не привести может только жизнь».

Религиозное отношение к литературе и искусству было возможно во времена, которые мы охарактеризовали бы как эпоху наивной культуры. Суть этой эпохи и ее наивности в том, что человек жил и действовал, преследуя свои цели не от своего имени, а от имени авторитета, святыни. Свобода человека эпохи наивной культуры состояла в свободе толкования своих святынь, в число которых непременно входили учительные произведения литературы и искусства. Я бы назвал это исторически значимой игрой в прятки с собственным субъективизмом. Беспредельная многосмысленность творений искусства была тогда желанной.

Однако эпоха наивной культуры сменилась в XX веке в европейских странах эпохой культуры скептической. Ее суть в том, что человек встал перед фактом собственного субъективизма. Оказалось, что есть множество одинаково истинных вариантов изображения мира в искусстве. Оказалось, что есть бесчисленное количество допустимых толкований произведений искусства. Изживание наивности (и лицемерия) превратило утверждение своих мнений от чужого и великого имени, будь то Шекспир или Библия, в тщетное занятие. Произведения литературы и искусства, не сообщающие человеку ничего определенного, оказались отодвинутыми на задний план. Человек стал практичнее, открыто заявил об автономности своих целей.

В России смена эпохи наивной культуры эпохой культуры скептической произошла позже и резче, чем в других странах Европы, — только с падением коммунизма, последней из святынь, пригодной для сверхнаивного сознания. Но многие художники слова (ярчайший пример — творчество Набокова) духовно принадлежали и России и эпохе скептической культуры задолго до нашего времени. Гибель наивного сознания выглядит предсказуемой и подготовленной. Как и во всем европейском мире, литература в России вынуждена существовать в обществе, видящем в ней плод творческой фантазии, художественный вымысел, а не отражение божественных истин.

Перестав быть учительной и не желая в своей лучшей части быть развлекательной, находясь в состоянии смысловой невесомости, современная литература тем не менее живописно иллюстрирует «отрицательную истину» — истинность свободы как пустоты. Любые чувства, не говоря уж о духовных ценностях и идеалах, ставят ограничения свободе: любящий повинует любви, ненавидящий — ненависти, верящий в Бога — Богу. Ничем не ограниченная свобода есть не что иное, как бессодержательность, и во всеохватности своей она страшна. Лики этой свободы-пустоты мы и встречаем в литературе, живущей произволом фантазии и лишенной идей.

Времена литературы проходят с утверждением в культуре господства скептического разума. Так же некогда прошли времена мифологии с утверждением в европейской культуре культа знания. Причины в основном те же: литература ныне, как и мифология в период упадка, воспринимается прежде всего как вымысел, плод фантазии, не заключающей в себе несомненного содержания и доказанного ясного смысла. В литературе обнаружилась некая тщетность. В современной европейской культуре литература, официально, но холодно уважаемая и не слишком читаемая, оценивается — не будем судить, хорошо это или плохо, — как солидный монумент тщете вольной фантазии.

В свое время древняя мифология стала неотъемлемой частью классической литературы. И не говорит ли это преамбула о мифологической природе литературы больше, чем о художественной природе мифологии? А теперь и литература, как поначалу мифология, потеснена в европейской культуре по той же самой причине — говоря общо, из-за того, что и в ее основе открылся вымысел.

Искусство сопровождало жизнь человечества и так или иначе участвовало в ней с незапамятных времен. Совершенно ясно, что искусство как образное и иносказательное самовыражение человечества будет жить, пока живо это последнее. Но в каких формах оно сохранится — особая тема, предмет предположений, пророчеств, гаданий. Ныне лишь очевидно, что историческое время той литературы, что сложилась в Европе со времен Ренессанса, истекло и саморазвитие этой литературы завершено. Самоновейшая литература, ищущая новых форм и новой общественной роли, пока более свидетельствует об исчерпанности литературы традиционной, чем об эпохальных открытиях, обретении нового назначения и смысла.

Санкт-Петербург.

АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ

*

В СИТУАЦИИ СОРОКОНОЖКИ

Изверное, всем знаком этот жест: в разговоре, готовом обернуться подступами к чему-то важному, настоящему, умный, тонкий, думающий собеседник пытается прояснить свою мысль... и соскальзывает, запутывается, улыбаясь, смущенно разводя руками, — дескать, не подыскать слова, ну, в общем, сами понимаете...

Понимаем мы, впрочем, в первую очередь то, что мысль осталась не додуманной «до конца», что в защитной реакции самоиронии, в указании на банальность как на осознаваемую банальность, преобразования все же не наступает. В лучшем случае следует отдать должное элегантно находчивости попавшего в затруднительное положение собеседника.

Этот жест разведения руками (причем преднамеренного: еще и думать не начали, а уже разводят) характерен для целого направления в современной литературе, кстати, тоже попавшей в затруднительное положение. Я имею в виду постмодернизм и постулируемый им прискорбный «конец истории».

«Можно сказать, — пишет Вячеслав Курицын в статье «На пороге энергетической культуры» («Литературная газета», 31.10.90), — если романтизм — юность культуры, реализм — зрелость, декадентство — последний всплеск нервных эмоций стареющей женщины, то постмодернизм — это мудрая старость, понимание верховной ценности всеобщего культурного опыта и стоическая готовность отдать себя соборному сознанию. Далее — по моим представлениям — смерть тела культуры и вечная со-жизнь в природе, в бесконечном космическом движении духовного вещества».

Духовно-вещественный пассаж (это что-то вроде воздушного камня), равно как и витиеватую феминистскую метафору, оставим на совести автора. Но по ходу забавного словесного фиглярства звучит одна проговорка насчет готовности отдаться соборному сознанию. И это очень примечательно.

Леонид Баткин в книге «Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности» замечает: «Соборность непреложно втаскивала сознание индивида в общезначимость. Внутри сознания готовые матрицы подчас могли сложно сталкиваться с личным чувством, блужданием, искусом... однако там, внутри сознания, духовная тотальность уже наличествовала, омывала со всех сторон каждый момент социальной и внутренней жизни. Следовательно, речь идет о состоянии, которое нельзя изобрести, примерить к себе, находясь вне его. Как нельзя, водрузив на себя музейные латы и опоясавшись мечом, стать рыцарем».

Нельзя, но ведь пытаются же. В силу специфики затрагиваемой темы мне придется много цитировать. Гилберт и Кун в своей «Истории эстетики», касаясь учения основателя средневековой эстетики Плотина, пишут: «Фидий сам носил в себе красоту, говорят нам. Его гений объясняется не общением между его чувствами и внешним миром, а потоком творческой энергии, вливавшейся в него прямо из лежащих в основе мира идей или причин...» А вот — Борис Гройс в статье «О пользе теории для искусства» («Литературная газета», 31.10.90): «...художник, когда он становится художником, перестает быть человеком. Все человеческое и обыденное в нем превращается только в материал. Искусство наследует альтернативному жизни пространству сакрального, в котором все человеческое существенно трансформируется». Короче говоря, художник не человек, а инструмент в руке Бога. Только как представить себе такой поворот через полторы тысячи лет после Блаженного Августина, через семьсот — после Фомы Аквинского? Интересен также тезис о том, что искусство наследует некоему альтернативному жизни пространству. Фактически здесь идет речь о герметизации искусства. Это подтверждает и В. Курицын в своей новомирской статье: «Постмодернизм — культура, замкнутая на самой себе... постмодернистский текст — не готовая вещь, а процесс взаимодействия художника с текстом... если что и может быть итогом этого взаимодействия, так только изживание всякой материальности, превращение элементов процесса и самого процесса в

единую духовную субстанцию». Если перевести последнее утверждение с туманного «постмодернистского» языка на обычный, то получится, что нам свидетельствуют о конце мира сего, об исполнении времен, когда в самом деле должно быть преодолено телесно-душевно-духовное разделение человека, когда личность в творческом акте сможет слить воедино намерение и воплощение, когда сам материал искусства — звук, слово, цвет — утратит всякую связь с материальностью. Конечное развоплощение, Страшный суд... Что ж, быть может. Однако как-то смущает, что в качестве вострубившего седьмого апокалиптического ангела выступает Вячеслав Курицын, и книга, в руке с которой он является, — простите, всего лишь второй номер «Нового мира» за 1992 год.

На счет своеобразной «соборности» можно отнести и такую черту прославленных представителей постмодернизма, как принципиальная компилятивность, цитатность их текстов. Борис Кузьминский, иронизируя, конструирует возможный разговор на конференции концептуального искусства:

«— Знаете, я прочел ваш рассказ и обратил внимание... Словом, вот эта страничка взята из Набокова, эта метафора списана у Саши Соколова. А фабула целиком у Борхеса содрана.

— Вы заметили?! Как хорошо! Я намеренно брал чужое, ничего не меняя. Истинный постмодернист обязан списывать. Такая наша судьбина: питаться крошками со стола культуры» («Литературная газета», 10.04.91).

«Чем отличается «нормальный» писатель от концептуалиста? — уже всерьез пишет Владимир Сорокин. — Тем, что он имеет свой литературный стиль, по которому узнается читателем, — как узнается Набоков или Кафка. У меня же его — раз навсегда избранного — нет. Я лишь использую различные стили и литературные приемы, оставаясь вне их. Мой стиль состоит в использовании той или иной манеры письма».

А вот Д. А. Пригов подводит фундамент: «...сведение... языков (от высокого государственного до бытового и низкого) на одной площади, где они разрешают взаимные амбиции, высветляя и ограничивая абсурдность претензий каждого на исключительно, тотальное описание мира в своих терминах».

«В концептуальном искусстве не автор высказывается на своем языке, а сами языки, всегда чужие, переговариваются между собой», — это уже И. Кабаков. Такой вот доведенный до абсурда Михаил Бахтин, «пересаженный» с делянки полифонического романа на почву концептуальной прозы и поэзии. Подобные заявления провоцируют на неудобные вопросы о причинах такой клеptomанской склонности к чужому. Стремясь рассеять подозрения, Курицын оправдывается: «Постмодернизм принципиально, тенденциозно вторичен, но вторичность эта — не отсутствие потенций, а скорее смирение перед лицом Духа...»

Это и впрямь напоминает средневековую схоластическую ситуацию, когда, по словам того же Л. Баткина, «граница, отделяющая свой текст от чужого, принципиально представлялась малосущественной». Тогда «мысли и слова восходили прямо или косвенно к единому, божественному источнику. У них был, в конечном счете, лишь один хозяин. В *этом* смысле понятия авторства не существовало». К какому единому источнику апеллируют сегодняшние компиляторы чужих текстов, не вполне ясно. А вот с понятием авторства у них действительно не все просто, во всяком случае, с важнейшей составляющей этого понятия — талантом: «Я не иронизирую. В рамках постмодерна вопрос о таланте не имеет смысла. Гораздо важнее усвоить определенный набор рецептов. И если текст построен в соответствии с ними — он уже оправдан. Еще до того, как написан... Ситуация непривычная, с ней, видимо, всем! нам предстоит сжиться» (Б. Кузьминский).

Сживаться, правда, готовы лишь авторы, симулирующие новое «соборное» сознание, при этом, кстати, совсем не желающие отказываться от индивидуальности. Только она изгоняется с вербального уровня в жест, в рутинную работу массовика-затейника, манипулирующего загнипнотизированными блоками чужих слов, она трансформируется во что-то «нечеловеческое», как у Гройса, или же «облачное», как у Айзенберга. Хотите еще цитату? «Подчинение воле самодовлеющей формы выводит художника на уровень «безличности», почти анонимности. Форма начинает работать сама, по своим собственным законам. Но удивительно, что такого рода анонимность не скрывает, а проявляет автора. Делает слышным его человеческий голос, делает узнаваемым его лицо. Это какой-то облачный знак другого человека, меняющийся, но определенный».

Заметим, что мы имеем дело с достаточно нетрадиционным взглядом: не художник лепит форму, но форма художника. Нетрадиционным, но что-то тайно напоминающим — схоластиков, например: «Искусство — это умение работать по какому-либо способу, то есть в определенном порядке» (см. тех же Гилберта и Куна). В постмодерне категория «хорошего» часто сменяется категорией «правильного», под-

дакивает Курицын. Как хотите, но концептуализм и впрямь готов «отдать себя соборному сознанию».

Впрочем, «соборность» в плюралистическом обществе и утратившей целостность культуре приобретает довольно странные, замысловатые формы: «Это диалог или общий разговор. Множество звучащих голосов, ни один из которых не выделяется, да и не определяется. Так, некто — один из нас. Само оформление его вещей апеллирует скорее к общественному сознанию, только общественность эта другого рода. Общественность как общность своего круга, где все понимается с полуслова» (предисловие М. Айзенберга в сборнике стихов «Понедельник». М. 1990) (разрядка моя.— А. М.).

Так индивидуалистическое сознание пытается натянуть на себя мешковину «общезначимого», сводя последнее до круговой поруки представителей крохотного племени своих, «понимающих все с полуслова». Это принципиальная ориентация на маргинальность, на юношеский комплекс подмены «взрослого», «большого» языка «дворовым», «своим», как бы новым, но и не слишком обязывающим. Ведь за сленговыми формами, за очаровательным словесным мусором легко спрятаться, а в то же время маске на карнавале своих всегда обеспечено дружелюбное узнавание. Вот Тимур с красным пионерским галстуком, вот Аладдин, потирающий волшебный фонарь из папье-маше, вот Александр Сергеевич с бакенбардами (ах нет, это Дмитрий Александрович — в очках и с бородкой). Никакой ответственности — именно поэтому и не ставится вопрос о таланте. Язык напяливается, как маска (или несколько масок, которые можно по желанию доставать из старого ящика покойной или «упокоенной» автором культуры). Но ведь на самом-то деле «свой» язык — не предмет выбора, а мучительная данность, которую пишущий пытается как-то осмыслить, как-то соотнести с другой данностью — традицией, причем не мертвой, но живой традицией, только и делающей возможным подключение к «общезначимому». «Я» хочет осуществиться, хочет быть понятым и понятным, в то же самое время не желая поступаться собой. И тут, конечно, есть противоречие, тут есть трагический повод для неверия: «...острое подозрение, что существующие способы изображать мир лживы... Выговори признание — и почувствуешь: что-то важное упущено» (Б. Кузьминский).

Рефлексы по этому поводу отвергает нас в ситуацию задумавшейся сороконожки. Господи, да что теперь-то делать, как продолжить движение? Надо срочно забыть, что мы думаем! Надо ни в коем случае не думать о том, что мы думаем! И тогда искусство делает ставку на бессознательное, на движение в сторону жеста, перебирания бумажек и лоскутков, фиксации, иронического преодоления самого материала, когда хорошо бы вообще обойтись без слов. «Дыр бул шил» — это уже классика. А теперь: «Кажется, что на таком открытом вздохе можно сказать все, что угодно. Но ничего не говорится. Потому что достаточно самого вдоха, выдоха. Вдохнуть и думать про себя... Выясняется, что стилизация третьего-четвертого поколения может давать результат простой, как рычание. Скрип, скрежет, уханье, вой и стои!» (М. Айзенберг). Еще решительнее «преодолевают» материал представители так называемой вакуумной поэзии. Чтобы прояснить ситуацию, достаточно привести название характерной статьи Ры Никоновой, публикуемой журналом «Арс», — «Слово, лишнее как таковое». Однако крайности не умеющих закрепиться на вербальном уровне концептуалистов не должны привести нас к выводу об отсутствии проблемы. Она есть.

Дело в том, что в основе искусства, вообще любого человеческого высказывания лежит фундаментальное противоречие. Жизнь сознания на глубине своей, чувство, эмоция — довербальны. Передаются же словом (или звуком — в музыке, или цветом, формой — в изобразительном искусстве), то есть чем-то принципиально иным по отношению к ним. И возникает сомнение: а могу ли я при таком положении вещей быть искренним, подлинным в слове, в языке?

Отсюда — два естественных вывода, которыми и пытается руководствоваться постмодернизм. Либо просто играть в слова, «в бисер», удовлетворяясь чистой ритуальностью, не спрашивая о значении происходящего («Никогда ранее в культуре не было такого расцвета, или, если угодно, разгула, действ, ритуальность которых является едва ли не единственным их смыслом», — пишет В. Курицын), либо уничтожить материал окончательно, так сказать, уйти в чистый дух, «вечную сожизнь в природе». Первый вариант отработывают многие, мне бы очень хотелось посмотреть на предельную, последовательную реализацию второго.

Даже не осознавая отмеченного выше противоречия, пишущий инстинктивно старается найти более адекватные средства выражения своего довербального духовного опыта. И тут оказывается, что, пытаясь преодолеть условность «нормативного» языка, предназначенного для «литературы», автор рискует впасть в другую крайность — полной герметичности, замкнутости индивидуальной лексической системы. Обычно такому развитию событий препятствует опора на определенную традицию.

Но вот если подобной установки нет, если литература представляется пишущему однородным массивом, если он в своей художественной практике игнорирует иерархичность культуры (верный метод всех ироников и пародистов), то настойчивое стремление к «своему» языку приводит к полярному результату: лексика становится ничьей, то есть любой.

«Концептуализм дал мне возможность отстраненно взглянуть на литературу, — говорит Владимир Сорокин. — Для меня нет принципиальной разницы между Джойсом и Шевцовым, между Набоковым и каким-нибудь жэковским объявлением. Я могу найти очарование в любом тексте». Это верная, но довольно банальная констатация того неоспоримого факта, что эстетический элемент содержится во всем, что проблема искусства по сути есть проблема взгляда, точки зрения, особой настройки восприятия. Песочная куча — только песочная куча, но, высыпанная на пол музея, она становится объектом эстетического внимания, некоторым символом, за которым сознание ищет поле скрещивающихся значений, высказывание. И тут наступает трагедия не преображенного, но как бы лишь вдвинутого в раму, закаталогизированного материала. Нет сопротивления, нет творческого усилия; развертывается лента эстетического наблюдения — и только. «Перечню важно себя длить, важно поддерживать свой ритм, — пишет В. Курицын, — перечню должно распространяться. Перечень... бесконечен, и отдельный предмет стремится к отсутствию, так как любой числитель при бесконечности в знаменателе ничего, в общем, не значит. В итоге исчезает даже и ритм, поскольку нет единицы, масштаба, шкалы, относительно которых он мог бы себя проявить. В перспективе перечень становится чистой энергией, «голой», неовещественной материей духа». Вот именно, в конце концов можно догадаться, что не нужен не только текст, язык, но и жест, рассчитанный на кого-то. Довольно того, чтобы гулять и смотреть (все равно на что), выстраивая свои впечатления в некий знаковый ряд (а может быть, и не выстраивая, а выхватывая случайным образом). Наиболее последовательный концептуализм. Зритель и режиссер сливаются тут в одном лице. Наблюдая, я делаю себя единственным и идеальным читателем собственных «текстов». Преображение совершается не вовне — над материалом, а внутри меня, в границах моего восприятия, моей психики, моей жизни. В точном смысле слова это уже и не жизнь, это бесконечный спектакль, сон, бездельное сомнамбулическое созерцание. Вот почему наиболее адекватная форма такого состояния — медитация — с «травкой», с иглой. Эстетические усилия целого поколения (воистину эстетов) направлены на трансформацию собственной жизни в вечно длящийся, безотносительный сон искусства — на ловлю кайфа.

В конечном итоге эстетика путем таких настойчивых преодоления грани между жизнью и искусством превращается в попытку симуляции религиозного экстаза. Так что не надо думать, как это делает Борис Гройс, что сокрушение границ искусства и прорыв прямо в «жизнь» были присущи лишь авангарду, что постмодерн тут ни при чем и как бы восстанавливает статус-кво эстетики («Поэт и художник авангарда именно потому, что они хотят преодолеть культуру и выйти в саму жизнь, оказываясь не в состоянии отрефлексировать свое собственное место в культуре... Суть постмодернизма состоит... исключительно в формулировании в теории и средствами искусства скепсиса по отношению к авангардному скепсису, то есть в скепсисе второго порядка...»).

Старый авангард, пытаясь преодолеть рубеж между культурой и жизнью, тем самым хотя бы признавал наличие последней. Нынешний концептуалист покидает жизнь ради существования в качестве литературного персонажа в лоне умирающей культуры. «Культура, знаки покрывают мир. А если и существует что-то вне культуры, — пишет Б. Кузьминский, — говорить об этом стыдно, непристойно. Действительность для поставангардиста — такое же табу, как для татарина — свинина, для православного — скоромное в пост. Такая же фикция, как для неверующего — рай».

Своеобразная реакция на индивидуализм отцов-основателей «нового искусства» — игрушечная, маскарадная соборность их оппонентов-наследников. Наденем маски, господа, разведем руками. Культура кончилась, жизнь кончилась. Они аннигилировали во взаимном проникновении.

Главная ошибка как авангардистских, так и постмодернистских взглядов на природу творчества и вследствие этого на взаимоотношения искусства с жизнью скрывается, как мне представляется, в некотором механистическом отношении к антитезе «человек — художник». Авангардистское индивидуалистическое сознание (типичный пример тут Шкловский) склонно вообще рассматривать эстетику как сферу углубления чувственного опыта, тем самым полностью подчиняя индивидуальности «вложенный» в нее дар, обуславливая художественную деятельность игрой имманентно присущих человеку сил и стремлений. Несогласный с такого рода концепцией постмодернизм (как мы помним, алчущий соборности), договаривается до того, что художник вообще не человек, а лишь некий транслятор из «духовно-ве-

шественного» пространства. Дар помещается над человеком, вне человека: «Логика культурной оригинальности диктуется объективным состоянием самой культуры, а не произволом или психологией художника» (Б. Гройс). Первую модель по аналогии можно было бы назвать своеобразным эстетическим арианством, вторую — монофизитством в применении к проблеме дара. Точно так же знаменитые ересиархи предпочитали видеть в Христе лишь человеческое или лишь божеское начало, принося в жертву одно другому. На самом деле истина скорее всего открывается в канонической антиномии: неслиянно и нераздельно. Эту же формулу следовало бы распространить и на отношения искусства с жизнью. Тогда не надо будет механически раздвигать границы, само существование которых есть не столько эмпирический факт, сколько проблема метафизики.

Использование религиозно-философской терминологии позволяет также обозначить главную особенность концептуального искусства: какое-то глубокое, фундаментальное, трагическое неверие, лексический агностицизм. Постмодернист панически боится сущностей... «Конец истории», «замыкающаяся сама на себя культура» — в этом есть что-то от ритуального самоубийства человека, замученного рефлексией и логической невозможностью пробиться к истине, быть искренним, подлинным, новым.

Вячеслав Курицын постоянно проговаривается: «Постмодернист — «игрок в бисер», решающий предложенные или придуманные задачи; чем сложнее задача, тем интереснее, чем меньше веришь в мысль, тем заманчивее ее доказать». Но в том-то и дело, что не веря, ничего доказать невозможно. Потому что цепь логических построений, посылок и выводов, доказательств и опровержений — опять всего лишь игра, всегда обратимая, никогда не выходящая за границы собственных правил, никогда не приближающаяся к постижению сущностей, не дающая возможности преодолеть непреодолимое: трансцендентность нашего духовного опыта — материалу, в котором воплощает его искусство.

Между тем постмодернист постоянно осуществляет поиск некоего «живого языка», изначально живой клеточки, элементика, из которого можно было бы методом клонирования вырастить зеленую веточку, деревцо. «Мы работаем с живым языком, — говорит Лев Рубинштейн, — важно понять, где он еще живой, а где уже нет». Так биолог исследует органическую ткань: химические элементы, соединения, аминокислоты — нет — мертвое, мертвое, мертвое — и вдруг, все вместе, чудесным образом слившееся — уже живое: закрученный в спиральку белок, митохондрии, делящиеся клетки, пульсирующий организм. А главное, нет рецепта, нет способа, как, соединив детали, получить жизнь, даже простейшую, самую примитивную. Есть чудо, каждый раз в конечном итоге чудо. Здесь и проходит водораздел между искусством и лексическим, фонетическим, графическим, каким угодно другим экспериментаторством. Дело в том, что попытка выскользнуть из традиции, желание иметь дело с каким-то небывалым, новым языком (все равно как если бы биолог захотел иметь дело с изначально одушевленными молекулами), вымученное изобретательство теорий и приемов, отказ от прямого высказывания как чего-то скомпрометированного идеологичностью либо же банальностью — все это по большому счету от непонимания, от неверия в возможность одушевления мертвого словесного праха, вязкой лексической глины, забывшей щели книжных полок и словарей, глины, делающей в руках творца Адамом — по образу и подобию.

Сороконожка запнулась, она задумалась о пройденном пути и ужаснулась своему непониманию — как она могла преодолеть такое? А впереди? Что впереди? И как теперь туда вперед, семена сорока лапками: первая, вторая, третья... Запугалась уже. И можно, конечно, разводить руками, можно считать вынужденную остановку достигнутым пунктом назначения, можно мечтать о спасительной амнезии. Увы, это лишь констатация интеллектуальной несостоятельности, усталости и страха.

У нас остается вера в чудо, в то, что разум и инстинкт найдут меру соответствия, что хватит силы на следующий шаг. Ведь искусство вообще-то всегда чудо, осуществление возможностей, которые выявляются лишь после того, как они уже кем-то нежданно-негаданно реализованы.

Санкт-Петербург.

Литература и искусство

НАКАЗАНИЕ ХАРМСА

Даниил Хармс. Горло бредит бритвою. Случаи, рассказы, дневниковые записи. Составление и комментарии А. Кобринского и А. Устинова. Предисловие А. Кобринского, «Глагол», 1991, № 4. «Театр», 1991, № 11.

Хармса читать небезопасно. Еще рискованнее братья за издание и изучение его текстов. «Анекдот» или «Случай», о которые то и дело спотыкается читатель Хармса, норовят разыграться и с современным собеседником писателя. М. Мейлах в журнале «Театр» поведал девять таких «*anecdota posthuma*» — посмертных анекдотов Даниила Хармса. На самом деле их уже не перечесать. Из самых грандиозных можно вспомнить растянувшуюся во времени историю о том, как двое авторитетных ученых справедливо и аргументированно продемонстрировали фантазмагорию ошибок, совершенных при подготовке книги «Полет в небеса» — первого наиболее полного советского издания текстов Хармса (1988). Другой серьезный исследователь справедливо уличил этих критиков в некоторых их собственных неточностях. Но сам при этом тоже допустил ошибки, на которые двое первых ученых не замедлили указать этому третьему. Не правда ли, очень похоже на еще один вариант хармсовской «Истории дерущихся».

В прошедшем году два журнала целиком посвятили по одному из своих номеров Хармсу и тому литературному явлению, которое принято именовать ОБЭРИУ. Магическая рука Хармса вволю почародействовала на их страницах. Назову самые забавные «шутки» Хармса.

Особенно их много в журнале «Глагол».

Скажем, на страницу 77 вместо идущей по всем страницам шапки «Даниил Хармс» выскочило: «Даниил Гранин!» Таков привет от Хармса: ведь на этой самой странице приведена дневниковая запись об участии Хармса в спиритическом сеансе.

В комментарии к имени Ю. Д. Владимирова (стр. 166) указываются даты его жизни: 1990—1931. Опечатка? Нет. Опять шутка Хармса — в этом самом примечании говорится об ошибочных датах жизни Владимирова, указываемых в других советских изданиях.

Заглавие миниатюры Хармса «Машкин убил Кошкина» переименовано на более конкретизированное и впечатляющее: «Машкин удавил Кошкина» (стр. 37).

Автором одной из публикаций, на которую ссылаются комментаторы, они называ-

ют С. Есенина (должно быть, Есенин — стр. 159).

Попутал Хармс комментаторов и в цитате из «Бесов» Достоевского (стр. 193), и в сведениях о месте ссылки А. Введенского (сравним стр. 168 и 175). Всех «шуток» не счесть.

Еще больше фантазмагории в центральной публикации «Глагола», той, что названа дневниковыми записями. Хармс действительно на протяжении некоторого времени вел дневник — систематическую запись событий собственной жизни. Существует и более 40 записных книжек, в которые, как водится, он заносил самые разнообразные сведения — от адресов знакомых и библиографических списков книг до сугубо литературных текстов: жанр знакомый и не раз опробованный текстологами-публикаторами. Но никому еще не приходило в голову издавать вперемежку дневники и записные книжки, скажем, Л. Толстого или Блока — они всегда разделялись, а литературные тексты переносились в соответствующие тома сочинений. Околдованные Хармсом публикаторы соединили в журнале «Глагол» записные книжки, рассказы и дневники писателя в одно неразличимое целое, вполне в духе писателя пренебрегая рамками жанров и филологических приличий. В одном из примечаний, по конкретному поводу, публикаторы умно называют свой метод инкорпорацией, не подозревая, что на самом деле это очередная посмертная проделка писателя, любившего и при жизни поиронизировать над ученой логикой. При этом публикаторы, своеобразно толкуя вопросы нравственности, опустили без необходимых уточний рассуждения Хармса о женщинах и обстоятельствах его с ними взаимоотношений (стр. 78, 112, 130 и др.), не останавливаясь даже перед тем, чтобы совместить в одно события разных дней (стр. 111)¹.

Магическое влияние Хармса не миновало и журнала «Театр». Скажем, в комментарии к публикации одного из текстов А. Введенского справедливо говорится, что его загла-

¹ Несправедливо было бы не отметить обстоятельнейшие реальные комментарии А. Кобринского и А. Устинова к «дневниковым записям», содержательность которых обеспечивает их самостоятельное значение как незаменимого историко-литературного источника.

вие «Кругом возможно Бог» не авторское, а приданное ему публикатором, и потому, в соответствии с текстологическими нормами, оно берется в квадратные скобки. Но нигде — ни при тексте, ни в комментариях, ни в оглавлении — этих квадратных скобок нет, они чудесным образом улетучились.

Все это череда, так сказать, мелких посмертных шалостей Хармса, забавлявшегося мистификациями в жизни и творчестве. В журнале «Театр» есть и более весомые чудачества, имеющие отношение к посмертному влиянию писателя.

А. Медведев в статье «Сколько часов в миске супа? Модернизм и реальное искусство» берется «отграничить ОБЭРИУ от других культурных явлений. XX века и по установленным различиям определить специфику грандиозного литературного эксперимента, осуществленного в рамках этого движения» (стр. 132). По ходу своих рассуждений обращаясь к творчеству современного поэта, А. Медведев вполне в духе Хармса озорно шалит: «...отчужденный „примитивный“ язык иногда легче находит контакт с читателем, чем расцветивший метафорами и инкрустированный ассонансами „авторский“ язык модернистского искусства:

Здесь охватывает острейший приступ
ностальгии.

Чем это достигается, непонятно.

(„Все дальше и дальше“, 1984, карточка 7).

Этот небольшой фрагмент стихотворения Льва Рубинштейна гораздо более способен вызвать у искушенного читателя реальный приступ ностальгии, чем сотни душещипательных страниц „Доктора Фаустуса“ или „Доктора Живаго“» (стр. 133).

Привет от Хармса!

А вот другой автор шалит с читателем: «Основательное чтение стихотворений Пастернака, Цветаевой, Ахматовой и даже Мандельштама неизбежно приводит непредубежденного читателя к мысли, что указанные поэты либо не отреагировали на глобальные процессы в культуре того времени, либо их реакция была реакцией отторжения, то есть реакцией, на наш взгляд, малопродуктивной» (Г. Носков, «Пятое время года. Несколько тезисов», стр. 152).

Прочитав это все в ином контексте, можно было бы счесть, что здесь работает «синдром очередника»: мы ведь основательно свыклись с каждодневным, из жизни в жизнь, стоянием в очереди, толчеей в ней и необходимостью отвоевывания места — себе, родственнику, другу, любимому автору, — и при этом то и дело приходится покрикивать: «Вы здесь не стояли!» Но не станем преувеличенно серьезно относиться к приведенным суждениям — не забудем о том, кому все эти рассуждения посвящены. А. Медведев и Г. Носков теснят из серьезной литературы и «глобальных процессов культуры» Пастернака, Г. Манна, Цветаеву, Ахматову «и даже Мандельштама» не своей волей, а по мановению эпатирующей эне-

гии озорного Хармса, незримо присутствующего в их по внешности серьезных статьях.

Но материалы обоих журналов демонстрируют и наличие собственной интеллектуальной энергии их авторов и воли, которая позволяет им преодолеть влияние Хармса и — в силу парадоксальности устройства его художественного мира — таким образом проникать в его внутренние таинственные и драматичные законы.

Здесь немало остроумных и тонких наблюдений над текстами Хармса, помогающих их более адекватному прочтению. Это, в частности, относится к статье А. Герасимовой и А. Никитаева «Хармс и „Голем“», полезной не только указаниями на многочисленные параллели подробно пересказываемого романа Г. Мейринка и прозы Хармса (у них общий источник — оккультная литература), но и убедительными и важными датировками хармсовских текстов, в том числе на основании наблюдений над свойствами его графики.

Своеобразие «незавершенных» драматических произведений Хармса (особенность, присущая, впрочем, его текстам и другим жанрам) обозначено А. Александровым: «Произведение в эстетической системе Хармса может быть завершенным и в то же время в традиционной системе казаться оборванным, незаключенным, остановленным в кульминационном подъеме» (стр. 10). По-своему корреспондирует этому суждению остроумное предположение И. Вишневецкого о том, что попытки искать отсутствующую I часть «Комедии города Петербурга» Хармса могут оказаться бесплодными — не исключено, что II часть, собственно, и является началом «Комедии...».

Известный швейцарский ученый Ж.-Ф. Жаккар доказательно подвергает сомнению осмысленность и продуктивность термина «театр абсурда», который является лишь «удобным ярлыком для обозначения произведений, обладающих общими признаками» (стр. 18).

Самое же существенное, что должно быть услышано читателем рецензируемых номеров журналов, — желание и попытки хотя бы некоторых авторов опровергнуть предубеждения и стереотипы, свойственные бурно протекающему изучению Хармса и того, что до сих пор настойчиво обозначается как обэриутская литература. А. Кобринский в «Глаголе» совершенно основательно пишет о преувеличенной переоценке обэриутского периода в творчестве Хармса: «...вплоть до того, что эпитет «обэриутский» прилагается к произведениям, написанным как до, так и после существования объединения. Да и о самих поэтах обычно говорят «обэриуты», полагая, что дают им исчерпывающую характеристику» (стр. 11).

И в журнале «Театр», несмотря на то, что это прилагательное склоняется во всех падежах, достаточно голосов, призывающих за удобными для научных изысканий и составления тематических антологий терми-

нами увидеть живое развитие разных литературных миров, объединявшихся отнюдь не для последующих изысканий филологов, а всего лишь для решения конкретных сиюминутных творческих задач. Так, во всяком случае, было с ОБЭРИУ, возникшим на короткое время и быстро исчезнувшим совсем не вследствие одной разносной статьи в газете, а по логике внутреннего творческого существования, скажем, Хармса, Введенского или Заболоцкого. Наиболее содержательна в плане такого изучения Хармса работа И. Вишневецкого «О „Комедии города Петербурга”». Основываясь на хорошем знании философской системы оригинального мыслителя, близкого друга Хармса Я. Друскина (одна из его многочисленных работ напечатана здесь же, в журнале «Театр»), И. Вишневецкий исследует понятие «бессмыслицы» как важнейшего творческого приема Хармса, который являлся для него средством познания Времени, Смерти, Бога — «сверхразумных бессмыслиц», не переводимых на язык логических понятий.

Но что хорошо для философа, может и не вписаться в мир художника.

Авторы обоих журналов лишь мимоходом упоминают о странных взаимоотношениях

Хармса с христианством, с Богом, а в них, этих отношениях, может быть, и заключена драма его личности, искавшей соединения евангельского христианства с мистикой, оккультизмом, кабалистикой, — соединения невозможного, попыток, приводивших к глубокому внутреннему разлому, не объяснимому никакими внешними социальными факторами (о недостаточности внешних социальных мотивировок драмы Хармса, к счастью, также говорят некоторые авторы «Театра»). Неукротимая творческая энергия и специфический интерес к чудодейству поневоле привели Хармса к еретическому положению соперника Того, чьей волей на самом деле только и может твориться Чудо. Такое соперничество не могло не оставить следа и во внешнем сюжете трагической судьбы Хармса.

Быть может, когда наша филология утомится работать в жанре «Жизнь замечательных людей», наступит время реального исследования феномена Хармса. Тогда-то и сбудется напечатанное в журнале «Театр» предсказание М. Левитина: «...много будет вокруг нее (литературы ОБЭРИУ. — В. С.) больших неприятностей».

Валерий САЖИН.

Санкт-Петербург.



ЛОГИКА АБСУРДА, ИЛИ АБСУРД ЛОГИКИ

Театр парадокса. Ионеско, Беккет, Жене, Пинтер, Аррабаль, Мрожек. М. «Искусство». 1991. 300 стр.

Вот и у нас появился первый сборник-хрестоматия «избранных» (значит, в какой-то мере и произвольно выбранных) пьес из театра абсурда. С обычным для нашей страны опозданием лет на тридцать—сорок. И с явно запоздалой попыткой «смягчить удар» от такого знакомства. Составитель книги И. Дюшен в предисловии спешит указать, что Ионеско и Беккет уже недовольны термином «театр абсурда» — не лучше ли назваться парадоксальным театром? Может быть. Но если так, то куда девать комедии Уайльда и Шоу? Должно быть, нынешним классикам «абсурдизма» не по душе само слово, которое еще в эпоху античности несло в себе целый ряд порицательных значений: «абсурд» по-латыни — неблагозвучие, глупость, бездарность... А между тем талант этих драматургов уже давно и широко признан — порукой тому академические звания, Нобелевская премия, успехи на мировой сцене. Чего уж тут жаловаться на неблагозвучное прозвище!

И. Дюшен во вступительной статье к сборнику, всячески оправдывая «подопечных» авторов, забывает, пожалуй, об одном серьезном доводе в пользу их творчества — о том, что все они, в сущности, лишь доводят до логического предела тот алогизм, ту иррациональность, которые заложены в самой жизни. Об этом хорошо сказал Рэй Брэдбери: «Само ее (Вселенной. — В. В.)

существование является фактом нелогичным и сверхъестественным! Она невозможна, но она есть». Эжен Ионеско любит ссылаться на Гераклита, на «абсурдность», наличествующую в трагедиях Софокла и Шекспира. Тысячи лет бытования самых разнообразных логических систем не устранили и не могут устранить изначальной алогичности Бытия-Небытия, обрекающего тварный мир на страдание. И параллельно этой космической трагедии действует «трагедия рассудка». Он, этот рассудок, как писал вслед за многими другими философ Э. Ильенков, «сам, взятый в целом, имманентно противоречив». Отсюда и бесчисленные тупики человеческой мысли, будь то в области идеализма или материализма, отсюда устойчивая «абсурдистская» тенденция в христианской теологии — от Тертуллиана до Кьеркегора, а от них до Павла Флоренского и религиозного экзистенциализма. Ионеско, сам скорее верящий в «Великое Ничто», мог бы сослаться и на такие высказывания: «И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно» (Тертуллиан); Авраам, готовый принести в жертву Исаака, «велик благодаря мудрости, тайна которой — в глупости» (Кьеркегор).

Короче, мировая культура настолько пронизана разнообразнейшими видами и оттенками абсурда, что театральным провоз-

вестникам его грозит не столько отсутствие, сколько слишком большое количество предтеч. В искусстве, например, это фольклорно-низовая стихия всякого рода «перевертышей», лимериков, детских нелепиц и несуразниц, подпитываемая карнавальной смеховой культурой. Сюда же отнесем и цирковую клоунаду, которая вполне «зримо» входит в антитеатр: смотри две «Сцены без слов» С. Беккета (их можно назвать клоунадами а la Пикассо), пантомимы у Пинтера, Мрожека, Ионеско.

И наконец, нельзя не упомянуть трагифарсовый цикл «патофизических» пьесок о короле Убу, созданных в конце прошлого века Альфредом Жарри, русских абсурдистов Д. Хармса, А. Введенского. Так, было бы вполне целесообразно в рецензируемом сборнике напечатать рядом сцену Д. Хармса «Окно» (1931) и «Урок» (1950) Э. Ионеско. Читатели увидели бы потрясающее сходство между этими произведениями, в которых буквально одна и та же ситуация: некий слишком усердный учитель доводит до смерти старательную ученицу. Эпиграфом к обеим пьесам мог бы стать видоизмененный афоризм: «Разум-педант порождает чудовищ».

Увы, этих вещей в книге нет. Но вполне оправдано то, что открывает ее творчество Эжена Ионеско — теоретика и наиболее виртуозного практика театра абсурда. При знакомстве с его пьесами, а также с произведениями С. Беккета бросается в глаза такая парадоксальная закономерность: чем безумнее и алогичнее их персонажи, тем четче и, так сказать, рациональнее построение самих пьес, тем вывереннее темп и ритм действия. Тут вспоминаются слова Флора: «Я бы хотел написать книгу ни о чем... которая бы держалась сама по себе, внутренней силой своего стиля». Драматурги-абсурдисты как будто реализуют эту идею, но в гротескно-пародийном варианте — они создают отталкивающий выморочный мир жалкого и страшного Ничто, облекая его в почти музыкальные формы. Взять ту же «Лысую певичку» Ионеско — как строго рассчитаны здесь объемы сцен, как уравновешены ритмически пары персонажей (супруги Смиты и супруги Мартены), как неуклонно нарастает темп действия, под аккомпанемент сумасшедшего боя часов! А Беккет в «Игре», откровенно пародируя вековую сюжетную схему любовного треугольника, вместе с тем придает своей пьесе лирико-метафизическое звучание: головы персонажей в урнах неподвижны, зато в полную мощь звучит и играет контрапункт их голосов и мерно движущегося луча света. Это поэтика перехода живого, разумного в бездушный автоматизм, который и оборачивается в свою очередь бессмыслицей.

Творцы антитеатра вообще не могут не пародировать. Ионеско создает своего «Макбетта» (с двумя «т»), Э. Бонд — своего «Лира», Т. Стопшард, отправляясь от «Гамлета», — пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»; Беккет — мини-сценку «Прихо-

дят и уходят», в которой еле ошутимым намеком улавливается ассоциация с «Тремя сестрами» Чехова. В «Лысой певичке» это пародийное отталкивание от чеховского шедевра дано более резко и карикатурно.

Русский драматург начинает свою пьесу монологом Ольги, обращенным к сестрам: «Отец умер ровно год назад... Было очень холодно, тогда шел снег... Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко...

Часы бьют двенадцать.

И тогда также били часы.

Пауза.

Помню, когда отца несли, то играла музыка... Он был генералом...» и т. д. Много ли правдоподобия в этой сцене? Разве сестры не знают, что их отец был генерал и что он скончался «ровно год назад»? Именно о такого рода реализме говорил Ионеско как об «условности». И эту условность он передрознивает с каким-то ядовитым удовольствием. В начале «Лысой певички» «английские настенные часы бьют по-английски семнадцать раз» и этим провоцируют госпожу Смит на длинный монолог: «О, девять часов. Мы съели суп, рыбу, картошку с салом, английский салат» и пр. И пусть ее речь звучит зачастую абсурдно, но эта дама, подобно чеховской героине, всего лишь напоминает близкому ей человеку о том, что ему и так хорошо известно. А уж далее, оттолкнувшись от этой «небольшой» условности реалистического театра, Ионеско ведет нас в непролазные дебри отчужденного человеческого бытия, лишь слегка прикрыв его великолепно отлаженным «английским» семейным бытом. И здесь в ход идет специфическая техника диалогической речи персонажей.

По поводу нее И. Дюшен спешит нас успокоить: «Неправильно было бы думать, что представители театра парадокса... разрушают язык. Их опыт над языком ограничивается каламбурами... Пародируя логику обычного мышления, они этого достигают не языковыми, а композиционными средствами». Невинные каламбуры да и только. Нет, на деле производится куда более острый «опыт над языком!» Ведь Ионеско, не разрушая синтаксические связи, превращает сценический диалог в остропародийные «языковые игры» почти по Л. Витгенштейну, так что смысл слов и фраз постоянно мерцает и замутняется, переходя от внятной речи к зауми.

И тут уместно сказать о качестве перевода. Наши переводчики пьес Ионеско вносят свою долю абсурда в его антитеатр, видимо не всегда справляясь с «игровым» текстом автора. Так, у Е. Суриц (см.: Ионеско Э. Лысая певичка. М. 1990, стр. 17) миссис Смит толкует о «болгарском бакалейщике Попошеве», у которого надо купить горшок «болгарского фольклорного (!) йогурта». Если же верить переводчице Л. Новиковой («Театр парадокса», стр. 24—25), то госпожа Смит говорит о «румынском лавочнике Попеску» с его «румынским народным (!) йогуртом». Видимо, переводчикам невдо-

мек, что речь идет о домашней простокваше (она же «народная», она же «фольклорная»). Еще разительнее разницей в переводах каламбуров драматурга.

Неплохо представлен в сборнике и С. Беккет. Кроме уже названных пьес и сценок, отметим его микродилогию «Театр I» и «Театр II», где действуют персонажи А и В. В первой пьесе это калеки, нуждающиеся друг в друге, но и издевающиеся друг над другом. Во второй — два интеллектуала, которые точно так же «нуждаются в живом теле», но пока что заняты судьбой некоего третьего персонажа, личность которого они пытаются определить, разбирая его записи. Здесь интересно самопародирование: стиль записок отсутствующего героя — это стиль прозы Беккета, а о них А и В отзываются так: «Что за китайская грамота!.. Дерьмо! Где глагол?.. мура мура мура».

Жан Жене представлен своими «Служанками» (1947), в которых находим не столько абсурд обыденного сознания, сколько дебри подсознания с их садо-мазохистскими комплексами любви-ненависти, покорности-агрессивности, ведущими в конечном счете к самоуничтожению человека. Из наследия Ф. Аррабаля напечатан только «Пикник» (1952), самая ранняя его пьеса в жанре антивоенного пацифистского фарса. Жаль, что в сборнике не нашлось места хотя бы для такой его вещи, как «Архитектор и ассирийский император» (1967), где пародия на роман Дефо о Робинзоне Крузо перерастает в злоедейский людоедский гротеск об извечном круговороте человеческого существования-несуществования.

Пьеса Г. Пинтера «Пейзаж» (1969) не добавляет ничего нового к характеристике театра абсурда, являясь, по существу, вариацией на беккетовскую тему полного взаимотчуждения двух близких людей. Но между тем как автор «Игры» ведет ее мастерски, добиваясь отточенности формы, Пинтер, если говорить только о его «Пейзаже», не выходит за пределы простой схемы — речь двух его персонажей лишь внешне является диалогом, а по сути это два независимых монолога, рассеченных на куски, отделяемые друг от друга паузами.

К трем остросоциальным фарсам С. Мржежа («Кароль», «Стриптиз», «Дом на границе») неплохо было бы присовокупить какую-либо пьесу Вацлава Гавела, чтобы шире был представлен западнославянский театр абсурда.

Осуждающую формулировку «логика абсурда, или абсурд логики» в отношении первых пьес Ионеско предложил театровед Г. Бояджиев. Он первый познакомил нас с ними и он же сообщил, что сам знакомился с ними «с омерзением» (см.: Бояджиев Г. Театральный Париж сегодня. М. 1960, стр. 106). Может быть, теперь, когда мы оказались в трагически-абсурдной ситуации, ученый иначе оценил бы эти произведения. По крайней мере наши современные драматурги давно уже стали обращаться, пусть и не всегда умело, к опыту русских и западных абсурдистов.

В. ВАХРУШЕВ.

Балашов.



ОТ БЕСКОНЕЧНОСТИ К НУЛЮ

А. Наков. Русский авангард. Перевод с французского. М. «Искусство». 1991. 191 стр.

Итак, по старому обычаю, как говаривал В. Шкловский, русский лен вновь возвращается к нам голландским полотном. Авангардный миф, напоенный ароматом западноевропейской эстетической мысли, кажется, обретает к концу XX века некую завершенность. А значит, происходит то, чего больше всего и боялся авангард: он превратился-таки в экспонат, угодил в музей, хотя первичная интенция была абсолютно иной — вне музея, вне истории искусства, сплошная провокация и инаковость по отношению ко всем традиционным культурным нормам. Эстетический проект исполнился с точностью до наоборот. Проект, однако, был не только эстетическим, но и этическим и социально-политическим. Эта универсальность «жизнестроительного подвига» деятелей русского авангарда, помноженная на поистине нечеловеческую витальную их силу, продолжает питать интерес к задуманному и содеянному ими.

Миф о русском авангарде удивительно разветвлен. Разброс позиций впечатляет — от апологетики до полного неприятия, от самых радикальных подражаний до столь же радикально категорической критики (вплоть до выводов о моральной и психической невменяемости авангардных художников). Историческая парадигма мифа еще насыщеннее и пестрее: честные, искренние революционеры в искусстве, ставшие жертвами сталинского молоха; конечно, жертвы, но ведь и палачи; бездарные чудовищные разрушители и губители великой культуры... Все это — с вариациями: критикуют как «справа» (что понятно), так и «слева» (едва ли не самая мощная волна иронического критицизма по отношению к авангарду начала века идет сегодня со стороны постмодернистских течений).

Впрочем, все это было. Было тогда же. Чем закончился спор — известно: революционерам всегда приходится жертвовать во имя высшей целесообразности, каковая в отечественной культуре предстала в виде

соцреализма. Последний многое у авангарда взял, спровадив «на свалку истории» все ненужное, уже исполнившее свою (всегда разрушительную) функцию. На этой свалке авангард оказался в спрессованном виде (как и положено после прессовки), так что сегодня лишь специалисты усматривают там свои ходы и переходы. В массовом же сознании все это неразделимо, все перемешку. Процесс же был исключительно сложным, и один сюжет этой мозаики привлекает внимание А. Накова.

Беда началась, убеждает он, не с рождения соцреализма, а все-таки раньше: когда производственники и конструктивисты изменили первоначальному замыслу, который, конечно же, был прекрасен. Этот прекрасный замысел связан для автора с беспредметным искусством, свободный полет которого начался в 1915 и завершился в 1921 году. До 1915 года были лишь поиски (Кандинский, Ларионов) — о «темном прошлом» (погрязшее в натуре искусство XIX века) речь просто не идет, — а после 1921 года появились социально ангажированные Брики, Чужаки и К° и все загубили. Итак, период «золотого цветения» обозначен четко. Впрочем, так же четко и эмоционально (это эссе, как сообщает автор в предисловии к русскому изданию, было написано «на одном дыхании») заявлено и отношение к объекту. Его, это отношение, можно определить формулой, послужившей названием первой части книги: «От нуля к бесконечности: „Свободный полет форм“» (собственно, эта часть и является концептуальной, поскольку вторая посвящена хронике художественной жизни). «Нулем» была, конечно, вещь, а «бесконечность» начинается с автора «Черного квадрата», провозгласившего в 1915 году, что «вещи исчезли, как дым, для новой культуры искусства».

Свобода, как сказал поэт, «приходит нагая», не обремененная натурой, ответственностью, моральными и рациональными «условностями», — «трансцендентное течение» зауми начинает свое победное наступление на разум и смысл, сметая на своем пути последние преграды культурного охранительства. «Процесс пошел». И пошел весьма успешно: «Русская художественная среда сумела соединить новаторские тенденции кубизма и футуризма, то есть добиться такого синтеза, который оказался недостижим в Париже. Русский синтез был прежде всего концептуальным». Эта концептуальность не вдруг родилась — нужно ведь было «раскрепостить первые интуитивные формы своего «заумного» языка («алогизм форм») и придать им логику новой пластической системы». А для этого нужен был перелом, и вот «такой перелом произойдет летом 1915 года; когда, уединившись в своей московской мастерской, Малевич напишет простой «черный четырехугольник» на белом фоне. Этот пограничный образ, «нулевая стадия» новой живописи, — не просто картина, подобная многим. Этот «первый шаг чистого твор-

чества в живописи» (Малевич) воздвигает концептуальную преграду между старой живописью и беспредметным творчеством, он обозначает точку, откуда нет возврата, равно как и поворотный пункт в эволюции от «несвободы»...». Чем же была обеспечена эта неслыханная свобода? Золотым запасом идеальности, отвечает автор. «Беспредметная пластика порывала с зависимостью от мира мертвых предметов. Она становилась особой структурой: понятие (идеальное) намеревалось решительно занять место предмета (реального)». Достигается эта свобода опять же революционным путем (никто не даст нам избавленья). Например, Татлин, как замечает автор, «в привычный мир бросал настоящую бомбу, и она, взрываясь, уничтожала традиционные точки отсчета; при этом художник делал концептуальные выводы из конкретных результатов такого взрыва материи». «Материя» здесь — человек и его мир.

Итак, беспредметничество и заумь открыли, по Накову, эру «чистого искусства» и «до конца революционные» художники принесли, таким образом, полную свободу и идеальность. А посему автор беспощаден к тем, кто, претерпев эволюцию, отказался от беспредметничества и зауми, обратившись к «новой вещественности», дав пример «того «возвращения к порядку», которое через несколько лет иные адепты превратят в зловещий лозунг, придав ему вполне определенный социальный смысл». Намек понят — вопрос остается. Вопрос о том, действительно ли беспредметничество и заумь, этот авангардный беспредел, несли свободу и идеальность.

Выслушаем автора еще раз. «Сам Малевич с отважностью Прометея взвалит на себя все бремя ответственности за свои умозаключения. Поскольку развитие идей супрематизма привело к „чистому действию“, его изобретатель вынужден признать, что творчество не является больше результатом сознательной художественной деятельности; он призывает *бросить растрепанную кисть ради отточенности пера...* и посвящает себя теоретической работе, так как считает, что на данной стадии „в супрематизме не может быть проблемы живописи. Живопись давно умерла, и сам художник является пережитком прошлого“. Суждение это поражает своей радикальностью, но, главное, полным соответствием собственной практике: в „черном четырехугольнике“ действительно не может быть „проблем живописи“. Отточенное же перо необходимо для того, чтобы противопоставить „изображению уголков природы, мадонн и бестыдных венер“, „женским окоорокам“, „портретам и гитарам при лунном свете“, „чисто живописное произведение“, как-вым и является черный квадрат, это „творчество интуитивного разума“, это „лицо нового искусства“, этого „живого, царственного младенца“, этот „первый шаг чистого творчества в искусстве. До него были наивные вродства и копии натуры“».

Как видим, уход в область безответственного теоретизирования (в область «исключительно ментальной энергии», о чем заявляет Малевич в своем «Белом манифесте») был связан с отказом от ответственной художественной деятельности.

И вот взваливший на себя «с отважностью Прометея» бремя новой безответственности Малевич оказывается вытолкнутым из революционной культуры, где верх взяли производственники с их культом прикладничества. «Появление такой теории, — утверждает Након, — знаменует первый шаг по пути отказа абстрактному искусству в праве на самостоятельное существование. Явно и откровенно искусство должно отныне служить иной цели; оно просуществовало в своей прежней ипостаси «чистого искусства», соответствующей его онтологической природе, лишь те немногие годы, пока товарищи и ученики Малевича увлекались супрематизмом». Малевич же оказывается не только в роли мученика, но и в роли отвергнутого Моисея (он звал к «переходу через пустыню» из рабства к свободе).

И здесь возникает проблема, которую не хочет замечать автор. Восхищаясь рождением «нового пафоса машинного века», констатируя: «Если проанализировать удельный вес декораций Малевича в Петрограде, становится ясно, что беспредметное искусство выступает в тот момент в качестве санкционированного символа новой власти — большевиков», Након не видит очевидной «завязанности» авангардных художников на ту социальную и культурную ситуацию, которая и сулила им гибель. «Беспредметное искусство, ценой неизмеримых жертв завоевавшее полную независимость от сюжетов и предметов, оказывается в конфронтации с вульгарно-социологической критикой». Можно, разумеется, оставаться в плену внешне видимых схем, но беспредметность и социальный утилитаризм на деле предстают глубинно и намертво спаянными. Автор убежден, что зараженные материализмом производственники убили душу, рожденную в «чистом искусстве» беспредметничества и кубофутуризма, не сознавая, что душа была убита раньше: бросая в мир бомбы, авангард на каждой следующей своей стадии все глубже и глубже вел в бездну, где и погиб, уничтожив культурную почву, обезоружив человека перед «самым передовым художественным методом». Это были ступени от бесконечности — к нулю. Все более крутые ступени. Стоит ли удивляться, что вершиной конструктивизма стала татлинская башня, о которой сам же Након пишет: «Символическое сочетание чисел, вписанных в разные режимы вращения, ставило проект на то место, которое некогда в космологии Ренессанса занимал образ человека». Ничего удивительного здесь нет — супрематизм освободил мир от человека, а свято место

пусто не бывает. Татлин и прошел путь от супрематизма к конструктивизму, как прошел свой путь до соцреализма (еще, правда, додержавного, но совсем зрелого) Маяковский. Важно лишь понять: все это ступени одной лестницы. И все они ведут вниз. С презрением пишет Након о выставке «Общества молодых художников» (ОБМОХУ), проходившей в мае 1919 года в Москве: «Все тонет в пустословии неистово революционного языка. Социальная аргументация берет верх над формальной мотивацией, „эстетизм“ объявляется „разбазариванием человеческого мозга“». Два года спустя те же художники „объявят искусство и его жрецов вне закона“. Но разве не Малевич утверждал то же самое?

Не замечая этих очевидных схождений, Након и рисует историческую перспективу в совершенно перевернутом виде: «В двадцатые годы теория искусства постепенно попадает под пяту идеологии... Отказ искусству в праве на автономный язык в конце двадцатых годов приведет к вытеснению беспредметничества из мастерских живописцев. В 1932 году все независимые группировки художников будут упразднены, что обернется штамповкой стилистически безликой «художественной» продукции. Два года спустя будет официально провозглашена доктрина «социалистического реализма». Перечеркнув весь опыт беспредметного творчества, этот метод отбросит изобразительное искусство к исходной точке его эволюции — «социальному реализму» передвижников». Дело же состоит в том, что «под пяту идеологии» могло попасть искусство, уже прошедшее «первичную обработку» — обесмысленное и лишенное культурной почвы. Первичная эта обработка действительно проходила поэтапно. А потому и нет абсолютной пропасти между «Черным квадратом» Малевича и полотнами Герасимова, как нет ее между татлинской башней и проектом Дворца Советов, между «дыр бул шил» и «Кавалером Золотой Звезды»... Это движение в одном направлении. «Процесс пошел», и мы обязаны постигать его логику, его этапы, каждый раз учитывая уроки. В том числе и уроки авангарда. Трагические уроки непонимания, безответственности и слепого нежелания думать о последствиях своей «революционной активности». Та свобода, которую несли беспредметники и заумники, не была уничтожена. Напротив, она-то и была утверждена в «новом искусстве» — свобода от ответственности и смысла. Целое «царство свободы».

Право выбора пути никто не отбирает у человека. Не забыть только, что от нуля бесконечность простирается в обе стороны: плюс-бесконечность и минус-бесконечность. Все остальное при нас.

Евгений ДОБРЕНКО.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ И НОВЫЙ «ОРДЕН» ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

I

И ныне во второй раз за XX век Россия находится на решающем историческом перекрестке, равном по своему значению революционному семнадцатому году. Тогда происходил радикальный перелом ее эволюционного пути — переворот в социально-экономических, духовных и бытовых основах ее существования и замена их проектом построения небывалого, «беспочвенного», утопического общества. Теперь наконец перед Россией открывается перспектива вернуться к основаниям своего национально-исторического бытия, восстановив прерванное движение. Но так же, как в тот роковой момент измотанная страна была совлечена со своего исторического маршрута на путь революции силами «ордена» радикальной интеллигенции, так, по-видимому, и теперь он возрождается вновь, грозя снова стать препятствием к воссозданию России и продвижению ее по прерванному революцией естественно-органическому пути.

(Мне могут сразу возразить, указывая на заслуги интеллигенции в открытии для страны самой перспективы свободы. Но и с этим я не соглашусь. Как бы ни были героичны правозащитники и диссидентские идеологи, не они, а сам режим начал свою переделку. Правда, он предпринял ее тоже на диссидентский манер, через сдвинувшегося с генеральной оси одиночку из партократии, притом что этим дееспособным «инакомыслящим» мог быть и был в действительности только сам ее лидер. Таков уж этот режим, что его со стороны голыми руками не возьмешь, — ведь никакие усилия диссидентов не смогли изменить и даже пошатнуть оснований системы, пока инзурти ее не выдвинулся подрывник и не сделал первого самоубийственного шага. Заслуги интеллигенции начинаются дальше — с разборки системы, где интеллектуалы были, конечно, не одни, а вместе с народом, с протестующими шахтерами.)

Левореволюционная суть интеллигенции явственно вскрылась в знаменательный момент — в день торжества демократии в России и ее национального единства, в тот самый момент, когда кончилось время разбрасывать камни и наступило время их собирать. И вот еще не высохла на мостовой кровь защитников Белого дома, только что отзвучала панихида над ними, как совершенно неожиданно на голову российского президента и правительства обрушилась лавина обвинений — как будто здесь не отстаивали свободу, а, наоборот, кого-то поработили (этот парадоксальный момент мутации демократического сознания, грозящий оживить по принципу противодействия правый фланг, был отмечен в «Обращении к российской интеллигенции»¹). Кампания эта началась симптоматично — с появлением российской символики, казалось бы естественно заменившей собой коммунистическую, и с выходом церкви на улицу во время публичного отпевания павших. Совершенно в духе воинствующих безбожников 30-х годов нас стали убеждать, что церкви лучше бы тихо сидеть на месте, не вылезая за свою ограду. (Эти ревнители свободы совести, понимаемой преимущественно как свобода от религиозной совести, ссылаясь на «тоталитарную угрозу», исходящую из религиозных институций, по сути, отгораживают нас от «всего цивилизованного мира», на который во всех других случаях они призывают держать равнение. Ведь как раз там, в центре этого мира, папу римского не преследуют за его подчеркнутую публичность. Цивилизованнейшие города Европы не бунтуют против тотальной «заорганизованности», подчас вносимой в их жизнь религиозными манифестациями, как, например, в дни святых покровителей городов.) Внезапно возникшие бурные критики, ничем не уступая марксистско-ленинским пропагандистам, стали пугать общественное мнение призраком старой России как «тюрьмы народов», источающей из себя идеологию «великодержавного шовинизма», и жаждать немедленного расчленения страны на 52, кажется, части (ибо, как заявлялось

¹ Опубликовано в «Русской мысли» 13 сентября 1991 года и в «Комсомольской правде» 21 сентября этого же года («Отойти бы от края новой пропасти...»).

теперь среди прочего, «СССР — это только иное название Российской империи!»). Тогда же весомая фраза президента: «Я верю, что Россия возродится!» — послужила им дополнительным импульсом к отмежеванию. У российского главы в одночасье не осталось ни одного сочувствующего ему телеканала, и это после того, как сочувствующими были все.

Этот мгновенный перелом в отношении к России со стороны леворадикальных демократов, когда ее демократическому правительству они вдруг предпочли завуалированных коммунистов-тоталитариев из республик, обнаружил, насколько жива в сердцах новой левой интеллигенции преданность старому делу революции и насколько это составляет суть ее политического мирозерцания. Православная церковь ей страшнее, чем коммунистическая партия, российская история нежелательней гулаговской.

Однако парадокс рассеивается, если взглянуть на эту интеллигенцию как на радикальный «орден», который никогда и не считал своей целью правовую демократию («буржуазные свободы», учил еще Ленин, нужны только временно, для свободы рук), а ставил своей задачей «переделку мира по новому штату», притом что миром этим была Россия. Вспомним, что «орден» интеллигенции характеризуется, по Г. П. Федотову, «идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей»; что П. Б. Струве определял это же явление как принципиальное «отщепенство» от государства и русской истории; что С. Н. Булгаков связывал его с атеистической оторванностью от почвы, с секулярной неотмирностью. Все, как видим, констатировали одно и то же: противостоящее органическим тенденциям, «субстанциальным силам» российской истории, утопическое прожектерство. Конечно, интеллигентский «орден» беспочвен в предельном смысле этого слова, потому что его политическая философия бросает вызов основам всего мироустройства, а не только российского бытия.

Сегодняшний «орден» вроде бы отказался от тотальной марксистской утопии и апеллирует как к образцу к правовому западному обществу. Однако в действительности здесь чистое недоразумение, ибо правовое демократическое государство зиждется на ценностном основании. Наши же радикалы думают, что можно социально устроиться на голом балансе интересов, без всякого «божественного подтекста». Но этот «подтекст», скрываемый ныне за позитивистскими обоснованиями правовой демократии как не нуждающейся ни в каком этическом фундаменте, ни в какой религиозной санкции, на самом деле один только и охраняет парламентный механизм от превращения его в механизм давления количества. Ортега-и-Гассет когда-то восхищался «небывалым великодушием» либеральной демократии: «...свои права, права большинства, она добровольно делит с меньшинствами; это самый благородный жест, когда-либо виданный в истории. Либерализм провозглашает свое решение жить одной семьей с врагами, больше того, со слабым врагом. Просто невероятно, что человечество могло создать такую чудесную вещь, такую парадоксальную, тонченную, замысловатую, прямо-таки неестественную систему». Однако парадоксальная работа великолепного механизма не могла бы гарантироваться сама собой, не опираясь в качестве предпосылки на убеждение в высшей ценности неповторимой человеческой личности, утверждаемой антропологическим учением христианского универсализма. На Западе тоже распространены концепции беспочвенной, позитивистской демократии в стиле С. М. Липсета или С. Хука, жаждущего социального единения на одном только «принципе отталкивания от всех разновидностей тоталитаризма». Но авторы подобных концепций там — это всего лишь «критически мыслящие личности», члены интеллигентского «ордена» Абендлянда (получившие от своих коллег-оппонентов название — sic! — «враждебных интеллектуалов», или «враждебного класса»), а не строители правового общества. Те были людьми гораздо более основательными. Так, предмет зависти и эталон демократизма — американская конституция утверждена отцами-основателями на прочном метафизическом фундаменте (Господь, говорится там, сотворил людей такими-то и такими-то), президент же не может быть атеистом. (Пусть вдумаются в эти пункты нынешние борцы с влиянием религии на российскую жизнь, они же — поклонники американской демократии.)

Отступив от марксизма, наша левая интеллигенция не отказалась, однако, от прожектерски-утопического мышления. Она лишь отодвинулась дальше по времени, совершив регрессию под сень тоже проективного, просветительского рационализма Французской революции и руссоистского «общественного договора» с его грубым мажоритаризмом, идущим в противовес правовой демократии.

Насколько наши радикальные интеллигенты на самом деле обеспокоены не правами личности, а призраком возрожденной, сильной России, стало заметно по тому, как он смутил их, произведя в их сознании рокировку приоритетов, точнее, выявляя подлинную расстановку таковых. Правда, и раньше вызывала смущение

какие-то прямо сталинская приверженность левых к национальному вопросу и их настойчивое требование: всем малым народам — политическую независимость! Не кроется ли за этим жажда раскиссировать Россию?

Это злосчастное для нашей страны, но очень энергичное воззрение на нее лишь как на пространство, на обширную территорию вполне объяснимо опять же беспочвенной орденской логикой и глубинным механическим позитивизмом, невосприимчивым к самой идее России, к представлению о ней как об историческом целом. С античных времен известно, что целое больше своих частей и что сумма частей целого не создает. Для правильного государства, по Аристотелю, «необходимо, чтобы целое предшествовало своей части» («Политика», I, I, II). Однако наши прогрессивные идеологи думают, что можно разобрать страну на отдельные части, а потом заново собрать ее из них. Предположим — отвлекаясь от ужасов, сопровождающих человеческое разделение, — такое произойдет, но это уже не будет Россия. Между тем у тех, кто не видит, что она есть целое человечество со своим лицом и со своей, не побоюсь этого слова, миссией, распад страны не вызывает скорби, напротив, воодушевляет на призывы идти навстречу этому распаду «с опережением» и даже — изъять из употребления такие вредные слова-укоры, как «дезинтеграция» и «сепаратизм».

Но зачем же призывать отделяться от России, если она оказалась впереди других на демократической дороге?! И где тут, в этом будировании суверенитетов, принцип прав человека? Ни один из атрибутов, отличающих одну человеческую особь от другой — цвет кожи, сословность, пол и т.п., — не может быть положен в основу правового государства. Его субъект — человек без свойств, то есть человек с любыми человеческими свойствами, ни одно из которых не отражается на его гражданском самочувствии. Защищать же права личности по какому-то признаку, кроме признака самой личности, значит ущемлять ее права; мыслить права человека в политических категориях национальной независимости — значит отодвинуть их на второй план, отрицать их первоосновность. Не могут же «права личности» и «право наций на самоопределение» претендовать на одно и то же, первое место, как это теперь получается у идеологов внутрироссийских суверенитетов. Совершенно ясно, что для того чтобы общество считалось правовым, оно должно исключить из своих гражданских приоритетов национальный фактор (равно как и классовый), но этого-то как раз и нет в рассуждениях большинства недавних правозащитников.

А как же сбереечь национальную самобытность, забеспокоится кто-то, — язык, книги, песни, танцы? Но разве для этого требуются танки, военно-морские флотилии, собственная валюта, часовые на границах? Все эти государственные прерогативы для сохранения национального лица в правовом обществе не нужны. Нужна культурная автономия; но это уже совершенно другой вопрос.

То, что перед нами новая версия старой радикальной идеологии, можно судить не только по измене декларативным правовым принципам, но и по той подтасованной логике, которая характерна для идеологического сознания, и по тому, куда она гнет, в какую точку бьет. Точка эта та же, что и у марксистов-ленинцев, — историческая Россия.

Конечно, марксизм — это самая законченная утопия, она охватывает всего человека, стремится занять его разум, волю и нравственное чувство. Но сегодня кредит ее уже исчерпан, отходная пропета. Восходящая идеология деидеологизма, имея все преимущества новизны, предлагает по сравнению с марксистской совсем иной набор ключевых понятий, но в борьбе с историей служат они эквивалентами понятий старых. Так, место диктатуры пролетариата занимает теперь столь же кроваво-утопический диктат национального суверенитета, опирающийся на выдуманное ленинско-сталинское разграбление страны. Ведь лозунг национальной суверенности во что бы то ни стало — *percat mundi* — служит субститутом классовой борьбы (в марксизме) и играет такую же роль в разжигании в стране войны гражданской.

Если в области политической философии марксизм сменяется столь же утопическим, как мы видели, принципом беспредпосылочной демократии, то в мировоззренческой диалектический материализм сменяется не менее надуманным и радикальным, но еще более убогим феноменом — философским, ценностным плюрализмом. Последний претендует даже на гораздо более грандиозный, чем марксизм, духовный поворот и совершает еще большее насилие над человеческой душой, собираясь вывести куда более «нового человека», чем намеревалась марксистская эсхатология.

Если марксизм учил о классовой истине, то плюрализм, будучи принципиальным релятивизмом, упраздняет критерий истинности как таковой. Под предлогом борьбы с «тоталитарной опасностью», исходящей будто бы от истины, на нее, как и на всякую вообще веру, на всякое убеждение, наложен запрет, в чем идеология плюралиста прямо сближается с запретительной стратегией тоталитария.

Но есть и сходство на большей глубине: борясь с неустрашимым из человеческой души запросом на смысловую истину универсального приложения, плюралисты вступают на дорогу всех утопических реорганизаторов мира и предлагают переделать по мерке своих требований самую человеческую природу. Человека отучают от постановки «проклятых вопросов», от исканий смысла жизни, ибо ему предписано отныне не принимать свои убеждения всерьез. Разве это не насильственная программа по формированию радикально «нового человека»?!

И наконец, поскольку своим принципом относительности всех человеческих мнений и убеждений плюрализм вытесняет содержательные принципы, опустошая умы, он тем самым готовит их к будущему захвату тоталитарной доктриной. Так сходятся между собой два на первый взгляд столь несхожих мировоззрения, как марксистская тотальная идеология старого «ордена» интеллигенции и безыдейный плюрализм нового ее «ордена».

Перед нами не антиподы, а сменяющие друг друга в одном деле напарники. И не надо обольщаться их противоборством. Очевидное противостояние коммунистов как мнимо «правых» и новейших левых радикалов как несомненно «левых» — это противостояние «этапов большого пути». Коммунизм — это победивший утопический радикализм; новый «орден» интеллигенции выражает радикализм, еще не победивший, который найдет для себя иную форму воплощения в действительности, чем предыдущая «утопия у власти», но это не значит — более плодотворную для жизни.

Если по отношению к социально-политической данности эти «правые» и «левые» противостоят друг другу — одни хотя и заморозить, а другие заменить, — то по отношению к самой жизни они равно левые, леворадикальные; ибо корень левизны, который присущ им обоим, — в духовном бунтовществе против органического, иерархического устройства бытия во имя прожекторского эгалитаризма. Воплощаясь в жизнь, метафизически левое естественно превращается в политически правое, как не терпящее в силу радикализма никакого оспаривания, однако не утрачивающее при этом своей глубинной общности с новой леворадикальной оппозицией. Правизна-левизна коммунистов выражается и в их фатальной неспособности к реформаторству. За весь свой век они ни на каком этапе не смогли провести реформы, то есть не могли найти формы, требуемой для жизни, а всегда издавали указы, совершающие над ней насилие вплоть до последних мелочей (даже пешеходные дорожки и те планировались в принципиальном несовпадении с тропами, которые пролагались пешеходами). И что за реформы тут проводились?! По слиянию или разукрупнению (ведомств, колхозов), перемещению масс (людей и техники), ликвидации (всего жизнеспособного и благоприобретенного). Они, как всегда, касаются количества, но не качества. Результаты всех этих реорганизаций каждый раз оказывались столь истребительными, что невольно закрадывался вопрос: а не удалось ли утопистам преодолеть сам закон сохранения материи?

Антиподом и старым и новым — а в общем, «вечным» — левым оказываются либеральные (или творческие, просвещенные) консерваторы, которые признают правоту миропорядка, устроенного Разумом, превосходящим человеческий, а как следствие этого признают и христианский персонализм, естественное право, эволюционный путь развития. Так где же они? Неужели в сегодняшней России, где кипит политическая мысль, нет направления, которое было бы для страны генеральным — в русле традиции Вл. Соловьева, «Вех», П. Новгородцева, первой эмиграции?

Наверное, взор наш должен остановиться на христианской демократии, прямом продолжении идей «христианской общественности» и партии христианской политики, задуманной С. Булгаковым. Такой поворот мог бы послужить началом гражданского экзорцизма, очищения от коммунистической инфекции, — процесса, без которого (по отношению к нацизму) никогда не встала бы на ноги послевоенная Западная Германия. Национал-социалистическая партия была раз и навсегда пригвождена к позорному столбу, осуждена как преступная организация, что делало невероятным ее «выход из окопов». (Попробовал бы там кто-нибудь из ее бывшего партаппарата пожаловаться, что «идет охота на ведьм»!) Покаяние перед своей страной и соседними народами, разрыв с двенадцатилетним гитлеровским рейхом как со своим страшным грехопадением — вот столп и утверждение «германского чуда». (Не «планом Маршалла» ущемлено наше национальное достоинство, а тем, что наши танки разгуливали по Европе в мирное время.)

Для российского возрождения подобный старт не менее необходим. Увидеть деяния революции во всей ее подлинности голой, осознать всю свою последующую историю (за исключением Отечественной войны) как неправедную и чудовищную, где народ наш был противопоставлен мировому человечеству, научиться не

гордиться триумфами, а стыдиться их — вот метанойя, которая рассеет окутывающий нас ядовитый туман, вот основа здорового терпения для восстающих из руин.

Но ничего этого у нас пока не происходит, национальная трагедия продолжается, и не потому, что народ упорствует (он не жестоковен — напротив, он оказывается на удивление податливым и сообразительным, когда есть из чего выбирать, как это было на демократических выборах), а потому, что молчит об этом активная, задающая у нас тон интеллигенция; молчит и церковь. Фигурирующие на общественной авансцене интеллектуалы — это в основном плюралисты с вечно диссидентской ментальностью борцов с тоталитаризмом-кагебизмом. В этом уклоне мысли они расходятся с массовой Россией, да и с населением всего бывшего СССР. Все мы, рядовые граждане, жили прежде всего не под гебекратией, а под партократией, и мы были уверены, что исчезни вдруг партия — и госбезопасности при всей ее мощи придется меняться как подручной, а отнюдь не автономной организации (которая в той или иной форме имеется в каждой стране), в то время как наша партия («нового типа») — доминирующее в обществе и уникальнейшее в мире образование. Что касается церкви, то она почти всегда молчит, когда речь идет об общенациональных вопросах, выходящих за ее ограду.

Конечно, СССР не Германия с ее детским стажем тоталитарного существования. Видно, за три четверти столетия у нас выросла такая толща закоренелых партийцев, что прорваться сквозь нее не так-то легко. Правда, был момент — торжества демократии и обморока партии, — когда, не встречая особого сопротивления, можно было очиститься от оруэлловской «внутренней партии». И браво! Ельцин дерзнул на августовской волне пробиться с департизацией страны, перешагивая через растерянность всесоюзного президента, вернувшегося из фюрерского пленения все в тех же «старых калошах» марксизма, в прежних мыслях о совершенствовании партийных рядов. Горбачевской идее «очищения партии» Ельцин противопоставил дело очищения от партии. Но этот громадный политический шаг выходил далеко за пределы среды и не получил должного продолжения в работе общественной мысли, которая подвела бы к необратимым социально-политическим выводам.

Гипотетическая надежда сознательного русского возрождения — «христианская демократия» была слаба, но дело не только в этом (слабое становится сильным), а в том, что в своей тогдашней официальной идейно-политической программе она слишком подпала бездельности, господствующей во всех программах демократических партий, слишком робко заявляла свое кредо.

II

Прошли месяцы с тех пор, как левые радикалы пошли в поход на российского президента и правительство — и политический ландшафт в России резко изменился. То, о чем предупреждало «Обращение к российской интеллигенции»: что «сила, которую новые «критически мыслящие личности» могут вызвать на историческую сцену, будет гибельна не только для них, но и для всей страны», — грозит свершиться. Но кто сеет ветер, должен быть готов к буре. Теперь, когда на небе появились черные тучи, многие наши независимые интеллектуалы спохватились, и «с криком «все назад!» они кинулись к дверям», как говорится в одном из рассказов О'Генри. Спихватились, но не раскаялись и так же высоко держат голову — штрих, тоже сближающий их с предшествующими господами положения: если и страдать, то не комплексом вины, а комплексом обвинения и вечной правоты. И точно: как при достопамятных зигзагах «линии партии», практическое отступление радикалов на фронте борьбы за суверенитеты автономий никакого прояснения в их теоретическую оснастку не внесло, а внесло лишь эклектизм, совмещающий несовместимые принципы. И теперь они учат нас необходимости сочетать «приоритеты национального и личного».

Конечно, не один только напор «антиимперских» настроений левых распалил националистические круги и взбодрил затаившихся, подкрасившихся в менее приевшиеся коричневые тона коммунистов. Был использован и момент трудностей: экономических (запуск реформы) и политических (демарши соседей), — чтобы, стянувшись в национал-коммунистическую силу, направить недовольные массы против либерального правительства. Стали возрождаться традиции большевистской молодости. Как в предреволюционные годы ходили агитаторы в народ — на фабрики и в казармы, чтобы отравить гражданское сознание рабочих и солдат, разжечь злобу к царскому правительству, — так и сегодня, одряхлевшие и выцветшие, они снова принялись за старое, действуя в доступных им местах нынешнего скопления народа — по большей части в очередях, на автобусных остановках, на вокзалах, сея недовольство к российскому руководству и зависть к богатеющим.

Но вот на идейно-общественном горизонте появляется течение, назвавшееся «Конгрессом гражданских и патриотических (а также «консервативных». — *Р. Г.*) сил», или «Российским народным собранием» (куда перебрались лидеры «Российско-христианско-демократического движения»), которое определяет свое место, отмежевываясь как от правых, тех, что «до конца цепляются за идеологические фикции», так и от «левых», тех, что «слепо рушат основы общественного устройства». В манифесте этой группировки говорится также, что «идеологические догматики пытаются остановить ход истории, догматики от демократии навязывают ей судорожный темп и нацеливают на новые утопии». Если не задумываться над загадочным речением о «судорожном темпе» (темпа-то как раз более всего у нас и не хватало), то в остальном — золотые слова. Авторы их вроде бы собрались служить устойчивым центром и опорой для российского возрождения и называют себя людьми государственного склада, «охранительного», патриотичного. Вот наконец не «беспочвенники», не утописты.

Но заглянем за вывески. Посмотрим, чем эти центристы собираются обеспечить устойчивость, в которой так нуждается Россия; что в идейной позиции державников сможет скрепить то, что еще восстановимо в Российской державе; что в их порыве патриотов хоть немного скрасит жизнь отчизне.

Главный пункт их тревог — разрушение «огромного, веками собиравшегося многонационального государства» в результате «разгула сепаратистских и национальных стихий», а главная задача соответственно — восстановление подорванных «вековечных связей». «Нас не радует, — заявляется в одном из их меморандумов, — распад союзного государства». Что ж, нас тоже. Это настроение разделят все простые люди и все вообще не радикалы, не «беспочвенники», все просвещенные консерваторы, если, подчеркнем, понимать консерватизм не в бытовом смысле «бездвижности», «твердолобости», а в принципиальном, концептуальном смысле охранения всех положительных тенденций и ростков, появляющихся в жизни.

Но какое же государство задумали тут восстанавливать? — Российскую державу в ее прежних границах! Если речь идет о дореволюционных временах «Руси великой» с ее межплеменными «извечными связями», то мы тоже были бы счастливы вернуться туда. Но как?

Прямого ответа на этот вопрос у новых государственников нет, но нетрудно понять из их установки на «жесткие и решительные меры по наведению порядка», что все надежды тут вольно или невольно возлагаются на применение военной силы, а мы знаем, что это значит.

Но главное (хотя никаких разъяснений тоже нет), вовсе не «Российскую державу» имеют тут в виду². Судите сами, в меморандумах «патриотов» прямо заявляется о необходимости «восстановить управляемость государственными структурами на всех уровнях», «методы оперативного управления государственными предприятиями» и о невозможности «отказаться от централизованного управления». Какого еще свидетельства нужно?! Быть может, конкретное свидетельство об их экономической программе? В документах наших «консервативно-патриотических сил» она, бесшумно сменившая «эрхардовскую», ранее выдвигавшуюся РХДД программу, предлагает что-то на первый взгляд расплывчатое, в духе не существующего в природе «третьего пути», а по сути — ту половинчатость, в которой рыжковско-павловская половина легко проглатывает свободнорыночную, как она это делала всегда, если ей только давали за что зацепиться. Поэтому хотя программа составлена как бы по формуле, вырвавшейся из уст одного племенного и бесперебойного оратора: «...не иди ни туда, ни сюда», — суть ее состоит во введении экономической «чрезвычайки», то есть в возврате к социализму.

Итак, за призывами к восстановлению России маячит восстановление все того же Союза, как будто он явился преемником Российской державы, а не губителем ее; как будто возвращенные коммунистические структуры, все эти государственные, общественные, экономические и тем более партийные цепи советского производства, еще раз сковав страну и исполнив «дело воссоединения», растворятся затем в воздухе как дым. Или, быть может, структуры эти переродятся, наполнятся содержанием, которое они же истребляли, то есть теми самыми «российскими интересами, идеалами и традициями», какие записаны на скрижалях «Российского народного собрания», или «Народного согласия» (согласия с кем? с коммунистами?), и послужат обречению Россией ее прежнего, подлинного, ими же поруганного лица?

Однако думать, что коммунистические структуры можно взять напрокат до поры до времени — это старая, потерпевшая полный крах евразийско-сменовеховская

² Вскоре на VI съезде трибуны из этой оппозиции четко выразили свои взгляды, предпочтя идею Союза Социалистических Республик идее возрождающейся, хотя и урезанной России: они требовали «документально закрепить» этот не существующий и вместе с тем идеологически нагруженный факт. (Позднейшее дополнение.)

утопия. Так же как евразийцы 20-х годов, новые державники принципиальную антитезу «правовая демократия — тоталитарное государство» подменяют другой: «малая Россия — большая Российская держава», — не смущаясь ее союзно-коммунистического лица, не желая замечать, что та Российская держава была разрушена в 1917 году. Да, то был только первый акт — когда у нее отнимали душу; сегодня идет второй акт драмы — когда расчленяют ее тело. Между тем предпосылки сегодняшнего действия, как и полагается по драматическим законам, надо искать в самом его начале. Большевики взорвали территориальное устройство Российской империи, заменив его этническим и зафиксировав в конституции «право наций на самоопределение вплоть до полного отделения». Этим была заложена бомба замедленного действия, выданы векселя, по которым нужно будет платить. Вождь всех угнетенных народов давал им головокружительные права, об использовании которых нельзя было и помыслить при его террористическом режиме, но как только конституция перестала быть декларативной фикцией, то весь ее националистически-антиправовой заряд, казавшийся верхом демократии, начал взрываться и взрывать страну. (Понятно, почему Ленин вел смертоубийственную борьбу против пресловутой культурно-национальной автономии: это была бы реальная синица в руках денационализируемых марксизмом народов.)

То, что красные с коричневой прожилкой политологи и доктора философских (марксистско-ленинских то есть) наук не замечают ни провокационной роли ленинского законодательства, ни того Рубикона, который должна переступить страна, переходя из состояния советской социалистической в состояние демократически-правовой республики (подобно тому Рубикону, который отделял СССР от государства Российского), это неудивительно, поскольку подмены и смешения — неотъемлемый спутник тотальной идеологии, особенно на этапе ее поражения. Но когда вчерашние антикоммунисты, а сегодняшние, еще и просвещенные, консерваторы-патриоты не замечают пропасти, которая разделяет два мира, естественный и измышленный, злоумышленный, то это совершенно непонятно и может быть объяснимо только ложным самоопределением.

«Конгрессменам» не удалось встать в центр, пройдя, как выразился известный герой А. Платонова, «по отточенной линии партии, не соскальзывая ни по правому, ни по левому ее уклону». Пусть от левого они отшатнулись, но соскользнули направо, что по своим конечным последствиям для страны одинаково плачевно. Недавние обличители либерал-коммунистов оказались заодно с нелиберал-коммунистами, ныне сплошь задрапированными в патриотические одеяния, с этими твердокаменными ленинцами, которые под давлением конъюнктуры вооружились интересами «Российской державы», чтобы бить своего кровного врага — правовую демократию — под видом врага России. А казалось бы, нет больших антиподов христианским консерваторам, чем тоталитарные национал-коммунисты.

Однако в данном случае поражает как раз полное совпадение позиций между ними: тот же вызов демократической власти, голая оппозиционность Президенту России (как будто у нас есть что-то более надежное и законное сегодня?!); та же установка на потрясение страны, на подрыв шаткой стабильности в ней; тот же комплект обвинительных аргументов (с большой головы на здоровую). Во всем этом нет ничего от положительного центризма, а есть нечто от рожених, идущих на перехват власти; недаром у них вырвалось: «Наш час пробил».

Всмотримся поближе в главное обвинение правительству — в «развале Союза». Кто же сегодня этот виновный на самом деле? Придется указать в противоположные стороны. На левых — потому что, как мы знаем, они одержимы страстью римского сенатора Катона (*Carthaginem esse delendam!*), захвачены прожектерским завихрением. Им так хочется в корне перекомпоновать — а для этого рассыпать на куски, которые тут же превращаются в острые осколки, — эту непутевую страну, Россию, раздражающую своей патриархальной косностью, а с другой стороны, подмывающую на эксперименты своей аморфностью. Поэтому они, на основе ленинско-сталинской конституции, развили мощную идеологию раздора под лозунгами суверенизации, наполняя антиимперскими криками эфир и печать.

Правые в сегодняшнем политическом раскладе разваливают страну вопреки своей воле и, желая укрепить центристские силы силовым путем, вымостили дорогу силам центробежным. Невозможно переоценить роль в этом деле коммунистической верхушки, которая для того, чтобы сохранить свою власть, подрывала цельность России, закулисно подзуживая автономии к выходу из нее. И вместе с тем каждому ясно, что именно союзный центр, накрывший страну колпаком своих министерств, ведомств, номенклатурного партаппарата и в течение всех шести провокативных лет перестройки не желавший сдвигаться с места, не оставил никакого другого способа освободиться от этого колпака кроме как, воспользовавшись тем же правом на суверенитет, вырваться из-под него каждому народу в одиночку.

И был ли у новорожденной российской власти иной выбор, если не считать, конечно, поворота назад? Совместный переход республик от старых структур к демократическо-правовым, за что стояла Россия, был прочно заблокирован этими старыми структурами. В лице своего юного (хотя и обремененного старым грузом) парламента она все же сумела освободиться от давящей пирамиды центра и помогла выбрать другим. Но борясь за независимость от него, российская власть никогда не культивировала как таковых изоляционистских настроений и, напротив, усиленно укрепляла горизонтальные связи. Путч высших партократов добил мечту о мирном перерождении Союза, снабдив амбициозных региональных вождей неотразимым доводом и поводом для отсоединения. При этом возникающая межэтническая, подчас звериная вражда, которую пытается избежать и смягчить российское правительство, — тоже ведь плод воспитания народа в коммунистическом крысари, самопроявление выращенного здесь безбожного «нового человека» (для которого и сама религия часто становится «спецификой», используемой для разделения).

Наконец, СНГ, в котором правая оппозиция дружно хочет видеть причину окончательного распада Союза и которое между тем возникло после кончины верховного органа СССР на Пятом съезде и после декабрьского разворота Украины, являлось на самом деле единственным оставшимся способом спасти то, что еще можно спасти, и попыткой хоть как-то утихомирить буйствующих соседей, следуя доброкачественному консервативному убеждению, что плохой мир лучше доброй ссоры. Однако всем решительным критикам российского президента, якобы подписавшего акт об СНГ в пику Союзу, свойствен прием перетасовки фактов и расположения событий в обратном текущем временном потоке и в обратной, следственно-причинной зависимости.

Положительная же программа новой оппозиции справа — «единая держава», «единая армия», чрезвычайная экономика — с точки зрения возрождения России сегодня столь же утопична, как и программа левого «ордена» интеллигенции, и способна послужить лишь реанимации коммунистической системы. Нет, не эти стратеги, изменившие и христианству и демократии, нужны России и не эти советчики — ее руководству. Их программы так же не патриотичны, не гражданственны и не бережны в отношении российских основ, как и установки левых радикалов.

Между тем по тому, каким атакам с разных флангов подвергается российская власть во главе с президентом, можно предположить, что она практически и встала на путь, ведущий к воссозданию страны. Не выдвигая догматических схем в качестве руководства к действию, что совершенно в духе творческих консерваторов, но руководствуясь здравым смыслом, уважением к естественному закону и нерекламируемой тревогой за отечество, проплывая меж крутых берегов грозной действительности, гася пожары страстей уступками, частными компромиссами, неоконсервативные реалисты возвышаются, однако, над ползучими, плоскими прагматиками. Отсутствие вокруг интеллектуальных общественных сил, связывающих себя с глубинным этосом страны и способных выработать «концепцию национальных интересов» России, Ельцин компенсирует выразительной, хотя и мимоходом высказанной формулой: «аккуратно, постепенно и дружелюбно». Наклонность к умиротворению страстей и партий заметна и в личном поведении президента: он не отвечает на выпады, даже не опровергает заведомой клеветы в свой адрес, как будто и не замечая недоброжелательства, и тем самым разрывает собой цепь взаимобвинения.

Слава богу, мы дожили до такого правительства (не ждали, не гадали!), которое пытается (спотыкаясь на ухабах) повести Россию не назад к коммунизму и не вкось к безличной, беспочвенной, среднеарифметической демократии, а по дороге возрождения. Но на нынешнем решающем перекрестке оно, как когда-то в предреволюционные годы правительство Столыпина, оказалось во враждебном окружении воинственного «ордена» интеллигенции — новых левых и старых левых. (Что касается коричневой крови чистопородных правых, то без радикально-красной струи Россию она все-таки захлестнуть не может.) Одна «Демроссия», шаткая и валкая, то раскалываясь, то пытаясь собраться с силами, пока держится и держит. А вокруг власти кипят враждебные вихри, множатся и роятся партии, союзы, альянсы и «соборы», и каждая новинка — не поддержка, а подножка.

Наши масс-медиа тоже не исключение, нет-нет да и поразят своей «отстраненностью» от российских забот. Еще бы, ведь тут прямо прокламируется «независимость» от всего; а как ее доказать?! Фрондерством с властью, контрпропагандой, и замалчиванием, вытеснением существенного для нас с вами — дребедню. Так, российские «Вести» по четыре раза на дню могут принуждать нас следить за превратностями судьбы какого-нибудь американского боксера-наильника, или спидоносителя, или темной поп-звезды, осветлившей кожу (вот актуальный интерес!), но ничего не рассказывают о происходящей в это время парижской встрече «двух Россий», где с речью выступает наш президент и обращается с приветствием глава российского императорского дома великий князь Владимир Кириллович. На встрече

столпотворение фотокорреспондентов и журналистов из разных стран (есть ведь у кого взять материал!), но только не российских; дело, очевидно, опять в том, что президент говорил «почвенные» речи, выражал свою веру в Россию.

Что ж, вставайте, люди недоброй воли, поднимайтесь, оппозиционеры всей страны! Не давайте распорядиться не по-вашему и не вам! Идеологи и мыслители, комментаторы и информаторы, публицисты-нонконформисты — все критически мыслящие, независимые личности, настал момент показать себя! Конформизм не пройдет! Россия тоже!

А между прочим, на встрече было сказано: «Когда вы видите, что президент России присутствует на богослужении, не думайте, что это чисто пропагандистский маневр. Вы знаете, я родился в деревне, в крестьянской религиозной семье, и мама у меня (ей восемьдесят четыре года) до сих пор верит в Бога. А у меня в душе осталась и тяга к земле и тяга к религии... Мы не ослабели в целом душой. Нет, большинство россиян добры по натуре своей. И сейчас, когда эта тяжелая шапка сброшена, наш народ быстро восстановит свои традиции, свое внутреннее величие, уважение к самому себе, заживет без унижения, в котором он жил эти последние десятилетия...»

Однако для этой позиции не находится соответствующей социальной философии, которая поддерживалась бы в среде общественно значимой сегодня интеллигенции. Последняя раскололась на два лагеря, каждый из которых провозглашает одну половину истины, сочетаемую с половиной лжи. «Патриоты», ратующие за возрождение «исторического наследия» Руси, никак не отделят его от наследия антиисторического, неся на своих знаменах Ленина и Пожарского. Левые, защитники прав и свобод человека, исключают пугающее их «прошлое», а по сути вечное, оставляя народ перед бездной пустоты.

Возможно, время принесет другие события, в свете которых все злободневное накануне апрельского съезда депутатов, когда пишутся эти страницы, отсечется на второй план. Но что бы ни случилось дальше с российской властью во главе с президентом, как бы ни изменилась политическая история страны, та встреча, которую устроила активная часть интеллигенции (разных оттенков) первому демократическому правительству России, останется фактом на все времена. И факт этот подтвердил, что независимо от вопроса, во всем ли полезна новая власть стране или нет, в решающие моменты российской судьбы среди наших интеллектуальных сил опять-таки не нашлось ни одной, которая была бы подлинно озабочена воскрешением Родины.

Рената ГАЛЬЦЕВА.

Ноябрь 1991 — март 1992.

PS. На наших глазах шел апрельский съезд народных депутатов Российской Федерации, витающий над временем и пространством и одновременно взявший российское правительство в кольцо «право-левацкой» оппозиции. Но даже если считать этот съезд фантастов только «реакцией», то и тут провоцирующая роль нового «ордена» интеллигенции первостепенна. Именно активисты этой корпорации сразу после августовских событий блокировали возможные действия президента, не давая произвести структурные и политические перемены в архаичной системе. Левая атака, усматривая в каждом жесте главы страны «авторитарные замашки» и даже симптомы «имперского дурмана» («Независимая газета»), создавала вокруг него парализующую атмосферу. Попробуйте в обстановке ядовитой подозрительности радикально преобразовать устаревшие структуры власти, включая анахроничный съезд — в сущности, не парламент даже, а ветхий Большой Совет не существующей Страны Советов, который желает быть всем, не будучи ничем, и который, в отличие от подлинного парламента правового государства, не чувствует границ между законодательной и исполнительной властью.

Связав за полгода до съезда руки российскому президенту, левая интеллигентская оппозиция развязала энергию реванша, чему сама, кажется, уже не рада. Таков один из самых невеселых уроков VI съезда.

От РЕДАКЦИИ. Весной этого года мы получили публикуемый материал Ренаты Гальцевой с принципиальной, ярко выраженной и требующей, как нам кажется, обнародования позиций. Одновременно нам прислали из Нью-Йорка номер газеты «Новое русское слово» от 11 февраля сего года со статьей Доры Штурман (известного уже и по нашим журнальным публикациям автора) «Чего хочет четвертая власть в России?». Невольная перекличка этих текстов кажется нам симптоматичной. В своей статье Дора Штурман говорит «о том слое общества, который обычно именуется себя (и другие его так именуют) „левой интеллигенцией“». Она пишет:

«Полагая себя солью земли, этот слой считает свои убеждения системой координат всякого порядочного человека. Положение обязывает: «левая» интеллигенция обязана быть оппозиционной, быть стойко скептической по отношению к правительству любого толка, быть если не сотрясательницей, то ни в коем случае не утвердительницей любой правительственной политики. И тогда, когда данную государственную власть действительно

надо сотрясать и даже свергать из-за ее цветущей тоталитарной невменяемости (правда, в таких случаях «левая» интеллигенция ведет себя в массе своей осторожней по двум причинам: 1) смертельно опасно фрондировать; 2) тоталитарные режимы словарно ей родственны, ибо чаще всего вылезают «слева»). И тогда, когда с властью можно и нужно полемизировать, но и сотрудничать. И тогда, когда государственная власть в борьбе с невероятными трудностями и (повторю) невменяемыми противниками предпринимает попытку выполнить ее же, свободолюбивой интеллигенции, чаяния и положительные задачи. Но поскольку вчерашний его кандидат стал властью, передовой и прогрессивный слой считает себя обязанным ратовать не «за», а «против».

Разумеется, недостатки «левой» интеллигенции суть продолжение ее достоинств. Как уже было сказано, она оппозиционна вплоть до универсальной антигосударственности. Она демократична вплоть до защиты права дискриминированных, по ее ощущению, групп, слоев и лиц на террор, на моральную извращенность, на бандитизм, на паразитизм — на всяческий, как теперь говорят, «беспредел». «Левую» интеллигенцию завораживает словосочетание «национально-освободительная борьба». Настолько, что она не в силах душевно устоять перед банальнейшим уголовником и тираном с национально-освободительной риторикой на устах. При этом — парадоксальное совмещение: «левая» интеллигенция замирает в некоем параличе перед жупелом «невмешательства во внутренние дела». И поэтому любой диктатор и любая хунта (подчеркнем: с «левой» или национально-освободительной фразеологией на устах) может с аппетитом хрустеть костями своих соотечественников внутри своей зоны: протестовать можно, но активно вмешиваться нехорошо. Если вы позволите себе усомниться в самоценности невмешательства во внутренние дела режимов с «левой» и/или «национально-освободительной» фразеологией, значит, вы «правый». А это в глазах «левого» интеллектуала смертный грех. Напомним: вне зоны соцлагеря коммунисты всегда считались «левыми» (в том числе и большевики), а нацисты и фашисты — «правыми», хотя и те, и другие, и третьи — социалисты, то есть опять же классические «левые». Но стоит вам усомниться в любом постулате «левой» интеллигенции, как она немедленно отнесет вас «вправо» (в ее представлении — поближе к фашистам, нацистам, империалистам, монархистам, воинствующим клерикалам и пр.).

Первопостулаты «левой» интеллигенции, по ее глубокому убеждению, справедливы везде и вечно, вне времени и пространства. Но катастрофически часто это не столько идеи, мысли, сколько привычная лексика, вызывающая привычные эмоции.

О том, что никакая историческая ситуация, в том числе и текущая, не укладывается ни в какие языковые штампы, что она всегда уникально-конкретна, «левая» интеллигенция забывает. Без учета же конкретных черт обсуждаемого феномена убеждения превращаются в опасные предрассудки. Подозреваю, что именно в силу таких предрассудков отношение современной быстро «левеющей» (вчера — советской) интеллигенции к нынешнему российскому правительству парадоксально напоминает думские ситуации столыпинского периода и 1910-х гг.».

Дора Штурман на конкретных примерах анализирует ту критику «слева», которой подвергались и подвергаются ныне президент Ельцин и его правительство, и, выступая если не на стороне президента, то откровенно сочувствуя ему, она считает нужным объяснить:

«Сотворяю ли я себе кумира из Ельцина? Ни в коей мере. Я пристально наблюдаю его с тех пор, как он начал действовать целенаправленно, а не только озираться по сторонам и пробовать ногой воду. И он представляется мне сейчас политиком, выбравшим реальный путь наименьшего Зла».

И следует вывод:

«Не подпереть ли плечом хоть один раз в истории российской свободолюбивой интеллигенции небезнадежное правительство? Безнадежные мы порой поддерживали так щедро...»

Время ныне движется быстро, и к тому моменту, когда этот номер «Нового мира» попадет к читателю, много всякого еще может произойти, многое может еще перемениться в нашей общей жизни. Как бы то ни было, у наших читателей будет возможность проверить правоту (или неправоту) Р. Гальцевой и Д. Штурман на новых фактах, о которых никто из нас еще не знает.

Апрель 1992.

КОРОТКО О КНИГАХ



И. ПЕТРОПОЛЬ. Альманах. Редактор-составитель Николай Якимчук. Выпуск 1. Л. «Васильевский остров». 1990. 226 стр.; Выпуск 2. Л. «Васильевский остров». 1990. 288 стр.; Выпуск 3. Л. Союз кинематографистов СССР, «Аквилон». 1991. 216 стр.

Где как, а в русском литературном процессе альманахи всегда занимали особое место. Карамзинская «Аглая», декабристская «Полярная звезда», гржебинский «Шиповник» или совписовский «День поэзии» всегда были не просто формой публикации, но являли собой феномен общественной жизни, часто становились событиями идеологическими, а порой и нравственными. Каждый альманах имел свою идею, свои позиции и сверхзадачи, свой язык и свое подспудное содержание.

Альманах «Петрополь», первые три книжки которого вышли в невиской столице, в этом смысле отнюдь не исключение из традиции. Это типичный российский альманах, хотя и совершенно не обремененный редакторскими декларациями, но со смыслом, ясным, как взгляд ребенка.

«Петрополь» замечательно соответствует своему названию: он не поражает нас эскападами литературного эксперимента, не ошеломляет формальными или содержательными новациями. Он весь, как и его название, непередаваемо вторичен и потому символично выглядит на обложке первого выпуска альманаха марка с силуэтом Медного всадника и латинизированной надписью «Petropolis», любительски воспроизводящая эмблему старого питерского издательства, которую выполнил когда-то Добужинский. В новом сборнике многократно и, пожалуй, навязчиво засвидетельствован пиетет и к А. С. Пушкину, и к А. А. Ахматовой, и ко всем, кого полагается уважать, а особо внятно обозначена братская солидарность с легендарным «Метрополем».

Составитель сборника совершенно напрасно заявил в редакционной аннотации о неконформизме «Петрополя»: тексты, собранные под этой обложкой, были новаторскими в 60 — 80-х годах. Сегодня они нормальны. И альманах явно ориентирован на эту норму, на литературную добропорядочность, на известные формы и авторитетные имена: первый выпуск открывается старыми стихами Иосифа Бродского (кто

станет возражать, хороший поэт), потом идут Евгений Рейн (попробуйте скажите что-нибудь против) и Дмитрий Бобышев (тоже со старыми стихами). Анатолий Найман, увы, не представлен, зато есть А. Кушнер и В. Соснора. Почти в том же составе коллектив авторов повторяется в третьем томе альманаха. И второй выпуск тоже характерен обилием известных имен: Андрей Битов, Виктор Ерофеев, Евгений Попов, Саша Соколов (три с половиной странички из романа «Палисандрия» — не подарок дорог, а внимание)... Имена все апробированные, вызывающие к успеху.

Таково содержание и такова идеология нового издания: традиционный набор авторов, традиционные мотивы, традиционное отношение к известным вещам. Кроме вездесущих опечаток, нет никаких неожиданностей, — и ощущения совсем как в мемориальной экспозиции. Вспоминается старое замечание Валери о том, что только люди, лишенные чувства прекрасного, воздвигают музеи и классифицируют искусство. Уж слишком ясно обнаруживается жестко определенная шкала предпочтений в составе участников нового издания: ахматовские сироты, лица, приближенные к сиротам, и лица, разделяющие мнения сирот. Гуськом идут за авторитетами авторы более молодые и менее известные, а также известные, но молодые (например, профессор Л. Н. Гумилев с немного похожей на пародию стихотворной пьесой, где действуют Пьеро, Арлекин, Коломба).

Есть в альманахе, конечно, и собственные находки: литературный критик Виктор Топоров со стихами столь же определенными, как и его газетные статьи (выпуск 3); наивная рифмованная публицистика Анатолия Бергера и Татьяны Миловой (выпуск 2); стихи Анатолия Шора (выпуск 1), Глеба Денисова и Руслана Миронова (выпуск 2)... Пожалуй, единственный серьезный вкусовой провал на общем фоне — романсы поэта Виктора Васильева, которыми открывается один из сборников «Петрополя» (стихотворение «Гроздь» поэт посвящает главному редактору-составителю альманаха Николаю Якимчуку: «Ты меня оживил терпко-сладкой лозой винограда. / Вкус его был приятней, чем добрая весть. / Слышу: смехом смуглянок из темного сада / просыпается радость за то, что мы есть»).

Подобные досадные провалы, конечно, не характеризуют «Петрополь». В нем нет особых дерзаний, азартов и откровений, зато есть уровень, есть коллективное удовольствие от уровня, понимание собственной значительности и парнасское такое настроение.

II. ВЕСТНИК НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Редакторы-составители Михаил Берг, Михаил Шейнкер. Выпуск 1. М. «Прометей». 1990. 260 стр.; Выпуск 2. Л. Издательство Ассоциации «Новая литература». 1990. 286 стр.; Выпуск 3. Главный редактор Михаил Берг. Л. Ассоциация «Новая литература». 1991. 304 стр.

Во многих отношениях гораздо более любопытен другой петербургский альманах — «Вестник новой литературы». Объявленное авторами как журнал, это издание так и не смогло стать периодическим ввиду значительных и разнообразных проблем, неизбежно возникающих теперь при организации всякого нового литературного предприятия. Три тома «Вестника...» нисколько не напоминают журнал ни по частоте выхода в свет (разумеется, не ежеквартальной вопреки обещанию), ни по оформлению, ни по содержанию. «Вестник...» почти не реагирует на внешние раздражители; на его страницах нет оперативных материалов: ни хроники, ни полемики, ни актуальной критики, — единственная на все три тома рецензия Вениамина Иофе о волошинском «Сурикове» (выпуск 1) на самом деле никакая не рецензия, а скорее культурологико-историософский этюд по поводу книги, явившейся читателю задолго до выхода «Вестника...». Неактуальна, хотя и явно была рассчитана на актуальность, публицистика Алексея Черкасова (выпуски 1 и 2) и Сергея Шелина (выпуск 3).

Впрочем, не став журналом, «Вестник...» не много потерял, ибо состоялся как альманах. Он не столь нормативен, как «Петрополь», в нем собраны тексты настоящих нонконформистов, нередко забирающихся в литературных поисках в такие дебри, куда за ними не рискнет пойти благоразумный читатель. Авторы «Вестника...» нисколько не озабочены мыслью об успехе, а он в свою очередь отвечает им тем же: тираж «ВНЛ» обнаруживает неуклонное стремление к снижению — он, кажется, возвращается к уровню привычных авторам самиздатских тиражей.

Как и «Петрополь», как и многие старые российские альманахи, «ВНЛ» — сплоченный коллектив соратников. Этим авторов, кажется, не смутит, даже если прокламировать свою веру им придется перед пустой аудиторией: «ВНЛ» — компания нитровертов. Их творчество — это литература для литературы, писательство для писателей, и потому сами тексты воспринимаются как красноречивейшие из деклараций. В сосед-

стве с ними не так уж обязательно горячее многословие редакционных предисловий и пояснительных статей, в избытке содержащихся в «ВНЛ».

Основной потенциал «Вестника...» составляют бывалые авторы самиздата, ветераны леинградского и московского литературного подполья брежневских времен. Понимающий читатель отметит, что результаты их иступленной сублимации нередко и в самом деле имеют шансы быть названными подлинной литературой.

Мы находим здесь сильную прозу. Роман Михаила Берга (скрывшегося за псевдонимом Ф. Эрскин) «Рос и я», напечатанный в первом выпуске «Вестника...», — весьма замысловатая и многосмысловая проза, на различных уровнях повествования отражено огромное число реалий, идей, текстов, мнений, настроений, впечатлений. Текст Берга без труда вмещает в себя признаки целого ряда литературных традиций, нередко противоположных, и потому дает пристрастному критику замечательную возможность обвинить писателя во всем, в чем обвиняли прежние критики прежних писателей, или же похвалить его за все, за что хвалили. Занятие довольно бессмысленное: Берг едва ли нуждается в похвалах и в порицаниях, он живет с выраженьем на лице и внутренним содержанием, и едва ли критика сможет существенно изменить это выражение и это содержание.

Не менее интересен роман Виктора Кривулина «Шмон» (выпуск 2) — остроумная реплика автора в вечной как смерть дискуссии на тему «конец романа». Читатель обязательно восхитится мастерством известного поэта, сумевшего вытянуть весь роман в одну бесконечную (и неоконченную) фразу, которая, подчиняясь прихотливому желанию автора, то семени торопливой скороговорочкой, то амфибрахически шествует, то марширует, то галопирует и озорно взбрыкивает, то осторожно крадется по скользким дорожкам двусмысленностей и постоянно удивляет читателя-ценителя аллитерациями и зияниями, а читателя-простака — коллизиями, по занимательности не уступающими детективному. При этом сочинение Кривулина состоит из ряда совершенно реалистических микроновелл, в которых действуют комический профессор-норвежец (завсегдатай ЦГАЛИ), зловещие чекисты-антисемиты, убогая вечная комсомолка, тайком от общественности отлаущая все свои деньги неведомо кому — ДОСААФу какому-то...

Трогательная и странная история любви составляет сюжет рассказа Евгения Харитонова «Духовка» (выпуск 3). Это произведение из наследия покойного писателя прежде запрещенные тексты которого только теперь приходят к публике. Оно, безусловно, обратит на себя внимание многих: хотя рассказ и не отличается формально

новизной: это повествование некоего гражданина о его влечении к подростку-школьнику, об их летних встречах на лоне природы, деревенских танцах, купаниях и разговорах, о непонятной любви, тревожившей героя, мучавшей и томившей его. Рассказ обрывается пронзительно-грустным финалом — опустелым домом, брошенным садом. Кончатся каникулы, и кончается жизнь, и мир не умирает от этой катастрофы, и этим он прекрасен — такова простая философия сюжета. В незатейливой эротике харитоновской прозы обнаруживаются абсолютная искренность, первобытная человечность и вечная банальность простых эмоций.

Вообще проза «Вестника новой литературы» неожиданно и достаточно убедительно опровергает расхожее мнение о тотально негуманном характере авангардной словесности. Эта литература может, конечно, быть бесчеловечной, но, оказывается, может и не быть — точно так же, как всякая другая.

III. СУМЕРКИ. № 11. 1992, февраль. СПб. «Водолей», совместно с санкт-петербургским филиалом журнала «Юность». 1991. 184 стр.

Как и «Вестник новой литературы», петербургское издание «Сумерки» названо его авторами журналом. Как и издатели «ВНЛ», инициаторы «Сумерек» нарекли свое предприятие ежеквартальником. Однако в отличие от «ВНЛ», «Сумерки» чуть больше похожи на настоящий журнал — они не стараются делать упор на публикации литературных памятников давнего или недавнего прошлого, но более ориентированы именно на текущий литературный процесс. Не «запечатлевают», не комментируют, а только знакомят нас с новыми явлениями отечественной литературы. Стихи Ольги Мартыновой, Арсена Мирзаева, Бахыта Кенжеева не тексты для исследователей, а просто поэзия, удачная или не очень, но точно знающая свое место, и это отличие в нашем восприятии ее обусловлено в первую очередь контекстом, определяющим и общий тон издания. «Сумерки» адекватны жизни. Вероятно, не бог весть какое достоинство, но читается альманах без лишнего напряжения, без форсажа: разговор идет по существу.

Немало места здесь отведено также архивным публикациям. Например, большая и интересная подборка материалов о поэтессе Маргарите Тумповской и ее муже — поэте, переводчике Льве Гордоне знакомит нас с подробностями советского существования двух значительных и трагичных фигур русского «серебряного века». Но эти документы представлены читателю все в том же стиле «Сумерек» — без нажима и надрывного пафоса, без назойливой публи-

цистичности. Такая форма подачи как бы напоминает нам о том, что культурная инициатива никогда не исчезает без следа, а рано или поздно обретает восприимчивых. Подтверждением этой несложной истины является и другая важная публикация «Сумерек» — собрание текстов в память прозаика Бориса Вахтина.

«Сумерки» № 11 — это первый типографский номер известного в Петербурге самиздатского журнала, затеянного группой молодых интеллектуалов в 1988 году. Десяток неизвестных широкому читателю номеров «Сумерек», вероятно, уже надолго останется предметом заинтересованного внимания лишь немногочисленных коллекционеров литературных раритетов, но нелегальная предыстория «Сумерек» не пропала даром: первый типографский выпуск показывает, что перед нами сформировавшееся издание, имеющее свои позиции, определенные традиции и облик, свою ясную программу и перспективы. Возможно, настоящего журнала и из «Сумерек» не получится тоже, но можно предположить, не слишком рискуя ошибиться, что в историю русской альманашной литературы они уже вошли как проявление отечественной интеллектуальной и духовной культуры.

Евгений Голлербах.

*

СОЛО. Проза. Поэзия. № 1. 1990.

СОЛО. Проза. Поэзия. Эссе. № 2. М. 1991.

СОЛО. Проза. Поэзия. Эссе. № 3—7. М. «Аюрведа». 1991.

СОЛО. Проза. Поэзия. Эссе. № 8. М. 1991.

Вопрос, которым редакция «Нового мира» завершила игру в мэйл-арт на тему «постмодернизм» (1992, № 2), был «сутобо практическим»: рентабельна ли постмодернистская продукция? Отвечаю: да, рентабельна. И покупатель (он же читатель) есть. И меценат нашелся — производственно-коммерческий центр «Аюрведа». Ответы дала практика журнала «Соло», который издается в Москве с весны 1990 года. Причастность «Соло» к постмодернизму удостоверена как мандатом именами Андрея Битова, Евгения Попова, Зуфара Гареева в редколлегии. Тираж разных номеров (к февралю 1992-го их вышло 8, как правило, объемом 7 листов) колебался от 10 до 50 тысяч экземпляров.

Если прочитать восемь номеров «Соло» подряд, то просто напрашивается, кричит о себе вывод: нет никакого постмодернизма! Это фантом, забавная выдумка играющих в бисер литературоведов. А еще след старой привычки: ведь в коллективистском

обществе писатели должны были ходить коллективом. Так прошагали по нашей литературе «поколение лейтенантов», деревенщики, шестидесятники... А теперь на раскрашенных мотоциклах, с цветочками и ленточками в длинных волосах ворвалась орава не то панков, не то рокеров, шут их разберет, одно слово — «постмодернисты»!

Право, с этим парадом-алле пора кончать. Вопреки погребальным песням плакальщиц по литературе в нее сегодня приходят серьезные и очень разные писатели. И их непохожесть, возможно, есть главная примета сегодняшней прозы. Можно, конечно, по-научному дотошно проанализировать смысл термина «постмодернизм», а можно — и этот подход мне кажется более плодотворным — читать конкретных писателей, вглядываясь в их индивидуальности, замечая между ними общее.

«Соло» не настаивает на «измах». Его создатели не против того, чтобы название журнала считали аббревиатурой и расшифровывали — «Союз литераторов-одиночек». В третьем выпуске альманаха его главный редактор Александр Михайлов пишет: «В этом номере (как, впрочем, и в других. — Г. В.) нет произведений, претендующих на глобальное значение и всенародное признание, нет также публицистических стенаний и полемик. Перед вами проза и поэзия для гурманов, для тех, кто ловит кайф от самих слов в тексте, от того порядка, в каком они расставлены, от «итры» автора с этими словами».

Это непривычно для множества читателей. Так уж они воспитаны, что всегда искали и ищут в первую очередь смысл, идею, пафос. Особенно прилежно и с любовью искали оппозиционные идеи — политические, социальные. Все мы (или почти все) вышли из сюртуков Чернышевского и Добролюбова, и наше отношение к действительности далеко не всегда эстетическое.

«Новые» ломают эту традицию. Зуфар Гареев (№ 4), Евгений Лапутин (№ 3), Юрий Буйда (№ 4), Валерий Крупник (№ 5), на мой взгляд, пытаются своими текстами создать магнетическое, завораживающее поле. У каждого оно иное по составу. Проза Гареева родственна кинематографу во многих видах: то мультипликации, то стереоскопическому кино, то видео с его возможностью остановить кадр или ускорить ленту... Лапутин и Крупник плетут словесную вязь, которой обволакивают, привораживают читающего, они колдуют, шаманят. Юрий Буйда даже назвал рассказ магическим «заклятым» словом: «НСЦДТ-ЧНДСИ»...

Чего ради? Мне представляется, что эти (и многие другие) авторы «Соло» идут к цели прекрасной и почти недостижимой: создать текст, который воздействовал бы на читателя подобно природе. Вспомните —

когда вы чувствуете красоту моря, реки или леса, вы же не спрашиваете: «Зачем море? Как понимать реку? Что хочет сказать лес?» «Новым» авторам порой удается вот так заворочить кружением своей прозы, и это уже много. (Кстати, их практически невозможно цитировать, потому что выделить любой отрывок значит нарушить ритм, структуру текста, порвать кружево.)

Наверняка не все согласятся с моей оценкой этой прозы — и не только потому, что многие читатели не готовы к чисто эстетическому подходу. Дело еще и в том, что эти тексты заведомо и сугубо субъективны. Здесь вообще сомнительна роль оценочной критики: конечно, можно поверить алгеброй гармонию, да зачем? Ясно, что для многих такая литература навсегда останется закрытой. Валерий Крупник проиллюстрировал это: после своего рассказа «Твердоклювая птица гриф» он поместил рецензию на него, написанную литконсультантом какого-то журнала: «Сознаемся, что нам осталась не вполне ясна художественная сверхзадача Вашей вещи. Проще говоря: о чем это? как это понимать? в чем если не «идейный» смысл, то художественный «фокус»?..» С точки зрения жителя глубинной Сахары, море — это очень плохая пустыня: там нельзя ездить на верблюдах. По-своему он прав.

Но не только «колдуны» эстетствуют на страницах «Соло». Например, Владимир Зуев (№ 2) и Сергей Воропаев (№ 5) ближе к традиционному реализму, чем к авангарду и постмодерну. С долей условности Зуева можно назвать преемником «городской прозы» 70-х. От нее писатель взял внимание к психологии горожанина, его быту, унаследовал иронию и скепсис. Но все это пронизано еще и поэтичностью, печалью и неистребимой верой в любовь. Жесток, грубоват и трезво-наблюдателен Воропаев. Это роднит его с нынешними «натуралистами». А отличается, по-моему, то, что у него нет любования чернухой жизни. Рассказы Александра Шарыпова (№ 3), мне кажется, одобрил бы Шукшин. Именно потому одобрил, что Шарыпов — вовсе не эпигон Шукшина, но в его неожиданных, фантазмагорических историях есть боль за скромных, не шибко грамотных, замороженных жизнью людей.

Вслед за «классиком соц-арта» Д. А. Приговым (№ 2) выступили несколько близких ему по методу авторов, например остроумный Игорь Яркевич (№ 7). Об этом направлении написано много более или менее заслуженных хороших слов, но сегодня становится все яснее, что оно иссыкает, потому что почва, питавшая его (соцреальность), засохла и превращается в мемориальный камень.

Короткие рассказы Анатолия Гаврилова (№ 1), Дмитрия Добролюбова (№ 1), Андрея Кавадеева (№ 4), Софьи Купряшиной (№ 4)

представляются мне попытками по осколкам восстановить разбитый мир (у каждого, повторюсь, свой, особый). Мир исчез, рухнул, распался, но остались, витают в пространстве жесты, лица, слова людей, иногда целые эпизоды, сцены или кусочки пейзажей. Писатели верят их так и сяк — то пытаются разгадать тайну рассыпавшейся цивилизации, то пробуют сложить их заново, то любуются ими, играют, находя эстетический кайф в созерцании грациозной ручки обратившегося в прах кувшина или осколка уничтоженной фрески... Такое мировосприятие близко многим «новым». Для них мир раздроблен, хаотичен, загадочен и, главное, непознаваем. И не только внешний мир, но и внутренний, собственная душа, хотя в нее «новые» ступают с опаской. Эти два мира связаны: внутренне цельный человек не может считать окружающее хаосом, калейдоскопическим мельканием осколков.

Иными словами, если попытаться подытожить черты «новых» (постмодернистов, авангардистов и прочих), то получится, что у них есть чуть ли не все. Прямо как в Греции.

Игра? Конечно. И ассоциативная игра с культурным наследием (философией, литературой), и игра стилистическая (со словом, фразой). Стремление создать эстетически совершенный текст, где совершенство — единственный смысл? Конечно. Отказ от социального проповедничества? От социализма и вообще от реализма, понимаемого канонически? Бесспорно. Склонность к синкретизму? Замечена. «Постмодернист... жи-

вет в музее» (В. Курицын)? А где ж ему, бедолаге, жить? Список «благодеяний» можно продолжить, включив в него фантазматичность, мистичность, мифотворчество, богоискательство, апокалиптичность, надмирность, философичность, амбивалентность, коллажность, эротичность, ироничность, элитарность, всеядность... И так далее. Для любого из этих качеств найдутся убедительные примеры.

Новая литература не едина, ибо она не традиционна. Экспериментаторов, новаторов объединяет лишь тот факт, что они не консерваторы, не архаисты. А направлений поисков — десятки, если не сотни. Даже моя очень условная попытка сгруппировать авторов «Соло», по сути, неверна, ибо они мало похожи друг на друга. И в этом, кстати, самая большая заслуга журнала: он выводит на свет множество новых текстов и новых имен — целый хор солистов. Например, Кавадеев, Шарыпов, Крупник, Клех, Купряшина впервые напечатались именно в «Соло». Скептик может заметить, что среди них мало или вовсе нет крупных талантов. Но, во-первых, это нормально: мы все же не в Элладе, где население, по слухам, сплошь состояло из героев и гениев. А во-вторых, мне представляются весьма талантливыми Владимир Зуев, Зуфар Гареев, Александр Шарыпов, Анатолий Гаврилов... Кто-то назовет иные имена, но судить об этом читателям, причем каждому в отдельности.

Георгий Вирен.

Читайте в следующем номере:

МИХАИЛ БУТОВ

К изваянию Пана, играющего на свирели

Сонет

Измаил II

Рассказ

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



В. Н. ИЛЬИН. Запечатанный гроб: Пасха Нетления. Объяснение служб страстной недели и Пасхи. Обложка и иллюстрации Д. С. Стеллецкого. 2-е изд., испр. Paris. YMCA-PRESS. 1991. 126 стр.

В. Н. Ильин (1891—1974), покинувший Россию в 1919 г., отличался замечательной широтой интересов. В его обширном наследии — богословские, философские, музыковедческие и литературно-критические труды. Настоящее издание является репринтным воспроизведением книги, вышедшей в 1926 г. в Париже. Труд В. Н. Ильина содержит многочисленные толкования соответствующих библейских текстов, дает обширную информацию о праздновании христианской Пасхи в различные исторические эпохи. В приложении к книге помещен «Краткий словарь некоторых литургических терминов».

Н. ЗЕРНОВ. Русское религиозное возрождение XX века. Пер. с англ. 2-е изд., испр. Paris. YMCA-PRESS. 1991. 368 стр.

Книга профессора Оксфордского университета Н. М. Зернова (1898—1980), первое издание которой (на английском языке) вышло в Лондоне в 1963 г., отличается неторопливой рассудительностью и отсутствием скоропалительных оценок. В центре внимания автора — парадоксальное стечение обстоятельств, определившее судьбы России в XX веке. Именно в начале нынешнего столетия, по мысли автора, «интеллектуальная элита открыла для себя доселе неизвестный ей мир русской святости и аскетическую монашескую традицию». Однако вскоре русская культура оказалась фактически обезглавленной и обреченной в лучшем случае на изгнание: «...русская интеллигенция стала первой жертвой революции, ради которой она так самоотверженно трудилась».

Во вступительной главе подробно излагается предыстория русского религиозного ренессанса. В последующих разделах обстоятельно анализируется состояние Русской Православной Церкви накануне революции; рассматриваются попытки церковных реформ накануне первой мировой войны, а также неизбежно связанный с религиозным ренессансом расцвет околорелигиозной мистики («феномен Распутина»). Отдельного рассказа удостоены в книге Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве и С. Л. Франк, сохранившие на чужбине преемственность русской философской традиции. Завершает книгу избранная «Библиография русских религиозных и философских книг, изданных представителями религиозного возрождения, их ближайши-

ми последователями и учениками за рубежом».

РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. Независимый русский православный национальный журнал. Четырнадцатый год издания. № 54. 1991. Нью-Йорк — Москва — Париж. 195 стр.

В отличие от Н. М. Зернова издатели «Русского возрождения» понимают под русским религиозным ренессансом недавнее крушение атеистических твердынь в Советском Союзе. В редакторском предисловии к номеру сообщается: «Все... что отражает процессы происходящего у нас на родине возрождения — литература, философия, история, проблемы государственной жизни и вопросы веры и Церкви, вопросы национального бытия и все, что с ними связано и из них вытекает, — входит в круг интересов журнала». Демонстрируя непредвзятость и отсутствие тяги к единомыслию, журнал помещал на своих страницах в последние годы малоизвестные поэтические произведения Саши Черного, Л. Н. Вилькиной, статьи о творчестве митрополита Иллариона и Д. Л. Андреева, стихи Л. Бородина. В пятьдесят четвертом номере журнала обращают на себя внимание статья Л. Н. Зелинского («Литургическое время христианской культуры») и религиозная поэзия В. А. Никитина. Номер содержит также материалы по истории сербской Православной Церкви, хроникальные и публицистические заметки.

ПАМЯТИ ОТЦА АЛЕКСАНДРА ЕЛЬЧАНИНОВА. 3-е изд. Paris. YMCA-PRESS. 1991. 75 стр.

Отец А. В. Ельчанинов (1881—1934) не оставил после себя обширных теологических или философских трудов: по словам С. Н. Булгакова, «подлинным призванием А. В. Ельчанинова было всегда не литературное, но личное общение с людьми». Этот дар отца Александра в полной мере раскрылся уже в России, где юный Ельчанинов стал первым секретарем основанного в 1905 г. в Москве Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева. Покинув родину в 1921 г., отец Александр вновь нашел себя в организаторском подвижничестве, став одним из руководителей Русского студенческого христианского движения. Книга, первое издание которой вышло в 1935 г., содержит воспоминания С. Н. Булгакова, М. М. Карповича, В. Н. Ильина, Л. Р. Зандера и других современников Ельчанинова. В книгу вошли также «Отрывки из писем, писанных после смерти о. Александра» его паствой.

Составитель К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.

SUMMARY

The main work published in the issue is a new novel by Anatoly Kim — Russian, Korean origin prose-writer — «Hamlet of Centaurs». It is a fascinating fanciful story of cruel relations between people, wild horses and centaurs; the life of the latter is written out with an extreme vitality. Dramatic tension, philosophical reflections and humour, sometimes very «spicy», are being combined organically in the novel.

Ludmila Ulitskaya's «Sonetchka» with a tender and sober wisdom relates a story of a talented artist's and his family's life.

Poetry section of the issue is represented by new poems by Sergey Zolotussky and Dmitry Vedeniapin, and also by Pavel Sergeyev's ironical couplets.

In «The Literary Heritage» section some poems and letters to M. Gorky by a forgotten poet Boris Zubakin are published (publication, foreword and commentaries by A. Nemirovsky).

«Comments» section consists of short notes on the last work on socialism by Friedrich A. von Hayek, the world-known economist, and on the humorous cooking book «Russian Cuisine in Exile» written by Peter Vail and Aleksander Genis.

Then follows Dora Sturman's study «Humanity's Golden Dream...», devoted to the problem of Utopias in the history of mankind.

In this issue we start the publication of the voluminous memoirs by Naum Korzhavin, entitled «Temptations of the Blood-strained Epoch». The first part of the memoirs is devoted to the poet's childhood and school years that fall on 1930—40s.

Discussion of postmodernism in contemporary Russian literature, started in our second issue this year, is continued by Mark Lipovetsky's, Sergey Nosov's and Alexey Mashevsky's articles.

In «Books Review» section Valery Sajin criticizes an inadequate edition of Daniil Harms works, V. Vakhrushev reviews a book of translations from European «theatre of absurd» playwrights, and Evgeny Dobrenko — a recent study on the history of avant-garde movement by Andrey Nakhov.

«Editorial mail» column presents Renata Galtseva's article «Russian Revival and the New «Order» of Intelligentsia».

In «Brief Notes on Books» section Evgeny Hollerbach and Georgy Viren review the latest issues of literary miscellanies «Petropol», «Solo», «Sumerki», «Vestnik Novoy Literatury».

K. Postoutenko annotates some Russian books published outside Russia in his column «Russian Books Abroad».

Производственный отдел Издательского центра «Новый мир» приглашает к сотрудничеству издательские организации.

Предлагаем качественный набор и изготовление оригинал-макетов книг и журналов.

С предложениями обращаться по телефонам (095) 945-89-21 и 946-14-49.

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку, Д. А. Гранин, В. А. Костров, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов (зам. главного редактора), И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Технический редактор А. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 29.03.92 г. Подписано к печати 06.05.92 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.), 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 241 700 экз. Зак. 2158. Цена 4 р. 70 к. (по подписке)

При участии издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.



Российский Фонд «Здоровье человека»

В 1991 году ведущие ученые, медики, экологи, гуманитарии, представители духовенства, отечественные предприниматели и бизнесмены изъявили желание сплотиться вокруг идей Фонда.

Уже сегодня Фонд оказывает практическую поддержку ряду проектов, нацеленных на решение таких злободневных проблем, как охрана материнства и детства, укрепление и развитие фармацевтической промышленности, борьба с наркоманией, оздоровление детей-инвалидов, возрождение традиций милосердия, обеспечение репродуктивного здоровья семьи, улучшение экологической ситуации в стране, подлинное просветительство в области медицины.

Фондом организован ряд региональных симпозиумов и ассамблей, посвященных актуальным проблемам охраны здоровья населения. В апреле 1992 года Фондом проведен в Москве первый Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», в рамках которого состоялась международная выставка «Фармакология-92».

В деятельность Фонда активно включились Международная универсальная биржа вторичных ресурсов, НПО «Биотехнология», другие организации и фирмы.

Филиалы Фонда созданы в ряде республиканских, краевых и областных центров России. Приступили к работе отделения Российского Фонда «Здоровье человека» в США и ФРГ. Создаются аналогичные представительства в Италии, Франции, Индии и других странах.

Фонд внимательно отнесется ко всем предложениям по поводу его дальнейшей деятельности.

Фонд открыт для всех, кто желал бы конкретно сотрудничать в возрождении духовного, нравственного и физического здоровья граждан России.

**Адрес Российского Фонда «Здоровье человека»:
117246, Москва, Научный проезд, 8.
Телефон (095)-332-33-98.
Телефакс (095)-331-01-01.**